

Вальтер
Скотт





Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двадцати томах

Под общей редакцией

*Б. Г. РЕИЗОВА, Р. М. САМАРИНА,
Б. Б. ТОМАШЕВСКОГО*



Издательство

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Москва 1965 Ленинград

Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том восемнадцатый

ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА

Перевод с английского
Н. Д. ВОЛЬПИН

РАССКАЗЫ

Перевод с английского
А. С. КУЛИШЕР



Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1965 Ленинград

WALTER SCOTT
THE FAIR MAID OF PERTH,
OR SAINT VALENTINE'S DAY
TALES AND STORIES

Редакция перевода

А. М. Шадрина (Рассказы)

Комментарии

Л. Е. Пинского

и К. А. Анасьева

**ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА,
или
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Труды Крестела Крофтэнгри нашли продолжателей, но хотя за последние годы в печати появилось немало разных работ о шотландских гэлах, однако до сей поры не было сделано ни одной попытки обрисовать нравы, какие могли бытовать среди них во времена, когда «Книга статутков» и наряду с нею страницы летописцев начинают давать нам свидетельства тех трудностей, которые постоянно вставляли перед короной, покуда на южной границе ее власти противостоял — едва ли не преобладая над ней — высокомерный дом Дугласов, а Север между тем раздирали на части еще не укрощенная дикость горских племен и дерзкая заносчивость, с какою выдвигали свои притязания иные из их вождей, особенно на далеких окраинах. Достоверный факт, что два могущественных клана выставили каждый по тридцать бойцов, чтобы в битве разрешить свой давний спор пред лицом короля Роберта III, его брата герцога Олбени и всего королевского двора Шотландии в городе Перте в 1396 году нашей эры, видимо, с равной отчетливостью обрисовывает как ярость племенной вражды у горцев, так и упадочное состояние государственной власти в стране; соответственно он и стал осью, на

которой могли бы вращаться главные события романтического повествования. Характеры Роберта III, его честолюбивого брата и беспутного сына, казалось, обещали благоприятную возможность создания интересных контрастов; а трагическая судьба наследника престола с ее прямыми последствиями позволяла завершить картину жестокости и беззакония.

Две черты в истории этой битвы-турнира на пертском Лугу — бегство одного из назначенных бойцов и безудержная отвага некоего горожанина, добровольно вызвавшегося за мелкую монету занять его место в смертельном бою, подсказали образы вымышленных персонажей, которым и отведена в романе существенная роль. Изобразить сбежавшего с поля кельта было бы нетрудно, если бы был избран игривый стиль описания. Но автор думал, что получится новее — да и глубже будет интерес, — если удастся привлечь к этому герою некоторое сочувствие, несовместимое с полным отсутствием уважения. Мисс Бейли изобразила труса по природе, который под действием сильной сыновней любви способен вести себя как герой. Казалось возможным представить себе и такой случай, когда человека со слабыми нервами какое-то время поддерживают на высоте чувства чести и ревности, а потом он сразу сдает при таких обстоятельствах, что и самое храброе сердце не отказало бы ему в сострадании.

Спор о том, какие именно кланы на самом деле участвовали в варварской битве на Лугу, вновь ожил после выхода в свет «Пертской красавицы», и, в частности, он подробно разбирается мистером Робертом Маккеем из Турсо в его весьма любопытной «Истории дома и клана Маккеев». Отнюдь не притязая на то, что он в своем исследовании хотя бы частично разрешил вопрос в позитивном плане, этот джентльмен сумел вполне убедительно доказать, что его собственный почтенный род не принимал в деле никакого участия. Маккеи проживали в ту пору, как проживают и ныне, на крайнем севере нашего острова; и вождь их был в те времена столь влиятельным лицом, что его имя и назначенная ему роль не могли

быть опущены в первых отчетах о происшествии. Был случай, когда он привел от своего клана четыре тысячи человек в помощь королю против Властителя Островов. Этот историк придерживается мнения, что кланом Кухил Уинтоун называет Камеронов, которые в те времена, кажется, чаще именовались Мак-Юэнами и лишь сравнительно недавно получили прозвание «Камерон», то есть «Кривой Нос» — по недочету на физиономии одного их героического вождя из рода Лохиель. Той же точки зрения придерживается и Дуглас в своей «Книге баронов», где он часто отмечает ожесточенность вражды между кланом Хаттан и кланом Кей, отождествляя второй из них — применительно к событиям 1396 года — с Камеронами. Едва ли возможно окончательно разрешить этот спорный вопрос, сам по себе малоинтересный, особенно для читателей по сю сторону Инвернесса. Уинтоун дает нам для тех двух враждовавших кланов имена «Кланхивил» и «Клахиния» — причем второе, возможно, искажено переписчиком. В «Скоти-Хроникон» они даются как Кланкухил и Кланкей. Гектор Боэций пишет «Кланхаттан» и «Кланкей», в чем ему следует Лесли; тогда как Бьюкенен почитает недостойным осквернять свои страницы гэльскими именами этих кланов и только описывает их как два могущественных племени в диком и беззаконном краю по ту сторону Грэмпианских гор. При такой путанице может ли какой-то сассенах надеяться, что ему удастся *date lucet*?¹ Имя Кланхейл появляется только в 1594 году — в одном из актов Иакова VI. Нельзя ли предположить, что это в конце концов просто искаженное наименование клана Лохиель?

Возможно, читатель не без удовольствия прочтет здесь строки из стихотворного рассказа Уинтоуна:

В тысяча триста девяносто
Шестом году, чтоб в битве просто
Решить издавний кровный спор,
Сошлись шотландцы диких гор —

¹ Внести свет (лат.).

По тридцать с каждой из сторон, —
И каждый местью распален
Всех — шестьдесят Клан Кухивил
Одним из этих кланов был,
Звался другой Клахинийя.
Их возглавляли сын вождя
Ша¹ Ферквариса у одних,
Вождь Кристи Джонсон у других
На тридцать — тридцать с двух сторон,
И каждый злобой распален,
Под монастырскою стеной
Санкт-Джонстона вступили в бой.
Ареной им — приречный луг,
Оружием — кинжал да лук,
Секира да двуострый меч;
И стали — к черту! — сечь да сечь.
Рубились яростно, доколе
Телами не устали поле.
Чья одолела сторона,
Кому победа зачтена?
Одно я знаю — изнемог
И победитель Вот итог:
Легло полсотни; остальных
Убрали с поля чуть живых.

Настоятель Лохливена не упоминает ни о бегстве одного из гэльских бойцов, ни о рыцарственной доблести пертского ремесленника, вызвавшегося принять участие в сражении. Однако оба эти происшествия приводятся — несомненно, по традиции — продолжателем Фордуна, чей рассказ излагается такими словами:

«В году господнем тысяча триста девяносто шестом значительная часть северной Шотландии, за горным хребтом, была взбаламучена двумя очумелыми катеранами и их приспешниками, а именно Шебегом с его сородичами из клана Кей и Кристи Джонсоном с его кланом, называемым клан Кухил; их невозмож-

¹ «Ша», как предполагают, должно означать «Тошах», то есть «Мак-Интош»; отцом молодого вождя этого рода был в ту пору Ферчард. Боуар называет его «Шебег» — то есть «Тошах Маленький». (Прим. автора.)

но было умиротворить ни через какие договоры и соглашения, и никакой король или правитель не мог их привести к подчинению, пока благородный и деятельный лорд, Давид Линдсейский и Крофордский, вместе с лордом Томасом, графом Морей, не приложили к этому делу свое усердие и силы и не уладили спор между двумя сторонами таким образом, что те согласились встретиться в некий назначенный день под городом Пертом пред лицом короля, выставив каждый от своего клана по тридцать человек против тридцати противной стороны и сразиться мечами, луками и стрелами, исключая всякое иное оружие или доспехи (кроме двуострых секир); каковая встреча и должна была положить конец их спору и установить мир в стране. Такой сговор весьма понравился обоим сторонам; и в ближайший понедельник, предшествующий празднику святого Михаила, на пертском Северном Лугу перед королем, правителем и великим множеством зрителей они вступили в самую ожесточенную битву, в которой из шестидесяти человек были убиты все, кроме одного со стороны Кланкея и одиннадцати с противной стороны. А еще случилось так, что когда все они собрались на арене битвы, один из них огляделся вокруг, ища пути к побегу, на глазах у всех бросился в Тэй и пересек его вплавь. В погоню за ним кинулись тысячи, но он так и не был схвачен. Оба отряда стояли друг против друга в недоумении и не могли приступить к делу из-за недостачи уплывшего: ибо тот отряд, который был в полном числе, не соглашался, чтобы одного из них исключили; другая же сторона не могла ни за какую награду подрядить кого-либо взамен беглеца. Итак, все стояли в растерянности, сокрушаясь об утрате сбежавшего бойца. И думали уже, что всему делу конец, когда вдруг на середину арены врывается какой-то местный ремесленник, малорослый, но свирепый с виду, и говорит: «Вот я! Кто тут меня наймет, чтобы я вступил в театральное игрище с этими работниками? Я попытаю счастья в этой забаве за полкроны, а сверх того, оговорю лишь одно — что, если я вернусь с арены живой, я буду от кого-нибудь из вас получать довольствие

до конца моей жизни; ибо, как говорится, «никто не возлюбит большей любовью, нежели тот, кто отдаст свою жизнь за друзей». Так какой же награды заслуживаю я, готовый отдать свою жизнь за врагов государства и короля?» То, о чем он попросил, было тут же обещано ему и королем и разными вельможами. Тогда тот человек сразу натянул свой лук и, первым послав в противный отряд стрелу, убил одного из бойцов. Тотчас же полетели стрелы туда и сюда, засвистали клинки, засверкали секиры; и как на бойне мясники разделявают быков, так здесь противники неустрашимо рубились в сече. Среди всего их множества не нашлось ни единого, кто по слабости духа или со страху норовил бы, хоронясь за спиной другого, уклониться от этой резни. А тот наймит-доброволец в конце концов вышел из битвы невредим. С той поры Север надолго уgomонился, и впредь не бывало, чтобы катераны совершали оттуда свои набеги».

Сцена эта у Бозция и Лесли разукрашена многими цветистыми добавлениями, а у Бьюкенена соревнующиеся дикие горцы произносят речи по самым признанным образцам из Ливия.

Преданность приемного отца и названных братьев юному вождю клана Кухил, как она изображена в романе, составляет характерную черту клановой верности, чему история Горной Страны дает немало примеров. Известен случай, когда в битве под Инверкийтингом между роялистами и войсками Оливера Кромвеля один приемный отец и семеро его отважных родных сыновей таким же образом пожертвовали собой ради сэра Гектора Маклина из Дьюарта, причем старик отец каждый раз, как падал мертвым один из его мальчиков, высылал вперед другого занять его место по правую руку любимого вождя с теми самыми словами, которые позаимствованы отсюда для романа: «Еще один за Гектора!»

Да, чувства могут переходить из поколения в поколение. Покойный генерал Стюарт из Гарта (чья смерть явилась большой потерей для нашей страны) в своем отчете о сражении при Килликранки сообщает нам, что Лохиеля сопровождал на поле боя

сын его названного брата: «Этот верный приверженец следовал за нами как тень, готовый помочь ему мечом или же прикрыть его своим телом от вражеского выстрела. Вдруг вождь почувствовал, что друга нет рядом с ним, и, оглянувшись посмотреть, что с ним приключилось, увидел его лежащим навзничь с вознизившейся в грудь стрелой. Он умирал и при последнем дыхании лишь успел сказать, что, увидев, как враг, какой-то горец из армии генерала Маккея, целится в Лохиеля из лука, он забежал за его спину и заслонил от немедленной гибели. «Это особого рода долг, — добавляет рыцарственный Дэвид Стюарт, — не так уж часто выполняемый современными нашими адъютантами» (см. «Очерки о горцах Верхней Шотландии», т. I, стр. 65).

Мне остается лишь добавить, что вторая серия «Хроники Кэнонгейта» вышла в свет в мае 1828 года и встретила благосклонный прием.

Эбботсфорд, 15 августа 1831 года

Глава I

Тщеславный римлянин, увидев Тэй,
Воскликнул встарь: «Глядите, Тибр,
ей-ей!»

Но мы в отместку-то ужель не смеем
Их жалкий Тибр сравнить
с шотландским Тэем?

Неизвестный автор

Если знатоку-чужеземцу предложат назвать самую живописную и пленительную область Шотландии, он, вероятно, укажет на графство Перт. Да и уроженец всякого другого округа Каледонии, даже если он из понятного пристрастия отведет первое место родному графству, на втором непременно поставит Перт — и тем самым даст его жителям гордое право утверждать, что Пертшир, по непредвзятому суждению, являет собой красивейшую часть Северного королевства. Еще в давние годы леди Мэри Уортли Монтегю, чьи писания отмечены превосходным вкусом, высказала мнение, что в каждой стране самой живописной местностью, с наибольшим разнообразием и полнотой раскрывающей красоту природы, оказывается та, где горы, понижаясь, переходят в холмистые поля или равнину. Так и в Перте можно

видеть хоть и не очень высокие, но необычайно живописные холмы. Реки дикими прыжками свергаются с вершин и по таинственным ущельям прокладывают себе дорогу из Горной Страны в Низину. Наверху богатая растительность, вызванная к жизни благоприятными климатом и почвой, сочетается с обычными чертами горного ландшафта, а у подножия холмов рощи, дубравы и заросли кустарника одевают склоны, избегают по лощинам, взбираются на кручи. В этих отрадных местах путешественник находит то, что Грей или кто-то другой из поэтов назвал «на лоне ужаса почившей красотой».

Благодаря счастливому расположению эта область отмечена самым приятным разнообразием. Ее озера, леса и горы поспорят красотой с любыми, какие встретит путешественник в Верхней Шотландии; но графство Перт, помимо романтических пейзажей, — а иногда и тут же, среди них, — радует глаз еще и полосами плодородной земли, не уступающей богатством даже веселой старой Англии. И немало этому краю довелось увидеть замечательных подвигов и событий — таких, что вошли в историю, и других, интересных для поэта или романиста, хотя память о них сохранило только народное предание. В этих долинах не раз происходили кровавые побоища между саксами Нижней Шотландии и гэльскими кланами, причем зачастую оставалось неясным, кто же одержал победу — закованные в броню рыцари Низины или их противники, горцы в шерстяных плащах.

Помимо красоты расположения, Перт замечателен своей древностью: старинное предание гласит, что он основан римлянами. Гордые победители, говорит оно, соизволили приравнять к Тибру судоходный и куда более величественный Тэй, а в широкой равнине, известной под именем Северного Луга, увидеть сходство с Марсовым Полем. Перт часто избирали своей резиденцией наши государи; правда, у них не было в городе дворца, но они находили цистерцианский монастырь достаточно просторным, чтобы принять их со всем двором. Здесь Иаков I, один из умнейших и лучших королей Шотландии, пал жертвой зависти

озлобленной аристократии. Здесь же возник и загадочный заговор Гаури; старинный дворец, где разыгралась эта трагедия, был разрушен лишь совсем недавно. В ревностном внимании к старине, Пертское антикварное общество опубликовало точный план этого исторического здания и в примечаниях, свидетельствующих о тонком и добросовестном исследовании предмета, приводит приуроченный к этому месту рассказ о заговоре.

Один из красивейших пейзажей в Великобритании, а может быть, и во всем мире открывается — или, лучше скажем, открывался — из так называемых Врат Судьи. Это нечто вроде арки, под которой путешественник, покинув Кинросс, должен был проехать после долгого пути по неприглядной и пустынной местности, и тут перед ним с вершины высокого горного кряжа, куда он незаметно поднимался, развевалась долина Тэя, прорезаемая полноводным и горделивым потоком: и город Перт с двумя прилегающими к нему широкими поймами, или Лугами, с колокольнями и башнями; и горы Монкриф и Кинноул, поднимающиеся вдали красивыми, мягкими уступами, кое-где одетыми лесом; и богатый берег реки с разбросанными по нему изящными строениями; а по краю кругозора — очертания могучих Грэмпианских гор, замыкающих с севера этот восхитительный ландшафт. Новая дорога — в общем, нельзя не признать, значительно улучшившая сообщение — проходит стороной, открывая описанный здесь великолепный вид не так неожиданно: он предстает взору по частям, но, впрочем, это зрелище, даже если мы приближаемся к месту постепенно, остается на редкость красивым. Еще сохранилась, кажется, тропа, ведущая к Вратам Судьи; так что путешественник, сойдя с коня или выйдя из кареты и пройдя несколько сот ярдов пешком, может сравнить подлинную картину с тем эскизом, который мы здесь попытались набросать. Но мы не властны передать (как и он не почувствовал бы) всю прелесть, какую сообщает удовольствию неожиданность, если чудесный вид возникнет перед путником внезапно, в минуту, когда он никак не ожидал

чего-либо подобного; никогда не изведал бы он того, что довелось испытать вашему покорному слуге, Кристелу Крофтэнгри, когда он впервые увидел несравненное это зрелище.

К восторгу, охватившему меня, примешивалось еще и ребяческое удивление, ибо мне было тогда не более пятнадцати лет; к тому же мне впервые разрешили отправиться так далеко на моем пони, так что мой восторг усиливало еще и волнующее сознание независимости, не чуждое некоторой тревоге, которую даже самый самонадеянный мальчик невольно почувствует, когда впервые должен будет положиться на собственное разумение. Помню, сам того не ожидая, я осадил лошадку и жадно смотрел на открывшийся вид, точно боясь, что его снимут, как театральную декорацию, прежде чем я успею ясно разглядеть его во всех подробностях или увериться, что люблюсь им наяву. Свыше пятидесяти лет протекло с той поры, но неповторимая эта картина запечатлелась в моем уме и остается живой и яркой, когда многое из того, что повлияло на мою судьбу, безвозвратно ушло из памяти.

Вот почему, осмелившись занять внимание читателей развлекательной хроникой, я решил открыть ее рассказом, связанным с местностью, так поразившей некогда мое детское воображение. Быть может, я при этом цепляюсь за надежду, что самый пейзаж своим благотворным воздействием вознаградит читателя за недочеты моего письма. Так иная дама воображает, что изящный фарфоровый сервиз придает «букет» посредственному чаю.¹

¹ Кристел Крофтэнгри выразил здесь свои чувства, близкие к тем, что испытал я сам, насколько я их помню по прошествии долгих лет. В ряде писем из Пертшира мне сообщают, что я допустил кое-какие мелкие погрешности в именах собственных. Но, несомненно, общее впечатление от долины Тэя и древнего города Перта, поднимающего свою седую голову среди тучных пастбищ над сверкающими водами величавой шотландской реки, остается по-прежнему столь ярким, что оно оправдало бы и более пламенные выражения, нежели те, какие нашлись у мистера Крофтэнгри. — Август 1831 года. (*Прим. автора.*)

Я задумал начать с поры куда более ранней, чем та, когда происходили примечательные исторические события, упоминавшиеся мною выше, — ибо все, о чем предстоит мне поведать, свершилось в последние годы четырнадцатого столетия, когда скипетр Шотландии держал в благородной, но слабой руке Джон Стюарт, принявший при вступлении на престол имя Роберта III.

Глава II

Пастушки губы — бархата нежней:
Не барыня — а та же сладость в ней.

*Драйден*¹

Если Перт, как мы отметили, по праву гордится красотами природы, то никогда он не был обделен и другого рода красотой, более притягательной, хоть и не столь долговечной.

Прозываться «Прекрасной девой Перта» означало во все времена высокое отличие, и нужно было обладать поистине замечательной красотой, чтобы заслужить его в городе, где столько девушек могли притязать на эту завидную честь. А в феодальную эпоху, к которой ныне мы хотим привлечь внимание читателя, женская красота ценилась куда больше, чем впоследствии, когда идеи рыцарства стали угасать. У древних рыцарей любовь к женщине была своего рода дозволенным идолопоклонством, с которым могла сравниться страстностью только любовь к небесам, да и то лишь в теории, так как на деле любовь к женщине почти неизменно брала верх. Имя бога и прекрасной дамы сердца запросто призывалось одним дыханием; и служение прекрасному полу вменялось в обязанность жаждущим посвящения в рыцари так же непреложно, как и благочестие. В те времена власть красоты была почти безгранична. Она могла уравнивать со знатным вельможей девушку простого звания.

¹ Перевод С. Петрова.

Незадолго до воцарения Роберта III, при его предшественнике, одна лишь красота позволила особе низкого рождения и сомнительной нравственности разделить с королем шотландский престол. И многие другие женщины, менее ловкие или не столь удачливые, начав свой жизненный путь наложницами, достигали высокого положения, — что допускалось и оправдывалось нравами тех времен. Такие примеры могли бы вскружить голову и девице более высокого рождения, чем Кэтрин, или Кейт, Гловер, которая была всенародно признана красивейшей из молодых обитательниц города и окрестностей и чье звание «пертской красавицы» неизменно привлекало к ней взоры юных щеголей, когда королевскому двору случалось обосноваться в Перте или поблизости от него; и добавим, что иной высокородный дворянин, прославившийся воинскими подвигами, так старался щегольнуть красивой посадкой в седле, проезжая по Кэрфью-стрит, мимо окон Саймона Гловера, как не домогался бы победы на турнире, где его искусство могли оценить самые высокородные дамы Шотландии.

Но дочь Гловера-перчаточника (ее отец, как было принято в ту пору среди горожан, получил фамилию по своему ремеслу) не слушала любезностей, которые расточали перед ней вельможные поклонники. И хотя Кэтрин сознавала, конечно, свою привлекательность и не так уж была равнодушна к ней, она стремилась, как видно, одерживать победы только над людьми своего круга. Обладая красотой совсем особого рода — той, что мы связываем больше с духовной, нежели с телесной сущностью, — она при всей природной доброте и милом нраве казалась скорее замкнутой, чем веселой, даже когда находилась среди равных; а глубокое чувство, с каким отправляла она долг благочестия, наводило многих на мысль, что Кэтрин Гловер затаила желание удалиться от мира и спрятать себя в монастырских стенах. Но если и были у нее подобные мысли, едва ли следовало ожидать, что ее отец, слышавший человеком состоятельным и не имевший других детей, с легкостью согласится на такую жертву.

Зато в своей суровости к придворным рыцарям признанная Пертом королева красоты встречала полную поддержку со стороны отца.

— И не гляди ты на них! — говорил он ей. — Не гляди на них, Кэтрин, на этих щеголей! Ну их всех с их резвыми конями и бряцаньем шпор, с их перьями на шляпах и холеными усами! Они не нашего сословия, и не пристало нам родниться с ними. Завтра день святого Валентина, когда каждая птица выбирает себе подружку; но ты не увидишь, чтобы коноплянка свила гнездо в паре с ястребом-перепелятником или малиновка — с коршуном. Мой отец был честным горожанином Перта и владел иглой не хуже, чем я. А случалось подступить войне к воротам нашего славного города, мы откладывали в сторону иглу, и нитки, и замшу, доставали из укромного уголка добрый шлем и щит и снимали со стены над камином длинное копье. Назови мне тот день, когда мэр созывал ополчение, а я или мой отец не явились бы в строй! Так мы жили, девочка моя: трудились, чтоб заработать свой хлеб, и сражались, чтоб защитить свою жизнь. Не нужно мне зятя, который будет мнить о себе, что он лучше меня; а что до лордов и рыцарей, так запомни хорошенько: ты слишком низко стоишь для их законной любви и слишком высоко — для их незаконной прихоти. А теперь отложи-ка свою работу, дочка, потому что нынче канун святого праздника и нам пора в церковь на вечернюю службу — помолимся, чтобы господь послал тебе завтра хорошего Валентина.

Красавица отложила великолепную перчатку для соколиной охоты, которую вышивала по заказу леди Драммонд, и, надев праздничное платье, приготовилась сопровождать отца в монастырь доминиканцев, примыкавший к Кэрфью-стрит, где они проживали. По дороге Саймон-перчаточник, исконный и почитаемый горожанин Перта, с годами несколько отяжелевший, важно принимал от встречаемых, и молодых и старых, подобающую дань уважения к своему бархагному полукафтанию и золотой цепи. Равно и перед признанной красотой его дочери, хотя и спрятавшейся

под покров скрина (нечто вроде мантильи, какую носят во Фландрии), склонялись, обнажая головы, и старые и молодые.

Отец и дочь шли рука об руку, а по пятам за ними следовал высокий, стройный юноша в одежде йомена, самой простой, но выгодно обрисовывавшей его изящный стан, тогда как шотландская алая шапочка как нельзя лучше шла к его красивому лицу в рамке густых кудрей. При нем не было другого оружия, кроме трости, так как лицам его состояния (он был подмастерьем у старого Гловера) не полагалось показываться на улице с мечом или кинжалом у пояса — это почитали своим исключительным правом «джекмены», то есть воины-прислужники знатных господ. В свободное от работы время он сопровождал хозяина в качестве слуги или телохранителя; но нетрудно было заметить по его ревностному вниманию к дочери хозяина, что он охотней оказал бы добрую услугу Кэтрин Гловер, чем ее отцу. Впрочем, юноше так и не пришлось показать свое усердие: общее всем чувство уважения побуждало прохожих почтительно уступать дорогу отцу и дочери.

Но вот чаще замелькали в толпе стальные шлемы, береты и перья сквайров, лучников и конных латников; носители этих воинских знаков отличия вели себя куда грубее, чем горожане. Не раз, когда такая особа нечаянно или, может быть, в кичливом сознании своего превосходства на ходу оттесняла Саймона от стены, молодой провожатый перчаточника сразу вызывающе мерил невежу взглядом, как будто рвался доказать на деле свою пламенную готовность услужить госпоже. И каждый раз Конахара — так звали юношу — одергивал его хозяин, давая понять, что нечего ему лезть в драку, пока не приказали.

— Глупый мальчишка! — сказал он — Или ты мало пожил в моем доме? Неужели ты до сих пор не усвоил, что удар порождает ссору. . что клинок режет кожу так же быстро, как игла прокалывает замшу... и что я люблю мир, хотя никогда не боялся войны, и мне неважно, пройдем мы с дочерью ближе к стене или подальше, лишь бы идти нам тихо и мирно?

В свое оправдание Конахар заявил, что ему дорога честь его хозяина. Но этим он ничуть не успокоил старика.

— Что нам честь?— сказал Саймон Гловер.— Если хочешь остаться у меня на службе, думай о честности, а о чести пусть хлопочут хвастливые дураки, которые носят сталь на пятках и железо на плечах. Если тебе охота щеголять таким убором — милости просим, но не в моем доме и не при мне.

Конахара эта отповедь не утихомирила, а только пуще распалила; но поданный молодою хозяйкой знак — если и впрямь можно было так истолковать чуть поднятый ею мизинец — подействовал сильнее, чем сердитый укор хозяина: юноша сразу утратил воинственный вид, казавшийся для него естественным, и превратился в простого слугу миролюбивого горожанина.

Между тем их небольшую группу догнал худощавый молодой человек, закутанный в плащ, которым он прикрыл или затенил часть лица, как нередко делали в ту пору кавалеры, когда хотели остаться неузнанными или пускались в поиски приключений. Словом, всем своим видом он как бы говорил окружающим: «Сейчас я не желаю, чтобы меня узнавали или обращались ко мне так, точно понимают, кто я. Но я ни перед кем не должен держать ответ, а потому свое инкогнито я храню лишь для видимости, и меня не беспокоит, разгадали вы его или нет». Он поравнялся с Кэтрин, державшей под руку отца, и, замедлив шаг, пошел рядом с нею с правой стороны, как бы присоединяясь к их компании.

— Доброго вечера вам, хозяин.

— Благодарю, ваша милость, пожелаю того же и вам... Но разрешите попросить вас пройти мимо... Мы идем слишком медленно для вашей светлости... и наше общество слишком низко для сына вашего отца.

— Сын моего отца лучше может об этом судить, почтенный! Мне нужно потолковать кое о чем с вами и с моей прекрасной святой Екатериной — самой прелестной и самой упрямой святой, какая числится в святцах.

— Почтительно напомню вам, милорд, — сказал старый мастер, — что нынче канун Валентинова дня, когда о делах толковать не годится. Пожалуйста, передайте мне через своих людей пожелания вашей милости, и я во всякое время готов вам услужить.

— Сейчас самое подходящее время, — сказал настойчивый юноша, которому его высокое звание позволяло, как видно, ни с кем не церемониться. — Я хочу знать, готов ли тот камзол из буйволовой кожи, который я заказал на днях... А от вас, любезная Кэтрин, — тут он понизил голос до шепота, — я хочу услышать, потрудились ли над ним, как вы мне обещали, ваши нежные пальчики. Но к чему спрашивать? Ведь бедное мое сердце чувствовало укол каждый раз, когда вы делали стежок, расшивая шелком одежду, которая будет покрывать мою грудь. Предательница, как ты ответишь за то, что подвергла пытке сердце, полюбившее тебя так горячо?

— Милорд, — сказала Кэтрин, — я вас убедительно прошу не продолжать эти безумные речи; вам не подобает их говорить, а мне — слушать. Мы люди невысокого звания, но честного обычая, а присутствие отца должно бы защитить девушку от такого обращения — даже со стороны вашей светлости.

Она проговорила это так тихо, что ни отец, ни Конахар не могли разобрать ее слова.

— Хорошо, мой тиран, — ответил настойчивый искатель, — я не стану вам больше докучать, только позвольте мне увидеть вас в вашем окне завтра на рассвете, едва лишь солнце выглянет из-за восточного холма, — дайте мне право быть этот год вашим Валентином.

— Ни к чему это, милорд. Отец совсем недавно говорил мне, что ястреб (а орел тем более) никогда не возьмет себе в подруги скромную коноплянку. Подарите своим вниманием какую-нибудь придворную даму, которой ваш выбор будет к чести, меня же, позвольте мне, ваше высочество, сказать правду, — меня он может только опозорить.

Пока велся этот разговор, они подошли к воротам церкви.

— Полагаю, милорд, здесь вы позволите нам распрощаться с вами? — сказал отец. — Вам, я вижу, не очень-то хочется поступиться своим удовольствием ради того, чтобы избавить от огорчений и тревог таких людей, как мы. Но по тому, сколько слуг столпилось у ворот, вы поймете, ваша милость, что в церкви есть и другие, кому даже и вы, милорд, должны оказывать почтение.

— Да... почтение! А кто окажет это почтение мне? — сказал высокомерный вельможа. — Жалкий ремесленник и его дочь, для которых даже крупица моего внимания — слишком высокий почет, нагло заявляют мне в лицо, что мое внимание для них позор! Ну, моя королева белой замши и голубого шелка, ты у меня расквасеешься!

Пока он бормотал это себе под нос, Гловер с дочерью вошли в доминиканскую церковь, а их провожатый Конахар, стараясь не отстать, задел плечом — быть может, не совсем непреднамеренно — молодого вельможу. Рыцарь, потревоженный в своем неприятном раздумье и, верно, усмотрев тут нарочитое оскорбление, схватил юношу за грудь, притянул к себе, ударил и отбросил прочь. Рассерженный противник, еле оправившись, схватился за бок, точно ища меч или кинжал на том месте, где их обычно носят. Но, не найдя ни того, ни другого, он в бессильной ярости махнул рукой и вошел в церковь. Эти несколько секунд его замешательства молодой вельможа стоял, скрестив руки на груди, и надменно улыбался, точно приглашая его показать, на что он способен. Когда же Конахар вошел в церковь, его противник тщательней прикрыл лицо плащом и поднял над головой перчатку, подавая кому-то условный знак. Тотчас к нему подлетели два человека, которые, так же закрываясь плащами, ждали поодаль сигнала. Они озабоченно пошептались; потом вельможа удалился в одну сторону, а его друзья или приспешники — в другую.

Входя в церковь, Саймон Гловер бросил взгляд на их группу, однако, раньше чем они разошлись, он уже занял место среди молящихся. Он преклонил колена с видом человека, отягченного горькими мысля-

ми; но, когда служба пришла к концу, он, казалось, освободился от тревоги, как бывает у того, кто уверился в своих заботах божьему промыслу.

В церкви собралось много знатных кавалеров и дам, и обедню служили с пением, торжественно. Ждали даже самого Роберта III, но приступ недуга, какому он был подвержен, помешал доброму старому королю присутствовать, как обычно, на службе. Когда молящиеся разошлись, Гловер и его красавица дочь задержались у исповедален, чтобы принести покаяние своим духовникам. Так и случилось, что была уже темная ночь и глухо вокруг, когда они по опустелым улицам возвращались к своему жилищу. Большинство горожан давно пришли домой и легли спать. По пути встречались только полуночники да бражники, чванливые и праздные слуги надменной знати, не стеснявшиеся оскорблять мирных прохожих в расчете на безнаказанность, какою они пользовались благодаря влиянию своих господ при дворе.

Быть может, опасаясь встречи с подобным обидчиком, Конахар, подступив к перчаточнику, сказал:

— Хозяин, прибавьте шагу: нас преследуют.

— Преследуют, говоришь? Кто и сколько их?

— Один человек. Закутался в плащ и идет за нами как тень.

— У себя на Кэрфью-стрит я из-за одного человека, кто бы он ни был, не ускорю шаг.

— Но он при оружии, — сказал Конахар.

— Мы тоже, и есть у нас руки и ноги. Неужели, Конахар, ты боишься одного противника?

— Боюсь? — вскричал Конахар, возмущенный таким обвинением. — Вот сейчас увидите, как я его боюсь!

— Теперь ты хватил в другую сторону, глупый мальчишка! Не можешь ты держаться середины. Случай не тот, чтобы лезть нам в драку, хоть мы и не победим. Ступай с Кэтрин вперед, а я заступлю твое место. Так близко от дома нам не может грозить никакая опасность.

Перчаточник пошел позади и действительно увидел человека, который следовал за ними чуть ли не

по пятам; что в таком месте и в такой час не могло не вызвать опасений. Когда они перешли на другую сторону улицы, так же поступил и незнакомец, и стоило им ускорить или замедлить шаг, он тотчас делал то же. Это ничуть не озаботило бы Саймона Гловера, будь он один. Но в стране, где человек, неспособный сам себя защитить, не очень-то мог положиться на закон, красота Кэтрин могла послужить приманкой для какого-нибудь распутника, замыслившего недоброе. Когда Конахар и вверенная ему красавица достигли наконец порога своего дома и старуха служанка раскрыла перед ними дверь, у мастера отлегло от сердца. Решив, однако, проверить, была ли и впрямь причина для тревоги, он окликнул прохожего, который своим поведением внушал ему беспокойство, а теперь остановился на месте, хотя старался, видимо, держаться в тени.

— А ну, приятель, выходи вперед, нечего в прятки играть! Или ты не знаешь, что того, кто бродит, как призрак, в потемках, заклиняют дубиной? Выходи вперед, говорю, и покажись, каков ты есть!

— Что ж, я готов, мастер Гловер,— отозвался низкий, полновзвучный голос.— Могу выйти на свет таким, каков я есть, но хотелось бы мне казаться приглядней.

— Бог ты мой! — вскричал Саймон. — Мне ли не узнать этот голос!.. Так это ты, в собственном своем обличье, Гарри Гоу?.. Разрази меня гром, если ты пройдешь мимо этой двери, не промочив горла! Нет, милоч, еще не отзвонил вечерний звон, а и отзвонил бы — нет такого закона, чтоб он разлучал отца с сыном. Заходи, милоч! Дороти спроворит нам чего-нибудь поесть, и мы разопьем жбан, перед тем как тебе уйти. Заходи, говорю; моя Кейт рада будет тебя повидать.

К этому времени он уже втащил человека, которого так сердечно приветствовал, прямо в кухню, служившую, впрочем, кроме особо торжественных случаев, также столовой и гостиной. Ее украшали начищенные до блеска оловянные блюда и две-три серебряные чаши, расставленные по полкам, составляв-

шим некое подобие буфета, или в просторечье «горки». Добрый огонь да яркая лампа разливали вокруг веселый свет и тепло, а вкусный запах кушаний, которые готовила старуха Дороти, отнюдь не оскорблял неизбалованного обоняния проголодавшихся людей.

Непрощеный провожатый стоял теперь среди них на полном свету, и, хоть он не отличался ни красотой, ни особой величавостью, лицо его и фигура были не только примечательны, но чем-то настойчиво привлекали к себе внимание. Росту он был скорее ниже среднего, но широкие плечи, длинные и крепкие руки, весь его мускулистый склад говорили о необычайной силе, которую, видно, поддерживало постоянное упражнение. Был он несколько кривоног, но не настолько, чтоб это можно было назвать телесным недостатком; напротив, этот недочет, казалось, отвечал мощному телосложению, хоть и нарушал его правильность. Гость был одет в полукафтанье буйволовой кожи, а на поясе носил тяжелый меч и нож, или кинжал, словно предназначенный защитить кошелёк, который, по городскому обычаю, был прикреплен к тому же поясу. На круглой, очень соразмерной голове курчавились черные густые, коротко подстриженные кудри. Темные глаза смотрели смело и решительно, но в остальных чертах лица сквозила застенчивая робость в сочетании с добродушием и откровенной радостью встречи со старыми друзьями. Лоб Генри Гоу, или Смита (его звали и так и этак),¹ — когда на него не ложилось, как сейчас, выражение робости — был высок и благороден; но нижняя половина лица отличалась менее счастливой лепкой. Крупный рот сверкал крепким рядом красивых зубов, вид которых отлично соответствовал общему впечатлению доброго здоровья и мощной силы. Густая короткая борода и усы, недавно заботливо расчесанные, довершали портрет. Лет ему могло быть не более двадцати восьми.

Вся семья была, как видно, рада старому другу. Саймон Гловер опять и опять крепко пожимал ему

¹ «Гоу» на гэльском языке, как «смит» на английском, означает «кузнец». (Прим. автора.)

руку, Дороти говорила приветливые слова, а Кэтрин непринужденно протянула руку, которую Генри принял в свою тяжелую лапу, собираясь поднести к губам, но после минутного колебания оставил свое намерение из страха, как бы такую вольность не истолковали вкривь. Не то чтобы ему почудилось сопротивление в легкой ручке, неподвижно лежавшей на его ладони, но улыбка и разлившийся по девичьей щеке румянец, казалось, удвоили смущение молодого человека. Подметив, что друг его колеблется, Гловер закричал от всей души:

— В губы, приятель! В губы! Не каждому, кто переступит мой порог, я сделал бы такое предложение. Но, клянусь святым Валентином в канун его праздника, я так рад видеть тебя вновь в славном городе Перте, что, кажется, ни в чем тебе не отказал бы.

Кузнец (могучий горожанин, как ясно из сказанного, был по ремеслу кузнец), получив такое поощрение, сдержанно поцеловал красавицу в губы, а та приняла поцелуй с ласковой улыбкой, скромной, как улыбка сестры, но при этом сказала:

— Я надеюсь, что мы приветствуем в Перте друга, который вернулся к нам раскаявшимся и лучшим, чем был.

Смит держал ее за руку и, казалось, хотел ответить, но затем, точно вдруг оробев, разжал пальцы. Отступив на шаг, как бы в страхе перед тем, что сделал, он зарделся от стыда и удовольствия и сел у огня, но не рядом с Кэтрин, а напротив.

— Ну-ка, Дороти, поторопись со стряпней, хозяйюшка. Ты же, Конахар... Но где же Конахар?

— Лег спать, сударь, у него разболелась голова, — неуверенно объяснила Кэтрин.

— Ступай позови его, Дороти, — сказал старый Гловер. — Я не позволю ему так вести себя со мной! Он, видите ли, горец, и его благородная кровь не позволяет ему расстилать скатерть и ставить блюдо на стол! Мальчишка вообразил, что может вступить в наш древний и почтенный цех, не послужив должным образом своему хозяину и учителю по всем правилам

честного повиновения! Ступай позови его. Я не позволю ему так передо мной заноситься!

Дороти, крихтя, полезла по лестнице — вернее сказать, по стремянке — на чердак, куда строптивый ученик удалился так не вовремя. Послышалось брюзжание, и вскоре в кухню сошел Конахар. Его надменное, хоть и красивое лицо горело угрюмым затаенным жаром, и, когда он принялся накрывать на стол и расставлять судки с солью, пряностями и прочими приправами — словом, исполнять обязанности современного лакея, которые обычай тех времен возлагал на ученика, — весь его вид говорил, как он возмущен и как презирает это навязанное ему низменное занятие. Кэтрин смотрела на него с тревогой, как будто опасаясь, что его откровенная злоба усилит негодование отца; но только когда ее глаза перехватили на миг взгляд Конахара, юноша соизволил скрыть свою досаду и, услужая хозяину, принял смиренный вид.

Здесь уместно отметить, что хотя во взгляде, который Кэтрин Гловер бросила тайком на юного горца, отразилось беспокойство, едва ли внимательный наблюдатель подметил бы в ее отношении к юноше что-либо сверх того, что может чувствовать молодая девушка к товарищу и ровеснику, с которым она находится в постоянном и тесном общении.

— Ты долго странствовал, сынок, — сказал Гловер, как всегда обращаясь к молодому ремесленнику с этим ласковым словом, хотя вовсе не состоял с ним в родстве. — И, зная, немало рек повидал ты, кроме Тэя, немало красивых городов, помимо нашего Сент-Джонстона.

— Но ни одна река, ни один город и наполовину так не полюбились мне, как Тэй и Перт, да и наполовину так не стоят любви, — ответил Смит. — Уверю вас, отец, когда я проходил Вратами Судьи и увидел наш город, раскинувшийся предо мной во всей своей красе, точно прекрасная королева из романа, которую рыцарь находит спящей среди цветов на лесной поляне, я почувствовал себя как птица, когда она складывает усталые крылья, чтобы опуститься в свое гнездо.

— Эге! Ты, стало быть, не прочь изобразить собою поэта? — сказал Гловер. — Что ж, опять заведем наши танцы и хороводы? Наши славные рождественские песни и веселый пляс вокруг майского дерева?

— Для забав еще придет пора, отец, — сказал Генри Смит. — Но пусть рев мехов и стук молота по наковальне — грубоватый аккомпанемент к песням менестреля, я другою музыкой не могу сопровождать их, раз я должен, хоть и слагаю стихи, еще и наживать добро.

— Правильно говоришь! Воистину ты мой сын, — ответил Гловер. — Вижу, тебе удалось кое-что припасти для дальней дороги?

— Наоборот, отец, во время странствия мне удалось неплохо заработать — я продал за четыреста марок свой стальной панцирь, тот, что вы у меня видели. Его взял у меня большой английский начальник, страж восточного рубежа — сэр Магнус Редмен,¹ и уплатил мою цену сполна, не торгуясь, когда я дал ему ударить по панцирю со всего размаха мечом. А нищий вор из Горной Страны, когда приценивался к нему, поскупился, не давал мне и двухсот марок, хотя я положил на этот панцирь целый год труда.

— Что это ты вздрогнул, Конахар? — сказал Саймон, обращаясь, как бы между прочим, к горцу-ученику. — Пора тебе научиться делать свое дело, не прислушиваясь к тому, что говорят вокруг! Ну что тебе, если какой-то англичанин нашел дешевой вещь, которая шотландцу показалась слишком дорогой?

Конахар хотел ответить, но, подумав, потупил взгляд и постарался вернуть себе самообладание, покинувшее его, когда кузнец в пренебрежительном тоне заговорил о покупателе из Горной Страны. Генри между тем продолжал, не обращая внимания на юношу:

— А в Эдинбурге я мимоездом продал не без выгоды несколько мечей и кинжалов. Там ждут войны,

¹ Сэр Магнус Редмен был одно время правителем Берика. Он пал в одном из пограничных сражений, последовавших за изменой графа Марча, о которой упоминается ниже. (Прим. автора.).

и, если угодно будет богу послать ее, мой товар оправдает свою цену. Поблагодарим святого Дунстана — он и сам занимался нашим ремеслом. Словом, этот мой приятель, — тут кузнец положил руку на свой кошелек, — был, как вы знаете, довольно тощ и невзрачен четыре месяца назад, когда я пустился в путь, теперь же стал толстым и круглым, как шести-недельный поросенок.

— А этот твой дружок в кожаной одежде да с железной рукоятью — вот он висит рядышком, — он, что же, все время оставался праздным? Ну-ка, мой добрый Смит, признайся по чести, сколько было у тебя драк с той поры, как ты переправился через Тэй?

— Вы обижаете меня, отец, когда задаете такой вопрос, — ответил оружейник, глянув на Кэтрин, — и подумать только, при ком! Я, правда, кую клинки, но пускать их в дело предоставляю другим. Да, да! Я редко держу в руке обнаженный меч, если только не повертываю его на своей наковальне или на точиле; и люди напрасно меня очернили перед вашей дочерью Кэтрин, наговорив, будто я, тихий, мирный горожанин Перта, — драчливый буян и задира! Пусть выйдет вперед самый храбрый из моих клеветников и повторит мне такие слова под Кинноулским холмом, да чтоб не было на поле никого, кроме нас двоих!

— Вот, вот! — засмеялся Гловер. — Тут бы ты и показал нам образец своего терпения и миролюбия... Честное слово, Генри, не строй из себя тихоню — я же тебя знаю! И что ты косишься на Кейт? Точно она не понимает, что в нашей стране человек должен собственной рукой оборонять свою голову, если хочет спать спокойно! Ну, ну! Разрази меня гром, ежели ты не попортил столько же доспехов, сколько выко-вал.

— И то сказать, отец Саймон, плох тот оружейник, который не умеет сам проверить, чего стоит его мастерство. Если бы мне не случалось время от времени расколоть мечом шлем или кольчугу, я не знал бы, какую крепость должен я придавать своим

изделиям; я бы тогда склеивал кое-как картонные игрушки вроде тех, что не совестятся выпускать из своих мастерских эдинбургские кузнецы.

— Эге, ставлю золотую крону, что у тебя по этому поводу вышла в Эдинбурге ссора с каким-нибудь жги-ветром.¹

— Ссора! Нет, отец, — ответил пертский оружейник, — я только, сказать по правде, скрестил мечи с одним из них на утесах Святого Ленарда во славу моего родного города. Вы, надеюсь, не думаете, что я способен затеять ссору с собратом по ремеслу?

— Понятно, нет. Но как же вышел из этого дела твой собрат по ремеслу?

— А как может выйти из доброй драки человек, ежели грудь у него прикрыта листом бумаги? Он, вернее сказать, и не вышел, когда я с ним расстался: он лежал в келье отшельника, ожидая со дня на день смерти, и отец Джервис сказал, что раненый приговаривал к ней по-христиански.

— Так... Ну, а больше ты ни с кем не скрестил клинка? — спросил Гловер.

— Да не без того. Я еще подрался с одним англичанином в Берике. У нас опять вышел с ним спор о верховенстве, как у них это зовется (вы, надеюсь, не станете меня корить за эту драку?), и мне посчастливилось ранить его в левое колено.

— Ну что ж, не худо, да благословит тебя святой Андрей!.. А с кем ты еще имел дело? — сказал со смехом Саймон, радуясь подвигам своего миролюбивого друга.

— В Торвуде я подрался с одним шотландцем, — ответил Генри Смит. — Мы поспорили, кто из нас лучше владеет мечом, а этого, сами понимаете, без пробы не узнаешь. Бедняга потерял два пальца.

¹ Жги-ветер — старинное название кузнеца, встречающееся и у Бернса:

Жги-ветер грянул, словно гром,
На каждого из них.

(Прим. автора.)

— Не худо для самого тихого мальчугана в Перте, который и в руки не берет меча, разве что когда повертывает его под молотом... А что еще ты можешь рассказать нам?

— Пустяк — отлупил одного горца, но это дело такое, что и говорить не стоит.

— За что же ты его отлупил, о миролюбец? — спросил Гловер.

— Сейчас и не упомяну, — ответил Смит. — Может, просто за то, что повстречался с ним по южную сторону Стерлингского моста.

— Отлично! Пью за твое здоровье! Ты мне вдвойне любезен после всех этих подвигов... Конахар, пощевеливайся! Наполняй нам чаши, паренек, да налей и себе темно-золотого, мой мальчик.

Конахар с подобающим почтением налил доброго пива хозяину и Кэтрин. Но, сделав это, поставил кувшин на стол и уселся.

— Это что такое?.. Где же твоя учтивость? Налей моему гостю, почтеннейшему мастеру Генри Смиту.

— Пусть мастер Смит сам себе наливает, если хочет пить, — ответил юный кельт. — Сын моего отца и так достаточно стерпел унижений для одного вечера.

— Раскукарекался петушок! — сказал Генри. — Но в одном ты прав, малец: тому впору помереть от жажды, кто не может выпить без прислужника.

Хозяин, однако, не пожелал принять так снисходительно выходку упрямого подмастерья.

— Слово мое тому порукой и лучшая перчатка, какую только я сделал, — сказал Саймон, — ты ему нальешь из этого кувшина в эту чашу, или не жить мне с тобой под одной крышей!

Услышав такую угрозу, Конахар угрюмо встал и, подойдя к Смиту в ту минуту, когда тот только что взял кружку в руку и поднес ее ко рту, умудрился споткнуться и так незадачливо его толкнуть, что пенящееся пиво расплескалось по лицу, шее и одежде гостя. Смит, несмотря на воинственные наклонности, по природе своей был добродушен, но такую наглость он стерпеть не мог. Когда Конахар, споткнувшийся нарочно, хотел уже выпрямиться, кузнец

крепко схватил его за горло — оно оказалось как раз под рукой — и отшвырнул его от себя со словами:

— Случись такое в другом месте, висельник, я оторвал бы тебе напрочь уши, как уже делал не раз с молодцами из твоего клана!

Конахар вскочил на ноги с быстротой тигра, крикнул: «Больше тебе этим не похвастаться!» — выхватил из-за пазухи короткий острый нож и, бросившись на Смита, попытался всадить клинок ему в шею над ключицей. Успей он в этом, рана была бы смертельной. Но тот, кто разжег его ярость, был готов к самозащите и вовремя подбил снизу руку нападавшего, так что лезвие скользнуло по кости, оставив лишь глубокую царапину. Выдернуть у мальчишки кинжал и для безопасности схватить его за руки железной хваткой, мощной, как тиски, для силача кузнеца было делом одного мгновения. Конахар почувствовал себя сразу в полной власти грозного противника, которого сам же распалил. Только что пунцово-красный, он смертельно побледнел и стоял, онемев от стыда и страха, пока Смит, несколько ослабив хватку, не сказал спокойно:

— Твое счастье, что ты не можешь меня рассердить: ты еще мальчик, а я — взрослый мужчина и не должен был тебя раззадоривать. Но пусть это послужит тебе предостережением.

Конахар хотел было ответить, но смолчал и вышел вон из комнаты, прежде чем Саймон опомнился настолько, что мог заговорить. Дороти металась туда-сюда, хлопоча с притираниями и целебными травами. Кэтрин, едва увидев проступившую кровь, потеряла сознание.

— Я пойду, отец Саймон, — мрачно сказал Генри Смит. — Мне бы угадать наперед, что опять, по злему счастью моему, за мною притащатся брань и кровопролитие, когда я хотел бы внести в этот дом только мир и счастье. Не беспокойтесь обо мне — посмотрите на бедную Кэтрин: драка напугала ее чуть не до смерти, и все по моей вине.

— По твоей вине, сынок?.. Виноват этот горец-катеран,¹ будь он трижды проклят! Но завтра же он вернется в свои ложины, или придется ему познакомиться с нашей пертской тюрьмой. Покуситься на жизнь гостя в доме своего хозяина! Это разрывает между нами все узы... Дай мне, однако, взглянуть на твою рану.

— Кэтрин! — повторил оружейник. — Взгляните на Кэтрин!

— О ней позаботится Дороти, — сказал Саймон. — Неожиданность и страх не убивают насмерть. Иное дело — кинжал или нож. И если она — моя дочь по крови, ты, дорогой Генри, сын моего сердца. Дай мне осмотреть рану. Скин-окл² — зловердное оружие в руке горца.

— Для меня он значит не больше, чем коготь дикой кошки, — сказал оружейник, — и сейчас, когда на щеки Кэтрин вернулся румянец, я и сам, увидите, мигом поправлюсь.

Он прошел в угол, где висело маленькое зеркальце, и, быстро вынув из кошелька немного корпии, приложил ее к порезу. Когда он, расстегнув кожаную куртку, обнажил шею и плечи, их мужественная мускулистая лепка удивила бы хоть кого, но еще неожиданней показалась нежность кожи, разительно белой там, где она не загорела, как на лице и руках, под ветром и солнцем или под жарким дыханием горна. Быстро остановил он корпией кровь и, смыв водой все прочие следы схватки, снова застегнул свою куртку и вернулся к столу, за которым, все еще дрожа, сидела Кэтрин, бледная, но уже оправившаяся после обморока.

— Простите ли вы меня за то, что я, едва воротился домой, тотчас нанес вам обиду? Мальчишка глупо сделал, раздражив меня, но я оказался еще глупее, дав раззадорить себя такому, как он. Ваш

¹ Катеранами, или разбойниками, обычно называют кельтов в местностях, пограничных с землями сассенахов. Красивое озеро Тросак получило, говорят, свое название благодаря обычаям, принятым среди обитателей его берегов (*Прим. автора.*)

² Скин-окл (то есть «нож под мышкой») — стилет шотландского горца. (*Прим. автора.*)

отец не бранит меня, Кэтрин; может быть, и вы меня простите?

— Я не вольна прощать, — отвечала Кэтрин, — там, где не вправе обижаться. Если моему отцу угодно превращать свой дом в место ночных свар, я, хочешь не хочешь, должна при них присутствовать. Может быть, дурно с моей стороны, что я лишилась чувств и тем как будто помешала продолжению схватки. В свое оправдание могу сослаться лишь на то, что совсем не переношу вида крови.

— Так вот как ты встречаешь моего друга после долгого отсутствия! — рассердился ее отец. — Друга, сказал я? Нет, моего сына! Его едва не зарезал человек, которого я завтра же прогоню из нашего дома, а ты разговариваешь с ним так, точно он провинился, когда отшвырнул от себя змею, норовившую его ужалить!

— Я не берусь, отец, — возразила девушка, — рассудить, кто прав и кто виноват в этой драке. Я даже не сумела разобрать, кто напал, а кто защищался. Но, конечно, наш друг мастер Генри не станет отрицать, что он только и дышит борьбою, кровью и ссорами. Он не может слышать о другом оружейнике, не ревнуя его к своей доброй славе, и должен непременно подвергнуть его доблесть испытанию. А когда видит драку, непременно должен в нее вмешаться. Если перед ним друзья, он с ними дерется из любви и ради чести, если враги — из ненависти и ради мести. А если не друзья и не враги, он с ними дерется потому, что они оказались на том или на этом берегу реки. Дни его жизни — дни битвы, а по ночам он, верно, повторяет свои подвиги во сне.

— Дочка, — сказал Саймон, — ты слишком бойка на язык! Споры и драки — мужское дело, не женское, и не пристало девице думать или говорить о них.

— Но если мы против воли становимся их свидетельницами, — возразила Кэтрин, — трудно ждать от нас, чтобы мы думали и говорили о чем-нибудь другом. Я поручусь вам, отец, что этот доблестный горожанин из Перта — чуть ли не самый добрый человек из всех, кто проживает в стенах нашего города, что

он скорее согласится сделать крюк в сто ярдов, чем наступит на червя; что умышленно убить паука ему так противно, как если бы он, кузнец, был родичем светлой памяти короля Роберта;¹ что перед своим путешествием он подрался в последний раз с четырьмя мясниками, которые хотели зарубить несчастную дворнягу, в чем-то провинившуюся на бойне, и сам едва избежал той участи, какая угрожала псу. Я поручусь к тому же, что никогда бедняк не пройдет мимо дома богатого оружейника, не получив еды и подавания. Но что в том проку, если его меч плодит столько же голодных вдов и сирот, сколько их одаривает его кошелек?

— Да нет же, Кэтрин, послушай сперва, что скажет тебе отец, а потом обрушивайся на моего друга с упреками, которые звучат как будто бы разумно, но на деле не вяжутся ни с чем, что творится вокруг нас. На что же, — продолжал Гловер, — съезжаются смотреть король со всем своим двором, и наши рыцари и дамы, и даже сами наши аббаты, монахи и священники? Не на то ли, как будут вершиться перед ними доблестные бои храбрых рыцарей на арене турнира? И разве не оружием и кровопролитием добываются там честь и слава? Чем же то, что творит в своем кругу наш добрый Генри Гоу, отлично от деяний этих гордых рыцарей? Слышал ли кто, чтобы он когда-либо употреблял во зло свое искусство и силу — чинил бы кому-либо вред, угнетал бы кого? И кто не знает, как часто применял он их в защиту правого дела и на пользу родному городу? И не должна ли ты мнить себя отмеченной славой и почетом, когда тебе, из всех женщин, отдано такое сердце

¹ Читателям Барбора хорошо знакома история о том, как Брюс в трудную пору своей жизни наблюдал однажды за повисшим близ его кровати пауком, который упорно повторял безуспешную попытку укрепить обрывающуюся нить паутины и в конце концов добился своего, и как Брюс усмотрел в этом доброе предзнаменование, поощрявшее его неотступно идти к своей цели, несмотря на все превратности судьбы. Впоследствии для каждого, кто носил имя Брюса или в чьих жилах текла кровь короля Роберта Доброго, обидеть паука считалось гнусным преступлением. (Прим. автора.)

и такая сильная рука? Чем самые высокородные дамы гордятся превыше всего, если не отвагой своих рыцарей? И разве самый доблестный муж в Шотландии больше совершил славных дел, чем мой сын Генри, хоть он и невысокого сословия? Разве не известен он и в Горной Стране и в Низине как лучший оружейник, когда-либо ковавший меч, и самый храбрый воин, вынимавший его из ножен?

— Дорогой мой отец! — отвечала Кэтрин. — Если разрешается дочери это сказать, вы сами себе противоречите. Благодарите бога и его святых, что мы — люди мирной жизни и что на нас даже и не смотрят те, кого их знатность и гордость склоняют искать себе славы в злых делах, именуемых у знатных и надменных рыцарством. Ваша мудрость признает, что нелепо нам было бы рядиться в их пышные перья и блестящие одежды, — зачем же нам усваивать их пороки? К чему нам перенимать бессердечную гордость и нещадную жестокость знати, для которой убийство — не только забава, но и предмет тщеславного торжества? Пусть те, кто рождены для этой кровавой чести, гордятся и услаждаются ею, мы же, не проливавшие крови, можем с чистым сердцем сострадать их жертвам. Слава богу, что мы — невысокого рода, это спасает нас от искушения. Но извините меня, отец, если я преступила свой дочерний долг, оспаривая ваши взгляды, которые разделяет множество людей.

— Нет, дочка, ты для меня слишком речиста, — сказал отец, несколько рассерженный. — Я всего лишь бедный ремесленник, я только и умею различить, какая перчатка на левую руку, какая на правую. Но если ты и впрямь хочешь, чтобы я тебя простил, скажи что-нибудь в утешение моему бедному Генри. Он сидит смущенный и подавленный твоею отповедью и этим потоком укоров, он, для кого звук трубы был всегда как приглашение на праздник, сражен погудкой детского свистка.

И в самом деле, оружейник, слушая, как его любезная столь невыгодно расписывает его нравственный облик, скрестил руки на столе и уткнул в них

голову с видом глубокого уныния, чуть ли не отчаяния.

— Я хотела бы, мой дорогой отец,— отвечала Кэтрин,— чтобы небо разрешило мне подать утешение Генри, не погрешив против святой правды, за которую я ратовала только что. Я могла бы — нет, я обязана это сделать,— продолжала она, и так глубок, так проникновенен был ее голос, а лицо светилось такой необычной красотой, что речь ее в ту минуту зазвучала чем-то очень похожим на вдохновение. — Когда языку, даже самому слабому, назначено провозгласить правду божью, ему всегда дозволено, объявляя приговор, возвестить и милосердие... Встань, Генри, воспрянь духом, благородный, добрый и великодушный, хоть и заблудший человек! Твои пороки — это пороки нашего жестокого и безжалостного века, твои достоинства принадлежат тебе самому.

С этими словами она схватила руку кузнеца и вытащила ее из-под его головы. Как ни мягко было ее усилие, Генри Гоу не мог ему противиться: он поднял к ней свое мужественное лицо, а в глазах его стояли слезы, вызванные не только обидой, но и другими чувствами.

— Не плачь,— сказала она,— или нет, плачь... но плачь как тот, кто надеется. Отрешись от двух грехов — гордости и злобы, которые легче всего овладевают тобою... Откинь от себя проклятое оружие — ты слишком легко поддаешься роковому соблазну поднимать его для убийства.

— Вы напрасно говорите мне это, Кэтрин,— возразил оружейник. — Я, правда, могу стать монахом и удалиться от мира, но пока я живу в миру, я должен заниматься своим ремеслом; а коль скоро я кую мечи и панцири для других, я не могу не поддаться соблазну пустить их в дело. Вы бы не корили меня так, когда бы ясно понимали, что воинственный дух неразрывно связан для меня со средствами, которыми я добываю свой хлеб; а вы мне ставите его в вину, забывая, что он порожден неизбежной необходимостью! Когда я креплю щит или нагрудник, чтобы они предохраняли от ран, разве не должен я постоянно

помнить, как и с какою силой будут по ним наноситься удары? И когда я кую клинок и закаляю его для войны, возможно ли при этом даже и не вспомнить, как им орудуют?

— Тогда отбрось его прочь от себя, дорогой мой Генри! — с жаром воскликнула девушка, стиснув в обеих своих тонких ручках мощную, тяжелую, натруженную руку оружейника и с трудом ее приподнимая, чему он не противился, но едва ли и помог по добром желанию. — Отринь, говорю я, то искусство, в котором таится для тебя ловушка. Отрекись от него, не выковывай больше вещей, предназначенных для того, чтобы сокращать человеческую жизнь, и так слишком короткую для покаяния; не выделявай и тех, что обеспечивают человеку безопасность и тем самым поощряют его на убийство, тогда как иначе страх помешал бы ему подвергать себя опасности. Для нападения куешь ты оружие или для защиты — все равно это греховно, раз твой буйный и неистовый нрав увлекает тебя при этом в соблазн. Брось навсегда изготовлять оружие какого бы то ни было рода, заслужи у неба прощение, отрекшись от всего, что вводит в грех, к которому ты наиболее склонен.

— А чем же, — пробурчал кузнец, — стану я зарабатывать себе на жизнь, когда откажусь от оружейного искусства, которым Генри из Перта известен от Тэя до Темзы?

— Самому твоему искусству, — сказала Кэтрин, — можно найти применение невинное и похвальное. Когда ты дашь зарок не ковать мечи и панцири, у тебя останется возможность создавать безобидный заступ, и не менее почтенный и полезный сошник, и многое, что помогает поддерживать жизнь и облегчает ее человеку. Ты можешь выделявать замки и засовы, которые оберегают имущество слабых от сильного и наглого. Люди по-прежнему будут приходить к тебе и оплачивать твой честный труд...

Но здесь Кэтрин прервали... Отец слушал до сих пор ее проповедь против войны и турниров не без сочувствия: правда, эти взгляды были новы для него, тем не менее они ему не показались совсем уж невер-

ными. Он, сказать по правде, и сам хотел бы, чтоб его будущий зять не рисковал без нужды головой: обладая редкой отвагой и огромной силой, Генри Смит и впрямь слишком охотно шел навстречу опасности. Поэтому Гловер был бы рад, если бы доводы Кэтрин произвели свое действие на ее почитателя. Ибо Саймон знал, что тот настолько же мягок, когда владеют им добрые чувства, насколько бывает свиреп и неукротим, если подступить к нему с враждебными речами или угрозами. Но тут красноречие дочери пошло вразрез с видами отца; в самом деле, чего ради она вдруг пустилась уговаривать его будущего зятя, чтобы он оставил свое ремесло, дававшее по тем временам в Шотландии всякому, кто был ему обучен, более верную выгоду, чем любой другой промысел, а уж Генри из Перта такой доход, каким не мог похвастаться ни один оружейник в стране! Саймон Гловер гордился дружбой с человеком, который так превосходно владел оружием: отважно им владеть — кто же не кичился этим в тот воинственный век? Но он и сам был бы не прочь отвратить Генри-кузнеца от его обычая чуть что хвататься за меч. Однако когда его дочь стала внушать оружейнику, что быстрее всего он придет к миролюбию, если откажется от выгодного ремесла, в котором он не знал соперников и которое вследствие постоянных войн между государствами и раздоров между частными людьми давало ему большой и верный заработок, — тут Саймон Гловер не мог сдерживать долее свой гнев. Едва Кэтрин посоветовала своему поклоннику заняться изготовлением орудий для сельского хозяйства, как старый Гловер, обретя наконец чувство правоты, которого ему недоставало поначалу, перебил ее:

— Замки и засовы, сошники да бороны!.. А почему не печные решетки, рашперы и калросские пояски? ¹ Да он превратится в осла, который станет возить на себе свой товар по стране, а ты будешь другим

¹ Поясок — тонкая железная посуда, которой пользуются для приготовления излюбленного шотландского лакомства — овсяного кекса. Город Калросс с давних пор славился своими поясками. (Прим. автора.)

ослом, который водит того на поводу. Эх, девочка моя, разум, что ли, покинул тебя? Или ты думаешь, люди в наши дни выложат тебе серебро за что-нибудь, кроме того, что им поможет защитить свою жизнь или убить врага? Нам, мужчинам, нужен меч, чтобы в любую минуту мы могли постоять за себя, глупая ты девчонка, а не плуг, чтобы обрабатывать землю под посев, когда мы, может быть, и не увидим, как он взойдет. А хлеб насущный... Кто силен, тот берет его силой и живет в довольстве; кто слаб, тот его выращивает для других, а сам помирает с голоду. Благо человеку, если он, как мой достойный сын, может добывать свой кусок хлеба иначе, нежели острием того меча, который он кует. Проповедуй ему мир сколько пожелаешь — на это я никогда не скажу тебе «нет», но предлагать первому оружейнику Шотландии, чтоб он бросил ковать мечи, секиры и латы... да это самого терпеливого человека приведет в бешенство! Уходи с моих глаз!.. А утром, если тебе посчастливится увидеть Генри-кузнеца (хоть ты своим обхождением с ним никак того не заслужила), то, прошу тебя, не забывай: перед тобою человек, которому нет равного среди шотландцев в искусстве владеть палашиом и боевой секирой и который может, не нарушая праздников, заработать пятьсот марок в год.

Дочь, выслушав слова отца, сказанные таким повелительным тоном, низко поклонилась и, не промолвив ни слова, удалилась в свою спальню.

Глава III

Кто этот Смит? Пусть рыцарь, лорд, —
но прадед —
Был тот, кто с молотом кузничным ладит.

Верстиган

Сердце оружейника, переполненное самыми противоречивыми чувствами, билось так сильно, что, казалось, вот-вот разорвет кожаное полукафтанье, под которым оно было заключено. Он встал, отвернулся

и не глядя протянул Гловеру руку, точно не желал, чтобы тот прочел на его лице волнение.

— Нет, пусть меня повесят, если я так с тобою расстанусь, друг! — сказал Саймон, хлопнув ладонью по раскрытой руке оружейника. — Я еще добрый час не пожму тебе руку на прощание. Подожди минутку, друг, и я тебе все разъясню, и, уж конечно, две-три капли крови из царапины да два-три словца, оброненных глупой девчонкой, не разлучат отца с сыном, когда они так долго не виделись. Посиди немного, если ты желаешь благословения отца и святого Валентина. Тем более что нынче у нас, как нарочно, канун его праздника.

Вскоре зычный голос Гловера кликнул старую Дороти. Послышался звон ключей, тяжелые шаги вверх и вниз по лестнице, и Дороти предстала наконец пред гостем, неся три больших стакана зеленого стекла — по тем временам редкую и ценную диковину, — а следом явился и сам хозяин с огромной баклагой в руках, вмещавшей добрые три кварты — не то что бутыл наших упадочных дней!

— Отведай этого вина, Генри, оно старей меня раза в полтора. Его прислал в подарок моему отцу верный Краббе, фламандский механик, который так отважно вел защиту Перта в малолетство Давида Второго. У нас, перчаточников, всегда хватает дела во время войны, хоть мы и меньше имеем к ней отношения, чем вы, работающие с железом да сталью. Мой отец сумел удружить старому Краббе — расскажу тебе при случае, чем и как и сколько лет пришлось хранить эти сулеи под землей, чтоб не добрались до них загребушие руки южан. Итак, осуши чашу за упокой души моего почтенного отца — да простятся ему все грехи! Дороти, выпей и ты за помин его души и уходи к себе на чердак. Я знаю, у тебя ушки на макушке, голубушка, но мне нужно сказать Генри Смиту, моему названому сыну, кое-что такое, чего никто, кроме него, не должен слышать.

Дороти не стала спорить и, храбро осушив стакан, или, вернее, кубок, удалилась, как велел хозяин, в свою спаленку. Друзья остались одни.

— Я сожалею, друг Генри, — сказал Саймон, наполняя стаканы себе и гостю, — от всей души сожалею, что моя дочка упорствует в своей нелепой дури; но сдастся мне, ты еще можешь поправить дело. Зачем тебе приходить сюда, бряцая мечом и ножом, коли девчонка по глупости своей не переносит их вида? Забыл ты разве, что вы с нею повздорили еще до твоего отъезда из Перта, потому что ты непременно хотел ходить вооруженным, точно какой-нибудь подлый латник на службе у знатной особы, а не честный и мирный горожанин? Впрочем, и приличному горожанину нередко приходится вооружаться, когда гудит общинный колокол и призывает нас выступить в полном воинском облачении.

— Добрый мой отец, моей вины тут нет. Не успел я сойти с коня, как побежал сюда сказать, что вернулся. Я думал спросить у вас совета, как мне стать на этот год Валентином госпожи Кэтрин, если это не противно будет вашему желанию, и тут я услышал от госпожи Дороти, что вы отправились послушать обедню у Черных Братьев. Вот я и решил пойти туда же — отчасти ради того, чтобы послушать одну с вами службу, отчасти же — да простят мне пречистая дева и святой Валентин! — чтобы взглянуть на ту, которая обо мне и думать не желает... А когда вы входили в церковь, мне показалось, будто два-три опасных с виду человека сговариваются между собой, поглядывая на вас и на нее, и среди них, между прочим, сэр Джон Рэморни, которого я сразу узнал, даром что он переоделся и надвинул бархатный колпак на самые глаза да епанчишку напялил плохонькую, точно у слуги... Вот я и подумал, отец Саймон, что вы для драки стары, а этот щенок из горцев еще слишком молод, так пойду-ка я потихоньку за вами следом, а тою штукой, что висит у меня на боку, я живо образумил бы всякого, кто посмел бы вас побеспокоить. А там, как помните, вы сами углядели меня и затащили к себе. Не получись оно так, уверяю вас, я не показался бы на глаза вашей дочери иначе, как в новом кафтане, сшитом в Берике по новейшему покрою; и не появился бы я перед нею при оружии, ко-

торое так ей противно. Хоть, сказать по правде, из-за разных недоразумений столько людей со мною в смертельной вражде, что мне скорей, чем кому другому в Шотландии, надо расхаживать по вечерам с оружием.

— Глупая девчонка об этом и не думает, — сказал Саймон Гловер. — Не хочет понять, что в нашей дорогой Шотландии каждый почитает своим особливym правом и долгом мстить самому за все свои обиды. Но, Гарри, мальчик мой, позволь мне тебя пожурить: зачем ты так близко принимаешь к сердцу ее речи? Я видел не раз, что с другими девицами ты куда как смел, — что же ты с нею так тих и язык у тебя точно на привязи?

— Потому что она не очень-то похожа на других девиц, отец... Потому что она не только красивей других, но и разумней, выше, недоступней и будто бы вылеплена из лучшей глины, чем все мы, чем всякий, кто смеет к ней приблизиться. У майского дерева я перед девицами лицом в грязь не ударю; но когда подступаю к Кэтрин, я чувствую себя земной, грубой, злой тварью, едва достойной взглянуть на нее, не то что возражать на ее укоры.

— Не выйдет из тебя хорошего купца, Гарри Смит, — отвечал Саймон. — Ты слишком дорого даешь за чужой товар. Кэтрин славная девочка и мне она дочь; но если ты своею робостью и лестью делаешь из нее самодовольную спесивицу, не дожидаться нам, ни тебе, ни мне, исполнения наших желаний.

— Я и сам того порою боюсь, отец, — сказал Смит, — потому что сознаю, как недостойн я Кэтрин.

— А ты ухватись-ка за нитку с другого конца, — сказал Гловер. — Посмотри-ка на дело нашими глазами, друг мой Смит: подумай, нам-то каково, Кэтрин и мне. Подумай, как осаждают бедняжку с утра до ночи и кто осаждают — хоть окна затворяй да дверь запирай! Сегодня к нам подступил один человек — такая высокая особа, что и сказать страшно... Да! И открыто выразил свое недовольство, когда я не позволил ему любезничать с моею дочерью прямо в церкви, пока священник служил обедню. А другие и того безрассудней. Иной раз я готов пожелать, чтобы Кэтрин

была не такой уж красивой и не вызывала этих опасных восторгов; или хоть не такой святой — чтобы стала она обыкновенной женщиной и был бы ей мил верный Генри Смит, который сможет защитить свою жену от любого чванливого рыцаря при шотландском дворе.

— Когда не так, — сказал Генри Смит, простирая руку, такую могучую, что она могла бы принадлежать исполину, — пусть никогда не поднять мне молота над наковальней! Эх, свершиться бы моему желанию, красавица Кэтрин увидела бы тогда, что ничего тут нет худого, если мужчина умеет постоять за себя и за свою жену. Но сдается мне, весь мир в ее глазах — огромный монастырь, и все, кто в нем живет, должны, по ее понятиям, вести себя как на нескончаемой обедне.

— Да, в самом деле, — сказал Гловер, — она оказывает странное влияние на каждого, кто к ней приблизится... Взять хоть этого молодого горца, Конахара, что сидит у меня на шее уже не первый год, — он, ты видел сам, горяч и заносчив, как все его родичи, а Кэтрин, стоит ей палец поднять, сразу подчинится — ей одной, больше никто в доме с ним не сладит! Она положила немало труда, чтоб отвадить его от грубых обычаев Горной Страны.

Гарри Смит заерзал на стуле, поднял свою кружку, опять ее поставил и наконец сказал:

— Черт бы его взял, этого щенка и всех его сородичей горцев! Разве это дело для Кэтрин — наставлять такого парня? С ним будет, как с тем волчонком, которого я попробовал как-то сдуру приручить заместо собаки. Все его похваливали до тех пор, пока в недобрый час я не отправился с ним прогуляться на Монкрифский холм; там он вдруг накинудся на отару лэрда и так похозяйничал, что мне пришлось бы ох как пожалеть, не нуждайся лэрд о ту пору в доспехах. Я только диву даюсь, как это вы, отец Гловер, разумный человек, держите у себя молодого горца — очень, надо признаться, пригожего — и допускаете такую близость между ним и Кэтрин! Точно, кроме вашей дочери, не нашлось бы никого ему в наставницы.

— Фу, сынок, и не стыдно тебе? — укорил друга Саймон. — Вздумал ревновать к несчастному мальчишке, которого я приютил у себя (уж скажу тебе правду), потому что в родных горах ему жилось не сладко.

— Эх, отец Саймон, — возразил Смит, разделявший все предрассудки, свойственные горожанам тех времен, — когда б я не боялся вас обидеть, я сказал бы, что зря вы якшаетесь со всякой шушерой за пределами города.

— Мне надо получать кожу откуда ни на есть, мой милый Гарри, а горцы ее поставляют всякую — оленью, сайгачью, козью, и по сходной цене.

— Еще бы не по сходной, — отрезал Гарри, — торгуют сплошь краденым...

— Ну, ну... пусть даже и так, не мое это дело, где и как они бьют зверя, лишь бы мне кожа была. Словом, я по некоторым соображениям согласился оказать услугу отцу Конахара и взять юношу к себе. Он не настоящий горец и не во всем разделяет грубые воззрения своих сородичей глун-ами. Да к тому же я не часто видел его таким дикарем, каким он себя показал только что.

— Могли бы и вовсе не увидеть, покуда он ненадолго не прирезал бы кого-нибудь, — ответил Смит все так же ворчливо.

— И все же, если ты того желаешь, Гарри, я забуду все прочее и завтра же с утра отправлю бродягу искать себе другое жилье.

— Что вы, отец! — сказал Смит. — Неужели вы полагаете, что Гарри Гоу сколько-нибудь думает об этом щенке, об этой дикой кошке? Да он для меня — что зола из горна! Плевал я на него, уверяю вас, хотя бы весь его клан подступал к Сапожным Воротам¹ с боевым своим кличем и ревом волюнок! Увидав перед собой полсотни мечей и щитов, они, поверьте мне, бросятся назад быстрее, чем пришли. Но признаюсь, хоть и глупые это слова, не нравится мне, что паренек так много бывает с Кэтрин. Не забывайте, отец

¹ Главная улица в Перте (Прим автора.)

Гловер: при вашем ремесле у вас всегда хватает дела для рук и для глаз; вы все внимание должны отдавать работе, даже когда на этого лоботряса вдруг найдет трудолюбие, что случается с ним, вы знаете сами, не часто.

— Что правда, то правда, — сказал Саймон, — он все перчатки кроит на правую руку и еще ни разу в жизни не сработал пары.

— Да, слова «резать кожу» он понимает по-своему, — заметил Генри. — Но, с вашего позволения, отец, я сказал бы так: работает ли он или празднует лентяя, у него глаза не припухли от жара... и руки не в ожогах от раскаленного железа, не загрибели, орудуя молотом... и волосы не порыжели от дыма, что валит из горна, не стали больше похожи на шерсть барсука, чем на то, что пристало доброму христианину покрывать шляпой. Пусть Кэтрин — самая хорошая девушка, какая только жила на свете, а для меня она лучшая из лучших в Перте, — все же она, конечно, понимает, в чем разница между одним мужчиной и другим, и видит, что сравнение не в мою пользу.

— Ну, от всего сердца за твое здоровье, Гарри, сынок! — начал старик, наполняя кубки собеседнику и себе. — Вижу я, что ты хоть и добрый кузнец, а не ведаешь, из какого металла куют женщин. Будь смелее, Генри; держись не так, точно тебя ведут на виселицу, а веселым молодцом, который знает себе цену и не упадет, сраженный насмерть, даже перед самой лучшей внучкой, какой могла когда-либо похвалиться Ева. Кэтрин — женщина, как и ее мать, и ты судил бы глупо, если бы решил, что их всех привлекает только то, что пленяет глаз. Надо пленить еще и слух, друг ты мой; женщине нужно знать, что тот, к кому она благоволит, отважен и полон сил и мог бы снискать любовь двадцати красавиц, хотя домогается ее одной. Поверь старику, женщины больше следуют чужому суду, чем собственному мнению. Если спросит моя Кэтрин, кто самый храбрый мужчина в Перте, кого ей назовут, если не Гарри Смита?.. Кто лучший оружейник, когда-либо ковавший оружие на наковальне?

Опять же он, Гарри Жги-ветер!.. Кто самый лихой плясун у майского дерева?.. Все он, богатырь-кузнец... Сочинитель самых забавных баллад? Да кто, как не Гарри Гоу! А кто у нас первый борец, первый мастер в игре мечом и щитом? Кто король оружейных смотров... укротитель бешеных коней... усмиритель диких горцев? Все ты, ты... не кто иной, как ты!.. Так неужели Кэтрин предпочтет тебе мальчишку из Горной Страны?.. Еще что! Пусть-ка сделает она стальную перчатку из пыжиковой шкуры. Говорю тебе, Ко-нахар для нее ничто. У нее одно желание: не дать черту завладеть законной своей добычей — ни этим пареньком, ни всяким другим уроженцем Горной Страны. Благослови ее господь, мою бедную девочку, она, когда могла бы, весь свет обратила бы к более чистому образу мыслей!

— Ну, здесь-то у нее наверняка ничего не выйдет, — сказал Смит, который, как читатель, верно, заметил, не очень-то благоволил к соседям-горцам. — В этом споре я ставлю не на Кэтрин, а на Старого Ника, своего знакомца, — мы с ним как-никак работаем оба с огнем: черт непременно заполучит горца, уж поверьте!

— Да, но у Кэтрин, — возразил Гловер, — есть союзник, с которым ты мало знаком. За юного голово-реза взялся сейчас сам отец Климент, а этому черт не страшен: ему сто чертей — что для меня стадо гусей.

— Отец Климент? — молвил Смит. — У нас тут что ни день, то новый святой, в богоспасаемом нашем Сент-Джонстоне! Во имя той дубинки, что поколотит всех чертей, объясни ты мне, кто он такой. Какой-нибудь пустынный, который упражняется для своего дела, как борец для арены, и приводит себя в боевую готовность постом и покаянием, — так, что ли?

— В том-то и диво, что нет, — ответил Саймон. — Отец Климент ест, пьет и живет как все мы, грешные, а притом строго соблюдает предписания церкви.

— Ага! Понимаю. Здоровенный поп из тех, что больше помышляют о мирских благах, чем о благостыне: крепко выпивает на проводах мясоеда, чтоб

достойно встретить великий пост; думает *in principio*¹ о наслаждении... и состоит духовником самых красивых женщин в городе.

— Опять ты промахнулся, Смит. Поверь мне, у нас с дочкой верный нюх на ханжу, будь то постник или жирный пустосвят. Но отец Климент ни то и ни другое.

— Так что же он собой представляет, ответьте, ради господа бога!

— Он либо неизмеримо лучше, чем половина всех его собратьев в Сент-Джонстоне вместе взятых, либо же настолько гнусней самого гнусного из них, что грех и позор давать ему пристанище в нашей стране.

— Думается, нетрудно распознать, то ли он или другое, — сказал Смит.

— Удовольствуйся, друг мой, таким разъяснением, — ответил Саймон. — Если судить об отце Клименте по его словам и делам, то нельзя не признать его самым лучшим, самым добрым человеком на земле, подающим каждому утеху в горе, благой совет в трудный час; ты его назовешь надежным водителем богатого, верным другом бедняка. Если же послушать, что говорят о нем доминиканцы, то он, благовоспитанный нас боже, — Гловер истово перекрестился, — злейший еретик, которого следует через земной огонь отправить в огонь преисподней.

Смит тоже перекрестился и воскликнул:

— Пресвятая Мария! Как же это, отец Саймон, вы, такой добрый и разумный — вас люди так и называют: мудрый Гловер из Перта, — а дозволили дочери избрать духовным пастырем человека, который — да оградит нас рать святая! — может быть, состоит в союзе с нечистым! Вспомните, кто, как не священник, вызвал дьявола во время обедни, когда у Ходжа Джексона смело ветром дом?.. А в то утро, когда снесло наш великолепный мост, разве дьявол не явился на середине Тэя, облаченный в стихарь священника, и не прыгал по волнам, как форель?

¹ Прежде всего (лат.).

— Являлся он или нет, сказать не могу, — ответил Гловер. — Знаю только, что я его не видал. А что касается Кэтрин, то никак нельзя утверждать, что она избрала своим духовным пастырем отца Климента, коль скоро ее исповедует старый доминиканец, отец Франциск, и не далее, как сегодня, она получила у него отпущение грехов. Но женщины бывают подчас своевольны, и она — признаюсь тебе — советуется с отцом Климентом чаще, чем мне бы хотелось. Однако когда я сам завожу с ним беседу, он мне представляется таким добрым, святым человеком, что я готов ему доверить и свое спасение. Правда, о нем идет дурная молва среди доминиканцев. Но что до того нам, мирянам, сынок? Наше дело — уплачивать матери-церкви что положено, раздавать милостыню, исповедоваться, приносить, как должно, покаяние, и святые отцы оградят нас от бед.

— И то верно. И они не осудят доброго христианина, — сказал кузнец, — за нечаянный или опрометчивый удар, нанесенный в схватке, когда противник защищался с оружием в руках, а то и сам на тебя напал; только с такою верой и можно человеку жить в Шотландии, как бы ни судила о том ваша дочь. Ей-богу, мужчина должен владеть мечом, или недолго жить ему на свете в стране, где его на каждом шагу подстерегает удар. Пять золотых в церковную казну сняли с меня вину за самого лучшего из тех, с кем в своей жизни я имел несчастье столкнуться.

— Допьем, однако, наш кувшин, — сказал старый Гловер, — на звоннице доминиканцев бьет как будто полночь. Послушай, Генри, сынок: едва начнет светать, стой под окном, что под крышей с восточного фасада нашего дома, и дай мне знать о своем приходе свистом, какой называется у Смита тихим. Я позабочусь, чтобы Кэтрин выглянула в окно, и тогда ты сделаешься ее полноправным Валентином до конца года. А уж если ты не сумеешь воспользоваться этим к своей выгоде, то я стану думать, что, хоть ты и прикрылся львиной шкурой, природа наградила тебя длинными ушами осла,

— Аминь, отец! — сказал оружейник. — Доброй вам ночи, от всего сердца! И да благословит господь ваш кров и тех, кто под ним проживает. Вы услышите призыв Смита, едва прокричит петух. И уж я, поверьте, посрамлю господина Шантеклера.

С этими словами он встал, распрощался и, чуждый всякому страху, но все же осторожно озираясь, двинулся по безлюдным улицам к своему дому, стоявшему в Милл-Уинде, на западной окраине Перта.

Глава IV

А что нам в этой буре? Право слово,
Одно круженье сердца молодого.

Драйден

Отважный оружейник, как легко догадаться, не поленился исполнить то, о чем условился с человеком, которого он так хотел бы назвать своим тестем. Тщательней, чем обычно, совершил он свой туалет, стараясь принять возможно менее воинственный вид. Все же выйти на улицу безоружным представлялось ему слишком рискованным: весь город знал его в лицо, и, хотя у него тут было полно друзей, он давнишними своими подвигами нажил также немало смертельных врагов, которые его не пощадили бы, окажись на их стороне преимущество. Поэтому под кожаное полукафтанье он надел *секрет*, то есть кольчугу, такую легкую и гибкую, что она не больше стесняла движения, чем современный жилет, но притом достаточно надежную: он собственной рукой выковал и скрепил каждое ее звено. Далее, как подобало мужчине его лет и звания, он надел на себя фламандские штаны и праздничный голубой кафтан тонкого английского сукна на черной атласной подкладке и расшитый черным шелком. Одежду завершали башмаки дубленой козлиной кожи и плащ добротной шотландской шерсти, накинутый лишь для того, чтобы прикрыть заткнутый за пояс охотничий нож — единствен-

ное оружие, какое Смит позволил себе взять; в руке он держал только лозу остролиста. Черная бархатная шляпа между верхом и стеганой подбивкой таила стальную прокладку и, таким образом, надежно защищала голову.

В общем, Генри постарался приобрести тот вид, на который он имел все права, — вид богатого, влиятельного горожанина, одетого со всею внушительностью, какую может он себе придать, не преступив положенных его сословию границ и не притязая на внешность дворянина. Равно и вся его осанка, мужественная и прямая, хотя и говорила о полном пренебрежении опасностью, однако не позволяла причислить его к бандитам и бретерам его века, в чей разряд несправедливо зачисляли Генри-кузнеца многие его сограждане, утверждавшие, что на бесчисленные драки его толкал буйный и задиристый нрав, подкрепленный будто бы сознанием своей незаурядной физической силы и верой в свое оружие. Напротив, каждая его черта выдавала в нем человека простосердечного и доброго, который сам ни на кого не замышляет зла и не ждет обиды от других.

Нарядившись в лучшие свои одежды, честный Смит спрятал на груди у самого сердца (затрепетавшего при этом прикосновении) небольшую вещицу, которую давно припас в подарок Кэтрин Гловер: теперь, когда девица назовет его своим Валентином, он будет вправе преподнести ей свой дар, а она — принять его от друга, не погрешив против девичьей скромности. Это был выточенный в виде сердца рубин, пронзенный золотой стрелой и вложенный в кошелечек из стальных колец превосходной работы — хоть на королевскую кольчугу! По ободку кошелька были выгравированы слова:

В грудь вошла
Любви стрела —
Кольчуга сердца не спасла.

Оружейник немало поломал голову над этой эмблемой и очень был доволен своим трехстишием, которое таило мысль, что он своим искусством может

защитить любое сердце, но собственного не уберег. Он запахнул плащ на груди и быстро зашагал по улицам, еще безмолвным, решив явиться под указанное окно незадолго до рассвета.

С таким намерением шел он по Хай-стрит и, чтобы выйти на Кэрфью-стрит, свернул в проход, где сейчас храм святого Иоанна, когда, посмотрев на небо, подумал, что, пожалуй, прибудет на целый час раньше времени и что лучше явиться на место свидания ближе к назначенному сроку. Вокруг дома пертской красавицы будут, верно, стоять на страже и другие искатели; и, зная свою слабую струну, Генри понимал, как легко может там завязаться ссора. «Мне дает преимущество, — размышлял он, — дружба старого Саймона. К чему же стану я марать руки в крови несчастных, на которых мне и смотреть-то не стоит, коль скоро им не выпала такая удача, как мне! Нет, нет. на этот раз я буду благоразумен и уклонюсь от соблазна вступить в драку. На ссору со мною моим соперникам остается ровно столько времени, сколько надо, чтобы я просвистел и старый Саймон отозвался на свист. Хотел бы я только знать, как отец заставит Кэтрин подойти к окну. Боюсь, если она разгадает его цель, он не легко добьется своего».

Прислушиваясь к своим тревожным мыслям, оружейник замедлил шаг и все чаще, поглядывая на восток, обводил взором небо; но в нем не было приметно даже легкой серой тени, предвестницы хотя бы далекой зари, которая в то утро, как мнилось нетерпеливому оружейнику, запаздывала против обычного и медлила занять восточную бойницу. Тихим шагом прошел он под стеной церкви святой Анны (не преминув, едва лишь ступил на освященную землю, перекреститься и сказать про себя «Ave»¹), когда из часовни до него донесся голос:

— Мешкает тот, кому надо спешить.

— Кто говорит? — сказал, озираясь, оружейник, удивленный этим обращением, неожиданным и по тону и по смыслу.

¹ «Радуйся [Мария] » (лат.) — католическая молитва.

— Мало ли кто, — ответил тот же голос. — Спешить, или ты явишься поздно. Не трать даром слов, торопись.

— Святой ты или грешник, ангел или дьявол, — сказал Генри, осеняя себя крестом, — твой совет касается того, что мне всего дороже в мире, и я не могу пренебречь им. Во имя святого Валентина, беги!

С этими словами он сменил свою медлительную поступь на такую быструю, что мало кто мог бы идти с ним вровень, и вмиг оказался на Кэрфью-стрит. Не прошел он и трех шагов по направлению к дому Саймона Гловера, стоявшему на середине узкой улицы, как из-за соседних домов выступили два человека и, словно сговорившись, подошли, преграждая ему путь. Тусклый свет позволил только различить, что на обоих были пледы горцев.

— Прочь с дороги, катераны! — крикнул оружейник грозным, гулким голосом, соответствовавшим его широкой груди.

Те не ответили — или Смит не расслышал. Но он увидел, что они обнажили мечи, собираясь остановить его силой. Заподозрив, что здесь кроется что-то недоброе, хоть и невдомек ему было, что именно, Генри решил проложить себе дорогу, сколько бы ни вышло на него врагов, и защитить свою даму или умереть у ее ног. Он перекинул плащ через левую руку — взамен щита — и двинулся быстро и твердо на тех двоих. Стоявший ближе сделал выпад, но Генри Смит, отразив удар плащом, левой рукой хватил противника по лицу и одновременно подставил ему ногу, так что тот, споткнувшись, растянулся на мостовой. Почти в то же мгновение он нанес ножом такой жестокий удар другому, налетевшему справа, что тот остался распростертый рядом со своим соратником. Оружейник между тем бросился вперед, охваченный тревогой, вполне основательной, коль скоро двое незнакомцев стояли среди улицы на страже, да еще позволили себе прибегнуть к насилию. Он уловил подавленный стон, услышал суматоху под окнами Гловера — под теми окнами, в одно из которых его должна была окликнуть Кэтрин, назвав своим Валентином.

Он перешел улицу, чтобы с той стороны вернее определить число противников и разгадать их умысел. Но один из ватаги, собравшейся под окном, заметил или услышал кузнеца и тоже перешел на другую сторону. Приняв его, очевидно, за своего, поставленного на страже, он шепотом спросил:

— Что там был за шум, Кеннет? Почему ты не дал нам сигнала?

— Негодяй! — вскричал Генри. — Ты разоблачил себя, и ты умрешь!

И он хватил незнакомца клинком с такою силой, что, наверно, исполнил бы свою угрозу, когда бы тот не поднял руки и не принял на нее удар, нацеленный в голову. Рана, как видно, была жестокая, потому что человек зашатался и упал, глухо застонав. Не уделяя ему больше внимания, Генри Смит ринулся вперед, на ватагу молодцов, приставлявших лестницу к окну светелки под крышей. Генри не остановился, чтобы сосчитать, сколько их там, или проверить, что они затевают. Прокричав призыв к тревоге и подав сигнал, по которому горожане привыкли являться на сбор, он устремился на полуночников, один из которых уже взбирался по лестнице. Кузнец рванул за ступеньку, сбросил лестницу на мостовую и, наступив на тело человека, залезшего было на нее, не давал ему встать на ноги. Его сообщники рьяно наскakивали на Генри, стараясь освободить приятеля. Но кольчуга сослужила свою службу кузнецу, и он с лихвой отплачивал нападавшим за каждый удар, громко при этом взывая:

— На помощь! На помощь! Сент-Джонстон в опасности!.. За клинки и луки, храбрые сограждане! За луки и клинки!.. Ломятся в наши дома под покровом ночи!

Эти слова, гулко разносившиеся по улицам, сопровождались частыми и крепкими ударами, которые оружейник щедро и отнюдь не впустую раздавал вокруг. Между тем обитатели Кэрфью-стрит, разбуженные, высыпали на улицу в ночных рубашках и с мечами, щитами, а иные и с факелами в руках. Нападавшие обратились в бегство — и все успешно скры-

лись, кроме человека, сброшенного наземь вместе с лестницей. Бесстрашный оружейник в разгар драки схватил его за горло и цепко держал, как борзая зайца. Прочих раненых унесли с собой их товарищи.

— Какие-то мошенники вздумали нарушить мирный сон нашего города, — обратился Генри к сбежавшимся соседям. — Догоняйте мерзавцев. Они не все могли убежать, потому что я кое-кого из них покалечил. Вас приведет к ним кровавый след.

— Не иначе как головорезы-горцы, — говорили горожане. — А ну, соседи, в погоню!

— Эге!.. Бегите, бегите!.. А я тут управлюсь с этим парнем, — продолжал оружейник.

Добровольцы кинулись во все стороны, замигали вдалеке их факелы, крики огласили всю округу.

Между тем пленник оружейника взмолился о себе, пуская в ход посулы и угрозы.

— Ведь ты — дворянин, — сказал он, — позволь же мне уйти, и то, что было, тебе простится.

— Я не дворянин, — ответил Генри, — я Хэл из Уинда, гражданин Перта. И я не сделал ничего такого, что надо мне прощать.

— Негодяй, ты сам не знаешь, что ты сделал! Но отпусти меня, и я тебе отсыплю полную шапку червонцев.

— А я твою шапку наполню твоими же мозгами, — сказал оружейник, — если ты не будешь стоять смирно, как положено пленнику.

— Что случилось, Гарри, сынок? — сказал Саймон, показавшись в окне. — Я слышу твой голос, но он звучит совсем не так, как я ожидал... Что значит этот шум? И почему соседи сбегаются, как по тревоге?

— Тут, отец Саймон, пыталась залезть к вам в окна целая ватага жуликов, но одного из них я, кажется, научу молиться богу. Он здесь у меня, я держу его крепко, как железо в тисках.

— Послушай, Саймон Гловер, — вмешался пленник, — я должен сказать тебе два слова с глазу на глаз. Вызовь меня из железных лап этого меднолобого мужлана, и я тебе докажу, что никто не замышлял

зла ни против тебя, ни против твоих домашних. Больше того — я сообщу тебе кое-что такое, что послужит к твоей выгоде.

— Голос мне знаком, — сказал Саймон Гловер, который к этому времени вышел уже на порог с потайным фонарем в руке. — Смит, сынок, предоставь мне самому переговорить с молодым человеком. Он нисколько не опасен, уверяю тебя. Постой минутку, где ты стоишь, и не давай никому войти в дом — ни врагу, ни защитнику. Поручусь тебе, что молодчик собирался только потешить доброй шуткой святого Валентина.

С этими словами старик втащил пленника через порог и закрыл за ним дверь, оставив Генри в недоумении, почему его будущий тесть так легко отнесся к происшедшему.

— Шутка! — проговорил кузнец. — Веселая получилась бы шутка, когда бы они забрались в девичью спальню!.. А они забрались бы непременно, не окликни меня честный, дружеский голос из бойницы; и если это и не был голос святой Анны (кто я такой, чтобы святая стала со мной разговаривать?), он все же не мог прозвучать в том месте без ее соизволения и согласия, и за это я обещаю поставить в ее храме восковую свечу длиною с мой клинок... И я жалею, что при мне этот нож, а не добрый мой двуручный меч, им бы я лучше послужил Сент-Джонстону и проучил бы негодяев. Что и говорить, короткие мечи — красивая игрушка, но она пригодна скорее для ребяческой руки, чем для мужской. Эх, мой старый двуручный Троян, когда бы в этот час ты был в моей руке, а не висел у порога моей кровати, не так-то легко негодяи удрали бы с поля боя... Но куда идут с горящими факелами, с обнаженными мечами... Гого! Стой... Вы за Сент-Джонстон?.. Если вы друзья славного города, привет вам!

— Не посчастливилось нам на охоте, — заговорили горожане. — Кровавый след привел нас к доминиканскому кладбищу, и мы там подняли дичь — промеж могил бежали два молодца, поддерживая третьего, которого ты, видно, отметил своей меткой, Гарри. Но

они прежде нас добрались до ворот и успели позвонить в колокол убежища. Ворота раскрылись, беглецы вошли... Так что теперь они в надежном укрытии, а нам остается залезть опять в остывшие постели и согреться под одеялами.

— Эх, — вздохнул один из горожан, — у добрых доминиканцев всегда какой-нибудь благочестивый брат караулит у ворот убежища, чтобы сразу отворить их перед бедным грешником, который попал в переделку и решил искать защиты у алтаря.

— Да, если бедный, гонимый грешник может хорошо заплатить, — возразил другой. — Но поистине, если он не только нищий духом, но и в кошельке у него пусто, он простоят за воротами, куда гонимые не схватят его.

Третий, несколько минут при свете факела разглядывавший землю под ногами, поднял теперь голову и заговорил. Это был веселый, бойкий толстенный человек, по имени Оливер Праудфьют, довольно богатый мастер и один из вожаков цеха шапочников, что, как видно, и дало ему основание говорить тоном человека, облеченного властью.

— Ты не скажешь нам, добрый Смит, — теперь, когда улицу заливал свет факелов, они узнали друг друга, — что это за люди подняли драку в нашем городе?

— Первые двое, кого я увидел, — ответил оружейник, — были, насколько я мог разглядеть, в пледах горцев.

— Похоже, похоже на то! — подхватил другой горожанин, покачивая головой. — Просто срам, что никак у нас не заделают пробоины в стенах и бродягам горцам, этим бездельникам, дают полную свободу темной ночью поднимать добрых людей с постели!

— Поглядите, соседи, — сказал Оливер Праудфьют, показывая подобранный им на земле предмет — сочившуюся кровью кисть руки. — Когда же такая рука завязывала ремни на брогах? Она большая, правда, и костлявая, но выхолена точно у леди, и кольцо на ней сверкает, как яркая свеча. Скажу без ошибки, Саймону Гловеру доводилось делать

перчатки на эту руку — он ведь работает на всю придворную знать.

Зрители, отпуская свои замечания, принялись разглядывать кровавую находку.

— Ежели так, — сказал один, — Гарри Смиту впору удирать из города, да поскорее, потому что, когда дворянину отрубили руку, едва ли судейские почтут защиту дома пертского горожанина достаточным оправданием. Насчет увечий закон куда как суров!

— Ну не срам ли так говорить, Майкл Уэбстер! — ответил шапочник. — Разве мы не наследники и приемники доблестных древних римлян, построивших Перт по подобию их родного города? И разве нет у нас хартий, дарованных нам благородными королями, нашими родоначальниками, как их любящим вассалам? И вдруг мы отступимся от всех своих привилегий и вольностей, от прав и гарантий: насчет поимки с поличным и насчет вора, пойманного на взломе, и крови за кровь, и наложения денежных взысканий, и правил насчет выморочных имуществ и насчет товаров!.. Неужто мы потерпим, чтобы нападали безнаказанно на дом честного горожанина? Нет, добрые соседи, искусные ремесленники, граждане Перта! Скорее Тэй потечет вспять к Данкелду, чем мы примиримся с таким беззаконием!

— А чем тут поможешь? — сказал степенный старый человек, который стоял, опершись на двуручный меч. — Что, по-твоему, могли бы мы сделать?

— Эх, бэйли Крейгдэлли, от вас уж я никак не ожидал такого вопроса! Вам бы как раз и отправиться прямо с места к его милости, нашему королю, поднять его с королевской его постели и доложить ему о нашей обиде, что вот заставляют нас вскакивать среди ночи и по такому холоду выбегать в одних рубахах! Я предъявил бы ему эту кровавую улику и услышал бы из его королевских уст, полагает ли он справедливым и законным, чтобы так обходились с его любящими вассалами рыцари и знатные особы из его распутного двора. Вот это означало бы горячо отстаивать нашу правду.

— Горячо, говоришь ты? — возразил старик. — Да, так горячо, что мы все околели бы, голубчик, от холода, прежде чем привратник повернул бы ключ в замке, чтобы пропустить нас к королю. Ладно, друзья, ночь холодная, мы как мужчины несли стражу, и наш честный Смит дал хорошее предостережение каждому, кто вздумает нас обижать, а это стоит двадцати королевских запретов. С зарею настанет новый день, и мы обсудим дело на этом самом месте и порешим, какие меры принять нам, чтоб изобличить и наказать негодяев. А теперь давайте разойдемся, пока у нас не застыла в жилах кровь.

— Верно, верно, сосед Крейгдэлли... Во славу Сент-Джонстона!

Оливер Праудфьют был не прочь поговорить еще, ибо он был одним из тех беспощадных ораторов, которые полагают, что их красноречие вознаграждает за все неудобства времени, места и обстановки. Но никто не пожелал слушать, и горожане разбрелись по домам при занимающейся заре, уже исчертившей алыми полосами небо на востоке.

Только народ разошелся, как в доме Гловера отворилась дверь, и старик, схватив Смита за руку, втащил его в дом.

— Где пленный? — спросил оружейник.

— Его нет... Он скрылся... бежал... почему я знаю? — сказал Гловер. — Черным ходом, через садик — и был таков! Нечего думать о нем, заходи и взгляни на свою Валентину, чью честь и жизнь ты спас сегодня утром.

— Дайте мне хоть отереть клинок, — сказал Смит, — хоть руки вымыть.

— Нельзя терять ни минуты — она уже встала и почти одета. Идем, приятель. Пусть увидит тебя с оружием в руке и с кровью негодяя на пальцах, чтобы знала цену службе настоящего мужчины. Она слишком долго затыкала мне рот своими рассуждениями о совести и чистоте. Пусть же поймет, чего стоит любовь храброго человека и доброго гражданина!

Глава V

Встань, дева! Косы расчеши,
На волю выйти поспеши,
В прохладу, веющую с пашни.
Давно кричат грачи над башней!

Джоанна Бейли

Пробужденная ото сна шумом схватки, пертская красавица, чуть дыша от ужаса, прислушивалась к доносившимся с улицы крикам и стуку мечей. С мольбой о помощи она упала на колени, а услышав голоса друзей и соседей, сбежавшихся на ее защиту, перешла, не поднимаясь, к благодарственным молитвам. Она все еще стояла на коленях, когда ее отец чуть ли не впихнул к ней в светелку Генри Смита, ее спасителя. Робкий влюбленный упирался — сперва из боязни оскорбить девицу, а потом, увидав ее коленопреклоненной, из уважения к ее благочестию.

— Отец, — сказал оружейник, — она молится... Я не смею с ней заговорить, как не смел бы прервать епископа, когда он служит обедню.

— Ну, завел свое, отважный и доблестный олух! — сказал ее отец и, обратившись к дочери, добавил: — Мы лучше всего отблагодарим небо, доченька, если вознаградим по заслугам наших ближних. Вот перед тобою тот, кого господь избрал своим орудием, чтобы спасти тебя от смерти, а может быть, и самого худшего — от бесчестья. Прими его, Кэтрин, как верного своего Валентина и того, кого я желал бы назвать своим любезным сыном.

— Потом, отец! — возразила Кэтрин. — Сейчас я никого не могу видеть... ни с кем не могу говорить. Не примите это за неблагодарность — я, может быть, слишком благодарна тому, кто стал орудием нашего спасения, — но позволь мне сперва помолиться святой заступнице, во благовремение пославшей нам избавителя... и дай мне минутку, чтоб надеть платье.

— Ну, слава богу, девочка! Одевайся на здоровье, уж в этом тебе отказа не будет: первый раз за последние десять дней ты заговорила как женщина. В самом деле, Гарри, хотел бы я, чтобы моя дочь от-

решилась от своей нерушимой святости, пока не настала пора причислить ее к лику святых, как вторую святую Екатерину.

— Нет, кроме шуток, отец! Клянусь вам, у нее уже есть по меньшей мере один искренний почитатель, готовый служить ей на радость так преданно, как только способен грешный человек. Итак, я на время прощаюсь с тобой, прекрасная дева, — заключил он с жаром, — и да пошлет тебе небо сны столь же мирные, как мирны твои помыслы, когда ты не спишь. Я пойду охранять твой покой — и горе тому, кто посмеет его нарушить!

— Мой добрый и отважный Генри, чье горячее сердце и так вечно не в ладу с безрассудной рукой! Не ввязывайся больше этой ночью ни в какие споры. Прими, однако, мою искреннюю признательность и постарайся, чтобы мысли твои стали такими же мирными, какими кажутся тебе мои. Завтра мы встретимся, и ты уверишься в моей благодарности. Прощай!

— Прощай, владычица и свет моего сердца! — сказал оружейник.

Сойдя с лестницы, что вела в комнатку Кэтрин, он хотел уже выйти на улицу, когда Гловер подхватил его под руку:

— Я готов радоваться этой ночной драке, как никогда еще не радовался звону мечей, если, Гарри, она и впрямь образумила мою дочь и научила ее ценить тебя по заслугам. Слава святому Макгридеру! ¹ Я даже чувствую нежность к этим озорникам, и мне жаль злополучного влюбленного, которому уже никогда не придется носить на правой руке шеврон. Эх! Бедняга до могильной доски будет чувствовать свою утрату, особенно когда станет надевать перчатки... Да, впрямь он будет платить нам за наше искусство половинную плату... Нет, оставь, нынче ни на шаг от этого дома! — продолжал он. — Ты не должен от нас уходить, никак не должен, сынок!

¹ Название местности близ Перта, именуемой в просторечии Экклесмагерди (Ecclesia Macgirdi), еще оберегает от полного забвения память об этом древнегэльском святом. (Прим. автора.)

— Я не уйду. Но, с вашего разрешения, покараую на улице. Нападение может повториться.

— Когда так, — сказал Саймон, — тебе способнее будет отогнать их, оставаясь в стенах дома. Такое ведение боя наиболее подобает нам, горожанам, — отбиваться из-за каменных стен. Этому мы хорошо научились, выполняя повинность по несению стражи. К тому же в эту ночь было довольно переполоха и шума, нам обеспечены мир и покой до утра. Ступай же за мной.

С этими словами он потащил охотно сдавшегося Генри в то самое помещение, где они ужинали и где старуха, которую, как и других, подняло на ноги ночное сражение, быстро развела огонь.

— А теперь, мой доблестный сын, — сказал Гловер, — чего бы ты хотел выпить за здоровье твоего отца?

Генри Смит дал усадить себя на дубовую скамью и сидел, не отводя глаз от огня, бросавшего красные отсветы на его мужественное лицо. Он вполголоса бормотал про себя:

— ...«Добрый Генри»... «отважный Генри»... Ах! Если бы она сказала «милый Генри»!

— Это что за напитки? — рассмеялся старый Гловер. — Таких в моем погребе нет. Но если херес, или рейнское, или гасконское подойдут для этого случая, скажи только слово, и запенятся чаши... Так-то!

— «Горячая признательность», — продолжал вполголоса оружейник. — Такого она мне раньше никогда не говорила: «горячая признательность»... Смысл этих слов не слишком ли растяжим?

— Он окажется, друг, растяжим, как шкурка козленка, — сказал Гловер, — если только ты положишься во всем на меня. Ответь же, чего ты хочешь выпить за завтраком?

— Чего вам самим угодно, отец, — небрежно сказал оружейник и снова принялся перебирать сказанные ему Кэтрин слова. — Она упомянула о моем горячем сердце, но упомянула и о моей безрассудной руке. Как же мне избавиться от своего пристрастия к драке? Конечно, проще всего отрубить себе правую руку

и пригвоздить к церковным дверям, чтобы Кэтрин больше никогда меня ею не попрекала.

— Довольно и одной отрубленной руки за эту ночь, — сказал его друг и поставил на стол кувшин вина. — Что ты себя терзаешь, приятель? Она любила бы тебя вдвое горячее, когда б не видела, как ты перед ней благоговеешь. Но дело приняло теперь иной оборот. Не могу я жить под вечной угрозой, что проклятые головорезы, прихвостни придворной знати, разграбят мою лавку и разнесут мой дом, потому что мою дочь, изволите ли видеть, прозвали пертской красавицей! Нет, я ей покажу, что я ее отец и требую того повиновения, на какое дают мне право закон и священное писание. Я хочу видеть ее твоей женой, Генри, мое золотое сердце! Твоею женой, мой храбрец, и не далее как через несколько недель. Ну, ну! За твою веселую свадьбу, славный мой Смит!

Отец осушил большую чашу и наполнил ее вновь для своего названного сына, который медленно поднес ее ко рту, но, даже не пригубив, вдруг поставил на стол и покачал головой.

— Ну, ежели ты не принимаешь такую здравицу, не знаю, кому же ее принять, — сказал Саймон. — Что тебя смутило, неразумный мальчик? Тут счастливый случай, можно сказать, отдает мою дочь в твою власть, потому что весь город из конца в конец станет ее срамить, если она откажет тебе. Тут я, ее отец, не только согласен ударить по рукам и сладить ваш брак, но от души хочу видеть вас соединенными так крепко, как не сшила бы игла сафьян. И когда все на твоей стороне — и судьба, и отец, и все вокруг, — ты смотришь безумным, как влюбленный из баллады, который скорее бросится в Тэй, чем начнет ухаживать за девицей, между тем как посвататься к ней проще простого — только улучи счастливую минуту!

— Да, отец, счастливую минуту! А я спрашиваю, возможна ли она, та счастливая минута, когда Кэтрин глянет на землю и ее обитателей и склонит слух к такому грубому, невежественному, неотесанному человеку, как я? Не могу вам объяснить, почему это так, отец: я высоко держу голову, не уступая в том

другим мужчинам, но перед святостью вашей дочери падаю духом и не могу не думать, что это было бы чуть ли не кощунством — как ограбление храма, — если бы я вдруг снискал ее любовь. Все ее помыслы направлены к небу — не на таких, как я, расточать их!

— Как хочешь, Генри, — ответил Гловер. — Я тебя не собираюсь окрутить, моя дочь — еще того меньше, а честное предложение — не повод для ссоры. Но если ты думаешь, что я поддамся ее глупым бредням о монастыре, так будь уверен, никогда я на такое дело не пойду! Церковь я люблю и чту, — сказал он, перекрестившись. — Я сполна выплачиваю ей что следует, без принуждения и в срок — и десятину и всяческие взносы на милостыню, навино, на воск; выплачиваю исправно, говорю я, как каждый обыватель Перта, если он, как я, располагает средствами. Но я не могу отдать церкви мою единственную овечку, последнее, что осталось у меня на свете. Ее мать была мне дорога на земле — теперь она ангел в небесах. Одно и осталось мне на память об утраченной — моя Кэтрин; и если она пострижется в монахини, то не раньше, чем закроются навеки эти старые глаза... А ты, друг мой Гоу, прошу тебя, поступай так, как самому тебе кажется лучше. Будь спокоен, я ее в жены тебе не навязываю.

— Ну вот, опять! Слишком крепко бьете! — сказал Генри. — Этим у нас всегда кончается, отец: вы на меня в обиде, потому что я не решаюсь сделать то, что превратило бы меня в счастливейшего человека на земле, когда бы в моей власти было это сделать... Эх, отец, пусть самый острый кинжал, какой я выковал в жизни, пронзит сейчас мое сердце, если оно хотя бы крохотной своей частицей не принадлежит вашей дочери больше, чем мне самому. Но что поделаешь! Не могу я думать о ней хуже, чем она того заслуживает, или считать себя лучше, чем я есть; и то, что вам представляется легким и возможным, для меня так же трудно, как если бы требовалось сделать стальные латы из оческов льна. Но... за ваше здоровье, отец, — добавил он более веселым тоном, — и за мою прекрасную святую, за Валентину мою, как

я надеюсь называть по праву весь этот год вашу дочь. И не буду больше вас задерживать — пора вам склонить голову на подушку да понежиться в перинах до рассвета, а там вы сами проведете меня в спальню вашей дочери: это будет мне оправданием, когда я войду непрошенный пожелать ей доброго утра — самой прекрасной среди всех, кого разбудит солнце в нашем городе и на много миль вокруг!

— Недурной совет, сынок! — сказал честный Гловер. — А сам ты как? Ляжешь рядом со мною или разделишь постель с Конахаром?

— Ни то и ни другое, — ответил Гарри Гоу. — Я только помешал бы вам уснуть. Это кресло для меня не хуже пуховой постели, я сосну, как спят на часах, не распусаясь. — С этими словами он положил руку на эфес своего меча. — Бог даст, не придется нам больше прибегать к оружию. Спокойной ночи, или, вернее сказать, доброго утра. До рассвета, друг, и кто первый проснется — разбудит другого.

Так расстались два горожанина. Гловер лег в постель и, надо полагать, заснул. Влюбленному уснуть не удалось. На крепком теле его несколько не сказало утомление этой трудной ночи, но его духовный склад был более тонок. Со стороны посмотреть — увидишь только здорового горожанина, равно гордящегося и своим искусством в выделке оружия и ловкостью, с какой он пускал его в ход; профессиональное рвение, физическая сила и совершенное владение оружием то и дело подстрекали его к драке, и потому он многим внушал страх, а в иных случаях и неприязнь. Но с этими свойствами уживалось в кузнеце простое, детское добросердечие и в то же время пламенное воображение и восторженность, не вязавшиеся, казалось бы, с его прилежной работой у горна и его воинственным обычаем. Возможно, игра и пылкость чувства, воспитанные в нем старинными балладами или романами в стихах — единственным источником всех его сведений и знаний, — толкали его на многие подвиги, зачастую отмеченные простоватой рыцарственностью. Во всяком случае, его любовь к Кэтрин отличалась утонченностью, какая могла быть свойственна тому

худородному оруженосцу, которого, если песня не лжет, дарила улыбками некая венгерская королевна. Его чувство к своей избраннице было поистине таким возвышенным, как если бы устремлено было к доподлинному ангелу; и поэтому у старого Саймона, да и у других, зародилось опасение, что, слишком светлое и благоговейное, оно не встретит ответа у смертного существа. Они, однако, ошибались. Кэтрин, как ни была она скромна и сдержанна, обладала сердцем, способным чувствовать, и понимала истинную природу глубокой страсти оружейника. И была ли она склонна отвечать на нее или нет, она втайне гордилась преданностью грозного Генри Гоу, как могла бы гордиться героиня романа дружбой ручного льва, который всюду следует за нею, опекая и защищая ее. С самой искренней благодарностью вспомнила она, пробудившись на рассвете, об услуге, оказанной ей в эту бурную ночь Генри Смитом, и первый помысел ее был о том, как дать ему понять свои чувства.

Торопливо, слегка стыдясь задуманного, встала она с постели. «Я была с ним слишком холодна, — говорила она себе. — Хоть и не могу я уступить его домогательствам, я не стану ждать, когда отец принудит меня принять его на этот год Валентином: выйду ему навстречу и сама его выберу! Я считала слишком смелыми других девиц, когда они делали что-либо такое; но я наилучшим образом угожу отцу и послужу, как требует обряд, доброму святому Валентину, если на деле выкажу благодарность этому честному человеку».

Одевшись торопливо и куда менее тщательно, чем обычно, сбегала она по лестнице и распахнула дверь той комнаты, где, как она угадала, ее защитник отдыхал после ночного сражения. На пороге Кэтрин остановилась, ей вдруг стало страшно: как исполнить свое намерение? Обычай не только позволял — он требовал, чтобы свой союз на год Валентины скрепили дружеским поцелуем. И считалось особенно счастливым предзнаменованием, если одному из них случалось застать другого спящим и разбудить, выполняя этот приятный обряд.

Кому и когда случай более благоприятствовал установить эту связь, освященную таинством? После долгих противоречивых размышлений богатырь оружейник, сморенный сном, так и уснул, сидя в кресле. Во сне черты его лица казались тверже и мужественней, чем они всегда представлялись Кэтрин: в ее присутствии его черты обычно отражали то застенчивость, то боязнь вызвать ее недовольство, и девушка привыкла считать, что лицу Генри Смита свойственно глуповатое выражение.

«Как суров он с виду! — думала она. — Что, если он разгневан... и вдруг проснется... а мы тут одни... Позвать Дороти?.. Разбудить отца?.. Но нет! Ведь таков обычай, и он будет исполнен с чистой девичьей и сестринской любовью и почтением. Я не должна опасаться, что Генри примет это иначе, и не могу я позволить ребяческой стыдливости взять верх над моей благодарностью!»

С такой мыслью она легкой, хоть и неуверенной поступью прошла на цыпочках по комнате; щеки ее вспыхнули при мысли о том, что она задумала; и, проскользнув к креслу, в котором спал кузнец, она коснулась его губ поцелуем — таким легким, точно упал на них розовый лепесток. Видно, не крепок был сон, если могло его прогнать такое прикосновение, и спящему снилось, видно, нечто связанное с тем, что его разбудило, потому что Генри, мгновенно вскочив, схватил девушку в объятия и попытался весьма пылко ответить на приветствие, нарушившее его отдых. Но Кэтрин воспротивилась; и так как на сопротивление ее толкала скорее скромность, чем девичья робость, влюбленный в смущении позволил ей вырваться из его рук, из которых вся ее сила, хоть в двадцать раз умноженная, не освободила бы девушку.

— Не сердись, добрый Генри, — самым мягким голосом сказала Кэтрин изумленному оружейнику. — Я почтила святого Валентина, чтобы показать, как я ценю товарища, которого он мне посылает на этот год. Пусть только придет отец, и в его присутствии я не осмелюсь отказать тебе в вознаграждении, какого ты вправе спросить за прерванный сон.

— За мною дело не станет! — молвил старый Гловер, радостно ворвавшись в комнату. — Держи ее, Смит... держи... куй железо, пока горячо, и покажи ей, что бывает, если забыть пословицу: «Не тронь собаку, когда она спит».

Поощренный такими словами, Генри, хоть и не с прежним чрезмерным жаром, снова обнял заалевшуюся девушку, довольно благосклонно принявшую его ответный поцелуй, десять раз повторенный и куда более крепкий, чем тот, что вызвал этот бурный порыв. Наконец Кэтрин снова высвободилась из объятий своего почитателя и, словно сама раскаиваясь и страшась того, что сделала, бросилась в кресло и закрыла руками лицо.

— Веселее, глупая ты девчонка, — сказал отец, — ты сегодня осчастливила двух человек в Перте, и этого ты не должна стыдиться, потому что один из них — твой старик отец. Никогда еще никого так не целовали, и вполне справедливо было бы должным образом воздать эти поцелуи. Посмотри на меня. дорогая! Посмотри на меня и дай мне увидеть улыбку на твоих губах. Честное слово, солнце, которое сейчас взошло над нашим городом, не осветит ничего, что могло бы порадовать меня сильнее. Ну вот, — продолжал он шутливо, — или ты вообразила, что обладаешь кольцом Джейми Кедди и можешь рассказывать невидимкой?¹ Нет, моя предрассветная фея! Только я собрался встать, как услышал, что дверь твоей спальни отворилась, и я сошел за тобой следом по лестнице — не для того, чтобы защитить тебя от заспавшегося Генри, а чтоб увидеть своими собственными восхищенными глазами, как моя любимая дочка совершит по доброй воле то, что должно порадовать ее отца... Ну отними же от лица свои глупенькие ручки, и, если ты слегка покраснела, что ж, это тем угоднее святому Валентину на рассвете его дня, когда румянец как нельзя лучше идет девичьим щекам.

¹ Существует предание, что некто Кедди, портной, в давние дни нашел в пещере одного из романтических холмов Кинноула, близ Перта, волшебное кольцо, обладавшее свойствами кольца Гига. (Прим. автора.)

С такими словами Саймон Гловер мягким усилием развел руки дочери, в которых спрятала она лицо. Оно и впрямь залилось яркой краской, но его черты отразили нечто большее, чем только девичий стыд, а глаза наполнились слезами.

— Как! Ты плачешь, дорогая? — продолжал ее отец. — Нет, нет, это уж слишком... Генри, помоги мне утешить эту глупышку.

Кэтрин напряжением воли преодолела свою растерянность и улыбнулась, но улыбка получилась печальная и серьезная.

— Пойми, отец, — заговорила пертская красавица все еще через силу, — избрав Генри Гоу своим Валентином и подарив ему право утреннего поцелуя, как требует обычай, я только хотела изъяснить ему свою благодарность за его мужественную и верную службу, а тебе — свое дочернее повиновение... Но не внушай ему мысли... и, ах, дорогой отец, не подумай сам, что это означает что-либо еще, кроме обещания с моей стороны быть ему верной и преданной Валентиной в течение года.

— Ну-ну-ну! Это всё мы знаем, — сказал Саймон тем тоном увещания, каким нянюшки говорят с детьми. — Мы знаем, как это надо понимать; пока, для начала, довольно. Не тревожься, тебя никто не торопит... Вы — любящие, верные, настоящие Валентины, а прочее — как позволит небо и счастливый случай. Успокойся, прошу тебя, не ломай ты свои маленькие ручки и не бойся грубых домогательств. Ты вела себя храбро и хорошо... А теперь ступай к Дороти, разбуди ее, старую лежебоку, пусть приготовит нам основательный завтрак — будет очень кстати после тревожной ночи и радостного утра. Да и сама приложи руки, чтобы угостить нас вкусным печеньем, какое только ты одна умеешь печь; и ты, конечно, вправе хранить свою тайну, потому что тебя посвятила в нее... Эх! Упокой господь душу дорогой твоей матери! — добавил он со вздохом. — Уж как бы она порадовалась такой счастливой встрече Валентинова дня!

Кэтрин ухватилась за этот предлог, нарочис ей предоставленный, и ускользнула в свою комнату. Генри показалось, будто солнце скрылось с неба среди бела дня и мир неожиданно погрузился в темноту. Даже светлые надежды, порожденные последним происшествием, угасли, когда он стал припоминать внезапную перемену в поведении девушки, слезы на ее глазах... явный страх, читавшийся в чертах лица... и ее усердное старание показать так ясно, как только позволяла учтивость, что, подарив его поцелуем, она только исполнила обряд, установленный для Валентинова дня. Ее отец с удивлением и недовольством глядел в его помрачневшее лицо.

— Во имя святого Иоанна! Чем же ты так расстроился? Смотришь угрюмым сычом, когда всякий на твоём месте, если бы впрямь любил без ума мою бедную девочку, был бы сейчас весел, как жаворонок!

— Увы, отец! — отвечал, приуныв, оружейник. — Это же у нее как на лбу написано! Она любит меня настолько, чтобы сделаться моей Валентиной — тем более что вам это желательно, — но не настолько, чтобы стать моей женой.

— Чума на тебя, гусак ты безмозглый, рыба кровь! — обозлился отец. — Я тоже умею читать в женском лице, и уж получше, чем ты! Ничего похожего на ее лице не написано. Подумай, гром тебя разрази: ты лежал тут в кресле, как лорд, и спал себе, что твой судья, — а люби ты настоящей любовью, ты бы глядел не отрываясь на восток, подстерегал первый луч солнца. И вот ты лежишь да, верно, еще и похрапываешь, нимаго не помышляя о ней и ни о чем на свете. А бедная девочка встает чуть свет, чтобы не подцепила другая ее бесценного недремлющего Валентина, и будит тебя лаской, которая — помоги нам святой Макгридер! — оживила бы наковальню. И что же? Ты просыпаешься и начинаешь тут ныть, и чудить, и плакаться, точно тебе прижгло губы горячим железом! Жаль, что она не подошла вместо себя старую Дороти, чтобы тебе нести Валентинову службу при беззубой старухе, при мешке

с костями! Во всем Перте не сыщешь лучшей Валентины для такого трусливого почитателя!

— Трусливого, отец? — переспросил Смит. — Двадцать бойких петухов, которым я обломал гребни, могут вам сказать, трус я или нет. И видит небо, я отдал бы кусок земли, которым владею как пертский гражданин, и в придачу мой горн, мехи, тиски, наковальню, чтобы все взаправду было так, как рисуется вам. Но я говорю не о смущении Кэтрин, не о ее стыдливом румянце: я о бледности ее говорю, которая так быстро согнала его со щек, о набсжавших слезах. Это было как апрельский ливень: подкрадется вдруг и затянет мглой самую ясную зарю, какая когда-либо рассветала над Тзем..

— Та-та-та! — перебил Гловер. — Рим да и Перт не в один день строились. Ты же тысячу раз удил лосося — неужто ничему не научился? Когда рыба схватила живца, если тут же резко рванешь, леса оборвется, будь она хоть из железной проволоки. Приотпусти, дружок, дай рыбе заглотать поглубже; спокойно выжидай, и через полчаса она будет лежать рядышком на берегу... Начало отличное — лучшего и пожелать нельзя. Не мог же ты ждать, что бедная девушка сама придет к тебе в постель, как подошла к твоему креслу. Скромные девицы так не поступают. Вот что, друг! Когда мы позавтракаем, я устрою, чтобы тебе представился случай поговорить с ней по душам. Только смотри не слишком робей, но и не слишком нажимай. Исподволь тяни — как с лососем. Не дергай поспешно, и я головой поручусь за исход.

— Как бы я ни действовал, отец, --- ответил Генри, — всегда я буду у вас виноват: либо скажете, что я был слишком осторожен, либо — что слишком напорист. Я отдал бы лучший панцирь, какой случалось мне выковать, чтобы и вправду дело стояло за мной одним. Тогда проще было бы устранить помеху. Но признаюсь, я стою осел ослом и не знаю, как речь заведу, когда подойдет пора.

— Пройдем со мной в мастерскую, сынок, и я тебе подсоблю — дам предлог заговорить с Кэтрин. Ты же знаешь, когда девица осмелилась поцеловать

спящего мужчину, она от него получает пару перчаток. Пройдем в мастерскую; там найдется для тебя пара из самого тонкого сафьяна — и как раз по ее руке... Я думал о ее бедной матери, когда кроил их, — добавил со вздохом честный Саймон, — и, кроме Кэтрин, я во всей Шотландии не знаю женщины, которой они пришлись бы впору, хоть мне и приходилось снимать мерку у первейших придворных красавиц. Пойдем, говорю, и будет у тебя с чего начать разговор. Язык развяжется — только пусть отвага и осторожность вдвоем стоят подле тебя на страже, когда ты пустишься любезничать с девицей.

Глава VI

. Вовеки Катарина
Мужчине руку не отдаст.

«Укрощение строптивой»

Подали завтрак, появились на столе медовые коржики, тонкие, легкие, изготовленные по семейному рецепту, и отец с гостем не только расхваливали их с понятным пристрастием, но и щедро воздали им должное тем способом, который служит лучшим испытанием для всякого рода печений и пудингов. Шел разговор — с шутками, со смехом. Кэтрин уже восстановила свое душевное равновесие там, где обычно дамы и девицы того времени его легко теряли, а именно — на кухне, за хозяйственными делами, в коих знала толк. Не думаю, чтобы чтение Сенеки могло бы за столь же короткое время вернуть ей спокойствие духа.

Подсела к столу и старая Дороти, как полагалось по домашнему укладу той поры; и мужчины так увлеклись своей беседой, а Кэтрин так занята была отцом и гостем, которым прислуживала, или собственными мыслями, что старуха первая заметила отсутствие юного Конахара.

— А ведь и правда, — сказал хозяин. — Ступай, покличь его, этого бездельника горца. Его не видно

было и ночью во время драки — мне по крайней мере он не попадался на глаза. А из вас кто-нибудь видел его?

Все ответили, что нет. А Генри Смит добавил:

— Временами горцы умеют залечь так же тихо, как их горные олени... и так же быстро бежать в минуту опасности. Это я видел своими глазами — и не раз!

— Но и не раз бывало, — подхватил Саймон, — что король Артур со всем своим Круглым Столом не мог устоять перед ними. Я попросил бы тебя, Генри, уважительней говорить о горцах. Они часто навешиваются в Перт, поодиночке и большими отрядами; с ними надобно жить в мире, покуда они сами хотят быть в мире с нами.

Оружейнику хотелось ответить резкостью, но он благоразумно смолчал.

— Ты же знаешь, отец, — сказал он с улыбкой, — мы, ремесленники, больше любим тех, на ком можно заработать; мое ремесло рассчитано на доблестных и знатных рыцарей, на благородных оруженосцев и пажей, на дюжих телохранителей и прочих людей, носящих оружие, которое мы куем. Я, понятное дело, больше уважаю Рутвенов, Линдсеев, Огилви, Олифантов и многих других наших храбрых и благородных соседей, облаченных, подобно паладинам, в доспехи моей работы, нежели этих голых и жадных горцев, которые никогда нас не уважают. Ведь у них на целый клан только пять человек носят ржавую кольчугу, такую же ветхую, как их браттах,¹ да и та сработана кое-как косолапым деревенским кузнецом, который не состоит в нашем почтенном цехе, не посвящен в тайны нашего искусства, а просто орудует молотом в кузне, где раньше работал его отец. Нет, скажу я, такой народ немногого стоит в глазах честного мастера.

— Ладно, ладно! — ответил Саймон. — Прошу тебя, оставь ты этот разговор, потому что сейчас придет сюда мой лоботряс, и, хоть нынче праздник, не хочу я на завтрак кровавого пудинга.

¹ Знамя (Прим. автора)

Юноша действительно вошел бледный, с красными глазами; все в нем выдавало душевное смятение. Он сел к столу у нижнего конца, напротив Дороти, и перекрестился, как будто приготовившись к утренней трапезе. Видя, что сам он ничего не берет, Кэтрин положила на тарелку несколько коржиков, так всем понравившихся, и поставила перед ним. Он сперва угрюмо отклонил любезное угощение; когда же она с ласковой улыбкой предложила снова, он взял один коржик, разломил и хотел съесть; но только через силу, чуть не давясь, проглотил кусочек и больше не стал.

— Что-то плохой у тебя аппетит для Валентинова дня, Конахар, — благодушно сказал хозяин. — Спал ты, видать, очень крепко, если тебя не потревожил шум потасовки. А я-то полагал — появишься опасность за милую от нас, истый глун-ами при первом же шорохе, оповестившем о ней, станет с кинжалом в руке бок о бок со своим мастером.

— Я слышал только смутный шум, — сказал юноша, и лицо его внезапно вспыхнуло, как раскаленный уголь, — и принял его за крики веселых бражников; а вы мне всегда наказываете не отворять окон или дверей и не поднимать тревогу в доме по всякому глупому поводу.

— Хорошо, хорошо, — сказал Саймон. — Я думал, горец все-таки умеет отличить звон мечей от треньканья арф, дикий военный клич — от веселых здравий. Но довольно об этом, мальчик. Я рад, что ты перестаешь быть задирой. Управляйся с завтраком, потому что у меня к тебе есть поручение, и спешное.

— Я уже позавтракал и сам спешу. Отправляюсь в горы... Вам не нужно что-нибудь передать моему отцу?

— Нет, — ответил Гловер в удивлении. — Но в уме ли ты, мальчик? Что гонит тебя, точно вихрем, вон из города? Уж не угроза ли чьей-либо мести?

— Я получил неожиданное сообщение, — сказал Конахар, с трудом выговаривая слова; но затруднял ли его чужой для него язык или что другое, нелегко было понять. — Будет сходка... большая охота...

Он запнулся.

— Когда же ты вернешься с этой чертовой охоты, — спросил мастер, — если мне разрешается полюбопытствовать?

— Не скажу вам точно, — ответил подмастерье. — Я, может быть, и вовсе не вернусь, если так пожелает отец, — добавил он с напускным безразличием.

— Когда я брал тебя в дом, — проговорил сурово Саймон Гловер, — я полагал, что с этими шутками покончено. Я полагал, что если я, при крайнем моем нежелании, взялся обучить тебя честному ремеслу, то больше и речи не будет о большой охоте или о военном сборе, о клановых сходках и о всяких таких вещах!

— Меня не спрашивали, когда отправляли сюда, — возразил надменно юноша. — Не могу вам сказать, какой был уговор.

— Но я могу сказать вам, сэр Конахар, — разгневался Гловер, — что так поступать непорядочно: навязался на шею честному мастеру, испортил ему столько шкур, что вовек не окупит их своею собственной, а теперь, когда вошел в лета и может уже приносить хоть какую-то пользу, он вдруг заявляет, что, мол, желает сам располагать своим временем, точно оно принадлежит ему, а не мастеру!

— Сочтется с моим отцом, — ответил Конахар. — Он вам хорошо заплатит — по французскому барашку¹ за каждую испорченную шкуру и по тучному быку или корове за каждый день, что я был в отлучке.

— Торгуй с ними, друг Гловер, торгуй! — жестко сказал оружейник. — Тебе заплатят щедро, хотя едва ли честно. Хотел бы я знать, сколько они вытрясли кошельков, чтобы туго набить свой спорран,² из

¹ Французская золотая монета (mouton), называвшаяся так потому, что на ней было выгравировано изображение ягненка. (Прим. автора.)

² Сумка горцев, делавшаяся большей частью из козьей кожи. Ее носили спереди у пояса, и по-гэльски она называлась «спорран». Спорран-моулах — мохнатая сумка, сделанная обычно из козьей шкуры или другого подобного же материала мехом внутрь. (Прим. автора.)

которого так широко предлагают золото, и на чьих это пастбищах вскормлены те тучные быки, которых пригонят сюда по ущельям Грэмпиана.

— Ты мне напомнил, любезный друг, — ответил юный горец, высокомерно обратившись к Смиту, — что и с тобой мне нужно свести кое-какие счета.

— Так не попадайся мне под руку, — бросил Генри, протянув свою мускулистую руку, — не хочу я больше подножек... и уколов шилом, как в минувшую ночь. Мне нипочем осиное жало, но я не позволю осе подступиться слишком близко, если я ее предостерег.

Конахар презрительно улыбнулся.

— Я не собираюсь наносить тебе вред, — сказал он. — Сын моего отца оказал тебе слишком много чести, что пролил кровь такого мужлана. Я уплачу тебе за каждую каплю и тем ее сотру, чтобы больше она не пятнала моих пальцев.

— Потихе, хвастливая мартышка! — сказал Смит. — Кровь настоящего мужчины не расценивается на золото. Тут может быть только одно искупление: ты пройдешь в Низину на милую от Горной Страны с двумя самыми сильными молодцами своего клана; я ими займусь, а тебя тем часом предоставлю проучить моему подмастерью, маленькому Дженкину.

Тут вмешалась Кэтрин.

— Успокойся, мой верный Валентин, — сказала она, — если я вправе тебе приказывать. Успокойся и ты, Конахар, обязанный мне повиновением, как дочери своего хозяина. Нехорошо поутру вновь будить ту злобу, которую ночью удалось усыпить.

— Прощай же, хозяин, — сказал Конахар, снова смерив Смита презрительным взглядом, на который тот ответил только смехом. — Прощай! Благодарю тебя за твою доброту — ты меня ею дарил не по заслугам. Если иной раз я казался неблагодарным, виною тому были обстоятельства, а не моя злая воля... Кэтрин... — Он взглянул на девушку в сильном волнении, в котором смешались противоречивые чувства, и замолк, словно что-то хотел сказать, но не мог, потом отвернулся с одним словом: — Прощай!

Пять минут спустя, в брогах, с небольшим узелком в руке, он прошел в северные ворота Перта и двинулся в сторону гор.

— Вот она, нищета, и с нею гордости столько, что хватило бы на целый гэльский клан, — сказал Генри. — Мальчишка говорит о червонцах так запросто, как мог бы я говорить о серебряных пенни; однако я готов поклясться, что в большой палец от перчатки его матери уместится все богатство их клана.

— Да, пожалуй, — рассмеялся Гловер. — Мать его была ширококоста, особенно в пальцах и запястье.

— А скот, — продолжал Генри, — его отец и братья наворовали себе помаленьку, овцу за овцой.

— Чем меньше будем о них говорить, тем лучше, — сказал Гловер, снова приняв степенный вид. — Братьев у него не осталось, и его отец имеет большую власть и длинные руки — он простирает их всюду, куда может, а слышит он на любое расстояние.. Не стоит говорить о нем без надобности.

— И все-таки он отдал единственного сына в ученики к пертскому перчаточнику? — удивился Генри. — По-моему, ему скорее подошло бы изящное ремесло святого Криспина, как оно у нас именуется. Уж если сын великого Мака или О' идет в ремесленники, ему надо выбрать такое ремесло, в котором он может брать пример с князей.

Замечание это, хоть и сделанное в шутку, пробудило в нашем добром Саймоне чувство профессионального достоинства — преобладающее чувство, отмечавшее всю повадку ремесленника тех времен.

— Ошибаешься, Генри, сынок, — возразил он веско. — Перчаточники принадлежат к более почтенному цеху, поскольку они изготавливают нечто, что служит для рук, тогда как сапожники и башмачники работают на ноги.

— Оба цеха — равно необходимые члены городской общины, — сказал Генри, чей отец был как раз сапожником.

— Возможно, сын мой, — сказал Гловер, — но не равно почтенные. Ты посуди: руку мы подаем в залог дружбы и верности, а ноге не выпадает такой чести.

Храбрец сражается рукою — трус пускает в ход ноги, когда бежит с поля боя. Перчаткой размахивают в воздухе, сапогом топчутся в грязи... Приветствуя друга, человек ему протягивает руку, а захочешь ты отпихнуть собаку или того, кого ставишь не выше собаки, ты его пнешь ногой. По всему белому свету перчатка на острие копья служит знаком и залогом верности; брошенная же наземь, она означает вызов на рыцарский поединок. А со стоптанным башмаком, насколько я припомню, связано только одно: иной раз старая баба кидает его вслед, чтобы человеку была удача в пути. Но в эту примету я не больно верю.

Красноречивая попытка друга превознести достоинства своего ремесла позабавила оружейника.

— Право, — сказал он с улыбкой, — я не из тех, кто склонен принижать ремесло перчаточника. И то сказать, я ведь и сам выделяю рукавицы. Но, глубоко почитая ваше древнее искусство, я все же не могу не подивиться, что отец Конахара отдал сына в учение к ремесленнику из Нижней Шотландии, когда в глазах этих высокородных горцев мы стоим куда ниже их и принадлежим к презренному племени трудовых людей, только того и достойных, чтобы ими помыкали и грабили их всякий раз, когда голоштанник дуньевассал увидит, что можно это сделать спокойно, без помехи.

— Да, — молвил Гловер, — но отец Конахара был вынужден к тому особыми... — Он прикусил язык и добавил: — ...очень важными причинами. Словом, я вел с ним честную игру, и я не сомневаюсь, что и он поведет себя со мною честно. Но своим неожиданным уходом мальчишка поставил меня в затруднительное положение. Я ему кое-что поручил. Пойду загляну в мастерскую.

— Не могу ли я помочь вам, отец? — сказал Генри Гоу, обманутый озабоченным видом старика.

— Ты? Никак! — отстранил друга Саймон.

По его сухому тону Генри понял, что совершил оплошность. Он покраснел до ушей за свою недогадливость: как же это любовь не надоумила его подхватить намек!

— А ты, Кэтрин, — добавил Гловер, оставляя комнату, — минут пять займи разговором своего Валентина и присмотри, чтоб он не сбежал, пока я не вернусь... Пойдем со мной, Дороти, у меня найдется дело для твоих старых рук.

Он вышел, старуха — за ним, и Генри Смит чуть ли не впервые в своей жизни остался наедине с Кэтрин. С минуту девушка чувствовала растерянность, влюбленный — неловкость; наконец Генри, призвав все свое мужество, вынул из кармана перчатки, полученные им только что от Саймона, и обратился к ней с просьбой, чтоб она позволила человеку, которого так милостиво наградила в это утро, заплатить установленную пеню за то, что он спал в такое время, когда за одну бессонную минуту он был бы рад поступиться целым годом сна.

— Ах, нет, — ответила Кэтрин, — я высоко чту святого Валентина, но его завет не дает мне права на вознаграждение, которое вы хотите уплатить. Я и думать не могу принять от вас пеню.

— Эти перчатки, — возразил Генри и решительно подсел поближе к Кэтрин, — сработаны руками, самыми для вас дорогими. И посмотрите — они скроены как раз по вашей ручке.

Так говоря, он развернул перчатку и, взяв девушку под локоть могучей рукой, растянул перчатку рядом на столе, показывая, как она будет впору.

— Посмотрите на это узкое, длинное запястье, на эти тоненькие пальчики; подумайте, кто просил эти швы золотом и шелком, и решите, должны ли перчатка и та единственная рука, на которую она пришлась бы впору, — должны ли они оставаться врозь лишь потому, что несчастная перчатка одну быстролетную минуту побывала в такой черной и грубой руке, как моя?

— Дар мне приятен, поскольку он идет от моего отца, — сказала Кэтрин, — и, конечно, тем приятнее, что идет и от моего друга, — она сделала упор на этом слове, — от моего Валентина и защитника.

— Позвольте, я пособию надеть, — сказал Смит, еще ближе к ней пододвинувшись. — Она поначалу покажется тесноватой, потребуется, верно, помощь.

— А вы искусны в подобном услужении, мой добрый Генри Гоу? — улыбнулась девушка, но все же поспешила отодвинуться подальше от поклонника.

— Сказать по правде — нет! — молвил Генри и покачал головой. — Мне чаще доводилось надевать стальные рукавицы на рыцарей в доспехах, чем натягивать вышитую перчатку на девичью руку.

— Так я не стану утруждать вас больше, мне поможет Дороти... хоть помощь тут и не надобна — моему отцу никогда не изменяет глаз. Вещь его работы всегда в точности соответствует мерке.

— Дайте мне в этом убедиться, — сказал Смит. — Дайте увидеть, что эти изящные перчатки в самом деле приходятся по руке, для которой они предназначены.

— В другой раз, Генри, — ответила девушка. — Как-нибудь, когда это будет ко времени, я надену эти перчатки в честь святого Валентина и друга, которого он мне послал. И я всей душой хотела бы, чтобы и в более важных делах я могла следовать желаниям отца. А сейчас... у меня с утра болит голова, и я боюсь, как бы от запаха кожи она не разболелась пуще.

— Болит голова? У моей милой девочки?! — откликнулся ее Валентин.

— Если б вы сказали «болит сердце», вы тоже не ошиблись бы, — вздохнула Кэтрин и перешла на более серьезный тон. — Генри, — сказала она, — я позволю себе говорить со всею смелостью, раз уж я дала вам этим утром основание считать меня смелой; да, я решаюсь первая заговорить о предмете, о котором, возможно, мне бы следовало молчать, покуда вы сами не завели о нем речь. Но после того, что случилось, я не смею тянуть с разъяснением моих чувств в отношении вас, так как боюсь, что иначе они будут неверно вами истолкованы... Нет, не отвечайте, пока не дослушаете до конца. Вы храбры, Генри, храбрее чуть ли не всех на свете, вы честны и верны, как сталь, которую куете...

— Стойте!.. Стойте, ни слова, Кэтрин, молю! Когда вы обо мне говорите так много хорошего, дальше всегда идет жестокое осуждение, а ваша похвала, оказывается только его предвестницей. Я честен и так далее, хотите вы сказать, но притом — буян, горячая голова и завязтый драчун, то и дело хватающийся за меч и кинжал.

— Так вас назвав, я нанесла бы обиду и себе и вам. Нет, Генри, завязтого драчуна и буяна, хоть носи он перо на шляпе и серебряные шпоры, Кэтрин Гловер никогда бы не отметила той маленькой милостью, какую сегодня она по собственному почину оказала вам. Да, я не раз сурово осуждала вашу склонность сразу поддаваться гневу и чуть что ввязываться в бой, но только потому, что я хотела, если увещания мои будут успешны, заставить вас возненавидеть в себе самом два греха, которым вы больше всего подвластны, — тщеславие и гневливость. Такие разговоры я вела не затем, чтобы высказать свои воззрения, а затем, чтоб растревожить вашу совесть. Я знаю не хуже отца, что в наши безбожные, дикие дни весь жизненный уклад нашего народа — да и всех христианских народов — как будто служит оправданием кровавым ссорам по пустячным поводам, глубокой вражде с кровавой местью из-за мелочных обид, междоусобице и убийству за ущемленную честь, а то и вовсе ради забавы. Но я знаю также, что за все эти деяния нас некогда призовут к суду, и как бы я хотела убедить тебя, мой храбрый, мой великодушный друг, чтоб ты чаще прислушивался к велениям своего доброго сердца и меньше гордился ловкостью и силой своей беспощадной руки!

— Ты убедила... убедила меня, Кэтрин! — воскликнул Генри. — Твои слова отныне будут для меня законом. Я сделал немало — пожалуй, даже больше, чем надобно, — чтоб доказать свою силу и отвагу. Но у тебя одной, Кэтрин, я могу научиться более правильному образу мыслей. Не забывайте, верная моя Валентина, что моему разуму и кротости никогда не удастся сразиться, так сказать, в честном поединке с моей любовью к драке и воинским тщеславием: тем

всегда помогают всяческие покровители и подстрекатели. Идет, скажем, ссора — и я, предположим, памятуя ваши наставления, не спешу ввязаться в нее... Так вы думаете, мне дают по собственному разумению сделать выбор между миром и войной? Где там! Пресвятая Мария! Тотчас обступят меня сто человек и начнут подзуживать. «Как! Да что ж это, Смит, дружина в тебе заржавела?» — говорит один. «Славный Генри на ухо туговат — нынче он не слышит шума драки», — говорит другой. «Ты должен, — говорит лорд-мэр, — постоять за честь родного Перта!», «Гарри! — кричит ваш отец. — Выходи против них, покажи, что значит золотая знать!» Что же делать, Кэтрин, несчастному малому, когда все кругом вопят во славу дьявола и ни одна душа словечка не замолвит в пользу противной стороны?

— Да, я знаю, у дьявола довольно радетелей, готовых расхваливать его товар, — сказала Кэтрин, — но долг велит нам не слушать эти суетные речи, хотя бы с ними обращались к нам те, кого положено любить и почитать.

— А все эти менестрели с их романсами и балладами, в которых только за то и славят человека, что он получает и наносит сам крепкие удары! За многие, многие мои грехи, Кэтрин, несет ответ, скажу с прискорбием, Гарри Слепец, наш славный менестрель. Я бью сплеча не для того, чтобы сразить противника (упаси меня святой Иоанн!), а только чтоб ударить, как Уильям Уоллес.

Тезка менестреля произнес эти слова так искренне и так сокрушенно, что Кэтрин не удержалась от улыбки. Но все же она сказала с укором, что он не должен подвергать опасности свою и чужую жизнь ради пустой потехи.

— Но мне думается, — возразил Генри, приободренный ее улыбкой, — при таком поборнике миролюбие всегда одержит верх. Положим, к примеру, на меня жмут, понуждают схватиться за оружие, а я вспоминаю, что дома ждет меня нежный ангел-хранитель, и образ его шепчет: «Генри, не прибегай к насилию; ты не свою, ты мою руку обгадишь кровью,

ставишь под удар мою грудь, не свою!» Такие мысли удержат меня вернее, чем если бы все монахи в Перте завопили: «Опусти меч, или мы отлучим тебя от церкви!»

— Если предостережение любящей сестры хоть что-то значит, — сказала Кэтрин, — прошу вас, думайте, что каждый ваш удар обагрит эту руку, что рана, нанесенная вам, будет больно гореть в этом сердце.

Звук ее слов, проникновенный и ласковый, придал храбрости Смиуту.

— А почему не проникает ваш взор немного дальше, за холодную эту границу? Если вы так добры, так великодушны, что принимаете участие в склонившемся пред вами бедном, невежественном грешнике, почему вам прямо не принять его как своего ученика и супруга? Ваш отец желает нашей свадьбы, город ее ждет, перчаточники и кузнёцы готовятся ее отпраздновать, и вы, вы одна, чьи слова так добры, так прекрасны, лишь вы одна не даете согласия!

— Генри, — тихо сказала Кэтрин, и голос ее дрогнул, — поверьте, я почла бы долгом своим подчиниться велению отца, когда бы к браку, им намеченному, не было неодолимых препятствий.

— Но поразмыслите... минуту поразмыслите! Сам я не речист по сравнению с вами, умеющей и читать и писать. Но я с охотой стал бы слушать, как вы читаете, я мог бы век внимать вашему нежному голосу. Вы любите музыку — я обучен играть и петь не хуже иного менестреля. Вы любите творить милосердие — я достаточно могу отдавать и достаточно получаю за свои труды. Я дня не пропущу, чтоб не раздать столько милостыни, сколько не раздаст и церковный казначей. Отец ваш постарел, ему уже не под силу становится каждодневная работа; он будет жить с нами, потому что я стал бы считать его поистине и своим отцом. Ввязываться в беспричинную драку — этого я остерегался бы так же, как совать руку в горн; а если кто попырует учинить над нами незаконное насилие, тому я покажу, что он предложил свой товар не тому купцу!

— Я вам желаю, Генри, всех радостей мирной семейной жизни, какие вы можете вообразить, но с кем-нибудь счастливей меня!

Так проговорила — или, скорее, простонала — пертская красавица. Голос ее срывался, в глазах стояли слезы.

— Что же, я вам противен? — сказал, немного выждав, отвергнутый.

— Нет, не то! Видит бог, не то!

— Вы любите другого, кто вам милее?

— Жестокое дело — выпытывать то, чего вам лучше не знать. Но вы, право, ошибаетесь.

— Эта дикая кошка Конахар?.. Неужели он? — спросил Генри. — Я подметил, как он на вас поглядывает...

— Вы пользуетесь моим тягостным положением, чтобы меня оскорблять, Генри, хотя я этого никак не заслужила! Что мне Конахар? Только из желания укротить его дикий нрав и просветить его я принимала какое-то участие в юноше, погрязавшем в предрассудках и страстях... но совсем другого рода, Генри, чем ваши.

— Значит, какой-нибудь чванный шелковый червяк, придворный щеголь? — сказал оружейник, еле сдерживая злобу, распаленную разочарованием и мукой. — Один из тех, кто думает всех покорить перьями на шляпе да бряцанием шпор? Хотел бы я знать, который из них, пренебрегая теми, кто ему более под стать — придворными дамами, накрашенными и раздушенными, — выискивает себе добычу среди простых девушек, дочерей городских ремесленников... Эх, узнать бы мне только его имя и звание!

— Генри Смит, — сказала Кэтрин, преодолев слабость, едва не овладевшую ею, — это речь неблагодарного и неразумного человека, или, верней, неистового безумца. Я уже объяснила вам, что никто — к началу нашей беседы, — никто не стоял в моем мнении выше, чем тот, кто сейчас все ниже падает в моих глазах с каждым словом, которое он произносит в этом странном тоне, несправедливо подозрительном и бессмысленно злобном. Вы были не вправе

узнать даже то, что я вам сообщила, и мои слова, прошу вас заметить себе, вовсе не значат, что я отдаю вам какое-то предпочтение... хоть я и уверяю в то же время, что никого другого не предпочитаю вам. Вам довольно знать, что существует препятствие к исполнению вашего желания, такое непреодолимое, как если бы на моей судьбе лежало колдовское заклятье.

— Любовь верного человека может разбить колдовские чары, — сказал Смит. — И я бы не прочь, чтобы дошло до этого. Торбьерн, датский оружейный мастер, уверял, что кует заколдованные латы, напевая заклинание, пока накаляется железо. А я ему сказал, что его рунические распевы не имеют силы против оружия, каким мы дрались под Лонкарти. Что из этого вышло, не стоит вспоминать... Но панцирь и тот, кто его носил, да лекарь, пользовавшийся раненого, узнали, умеет ли Генри Гоу разрушать заклятие.

Кэтрин взглянула на него, словно хотела отозваться отнюдь не одобрительно о подвиге, которым он хвалился. Прямодушный Смит забыл, что подвиг был как раз из тех, какими он не раз навлекал на себя ее осуждение. Но прежде чем она успела облечь свои мысли в слова, ее отец просунул голову в дверь.

— Генри, — сказал он, — я оторву тебя от более приятного занятия и попрошу как можно скорее пройти ко мне в мастерскую: мне нужно переговорить с тобой о делах, затрагивающих интересы города.

Почтительно поклонившись Кэтрин, Генри вышел по зову ее отца. И, пожалуй, если он хотел и впредь вести с нею дружескую беседу, в ту минуту им лучше было разлучиться, так как их разговор грозил принять опасный оборот. В самом деле, отказ девушки начал уже казаться жениху какой-то причудой, необъяснимой после решительного поощрения, которое она, на его взгляд, сама же дала ему только что. А Кэтрин, со своей стороны, считала, что он несколько злоупотребляет оказанным ему вниманием, когда мог бы проявить подобающую деликатность и тем самым

доказать, что вполне заслужил благосклонность своей Валентины.

Но в груди у обоих было столько добрых чувств друг к другу, что теперь, когда спор оборвался, эти чувства легко должны были ожить, побуждая девушку простить влюбленному то, что задело ее щепетильность, а влюбленного — забыть то, что оскорбило его пылкую страсть.

Глава VII

Не кончился бы спор кровопролитием!

«Генрих IV», часть

Сход горожан, назначенный для расследования происшествий минувшей ночи, уже собрался. В мастерскую Саймона Гловера набилось немало народу — всё видные особы, а иные даже в черном бархатном плаще и с золотою цепью на шее. То были отцы города; в числе почетных гостей были также члены городского совета и старшины цехов. У всех читался на лице гнев и оскорбленное достоинство, когда они заводили вполголоса немногословный разговор. Но всех озабоченней, всех хлопотливей был человек, оказавший ночью очень мало помощи, — шапочник Оливер Праудфьют; так чайка, когда надвигается буря, сует, и кричит, и лопочет, хотя, казалось бы, самое разлюбое дело для птицы — лететь в свое гнездо и сидеть спокойно, пока буря не кончится.

Как бы то ни было, мастер Праудфьют вертелся среди толпы, хватал каждого за пуговицу, что-то каждому нашептывал на ухо — причем тех, кто был одного с ним роста, обнимал за талию, чтобы тем таинственней и доверительней передать свое суждение; когда же встречался ему человек повыше, шапочник вставал на цыпочки и держал его за воротник, чтобы поведать и ему все что мог. Он чувствовал себя одним из героев схватки и был исполнен сознания своей значительности — как очевидец, который может сообщить самые верные сведения о происшествии. Он

и сообщал их весьма подробно, не ограничиваясь пределами скромной истины. Нельзя сказать, чтобы его сообщения были особенно важны или занимательны, так как сводились по большей части к такого рода уверениям: «Это чистая правда, клянусь святым Иоанном! Я там был и видел своими глазами — я первый ринулся в бой; когда бы не я да еще один крепкий парень, подоспевший вовремя, они бы вломились в дом к Саймону Гловеру, перерезали горло старику и уволокли бы в горы его дочку. Уж такой за ними водится скверный обычай — это нестерпимо, сосед Крукшенк... это невыносимо, сосед Гласс... Это недопустимо, соседи Балниве, Роллок и Крайстсон. Счастье, что мы с тем парнем вовремя подоспели... Вы согласны, мой добрый и почитаемый сосед, бэйли Крейгдэлли?»

Такие речи нашептывал хлопотливый шапочник на ухо то одному, то другому. Крейгдэлли, главный бэйли города, представительный купец гильдии, тот самый, что предложил собраться утром вновь на совет в этом месте и в этот час, высокий, дородный, благообразный человек, стряхнул Оливера со своего плаща с той же учтивостью, с какой битюг отгоняет назойливую муху, докучавшую ему минут десять, и воскликнул:

— Молчание, добрые граждане! Идет Саймон Гловер, которого все мы знаем за честнейшего человека. Послушаем, что скажет он сам о своей обиде.

Дали слово Саймону, и перчаточник приступил к рассказу в явном замешательстве, причиной которого он выставил свое нежелание вовлечь город в смертельную вражду с кем бы то ни было из-за мелкой своей обиды. То были, верно, не грабители, сказал он, а переодетые шутники, подвыпившие весельчаки из придворной молодежи; ничем особенным это ему не грозило, разве что придется в светелке у дочери забрать окно чугунной решеткой, чтоб отвадить озорников.

— Если это была только озорная шутка, — сказал Крейгдэлли, — зачем же наш согражданин Гарри из Уинда пошел на такую крайность и за безобидную шалость отсек **джентльмену** руку? На город теперь

наложат тяжелую пеню, если мы не выдадим того, кто нанес увечье!

— Пресвятая дева! Этому не бывать! — сказал Гловер. — Если бы вы знали то, что знаю я, вы остереглись бы вмешиваться в это дело, как не стали бы совать палец в расплавленную сталь. Но раз уж вы непременно хотите обжечься, я должен сказать правду: дело кончилось бы худо для меня и для моей семьи, когда бы не подоспел на помощь Генри Гоу, оружейник, всем вам отлично известный.

— Не дремал и я, — сказал Оливер Праудфьют, — хоть и не стану хвалиться, что я так же славно владею мечом, как наш сосед Генри Гоу. Ведь вы видели меня, сосед Гловер, с самого начала сражения?

— Я вас видел, когда оно закончилось, — отрезал Гловер.

— Правда, правда! Я позабыл, что вы, покуда сыпались удары, сидели дома и не могли видеть, кто их наносил.

— Потихе, сосед Праудфьют, прошу вас, потихе, — отмахнулся Крейгдэлли, явно наскучив нудным верещанием почтенного старшины цеха шапочников. — Тут что-то кроется, — сказал он далее, — но я, кажется, разгадал загадку. Наш друг Саймон, как вы все знаете, миролюбец и такой человек, что скорей останется при своей обиде, чем подвергнет опасности друга или, скажем, соседей. Ты, Генри, всегда тут как тут, когда надо встать на защиту города, — доложи нам, что ты знаешь об этом деле?

Наш Смит поведал все как было и как рассказано уже читателю, а неугомонный шапочник опять вернул свое слово:

— Ты меня видел там, честный Смит, видел, да?

— Сказать по совести, не заметил, сосед, — ответил Генри. — Впрочем, ростом ты невелик и я, понятно, мог тебя проглядеть.

При этом ответе все дружно рассмеялись, но Оливер и сам рассмеялся вместе с другими и добавил упрямо:

— А все-таки я самый первый кинулся на вырубку,

— Да ну? Где же ты был, сосед? — сказал Генри. — Я тебя не видел, а я в тот час отдал бы столько, сколько могут стоить лучший меч и доспехи моей работы, чтобы рука об руку со мною стоял такой крепкий молодец, как ты!

— Да как же, я и стоял совсем рядом, честный Смит. И пока ты колотил, как молотом по наковальне, я отводил те удары, которыми остальные негодяи старались угостить тебя из-за спины. Потому-то ты меня и не приметил.

— Слыхивал я об одноглазых кузнецах былых времен, — сказал Генри. — У меня два глаза, но оба сидят спереди, так что у себя за спиной, соседушка, я видеть не мог.

— И все же, — настаивал мастер Оливер, — именно там я и стоял, и я дам господину бэйли свой отчет о происшествии. Ведь мы со Смитом первые ринулись в драку.

— Пока довольно! — сказал бэйли, взмахом руки уgomонив мастера Праудфьюта. — У нас есть показания Гловера и Генри Гоу — этого было бы довольно, чтобы признать установленным и не столь правдоподобное дело. А теперь, мои добрые мастера, говорите, как нам поступить. Нарушены и поруганы все наши гражданские права, и вы отлично понимаете, что отважиться на это мог только очень сильный и очень дерзкий человек. Мастера, вся наша плоть и кровь возмущена и не велит нам снести обиду! Законы ставят нас ниже государей и знати, но разве можно стерпеть вопреки рассудку, чтобы кто-либо безнаказанно ломился в наши дома и покушался на честь наших женщин?

— Не потерпим! — единодушно отзывались горожане.

На лице Саймона Гловера отразились тревога и недобрые опасения.

— Я все же думаю, — вмешался он, — что их намерения были не так уж злостны, как вам кажется, достойные мои соседи; и я с радостью простил бы ночной переполох в моем злополучном доме, лишь бы Славный Город не попал из-за меня в скверную

передрагую. Прошу вас, подумайте, кто окажется нашими судьями, кто будет слушать дело, кто будет решать, присудить ли нам возмещение за обиду или отклонить наш иск. Я среди соседей и друзей и, значит, могу говорить откровенно. Король — благослови его господь! — так сокрушен и духом и телом, что сам он устранился и отправит нас к кому-нибудь из своих советников, какой подвернется в тот час... Возможно, он нас отошлет к своему брату, герцогу Олбени, а тот использует наше ходатайство о возмещении обиды как предлог, чтобы из нас же выжать побольше денег.

— Нет, из дома Олбени нам судьи не надо! — с тем же единодушием ответил сход.

— Или, может быть, — добавил Саймон, — он поручит заняться нами герцогу Ротсею. Юный принц-сорванец обратит нашу обиду в потеху для своих вселых удалцов и прикажет своим менестрелям сложить о ней песню.

— Не надобно нам Ротсея! Он знает лишь забавы, не годится он в судьи! — снова дружно прокричали горожане.

Видя, что он успешно подвел к тому, к чему клонил, Саймон осмелел, но все же следующее грозное имя назвал боязливым полусшепотом:

— Тогда не предпочтете ли вы Черного Дугласа?

С минуту никто не отвечал. Все переглянулись, лица у людей угрюмо вытянулись, губы побелели. Один лишь Генри Смит смело, твердым голосом высказал то, что думал каждый, но чего никто не отважился вымолвить вслух:

— Поставить Черного Дугласа судьей между горожанином и дворянином... или даже знатным лордом, как я подозреваю... Ну нет, уж лучше черного дьявола из преисподней! С ума ты своротил, отец Саймон, что несешь такую дичь!

Снова наступило опасливое молчание, которое нарушил наконец Крейгдэлли.

Смерив говорившего многозначительным взглядом, он заметил:

— Ты полагаешься на свой кафтан со стальной подбивкой, сосед Смит, а то бы не говорил так смело.

— Я полагаюсь на верное сердце под своим кафтаном, каков он ни есть, бэйли, — ответил бесстрашный Смит. — И хоть я не говорун, никто из знатных особ не навесит мне замка на рот.

— Носи кафтан поплотнее, добрый Генри, или не говори так громко, — повторил бэйли тем же многозначительным тоном. — По городу ходят молодцы с границы со знаком кровавого сердца на плече.¹ Но все эти речи ни к чему. Что мы станем делать?

— Речь хороша, когда коротка, — сказал Смит. — Обратимся к нашему мэру и попросим у него совета и помощи.

Ропот одобрения пошел по рядам, а Оливер Праудфьют воскликнул:

— Я же полчаса твердил это, а вы не хотели меня слушать! Идемте к нашему мэру, говорил я. Он сам дворянин, ему и разбирать все споры между городом и знатью.

— Тише, соседи, тише! Ходите и говорите с опаской, — сказал тонкий, худой человек, чья небольшая фигурка как будто еще сжалась и стала совсем похожа на тень — так он старался принять вид предельного унижения и казаться в соответствии со своими доводами еще более жалким и незаметным, чем его создала природа. — Извините меня, — сказал он, — я всего лишь бедный аптекарь. Тем не менее я воспитывался в Париже и обучен наукам о человеке и *cursus medendi*² не хуже всякого, кто именуется врачом. Думается мне, я, пожалуй, сообразил, как врачевать эту рану и какие надобны тут снадобья. Вот перед нами Саймон Гловер — человек, как все вы знаете, достойнейший. Разве он не должен был бы горячее всех настаивать на самом строгом судебном расследовании, коль скоро в этом деле задета честь его семьи? А между тем он увиливает, не хочет выступить с обвинением против буянов. Так не думаете ли вы, что если он не желает поднимать дело, значит

¹ Широко известный отличительный знак дома Дугласов. (Прим. автора.)

² Способам врачевания (лат.).

у него имеются на то свои особые и важные причины, о которых он предпочитает умолчать? Уж кому-кому, а мне и вовсе не пристало совать палец в чужую рану! Но увы! Все мы знаем, что юные девицы — это все равно что летучая эссенция. Предположим далее, что некая честная девица — вполне невинная, конечно, — оставляет на утро святого Валентина свое окно незапертым, чтобы какой-нибудь галантный кавалер получил возможность — конечно, без урона для ее девичьей чести — сделаться на предстоящий год ее Валентином; и допустим, что кавалера настигли, — разве она не поднимет крик, как если бы гость вторгся неожиданно, ну, а там... Взвесьте это всё, потолчите в ступе и посудите — стоит ли городу из-за такого дела ввязываться в ссору?

Аптекарь излагал свои мнения в самом двусмысленном тоне; но его щуплая фигурка стала и вовсе бестелесной, когда он увидел, как кровь прилила к щекам Саймона Гловера, а лицо грозного Смита жарко зарделось до корней волос. Оружейник выступил вперед, вперил строгий взгляд в испуганного аптекаря и начал:

— Ах ты скелет ходячий! Колба с одышкой! Отравитель по ремеслу! Когда бы я полагал, что твое смрадное дыхание может хоть на четверть секунды затмить светлое имя Кэтрин Гловер, я бы истолок тебя, грязный колдун, в твоей же ступе, подмешал бы к твоим гнусным останкам серный цвет — единственное не фальшивое лекарство в твоей лавке — и сделал бы из этой смеси мазь для втирания шелудивым собакам!

— Стой, Генри, сынок, стой! — властным окриком остановил его Гловер. — Здесь вправе говорить только я, и больше никто. Многоуважаемый судья Крейгдэлли! Если мое миролюбие толкуют так превратно, я склоняюсь к тому, чтобы преследовать озорников до последней возможности. И хотя бы время показало, насколько лучше было бы держаться миролюбия, вы все увидите, что моя Кэтрин ни по легкомыслию, ни по неразумию не подала повода к такому поношению. Вмешался и бэйли.

— Сосед Генри, — сказал он, — мы сюда собрались на совет, а не свару заводить. Как один из отцов города, я предлагаю тебе забыть злобу и твои недобрые умыслы против мастера Двайнинга, аптекаря.

— Он слишком жалкая тварь, бэйли, — сказал Генри Гоу, — чтобы мне вступать с ним в ссору: я же одним ударом молота могу уничтожить и его самого и его лавчонку.

— Тогда успокойтесь и выслушайте меня, — сказал бэйли. — Мы все верим в незапятнанную честь нашей пертской красавицы, как в святость пречистой богородицы. — Он истово перекрестился. — Итак, тут предлагали обратиться к мэру. Согласны ли вы, соседи, передать в руки нашего мэра дело, которое, как можно опасаться, будет направлено против могущественного и знатного лица?

— Мэр и сам знатный человек, — проскрипел аптекарь, снова осмелев после вмешательства бэйли. — Видит бог, я ни слова не имею сказать в укор почтенному дворянину, чьи предки долгие годы исправляли должность, которую ныне исправляет он.

— По свободному выбору граждан города Перта, — добавил Смит, перебив говорившего зычным и властным голосом.

— Да, конечно, — сказал смущенный оратор, — по выбору граждан. Как же иначе? Прошу вас, друг мой Смит, не перебивайте меня. Я по своему убогому разумению обращаюсь к нашему старшему бэйли, достойнейшему Крейгдэлли. Я хочу сказать, что как бы ни был связан с нами сэр Патрик Чартерис, он все-таки знатный дворянин, а ворон ворону глаз не выклюет. Он может нас рассудить в спорах с горцами, может выступить с нами против них, как наш мэр и предводитель, но, сам облаченный в шелк, захочет ли он стать на нашу сторону в споре против расшитой епанчи и парчовых одежд, как вставал против тартана или ирландского сукна, — это еще вопрос. Послушайте меня, скудоумного. Мы спасли нашу красавицу девицу, о которой я не хотел сказать ничего дурного, так как поистине не знаю за ней греха. У них

один человек остался без руки — стараниями Гарри Смита...

— ...и моими, — добавил маленький и важный шапочник.

— И Оливера Праудфьюта, как он сам уверяет, — продолжал аптекарь, не оспаривая ничьих притязаний на славу, лишь бы его самого не побуждали вступить на ее опасную стезю. — Я говорю, соседи, что раз один из них оставил нам на память свою руку, они больше не сунутся на Кэрфью-стрит. А коли так, то, по моему нехитрому суждению, давайте поблагодарим от души нашего честного горожанина и, поскольку город вышел из дела с честью, а те окаянные повесы — с уроном, похороним дело — и молчок, ни слова!

Эти осторожные советы возымели свое действие на иных из горожан, которые кивали на его слова и с видом глубокого понимания глядели на поборника чиролюбия; и даже Саймон Гловер, несмотря на давешнюю обиду, казалось, разделял его мнение. Но Генри Смит, видя, какой оборот принимает совещание, взял слово и заговорил с обычной для него прямоотой:

— Я среди вас не самый старший, соседи, не самый богатый — и не жалею о том. Годы и сами придут, если до них доживешь, а деньги я могу зарабатывать и тратить, как и всякий другой, кто не робеет перед жаром горна и ветром кузнечных мехов. Но никто никогда не видал, чтобы я сидел спокойно, когда словом или делом нанесена обида Славному Городу и когда человек может ее исправить речью или рукой. Не снесу я спокойно и это оскорбление, сделаю что в моих силах. Если никто не желает идти со мною, я пойду к мэру один. Он рыцарь, это верно, и, как все мы знаем, истинный свободный дворянин из рода, который мы чтим со времен Уоллеса, посадившего к нам его прадеда. Но будь он самым гордым и знатным господином в стране, он — мэр Перта и ради собственной чести должен охранять права и вольности города — должен и будет, я знаю: я делал ему на заказ стальные доспехи и разгадал, какое сердце они прикрывают.

— Во всяком случае, — сказал Крейгдэлли, — бесполезно идти с нашим делом к королю иначе, как под предводительством Патрика Чартериса; все равно ответ будет один: «Ступайте к вашему мэру, сиволапые, а нам не докучайте». Итак, соседи и сограждане, если вы меня поддержите, мы двое, аптекарь Дvainнинг и я, отправимся немедленно в Кинфонс, и с нами — Сим Гловер, наш славный Смит и доблестный Оливер Праудфьют как свидетели побоища; мы договоримся от имени города с сэром Патриком Чартерисом.

— Нет, меня, прошу, оставьте дома, — стал отказываться миролюбец лекарь, — я и рта открыть не посмею перед лицом рыцаря, препоясанного мечом.

— Пустое, сосед, ты должен идти, — возразил Крейгдэлли. — Кто в городе не знает, что я — горячая голова, хотя мне давно перевалило за шестьдесят? Сим Гловер — обиженная сторона; Гарри Гоу, как всем известно, больше продырявил панцирей мечом, чем выковал их своим молотом; а сосед Праудфьют, который, по его словам, неизменно участвует от начала до конца в каждой драке на улицах Перта, — он, несомненно, человек действия. Необходимо, чтобы среди нас был хоть один радетель за мир и спокойствие. И ты, аптекарь, самый для этого подходящий человек. Итак, в путь-дорогу, господа, надевайте сапоги, седлайте коней — «Конь да посох!»¹, скажу я, и встретимся все у Восточных ворот... если, конечно, вы сообразовались, соседи, доверить нам это дело.

— Лучше и не придумашь, мы все голосуем за это, — заговорили горожане. — Если мэр возьмет нашу сторону, как Славный Город вправе ожидать, мы можем потягаться с первейшими из знатных господ!

— Значит, соседи, — подхватил бэйли, — как договорились, так и сделаем. Я, между прочим, наказал созвать примерно к этому часу общегородской совет и не сомневаюсь, — тут он обвел глазами всех

¹ «Конь да посох!» — всем известный клич, с которым эльфы вскакивают на коней, пускаясь в странствие при лунном свете, стал широко применяться во всех случаях, когда садятся в седло. (Прим. автора.)

вокруг, — что коль скоро собравшиеся здесь в большом числе горожане решили переговорить с нашим мэром, то и прочие члены совета согласятся с их решением. А потому, соседи и добрые граждане славного города Перта, живо на коней, как сказано, и сойдемся у Восточных ворот.

Возгласы общего одобрения завершили заседание этого, так сказать, частного совета, или, как тогда говорилось, заседания «лордов ремесел». И они разошлись; выборные — готовиться к поездке, остальные же — рассказывать своим заждавшимся женам и дочерям, какие приняты меры, чтобы впредь их светлицам не угрожало в неурочные часы вторжение любезников.

Пока седлают коней, а городской совет обсуждает — или, вернее, формально утверждает — постановление, принятое именитыми горожанами, дадим читателю необходимые сведения и ясно изложим то, на что указывалось вскользь и обиняком в предшествующих прениях.

Во времена, когда феодальная аристократия притесняла королевские города Шотландии и зачастую нарушала их права, утвердился обычай, по которому город, если позволяли обстоятельства, выбирал мэром, то есть главой своего самоуправления, не кого-либо из купцов, мастеров и других влиятельных лиц, проживавших в самом городе и замещавших рядовые должности по магистратуре, а приглашал на этот высокий пост какого-нибудь могущественного рыцаря или барона из лежащих поблизости замков, с тем чтобы он был при дворе другом горожан, защищающим их общинные интересы, а при случае возглавлял бы городское ополчение — на войне ли или в частных расприх, — подкрепляя его отрядом своих феодальных ленников. Помощь эта не всегда бывала безвозмездной. Сплошь да рядом мэры беззастенчиво злоупотребляли своим положением и отхватывали под видом «даров» земли и угодья, принадлежавшие городской общине, заставляя горожан непомерно дорого платить за оказываемое покровительство. Другие довольствовались тем, что получали от горожан поддержку в

своих феодальных ссорах, а также всевозможные знаки почета и благоволения, какими город по собственному почину награждал своего предводителя, дабы тот при нужде рачительней услужал ему. Барон, состоявший официальным защитником королевского города, не стесняясь принимал такие добровольные подношения и платил за них защитой прав и привилегий общины, участием в прениях городского совета и смелыми деяниями на поле битвы.

Граждане славного города Перта (как они любили себя именовать) из поколения в поколение избирали себе покровителей-мэров из рыцарского семейства Чартерис, владетелей Кинфонса, чьи земли лежали по соседству с городом. Не прошло и ста лет (во времена Роберта III) с той поры, как первый представитель этого видного рода обосновался в принадлежавшем ему крепком замке, стоявшем среди живописной и плодородной местности. Обосноваться на чужой земле, куда его забросил жребий, первому барону позволили необычайные события его жизни, рыцарственной и романтической. Расскажем их, как они излагаются в древнем и устойчивом предании, отмеченном чертами несомненной правдивости и настолько достоверном, что его можно бы включить и в более серьезную историческую летопись, чем эта наша повесть.

В те годы, когда прославленному патриоту сэру Уильяму Уоллесу, чей жизненный путь был так недолог, удалось с оружием в руках на некоторое время изгнать из Шотландии английских захватчиков, он, говорят, предпринял путешествие во Францию с небольшим отрядом своих приверженцев; при этом Уоллес поставил себе целью путем личного воздействия (а его и в чужих странах уважали за доблесть) склонить французского государя к тому, чтоб он послал в Шотландию вспомогательные войска или чем-либо другим помог шотландцам отвоевать независимость.

Шотландский герой, находясь на борту небольшого судна, держал курс на Дьепп, когда вдали показался парус, на который корабельщики глядели сперва смущенно и подозрительно, а под конец — в растерянности и унынии. Уоллес спросил, в чем причина

тревоги. Капитан сообщил ему, что высокобортное судно, приближающееся с намерением взять их на абордаж, — знаменитый пиратский корабль, который славится дерзкой отвагой и неизменным успехом в разбое. Командует им джентльмен, по имени Томас де Лонгвиль, человек необычайной силы, француз по рождению, а по роду деятельности — один из тех пиратов, которые именуют себя друзьями моря и врагами всех, кто плавает по водным просторам. Он нападает на корабли любой страны и грабит их подобно древненорвежским морским королям, как их называют, чья власть простирается на необозримые просторы бурных вод. Капитан добавил, что ни один корабль не может спастись от разбойника бегством — так быстроходно его судно, и ни у одной команды, даже самой сильной, нет надежды отбиться от него, когда он, по своему пиратскому обычаю, кидается на чужую палубу во главе своих удальцов.

Уоллес сурово улыбался, пока капитан с дрожью в голосе и со слезами на глазах расписывал грозившую им неизбежную участь — попасть в плен к Красному Разбойнику, как прозвали де Лонгвиля, потому что он обычно ходил под кроваво-красным флагом, который поднял и теперь.

— Я освобожу проливы от пирата, — сказал Уоллес.

Создав человек десять — двенадцать своих приверженцев — Бойда, Керли, Ситона и других, — для кого смерч самой отчаянной битвы был как дыхание жизни, он приказал им вооружиться и лечь ничком на палубу, чтобы их не было видно. Корабельщикам он велел спуститься в трюм — всем, кроме нескольких человек, необходимых для управления судном. Капитана же заставил под страхом смерти так вести корабль, чтобы казалось, будто он спасается от пирата бегством, а на деле — **позволить** Красному Разбойнику нагнать его и захватить. Уоллес между тем залег на палубе, чтобы видно было, что никто не готовится к сопротивлению. Через четверть часа корабль де Лонгвиля стал борт о борт с судном, на котором находился шотландский герой, и Красный Разбойник, набросив

абордажные крючья, чтобы закрепить за собой добычу, в полном вооружении прыгнул на палубу вместе со своими удалцами, поднявшими бешеный крик, словно уже была одержана победа. Но тут вооруженные шотландцы разом вскочили на ноги, и разбойник, никак того не ждавший, был вынужден схватиться с людьми, которые привыкли считать победу обеспеченной, когда на каждого приходилось не более двух или трех противников. Сам Уоллес бросился на капитана пиратов, и между ними завязалась борьба столь яростная, что все остальные прекратили битву и стали смотреть на них, словно пришли к общему согласию предоставить поединку между двумя главарями решить исход сражения. Пират бился, как только может биться человек, но Уоллес обладал нечеловеческой силой. Он выбил меч из руки разбойника, и тот, когда клинок противника должен был вот-вот рассечь его, не видя иного выхода, схватился с шотландцем грудью к груди, надеясь осилить его голыми руками. Однако и тут шотландец взял верх. Они повалились на палубу, держа друг друга в объятиях, но француз упал навзничь, и Уоллес, схватив его за горло, защищенное ожерелком панциря, сдавил так крепко, что сталь, как ни была хороша, подалась и кровь хлынула у пирата из глаз, из носу, изо рта, так что просить пощады он мог только знаками. Увидав, как туго пришлось атаману, его люди побросали оружие и сдались на милость победителя. Тот даровал им всем жизнь, но завладел их судном и объявил их своими пленниками.

Когда показалась французская гавань, Уоллес поверг ее в трепет, используя цвета разбойника, как если бы сам де Лонгвиль явился грабить город. Колокола вызванивали тревогу, раздался призывный звон рогов, и горожане хватались за оружие, когда внезапно все переменялось. Над пиратским флагом вознесся шотландский лев на золотом щите и возвестил, что приближается освободитель Шотландии, как сокол с добычей в когтях. Он сошел на берег со своим пленником и предстал с ним пред двором французского короля. По просьбе Уоллеса, пирату были прощены его разбойничьи подвиги, и король даже почтил

сэра Томаса де Лонгвиля посвящением в рыцари и предложил ему службу при своем дворе. Но разбойник проникся такими дружескими чувствами к своему великодушному победителю, что предпочел соединить свою судьбу с судьбой Уоллеса, отправился с ним в Шотландию и сражался плечо к плечу с героем во многих кровопролитных боях, в которых сэра Томас де Лонгвиль доблестью не уступал никому, кроме богатыря, одолевшего его в поединке. Ему выпал более счастливый жребий, чем его покровителю. Отличаясь не только редкой силой, но и красотой, де Лонгвиль так пленил юную девицу, наследницу древнего рода Чартерис, что та избрала его себе в супруги и принесла ему в приданое прекрасный баронский замок Кинфонс со всеми угодьями. Их потомки приняли имя Чартерис — в утверждение связи со своими предками по материнской линии, древними владельцами их замка и баронских земель, хотя имя Томаса де Лонгвиля не меньше чтилось среди них и широкий двуручный меч, которым он косил в боях ряды противников, хранится по сей день среди драгоценных семейных реликвий. По другой версии Чартерис было родовое имя самого де Лонгвиля. Впоследствии поместье перешло к семье Блэров, а в настоящее время им владеет лорд Грей.

Эти-то бароны Кинфонс¹ из поколения в поколение, от отца к сыну, исправляли должность мэра города Перта. Замок стоял по соседству с городом, и этот издавна установившийся порядок был удобен для обеих сторон. Сэр Патрик, о котором повествует наша хроника, не раз возглавлял пертское ополчение в боях и схватках с неугомонными грабителями из кланов Горной Страны и с другими врагами — будь то чужеземцы или свои же соплеменники. Правда, иногда ему надоедало разбирать мелкие и вздорные жалобы,

¹ Думают, что в настоящее время древних баронов Кинфонс представляет по мужской линии одна ветвь этого рода, некогда могущественная, а именно — Чартерисы из Эмисфилда в Дамфрисшире. Развалины замка рядом с их современной усадьбой свидетельствуют, какими широкими возможностями располагали они в прошлом. (*Прим. автора.*)

с которыми обращались к нему без нужды. Поэтому на него нередко возводилось обвинение, что он-де слишком горд, потому что знатен, или слишком нераспространен, потому что богат, и что он слишком привержен охоте на зверя и усадям феодального гостеприимства, а когда Славный Город по тому или другому поводу ждет его деятельного вмешательства, не всегда бывает легок на подъем. Но, невзирая на все нарекания, горожане пред лицом серьезной опасности неизменно спешили сплотиться вокруг своего мэра, и тот всегда был рад им помочь советом и делом,

Глава VIII

Вот Джонстоны из Эннендейла!
Везде их встретишь тут..
Они здесь прожили столетья,
Столетия проживут.

*Старинная баллада*¹

В предыдущей главе мы бегло очертили, кем был и кем слыл сэр Патрик Чартерис, мэр города Перта. Вернемся теперь к делегации, которая собралась у Восточных ворот, чтобы нести свою жалобу этому вельможе в замок Кинфонс.

Первым прибыл Саймон Гловер верхом на иноходце, которому иногда выпадала честь нести на себе более изящную и не столь тяжелую ношу — красавицу Кэтрин. Гловер чуть не до глаз прикрыл плащом лицо, не так от холода, как в знак того, что друзья, пока он едет по улицам, не должны тревожить его расспросами. Тяжелая забота сдвинула его нависшие брови: видно, чем больше думал он о предстоящем деле, тем трудней и опасней оно рисовалось ему. Он только молчаливым поклоном приветствовал друзей, по мере того как те являлись к месту сбора.

Сильный вороной жеребец старой гэллоуэйской породы, малорослый — не больше как в четырнадцать

¹ Перевод С. Петрова.

ладоней, — но крутоплечий, крепконогий, ладный, с круглым крупом, нес к Восточным воротам храброго Смита. Лошадник узнал бы по искре в глазу тот недобрый норов, который часто сочетается в коне с большою силой и выносливостью; но вес, рука и твердая посадка наездника в добавление к непрестанным трудам недавнего долгого путешествия успели переломить упрямство скакуна. В паре с оружейником ехал Оливер Праудфьют. Почтенный шапочник, как читатель знает — маленький и круглый человек, то, что в просторечии зовется увалень, — закутался в пунцовый плащ, навесил поверх плаща охотничью сумку и, напоминая в таком виде красную подушку для булавок, взгромоздился на большое, высокое седло, в котором он сидел не верхом, а точно птица на жердочке. Седло с взобравшимся на него седоком обхватывало хребет большой, тяжелой в беге фламандской кобылы, напоминавшей верблюда: как тот, она задирала нос, на каждой ноге у нее висел огромный пук шерсти, а каждая подкова была в поперечнике со сковороду. Несоответствие между лошадию и всадником было слишком разительно, и если случайные прохожие только дивились, как такой коротышка сумел взобраться в седло, то его друзья с тревогой думали о том, с какой опасностью сопряжено для их товарища нисхождение на землю: всадник восседал так высоко, что не доставал каблуками до нижнего края седла. Шапочник прибил к Смиуту и зорко следил за каждым его движением, норовя не отстать от него, ибо был убежден, что люди действия производят еще более внушительное впечатление, если держатся бок о бок. И он пришел в восторг, когда один балагур-подмастерье, сохраняя самый серьезный вид, без тени усмешки, громко провозгласил:

— Вот она, гордость Перта, наши славные мастера — удалой кузнец из Милл-Уинда и храбрый шапочник!

Правда, парень, вознося свою хвалу, упер язык в щеку и подмигнул такому же, как сам, шалопаю; но так как шапочник не увидел гримасы, он милостиво бросил ему серебряный пенс в награду за почтение к

воителям. Щедрость Оливера собрала ватагу мальчишек, которые бежали за ним следом с хохотом и гиканьем, пока Генри Смит, обернувшись, не пригрозил отхлестать самого бойкого из них, скакавшего впереди. Мальчишки не стали ждать, когда это совершится.

— Мы, свидетели, налицо, — сказал маленький человек на большой лошади, когда съехался с Саймоном Гловером у Восточных ворот. — Но где же те, кто должен поддержать нас? Эх, брат Генри! Внушительность — это груз скорее для осла, чем для горячего коня; у таких молодцов, как ты да я, она только стеснит свободу движений.

— Я хотел бы видеть тебя хоть немножко обремененным этой тяжестью, достойный мастер Праудфьют, — возразил Генри Гоу, — хотя бы ради того, чтобы крепче держаться в седле, а то ты так подскакиваешь, точно пляшешь джигу без помощи ног.

— Это я приподнимаюсь в стременах, чтобы меня не трясло, моя кобылка страшно норовиста! Но она носила меня по полям и лесам, и я не раз побывал с нею в опасных переделках. Так что мы с Джезабелю теперь неразлучны. Я ее назвал Джезабелю в честь кастильской принцессы.

— Ты, верно, хотел сказать — Изабеллой, — поправил Смит.

— Что Изабелла, что Джезабель — это, знаешь, все одно! Но вот наконец и наш бэйли Крейгдэлл с этой жалкой тварью, с этой трусливой гадиной аптекарем. Они прихватили с собой двух офицеров городской стражи с патрулями, чтобы охранять, полагаю, их драгоценные особы... Кого я поистине не терплю, так это таких вот проныр, как Двайнинг!

— Осторожней, как бы он тебя не услышал, — сказал Смит. — Поверь мне, добрый шапочник, это худышка, этот мешок с костями может оказаться страшнее, чем двадцать таких здоровяков, как ты.

— Тьфу! Смит, шутник, ты меня дразнишь, — сказал Оливер, приглушив, однако, голос и опасливо оглядывая аптекаря, точно хотел высмотреть, какой же мускул, какая черта его тощего лица или тельца

выдают затаенную угрозу. Успокоенный осмотром, он храбро добавил: — Клянусь мечом и щитом, приятель, я не побоялся бы рассориться с десятком таких Двайнингов. Что может он сделать человеку, у которого в жилах течет горячая кровь?

— Он может дать ему глоток лекарства, — коротко ответил Смит.

Было некогда продолжать беседу — Крейгдэлли крикнул им, что пора двигаться в путь на Кинфонс, и первый показал пример. Кони трусили неторопливой рысью, а у всадников пошел разговор о том, какого приема они могут ждать от своего мэра и примет ли тот к сердцу их жалобу на дерзкое нарушение их прав. Больше всех как будто склонялся к сомнению Гловер и не раз заводил речь в таком духе, что, казалось, он хотел навести спутников на мысль вовсе отказаться от затеи и замять дело. Однако он прямо этого не предлагал, страшась, как бы не возникли кривотолки, если он даст людям заподозрить, что не спешит отстаивать честное имя своей дочери. Двайнинг как будто разделял его взгляд, но высказывался осторожней, чем утром.

— В конце концов, — сказал бэйли, — когда я подумаю, сколько благ и даров перепало милорду мэру от нашего доброго города, я не могу помыслить, что он отнесется равнодушно к нашей беде. Не одна большая барка, груженная бордоским вином, отчалила от южного берега, чтобы сдать свой груз у замка Кинфонс. Я знаю, что говорю, раз я сам торгую заморским товаром.

— А я мог бы порассказать, — завел своим скрипучим голосом Двайнинг, — о затейливых лакомствах, об орехах в меду, о караваях пряного хлеба и даже о печеньях с той редкостной и вкусной приправой, которая зовется сахаром. Все это отправляют туда всякий раз, как празднуется свадьба, или крестины, или что-нибудь в этом роде. Но знаете, бэйли Крейгдэлли, вино разопьют, сласти съедят, а дарителя позабудут, как только исчезнет их вкус во рту. Увы, сосед! Где оно, минувшее рождество? Там же, где прошлогодний снег.

— Но были еще и перчатки, наполненные золотыми монетами, — напомнил судья.

— И я знаю мастера, делавшего эти перчатки, — вставил свое слово Саймон, потому что как ни был он занят своими думами, они не могли заглушить в его уме помыслов, связанных с его ремеслом. — Один раз это была перчатка для соколиной охоты на ручку миледи. Я пустил ее широкогато, но миледи не поставила этого мастеру в укор, зная, какая предполагалась подбивка.

— Вот и хорошо, — сказал Крейгдэлли, — мастер не дал маху! Если нам и это не зачтется, то виноват в том будет мэр, а не город. Этот дар не съешь, не выпьешь в том виде, как он преподносится.

— А я мог бы кое-что поведать и об одном честном оружейнике, — сказал Смит, — но... согап па сchie,¹ как выражается Джон Горец... На мой суд, рыцарь Кинфонс, мир ли, война ли, всегда исполняет свой долг перед городом. И нечего подсчитывать, сколько город делает ему добра. Пока что он не забывал долга благодарности.

— И я так сужу, — подхватил наш приятель Праудфьют с высоты своего седла. — Мы, веселые ребята, никогда не опустимся так низко, чтобы считаться вином да орешками с таким другом, как сэр Патрик Чартерис. Поверьте мне, такой отменный зверобой, как сэр Патрик, конечно, дорожит правом травли и гона на землях города, тем более что это право наряду с королем предоставлено только нашему мэру и больше ни одной душе — ни лорду, ни виллану.

Шапочник еще не договорил, когда слева послышалось: «Шу-шу... вау-вау... хау!» — призыв, каким на соколиной охоте вабят кречета.

— Сдается, тут кое-кто пользуется правом, о котором ты говоришь, хотя, как я погляжу, он не король и не мэр, — сказал Смит.

— Эге, вижу, вижу! — крикнул шапочник, решив, что ему представился превосходный случай отли-

¹ «Мир ли, война ли — все равно!» (гэльск. — Прим. автора.)

читься. — Мы с тобой, веселый Смит, сейчас к нему подъедем и потолкуем с ним.

— Что ж, валяй! — крикнул Смит; и спутник его прищпорил свою кобылу и поскакал, не сомневаясь, что Гоу скачет за ним.

Но Крейгдэлли схватил под уздцы конька Генри.

— Стой, ни с места! — сказал он. — Пусть наш лихой наездник сам попытает счастья. Если ему обломают гребень, он присмирет до вечера.

— Ясно уже и сейчас, — сказал Смит, — что с него сойдут спесь. Тот молодец с пренаглым видом стал и смотрит на нас, точно мы его захватили на самой законной охоте... Судя по его незавидному коняге, ржавому шлему с петушиным пером и длинному двуручному мечу, он состоит на службе при каком-нибудь лорде из южан... из тех, что живут у самой границы! Эти никогда не сбрасывают с плеч черного кафтана, не ленятся раздавать удары и охулки на руку не кладут.

Пока они обсуждали таким образом возможный исход встречи, доблестный шапочник, все еще думая, что Смит следует за ним, принялся осаживать Джезабель, чтобы спутник его перегнал и подъехал к неприятелю первым или хотя бы вровень с ним. Но когда он увидел, что оружейник преспокойно стоит вместе со всеми в ста ярдах позади, наш храбрый вояка, подобно некоему старому испанскому генералу, затрясся всем телом, устранившись опасности, в которую его вовлекал неугомонный воинственный пыл. Однако сознание, что за его спиною столько друзей, надежда, что численный перевес противника устроит одинокого правонарушителя, а главное, стыд, не позволявший ему пойти на попятный, когда он сам же добровольно ввязался в эту затею и когда столько людей будут свидетелями его позора, — все это взяло верх над сильным желанием повернуть свою Джезабель и со всюю резвостью, на какую были способны ее ноги, примчаться назад, в круг друзей, так неосторожно им покинутый. Итак, не меняя направления, Оливер Праудфьют приближался к незнакомцу, тем сильнее встревоженный, что тот тоже прищпорил своего конька и рысцой затрусил ему навстречу. Почуяв

в этом враждебные намерения, наш воин оглянулся раз-другой через левое плечо, как бы высматривая, нельзя ли отступить, и наконец решительно остановился. Но филистимлянин поравнялся с шапочником прежде, чем тот надумал, принять ли бой или спастись бегством, и был это весьма грозный филистимлянин: сам длинный и тощий, лицо отмечено двумя или тремя зловещими рубцами, и всем своим видом он как будто говорил порядочному человеку: «Стой, сдавайся!»

Тоном столь же мрачным, как его лицо, незнакомец завел разговор:

— Черт бы тебя унес на закорках! Ты зачем тут едешь по полю, портишь мне охоту?

— Не знаю, как вас именовать, уважаемый, — сказал наш приятель тоном мирного увещевания, — я же — Оливер Праудфьют, гражданин Перта, состоятельный человек, а там вы видите почтенного Адама Крейгдэлли, главного бэйли города, с воинственным Смитом из Уинда и еще тремя-четырьмя вооруженными людьми, которым желательно узнать, как вас зовут и почему вы развлекаетесь охотой на этих землях, принадлежащих городу Перту... Я, впрочем, позволю себе сказать от их имени, что у них нет никакого желания ссориться с джентльменом или чужеземцем из-за случайного нарушения... Только у них, понимаете, обычай — не разрешать, пока не попросят как положено. А потому... позвольте спросить, как мне величать вас, достойный сэръ?

Под угрюмым, нетерпимым взглядом охотника Оливер Праудфьют совсем смешался к концу своей речи; не с такими словами он почел бы нужным обрушиться на правонарушителя, когда бы чувствовал у себя за спиною Генри Смита.

Но и на такой смягченный вариант обращения незнакомец ответил недоброй усмешкой, которая от рубцов на лице показалась и вовсе отталкивающей.

— Вам угодно знать мое имя? — сказал он. — Я зовусь Дик Дьявол с Адовой Запруды, а в Эннендейле меня знают под именем Джонстона Удальца. Я состою при славном лэрде Уомфри, сподвижнике и

сородиче грозного лорда Джонстона из отряда знаменитого графа Дугласа! А граф, и лорд, и лэрд, и я, его оруженосец, выпускаем своих соколов повсюду, где выследим дичь, и не спрашиваем, по чьей проезжаем земле.¹

— Я передам ваши слова, сэр, — ответил как только мог кротко Оливер Праудфьют, ибо он испытывал сильное желание освободиться от миссии, которую так опрометчиво взял на себя.

Он стал даже поворачивать коня, когда приспешник Эннендейлов добавил:

— А это получай на память, чтобы не забыть, как ты повстречался с Диком Дьяволом. В другой раз не захочешь портить охоту никому, кто носит на плече знак крылатой шпоры.

С этими словами он раза три наотмашь стегнул незадачливого шапочника по лицу и по телу хлыстом. Последний удар пришелся по Джезабели, и та встала на дыбы, сбросила седока в траву и понеслась к стоявшему поодаль отряду горожан.

Низвергнутый со своей высоты, Праудфьют стал не слишком мужественно звать на помощь и тут же, не переводя дыхания, заныл о пощаде, ибо его противник, едва он свалился, быстро соскочил на землю и приставил к его горлу свой кинжал или охотничий нож, а другой рукой стал шарить в кармане у несчастного горожанина и даже обследовал его охотничью сумку, поклявшись при этом грозной клятвой, что присвоит все, что в ней найдет, так как ее владелец испортил ему охоту. Он грубо рванул кушак, еще сильнее напугав этим шапочника, ошеломленного таким беззастенчивым насилием: грабитель не потрудился даже отстегнуть пряжку, а попросту дергал за

¹ Каждый шотландец должен сожалеть, что имя Джонстонов больше не числится в ряду пэров, и уповать, что кто-либо из многих претендентов хотя бы на менее высокую честь именоваться лордами Эннендейл уладит это дело в палате лордов. Родовые поместья семьи в большей своей части еще целы и находятся в достойных руках; они перешли к младшей ветви благородного дома Хоуптаунов, состоящих в числе претендентов на титулы старшей ветви. (Прим. автора.)

ремень, покуда застежка не сдала. Но, как видно, в сумке не оказалось ничего соблазнительного. Он ее с пренебрежением отшвырнул, позволив сброшенному наезднику встать на ноги, а сам уже вскочил на свою клячу и перевел взгляд на приближавшихся товарищей Оливера.

Когда гордый посол рухнул с седла и, по выражению Генри Смита, «обрел почву под ногами», послышался смех — настолько похвальба шапочника заранее расположила друзей позабавиться над его бедой. Но когда противник Оливера подошел к нему и начал его обыскивать вышеописанным образом, оружейник не выдержал:

— Извините, добрый мастер бэйли, я не могу допустить, чтобы жителя нашего города били, грабили и, чего доброго, убили у всех у нас на глазах. Это бросит тень на Славный Город. Несчастье соседа Праудфьюта обернется для нас позором. Я должен пойти ему на выручку.

— Мы все пойдем ему на выручку, — ответил бэйли Крейгдэлли. — Но чтоб никто без моего приказа не поднял меча! Нам навязали столько ссор, что, боюсь, у нас не хватит сил довести их до благополучного исхода. А потому убеждаю вас всех, и особенно тебя, Генри Уинд, во имя Славного Города: не поднимайте меча иначе, как для самозащиты.

Итак, они двинулись всем отрядом. Заметив, что их много, грабитель отпрянул от своей жертвы. Однако он стал в стороне и поглядывал издали, как волк, который хоть и отступит перед собаками, но в прямое бегство его не обратишь.

Увидав, какой оборот принимает дело, Генри пришпорил коня и, значительно опередив остальных, подъехал к месту, где Оливера Праудфьюта постигла беда. Первым делом он поймал Джезабель за поводья, реявшие на ветру, потом подвел кобылу к ее смущенному хозяину, который ковылял ему навстречу в испачканной после падения одежде, обливаясь слезами боли и унижения и, в общем, являя вид, столь далекий от обычной для него кичливой и щеголеватой важности, что честному Смиту стало жалко

маленького человечка и стыдно, что он позволил ему осрамиться перед всеми. Каждого, мне думается, веселит злая шутка. Но в том и разница между людьми, что злой человек пьет до дна усладу, которую она доставляет, тогда как в человеке более благородного душевного склада склонность посмеяться вскоре уступает место сочувствию и состраданию.

— Позволь, я тебе пособлю, сосед, — сказал Смит и, спрыгнув с коня, посадил Оливера, который, точно мартышка, старался вскарабкаться на свое боевое седло.

— Да простит тебя бог, сосед Смит, что ты бросил меня одного! Не поверил бы я, что ты способен на такое, хотя бы мне в том присягнули пятьдесят самых верных свидетелей!

Таковы были первые слова, скорее грустные, нежели гневные, какими приунывший Оливер выразил свои чувства.

— Бэйли держал мою лошадь под уздцы. А кроме того, — добавил Генри, не сумев при всем своем сочувствии удержаться от улыбки, — я побоялся, как бы ты меня не обвинил, что я отнимаю у тебя половину чести, если бы я вздумал прийти к тебе на помощь, когда перед тобою был лишь один противник. Но не грусти! Этот подлец взял над тобою верх только потому, что твоя кобыла не слушалась узды.

— Что верно, то верно! — сказал Оливер, жадно ухватившись за такое объяснение.

— Вон он стоит, негодяй, радуется злу, которое совершил, и торжествует из-за твоего падения, как тот король в романе, игравший на виоле, когда горел его город. Идем со мной, и ты увидишь, как мы его отделаем... Не бойся, на этот раз я тебя не покину.

Сказав это, он схватил Джезабель за поводья и, не дав времени Оливеру возразить, помчался с нею бок о бок, устремившись к Дику Дьяволу, который стоял поодаль на гребне отлогого холма. Однако, считая ли бой неравным или полагая, что достаточно навоевался в этот день, Джонстон Удалец прищелкнул пальцами, поднял вызывающе руку, прищипорил коня и поскакал прямо в соседнее болото, по которому за-

порхал, точно дикая утка, размахивая вабиком над головой и высвистывая своего кречета, хотя всякую другую лошадь с всадником тотчас же затащило бы в трясину по самую подпругу.

— Как есть разбойник! — сказал Смит. — Он вступит в драку или побежит — как ему захочется, и гнаться за ним не больше проку, чем пуститься за диким гусем. Сдается мне, он прикарманил твой кошелек — эти молодчики редко когда смываются с пустыми руками.

— Да-а, — печально протянул Праудфьют. — Он забрал кошелек, но это ничего — он оставил мне охотничью сумку!

— Так-то оно лучше! Охотничья сумка была бы для него эмблемой победы — трофеем, как говорят менестрели.

— Она ценна не только этим, приятель, — многозначительно проговорил Оливер.

— Отлично, сосед. Люблю, когда ты говоришь в свойственном тебе стиле начитанного человека. Веселей! Негодяй показал тебе спину, и ты получил назад трофей, едва не потерянные в ту минуту, когда враг захватил тебя врасплох.

— Ах, Генри Гоу, Генри Гоу! — воскликнул шапочник и примолк с глубоким вздохом, чуть не со стоном.

— Что такое? — спросил тот. — О чем ты еще сокрушаешься?

— Я подозреваю, дорогой мой друг Генри Смит, что негодяй обратился в бегство из страха перед тобой — не передо мной.

— Зря ты так думаешь, — возразил оружейник. — Он увидел двоих и побежал; кто же скажет теперь, от кого он бежал — от того или другого? К тому же он ведь испытал на собственной шкуре твою силу и напористость: мы все видели, как ты брыкался и отбивался, лежа на земле.

— Это я-то отбивался? — сказал бедный Праудфьют. — Что-то не помню... Но я знаю, что в этом моя сила — ляжки у меня здоровенные. И все это видели?

— Видели не хуже меня, — сказал Смит, едва удерживаясь от смеха.

— А ты им об этом напомнишь?

— Непременно! — ответил Генри. — И о том, каким отчаянным храбрецом ты себя только что показал. Примечай, что я стану сейчас говорить Крейгдэлли, потом обернешь это в свою пользу.

— Не подумай, что мне требуется чье-то свидетельство: я по природе своей не уступаю в храбрости ни одному человеку в Перте, но только... — Великий храбрец запнулся.

— Только что? — спросил отважный оружейник.

— Только я боюсь, как бы меня не убили. Оставить вдовой мою милую женушку и малых детей — это, знаешь, было бы очень печально, Смит. Тебе это станет понятно, когда ты сам будешь в моем положении. Твоя отвага тогда поостынет.

— Очень возможно, — сказал, призадумавшись, оружейник.

— И потом, я так приучен к оружию и такое у меня могучее дыхание, что мало кто в этом со мною сравнится. Вот она где, силища! — сказал коротышка, надувшись так, что стал похож на чучело, и ударяя себя кулаком в грудь. — Тут хватило бы места для кузнечных мехов.

— Дыхание у тебя, я сказал бы, могучее, и впрямь — что кузнечные мехи... По крайней мере твой разговор выдает...

— Мой разговор?.. Ах ты шутник! Шел недавно из Данди вверх по реке громадина дромонд, так я распорядился пригнать его ко мне и отрубить нос...

— Как! Отрубить нос Драммонду? — вскричал оружейник. — Да ведь это же значит ввязаться в ссору с целым кланом — и чуть ли не самым бешеным в стране.

— Упаси нас святой Андрей! Ты не так меня понял... Я сказал не «Драммонд», а «дромонд» — это большая барка. От нее отрубили нос... то есть, наоборот, корму... обтесали и раскрасили под султана или сарацина, и я на нем практикуюсь: вздохну во всю грудь, занесу свой двуручный меч да как рубану! Потом по боку сплеча, потом пырну, и так целый час.

— Таким путем ты, конечно, хорошо научился владеть оружием, — сказал Смит.

— Еще бы!.. А иногда я надеваю на своего султана шапку (понятно, старую) и с маху рассекаю ему голову, да с такою силой, что верь не верь — у этого язычника и черепа-то почти уже не осталось, скоро не по чему будет бить.

— Очень жаль, ты больше не сможешь упражняться, — сказал Генри. — А знаешь, мастер, давай как-нибудь я надену шлем и нагрудник, и ты будешь по мне рубить, а я палашом отводить удары и сам наносить ответные. Что скажешь? Согласен?

— Нет, никоим образом, дорогой мой друг! Я нанес бы тебе слишком тяжкие увечья... К тому же, сказать по правде, мне куда способней бить по шлему или колпаку, когда он сидит на моем деревянном султани — я тогда знаю наверняка, что собою его. А когда мельтешат перед глазами перья и яростно сверкает из-под забрала пара глаз и когда все вместе так и пляшет вокруг, тогда у меня, признаться, опускаются руки.

— Значит, если бы каждый стоял перед тобой чурбаном, как твой сарацин, ты мог бы покорить весь мир — так, мастер Праудфьют?

— Со временем, поупражнявшись, пожалуй, мог бы, — ответил Оливер. — Но вот мы и поравнялись с остальными. Бэйли Крейгдэлли смотрит гневно, но гнев его меня не устршит!

Ты не забыл, любезный читатель, что как только главный бэйли Перта и все, кто был при нем, увидели, что Смит поднимает растерявшегося шапочника, а незнакомец отступил, они не дали себе труда подъехать ближе, решив, что товарищ уже не нуждается в их помощи, коль скоро возле него грозный Генри Гоу. Вместо того они пустились дальше прямой дорогой на Кинфонс, потому что всякая задержка в исполнении их миссии представлялась нежелательной. Так как прошло некоторое время, пока шапочник и Смит догнали остальных, бэйли Крейгдэлли стал корить их обоих, и в особенности Генри Смита, за то, что

они вздумали тратить драгоценное время на погоню, да еще в гору, за сокольничим.

— Как бог свят, мастер бэйли, я не виноват, — возразил Смит. — Если вы сосворите обыкновенную дворнягу из Низины с горским волкодавом, не вините ее, когда она побежит туда, куда тот ее потянет за собой. Именно так, а не иначе, вышло со мной и Оливером Праудфьютом. Едва он встал снова на ноги, как тотчас с быстротою молнии вскочил на свою кобылу и, взбешенный поведением негодяя (который так не рыцарственно воспользовался своим преимуществом, когда под противником споткнулся конь), ринулся за ним, точно дромадер. Мне ничего не оставалось, как только поспешить за ним, чтобы конь не споткнулся под ним вторично и чтобы защитить нашего слишком храброго друга и воителя, в случае если он у вершины холма нарвется на засаду. Но негодяй — он оказался приспешником какого-то лорда с границы и носит опознавательный знак, крылатую шпору — летел от нашего соседа быстрее стрелы.

Верховный бэйли города Перта слушал, недоумевая, с чего это Смит вздумалось пускать такую молву. До сих пор Гоу никогда не придавал большого значения и не очень-то верил фантастическим рассказам шапочника о его небывалых подвигах, рассказам, которые впредь слушателям предлагалось принимать как нечто достоверное. Но старый Гловер, более проницательный, понял затею друга.

— Бедный шапочник у нас и вовсе спятит, — шепнул он Генри Смигу, — он теперь пойдет трепать языком и поднимет трезвон на весь город, когда приличия ради ему бы лучше помалкивать.

— Ох, клянусь пречистой, отец, — ответил Смит, — я люблю нашего бедного хвастунишку и не хочу, чтоб он сидел сокрушенный и притихший в зале у мэра, когда все они, и особенно этот ядовитый аптекарь, станут высказывать свое мнение.

— У тебя слишком доброе сердце, Генри, — возразил Саймон. — Однако приметь себе разницу между этими двумя: безобидный маленький шапочник напускает на себя вид дракона, чтобы скрыть свою тру-

сость, тогда как аптекарь нарочно представляется боязливым, малодушным и приниженным, чтобы люди не распознали, как он опасен в своем коварстве. Гадюка, хоть и заползает под камень, жалит смертельно. Говорю тебе, Генри, сынок, этот ходячий скелет при своей угодливой повадке и боязливом разговоре не так боится опасности, как любит зло... Но вот перед нами замок мэра. Величавое место этот Кинфонс, и для нас это к чести, что во главе нашего городского самоуправления стоит владелец такого прекрасного замка!

— Хорошая крепость, что и говорить, — подтвердил Смит, глядя на широкий, извилистый Тэй, катящийся под крутогором, где высился старый замок (как ныне высится новый) и смотрел властителем долины, хотя на противном берегу реки мощные стены Элкоу, казалось, оспаривали его верховенство.

Но Элкоу в те годы был мирным женским монастырем, и стены, его окружавшие, служили оградой затворницам-весталкам, а не оплотом вооруженного гарнизона.

— Славный замок! — продолжал оружейник и перевел взгляд на башни Кинфонса. — Он броня и щит на нашем добром Тэе. Изрядно иззубрится клинок, прежде чем нанесет ему ущерб.

Привратник Кинфонса, издали распознав, кто эти всадники, уже отворил перед ними ворота и послал известить сэра Патрика Чартериса, что к замку подъезжает главный бэйли Перта и с ним еще несколько видных горожан. Славный рыцарь, собравшийся было на соколиную охоту, выслушал сообщение с тем примерно чувством, с каким депутат, представляющий в современном парламенте небольшой шотландский городок, узнал бы, что к нему нагрянула в неурочный час делегация от его почтенных избирателей. Иначе говоря, послав в душе непрошенных гостей к черту и дьяволу, он отдал приказ принять их со всею пышностью и учтивостью; стольникам велено было немедленно нести в рыцарский зал горячее жаркое из дичи и холодные запеканки, а дворецкому — раскрыть непочатые бочонки и делать свое дело; ибо если

Славный Город время от времени пополнял погреб своего мэра, то равным образом граждане Перта не отказывались при случае помочь барону осушать его бутылки.

Добрых горожан почтительно ввели в зал, где рыцарь в кафтане для верховой езды и в сапогах с голенищами выше колен принял их с любезно-покровительственным видом, тогда как в душе желал гостям сгинуть на дне Тэя, ибо из-за их вторжения пришлось отложить утреннюю забаву. Обнажив голову и держа шляпу в руке, он прошел им навстречу до середины зала и рассыпался в приветствиях:

— А, мой добрый мастер верховный бэйли, и ты, мой достойный Саймон Гловер, отцы Славного Города!.. И ты, мой ученый составитель зелий... И ты, мой храбрый Смит!.. И мой лихой рубака шапочник, который больше рассек черепов, чем покрыл их своими шапками! Чему я обязан удовольствием видеть у себя стольких друзей в этот ранний час? Я собрался было пустить в полет соколов, и, если вы разделите со мной потеху, она станет приятна вдвойне.. (А про себя: «Матерь божья, чтоб им свернуть себе шеи!») — понятно, если город не собирается возложить на меня каких-либо дел... Гилберт, дворецкий, что ты замешкался, плут?.. Надеюсь, у вас нет ко мне более важного поручения, чем проверить, сохранила ли мальвазия надлежащий вкус?

Представители города отвечали на любезности мэра поклонами, отражавшими их нрав, причем аптекарь сделал самый низкий поклон, а Смит — самый непринужденный. Видно, он как боец знал себе цену. За всех ответил главный бэйли.

— Сэр Патрик Чартерис, — начал он веско, — когда бы нас привело к вам одно только желание лишний раз попить под гостеприимным кровом нашего благородного мэра, простая благовоспитанность подсказала бы нам, что с этим можно подождать, пожалуй вы соизволите пригласить нас, как приглашали не раз. А что касается соколиной охоты, так мы в это утро уже довольно имели с нею дела: некий неистовый охотник, путивший сокола здесь,

над ближним болотом, выбил из седла и крепко отду-
басил достойного нашего друга Оливера-шапочника
(или, как называют его некоторые, Праудфьюта)
только за то, что мастер Праудфьют спросил его от
вашего почтенного имени и от имени города Перта,
кто он такой и почему взял на себя смелость охо-
титься на землях Сент-Джонстона.

— И что же он сообщил о себе? — спросил мэр. —
Клянусь святым Иоанном, я покажу ему, как сгонять
дичь с болот до моего прихода!

— Разрешите мне вам объяснить, ваша свет-
лость, — вставил шапочник, — он захватил меня врас-
плох. Но я потом опять вскочил на коня и ринулся на
него, как рыцарь. Он назвался Ричардом Дьяволом.

— Постойте, сударь! Это тот, о ком сочиняют
стихи и повести? — спросил мэр. — А я-то считал, что
мерзавца зовут Робертом.

— Думаю, это разные лица, милорд. Я назвал мо-
лодца полным именем, сам же он представился как
«Дик Дьявол» и сказал, что он из Джонстонов и со-
стоит на службе у лорда этого имени. Но я загнал его
назад в трясину и отобрал у него свою охотничью
сумку, которую он захватил, когда я лежал на земле.

Сэр Патрик примолк в раздумье.

— Мы наслышаны, — сказал он, — о лорде Джон-
стоне и его удалцах. С ними лучше не связывать-
ся — проку не будет... Смит, скажи мне, и ты это до-
пустил?

— Да, сэр Патрик. Те, кому я обязан повино-
ваться, не позволили мне прийти на помощь това-
рищу.

— Что ж, если вы сами с этим миритесь, — ска-
зал мэр, — я не вижу, чего ради нам вмешиваться; тем
более что мастер Оливер Праудфьют, хоть и потерпел
поначалу, когда его захватили врасплох, сумел потом,
по собственным его словам, постоять за себя и за
честь своего города... Но вот наконец несут нам вино.
Наливай по кругу моим добрым друзьям и гостям,
наполняй чаши ко краев. За процветание Сент-Джон-
стона! Веселья и радости всем вам, честные мои дру-
зья! И прошу, налягте на закуски, потому что солнце

стоит высоко, а вы — люди дела и позавтракали, надо думать, не час и не два тому назад.

— Прежде чем мы сядем за еду, — сказал верховный бэйли, — разрешите нам, милорд мэр, поведать вам, какая неотложная нужда привела нас сюда. Мы еще не коснулись этого вопроса.

— Нет уж, прошу вас, бэйли, отложим это до тех пор, пока вы не поедите. Верно, жалоба на негодных слуг и телохранителей какого-нибудь знатного лица, что они играют в ножной мяч на улицах города, или что-нибудь в этом роде?

— Нет, милорд, — сказал Крейгдэлли решительно и твердо, — мы явились с жалобой не на слуг, а на их хозяев, за то, что играют, как в мяч, честью наших семей и беззастенчиво ломаются в спальни наших дочерей, как в непотребные дома Парижа. Ватага пьяных гуляк — из придворных, из людей, как можно думать, высокого звания, пыталась этой ночью залезть в окно к Саймону Гловеру. А когда Генри Смит помешал им, они стали отбиваться — обнажили мечи и дрались до тех пор, пока не поднялись горожане и не обратили их в бегство.

— Как! — вскричал сэр Патрик, опуская чашу, которую хотел уже поднести ко рту. — Какая наглость! Если это будет доказано, клянусь душой Томаса Лонгвиля, я добьюсь для вас правды, все свои силы приложу, хотя бы мне пришлось отдать и жизнь и землю!.. Кто засвидетельствует происшествие? Саймон Гловер, ты слынешь честным и осторожным человеком — берешь ты на свою совесть удостоверить, что обвинение отвечает истине?

— Милорд, — заговорил Саймон, — право же, я неохотно выступаю с жалобой по такому важному делу. Никто не потерпел ущерба, кроме самих нарушителей мира. Вель только тот, кто имеет большую власть, мог отважиться на столь дерзкое беззаконие; и не хотел бы я, чтоб из-за меня мой родной город оказался вовлечен в ссору с могущественным и знатным человеком. Но мне дали понять, что, если я воздержусь от жалобы, я тем самым допущу подозрение, будто моя дочь сама ждала ночного гостя, а это

сушая ложь. Поэтому, милорд, я расскажу вашей милости все, что я знаю о происшедшем, и дальнейшее предоставлю на ваше мудрое усмотрение.

И он рассказал о нападении подробно и точно — все, как он видел.

Сэр Патрик Чартерис выслушал старого перчаточника очень внимательно, и его, казалось, особенно поразило, что захваченному в плен участнику нападения удалось бежать.

— Странно, — сказал рыцарь, — если он уже попался вам в руки, как вы дали ему уйти? Вы его хорошо разглядели? Могли бы вы его узнать?

— Я его видел лишь при свете фонаря, милорд мэр. А как я его упустил? Так я же был с ним один на один, — сказал Гловер, — а я стар. Все же я бы его не выпустил, не закричи в тот миг наверху моя дочь, а когда я вернулся из ее комнаты, пленник уже сбежал через сад.

— А теперь, оружейник, — молвил сэр Патрик, — расскажи нам как правдивый человек и как добрый боец, что ты знаешь об этом деле.

Генри Гоу в свойственном ему решительном стиле дал короткий, но ясный отчет о случившемся.

Следующим попросили рассказать почтенного Праудфьюта. Шапочник напустил на себя самый важный вид и начал:

— Касаясь ужасного и поразительного происшествия, возмущившего покой нашего города, я, правда, не могу сказать, как Генри Гоу, что видел все с самого начала. Но никак нельзя отрицать, что развязка проходила почти вся на моих глазах и, в частности, что я добыл самую существенную улику для осуждения негодяев.

— Что же именно, почтенный? — сказал сэр Патрик Чартерис. — Не размазывай и не бахвалься, попусту время не трать. Какая улика?

— В этой сумке я принес вашей милости кое-что, оставленное на поле битвы одним из негодяев, — сказал коротышка. — Этот трофей, сознаюсь по чести и правде, добыт мною не мечом в бою, но пусть отдадут мне должное: это я сберег его с таким

присутствием духа, какое редко проявляет человек, когда кругом пылают факелы и слышен звон мечей. Я сберег улику, и вот она здесь.

С этими словами он извлек из упомянутой нами охотничьей сумки окоченелую руку, которая была найдена на месте схватки.

— Да, шапочник, — сказал мэр, — я признаю, у тебя достало мужества подобрать руку негодяя после того, как ее отрубили от тела... Но что еще ты ищешь так хлопотливо в своей сумке?

— Тут должно лежать... тут было... кольцо, милорд, которое негодяй носил на пальце. Боюсь, я по рассеянности забыл его дома — я снимал его, чтобы показать жене, потому что она не стала бы смотреть на мертвую руку — ведь женщинам такое зрелище не по нутру. Но я думал, что снова надел кольцо на палец. Между тем оно, как я понимаю, осталось дома. Я съезжу за ним, а Генри Смит пускай скачет со мною.

— Мы все поскачем с тобой, — сказал сэр Патрик Чартерис, — так как я и сам еду в город. Видите, честные граждане и добрые обыватели Перта, вы могли считать, что я тяжел на подъем там, где дело идет о пустячных жалобах и мелких нарушениях ваших привилегий — например, когда кто-то стреляет вашу дичь или когда слуги баронов гоняют мяч на улицах и тому подобное, — но, клянусь душой Томаса Лонгвиля, в важном деле Патрик Чартерис не станет мешкать! Эта рука, — продолжал он, подняв ее, — принадлежала человеку, не знавшему тяжелой работы. Мы пристроим ее так, что каждый увидит ее; станет известно, кто владелец, и, если в его товарищах по кутежу сохранилась хоть искра чести... Вот что, Джерард, отбери мне с десятков надежных молодцов и вели им живо седлать коней, надеть латы, взять копья... А вам скажу, соседи: если теперь возникнет ссора, что вполне возможно, мы должны поддержать друг друга. Если мой несчастный дом подвергнется нападению, сколько человек вы приведете мне на подмогу?

Горожане поглядели на Генри Гоу, на которого привыкли полагаться всякий раз, когда обсуждались дела такого рода.

— Я поручусь, — сказал он, — что общинный колокол не прозвонит и десяти минут, как соберется не менее пятидесяти добровольцев; и не менее тысячи — в течение часа.

— Отлично, — сказал доблестный мэр. — Я же, если будет нужда, приду на помощь Славному Городу со всеми моими людьми. А теперь, друзья, на коней!

Глава IX

И возложили ж на меня задачу!
Теперь не знаю сам, как сбуду с рук...
А кто поверит?

«Ричард II»

На святого Валентина, в первом часу дня, настоятель доминиканского монастыря исполнял свою обязанность исповедника некоей высокой особы. Это был осанистый старик с ярким, здоровым румянцем на щеках и почтенной белой бородой, ложившейся на грудь. Широкий лоб и голубые глаза, большие и ясные, выражали достоинство человека, привыкшего принимать добровольно воздаваемые почести, а не требовать их там, где ему в них отказывают. Доброе выражение лица говорило о том чрезмерном благодушии, которое граничит с безответной простотой или слабостью духа: казалось, этот человек не способен ни сломить сопротивление, ни дать, где надо, отпор. На седых кудрях поверх синей повязки лежал небольшой золотой венчик, или корона. Червонного золота четки, крупные и яркие, были довольно грубой работы, но зато каждую бусину украшала шотландская жемчужина необычайного размера и редкостной красоты. Других драгоценностей на кающемся не было, а его одеяние составляло длинное малинового цвета шелковое платье, перехваченное малиновым же кушаком. Получив отпущение, он тяжело поднялся

с вышитой подушки, на которой стоял коленопреклоненный во время исповеди, и, опираясь на палку слоновой кости, двинулся, неуклюже хромая, с мучительной болью, к пышному креслу под балдахином, нарочно поставленному для него у очага в высокой и просторной исповедальне.

Это был Роберт, третий король этого имени на шотландском престоле и второй — из злосчастной династии Стюартов. Он обладал немалыми достоинствами и некоторыми дарованиями, но разделял несчастье, выпавшее на долю многих в его обреченном роду: его добродетели не отвечали той роли, которую суждено ему было исполнять. Буйному народу, каким были тогда шотландцы, требовался король воинственного нрава, быстрый и деятельный, щедрый в награде за услуги, строгий в каре за вину; король, который своим поведением внушал бы не только любовь, но и страх. Достоинства Роберта III были как раз обратного свойства. В молодые годы он, правда, принимал участие в боях; но, хотя он и не покрыл себя позором, все же никогда не проявлял рыцарской любви к битвам и опасностям или жадного стремления отличиться подвигами, каких тот век ожидал от каждого, кто гордился высоким рождением и мог по праву притязать на власть.

Впрочем, ему рано пришлось отказаться от военного поприща. Однажды в сутолоке турнира юного графа Кэррика (такой титул носил он в ту пору) ударил копытом конь сэра Джеймса Дугласа Далкита, после чего граф остался на всю жизнь хромым и лишился возможности принимать участие в битвах или в турнирах и воинских играх, представлявших собою их подобие. Поскольку Роберт никогда не питал особой склонности к ратным трудам, он, может быть, не так уж горевал об увечье, навсегда оторвавшем его от них и от всего, что их напоминало. Но несчастье — или, вернее, его последствия — принизило его в глазах жестокой знати и воинственного народа. Он вынужден был возлагать свои главные дела то на одного, то на другого члена королевской семьи, неизменно облакая своего заместителя всеми полномо-

чиями, а иногда и званием наместника. Отцовская любовь склонила бы его прибегнуть за помощью к старшему сыну — молодому человеку, умному и даровитому, которого он сделал герцогом Ротсеем,¹ стремясь придать ему достоинство первого лица в государстве после короля. Но у юного принца была слишком взбалмошная голова, а рука слишком слаба, чтобы с подобающим достоинством держать врученный ему скипетр. Герцог Ротсей, как ни любил власть, больше всего был предан погоне за удовольствиями, и двор тревожили, а страну возмущали бесчисленные мимолетные любовные связи и буйные кутежи, которые позволял себе тот, кто должен был подавать пример благопристойности и добронравия всему юношеству королевства.

Своеволие и распушенность герцога Ротсея тем более осуждались в народе, что он был женат; но, с другой стороны, кое-кто из тех, кого подчинили своему обаянию его молодость, изящество, его веселый, добрый нрав, держались того мнения, что именно обстоятельства женитьбы оправдывали его беспутство. Эти люди указывали, что брак был заключен исключительно по воле герцога Олбени, дяди молодого принца, чьими советами всецело руководился в ту пору немощный и робкий король. Поговаривали притом, что герцог Олбени всячески норовил использовать свое влияние на брата своего и государя во вред интересам и видам молодого наследника. Происками Олбени рука и сердце наследника были, можно сказать, проданы с торгов: знать широко известили, что тот из князей Шотландии, кто даст за дочьрю самое большое приданое, тем самым возведет ее на ложе герцога Ротсея.

¹ Этот титул и титул герцога Олбени, полученный братом короля, явились первыми примерами присвоения герцогского звания в Шотландии. Бьюкэнан упоминает об этом новшестве в таких выражениях, которые показывают, что даже он разделял общее предубеждение, с каким шотландцы и в более поздние времена смотрели на это звание. Да и в самом деле, оно почти во всех случаях оказывалось связанным с тяжелыми несчастьями и нередко с кровавыми преступлениями. (*Прим. автора.*)

В последовавшем соревновании предпочтение перед прочими искателями было отдано Джорджу, графу Данбара и Марча, владевшему (где лично, а где через вассалов) значительной частью земель на восточной границе королевства; и его дочь, при обоюдном согласии юной четы, была помолвлена с герцогом Ротсеєм.

Но пришлось посчитаться еще и с третьей стороной — и то был не кто иной, как могущественный Арчибалд, граф Дуглас, грозный и обширностью своих владений, и бесчисленными своими привилегиями, и судейской властью, которой он был облечен, и личными своими качествами — умом и отвагой в сочетании с неукротимой гордостью и мстительностью, необычной даже для феодальной поры. Дуглас к тому же состоял в близком родстве с королевским домом — он был женат на старшей дочери царствующего государя.

Едва свершилась помолвка герцога Ротсея с дочерью графа Марча, Дуглас — как если бы он лишь для того и держался до сих пор в стороне, чтобы затем показать, что сделка не может быть заключена ни с кем, кроме него, — выступил на арену и сорвал договор. Он назначил своей дочери Марджори еще большее приданое, чем предложил за своею граф Марч; герцог Олбени, толкаемый жадностью и страхом перед Дугласом, пустил в ход все свое влияние на робкого государя, и тот в конце концов по настоянию брата расторг контракт с графом Марчем и женил сына на Марджори Дуглас, женщине, которая была противна юному Ротсею. Графу Марчу не принесли никаких извинений — указали только, что обручение наследного принца с его дочерью Элизабет Данбар еще не одобрено парламентом, а пока такая ратификация не имела места, договор нельзя считать вступившим в силу. Марча глубоко оскорбила обида, нанесенная ему и его дочери, и он, как все понимали, жаждал отомстить, что было для него вполне возможно, поскольку он держал в своих руках ключ от английской границы.

А герцог Ротсей, возмущенный тем, что его сердечная склонность принесена в жертву политической интриге, выражал недорожество по-своему, откровенно пренебрегая женой, выказывая презрение могущественному и грозному тестю, недостаточно склоняясь пред волей короля и вовсе не считаясь с увещаниями дяди, герцога Олбени, в котором видел своего заклятого врага.

Среди этих семейных раздоров, которые проникали даже в королевский совет и сказывались на управлении страной, всюду внося нерешительность и разногласие, слабовольный государь некоторое время находил опору в своей жене, королеве Аннабелле, дочери знатного дома Драммондов. Одаренная проницательным умом и твердостью духа, она оказывала сдерживающее влияние на своего легкомысленного сына, который ее уважал, и во многих случаях умела заставить колеблющегося короля стойко держаться принятых решений. Но после ее смерти неразумный монарх и вовсе уподобился кораблю, сорвавшемуся с якорей и мятущемуся по волнам во власти противных течений. Если судить отвлеченно, можно было бы сказать, что Роберт нежно любил сына, глубоко почитал своего брата Олбени за твердый характер, которого так недоставало ему самому, трепетал в безотчетном страхе перед Дугласом и не слишком полагался на верность храброго, но непостоянного графа Марча. Однако его чувства к этим разным лицам, сталкиваясь между собой, оказывались так запутаны и осложнены, что временами как будто обращались в собственную противоположность, и в зависимости от того, кто последним подчинил себе его слабую волю, король превращался из снисходительного отца — в строгого и жестокого, из доверчивого брата — в подозрительного, из милостивого и щедрого государя — в жадного, беззаконного угнетателя. Его нестойкий дух, подобно хамелеону, принимал окраску души того человека, на чей сильный характер король в этот час положился, ища совета и помощи. И когда он отменял советы кого-либо из членов своей семьи и передавал руководство другому, это сопровождалось

обычно крутой переменной во всех мероприятиях, что бросало тень на доброе имя короля и подрывало безопасность государства.

Неудивительно, что католическое духовенство приобрело влияние на человека, столь доброго в своих намерениях, но столь шаткого в решениях. Роберту не давало покоя не только вполне закономерное сожаление об ошибках, действительно им совершенных, но и тот мучительный страх перед будущими прегрешениями, которому бывает подвержен суеверный и робкий ум. А потому едва ли нужно добавлять, что церковники всевозможных толков приобрели немалое влияние на бесхарактерного государя — хотя, сказать по правде, этого влияния в ту пору не мог избежать ни один человек, как бы твердо и решительно ни шел он к своей цели в делах мирских. Но кончим на этом наше длинное отступление, без которого, пожалуй, было бы не очень понятно то, что мы собираемся здесь рассказать.

Король тяжело и неуклюже подошел к мягкому креслу под пышным балдахином и опустился в него с тем наслаждением, какое испытывает склонный к лени человек после того, как долгое время был принужден сохранять одну неизменную позу. Когда он сел, его старческое лицо, благородное и доброе, выражало благоволение. Настоятель не позволил себе сесть в присутствии короля и стоял перед его креслом, пряча под покровом глубокой почтительности присущую ему надменную осанку. Ему было уже под пятьдесят, но в его темных от природы кудрях вы не заметили бы ни одного седого волоса. Резкие черты лица и пронизательный взгляд свидетельствовали о тех дарованиях, благодаря которым почтенный монах достиг высокого положения в общине, ныне им возглавляемой, и, добавим, в королевском совете, где ему нередко случалось их применять. Воспитание и обычай учили его всегда и во всем иметь в виду в первую очередь расширение власти и богатства церкви, а также искоренение ереси, и в стремлении к этим двум целям он широко пользовался всеми средствами, какие ему доставлял его сан. Но свою религию

он чтит с глубокой искренностью веры и с той высокой нравственностью, которая руководила им в повседневных делах. Недостатки приора Ансельма, вовлекавшие его не раз в тяжелые ошибки, а иногда и в жестокое дело, принадлежали скорее его веку и словую — его добродетели были свойственны лично ему.

— Когда все будет завершено, — сказал король, — и моя дарственная грамота закрепит за вашим монастырем перечисленные земли, как вы полагаете, отец, заслужу ли я тогда милость нашей святой матери церкви и вправе ли буду назваться ее смиренным сыном?

— Несомненно, мой сеньор, — отвечал настоятель. — Я молю бога, чтобы все дети церкви под воздействием таинства исповеди приходили к столь глубокому осознанию своих ошибок и столь горячему стремлению их искупить! Но эти слова утешения, государь, я говорю не Роберту, королю Шотландии, а только смиренно пришедшему ко мне с покаянием Роберту Стюарту Кэррику.

— Вы удивляете меня, отец, — возразил король. — Мою совесть мало тяготит что-либо из того, что я свершаю по королевской своей обязанности, так как в этих случаях я следую не столько собственному мнению, сколько указаниям моих мудрейших советников.

— В этом-то и заключается опасность, государь, — ответил настоятель. — Святой отец узнает в вашей светлости — в каждом вашем помысле, слове, деянии — послушного вассала святой церкви. Но бывают дурные советники, которые внемлют своим порочным сердцам, злоупотребляют добротой и податливостью короля и под видом служения его преходящему благу предпринимают дела, грозящие ему погибелью в жизни вечной.

Король Роберт выпрямился в своем кресле и принял властную осанку, обычно чуждую ему, хотя она ему так подобала.

— Приор Ансельм, — сказал он, — если в моем поведении — действовал ли я как король или как

частный человек, Роберт Стюарт Кэррик, — вам открылось нечто, что могло вызвать такое суровое осуждение, какое мне послышалось в ваших словах, то ваш долг — высказаться прямо, и я вам это приказываю.

— Повинуюсь, мой государь, — ответил настоятель с поклоном. Потом он выпрямился и с достоинством своего высокого сана сказал: — Выслушай от меня слова нашего святейшего отца, наместника святого Петра, кому переданы ключи царствия небесного, дабы налагал он узы и разрешал их: «Почему, о Роберт Шотландский, на епископский престол святого Андрея ты не принял Генри Уордло, которого папа приказал возвести на этот престол? Почему твои уста изъясняют готовность послушно служить церкви, тогда как дела твои вещают о порочности и непокорности твоей души? Послушание угодней небу, чем пожертвования!»

— Сэр приор, — сказал король, переходя на тон, более подобающий его высокому званию, — мы можем и не отвечать вам, поскольку вы затронули предмет, касающийся нас и благосостояния нашего королевства, но не частной нашей совести.

— Увы! — сказал настоятель. — А чьей совести будет он касаться в день Страшного суда? Кто из твоих знатных лордов или богатых горожан станет тогда между своим королем и карой, которую король навлек на себя, следуя мирским расчетам при разрешении церковных дел? Знай, могущественный государь: если даже все рыцари твоего королевства оградят тебя щитами от разящей молнии, они будут испепелены, истлеют, как пергамент перед пламенем горна.

— Добрый отец настоятель, — сказал король, чья боязливая мысль редко когда могла не подчиниться воздействию такого рода речей, — вы, право же, чрезмерно сурово судите об этом деле. Прием примаса, к несчастью, встретил сопротивление во время моей последней болезни, пока Шотландией управлял от моего имени граф Дуглас, мой наместник. А потому не ставьте мне в укор то, что свершилось, когда я,

неспособный вести дела королевства, был вынужден передать свою власть другому.

— Вашему подданному, государь, вы сказали достаточно, — возразил настоятель. — Но если недоразумение возникло, когда вас замещал граф Дуглас, легат его святейшества вправе спросить, почему оно не было немедленно улажено, как только король снова взял в свои царственные руки бразды правления? Черный Дуглас властен сделать многое — и, наверно, больше того, что король может позволить кому-либо из своих подданных. Но граф не властен стать между королем и его совестью, не властен снять с вас ваш долг перед святою церковью, который на вас возлагает королевский сан.

— Отец, — сказал в нетерпении Роберт, — вы слишком настойчивы, вам бы следовало хоть повременить, пока мы обсудим вопрос и найдем решение. Подобные несогласия не раз происходили в царствование наших предшественников, и наш высокий предок, король Давид Святой, никогда не отступал от своих королевских привилегий, не попытавшись сперва отстоять их, хоть это и вовлекало его в споры с самим святейшим отцом.

— В этом великий и добрый король не был ни свят, ни богоугоден, — возразил настоятель, — и потому он принял поражение и позор от своих врагов, когда поднял меч против знамен святого Петра, и святого Павла, и святого Иоанна Беверлея в войне, называемой по сию пору Войной за хоругвь. Блажен он, что, подобно тезке своему, сыну Иессии, претерпел кару на земле и его грех не возопил против него в грозный день божьего суда.

— Хорошо, добрый настоятель... хорошо... сейчас довольно об этом. С божьего соизволения святому престолу не придется жаловаться на меня. Пречистая мне свидетельницей, я и ради короны, которою венчан, не взял бы на душу свою нанести ущерб нашей матери церкви. Мы всегда опасались, что граф Дуглас в чрезмерной приверженности славе и бранным благам жизни преходящей не заботится, как должно, о спасении своей души.

— Совсем недавно, — сказал настоятель, — он со свитой в тысячу своих придворных и слуг самочинно стал на постой в монастыре Аберброток, и теперь аббат вынужден доставлять ему все необходимое для его людей и лошадей. Граф это называет гостеприимством, в котором ему не должна отказывать обитель, основанная в значительной мере на даяния его предков. Но, право же, монастырь предпочел бы возвратить Дугласу его земли, чем подвергаться таким поборам: это же чистое вымогательство, какого можно ждать от нищих удальцов из горных кланов, но не от барона из христианской страны.

— Черные Дугласы, — сказал со вздохом король, — это такое племя, которому не скажешь «нет». Но, отец настоятель, я, может быть, и сам становлюсь похож на подобного вымогателя? Я загостился у вас, а содержать мою свиту изо дня в день, хоть она и не столь велика, как у Дугласа, для вас достаточно обременительно; и, хотя мы установили порядок высылать вперед поставщиков, чтобы по возможности облегчить вам расходы, все же мы вас тяготим; не пора ли нам удалиться?

— Нет, нет, упаси пречистая! — воскликнул настоятель, который был честолобив, но никак не скуп и, напротив того, славился щедростью и широтой. — Неужели доминиканский монастырь не может оказать своему государю то гостеприимство, с каким обитель открывает свои двери перед каждым странником любого сословия, готовым принять хлеб-соль из рук смиренных слуг нашего патрона? Нет, мой царственный сеньор! Явитесь со свитою в десять раз большей, чем ныне, и ей не будет отказано в горстке зерна, в охапке соломы, в ломте хлеба или толчке пищи, покуда ими не оскудел монастырь. Одно дело употреблять доходы церкви, несоизмеримо превышающие нужды и потребности монахов, на приличный и достойный прием вашего королевского величества, и совсем другое — если у нас их вырывают грубые насильники, которые в своей безграничной жадности грабят сколько могут.

— Отлично, мой добрый приор, — сказал король. — Теперь, чтоб отвлечь наши мысли от государственных дел, не доложит ли нам ваше преподобие, как добрые граждане Перта встретили Валентинов день? Надеюсь, галантно, весело и мирно?

— Галантно ли? В подобных вещах, мой государь, я мало знаю толку. А вот мирно ли, об этом я могу рассказать. Нынче перед рассветом три-четыре человека, из них двое жестоко изувеченных, явились к нам просить убежища у алтаря: их настигали обыватели в штанах и рубахах, с дубинками, мечами, алебардами и бердышами в руках и грозили один другого громче забить их насмерть. Они не уgomонились и тогда, когда наш привратник, несший ночную стражу, объявил им, что те, за кем они гонятся, укрылись в галилее церкви.¹ Нет, они еще довольно долго не переставали орать и колотить в заднюю дверь, требуя, чтоб им выдали людей, нанесших им обиду. Я боялся, что их грубые крики нарушат покой вашего величества и поразят вас неожиданностью.

— Нарушить мой покой они могли бы, — сказал король, — но как может шум насилия показаться неожиданным? Увы, преподобный отец, в Шотландии есть одно лишь место, куда не доносятся вопли жертв и угрозы гонителей, — могила!

Настоятель хранил почтительное молчание, соболезнуя монарху, чье мягкосердечие так плохо соответствовало быту и нравам его народа.

— Что же случилось с укrywшимися? — спросил Роберт, выждав с минуту.

— Мы, ваше величество, — отвечал настоятель, — разумеется, выпустили их, как они того пожелали, до рассвета; сперва мы послали проверить, не устроил ли неприятель на них засаду где-нибудь по соседству, а затем они мирно пошли своим путем.

¹ Галилеей называется часовенка при католическом соборе, куда получают доступ отлученные, хотя в самый храм им заходить не разрешается. Преступники, требующие священного убежища, имели обыкновение — по понятным причинам — укрываться именно в этой части здания. (*Прим. автора.*)

— Вам неизвестно, — спросил король, — кто они такие и по какой причине укрылись у вас?

— Причиной, — сказал настоятель, — явилась ссора с горожанами; но как она произошла, нам неизвестно. Таков обычай нашего дома — предоставлять на сутки нерушимое укрытие в святилище святого Доминика, не задавая никаких вопросов несчастным, которые просят здесь помощи. Если они хотят остаться на более длительный срок, они должны представить на суд монастыря причину, по которой ищут священного убежища. И, слава нашему святому патрону, благодаря этой временной защите удалось уйти от тяжелой руки закона многим из тех, кого мы сами, если бы знали, в чем их преступление, почли бы своим долгом выдать преследователям.

При таком объяснении монарху смутно подумалось, что право священного убежища, осуществляемое так непреложно, должно чинить в его королевстве серьезную помеху правосудию. Но он отогнал этот помысел как наущение сатаны и не позволил себе проронить ни единого слова, которое выдало бы церковнику, что в его сердце затаилось хоть на миг такое нечестивое сомнение; напротив того, он поспешил перейти к другому предмету.

— Тень на солнечных часах, — сказал он, — неустанно движется. Ваше сообщение сильно меня огорчило, но я полагаю, лорды моего совета уже навели порядок, разобравшись, кто прав, кто виноват в этой злополучной драке. В недобрый час возложила на меня судьба править народом, среди которого, кажется мне, есть только один человек, желающий мира и покоя, — я сам!

— Церковь всегда желает мира и покоя, — добавил настоятель, не допуская, чтобы король позволил себе в угнетенном состоянии духа высказать такое суждение, не сделав почтительной оговорки в пользу церкви.

— Таковою была и наша мысль, — сказал Роберт. — Но, отец настоятель, вы не можете не согласиться, что церковь, ведя нещадную борьбу за свою благородную цель, уподобляется той хозяйке-хлопо-

тунье, которая вздымает облака пыли, думая, что выметает ее.

Настоятель не оставил бы этих слов без ответа, но дверь в исповедальню отворилась, и дворянин-прислужник доложил о приходе герцога Олбени.

Глава X

Друг милый, не брани
Веселость той, что лишь вчера
грустила,
А завтра снова может загрустить.

*Джоанна Бейли*¹

Герцога Олбени, как и его брата-короля, звали Робертом; Король получил при крещении имя Джон, которое решил сменить, когда короновался, так как суеверие того времени связало это имя с бедами жизни и царствования королей Иоанна Английского, Иоанна Французского, Иоанна Бэлиола Шотландского. Было решено, что новому королю, дабы отвести дурное предзнаменование, следует принять имя Роберт, любезное шотландцам в память Роберта Брюса. Мы упоминаем об этом здесь, чтобы разъяснить, каким образом два брата в одной семье получили при крещении одно и то же имя, что, разумеется, и в ту пору было столь же необычно, как и в наши дни.

Олбени, тоже человек в годах, был так же чужд воинственности, как и сам король. Но если он и не отличался храбростью, у него хватало ума прятать и маскировать недостаток, который, как только бы о нем заподозрили, неминуемо обрек на крушение все его честолюбивые замыслы. К тому же у него довольно было гордости, подменявшей в случае нужды отвагу, и довольно самообладания, чтобы не выдать тайную боязнь. В прочих отношениях это был искушенный царедворец — спокойный, хладнокровный и

¹ Перевод С. Петрова.

ловкий, который неуклонно преследует намеченную цель, пусть даже весьма отдаленную, и никогда не упускает ее из виду, хотя бы временами и казалось, что избранные им извилистые тропы ведут совсем в другую сторону. Наружностью он был схож с королем — те же благородство и величие **отмечали** осанку его и черты лица. Но, не в пример **старшему** брату, он не страдал никакою **немошью**, был энергичен и более легок во всех смыслах этого слова. Одежда была на нем, как подобало его возрасту и сану, богатая и тяжелая. Он, как и брат его король, не имел при себе оружия — только набор ножей в небольшом футляре висел у пояса на том месте, где полагалось быть если не мечу, то кинжалу.

Едва герцог показался в дверях, настоятель, отве-сив поклон, почтительно отошел в нишу на другом конце комнаты, чтобы братья могли свободно вести разговор, не стесненные присутствием третьего лица. Необходимо упомянуть, что эту нишу образовало скно, вырубленное с фасада так называемого дворца — одного из внутренних монастырских зданий, в котором нередко проживали шотландские короли; но в другое время его обычно занимал настоятель, иначе говоря — аббат. Окно приходилось над главным входом в королевские палаты и смотрело на внутреннюю квадратную площадь монастырского двора, огражденную справа продольной стеной великолепной церкви, слева — строением, где над подвалом с погребками разместились трапезная, капитул и прочие монастырские покои, совершенно обособленные от покоев, отводимых королю Роберту и его двору; четвертый ряд строений, своей нарядной внешней стороной обращенный к восходящему солнцу, представлял собою просторную *hospitium*¹ для приема путешественников и паломников и несколько подсобных помещений — всяческие службы и склады, где хранились бесчисленные припасы для поддержания пышного гостеприимства монахов-доминиканцев. Сквозь восточный фасад вел во двор длинный проход с вы-

¹ Гостиницу (лат.).

сокими сводами, приходится прямо напротив того окна, у которого стоял приор Ансельм, имевший, таким образом, возможность заглянуть в темноту под аркой и наблюдать мерцание света, проникавшего в открытые наружные ворота; но так как окно расположено было высоко, а проход уходил далеко вглубь, глаз наблюдателя лишь смутно различал пространство под его сводами. Читателю следует запомнить, что и как было расположено. Возвращаемся к разговору между державными сородичами.

— Мой милый брат, — сказал король, поднимая герцога Олбени, когда он наклонился поцеловать ему руку, — мой любезный брат, к чему такие церемонии? Разве оба мы — не сыновья Стюарта Шотландского и Елизаветы Мор?

— Я это помню, — сказал, выпрямляясь, Олбени, — но, оставаясь любящим братом, не забываю и об уважении, которое должен оказывать королю.

— Правильно, очень правильно, Робин, — ответил король. — Трон — как высокий и голый утес, где не пустит корней ни куст, ни цветок. Добрые чувства, нежные привязанности — в них государю отказано. Король не вправе от души обнять родного брата... не смеет дать волю любви к сыну!

— Таково в известном смысле проклятие величия, мой государь, — сказал Олбени. — Но небо, отдалив от чрезмерной близости с вашим величеством кое-кого из членов вашей семьи, подарило вам множество новых детей — весь ваш народ.

— Увы, Роберт, — отвечал король, — твое сердце более подходит для суверена, нежели мое. С высоты, куда меня вознесла судьба, я смотрю на скопище моих детей, как ты называл их... Я люблю их, я им желаю добра, но их много, и они от меня далеки. Увы, даже у самого ничтожного из них есть дорогое существо — кто-то, кого он может прижать к сердцу, на кого может излить свою отцовскую любовь. Но все, что может дать король народу, подобно улыбке, с какою смотрит солнце на снежные вершины Грэмпианских гор, — далекая, холодная улыбка! Увы, Робин! Наш отец ласкал нас, а если и бранил, бывало,

то в тоне его слышалась доброта. А ведь и он был таким же, как я, монархом. Так почему не дозволено мне, как ему, исправлять блудного сына не только строгостью, но и лаской?

— Когда бы ласка не была испробована, мой государь, — возразил Олбени таким тоном, точно ему самому было больно от этих слов, — тогда, разумеется, в первую очередь следовало бы прибегнуть к мягким способам воздействия. Ваша милость лучше всех можете судить, достаточно ли долго мы применяли их и не пора ли перейти к более действенным средствам — к суровости и запрету. Всецело в вашей королевской власти применить те меры к герцогу Ротсею, какие, по вашему мнению, должны в конечном счете оказаться наиболее благотворными и для принца и для королевства.

— Это безжалостно, брат, — сказал король. — Ты мне указываешь трудную тропу и понуждаешь меня вступить на нее, не предлагая притом своей поддержки.

— Она всегда к услугам вашей милости, — возразил Олбени, — но мне менее, чем всякому другому, пристало толкать вашу милость на суровые меры против вашего сына и наследника. Не ко мне ли, если — не приведи господь! — оборвется ваш род, должна перейти роковая корона? Не подумают ли и не скажут ли тогда запальчивый Марч и надменный Дуглас, что Олбени посеял распрю между своим царственным братом и наследником шотландского престола, чтобы расчистить путь к престолу своим собственным детям? Нет, государь, я готов пожертвовать жизнью, служа вам, но я не могу ставить под удар свою честь.

— Ты правильно говоришь, Робин, очень правильно! — подхватил король, спеша придать собственное толкование словам брата. — Мы не должны допускать, чтобы эти могущественные и опасные лорды заметили что-то похожее на раздор в королевской семье. Этого надо избежать во что бы то ни стало; а потому попробуем и дальше быть снисходительными, в надежде, что безрассудный Ротсей ис-

правится. Я иногда наблюдал в нем, Робин, зачатки, которые стоит взлелеять. Он молод, совсем еще молод, он принц и в той поре, когда кровь бурлит. Мы будем с ним терпеливы, как терпелив хороший наездник с норовистым конем. Дадим ему изжить эту легкость нрава, и ты первый будешь им доволен, как никто. По своей доброте ты осуждал меня за излишнюю мягкость — этого недостатка у Ротсея нет.

— Головой поручусь, что нет, — ответил жестко Олбени.

— И не скажешь, что ему не хватает рассудительности или отваги, — продолжал несчастный король, отстаивая собственного сына перед своим же братом. — Я пригласил его присутствовать сегодня на совете; послушаем, как он отчитается в исполнении возложенных на него поручений. Ты и сам говоришь, Робин, что принц проявляет проницательность и способность к делам, когда находит на него охота заняться ими.

— Несомненно, мой государь! Он проявляет и ум и способности, — сказал Олбени, — когда находит на него такая охота.

— То же говорю и я! — подхватил король. — И я рад от души, что ты со мной согласен, Робин, в моем решении еще раз дать злополучному юноше возможность исправиться. У него теперь нет матери, чтоб защищать его перед рассерженным отцом. Этого нельзя забывать, Олбени.

— Будем надеяться, — сказал Олбени, — что решение, наиболее приятное добрым чувствам вашей милости, окажется мудрейшим и лучшим.

Герцог разгадал нехитрую уловку брата: утрашившись следствий, естественно вытекавших из рассуждений собеседника, король делал вид, что тот дал свою санкцию, и затем утверждал не ту линию поведения, которую ему пытались подсказать, а как раз обратную. Убедившись, однако, что сейчас не склонить короля к желательной политике, герцог все же не стал выпускать вожжи из рук и решил пока повременить, но при более удобном случае извлечь

всю черную выгоду, какую сулили ему новые несогласия между наследником и государем.

А король Роберт, опасаясь, как бы снова брат не поднял мучительный разговор, от которого ему сейчас удалось уклониться, громко обратился к настоятелю доминиканцев:

— Я слышу стук копыт. Вам виден из окна весь двор, преподобный отец. Поглядите и скажите нам, кто там спешился. Не Ротсей ли?

— Прибыл благородный граф Марч со своей свитой, — сказал настоятель.

— Сильный при нем отряд? — спросил король. — Его люди входят во внутренние ворота?

Олбени тем временем успел шепнуть королю:

— Не бойтесь ничего, ваши бранданы¹ ждут во всеоружии.

Король с благодарностью кивнул, между тем как настоятель, глядя в окно, отвечал:

— При графе два паж, два дворянина и четверо слуг. Один из пажей направился к главной лестнице следом за своим господином — несет его меч. Остальные задержались во дворе и... Benedicite...² что такое?.. Тут бродячая музыкантша со своей виолой приготовилась петь под королевскими окнами. И это в монастыре доминиканцев, как на каком-нибудь постоялом дворе! Я сейчас же велю вышвырнуть ее вон.

— Не надо, отец, — сказал король. — Позвольте мне испросить милости для бедной странницы. Она служит так называемой Веселой Науке, но та, увы, печально сочетается с невзгодами, на какие нужда и беда обрекают бродячий люд, — и в этом он схож с королем. Все вокруг кричат венценосцу: «Слався, слався!», а он тоскует по той почтительной любви,

¹ Обитатели острова Бьюта звались бранданами. Происхождение этого имени точно не установлено, хотя очень похоже, что прав доктор Лейден, когда производит его от святого Брандина, покровителя островов в устье Клайда. Бьют был вотчиной короля, а его уроженцы — королевскими слугами и телохранителями. Знатное семейство Бьютов, владеющее островом в настоящее время, представляет собой древнюю незаконную ветвь королевского дома. (Прим. автора.)

² Благослови нас небо (лат.).

какою самый бедный йомен окружен в семье. Не чините страннице помехи, отец: пусть, если хочет, поет во дворе солдатам и йоменам, это их удержит от ссоры, почти неизбежной, раз их необузданные хозева враждуют между собой.

Так говорил добросердечный и слабовольный монарх, и настоятель поклонился в знак согласия. Между тем граф Марч, в обычном по тому времени кафтане для верховой езды и с кинжалом у пояса, вошел в приемный зал. Пажа, несшего за ним его меч, он оставил в прихожей. Граф был красивый, статный мужчина, белолицый, с густою светлой бородой и волосами и голубыми глазами, сверкавшими как у сокола. Его лицо было бы приятным, когда бы не отражало в своих чертах раздражительность и горячность нрава, которым феодальный властитель в сознании своего могущества слишком часто давал волю.

— Рад вас видеть, лорд Марч, — сказал король, сделав изящный поклон. — Вы давно не показывались на нашем совете.

— Государь, — ответил Марч, почтительно склонившись перед королем и кивнув высокомерно и холодно герцогу Олбени, — если я не присутствовал на совете вашей милости, то лишь потому, что место мое заняли более угодные вам и, бесспорно, более разумные советники. Теперь же я явился только сообщить вашему высочеству, что вести с английской границы ставят меня перед безотлагательной необходимостью возвратиться в свои поместья. Подле вашей милости остается мудрый политик — милорд Олбени, ваш брат, с ним вы можете советоваться, а также могущественный и воинственный граф Дуглас, который будет приводить ваши решения в действие. Я же могу быть полезен только на моих собственных землях, а потому, с соизволения вашего величества, я намерен немедленно туда вернуться, чтобы исполнить свою обязанность стража восточных рубежей.

— Вы не поступите с нами так нелюбезно, кузен, — возразил государь. — Ветер несет дурные

вести. Злополучные горные кланы опять готовятся к мятежу; и даже спокойствие нашего собственного двора требует присутствия мудрейших наших советников, чтобы обсудить необходимые меры, и наших баронов — чтобы выполнить то, что мы постановим. Неужели потомок Томаса Рэндолфа покинет в час нужды правнука Роберта Брюса?

— Я оставляю при нем потомка многославного Джеймса Дугласа, — ответил Марч. — Сей лорд похвывается, что, как только он вденет ногу в стремя, вслед за ним седлают коней не менее тысячи его телохранителей, и, полагаю, монахи Абербротока клятвенно это подтвердят.¹ Несомненно, Дугласу и его рыцарям будет легче обуздать бесчинную ватагу диких горцев, нежели мне дать отпор английским лучникам и силам могущественного Генри Хотспера. К тому же при вас его светлость герцог Олбени, который так ревниво охраняет ваше величество, что поспешил призвать к оружию бранданов, едва только я, ваш покорный подданный, приблизился ко двору с жалкой горсточкой всадников, свитой, какую привел бы за собой самый ничтожный из мелких баронов, владелец какой-нибудь башни и тысячи акров пустоши. Если к такой предосторожности прибегают там, где нет и тени опасности, — ибо с моей стороны никто, надеюсь, ее не ждет, — то особу короля, конечно, не оставят без защиты пред лицом действительной угрозы.

— Милорд Марч, — сказал герцог Олбени, — ничтожные бароны, упомянутые вами, вооружают слуг даже тогда, когда принимают самых дорогих и близких друзей за железными воротами своих замков; и, если будет на то воля пречистой, я не меньше стану заботиться об особе короля, чем те — о своей

¹ Сетования монахов Абербротока по поводу слишком высокой чести, какую оказал им граф Дуглас, явившись к ним погостить со свитой в тысячу человек, вошли в поговорку и неизменно поминались всякий раз в последующие времена, когда шотландские церковники корили знать, ущемлявшую церковь по давнему своему неодолимому тяготению к ее богатствам. (*Прим. автора.*)

собственной особе. Бранданы — непосредственные стражи короля и слуги его дома; и если их сто человек, разве это большая охрана для его величества, когда вы сами, милорд, как и граф Дуглас, часто выезжаете в сопровождении свиты вдесятеро большей?

— Милорд герцог, — возразил Марч, — когда требует того служба королю, я мог бы разъезжать с отрядом всадников и вдесятеро большим, чем указала ваша светлость; но я никогда не делал этого с предательским намерением захватить короля врасплох или ради бахвальства — чтобы почваниться перед другими лордами.

— Брат Роберт, — сказал король, стремясь, как всегда, примирить враждующих, — ты неправ, выражая недоверие милорду Марчу. А вы, кузен Марч, даете ложное истолкование осторожности моего брата. Но будет вам, прекратите спор — я слышу музыку и пение, и, кажется, довольно приятные. Вы знаете толк в Веселой Науке, милорд Марч, и любите ее — подойдите к тому окну, станьте рядом с благочестивым настоятелем, и, так как ему мы не можем задавать вопросы касательно светских утех, вы нам скажете, впрямь ли стоит послушать эту музыку и стихи. Мелодия как будто французская... Мой брат Олбени ничего не смыслит в таких вещах... так уж я положусь на ваш суд, кузен, — сообщите нам, заслуживает ли награды бедная потешница. Сейчас придут сюда наш сын и Дуглас, и, когда совет будет в сборе, мы перейдем к более серьезным предметам.

С подобием улыбки на гордом лице Марч отошел в нишу окна, где молча стал рядом с настоятелем. Было ясно, что если он и подчинился повелению короля, то разгадал, чем оно вызвано, и презирует эту робкую попытку помешать спору между ним и Олбени. Мелодия, исполняемая на виоле, была поначалу веселой и бойкой, напоминая своеобразную музыку трубадуров. Но дальше надрывные звуки струн и женского голоса, которому они аккомпанировали, зазвенели грустной жалобой и оборвались, как будто

захлебнувшись в горьких чувствах девушки-менестреля.

Возможно, граф и впрямь был знатоком в таких вещах и король не напрасно похвалил его вкус, но мы легко поймем, что, оскорбленный, он не стал уделять внимания певице. В его гордом сердце долг приверженности своему суверену и не совсем угасшая любовь к доброму королю боролись с жаждой мести, порожденной обманутым честолюбием и обидой; ибо, конечно, расторжение помолвки его дочери с Ротсеем навлекло позор на его дом. Марчу были свойственны и пороки и добрые качества человека непостоянного и опрометчивого. Даже теперь, когда он пришел проститься с королем, чтобы порвать свою ленную зависимость, как только вступит на собственную феодальную землю, граф колебался в душе, чувствуя себя почти неспособным решиться на шаг, такой преступный и, быть может, гибельный. Эти-то опасные помыслы и занимали его, когда странствующая певица начала свою балладу; но, по мере того как она пела, другие предметы, властно привлечшие его внимание, изменили течение его мыслей и направили их на то, что происходило во дворе монастыря. Девушка пела на провансальском диалекте — общепринятом языке придворной поэзии по всей Европе, включая и Шотландию. Однако по складу своему ее песня была проще обычной провансальской сирвенты и приближалась скорее к балладе норманского менестреля. В переводе она могла бы звучать так:

БАЛЛАДА
О БЕДНОЙ ЛУИЗЕ¹

Ах, жаль Луизу! День-деньской
Бродя кругом, она с тоской
Поет в хоромах и в людской:
«Девицы, бойтесь тьмы лесной
Да помните Луизу!»

¹ Эта баллада была превосходно положена на музыку одной дамой, миссис Роберт Аркрайт, урожденной мисс Кембл. Ее сочинение, не говоря уже о ее пении, могло бы заставить любого поэта гордиться своими стихами. (Прим. автора.)

Ах, жаль Луизу! Солнце жгло..
От зноя взор заволокло
И в лес прохладный повлекло,
Где пташки и ручьи светло
Звенели пред Луизой.

Ах, жаль Луизу! По кустам
Медведь не ищет ягод там,
И волк не рыщет по тропам,
Но лучше в лапы к тем зверям
Попалась бы Луиза

Ах, жаль Луизу! В роще лог..
Там повстречался ей стрелок,
Он ловок был, красив, высок
И речью колдовской увлек
Злосчастную Луизу.

Ах, жаль Луизу! Что за стать
Была тебе богатства ждать
И мир души и благодать
Невинности своей отдать,
Несчастливая Луиза?

Ах, жаль Луизу! Красота
И честь девичья отнята,
Тайком иль силою взята..
Остались стыд и нищета
Обманутой Луизе.

К Луизе будьте добрей,
Ей подавайте пощедрей
И не гоните от дверей..
До гроба уж не много дней
Осталось ждать Луизе! ¹

Еще она не допела песню, когда король Роберт в страхе, как бы не поднялся снова спор между Олбени и Марчем, обратился к графу:

¹ Перевод С. Петрова.

— Что вы скажете о балладе, милорд? Насколько я могу судить отсюда, издалека, музыка была бурная и усадительная.

— Я плохо разбираюсь в таких вещах, милорд; но певнице не надобна моя похвала, раз она, как видно, уже заслужила одобрение его милости герцога Ротсея — первого в Шотландии знатока.

— Как! — встревожился король. — Мой сын там, внизу?

— Он остановил коня подле певицы, — сказал Марч со злорадной улыбкой на лице, — и, видимо, не менее увлечен разговором с нею, чем ее музыкой.

— Что такое, отец настоятель? — воскликнул король.

Но тот отошел от окна.

— У меня нет желания, милорд, — сказал он, — видеть то, о чем мне будет больно докладывать.

— Да что ж это значит! — густо покраснев, вскричал король и хотел уже подняться с кресла, но передумал — быть может, не желая стать свидетелем какой-нибудь неприличной выходки юного принца: пришлось бы сурово наказать сына, а к этому у короля не лежало сердце. Но граф Марч с явным удовольствием сообщил государю то, по поводу чего тот хотел бы остаться в неведении.

— Ваше величество, — вскричал он, — еще того лучше! Потешница не только завладела слухом принца шотландского, как, впрочем, и каждого слуги и конника во дворе, — она привлекла внимание Черного Дугласа, хоть мы никогда не считали его страстным любителем Веселой Науки. Но, право, мне не кажется странным, что он удивлен: принц в знак своего одобрения почтил прелестного мастера песни и виолы поцелуем.

— Как! — воскликнул король. — Давид Ротсей любезничает с бродячей певницей, да еще на глазах у тестя?.. Идите, мой добрый аббат, немедленно позовите сюда принца... Иди, мой дорогой брат... — И, когда они оба вышли, король добавил: — Идите и вы, Марч, мой добрый родич. Быть беде, я знаю на-

верное! Прошу вас, кузен, идите и подкрепите просьбу настоятеля приказом короля.

— Вы забываете, государь, — сказал Марч тоном глубоко оскорбленного человека, — отцу Элизабет Данбар не пристало быть посредником между Дугласом и его царственным зятем.

— Прошу у вас прощения, кузен, — сказал мягко-сердечный старик. — Я сознаю, что с вами поступили не совсем справедливо... Но моего Ротсея убьют... Я пойду сам.

Однако, вскочив с излишней стремительностью, бедный король не попал ногой на ступеньку, споткнулся и рухнул на пол, причем ударился головой об угол тяжелого кресла, в котором сидел только что. На минуту он лишился сознания. При этом жалком зрелище Марч забыл всю горечь обиды, сердце его смягчилось. Он подбежал к лежавшему на полу королю и усадил его в кресло, ласково и почтительно применив те средства, какие счел наиболее подходящими, чтобы привести его в чувство. Роберт открыл глаза и растерянно огляделся:

— Что случилось?.. Мы одни?.. Кто с нами?..

— Ваш верный подданный Марч, — ответил граф.

— Наедине с графом Марчем! — повторил король. Его мысли не пришли еще в ясность, но смутная тревога овладела им при имени могущественного феодала, смертельно им оскорбленного.

— Да, мой милостивый господин, с бедным Джорджем Данбаром, о котором многие стараются внушить вашему величеству недоброе, хотя в конце концов он окажется более верен своему королю, чем они.

— В самом деле, кузен, с вами поступили не по справедливости; и, поверьте мне, мы постараемся искупить вину...

— Если так полагает ваша милость, можно еще все уладить, — перебил граф, ухватившись за надежду, подсказанную честолюбием. — Принц и Марджори Дуглас состоят в близком родстве; разрешение Рима не было дано по всей форме — их брак нельзя признать законным... Папа, готовый на многое для

столь благочестивого государя, может расторгнуть этот нехристианский союз во внимание к прежнему договору. Подумайте хорошенько, ваше величество, — продолжал граф, предавшись новой честолюбивой мечте, которую в нем распалил неожиданно представившийся случай лично поговорить с королем о своем деле, — подумайте, разумно ли вы предпочли мне Дугласа. Да, он силен и могуч. Но Джордж Данбар носит у пояса ключи Шотландии и может привести английскую армию к воротам Эдинбурга быстрее, чем Дуглас двинется от далеких окраин Кэрнтейбла, чтобы дать ей отпор. Ваш царственный сын любит мою бедную покинутую девочку, а высокомерная Марджори Дуглас ему ненавистна. Ценит ли он свою супругу, вы можете судить, мой государь, хотя бы по тому, как он, не стесняясь присутствием тестя, заигрывает с бродячей певицей.

Король до сих пор слушал доводы графа со смятением, какое испытывает боязливый наездник, когда его несет разгоряченный конь, а он не может ни направить, ни остановить его бег. Но последние слова напомнили ему о грозившей сыну непосредственной опасности.

— О, верно, верно!.. Мой сын... и Дуглас... Дорогой кузен, не дайте пролиться крови, и все будет по-вашему. Слушайте... Там ссора... лязг оружия!..

— Клянусь своей графской короной и рыцарской верностью, это так! — сказал Марч, глянув из окна во внутренний двор монастыря, наводненный вооруженными людьми. Клинки со звоном ударяли о панцири. В глубоком сводчатом входе у дальнего конца столпились бойцы. Ударами, видимо, обменивались те, кто пытался закрыть ворота, и другие, норовившие ворваться во двор.

— Пойду немедленно, — сказал граф Марч, — и быстро положу конец драке... Покорнейше прошу ваше величество подумать о том, что я имел смелость предложить.

— Подумаю... подумаю, мой честный кузен, — сказал король, едва ли сознавая, какое дает обещание. — Только остановите раздоры и кровопролитие!

Глава XI

Взгляни, красавица идет!
Вдали — улыбкой озаряет,
Вблизи же — облако забот,
Ты видишь, взор ей омрачает.

«Люсинда», баллада ¹

Передадим точнее, что тем временем происходило в монастырском дворе и что не так уж отчетливо было видно наблюдателям из окна королевских покоев, а в их пересказе излагалось и вовсе неточно. Упомянутая не раз певица стала на крыльцо у главного входа в королевские покои; две широкие ступени этого крыльца приподняли ее на полтора фута над толпившимися во дворе людьми, в которых она надеялась найти слушателей. На ней была одежда, отвечавшая ее занятию, скорее пестрая, чем богатая, и выгоднее обрисовывающая фигуру, чем обычная одежда женщины. Она сняла с себя накидку и положила в стороне на корзиночку со своими скудными пожитками, а рядом посадила сторожем собачку — французского спаниеля. Небесно-голубой жакет, расшитый серебром и плотно облегавший стан, был спереди открыт, позволяя видеть несколько разноцветных шелковых жилеток с открытым воротом, рассчитанных подчеркнуть соотношение покатых плеч и высокой груди. Надетая на шею серебряная тонкая цепочка уходила куда-то под эту радугу жилеток и, снова вынырнув из-под них, еще ярче оттеняла медаль из того же металла, удостоверявшую именем некоего цеха или суда менестрелей, что ее носительнице присвоена степень мастера Веселой, или Утешной, Науки. С левого бока на ярко-синей шелковой ленте висела через плечо маленькая сумочка.

Густой загар, белые как снег зубы, черные блестящие глаза и кудри цвета воронова крыла наводили на мысль, что родина ее лежит на юге Франции, а лукавая улыбка и ямочка на подбородке подтверждали

¹ Перевод С. Петрова.

догадку. Густым кудрям, навитым на золотую иглу, не давала рассыпаться шелковая сетка с золотыми нитями. Короткие юбки, чуть ниже колен, богато расшитые под стать жакету серебряной тесьмой, красные чулки да сафьяновые полусапожки довершали наряд, далеко не новый, но убереженный от пятен: это было, как видно, праздничное платье, тщательно поддерживаемое в благоприличном виде. Певице было с виду лет двадцать пять; но, возможно, тяготы скитаний до времени пригасили свежесть первой молодости.

Мы уже сказали, что девица держалась бойко, и можем добавить, что у нее всегда были наготове улыбка и острое словцо. Но ее веселость казалась нарочито усвоенной как непеременимое условие промысла, в котором, может быть, самым тяжелым была необходимость постоянно прикрывать улыбкой душевную муку. Так, по-видимому, обстояло дело и с Луизой. О своей ли подлинной судьбе рассказывала в балладе певица или была у нее иная причина для горести, но временами у нее пробивалась струя затаенной печали, не дававшей свободно литься живому веселью, какого безоговорочно требует занятие Утешной Наукой. И даже при самых бойких шутках девушке недоставало дерзкого задора и беззастенчивости ее сестер по ремеслу, которые не лезли за словом в карман, чтоб ответить остро слову на скользкое замечание или поднять на смех всякого, кто их перебывал или мешал им.

Заметим здесь, что женщины этого разряда, очень в тот век многочисленного, понятно, не могли пользоваться доброй репутацией. Тем не менее обычай покровительствовал им, а законы рыцарства настолько их ограждали, что лишь в редчайших случаях можно было услышать о зле или обиде, нанесенной таким девушкам-бродяжкам, и они благополучно проходили туда и обратно повсюду, где вооруженного путешественника ждали кровавые столкновения. Но хотя уважение к их искусству обеспечивало странствующим менестрелям, будь то мужчина или женщина, покровительство и неприкосновенность, они, по-

добно нашим современным служителям общественного увеселения — уличным музыкантам, например, или бродячим актерам, — жили слишком беспорядочной, полунищенской жизнью и, значит, не могли считаться почтенными членами общества. Мало того — среди более строгих католиков этот промысел считался нечестивым.

Такова была девица, которая, расположившись на упомянутом небольшом возвышении, с виолой в руке подошла поближе к обступившей ее публике и назвалась «мастером Веселой Науки» — что, заявила она, удостоверяется грамотой от Суда Любви и Музыки, состоявшегося в провансальском городе Эксе под председательством галантного графа Эме. «Оный граф Эме, краса и гордость рыцарства, ныне обращается с просьбой к кавалерам веселой Шотландии, славящимся по всему свету храбростью и учтивостью, разрешить бедной чужестранке познакомиться их с ее искусством, которое, быть может, доставит им некоторое удовольствие». Любовь к песне, как и любовь к сражению, была в тот век общим пристрастием, и если кто не разделял его, то делал вид, что разделяет; поэтому предложение Луизы не встретило ни у кого отказа. Все же старый, хмурый монах, затесавшийся среди публики, счел нужным указать музыкантше, что, хотя ее по особой милости допустили сюда, он надеется, что она не станет петь или говорить ничего несообразного со святостью места.

Певица низко наклонила голову, тряхнула черными кудрями, истово перекрестилась, как бы отвергая самую возможность такого проступка, и запела «Балладу о бедной Луизе», которую мы полностью привели в предыдущей главе.

Но только она начала, как ее прервали крики:

— Расступись... расступись... Дорогу герцогу Ротсею!

— Не нужно, не тесните из-за меня никого, — учтиво сказал рыцарь, въехав во двор на благородном арабском скакуне, которым он управлял с удивительной грацией, хотя так легко перебирал поводья, так неприметно нажимал коленями и покачивался в

седле, что любому наблюдателю, кроме опытного наездника, подумалось бы, что конь ступал как хотел и ради собственного удовольствия нес так грациозно седока, а тот по лености не давал себе труда об этом позаботиться.

Принц был одет очень богато, но с неряшливой небрежностью. При невысоком росте и крайней худобе, он был удивительно изящно сложен, а черты его лица были просто красивы. Но тусклая бледность лежала на этом лице, изнуренном заботами или распутством, либо вместе и тем и другим. Запавшие глаза были мутны, как если бы накануне принц предавался допоздна излишествам пирушки, а щеки горели неестественным румянцем: то ли еще не прошло действие вакхической оргии, то ли утром он вновь приложился к чарке, чтоб опохмелиться после ночного кутежа.

Таков был герцог Ротсей, наследник шотландской короны, возбуждавший своим видом вместе и злословие и сострадание. Все перед ним обнажали головы и расступались, между тем как он повторял небрежно:

— Не к спеху, не к спеху — туда, где меня ждут, я приду и так не слишком поздно. Что там такое? Девушка-менестрель?.. И вдобавок, клянусь святым Эгидием, премиленькая! Стойте, друзья, я не был никогда гонителем музыки... Голос, право, совсем недурен! Спой для меня твою песню с начала, красотка!

Луиза не знала, кто к ней так обратился, но знаки почета, оказываемые всеми вокруг, и то безразличие, та непринужденность, с какой он их принимал, сказали ей, что перед ней человек самого высокого положения. Она начала сызнова свою балладу — и спела ее так хорошо, как только могла. А юный герцог, казалось, даже загрустил или растрогался к концу песни. Но не в его обычае было предаваться печальным чувствам.

— Жалобную песенку ты спела, моя смуглянка, — сказал он, пощекотав под подбородком музыкантшу и, когда она отпрянула, удерживая ее за ворот жакета, что было не трудно, так как он вплотную подъ-

ехал на коне к крыльцу, где она стояла. — Но я поручусь, ты, если захочешь, вспомнишь песенку повеселей, та bella tenebrosa.¹ Да! И ты можешь петь в шатре, а не только на вольном взгорье, и не только днем, но и ночью.

— Я не ночной соловей, милорд, — сказала Луиза, пытаюсь отклонить галантное внимание, плохо отвечавшее месту и обстоятельствам, хотя тот, кто с нею говорил, казалось, надменно пренебрегал этой несообразностью.

— Что тут у тебя, милочка? — добавил он, отпустив ее ворот и взявшись за сумочку, висевшую у нее на боку.

Луиза с радостью освободилась от его цепкой хватки, развязав узел на ленте и оставив мешочек в руке у принца. Отступив настолько, чтоб он не мог до нее дотянуться, она ответила:

— Орехи, милорд. Осеннего сбора.

Принц в самом деле вынул горстку орехов.

— Орехи, дитя?.. Ты поломаешь о них свои жемчужные зубки... испортишь свой красивый голосок, — сказал Ротсей и разгрыз один орех, точно деревенский мальчишка.

— Это не грецкие орехи моего родного солнечного края, милорд, — сказала Луиза. — Зато они растут невысоко и доступны бедняку.

— У тебя будет на что купить еду посытнее, моя бедная странствующая обезьянка, — сказал герцог, и впервые голос его зазвучал искренней теплотой, которой не было и тени в наигранной и неуважительной любезности его первых фраз.

В это мгновение, обернувшись к провожатому за своим кошельком, принц встретил строгий, пронзительный взгляд высокого черноволосого всадника на мощном сизо-вороном коне, въехавшего с большою свитой во двор, покуда герцог Ротсей был занят Луизой, и замершего на месте, чуть ли не окаменевшего от изумления и гнева при этом неподобающем зрелище. Даже тот, кто никогда не видел Арчибалда, графа

¹ Моя смуглая красавица (итал.).

Дугласа, прозванного Лютым, узнал бы его по смуглому лицу, богатырскому сложению, кафтану буйволовой кожи и по всему его виду, говорившему об отваге, твердости и проницательности в сочетании с неукротимой гордыней. Граф окривел в бою, и этот изъян (хоть и незаметный, пока не приглядишься, потому что глазное яблоко сохранилось и незрячий глаз был схож с другим) накладывал на весь его облик печать сурово-недвижной угрюмости.

Встреча царственного зятя с грозным тестем произошла при таких обстоятельствах, что привлекла всеобщее внимание; окружающие молча ждали развязки и не смели дохнуть из боязни опустить какую-нибудь подробность.

Когда Ротсей увидел, какое выражение легло на суровое лицо Дугласа, и понял, что граф не собирается сделать ему почтительный или хотя бы учтивый поклон, он, видимо, решил показать тестю, как мало он склонен считаться с его недовольством. Взяв из рук камергера свой кошелек, герцог сказал:

— Вот, красавица, я даю тебе один золотой за песню, которую ты мне пропела, другой — за орехи, которые я у тебя украл, и третий — за поцелуй, который ты мне подаришь сейчас. Ибо знай, моя красавица: я дал обет святому Валентину, что всякий раз, когда красивые губы (а твои за отсутствием лучших можно назвать красивыми) порадуют меня приятным пением, я прижму их к своим.

— За песню мне уплачено с рыцарской щедростью, — сказала, отступив на шаг, Луиза, — мои орехи куплены по хорошей цене; в остальном, милорд, сделка не подобает вам и неприлична для меня.

— Как! Ты еще жеманишься, моя нимфа большой дороги? — сказал презрительно принц. — Знай, девица, что к тебе обратился с просьбой человек, не привыкший встречать отказ.

— Это принц шотландский... герцог Ротсей, — заговорили вокруг Луизы придворные, подталкивая вперед дрожащую молодую женщину, — ты не должна ему перечить.

— Но мне не дотянуться до вас, милорд! — боязливо промолвила она. — Вы так высоко сидите на вашем коне.

— Если я сойду, пеня будет тяжелей... Чего девчонка дрожит?.. Ставь ногу на носок моего сапога, протяни мне руку! Вот и молодец, очень мило!

И когда она повисла в воздухе, поставив ножку на его сапог и опершись о его руку, он поцеловал ее словами:

— Вот твой поцелуй, и вот мой кошелек в уплату. И в знак особой милости Ротсей весь день будет носить твою сумочку.

Он дал испуганной девушке спрыгнуть наземь и отвел от нее глаза, чтобы с презрением бросить взгляд на графа Дугласа, как будто говоря: «Все это я делаю назло тебе и твоей дочери!»

— Клянусь святой Брайдой Дугласской, — сказал граф, устремившись к принцу, — ты хватил через край, бесстыдный мальчишка, растерявший и разум и честь! Ты знаешь, какие соображения удерживают руку Дугласа, иначе ты никогда не отважился бы на это!

— Вы умеете играть в щелчки, милорд? — спросил принц и, зажав орех в согнутом указательном пальце, выбил его большим.

Орех попал в широкую грудь Дугласа, исторгнув у него нечленораздельный яростный вопль, выразительностью и свирепостью похожий на львиный рык.

— Виноват, милорд, прошу прощения, — небрежно бросил герцог Ротсей, меж тем как все вокруг затрепетали, — я не думал, что мой орешек может вас поранить сквозь буйволону шкуру. Надеюсь, я не попал вам в глаз?

Настоятель, посланный, как мы видели в предыдущей главе, королем, к тому времени пробился сквозь толпу и, перехватив у Дугласа поводья, чтобы тот не мог двинуться с места, напомнил графу, что принц — сын его суверена и муж его дочери.

— Не бойтесь, сэр приор, — сказал Дуглас, — я мальчишку и пальцем не трону, для этого я слишком его презираю! Но я заплачу обидой за обиду. Эй вы,

кто тут предан Дугласу? Вытолкайте эту распутницу за монастырские ворота! Да отстегайте ее так, чтоб она до смертного дня не забывала, как однажды по-могла зазнавшемуся юнцу оскорбить Дугласа!

Пять-шесть человек из его свиты тотчас выступили вперед исполнить приказы человека, который не часто давал их впустую, и пришлось бы Луизе тяжело поплатиться за обиду, для которой она лишь послужила орудием — нечаянно и даже против воли, когда бы не вмешался герцог Ротсей.

— Вытолкать бедную певицу? — закричал он в негодовании. — Отстегать ее за то, что она подчинилась моему приказу? Выталкивай своих забитых вассалов, грубиян, стегай своих нашкодивших легавых псов, но остерегись затронуть хотя бы собачонку, которую Ротсей потрепал по шее, а не то что женщину, принявшую его поцелуй!

Не успел Дуглас дать ответ, который оказался бы, конечно, отнюдь не мирным, как началась схватка у внешних ворот монастыря, и люди, кто верхом, кто пеший, очертя голову ринулись вперед — если не прямо в драку, то, во всяком случае, не для мирного разговора.

Схватились с одной стороны приверженцы Дугласа, как показывал их отличительный знак — кровавое сердце, с другой — обыватели Перта. По-видимому, они бились всерьез, покуда оставались по ту сторону ворот, но в уважение к освященной земле, едва переступив их, опустили оружие и ограничились словесной перепалкой.

Схватка имела то благое последствие, что под натиском толпы принц оказался оттесненным от Дугласа в такую минуту, когда легкомыслие зятя и высокомерие тестя грозили толкнуть обоих на крайность. Теперь же со всех сторон выступили миротворцы. Настоятель и монахи бросились в гущу толпы, призывая во имя господа бога блюсти мир и уважать святость этих стен, причем грозили ослушникам отлучением от церкви; к их увещаниям уже начали прислушиваться. Олбени, посланный своим царственным братом в самом начале драки, только сейчас явился

на место действия. Он сразу подошел к Дугласу и стал что-то нашептывать ему на ухо, заклиная умерить свой пыл.

— Клянусь святою Брайдой Дугласской, я отомщу! — сказал граф. — Не жить на земле тому, кто нанес оскорбление Дугласу!

— Что ж, вы отомстите, когда приспее час, — сказал Олбени, — но пусть не говорят, что великий Дуглас, точно сварливая баба, не умеет выбрать ни время, ни место для сведения счетов. Подумайте, все, над чем мы столько поработали, пойдет прахом из-за пустой случайности. Джорджу Данбару только что удалось переговорить со стариком с глазу на глаз, и, хотя сроку было у него лишь пять минут, боюсь, это грозит вашей семье расторжением брака, который мы с таким трудом заключили. Санкция Рима до сих пор не получена.

— Вздор! — уронил высокомерно Дуглас. — Не посмеют расторгнуть!

— Да, пока Дуглас на свободе и стоит во главе своих сил, — был ответ Олбени. — Но ступайте за мной, благородный граф, и я покажу вам, как незавидно ваше положение.

Дуглас спешил и безмолвно последовал за своим коварным сообщником. В нижнем зале они увидели выстроившихся в ряды бранданов — при оружии, в стальных шлемах, в кольчугах. Их начальник отвесил поклон герцогу Олбени, как бы желая что-то ему сказать.

— В чем дело, Маклуис?

— Мы слышали, что герцогу Ротсею нанесена обида, и я едва удержал бранданов на месте.

— Благородный Маклуис, — сказал Олбени, — и вы, мои верные бранданы! Герцог Ротсей, мой царственный племянник, благополучно здравствует, как дай господь каждому честному джентльмену. Произошла небольшая драка, но там уже утихомирились. — Он, не останавливаясь, шел вперед и тянул за собою Дугласа. — Вы видите, милорд, — говорил он ему на ухо, — если будет сказано слово «схватить», приказ выполняют без промедления. А вы сами

знаете, много ли при вас людей, — едва ли сможете вы защититься.

Дуглас, видимо, примирился с необходимостью на время набраться терпения.

← Я насквозь прокушу себе губы, — сказал он, — и буду молчать, пока не придет мой час выговориться вволю.

Джорджу Марчу выпала между тем более легкая задача — успокоить принца.

— Милорд Ротсей, — сказал он, подступив к нему со всей придворной учтивостью, — я не должен вам напоминать, что вы еще ничем не оплатили урон, нанесенный вами моей чести, хотя лично вам я не ставлю в вину расторжение договора, отнявшее покой у меня и у моей семьи. Заклинаю вас, если вы и впрямь хотите, ваше высочество, хоть чем-то ублажить оскорбленного, прекратите сейчас этот постыдный спор.

— Милорд, я перед вами в большом долгу, — возразил Ротсей, — но этот надменный лорд, не умеющий держаться в границах дозволенного, задел мою честь.

— Милорд, я могу лишь добавить, что ваш державный отец болен — он упал в обморок от ужаса, узнав, что вашему высочеству грозит опасность.

— Болен! — повторил принц. — Добрый, кроткий старик... Он в обмороке, так вы сказали, лорд Марч?.. Лечу к нему!

Герцог Ротсей соскочил с седла и ринулся во дворец, как борзая, когда кто-то легкой рукой ухватился за его епанчу и слабый голос стоящей на коленях женщины пролепетал:

— Защиты, мой благородный принц! Оградите чужестранку!

— Руки прочь, бродяжка! — сказал граф Марч и хотел отшвырнуть молившую о помощи странницу-певицу.

Но принц, более мягкосердечный, остановился.

— Правда, — сказал он, — я навлек месть беспощадного дьявола на беззащитное создание. О боже! Что за жизнь у меня! Кто ни приблизится ко мне, это несет ему гибель! Я так спешу... Что делать?..

Нельзя же привести ее в мои покои... А мои удалыцы как есть отпетые негодяи... Эге, вот кто меня выручит! Это ты, мой честный Гарри Смит? Что тебя сюда привело?

— Тут вышло вроде как бы сражение, милорд, — сказал наш знакомец Смит, — между горожанами и бездельниками с южной окраины, людьми Дугласа. Мы их потеснили к воротам аббатства.

— Очень рад... Очень рад! И вы честно побили мерзавцев? — спросил Ротсей.

— Честно ли? Да как вам сказать, ваше высочество... — ответил Генри. — Пожалуй, да. Нас, конечно, было больше числом, но никто не разъезжает в лучшем вооружении, чем те, кого водит за собою Кровавое Сердце. Так что, если подумать, мы их побили честно. Потому что, как известно вашему высочеству, латников вооружает не кто иной, как Смит, а когда на людях доброе оружие, это стоит численного перевеса.

Пока они так беседовали, граф Марч, поговорив с кем-то у дворцовых ворот, в сильной тревоге поспешил вернуться:

— Милорд герцог!.. Милорд герцог!.. Вашему отцу стало лучше, и, если вы не поторопитесь, милорд Олбени и Дуглас завладеют его королевским ухом.

— Если королю лучше, — сказал безрассудный принц, — и он держит или собирается держать совет с моим любезным дядей и графом Дугласом, ни вашей милости, ни мне не подобает вмешиваться, пока нас не пригласили. Так что у меня есть время поговорить о своем дельце с честным оружейником.

— Вот вы как на это смотрите, ваше высочество! — воскликнул граф, и его легковверная надежда войти в милость при дворе, слишком поспешно пробужденная, вмиг угасла. — Что ж, Джордж Данбар знает, что ему делать!

Он тихо побрел прочь с досадой на помрачневшем лице. Так из двух наиболее могущественных представителей шотландской знати — и в такую пору, когда аристократия подчинила своему влиянию престол, безрассудный наследник создал себе двух врагов:

одного — своим надменным вызовом, другого — беспечным небрежением. Его нисколько не смутило, что граф Марч удалился: он даже порадовался, что избавился от его навязчивости.

Принц продолжал беззаботный разговор с оружейником, который, как искуснейший мастер в своем ремесле, был лично знаком со многими вельможами и царедворцами.

— Мне нужно кое-что тебе сказать, Смит... Ты не можешь закрепить в моей миланской кольчуге выпавшее кольцо?

— Пожалуйста, ваше высочество, починим не хуже, чем, бывало, моя матушка поднимала спустившуюся петлю в своем вязанье. Миланец не отличит моей работы от своей.

— Отлично! Но сейчас мне требуется от тебя другое, — спохватился принц. — Вот эта бедная певица... Ее нужно, мой добрый Смит, поместить в надежном укрытии. Как истинный мужчина, ты должен заступиться за женщину — и ты отведешь ее в безопасное место.

Генри Смит был, как мы видели, достаточно смел и скор там, где требовалось скрестить клинки. Но было в нем и самолюбие добропорядочного мещанина, и ему не хотелось ставить себя в такое положение, которое его благонравным согражданам могло показаться двусмысленным.

— Извините, ваше высочество, — сказал он, — я только бедный ремесленник. И хотя моя рука и меч всегда к услугам короля и вашего высочества, я не дамский угодник. Ваше высочество найдете среди своих приближенных рыцаря или лорда, которому будет по душе разыграть из себя сэра Пандара из Трои — это слишком рыцарская роль для скромного Хэла из Уинда.

— Гм... так! — замялся принц. — Мой кошелек, Эдгар... (Его камергер что-то ему шепнул.) Верно, верно, я его отдал бедняжке... Я достаточно знаком с вашим обычаем, сэр Смит, и вообще с ремесленным людом, и мне известно, что сокола на пустую руку не приманишь; но я полагаю, мое слово стоит не меньше,

чем добрая кольчуга: за эту пустячную службу ты получишь сполна стоимость лучшего панциря и мою благодарность в придачу.

— Вашему высочеству, может быть, и знаком кое-кто из ремесленников, — сказал Смит, — но скажу со всем почтением, плохо вы знаете Генри Гоу! Он по вашему приказу послушно выкует вам доспехи или вынет меч из ножен, но служить по части женских юбок — этого он не умеет.

— Слушай ты, упрямый пертский мул, — сказал принц, не удержавшись от улыбки перед строгой щепетильностью честного горожанина, — девчонка значит для меня так же мало, как и для тебя. Но в досужую минуту, как тебе расскажут все вокруг, если ты сам не видел, я мимоходом оказал ей внимание, за которое бедняжка может теперь поплатиться жизнью. Тут нет никого, кому я спокойно доверил бы защитить ее от наказания ремнем и тетивой: эти скоты с границы, приспешники Дугласа, засекут ее до смерти ему в угоду.

— Когда так обстоит дело, милорд, она вправе искать защиты у каждого честного человека. А так как она ходит в юбках (хоть им бы лучше быть подлинней и не такого дурацкого вида), я беру на себя защитить ее, насколько это под силу одному человеку. Но куда прикажете ее отвести?

— Ей-богу, не знаю, — сказал принц. — Отведи ее в дом к сэру Джону Рэморни... Впрочем, нет, нельзя... он нездоров, и вообще по некоторым причинам... Отведи хоть к черту, лишь бы она была в безопасности, и ты очень обяжешь Давида Ротсея.

— Мой благородный принц, — сказал Смит, — я думаю — опять-таки при всем моем к вам почтении — лучше и впрямь поручить беззащитную женщину заботам черта, чем сэра Джона Рэморни. Однако хоть черт, как и я, работает с огнем, мы с ним в гости друг к другу не хаживаем, и, положась на помощь святой церкви, я надеюсь, что никогда не заведу с ним дружбы. Но как я проведу ее через монастырский двор и дальше по улицам в таком маскарадном наряде — вот задача!

— Через двор, — сказал принц, — вас проводит этот добрый монах, — он ухватил за рясу первого, кто подвернулся, — брат Николас... или Бонифаций...

— Смиренный брат Киприан, — подсказал монах. — И вы можете располагать им, ваше высочество.

— Да, да, брат Киприан, — подхватил принц, — да! Брат Киприан выведет вас каким-нибудь известным ему потайным ходом, а потом он со мною увидится, чтобы принять благодарность принца за услугу.

Церковник поклонился в знак покорного согласия, а бедная Луиза, которая, пока договаривались, то и дело переводила взгляд с одного на другого, теперь поспешила ввернуть:

— Доброму человеку не будет неловко за мой глупый наряд — у меня есть на каждый день дорожная накидка.

— Что ж, Смит, тебе предлагают для покрова капишон монаха и женскую накидку. Я был бы рад, когда бы все мои слабости были так надежно укрыты! До свидания, честный человек. Я отблагодарю тебя после.

И, словно опасаясь новых возражений со стороны Смита, он быстро вошел во дворец.

Генри Гоу стоял, ошеломленный навязанным ему поручением, грозившим двойной бедой — с одной стороны, вовлечь его в опасную переделку, с другой — возбудить не менее опасное злословие; а то и другое вместе в его новом положении, да еще при его постоянной готовности лезть в драку, могло, как он предвидел, изрядно повредить ему на пути к его заветной цели. Но в то же время оставить беззащитное создание на произвол жестоких гальвегианцев, разнужданных приспешников Дугласа, — такой мысли мужественный оружейник не мог допустить ни на миг.

Его вывел из раздумья певучий голос монаха. Растягивая слова в том безучастии, подлинном или притворном, какое святые отцы неизменно выказывают ко всему земному, брат Киприан попросил их следовать за ним. Со вздохом, очень похожим на стон, Смит двинулся вперед и, делая вид, будто идет сам по себе, независимо от монаха, прошел вслед за

ним в монастырь, а оттуда — в заднюю калитку, которую монах, оглянувшись только раз через плечо, оставил для них открытой. Последней шла Луиза: быстро подхватила она свою корзиночку, кликнула собачонку и радостно зашагала по дороге, обещавшей избавление от опасности, которая казалась только что и грозной и неизбежной.

Глава XII

Встает старуха, хмурит бровь:
— Когда такое дело
Свершить посмел бы твой отец,
Ему бы нагорело!

«Трамбул-счастливец»

Все трое прошли потайным ходом и были пропущены в церковь, наружная дверь которой, обычно открытая, оказалась на замке; ее заперли для всех во время недавнего переполоха, когда буяны рвались сюда — отнюдь не ради молитвы. Затем миновали угрюмые приделы, где эхо под сводами гулко отзывалось на тяжелую поступь оружейника, но молчало под стопой обутого в сандалии монаха и легкими шагами Луизы, которая дрожала, бедная, мелкой дрожью не так от холода, как со страху. Она видела, что оба ее вожата, и духовный и мирской, смотрят на нее неласково. Отец Киприан был строгий инок; он, казалось, каждым взглядом хотел повергнуть в трепет злополучную скиталицу и выразить свое презрение к ней; оружейник же, хоть и был, как мы видели, самым добродушным человеком на свете, сейчас напустил на себя важный, почти суровый вид: его злило, что ему навязали эту несообразную роль, не дав, как он в смущении создавал, ни малейшей возможности уклониться от нее.

Свою досаду он переносил на безвинную девушку, отданную под его защиту, и, поглядывая на нее с пренебрежением, мысленно говорил себе:

«Прямо королева нищенок! Ну как мне, приличному горожанину, идти с такою по улицам Перта? Репутация у красотки, верно, такая же подмоченная, как у всех ее сестер, и если слух о том, что я стал ее рыцарем, дойдет до ушей Кэтрин, я погиб безвозвратно. Уже лучше бы мне убить кого-нибудь, хоть первого человека в Перте! Нет — молот и гвозди! — я и впрямь предпочту убить мужчину (пусть он только меня хорошенько раззадорит!), чем вести по городу эту срамницу!»

Возможно, Луиза угадала, чем обеспокоен ее провожатый, потому что она заговорила робко и нерешительно:

— Достойный сэр, не лучше ли будет, если я на минутку зайду сюда, в часовню, и надену свою накидку?

— Гм, милочка! Дельные слова, — сказал оружейник.

Но монах вмешался, подняв в знак запрета палец:

— Часовня Медокса Блаженного — не уборная, где переодеваются фокусники и бродячие актеры! Я скоро укажу тебе ризницу, лучше отвечающую твоему положению.

Бедная молодая женщина смиренно склонила голову и в глубоком унижении отошла от входа в часовню, куда хотела вступить. Ее спаниель, казалось, понял по виду и повадке своей госпожи, что они ступают по этой освященной земле бесправными чужаками, и, свесив уши, волоча хвост по плитам, тихо трусил по пятам за Луизой.

Монах, не останавливаясь, вел их дальше. Они сошли по широкой лестнице и углубились в лабиринт подземных коридоров, тускло освещенных. Проходя мимо низкой сводчатой двери, монах обернулся и сказал Луизе тем же строгим голосом, как и раньше:

— Вот, дочь неразумия, вот перед тобою раздевальная, где многие до тебя сложили свои одежды!

Повинуясь боязливо и покорно легкому взмаху руки, она толчком распахнула дверь, но тут же в ужасе отпрянула. Это был склеп, наполовину заполненный сухими черепами и костями.

— Мне страшно переодеваться здесь... и одной... Но если вы приказываете, отец, я сделаю как вы повелите.

— Знай, дитя тщеты, останки, на которые ты взираешь, лишь брэнное одеяние тех, кто в свое время искал земных утех или услаждался ими. В такой же прах обратишься и ты, как ни кружись, ни пляши, как ни пой, ни брэнчи на струнах; ты и все вы, служители нечестивого мирского наслаждения, уподобитесь этим бедным костям, на которые тебе в твоей суетной привередливости противно и страшно глядеть.

— Нет, это не суетная привередливость, преподобный отец, — отвечала странствующая певица. — Видит небо, я чту покой этих бедных побелевших костей; и если бы, распростершись на них, я могла без греха превратиться в подобный же прах, я избрала бы местом отдыха эту грудку останков и предпочла бы ее самому пышному и мягкому ложу в Шотландии.

— Терпи и продолжай свой путь, — сказал монах уже не так сурово. — Жнец не должен бросать жатву, доколе солнце, склонясь к закату, не оповестит, что трудовой день окончился.

Пошли дальше. В конце длинной галереи брат Киприан отворил дверь небольшой комнаты или, может быть, часовни, так как ее украшало распятие, перед которым горели четыре лампы. Все склонились, осенясь крестом; и монах спросил девушку-менестреля, указывая на распятие:

— Что говорит этот символ?

— Что господь и праведника и грешника призывает приблизиться.

— Да, если грешник сложил с себя свой грех, — сказал монах, голос которого зазвучал уже заметно мягче. — Здесь приготовься к продолжению своего пути.

Луиза пробыла в часовне минуты две и вышла оттуда, кутаясь в серый грубошерстный плащ: кое-что из своего яркого наряда она наспех сняла и сложила в корзиночку, где перед тем лежало ее обыденное одеяние.

Вскоре затем монах отпер дверь, которая вела на волю. Они оказались в саду, окружавшем монастырь братьев доминиканцев.

— Южные ворота только на засове, вы сможете выйти через них незамеченными, — молвил монах. — Благословляю тебя, сын мой; благословляю и тебя, несчастное дитя. Пусть воспоминание о месте, где ты сняла свои уборы, остережет тебя, когда ты снова вздумаешь их надеть.

— Увы, отец! — сказала Луиза. — Если бы несчастная чужестранка могла хоть кое-как прокормиться иным, более почтенным ремеслом, едва ли она пожелала бы промышлять своим суетным искусством. Но...

Но монах исчез, да и самая дверь, через которую их вывели, тоже как будто исчезла, так диковинно была она укрыта под нависшим контрфорсом и среди вычурной орнаментовки готической архитектуры. «Так! Стало быть, через эту потайную дверь только что выпустили женщину, — подумал Генри. — Хорошо, коли добрые отцы не впустят тотчас этим же ходом другую! Очень удобное местечко для игры в прятки... Но, benedicite, что мне делать дальше? Я должен поскорее сбить девчонку с рук и доставить ее в безопасное место. Не знаю, какова она в душе, а вид у нее такой скромный — теперь, когда на ней приличная одежда, — что она едва ли заслуживает того обхождения, каким ее почтили бы наши шотландские дикари из Гэллоуэя или чертов легион из Лиддела!»

Луиза стояла, точно предоставив кузнецу вести ее, куда он сам захочет. Ее собачонка, радуясь, что выбралась из темного подземелья на свежий воздух, резво носилась по дорожкам, на скакивала на свою госпожу и даже крутилась, хоть и несколько боязливо, в ногах у Смита, чтобы выразить и ему свое удовольствие и завоевать благосклонность.

— Ложись, Шарло, ложись! — прикрикнула певича. — Рад, что выбрался на божий свет? Но где-то мы с тобою заночуем, мой бедный Шарло!

— Ну, сударыня, — сказал Смит — не грубо, потому что это было не в его натуре, но все же резко,

как говорит человек, когда хочет покончить с неприятным делом, — куда лежит ваш путь?

Луиза усталилась в землю и молчала. На повторный настойчивый вопрос, куда она прикажет ее проводить, она снова потупилась и сказала, что сама не знает.

— Ладно, — усмехнулся Генри, — понимаю... Я тоже в свое время умел позабавиться — повеса был хоть куда! Но лучше скажу напрямик: что касается меня, так я вот уже много-много месяцев совсем другой человек, так что, красотка моя, нам надо расстаться раньше, чем такая пташка захотела бы отпустить от себя пригожего молодца.

Луиза плакала без слов, все еще не поднимая глаз, как плачут, когда чувствуют обиду, на которую не вправе жаловаться. Наконец, видя, что ее провожатый теряет терпение, она начала, запинаясь:

— Высокородный сэръ...

— Сэрм зови рыцаря, — сердито сказал горожанин, — а высокородным — барона. Я — Гарри из Уинда, честный оружейник и к тому же независимый от цеха.

— Значит, добрый ремесленник, — сказала музыкантша. — Вы судите обо мне сурово, но у вас есть на то видимое основание. Я немедленно избавила бы вас от своего общества, которое, возможно, приносит мало чести порядочному человеку, но я и в самом деле не знаю, куда мне идти.

— На ближайшую ярмарку или храмовый праздник, — отрезал Генри, не сомневаясь, что растерянность ее притворная — девчонка хочет ему навязаться, вот и прикидывается, а может быть, и сам страшась соблазна. — Значит, в Охтерардер, на праздник святого Медокса. Поручусь, что ты без труда найдешь туда дорогу.

— Афте... Оттер... — повторила певица, тщетно силясь одолеть кельтское произношение. — Мне говорили, что мои песенки будут непонятны людям, если я подойду ближе к тому угрюмому горному кражу.

— Значит, ты хочешь остаться в Перте?

— Но где тут устроиться на ночь? — сказала ски-талица.

— А где провела ты эту ночь? — возразил Смит. — Уж ты, разумеется, знаешь, откуда пришла, хоть, видно, еще не решила, куда пойдешь.

— Я ночевала в странноприимном доме при мона-стыре. Но меня пустили туда после долгих уговоров и наказали больше не возвращаться.

— А теперь, когда тебя гонят Дугласы, тебя туда нипочем не примут, уж это наверняка. Но принц упомянул сэра Джона Рэморни... Я могу провести тебя переулками к его жилищу... хоть это и не дело для честного горожанина, да и некогда мне.

— Пойду куда-нибудь... Я знаю, я для людей — бесчестье и обуза. Было время, когда на меня смот-рели иначе... Но этот Рэморни — кто он такой?

— Учтивый рыцарь. Ведет веселую холостяцкую жизнь и состоит конюшим и, как говорят, *privado*¹ при молодом принце.

— Как! При этом шалом и надменном молодом человеке, из-за которого и вышел весь скандал?.. Ох, не отводите меня туда, добрый друг! Неужели не сыщется какой-нибудь христолюбивой женщины, кото-рая приютила бы несчастное создание у себя в хлеву или в амбаре на одну ночь? Рано поутру я уйду. Я ей щедро заплачу. У меня есть золото — вам я тоже за-плачу, если вы отведете меня куда-нибудь, где я смогу укрыться от этого буйного повесы и от слуг чер-ного барона, который как глянет, так убьет.

— Приберегите ваше золото для тех, у кого его недостаточно, сударыня, — сказал Генри, — и не суйте в честные руки деньги, заработанные виолой, бубнами и пляской, а может быть, и чем похуже. Говорю вам напрямик, сударыня, меня вы не одурачите. Я про-вожу вас в любое безопасное место, какое вы мне на-зовете, потому что мое обещание крепко, как сталь-ные оковы. Но вам меня не убедить, что вы не знаете, куда идти. Не так вы неопытны в своем ремесле, чтобы не знать, что в любом городе, а тем более в

¹ Доверенный по личным делам (*исп.*).

таком большом, как Перт, имеются заезжие дворы, где особа, подобная вам, всегда получит приют за свои деньги, если не найдет простака, который уплатил бы за ее постой. Раз вы при деньгах, сударыня, моя о вас забота будет недолга; и, право, в женщине ваших занятий эта непомерная горесть, этот страх остаться одной кажутся мне попросту притворством.

Дав, таким образом, ясно понять, как он думал, что потешница его не обманет обычными своими уловками, Генри твердо отошел на несколько шагов внушая себе, что принял самое разумное и мудрое решение. Но он не выдержал и оглянулся посмотреть, как Луиза приняла его уход, и был смущен, увидев, что она опустила на скамью, скрестила руки на коленях и склонила голову на руки, всей позой выражая полную безнадежность.

Кузнец еще пытался ожесточить свое сердце.

— Это все притворство, — сказал он. — *La gouge*¹ знает свое дело, клянусь святым Ринганом!

В эту минуту кто-то дернул его за подол плаща, и, посмотрев вокруг, он увидел маленького спаниеля, который тотчас же, словно хлопоча за свою госпожу, встал на задние лапки и начал танцевать, скуля и оглядываясь на Луизу, как будто испрашивая сострадания к своей покинутой хозяйке.

— Бедняга, — сказал Смит, — может быть, и это не более чем фокус, ведь ты делаешь только то, чему тебя обучили... Но раз уж я взялся защищать несчастную, не могу я оставить ее чуть ли не в обмороке... если это обморок... Не могу! Я же человек!

Возвратившись и подступив к девушке, так нектати отданной под его опеку, он по ее побелевшему лицу сразу убедился, что она или действительно в глубоком отчаянии, или же обладает даром притворства, непостижимым для мужчины, да и для женщины тоже.

— Слушай, девочка, — сказал он так ласково, как до сих пор не мог бы, даже если б захотел, — скажу

¹ Девка (*франц.*). *Gouge* на старофранцузском почти равнозначно нашему *wench*. (*Прим. автора.*)

тебе откровенно, в каком я положении. Сегодня у нас Валентинов день, и, по обычаю, я должен провести его с моей прекрасной Валентиной. Но драка и ссоры заняли все утро, оставив нам жалких полчаса. Так что тебе ясно, где сейчас мои мысли и сердце и где уж ради одного приличия мне бы надлежало быть и самому.

Потешница выслушала его и, как видно, поняла.

— Если вы любите верной любовью и должны спешить к вашей чистой Валентине, боже упаси, чтобы из-за такой, как я, между вами пошел разлад! Не думайте больше обо мне. Я возьму в проводники эту большую реку и приду туда, где она впадает в океан и где, как мне говорили, есть портовый город; оттуда я отправлюсь на корабле в *La Belle France*¹ и снова окажусь в стране, где самый грубый крестьянин не сделает зла самой жалкой женщине.

— Сегодня вам нельзя идти в Данди, — сказал Смит. — Люди Дугласа сейчас так и снуют по обоим берегам реки, потому что до них дошла уже весть об утреннем переполохе; весь этот день, и всю ночь, и весь завтрашний день они будут сходиться под знамя своего вождя, как горные кланы на огненный крест. Видите — там, за рекой, лихо скачут пять-шесть человек? Это эннендейлцы; я их распознал по длинным копьям и по тому, как они их держат: эннендейлец никогда не носит копьё наконечником назад — оно у него всегда направлено острием вверх или же вперед.

— А что мне до них? — сказала потешница. — Это конники и воины. Они уважают меня ради моей виолы и моей беззащитности.

— Не стану говорить о них дурное, — ответил Смит. — Если ты придешь в их родные долины, они окажут тебе гостеприимство, ты можешь ничего не опасаться, но сейчас они вышли на дорогу. Что попало в сети, то рыба. Среди них найдутся и такие, что не посовестятся тебя убить ради пары золотых сережек. У них вся душа в глазах да в пальцах. Так и смотрят, нельзя ли чем поживиться. Нет у них ушей,

¹ В прекрасную Францию (франц.).

чтобы слушать пение и музыку или внимать мольбам о пощаде. К тому же приказ их вождя насчет тебя уже отдан — и такой, что его, конечно, не ослушаются. Да, когда большие господа говорят: «Сожги церковь!», им повинуются быстрее, чем когда они скажут: «Построй!»

— Тогда, — сказала потешница, — мне лучше всего сесть на скамью и умереть.

— Не говори так! — ответил Смит. — Мне бы только найти пристанище, где ты могла бы заночевать, а утром я отвел бы тебя на Сходни богоматери, откуда идут вниз по реке корабли до самого Данди, и я посадил бы тебя на борт с каким-нибудь попутчиком, который присмотрел бы, чтобы ты устроилась в надежном месте, где тебя примут по чести и не обидят.

— Добрый... хороший... благородный человек! — сказала певица. — Сделайте так, и, если мольбы и благословения бедной несчастливцы могут дойти до небес, они вознесутся туда молитвой о тебе. Мы встретимся у этой двери в любое время, чтобы только поспеть к первому же кораблю. Когда он отходит?

— В шесть утра, едва рассветет.

— Так ступайте же, ступайте к вашей Валентине, и, если она вас любит — о, не обманывайте ее!

— Увы, несчастная девица! Боюсь, не обман ли довел тебя до такой жизни? Но я не могу оставить тебя так, без крова. Я должен знать, где ты переночуешь.

— Об этом не тревожьтесь, — возразила Луиза, — небо ясное, тут немало кустов и зарослей по берегу реки. Мы с Шарло отлично можем на одну ночь устроить себе спальню под зеленым деревцом; а утро — при обещанной вами помощи — застанет меня там, где мне не будут грозить ни зло, ни обида. Ночь проходит быстро, если есть надежда на доброе утро!.. Вы медлите, а ваша Валентина ждет? Нет, я вас почти нерадивым в любви, а вы знаете, чего стоит укор менестреля.

— Я не могу бросить тебя, девица, — ответил оружейник, уже совсем оттаяв. — Будет просто убийством, если я позволю тебе ночевать под открытым

небом в феврале месяце, на злом шотландском ветру. Нет, нет, этак я плохо сдержу свое слово, а если меня и поругают малость, это будет справедливым наказанием за то, что я судил о тебе и обращался с тобою не по твоим заслугам, как вижу я теперь, а согласно моим предрассудкам. Пойдем, девица, ты получишь надежное и пристойное убежище на эту ночь, к чему бы это ни привело. Я был бы несправедлив к моей Кэтрин, если бы дал человеку замерзнуть насмерть для того, чтобы часом раньше насладиться ее общением.

Говоря таким образом и гоня от себя прочь боязнь дурных последствий или кривотолков, какие мог породить такой его поступок, храбрый Смит решил, не страшась злоречья, приютить скиталицу на ночь в своем доме. Следует добавить, что он пошел на это с крайней неохотой, в порыве великодушия.

До того, как наш доблестный сын Вулкана в благоговении устремил свои мечты на пертскую красавицу, прирожденная страстность натуры отдавала его под влияние не только Марса, но и Венеры; и лишь благотворное действие истинного чувства положило конец его распутным утехам. Тем ревнивей оберегал он свою недавно завоеванную славу постоянства, на которую его забота о бедной страннице неизбежно должна была бросить тень. Да и смущали сомнения, не слишком ли смело подвергает он себя соблазну... Прибавьте к этому отчаяние оттого, что он и так уже упустил половину Валентинова дня, который, по обычаю, не только мог, но и должен был провести возле своей подруги. Поездка в Кинфонс и разные последующие события поглотили чуть ли не весь день, недалеко было уже до вечерни.

Точно надеясь в быстрой ходьбе наверстать время, поневоле потерянное на предмет, столь далекий от стремлений его сердца, он крупными шагами пересекает сад доминиканцев, вышел в город и, прикрыв плащом нижнюю половину лица, а шляпу нахлобучив так, чтобы спрятать и верхнюю, с той же стремительностью двинулся боковыми улочками и проулками в надежде дойти до своего дома в Уинде, не попавшись

никому на глаза. Но минут через десять он спохватился, что молодой женщине, пожалуй, нелегко за ним поспевать. Поэтому он оглянулся раз-другой в сердитом нетерпении, которое вскоре сменилось стыдом, когда он увидел, что, стараясь не отстать, она совсем выбилась из сил.

«Ну вот, полюбуйся, скотина ты этакий, — выругал Генри сам себя. — Мне, конечно, к спеху, но разве у бедняжки от этого вырастут крылья? Да еще она тащит поклажу! Скажу по правде, где коснется женщины, там я истинный невежа; я непременно окажусь дурак дураком, когда искренне хочу сделать все по-хорошему...»

— Послушай, девочка, дай-ка я понесу твои вещи. Тогда у нас дело пойдет быстрее.

Бедная Луиза хотела воспротивиться, но она так запыхалась, что не могла произнести ни слова; и она позволила добросердечному покровителю отобрать у нее корзиночку. Увидав это, собака забежала вперед, встала на задние лапки и, помахав передними, вежливо заскулила, как будто просясь, чтоб и ее понесли на руках.

— Что ж, придется, хочешь не хочешь, взять и тебя, — сказал Смит, видя, что бедная тварь устала.

— Фи, Шарло! — прикрикнула Луиза. — Точно ты не знаешь, что тебя я могу нести сама!

Она попробовала подхватить спаниеля, но тот увернулся и, подбежав к Смиту с другого боку, снова запросился на руки.

— Шарло прав, — сказал Смит. — Он знает, кому больше пристало его нести. Это мне говорит, моя красавица, что ты не всегда таскала сама свою ношу... Шарло умеет кое о чем поведать.

Такая мертвенная бледность легла на лицо бедной потешницы при этих словах, что Генри почел нужным поддержать девушку, боясь, что она упадет на землю. Однако она оправилась в две-три секунды и слабым голосом попросила своего проводника вести ее дальше.

— Ну, ну, — сказал Генри, когда они снова двинулись, — держись за мой плащ или за руку, если так

тебе легче будет идти. Эх, посмотрел бы кто на нас со стороны! Мне бы еще ребек или гитару за спину да мартышку на плечо, и мы — ни дать ни взять — веселая чета бродячих актеров: становись у ворот замка да бренчи на струнах...

«Эх, молот и гвозди! — ворчал он мысленно. — Если кто из знакомых повстречает меня с корзинкой этой потаскушки за спиной, с ее собачкой на руках и с нею самой, уцепившейся за мой плащ, ну как ему тут не подумать, что я и впрямь превратился в нищего бродягу? Я бы отдал лучший панцирь, какой выходил из-под моего молота, только бы никто из болтунов-соседей не встретил меня в таком обличье; смеху тогда не было б конца от Валентинова дня и до сретения!»

Волнуемый этими мыслями, кузнец, хоть и рискуя изрядно удлинить дорогу, которую хотел проделать как можно быстрее, выбрал самый окольный и пустынный путь, чтобы по возможности избежать главных улиц, где все еще толпился народ после недавнего переполоха. Но, к несчастью, этой уловкой он ничего не достиг: едва свернув в узкий переулок, он встретил человека, который шел, прикрыв лицо плащом, видно так же, как и он, желая пройти неопознанным. Однако тонкая, тщедушная фигурка, ноги-веретенца, торчавшие из-под плаща, и подслеповатые глазки, мигавшие над его верхними складками, так безошибочно выдавали в нем аптекаря, как если бы он прицепил спереди к шляпе свою вывеску. Неожиданная и крайне неприятная встреча повергла кузнеца в смятение. Изворотливость не была свойственна его прямому и смелому нраву; а зная этого человека как любопытного соглядатая и злостного сплетника, да к тому же издавна питавшего к нему особую неприязнь, оружейник подумал с надеждой лишь об одном исходе: может быть, почтенный аптекарь сам подаст ему повод пустить в ход кулаки — и тогда он свернет шею неприятному свидетелю и раз навсегда заткнет ему рот.

Но, увы, аптекарь не сделал и не сказал ничего, что могло бы оправдать такую чрезвычайную меру.

Напротив, столкнувшись с дюжим своим земляком так близко, что никак было не проскочить неузнанным, аптекарь решил по возможности сократить встречу, и, не показывая виду, что замечает в ее обстоятельствах что-либо странное, он, проходя мимо, даже не глянул на спутницу оружейника и лишь уронил небрежно такие слова:

— Еще раз веселого праздника тебе, храбрый Смит! Как! Ты ведешь с пристани свою кузину, милую миссис Джоэн Летам, и поклажу ее несешь... Значит, прямо из Данди? Я слышал от старого чеботаря, что ее ждут.

Говоря таким образом, аптекарь не смотрел ни влево, ни вправо, и, бросив беглое: «Будьте здоровы!» в ответ на такое же приветствие, которое Смит скорее буркнул, чем проговорил, он заскользил дальше, как тень, своею дорогой.

— Поймал-таки меня, чертов подлюга! — сказал Смит. — А я, хочешь не хочешь, проглотил его пилюлю, хоть и позолоченную. У мерзавца острый глаз на юбки. Он умеет отличить дикую уточку от домашней, как и всякий в Перте... Он меньше чем кто-либо другой в Славном Городе способен принять кислую сливу за грушу или мою дородную кузину Джоэн за эту фантастическую пташку. Понимай так — своим поведением он как бы сказал: «Я не вижу того, что ты хотел бы спрятать от меня». И правильно сделал, потому что он схлопочет себе крепкий удар по черепу, если станет соваться в мои дела... и, значит, он в собственных интересах будет молчать. Но кого еще сюда принесло?... Святой Дунстан!.. Хвастуна и пустобреха, этого зайца трусливого Оливера Праудфьюта!

В самом деле, следующим они повстречали отважного шапочника, который, сдвинув шапку набекрень и горланя песню:

Том, а Том, не сиди битый час над котлом!¹

ясно давал понять, что пообедал не всухую.

¹ Перевод С. Петрова.

— Ага, мой любезный Смит, — сказал он, — я тебя, выходит, захватил врасплох? Выходит, и верная сталь может согнуться?.. Может и Вулкан, как уверяют менестрели, отплатить Венере ее же монетой?.. Право слово, быть тебе весь год веселым Валентином, раз ты начал свой год так лихо!

— Послушай, Оливер, — сказал сердито Смит, — закрой глаза и ступай мимо, дружок. Да советую тебе, не болтай о том, что тебя не касается, если хочешь сохранить все зубы во рту.

— Чтобы я да болтал лишнее?.. Разносил бы сплетни, и о ком — о своем же брате вояке?.. Никогда себе не позволю!.. Ни словом не обмолвлюсь даже со своим деревянным султаном!.. Зачем? Я и сам не прочь повеселиться в укромном уголке. Знаешь, пойду-ка я с тобой! Зайдем куда-нибудь, пображничаем вместе, а твоя Далила споет нам песенку. Что, не худо я придумал?

— Превосходно! — сказал Генри, сам о том лишь мечтая, чтобы пристукнуть «своего брата вояку», но все же благоразумно избрав более мирный способ отвязаться от него. — Превосходно придумано!.. Мне, кстати, понадобится твоя помощь — вон, я вижу, идут пятеро или шестеро дугласцев... они непременно попробуют отбить девчонку у скромного горожанина вроде меня, так что я буду рад получить подмогу от такого удалыца, как ты.

— Благодарю... благодарю тебя, — ответил шапочник, — но не лучше ли мне побежать и распорядиться, чтоб забили тревогу, да прихватить свой большой меч?

— Да, да... беги со всех ног домой и не рассказывай ничего о том, что ты тут видел.

— Кому ты это — мне? Меня не бойся. Тьфу! Я презираю сплетников!

— Так иди же... Я слышу лязг оружия.

Под шапочником точно земля загорелась. Он мигом обратился спиной к несуществующей опасности и пустился прочь самым скорым шагом — Смит не сомневался, что он живо примчится домой.

«Придется иметь дело еще с одним языкастым дураком, — подумал кузнец. — Но на него у меня тоже заготовлен кляп. Есть у менестрелей притча про галку в чужих перьях, так Оливер и есть та самая галка, и, клянусь святым Дунстаном, если он станет болтать обо мне лишнее, я так из него повыдергаю перья, как ястреб никогда не ошипывал куропатку. И он это знает».

Пока эти мысли теснились в его голове, он почти достиг конца своего пути и с измученной певицей, чуть дышавшей от усталости и страха и все еще цеплявшейся за его плащ, добрался наконец до середины Уинда — переулка, в котором стояла его кузница и по которому при той неопределенности, с какой тогда присваивались фамилии, оружейник получил одно из своих прозваний.

Здесь во всякий день можно было видеть пылающий горн, и четверо полуголых молодцов оглушали округу стуком молота по наковальне. Но по случаю праздника святого Валентина молотобойцы заперли заведение и пошли по своим делам — помолиться и поразвлечься. Дом, примыкавший к кузнице, принадлежал Генри Смиту; и хотя самый дом был невелик и стоял в узкой улочке, зато за ним раскинулся большой сад с плодовыми деревьями, так что, в общем, он представлял собой приятное жилище. Кузнец не стал ни стучать, ни звать, боясь, что тогда все соседки кинутся к дверям и к окнам, а вынул из кармана собственного изготовления ключ от внутреннего замка — в то время завидная и редкая диковина — и, отперев дверь, провел спутницу в свой дом.

Помещение, куда вошли Генри с бродячей певицей, представляло собою кухню, служившую у людей одного со Смитом состояния также и столовой, хотя кое у кого, как, например, у Саймона-перчаточника, обедали в особой комнате, а не там, где шла стряпня. В углу этого помещения, прибранного с необычайным пристрастием к чистоте, сидела старуха, которую по ее опрятному платью и по тому, как ровно была накинута ее пунцовая шаль, спадавшая с головы на плечи, можно было принять и за более важную особу,

чем ключницу Смита. Но именно в этом, и ни в чем другом, было жизненное назначение Лакки Шулбред. Утром ей так и не пришлось побывать у обедни, а сейчас она удобно расположилась у очага, и с левой ее руки свешивались до половины перебранные четки; прочтенная до половины молитва замирала на ее губах; ее полузакрытые глаза боролись с дремотой, пока она ждала, когда вернется ее питомец, и гадала в недоумении, к которому же часу он явится домой. Она вскочила, услышав, что он вошел, и остановила на его спутнице взгляд, выразивший поначалу крайнее удивление, а затем изрядную досаду.

— Святые да благословят ныне зеницу глаз моих, Генри Смит! — провозгласила она с глубокой набожностью.

— От всего сердца — аминь! Подай нам поскорее, добрая няня, чего-нибудь поесть, потому что бедная скиталица, боюсь я, обедала совсем не плотно.

— И снова я прошу: да охранит богородица глаза мои от злого наваждения сатаны!

— Да будет так, скажу тебе и я, добрая женщина. Но что толку в твоём бормотании и молениях? Ты меня не слышишь? Или не хочешь делать что приказано?

— Значит, это он... он как есть! Но горе мне! Это все-таки дьявол в его обличье — а то с чего бы виснуть у него на плаще какой-то девке?.. Ох, Гарри Смит, и не за такие штуки люди называли тебя непутевым парнем! Но кто бы мог подумать, что Гарри приведет случайную полюбовницу под кров, где жила его достойная мать и где тридцать лет живет его няня!

— Успокойся, старая, и образумься, — сказал Смит. — Эта музыкантша никакая не полюбовница — ни моя и ничья, насколько мне известно. Она с первым кораблем отправляется в Данди, и мы должны приютить ее до утра.

— Приютить! — повторила старуха. — Можешь сам приютить этакую скотинку, если тебе угодно, Гарри Уинд, но я не стану ночевать в одном доме с негодной девкой, уж будь покоен,

— Ваша мать на меня рассердилась, — сказала Луиза, не поняв, кто они друг другу. — Я не хочу оставаться здесь, если это для нее оскорбительно. Нет у вас при доме конюшни или хлева? Пустое стойло отлично послужит спальней для нас с Шарло.

— Именно! Я думаю, к такой спальне ты больше всего и привыкла, — подхватила тетушка Шулбред.

— Послушай, няня Шулбред, — сказал кузнец, — ты знаешь, как я тебя люблю и за твою доброту и в память моей матери, но клянусь святым Дунстаном, который занимался одним со мной ремеслом, в своем доме я сам хочу быть хозяином; и если ты уйдешь от меня, не имея к тому других оснований, кроме своих нелепых подозрений, то уж измышляй потом сама, как ты откроешь дверь, когда вернешься, потому что от меня тебе помощи не будет, так и знай!

— Хорошо, мой мальчик, но все-таки я не осрамлю свое честное имя, которое ношу вот уж шестьдесят лет. Мать твоя того себе не позволяла, не позволяю себе и я водить компанию с горлодерами, да фокусниками, да певицами; и уж не так мне трудно будет найти себе жилье, чтобы оставаться под одною крышей с такой вот бродячей принцессой.

С этими словами строптивая домоправительница принялась поспешно налаживать для выхода свою тартановую накидку, пытаясь надвинуть ее вперед, чтоб не было видно под ней белого полотняного чепца, края которого обрамляли ее изрезанное морщинами, но все еще свежее, со здоровым румянцем лицо. Управившись с этим, она взяла в руки палку, свою верную подругу в странствиях, и двинулась к двери, когда Смит заступил ей дорогу:

— погоди, старая, дай хоть с тобою рассчитаться. Я немало должен тебе за службу — жалованье, награды.

— И взбретет же в твою глупую голову! Какое жалованье и награды могу я принять от сына твоей матери, которая кормила меня, одевала и обучала, как сестру родную!

— И так-то ты платишь ей, няня, за добро — покидаешь ее единственного сына в час нужды!

Тут, видно, в упрямой старухе заговорила совесть. Она остановилась и посмотрела на своего хозяина, на девушку-менестреля, опять на хозяина, потом покачала головой и, кажется, решила все-таки направиться к выходу.

— Я принял эту бедную странницу под свой кров только для того, — уговаривал Смит, — чтобы спасти ее от тюрьмы и плетей.

— А зачем тебе понадобилось ее спасать? — сказала неумолимая тетушка Шулбред. — Уж верно, она заслужила и то и другое, как вор заслуживает пенного воротника.

— Не знаю, может да, может нет. Но уж никак она не заслужила, чтоб ее засекли насмерть или заморили голодом в тюрьме, а таков удел каждого, на кого пала злоба Черного Дугласа.

— А ты идешь наперекор Черному Дугласу ради бродяжки-потешницы? Да это же будет самой скверной из твоих ссор... Ох, Генри Гоу, лоб у тебя покрепче, чем железо твоей наковальни!

— Я иногда сам так думаю, миссис Шулбред; но ежели я получу два-три пореза в этом новом споре, кто, спрошу я, будет мне лечить их, когда ты от меня сбежишь, как испугнутый дикий гусь? А еще спрошу, кто примет в дом мою молодую жену, которую я надеюсь привести на этих днях к нам в Уинд?

— Ах, Гарри, Гарри, — сказала, покачивая головой, старуха, — так ли честный человек готовит дом к приему новобрачной? Тебе нужно вступить на тропу скромности и благоприличия, а не распутства и буйства.

— Опять говорю тебе: эта несчастная женщина для меня ничто. Я только хочу уберечь ее от опасности; а я думаю, самый храбрый наглец из пограничной полосы, когда попал он в Перт, не меньше питает почтения к запору на моей двери, чем там, у себя, к воротам замка Карлайль. Я иду к Гловерам... возможно, там и заночую, потому что этот мальчишка, волчья кровь, сбежал обратно в горы, как сущий волчонок, так что у них есть сейчас свободная кровать

и добрый Саймон будет рад предоставить ее мне. Ты останешься с этой бедняжкой, накормишь ее и возьмешь под свое крыло на эту ночь, а я зайду за нею до рассвета. Если хочешь, можешь сама проводить нас и на пристань, где я расстанусь с ней, так и не побыв ни минуты с глазу на глаз.

— Говоришь ты как будто толково, — сказала тетушка Шулбред, — хоть мне и невдомек, почему ты не боишься замарать свое доброе имя ради девчонки, которая без хлопот нашла бы себе ночлег за два пенса серебром, если не дешевле.

— В этом положиись на мое слово, старая, и будь добра к девчонке.

— Уж поверь, добрее буду, чем она заслуживает; и, право, хоть и не рада я сидеть с такой тварью, все-таки мне от этого, я думаю, меньше будет вреда, чем тебе, если только она на самом деле не ведьма, что очень вероятно, потому что дьявол куда как силен над всем бездомным сбродом.

— Она такая же ведьма, как я колдун! — сказал честный Смит. — Просто бедная девушка с разбитым сердцем... Если она совершила что дурное, ей пришлось хлебнуть за это вдосталь горя. Будь к ней добра. А ты, моя музыкантша... я завтра утром зайду за тобой и поведу тебя на пристань. Старушка обойдется с тобой по-хорошему, если ты не станешь говорить ничего такого, чего не говорят при порядочной женщине.

Бедная странница слушала их разговор, понимая только его общий смысл; потому что, хотя она и хорошо говорила по-английски, однако этот язык она усвоила в самой Англии, а северное наречие и тогда, как и ныне, было резче на слух, и гласные звучали в нем более открыто. Все же она поняла, что ее оставляют со старой дамой, и, кротко скрестив руки на груди, со смирением склонила голову. Потом она посмотрела на кузнеца с выражением искренней признательности и, устремив глаза ввысь, схватила его руку и хотела, видно, в порыве глубокой и страстной благодарности поцеловать его жилистые пальцы. Но тетушка Шулбред не дала ей выразить свои чувства на

чужеземный лад. Она встала между ними и, отпихнув в сторону несчастную Луизу, сказала:

— Нет, нет, ничего такого я не допущу! Ступай в запечье, сударыня, а когда Гарри Смит уйдет, тогда, если тебе так уж надобно целовать руки, можешь сколько угодно целовать их мне... Ты же, Гарри, беги к Симу Гловеру, а то, если мисс Кэтрин прослышит, кого ты привел в свой дом, ей это, пожалуй, так же не понравится, как и мне... Ну, еще что?.. С ума сошел человек! Никак ты собрался идти без щита, когда весь город взбудоражен?

— Ты права, женщина, — сказал оружейник и, закинув щит за свои широкие плечи, поспешил уйти из дому, пока не возникли новые помехи.

Г л а в а XIII

Как в сердце ночи резок и криклив
Лихой волынки звонкий перелив!
И снова горцам радость битв

желанна:

В них доблесть дышит, память
пробудив

О мятежах бурливых неустанно .

Байрон 1

Пора нам расстаться с менее значительными участниками нашей исторической драмы и проследить, что тем временем происходило среди лиц более высоких и влиятельных.

Перейдем из дома оружейника в зал королевского совета и вернемся к тому часу нашего повествования, когда шум во дворе улегся и разгневанные предводители двух враждующих сторон были призваны предстать пред лицом короля. Они вошли, досадуя и сумрачно косясь друг на друга, настолько поглощенные мыслями о своих обидах, что оба были равно не склонны и не способны к разумному обсужде-

¹ Перевод Г. Шенгели.

нию вопросов. Один Олбени, спокойный и ловкий, казалось, приготовился извлечь выгоду для себя из их обоюдного недовольства и, что бы ни произошло, все использовать для приближения к своей далекой цели.

Хотя нерешительность короля и граничила с робостью, она не мешала ему принять внушительный вид, какой подобал монарху. Только под давлением тяжелых обстоятельств, как мы видели в предшествующей сцене, он мог утратить видимость самообладания. Вообще же его можно было без труда отклонить от его намерений, но не так легко бывало вынудить его расстаться с достойной осанкой. Он принял Олбени, Дугласа, Марча и приора (этих так плохо подходящих друг к другу членов своего пестрого совета) с той любезностью и величием, которые напоминали каждому из надменных пэров, что он стоит пред своим сувереном, и призывали их к должной почтительности.

Приняв их приветствия, король знаком пригласил их сесть, и, когда они усаживались, явился Ротсей. Принц грациозно подошел к отцу и, став на колени у его скамеечки для ног, попросил благословения. Роберт с плохо скрытой нежностью и печалью попробовал, возлагая руку на голову юноши, придать своему лицу выражение укоризны и сказал со вздохом:

— Да благословит тебя бог, мой легкомысленный мальчик, и да придаст он тебе мудрости на будущие годы.

— Аминь, дорогой мой отец! — ответил Ротсей с глубоким чувством, какое нередко прорывалось у него в счастливые минуты.

Затем с почтительностью сына и вассала он поцеловал руку короля и, поднявшись, не сел среди участников совета, а стал немного сбоку, за королевским креслом, таким образом, что мог, когда захотел бы, шептать на ухо отцу.

Король пригласил настоятеля доминиканцев занять место за столом, где были разложены письменные принадлежности, которыми, если не считать Олбени, из всех присутствующих умел пользоваться один

лишь церковник.¹ Затем король объяснил цель заседания, сказав с большим достоинством:

— Нам предстоит, милорды, заняться теми несчастными несогласиями в Верхней Шотландии, которые, как мы узнали из последних донесений наших посланцев, грозят разором и опустошением стране, лежащей в нескольких милях от места, где стоит сейчас наш двор. Но, как будто мало этого несчастья, наша злая судьба и подстрекательство дурных людей вызвали вдобавок смуту совсем близко от нас, подняв раздор и распрю между гражданами Перта и слугами, которых привели с собою вы, милорды, и другие наши бароны и рыцари. Поэтому в первую очередь, господа, я попрошу вас обсудить, почему наш двор тревожат такие непристойные ссоры и какими средствами следует их унять. Брат Олбени, может быть, вы первый выскажете нам ваши соображения по этому вопросу?

— Сэр, наш царствующий суверен и брат! — начал герцог. — Я находился при вашем величестве, когда завязалась драка, и мне неизвестно, как она возникла.

— Я же могу доложить, — сказал принц, — что не слышал более грозного военного клича, нежели баллада странствующей певицы, и не видел более опасных метательных снарядов, чем орехи.

— А я, — добавил граф Марч, — разглядел только одно: brave молодые из пертских горожан гнались за какими-то озорниками, самовольно нацепившими на плечи знак кровавого сердца. Они удирали так быстро, что, конечно же, не могли принадлежать к людям графа Дугласа.

Дуглас понял насмешку, но в ответ только бросил испепеляющий взгляд, каким имел обыкновение

¹ Надо признать, что мистер Кристел Крофтэнгри, высказывая это положение, упускает из виду ту характеристику, которую дает Ротсею настоятель Лохливленского монастыря:

Хорош собою, и притом
Он со словесностью знаком.

(Прим. автора.)

выражать смертельную обиду. В речи своей он сохранил, однако, надменное спокойствие.

— Моему государю, — сказал он, — конечно, известно, что отвечать на это тяжкое обвинение должен не кто иной, как Дуглас: когда же так бывало, чтобы в Шотландии происходила драка или кровопролитие и злые языки не очернили кого-либо из Дугласов или слуг Дугласа, назвав их зачинщиками? В данном случае имеются надежные свидетели. Я говорю не о милорде Олбени, который сам сейчас заявил, что он, как ему подобает, находился при вашей милости. И я ничего не скажу о милорде Ротсее, который сообразно своему положению, возрасту и разумению шелкал орешки с бродячей музыкантшей... Он улыбается. Что ж, как ему будет угодно... Я не забываю о тех узах, о которых сам он, видимо, забыл. Но мы слышали еще милорда Марча, который видел, как мои люди бежали перед пертским мужичьем! Могу объяснить графу, что воины Кровавого Сердца идут в наступление или отступают, когда им так приказывает их военачальник и когда этого требует благополучие Шотландии.

— На это я отвечу!.. — воскликнул столь же гордый Марч, и кровь бросилась ему в лицо.

Но король его перебил:

— Тише, лорды! Уймите ваш гнев и вспомните, в чьем присутствии вы находитесь!.. А вы, милорд Дуглас, разъясните нам, если можете, из-за чего возник беспорядок и почему ваши воины, чьи добрые заслуги мы всегда готовы признать, так рьяно ввязались в уличную драку.

— Повинуюсь, милорд, — сказал Дуглас, чуть опустив голову, которую редко склонял. — Я с немногими из моей обычной свиты следовал от картезианского монастыря, где я стою, по Хай-стрит, когда увидел толпу горожан самого низкого разбора, собравшуюся вокруг креста, к которому было прибито объявление, а в приложение к нему — вот это.

Он извлек из нагрудного кармана лист пергамента и отрубленную человеческую руку. Король был возмущен и взволнован.

— Прочтите, добрый отец настоятель, — сказал он, — а эту страшную вещь пусть уберут с наших глаз. Аббат прочитал объявление, гласившее:

— «Поскольку дом одного из граждан Перта минувшей ночью, в канун дня святого Валентина, подвергся нападению со стороны неких бесчинствующих ночных гуляк из числа пришлых людей, пребывающих в настоящее время в Славном Городе, и поскольку сия рука была отсечена в последовавшем сражении у одного из негодяев, нарушивших закон, мэр и члены магистрата распорядились, чтобы она была прибита к кресту на позор и посмеяние тем, кто учинил оный беспорядок. И если кто-либо рыцарского звания скажет, что этим мы совершаем неправильный поступок, я, Патрик Чартерис из Кинфонса, рыцарь, приму вызов и выйду к барьеру в рыцарском вооружении; или если человек более низкого рождения станет оспаривать сказанное здесь, с ним выйдет сразиться один из граждан Славного Города Перта. И да возьмут Славный Город под защиту свою бог и святой Иоанн!»

— Вас не удивит, милорд, — продолжал Дуглас, — что, когда мой раздатчик милостыни прочитал мне эту дерзкую писанину, я велел одному из своих оруженосцев сорвать трофей, столь унижительный для рыцарства и знати Шотландии, после чего кто-то из этих зазнавшихся горожан позволил себе с гиканьем и руганью обрушиться на арьергард моей свиты. Воины повернули своих коней, напустились на мерзавцев и быстро уладили бы ссору, если бы я не отдал прямой приказ следовать за мной — в той мере мирно, в какой это допустит подлая чернь. Так случилось, что мои люди явились сюда в обличье бегущих от преследования, тогда как, прикажи я им отразить силу силой, они могли бы подпалить с четырех концов этот жалкий городишко, и дерзкие горлопаны задохлись бы в дыму, как злые лисята в норе, когда кругом жгут дрок.

Дуглас закончил свою речь среди глубокого молчания. Наконец герцог Ротсей ответил, обратившись к отцу.

— Так как граф Дуглас властен всякий раз, как повздорит с мэром из-за ночного разгула или вызова на поединок, подпалить город, где стоит двор вашего величества, я полагаю, мы все должны его благодарить, что до сих пор он не соизволил этого сделать.

— У герцога Ротсея, — сказал Дуглас, решив, как видно, не давать воли своему крутому нраву, — есть основания благодарить небо не в таком шутливом тоне, как сейчас, за то, что Дуглас не только могуществен, но и верен. Наступило время, когда подданные во всех странах восстают против закона. Мы слышали о мятежниках Жакерии во Франции; о Джеке Соломинке, о Хобе Миллере и пасторе Болле среди южан; и можно не сомневаться, хватит горючего и у нас, чтоб разгорелся пожар, если огонь дойдет до нашей границы. Когда я увижу, что мужичье бросает вызов благородным рыцарям и прибивает руки дворян к городскому кресту, я не скажу, что боюсь мятежа, потому что им меня не напугать, но я его предвижу и встречу в боевой готовности.

— А почему милорд Дуглас утверждает, — заговорил граф Марч, — будто вызов брошен мужичьем? Я вижу здесь имя сэра Патрика Чартериса, а он, полагаю, отнюдь не мужичьей крови. Дуглас и сам, если он так горячо принимает это к сердцу, мог бы, не запятнав своей чести, поднять перчатку сэра Патрика.

— Милорд Марч, — возразил Дуглас, — должен бы говорить лишь о том, в чем он достаточно смыслит. Я не окажу несправедливости потомку Красного Разбойника, если заявлю, что он слишком ничтожен, чтобы тягаться с Дугласом. Наследнику Томаса Рэндолфа более пристало принять его вызов.

— Скажу по чести, за мною дело не станет! Я приму любой вызов, не спрашивая ни у кого позволения, — ответил граф Марч, стягивая перчатку с руки.

— Стойте, милорд, — вмешался король. — Не наносите нам столь грубого оскорбления, доводя здесь свой спор до кровавой развязки. А раз уж вы

обнажили руку, лучше протяните ее дружески благородному графу и обнимитесь с ним в знак обоюдной вашей преданности шотландской короне.

— Нет, государь, — ответил Марч. — Ваше величество можете повелеть мне вновь надеть ратную рукавицу, ибо она, как и все мое оружие, находится в вашем распоряжении, пока мое графство еще подвластно короне Шотландии, но Дугласа я могу заключить только в стальные объятия. Прощайте, государь. Вы не нуждаетесь в моих советах, мало того — они принимаются так неблагосклонно, что для меня, пожалуй, и небезопасно оставаться здесь долее. Бог да хранит ваше величество от явных врагов и неверных друзей! Я отправляюсь в свой замок Данбар, откуда к вам, я думаю, скоро поступят вести. Прощайте и вы, милорды Олбени и Дуглас; вы ведете большую игру, ведите же ее честно... Прощайте, мой бедный безрассудный принц, резвящийся, как молодой олень подле притаившегося тигра!.. Прощайте все. Джордж Данбар видит зло, но не может его исправить. Оставайтесь с богом!

Король хотел заговорить, но Олбени строго взглянул на него, и слова замерли на его устах. Граф Марч оставил зал с молчаливого согласия членов совета, которые поочередно кланялись ему без слов по мере того, как он обращался к каждому в отдельности, — все, кроме одного Дугласа, ответившего на его прощальную речь презрительным и вызывающим взглядом.

— Жалкий трус побежал предавать нас южанам, — сказал он. — Он только тем и горд, что ему принадлежит приморское владение,¹ через которое англичане могут проникнуть в Лотиан... Не тревожьтесь, государь, я тем не менее исполню все, что взял на себя... Еще не поздно. Скажите только слово, государь, скажите: «Схвати его!», и Марч не выйдет за пределы Эрна, а его измена будет пресечена.

— Нет, любезный граф, — сказал Олбени, которому нужно было, чтобы два могущественных лорда

¹ Замок Данбар. (Прим. автора.)

противостояли друг другу, но так, чтобы ни один не брал верх над другим, — вы даете нам слишком поспешный совет. Граф Марч явился сюда по приглашению короля с гарантией неприкосновенности, и ее нельзя нарушить без урона для чести моего царственного брата. Однако если вы, милорд, можете привести убедительные доказательства...

Их перебило громкое пение труб.

— Его милость герцог Олбени сегодня необычайно щепетилен, — сказал Дуглас. — Но не стоит понапрасну пререкаться, поздно: это трубы Марча, и поручусь вам, он, как только минет Южные ворота, помчится стрелой. Мы скоро услышим о нем, и, если оправдаются мои расчеты, изменник встретит отпор, хотя бы вся Англия оказала ему поддержку в его предательстве.

— Нет, будем надеяться на лучшее, мой благородный граф, — сказал король, довольный, что в споре между Марчем и Дугласом, по-видимому, забылась распря между Ротсеем и его тестем. — У него горячий нрав, но он не злобен... Кое в чем с ним поступили... я не сказал бы — несправедливо, но... вопреки его ожиданиям, и можно кое-что извинить человеку благородной крови, когда он оскорблен и к тому же сознает свою большую силу. Но, слава богу, мы все, оставшиеся здесь, единодушны и составляем, можно сказать, одну семью; так что по крайней мере нашему совету теперь не помешают никакие разногласия. Отец настоятель, прошу вас, возьмитесь за перо, потому что вам, как всегда, придется быть нашим секретарем. Итак, приступим к делу, милорды, и в первую голову рассмотрим вопрос о неурядице в Горной Стране.

— Речь идет о разладе между кланами Хаттан и Кухил, — сказал приор, — который, как извещают нас последние донесения от наших братьев в Данкелде, чреват более страшной войной, чем та, что уже идет между сынами Велиала, которые грозят стереть друг друга с лица земли. Каждая из сторон собирает свои силы, и каждый, кто притязает на принадлежность к племени хоть по десятой степени родства, должен

стать под браттах¹ своего рода или подвергнуться каре огнем и мечом. Огненный крест пронесся, как метеор, во все концы и пробудил дикие и неведомые племена за далеким Мерри-Фритом... Да защитят нас господь и святой Доминик! Но если вы, милорды, не изыщите средства от зла, оно распространится во всю ширь, а наследные владения церкви будут отданы повсюду на разграбление свирепым амалекитянам, которые так же чужды благочестия, как жалости или любви к ближнему. Огради нас, пречистая!.. Как мы слышали, иные из них — доподлинные язычники и поклоняются Магаунду и Термаганту.

— Милорды и родственники, — сказал Роберт, — вы знаете теперь, какое это важное дело, и, может быть, хотели бы услышать мое мнение перед тем, как изложить то, что вам подсказывает ваша собственная мудрость. Скажу по правде, ничего лучшего я не надумал, как послать туда двух наших представителей с полномочием уладить все, какие там имеются, разногласия между кланами; и пусть они в то же время объявят сторонам, что всякий, кто не сложит оружия, ответит пред законом, и строго возбранят им применять друг против друга всякие насильственные меры.

— Я одобряю предложение вашего величества, — сказал Ротсей. — Думаю, наш добрый приор не откажется взять на себя почетную обязанность вашего королевского посланника с полномочиями миротворца. Той же чести должен домогаться и его досточтимый брат, настоятель картезианского монастыря, — чести, которая, несомненно, прибавит двух видных новобранцев к несметной армии мучеников, ибо горцы не станут слишком уважать в особе вашего посланника духовное лицо и обойдутся с ним как с мирянином.

— Мой царственный лорд Ротсей, — сказал приор, — если мне суждено принять благословенный венец мученика, я, несомненно, получу указание свыше,

¹ Зная, буквально — полотнище. Нижнешотландский язык еще сохраняет слово *brat*, которое, однако, применяется теперь только для обозначения детского фартучка или грубого полотенца. Вот до какого низкого применения могут опуститься слова! (Прим. автора.)

какой стезей мне идти, чтобы достигнуть его. Все же, если вы говорите это в шутку, да простит вас всевышний и да просветлит ваш взор, позволив вам узреть, что куда достойней облачиться в броню и стать на страже владений церкви, над коими нависла столь опасная угроза, чем изощрять свой ум, высмеивая ее священников и служителей.

— Я никого не высмеиваю, отец приор, — отвечал, позевывая, юноша, — и не так уж неохотно облачаюсь в броню... Только она — довольно стеснительное одеяние, и в феврале месяце плащ на меху больше соответствует погоде, чем стальные латы. И у меня тем меньше охоты напяливать на себя в такой мороз холодные доспехи, что если бы церковь решила снарядить туда отряд своих угодников (а среди них нашлись бы и уроженцы Горной Страны, несомненно привычные к тамошнему климату), они отлично могли бы сражаться за свое дело, как веселый святой Георгий Английский. Но почему-то мы частенько слышим о чудесах, которые они вершат, когда их умилоствуют, и о карах, посылаемых ими, если кто посягнет на их земли, и это им служит основанием для того, чтоб расширять свои владения за счет щедрых дарителей. Но когда появится ватага горцев в двадцать человек, тут церковная братия не спешит ополчиться, а должен препоясаться мечом какой-нибудь барон, дабы помочь церкви удержать за собою те земли, которые он сам же ей пожаловал, и должен сражаться за них так ревностно, как если бы он все еще пользовался доходами от этих земель.

— Сын мой Давид, — сказал король, — ты чрезмерно распустил язык.

— Нет, нет, сэр, я нем, — ответил принц. — Я отнюдь не хотел огорчить ваше величество или задеть отца настоятеля, который, располагая чудодейственной силой, почему-то не желает встретиться лицом к лицу с горсточкой разбойных горцев.

— Мы знаем, — подавив негодование, сказал приор, — кем внушены эти возмутительные речи, которые мы с ужасом слышали сейчас из уст королевского сына! Когда принцы общаются с еретиками,

порча переходит и на них, и это сказывается равно на их поведении и образе мыслей. Они появляются на улицах в компании с комедиантами и девками, а в королевском совете глумятся над церковью и святыней.

— Успокойтесь, святой отец! — сказал король. — Ротсей принесет искупительные дары за свои праздные речи. Увы! Мы должны дружески вести совет, а не ссориться, подобно мятежной команде моряков на тонущем судне, когда каждый пускается в споры с другими и не старается помочь растерявшемуся капитану в его усилиях спасти корабль... Милорд Дуглас, не часто ваш дом держался в стороне, когда корона Шотландии ждала от вас мудрого совета или доблестного подвига. Надеюсь, вы нам подадите помощь в этих затруднительных обстоятельствах?

— Я только дивлюсь, что они так для вас затруднительны, милорд, — ответил высокомерный Дуглас. — Когда управление государством было возложено на меня, так же вот случалось, что кое-какие из этих диких кланов спускались с Грэмпианских гор. Я не беспокоил этим делом совет, а просто приказывал шерифу, лорду Рутвену, сесть на коня и двинуться против них с силами Карса — с Хэями, Линдсеями, Огилви и другими владетелями. Клянусь святою Брайдой, когда под суконным плащом скрыт стальной кафтан, воры знают, чего стоят копы и есть ли у мечей лезвия. Человек триста этих бездельников, и среди них их вождь Доналд Кормак, сложили головы на Терновом болоте¹ и в Рохинройском лесу; и столько же их вздернули в роще Висельников — место так и названо, потому что там хватило работы палачу. Вот как расправляются с ворами в моей стране. И если более мягкие средства скорее могут утихомирить этих пограничных разбойников, не корите Дугласа, что он откровенно высказал свое мнение... Вы улыбаетесь, милорд Ротсей? Могу ли я спросить, почему вы вторично избираете меня предметом шутки,

¹ Существует мнение, что эта битва произошла не ранее 1443 года. (Прим. автора.)

когда я еще не ответил на первую, отпущенную вами на мой счет?

— Не гневайтесь, мой добрый лорд Дуглас, — ответил принц, — я улыбнулся лишь при мысли о том, как поредеет ваша величественная свита, если мы со всеми ворами станем расправляться, как расправились в роще Висельников с теми несчастными горцами.

Король снова вмешался, вынудив графа воздержаться от гневного ответа.

— Ваша светлость, — сказал он Дугласу, — вы мудро советуете нам довериться оружию, когда эти люди выступят против наших подданных на открытом и ровном поле; но задача в том, как нам прекратить их буйство, когда они вновь укроются в своих горах. Я не должен говорить вам, что клан Хаттан и клан Кухил — это два больших союза многочисленных племен, которые объединились в каждом из них, чтобы сообща держаться против других, и что в последнее время между кухилами и хаттанами шла распря, всякий раз приводившая к кровопролитию, где и как они бы ни сталкивались, в одиночку или ватагами. Весь край истерзан их непрерывными раздорами.

— Не вижу, чем это плохо, — сказал Дуглас. — Разбойники примутся уничтожать друг друга, и чем меньше останется в Горной Стране людей, тем больше в ней разведется оленей. Как воинам нам будет меньше работы, зато мы выгадаем как охотники.

— Скажите лучше: чем меньше останется людей, тем больше разведется волков, — поправил король.

— И то не худо, — сказал Дуглас. — Лучше лютые волки, чем дикие катераны. Будем держать большие силы на Ирской границе, чтобы отделить тихую страну от беспокойной. Не дадим пожару междоусобицы перекинуться за пределы Горной Страны. Пусть он там и растратит свою необузданную ярость и быстро отгорит за недостатком горючего. Кто выживет, тех мы легко усмирим, и они станут покорней угождать малейшему желанию вашей милости, чем когда-либо их отцы или живущие ныне мерзавцы подчинялись самым строгим вашим приказам.

— Разумный, но безбожный совет, — сказал настоятель и покачал головой. — Я не возьму на свою совесть поддержать его. Мудрость — да, но мудрость Ахитофеля: хитро и вместе с тем жестоко.

— То же говорит мне мое сердце, — сказал король, положив руку на грудь. — Оно говорит, что в день Страшного суда у меня будет спрошено: «Роберт Стюарт, где подданные, которых я дал тебе?» Оно мне говорит, что я должен буду держать ответ за них за всех — саксов и гэлов, жителей Низины, и Горной Страны, и пограничной полосы; что спросится с меня не только за тех, кто обладает богатством и знанием, но и за тех, кто стал разбойником через бедность свою и мятежником — через невежество.

— Ваше величество говорит как король-христианин, — сказал настоятель. — Но вам вручен не только скипетр, но и меч, а это зло таково, что исцелить его должно мечом.

— Послушайте, милорды, — сказал принц, вскинув глаза с таким видом, точно вдруг ему пришла на ум забавная мысль, — а что, если нам научить этих диких горцев рыцарскому поведению? Не так уж трудно было бы убедить их двух великих главарей — предводителя клана Хаттан и вождя не менее доблестного клана Кухил — вызвать друг друга на смертный бой! Они могли бы сразиться здесь, в Перте... Мы снабдим их конями и оружием. Таким образом, их ссора закончится со смертью одного из этих двух негодяев или, возможно, обоих (думаю, они оба сломят себе шею при первом же наскоке); исполнится благочестивое желание моего отца предотвратить излишнее кровопролитие, а мы все получим удовольствие полюбоваться поединком между двумя неукротимыми рыцарями, впервые в жизни натянувшими на себя штаны и воссевшими на коней. О подобном не слышал мир со времен короля Артура!

— Постыдись, Давид! — сказал король. — То, что является бедствием для твоей родной страны и чем озабочен наш совет, для тебя — предмет острословия!

— Извините меня, мой король и брат, — сказал Олбени, — мне думается, хотя принц, мой племянник,

изложил свою мысль в шутиливом тоне, из нее можно извлечь кое-что такое, что даст нам средство предотвратить грозящую беду

— Добрый брат мой, — возразил король, — нехорошо так глумиться над легкомыслием Ротсея, подхватив его неуместную шутку. Мы знаем, что кланы Горной Страны не следуют нашим рыцарским установлениям и нет у них обычая разрешать спор поединком, как требуют того законы рыцарства.

— Верно, ваша милость, — ответил Олбени. — И все же я не шучу, а говорю вполне серьезно. Да, у горцев нет нашего обычая сражаться на арене, но есть у них другие формы борьбы, не менее смертоносные. Лишь бы игра шла на жизнь и смерть — не все ли равно, будут ли сражаться эти гэлы мечами и копьями, как подобает истинным рыцарям, или мешками с песком, как безродные парни в Англии, или же пырять друг друга ножами и кинжалами на свой варварский манер? Их обычай, как и наш, предоставляет исходу боя разрешить все споры. Они столь же тщеславны, сколь жестоки, и мысль, что им дадут сразиться в присутствии вашей милости и вашего двора, покажется для обоих кланов такой соблазнительной, что они, конечно, согласятся поставить на жребий все свои разногласия (они пошли бы на это, даже если бы подобного рода грубый суд был и вовсе чужд их обычаю) и позволят нам установить число участников боя по нашему усмотрению. Нужна осторожность: допуская их приблизиться ко двору, мы должны создать такие условия и настолько ограничить численность бойцов, чтобы они не могли напасть врасплох на нас самих; если же эта опасность будет исключена, то чем больше мы допустим с обеих сторон бойцов, чем больший урон понесут горцы (и заметьте — за счет своих самых отважных и беспокойных воинов), тем вернее можно будет рассчитывать, что на некоторое время Горная Страна утихомирится.

— Ты предлагаешь кровавую политику, брат, — сказал король. — Я опять скажу, что совесть моя не мирится с убийственной бойней среди полудиких

людей, которые недалеко ушли от погруженных во мрак язычников.

— Но разве их жизни дороже, — возразил Олбени, — чем жизни тех знатных рыцарей и дворян, которым с разрешения вашей милости так часто дозволяется сразиться на арене — для того ли, чтобы рассудить, кто прав, кто виноват, или просто для стяжания славы?

Под таким нажимом королю трудно было возражать против обычая, глубоко укоренившегося в быту страны и законах рыцарства, — обычая разрешать споры боем. Он только сказал:

— Видит бог, если я когда и допускал кровопролитие, на каком ты настаиваешь сейчас, то всякий раз содрогался при этом душой; и каждый раз, когда я видел, как люди вступают в бой «до первой крови», я испытывал желание, чтобы моя собственная кровь пролилась ради их примирения.

— Но, милостивый мой господин, — сказал приор, — если мы не последуем той политике, какую подсказывает милорд Олбени, нам придется, по-видимому, прибегнуть к политике Дугласа. И что же? Поставив наше дело в зависимость от сомнительного исхода боев и неизбежно пожертвовав жизнями многих добрых подданных, мы лишь свершим мечами Нижней Шотландии то самое, что иначе дикие горцы свершили бы над собою своею собственной рукой. Что скажет милорд Дуглас о политике его светлости герцога Олбени?

— Дуглас, — сказал высокомерный лорд, — никогда не посоветует сделать хитростью то, чего можно достичь прямою силой. Он остается при своем мнении и согласен выступить в поход во главе своих собственных вассалов и тех людей, каких могут выставить бароны Пертшира и Карса; и либо он образумит этих горцев и приведет их к покорности, либо ляжет костями среди диких скал.

— Благородные слова, милорд Дуглас! — сказал Олбени. — Король может с уверенностью положиться на твое бесстрашное сердце и на отвагу твоих храбрых приспешников. Но разве ты не видишь, что

скоро придется тебя отозвать и направить туда, где твое присутствие и служба решительно необходимы Шотландии и ее государю? Разве ты не заметил, каким мрачным тоном безрассудный Марч объявил, что его приверженность и верность нашему суверену, здесь присутствующему, ограничена лишь тем временем, пока он остается вассалом короля Роберта? И разве вы сами не высказали подозрения, что он замышляет перекинуться на службу Англии?.. С горными кланами могут вести бои и другие вожди, менее могущественные, менее прославленные; но если Данбар откроет нашу границу мятежным Перси и их сообщникам англичанам, кто их отгонит, пока Дуглас будет в другом месте?

— Мой меч, — ответил Дуглас, — равно готов нести службу его величеству как на границе, так и в сердце Горной Страны. Мне и раньше доводилось видеть спины гордого Перси и Джорджа Данбара, могу увидеть еще раз. И если королю угодно, чтобы я принял меры против возможного объединения иноземцев с изменником, — что ж, чем доверять не столь сильной и значительной руке важную задачу усмирения горцев, я склонен скорее высказаться в пользу политики Олбени: пусть и впрямь эти дикари изрубят друг друга, избавив баронов и рыцарей от труда гоняться за ними в горах.

— Милорд Дуглас, — сказал принц, решив, как видно, не упускать ни единого случая позлить своего высокомерного тестя, — не желает оставить нам, уроженцам Низины, даже те жалкие крохи чести, какие могли бы мы собрать за счет мужичья из горных кланов, покуда он со своими пограничными рыцарями будет пожинать лавры победы над англичанами. Но если Дуглас видел чьи-то спины, видывал их и Перси; и мне случалось слышать о таких великих чудесах: пошел человек за шерстью, а домой пришел остриженный.

— Оборот речи, — сказал Дуглас, — вполне приличествует принцу, который говорит о чести, прицепив к шляпе вместо ленты сумку гуляющей девки.

— Извините, милорд, — сказал Ротсей, — когда человек неудачно женат, он становится неприхотлив в выборе тех, кого любит *rag amours*.¹ Цепной пес хватает кость, какая поближе.

— Ротсей, мой несчастный сын! — воскликнул король. — С ума ты сошел? Или ты хочешь навлечь на себя всю бурю отцовского и королевского гнева?

— По приказу вашей милости, — ответил принц, — я умолкаю.

— Итак, милорд Олбени, — сказал король, — если таков твой совет и неизбежно должна пролиться шотландская кровь, как, скажи, мы убедим дикарей разрешить свой спор таким сражением, какое ты предлагаешь?

— Это, государь мой, — отвечал Олбени, — мы установим по зрелом размышлении. Впрочем, задача не так сложна. Потребуется золото на подкуп кое-кого из бардов да главных советников и верховодов отдельных групп. Кроме того, мы дадим понять предводителям обоих союзов, что если они не согласятся уладить спор этим мирным способом...

— Мирным, брат? — сказал с укоризной король.

— Да, мирным, государь, — возразил его брат. — Ибо лучше сохранить мир в стране ценою гибели трех-четырех десятков молодцов из горных кланов, чем тянуть войну до тех пор, пока не погибнут десятки тысяч от меча, и огня, и голода, и всяких трудностей горного боя. Вернемся к нашему предмету: я думаю, та сторона, к которой мы первой обратимся с нашим планом, жадно за него ухватится; другая же постыдится отклонить предложение тех, кто призывает доверить дело мечам своих самых отважных бойцов; национальная гордость и клановая ненависть помешают им увидеть, какую цель мы преследуем, предлагая уладить вопрос таким путем; они с большей охотой примутся резать друг друга, чем мы — подстрекать их на эту резню... А теперь, когда совет наш все обсудил и помощь моя больше не нужна, я удаляюсь.

¹ Свободной любовью (буквально: «по любви», — франц.).

— Повремените, — сказал настоятель, — ибо я тоже должен указать на бедствие, такое черное и страшное, что оно покажется невероятным благочестивому сердцу вашей милости. И я говорю о нем с прискорбием, потому что в нем (это верно, как то, что я недостойный слуга святого Доминика!) заключается причина гнева господня на нашу несчастную страну: из-за него наши победы превращаются в поражения, наша радость — в печаль, наши советы раздирает несогласие и нашу страну пожирает междоусобная война.

— Говорите, досточтимый приор, — сказал король, — и не сомневайтесь: если причина зол во мне или в моем доме, моей первой заботой будет устроить ее.

Он произнес свои слова запинаящимся голосом и жадно ждал ответа настоятеля, страшась, что он, наверно, обвинит сейчас Ротсея в каком-нибудь новом безрассудстве или пороке. Может быть, эти ложные страхи возникли у него, когда ему почудилось, что церковник глянул на принца, перед тем как торжественным тоном заговорил:

— Ересь, мой благородный и милостивый государь! Среди нас пустила корни ересь! Она одну за другой выхватывает души из паствы, как волк уносит ягнят из овчарни.

— Не хватает разве пастухов, чтобы оберегать овчарню? — спросил герцог Ротсей. — Вокруг такого скромного поселения, как Перт, имеется четыре мужских монастыря да сколько еще белого духовенства! Думается, при таком сильном гарнизоне город в состоянии сдержать натиск врага.

— Достаточно прокрасться в гарнизон одному предателю, милорд, — ответил настоятель, — и город уже не в безопасности, хотя бы его охраняли многие легионы; если же этого предателя — по легкомыслию ли, из любви ли к новизне или по другим побуждениям — покрывают и поощряют те, кому бы следовало с истым рвением изгнать его из крепости, то возможность творить зло для него безмерно возрастает.

— Вы метите, как видно, в кого-то из присутствующих, отец настоятель, — сказал Дуглас. — Если в меня, то вы ко мне несправедливы. Я знаю, что из Абербродтока поступают от аббата неразумные жалобы, будто я не даю его стадам размножаться больше, чем позволяют его пастбища, и его монастырским закромам — ломиться от преизбытка зерна, в то время как моим людям не хватает говядины, а лошадям — овса. Но подумайте и о том, что эти тучные пастбища и нивы были в свое время пожалованы Абербродтокской обители моими же предками — и не затем, конечно, чтобы их потомок подышал с голоду среди такого изобилия; он и не собирается, клянусь святою Брайдой! А что до ереси и ложного учения, — добавил он, тяжело ударив своей большой рукой по столу, — кто посмел обвинить в них Дугласа? Я не стал бы посылать несчастных на костер за глупые мысли, но мои рука и меч всегда готовы защитить христианскую веру.

— Не сомневаюсь, милорд, — сказал настоятель, — таков был искони обычай вашего благородного дома. Что же касается жалоб аббата, это дело подождет. Теперь же мы хотели бы, чтобы кто-либо из светских князей был уполномочен совместно с князьями святой церкви в случае необходимости поддерживать вооруженной силой те меры, какие преподобный судья консистории и другие высокие прелаты (в том числе и я, недостойный) собираются предпринять против новых учений, которые вводят в соблазн простые души и подтачивают чистую и драгоценную веру, одобренную пресвятым отцом и его преподобными предшественниками.

— От имени короля возложим эти полномочия на графа Дугласа, — сказал Олбени. — И его суду будут подлежать все без исключения, кроме особы короля. Хоть я и сознаю, что ни делом, ни помыслом не повинен в следовании какому-либо учению, не освященному святою церковью, все же я постыжусь притязать на неприкосновенность, как лицо, в чьих жилах течет кровь шотландских королей, дабы не помыслил ни-

кто, что я причастен столь мерзостному преступлению и-ищу укрытия.

— Не стану я этим заниматься, — сказал Дуглас. — Мне хватит хлопот с англичанами и с изменником Марчем на южной границе. К тому же я истый шотландец и не стану своими руками загонять шотландскую церковь под ярмо Рима, и без того достаточно тяжкое, или заставлять баронские короны склоняться перед митрой и клобуком. Так что, благороднейший герцог Олбени, уж возьмите вы эти полномочия на себя. И я попрошу вашу светлость поумерить рвение тех служителей церкви, с которыми вам придется действовать заодно, а не то оно проявится слишком рьяно. Запах костров над Тэем побудит Дугласа повернуть назад от стен Йорка.

Герцог поспешил заверить графа, что полномочия будут применяться с должной умеренностью и снисхождением.

— Святой суд, — сказал король Роберт, — бесспорно, должен быть полновластен, и в той мере, в какой это совместимо с нашим королевским достоинством, да мы и сами не собираемся уклоняться от его постановлений. В то время как церковь со всею яростью обрушит свои громы на зачинателей этой мерзкой ереси, несчастным жертвам их обмана, мы надеемся, будут оказаны милосердие и сострадание.

— Святая церковь, милорд, всегда держалась именно такого образа действий, — сказал настоятель доминиканцев.

— Итак, пусть уполномоченные с должным усердием приступают к расследованию именем нашего брата Олбени и других лиц, каких мы сочтем удобным включить в состав суда, — сказал король. — Закроем вторично наш совет. А ты, Ротсей, ступай со мною и дай мне опереться на твое плечо — мне нужно поговорить с тобой наедине.

— Стоп! — воскликнул принц таким тоном, как если бы обращался к лошади, объезжая ее.

— Что означает эта грубость, сын мой? — упрекнул его король. — Неужели ты никогда не образумишься и не научишься учтивости!

— Не помыслите, что я хотел оскорбить вас, государь мой, — сказал принц, — но мы расходимся, так и не решив, как поступить в этом довольно странном происшествии с отрубленной рукой, которую столь рыцарственно поднял Дуглас. Пока двор стоит в Перте, нам тут будет не по себе, если у нас нелады с горожанами.

— Предоставьте это мне, — сказал Олбени. — Раздать немного земель, немного денег да не пожалеть приятных слов, и горожане на этот раз успокоятся; но хорошо бы все-таки предупредить состоящих при дворе баронов с их слугами, чтобы они соблюдали в городе мир.

— Конечно, — сказал король, — так мы и сделаем. Отдай на этот счет строжайший приказ.

— Слишком много чести для мужичья, — сказал Дуглас, — но как угодно будет вашему высочеству. Я, с вашего разрешения, удаляюсь.

— А не разопьете ли с нами на прощанье бутылку гасконского, милорд? — спросил король.

— Простите, — ответил граф, — меня не разбирает жажда, а пить зря я не люблю: я пью только по нужде или по дружбе. — С этими словами он удалился.

По его уходе король облегченно вздохнул.

— А теперь, милорд, — обратился он к Олбени, — следует отчитать нашего непутевого Ротсея. Впрочем, сегодня он сослужил нам на совете добрую службу, и мы должны принять эту его заслугу как некоторое искупление его безрассудств.

— Я счастлив это слышать, — ответил Олбени, но сокрушенно-недоверчивое выражение его лица как будто говорило, что он не видит, в чем заслуга принца.

— Наверно, брат, ты плохо сейчас соображаешь, — сказал король. — Мне не хочется думать, что в тебе заговорила зависть. Разве не сам ты отметил, что Ротсей первый подсказал нам, каким путем уладить дело с горцами? Правда, твой опыт позволил тебе облечь его мысль в лучшую форму, после чего мы все ее одобрили.. Да и сейчас мы так и разо-

шлись бы, не приняв решения по другому важному вопросу, если бы он не напомнил нам о ссоре с горожанами.

— Я не сомневаюсь, — сказал герцог Олбени в том примирительном тоне, какого ждал от него король, — что мой царственный племянник скоро сравняется мудростью со своим отцом.

— Или же, — сказал герцог Ротсей, — я сочту более легким позаимствовать у другого члена нашей семьи благодатную и удобную мантию лицемерия: она прикрывает все пороки, так что становится не столь уж важно, водятся они за нами или нет.

— Милорд настоятель, — обратился Олбени к доминиканцу, — мы попросим ваше преподобие выйти ненадолго: нам с королем нужно сказать принцу кое-что, не предназначенное больше ни для чьих ушей — ни даже ваших.

Доминиканец, поклонившись, удалился.

Царственные братья и принц остались наконец одни. Король казался до крайности расстроенным и огорченным, Олбени — мрачным и озабоченным, и даже Ротсей под обычной для него видимостью легкомыслия старался скрыть некоторую тревогу. Минуту все трое молчали. Наконец Олбени заговорил.

— Государь и брат мой, — сказал он, — мой царственный племянник с таким недоверием и предубеждением принимает все, что исходит из моих уст, что я попрошу вашу милость взять на себя труд сообщить принцу, что ему следует узнать.

— Сообщение, должно быть, и впрямь не из приятных, если милорд Олбени не берется облечь его в медовые слова, — сказал Ротсей.

— Перестань дерзить, мальчик, — осадил его король. — Ты сам сейчас напомнил о ссоре с горожанами. Кто поднял ссору, Давид?.. Кто были те люди, что пытались залезть в окно к мирному гражданину и нашему вассалу, возмутили ночной покой криком и огнями факелов и подвергли наших подданных опасностям и тревоге?

— Больше, думается мне, было страху, чем опасности, — возразил принц. — Но почему вы спрашива-

ете? Откуда мне знать, кто учинил ночной переполох?

— В проделке замешан один из твоих приближенных, — продолжал король, — слуга самого сатаны; и виновный понесет должное наказание

— Среди моих приближенных, насколько мне известно, нет никого, кто способен был бы возбудить недовольствие вашего величества, — ответил принц.

— Не увиливай, мальчик... Где ты был в канун Валентинова дня?

— Надо думать, служил доброму святому Валентину, как положено каждому смертному, — отозвался беспечно молодой человек.

— Не скажет ли нам мой царственный племянник, чем был занят в эту святую ночь его конюший? — спросил герцог Олбени.

— Говори, Давид... Я приказываю, — сказал король.

— Рэморни был занят на моей службе. Надеюсь, такой ответ удовлетворит моего дядю.

— Но не меня! — гневно сказал отец. — Видит бог, я никогда не жаждал крови, но Рэморни я пошлю на плаху, если можно это сделать, не преступив закона. Он поощряет тебя во всех твоих пороках, участвует во всех безрассудствах. Я позабочусь положить этому конец. . Позвать сюда Мак-Луиса со стражей!

— Не губите невинного, — вмешался принц, готовый любой ценой уберечь своего любимца от опасности — Даю слово, что Рэморни был в ту ночь занят моим поручением и потому не мог участвовать в этой сваре

— Ты напрасно лжешь и выкручиваешься! — сказал король и предъявил принцу кольцо. — Смотри: вот перстень Рэморни, потерянный им в той постыдной драке! Перстень этот попал в руки одного из людей Дугласа, и граф передал его моему брату. Не проси за Рэморни, ибо он умрет; и уходи прочь с моих глаз — да покайся, что следовал подлым советам, из-за чего и стоишь теперь предо мной с ложью на устах... Стыдись, Давид, стыдись! Как сын ты солгал своему отцу, как рыцарь — главе своего ордена.

Принц стоял немой, сраженный судом своей совестью. Потом он дал волю достойным чувствам, которые таил в глубине души, и бросился к ногам отца.

— Лживый рыцарь, — сказал он, — заслуживает лишения рыцарского звания, неверный подданный — смерти; но позволь сыну молить отца о прощении для слуги, который не склонял его к провинности, а сам против воли своей был вовлечен в нее по его приказу! Дай мне понести самому всю кару за свое безрассудство, но пощади тех, что были скорее моим орудием, чем соучастниками моих дел. Вспомни, Рэморни пожелала приставить ко мне на службу моя мать — благословенна будь ее память!

— Не поминай ее, Давид, заклинаю тебя! — сказал король — Счастье для нее, что не пришлось ей видеть, как любимый сын стоит пред нею вдвойне обесчещенный — преступлением и ложью.

— Я воистину недостоин помянуть ее, — сказал принц, — и все же, дорогой отец, во имя матери моей должен я молить, чтобы Рэморни не лишали жизни.

— Если мне разрешается дать совет, — вмешался герцог Олбени, видя, что скоро наступит примирение между отцом и сыном, — я предложил бы убрать Рэморни из свиты принца и удалить от его особы, подвергнув затем такому наказанию, какого он, видимо, заслужил своим неразумием. Узнав, что он в немилости, народ успокоится, и мы без труда уладим или же замнем это дело. Только пусть уж его высочество не покрывает своего слугу.

— Ты согласен ради меня, Давид, — сказал король прерывающимся голосом и со слезами на глазах, — уволить со службы этого опасного человека? Ради меня, который вырвал бы для тебя сердце свое из груди?

— Сделаю, отец, сделаю немедленно, — ответил принц; и, схватив перо, он поспешно написал приказ об увольнении Рэморни со службы и вручил бумагу Олбени. — Как бы я хотел, мой царственный отец, с такой же легкостью исполнять все твои желания! — добавил он, снова бросившись к ногам короля, который поднял и с любовью заключил в объятия своего ветреного сына.

Олбени нахмурился, но промолчал; и, только выждав минуты две, промолвил:

— Теперь, когда этот вопрос так счастливо разрешился, я позволю себе спросить, угодно ли будет вашему величеству присутствовать при вечерней службе в церкви?

— Конечно, — сказал король. — Разве не должен я возблагодарить господа за то, что он восстановил единение в моей семье? И ты тоже пойдешь с нами, брат?

— Увольте, ваша милость, не могу! — ответил Олбени. — Мне необходимо сговориться с Дугласом и другими, как приманить нам этих горных ястребов.

Итак, отец и сын отправились к вечерней службе — возблагодарить бога за свое счастливое примирение; Олбени же тем временем пошел обдумывать свои честолюбивые замыслы.

Глава XIV

Пойдешь ли ты в горы, Лиззи Линдсей,
Пойдешь ли ты в горы со мной?
Пойдешь ли ты в горы, Лиззи Линдсей,
Чтоб стать мне любимой женой?

Старинная баллада

Одна из предыдущих глав ввела читателя в королевскую исповедальню; теперь мы должны показать ему нечто в том же роде, хотя обстановка и действующие лица будут совсем другие. Вместо полутемного готического зала в стенах монастыря перед ним, под склоном горы Киннаул, развернется один из самых красивых ландшафтов Шотландии; и там, у подножия скалы, с которой открывается во все стороны широкий кругозор, он увидит пертскую красавицу. Девушка застыла в смиренной позе, благоговейно внемля наставлениям монаха-картезианца в белой рясе и белом наплечнике. Свою речь монах заключил молитвой, к которой набожно присоединилась и его ученица.

Кончив молитву, монах сидел некоторое время молча, заглядевшись на великолепный вид, пленительный

даже в эту холодную предвесеннюю пору, и не сразу обратился вновь к своей внимательной слушательнице.

— Когда я вижу пред собой, — сказал он наконец, — эту землю во всем ее многообразии и богатстве, эти замки, церкви и монастыри, эти горделивые дворцы и плодородные нивы, обширные эти леса и величавую реку, я не знаю, дочь моя, чему мне больше дивиться — доброте ли господней или человеческой неблагодарности. Бог дал нам землю, прекрасную и плодородную, а мы сделали его щедрый дар местом бойни и полем битвы. Он дал нам силу покорять стихии, научил искусству возводить дома для защиты нашей и удобства, а мы превратили их в притоны убийц и разбойников.

— Но право же, отец мой, даже в том, что лежит у нас перед глазами, — ответила Кэтрин, — есть и такое, что радует взор: мы видим здесь четыре монастыря с церквями и колоколами, медным гласом призывающими горожан помыслить о благочестии; их обитатели отрешились от мирских утех и желаний и посвятили себя служению небесам. Разве это не свидетельствует, что если и стала Шотландия кровавой и грешной страной, она все же не мертва и еще способна следовать долгу, налагаемому религией на человеческий род?

— Правильно, дочь моя, — ответил монах, — в словах твоих звучит как будто истина; но все же, если ближе присмотреться, все отрадное, на что указываешь ты, представится обманчивым. Это верно, было такое время, когда добрые христиане, поддерживая свое существование трудом своих рук, объединялись в общины — не для того, чтоб покойно жить и мягко спать, а чтобы укреплять друг друга в истинной вере и сделаться достойными проповедниками слова божьего в народе. Несомненно, и теперь можно найти таких людей в монастырях, на которые мы взираем сейчас. Но приходится опасаться, что у большинства их обитателей жар любви остыл. Наши церковники стали богаты благодаря дарам, какие им приносят: добрые — из благочестия, а дурные — ради подкупа; грешники в своем невежестве воображают, что, зада-

ривая церковь, купят себе прощение, которое небо дарует только искренне раскаявшимся. И вот, по мере того как церковь богатела, ее учение, к прискорбию нашему, становилось все более темным и смутным, подобно тому как свет, заключенный в светильник резного золота, виден менее ярко, нежели сквозь стеклянный колпак. Видит бог, не из желания отличиться и не из жажды быть учителем во Израиле я замечаю эти вещи и толкую о них, но потому, что горит в моей груди огонь и не дает мне молчать. Я подчиняюсь правилам моего ордена и не страшусь их суровости. Существенны ли они для нашего спасения или являются только формальностями, установленными взамен искренней набожности и подлинного покаяния, — я обязался... нет, больше, я дал обет соблюдать их. И я должен их чтить непреложно, ибо иначе на меня ляжет обвинение, будто я отверг их в заботе о мирских благах, когда небо свидетель, как мало тревожусь я о том, что мне выпадет на долю — почет или страдания, лишь бы можно было восстановить былую чистоту церкви или вернуть учение священнослужителей к его первоначальной простоте.

— Но, отец мой, — сказала Кэтрин, — даже за такие суждения люди причисляют вас к лоллардам и уиклифитам и говорят, что вы призываете разрушить церкви и монастыри и восстановить языческую веру.

— Да, дочь моя, и потому, гонимый, я ищу убежища в горах, среди скал, и принужден спасаться бегством к полудиким горцам, благо они не столь нечестивы, как те, от кого я ухожу, ибо их преступления порождены невежеством, а не самомнением. Я не премину принять те меры к своей безопасности и спасению от их жестокости, какие мне откроет небо; ибо, если оно укажет мне укрыться, я приму это как знак, что я должен еще вершить свое служение. Если же будет на то соизволение господя, ему ведомо, как охотно Климент Блэр отдаст свою бrenную жизнь в смиренной надежде на блаженство в жизни вечной. Но что ты смотришь так жадно на север, дитя? Твои молодые глаза зорче моих — ты заметила, кто-то идет?

— Я высматриваю молодого горца Конахара. Он проводит вас в горы, в то место, где его отец может предоставить вам убежище, хоть и лишенное удобств, но безопасное. Конахар мне часто это обещал, когда я беседовала с ним о вас и о ваших наставлениях... Но теперь, среди своих соплеменников, боюсь, он быстро забудет ваши уроки.

— В юноше есть искра благодати, — сказал отец Климент, — хотя люди его племени бывают обычно слишком привержены своим жестоким и диким обычаям и не могут терпеливо подчиняться тем ограничениям, какие на нас налагает религия или законы общества. Ты никогда не рассказывала мне, дочь, каким образом, наперекор всем обычаям и города и гор, этот юноша стал жить в доме твоего отца.

— Об этом деле, — сказала Кэтрин, — мне известно только то, что отец Конахара — влиятельный среди горцев человек и что он настоятельно просил моего отца, с которым ведет дела (отец у него закупает товар), чтобы он некоторое время продержал юношу у себя. И только два дня назад Конахар ушел от нас — его отозвали домой, в родные горы.

— А почему, — спросил священник, — дочь моя поддерживает тесные сношения с юношей из Горной Страны и знает, как за ним послать, когда в помощь мне она захочет воспользоваться его услугами? Для этого девушка должна, конечно, иметь большое влияние на такого дикаря, как этот юный горец.

Кэтрин вспыхнула и ответила, запинаясь, что если и впрямь она имеет некоторое влияние на Конахара, то, видит бог, своим влиянием она пользуется, только когда хочет обуздать его горячий нрав и научить юношу правилам цивилизованной жизни.

— Правда, — сказала она, — я давно ждала, что вам, отец мой, придется спастись бегством, и поэтому я договорилась с ним, что он встретится со мной на этом месте, как только получит от меня весть и знак, и я их отправила ему вчера. Вестником был один легконогий паренек из его клана. Конахар, случалось, и раньше посылал его в горы с каким-нибудь поручением.

— И я должен понять тебя в том смысле, дочь моя, что этот юноша, такой красивый с виду, был дорог тебе лишь постольку, поскольку ты хотела просветить его ум и образовать его нрав?

— Да, отец мой, только так, — подхватила Кэтрин. — И, может быть, я нехорошо поступала, поддерживая с ним близость, хотя бы и ради наставления и воспитания. Но никогда в своих разговорах с ним я не заходила дальше этого.

— Значит, я ошибся, дочь моя; но с недавнего времени мне стало казаться, что в твоих намерениях произошла перемена, что ты с тоской желания оглядываешься на тот мир, от которого раньше думала отрешиться.

Кэтрин опустила голову, и румянец ярче разгорелся на ее щеках, когда она промолвила:

— Вы сами, отец, бывало, отговаривали меня от моего намерения принять постриг.

— Я и теперь его не одобряю, дитя мое, — сказал священник. — Брак — честное установление, указанный небом путь к продлению рода человеческого, и в священном писании я не вычитал нигде чего-либо, что подтвердило бы человеческое измышление о превосходстве безбрачия. Но я смотрю на тебя ревниво, дитя мое, как отец на свою единственную дочь, и боюсь, что ты выйдешь опрометчиво за недостойного. Я знаю, твой родной отец, ценя тебя не столь высоко, как я, благосклонно принимает искательства бражника и буяна, именуемого Генри Уиндом. Он, видимо, располагает достатком, но это простой и грубый человек, готовый ради славы первого бойца лить кровь как воду, и его постоянно видят в кругу пустых и беспутных товарищей. Разве он чета Кэтрин Гловер? А ведь идет молва, что скоро они поженятся.

Лицо красавицы стало из алого бледным и снова заалелось, когда она торопливо ответила:

— Я о нем и не думаю, хотя мы вправду последнее время обменивались любезностями, потому что он и всегда был другом моего отца, а теперь в согласии с нашими обычаями стал вдобавок моим Валентином.

— Твоим Валентином, дитя? — сказал отец Климент. — Твоя стыдливость и благоразумие позволяют тебе так легко шутить своею женской скромностью и вступать в столь близкие отношения с таким человеком, как этот кузнец?.. И ты полагаешь, святой Валентин, угодник божий, истинный епископ-христианин, каким почитают его, может одобрять глупый и непристойный обычай, который возник, вероятно, из языческого почитания Флоры или Венеры, когда смертные нарекали божествами свои страсти и старались не обуздывать их, а разжигать?

— Отец! — сказала Кэтрин недовольным тоном, какого до сих пор не допускала в отношении картезианца. — Я не понимаю, почему вы так сурово корите меня за то, что я сообразуюсь с общепринятыми правилами поведения, освященными древним обычаем и волей моего отца? Вы ко мне несправедливы, когда так это толкуете.

— Прости, дочь моя, — кротко возразил священник, — если я тебя оскорбил. Но этот Генри Гоу, или Смит, или как его там, — дерзкий и беспутный человек. Поощряя его и вступая с ним в тесную дружбу, ты неизбежно возбудишь дурные толки, если только не располагаешь действительно обвенчаться с ним — и в самом скором времени.

— Не будем больше говорить об этом, отец мой, — сказала Кэтрин. — Вы причиняете мне худшую боль, чем хотели бы, и можете нечаянно вызвать меня на ответ, какого мне не подобает вам давать. Кажется, я уже и сейчас должна жалеть, что подчинилась глупому обычаю. Во всяком случае, поверьте мне, Генри Смит для меня никто и ничто; и даже той близости, которая возникла было после Валентинова дня, уже положен конец.

— Я рад это слышать, дочь моя, — ответил картезианец, — и должен теперь расспросить тебя о другом, что внушает мне больше тревоги. Ты, несомненно, знаешь это сама, хоть я и предпочел бы, чтобы не было нужды заговаривать о таких опасных вещах даже в окружении этих скал, утесов и камней. Но не говорить нельзя... Кэтрин, ведь есть у тебя еще один искатель,

и принадлежит он к самому знатному из знатных родов Шотландии?

— Знаю, отец, — ответила спокойно Кэтрин. — Я хотела бы, чтоб этого не было.

— Хотел бы и я, — сказал священник, — если бы я видел в дочери моей лишь дитя неразумия, каким в ее годы бывают большей частью молодые женщины, особенно когда они наделены пагубным даром красоты. Но если твои чары, говоря языком суетного света, покорили сердце столь высокородного поклонника, я не сомневаюсь, что твоя добродетель и твой ум позволяют тебе подчинить и разум принца своему влиянию, которое ты приобрела благодаря своей красоте.

— Отец, — возразила Кэтрин, — принц — беспутный повеса, и его внимание может принести мне лишь бесчестие и гибель. Вы только что как будто высказали опасение, что я поступала неразумно, допустив простой обмен любезностями с человеком одного со мною состояния; как же вы можете говорить так терпимо об отношениях того рода, какие посмел навязывать мне наследный принц Шотландии? Знайте же, два дня назад, поздно ночью, он с бандой своих разнузданных приспешников чуть не уволок меня силой из родительского дома! А спас меня этот самый сорвиголова Генри Смит, который если и кидается неосмотрительно по всякому поводу в драку, зато всегда готов с опасностью для жизни вступить за невинную девушку или оказать сопротивление угнетателю. В этом я должна отдать ему справедливость.

— Об этом я не мог не знать, — сказал монах, — так как сам его призвал поспешить тебе на помощь. Проходя мимо вашего дома, я увидел эту банду и кинулся за городской стражей, когда заметил человека, медленно шедшего мне навстречу. Подумав, что это, верно, один из участников засады, я притаился в портике часовни святого Иоанна; но, узнав, когда он подошел поближе, Генри Смита, я сообразил, куда он направляется, и шепнул свое предостережение, чем и понудил его ускорить шаг.

— Я вам премного обязана, отец, — сказала Кэтрин. — Но и этот случай и те слова, какими утешал

меня герцог Ротсей, только показывают, что принц — распутный юноша, который ни перед чем не останавливается, лишь бы ему потешить свою праздную прихоть, и готов добиваться своего любой ценой. Его посланец Рэморни даже имел наглость объявить, что мой отец жестоко поплатится, если я не пожелаю стать беспутной любовницей женатого принца и предпочту выйти замуж за честного горожанина. Вот почему я не вижу другого выхода, как постричься в монахини: иначе я погублю и себя и своего несчастного отца. Не будь другой причины, уже один лишь страх перед этими угрозами со стороны негодяя, который вполне способен их исполнить, конечно помешал бы мне выйти замуж за какого-нибудь достойного человека... как не могла бы я отворить дверь его дома, чтобы впустить убийц! Ах, добрый отец, какой мне выпал жребий! Неужели мне суждено принести гибель своему отцу, который так меня любит, да и всякому, с кем я могла бы связать свою злосчастную судьбу!

— Не падай духом, дочь моя, — сказал монах. — Есть для тебя утешение даже в этой крайности, хоть ты и видишь в ней одно лишь бедствие. Рэморни — негодяй и внушает все злое своему покровителю. А принц, к несчастью, легкомысленный юноша и ведет рассеянную жизнь; но если я, при седых своих волосах, не впадаю в странный обман, в его характере наметился перелом. Да, в нем пробудилось отвращение к низости Рэморни, и он в глубине души сожалеет сейчас, что следовал его дурным советам. Мне верится... нет, я убежден, что его любовь к тебе стала чище и благородней и что мои поучения — а он слушал несколько раз мои речи об испорченности духовенства и нравов нашего века — запали ему в душу. Если их подкрепишь еще и ты, они дадут, быть может, такие всходы, что мир будет дивиться и радоваться. Древнее пророчество вещало, что Рим падет по слову из женских уст.

— Это мечты, отец, — сказала Кэтрин, — мечты и обольщения человека, чьи думы устремлены на более возвышенное, не позволяя ему мыслить правильно о повседневных земных делах. Когда мы долго глядим

на солнце, все остальное видится потом неотчетливо.

— Ты судишь слишком поспешно, дочь моя, — сказал монах, — и в этом ты сейчас убедишься. Я изложу тебе доводы, какие не мог бы открыть ни перед кем менее стойким в добродетели или более приверженным честолобию. Может быть, не подобало бы мне говорить о них даже и с тобою, но я уверенно полагаюсь на твоё разумение и твердость твоих правил. Узнай же: не исключена возможность, что римская церковь освободит герцога Ротсея от наложенных ею жезл и расторгнет его брак с Марджори Дуглас.

Он умолк.

— Если даже церковь этого желает и властна это совершить, — возразила девушка, — как может развод герцога сказаться на судьбе Кэтрин Гловер?

Спрашивая, она глядела с сожалением на священника, а ему было не так-то легко найти ответ. Его глаза смотрели в землю, когда он ответил ей:

— Что сделала красота для Маргарет Лоджи? Если наши отцы нам не лгали, она возвела ее на трон рядом с Давидом Брюсом.

— А была ли она счастлива в жизни, и жалели ли о ней после ее смерти, добрый мой отец? — спросила Кэтрин так же твердо и спокойно.

— Ее подвигнуло на этот союз суетное и, может быть, преступное честолобие, — возразил отец Климент, — и наградой ей были утехи тщеславия и терзание духа. Но если бы она пошла под венец в надежде, что верующая жена обратит неверующего супруга или укрепит нестойкого в вере, какую награду нашла бы она тогда? Обрела бы любовь и почет на земле, а в небе разделила бы светлый удел королевы Маргариты и тех героинь, в которых церковь чтит благодатных своих матерей.

До сих пор Кэтрин сидела на камне у ног монаха и, говоря или слушая, смотрела на него снизу вверх. Теперь же, словно воодушевленная чувством тихого, но решительного неодобрения, она встала, простерла к нему руки, а когда заговорила, голос ее и глаза выражали сострадание: она, казалось, щадила чувства

своего собеседника. Так мог бы глядеть херувим на смертного, укоряя его за ошибки.

— А если и так? — сказала она. — Неужели желания, надежды и предрассудки бренного мира так много значат для того, кто, возможно, будет призван завтра отдать свою жизнь за то, что восстал против испорченности века и против отпавшего от веры духовенства? Неужели это отец Климент, сурово-добродетельный, советует своей духовной дочери домогаться трона и ложа, которые могут стать свободны только через вопиющую несправедливость к их сегодняшней владельнице, когда мне и помыслить о том грешно! И неужели мудрый реформатор церкви строит планы, сами по себе столь несправедливые, на такой шаткой основе? Мой добрый отец, с каких это пор закоренелый развратник так переменился нравственно, что станет теперь с честными видами дарить своим вниманием дочь пертского ремесленника? Перемена свершилась, очевидно, за два дня, ибо не прошло и двух суток с той ночи, когда он ломился в дом моего отца, замыслив нечто похуже грабежа. И как вы думаете, если бы даже сердце склоняло Ротсея на такой неравный брак, могли бы он осуществить свое желание, не поставив под удар наследственное право и самую жизнь, когда одновременно ополчатся против него Дуглас и Марч за поступок, в котором каждый из них усмотрит оскорбление и незаконную обиду своему дому? Ох, отец Климент, где же была ваша строгая убежденность, ваше благоразумие, когда вы позволили себе обольститься такой странной мечтой и дали право ничтожной вашей ученице жестоко вас упрекать?

Слезы проступили на глазах у старика, когда Кэтрин, явно и горестно взволнованная своими же словами, наконец замолчала.

— Устами младенцев, — сказал он, — господь корил тех, кто казался мудрейшим своему поколению. Я благодарю небо, что оно, уча меня разуму и порицая за тщеславие, избрало посредником такую добрую наставницу... Да, Кэтрин, я больше не вправе теперь дивиться и возмущаться, когда вижу, как те, кого судил доселе слишком строго, борются за

преходящую власть, а говорят притом неизменно языком религиозного рвения. Благодарю тебя, дочь, за твое спасительное предостережение и благодарю небо, что оно дало мне услышать его от тебя, а не из более суровых уст.

Кэтрин подняла голову, чтоб ответить и успокоить старика, чье унижение было для нее мучительно, когда ее глаза остановились на чем-то неподалеку. Среди уступов и утесов, забравших в кольцо место их уединения, были два, стоявшие в таком тесном соседстве, что казались двумя половинами одной скалы, расщепленной землетрясением или ударом молнии. Между ними среди нагромождения камней зияла расселина в четыре фута ширины. А в расселину забрался дубок по одной из тех затейливых прихотей, какими нас нередко удивляет растительный мир в подобных местах. Деревцо, низкорослое и чахлое, ища пропитания, во все стороны разостлало корни по лицу скалы, и они залегли, как военные линии сообщения, извилистые, скрюченные, узловатые, точно огромные змеи Индийских островов. Когда взгляд Кэтрин упал на это причудливое сплетение узловатых сучьев и скрюченных корней, ей померещилось, что чьи-то большие глаза мерцают среди них и неотрывно смотрят на нее, большие, горящие, точно глаза притаившегося зверя. Она вздрогнула, молча указала на дерево старику и, вглядевшись пристальней сама, различила наконец копну рыжих волос и косматую бороду, которые раньше были скрыты за нависшими ветвями и скрюченными корнями дерева.

Увидев, что его открыли, горец, каковым он оказался, выступил из своей засады и, двинувшись вперед, предстал пред наблюдателями великаном в красно-лилово-зеленом клетчатом пледе, под которым надета была бычьей кожи куртка. За спиной у него висели лук и колчан, голова была обнажена, но всклокоченные волосы служили ему, как ирландцу — кудри, головным убором и с успехом заменяли шапку. На поясе у него висели меч и кинжал, а рука сжимала датскую секиру, чаще называемую лохаберской. Из тех же естественных ворот вышли один за другим еще

четыре человека, такие же рослые и в таком же одеянии и вооружении.

Кэтрин достаточно привыкла к грозному виду горцев, проживающих так близко от Перта, а потому ничуть не испугалась, как могла бы испугаться на ее месте другая девушка из Низины. Она довольно спокойно смотрела, как пять исполинов выстроились полукругом по бокам и спереди от нее и монаха, глядя в упор на них обоих во все свои большие глаза, выражавшие, насколько она могла судить, дикарский восторг перед ее красотой. Она кивнула им и произнесла не совсем правильно обычные слова гэльского приветствия. Старший по годам, вожак отряда, ответил тем же и снова застыл, безмолвный и недвижимый. Монах молился, перебирая четки, и даже у Кэтрин возникло странное сомнение; она встревожилась за свою безопасность и спрашивала мысленно, уж не следует ли ей считать себя пленницей. Решив проверить это на опыте, она двинулась вперед, как будто желая спуститься вниз по склону; но, когда она попробовала пройти сквозь цепь, горцы протянули между собою свои секиры, закрыв, таким образом, все промежутки, где могла бы она проскользнуть.

Несколько растерявшись, но не впад в уныние, так как не могла предположить здесь злой умысел, Кэтрин присела на один из разбросанных кругом обломков скалы и сказала несколько ободряющих слов стоявшему подле монаху.

— Если я и страшусь, — сказал отец Климент, — то не за себя: что ни учинят надо мной эти дикари — разmozжат ли мне голову своими топорами, как быку, когда, отработав положенное, он осужден на убой, или свяжут ремнями и передадут другим, кто лишит меня жизни более жестоким способом, — меня это мало заботит, лишь бы тебя, дорогая дочь, отпустили они невредимой.

— Мы оба, — ответила пертская красавица, — не должны ждать ничего дурного... А вот идет и Конахар, чтобы уверить нас в этом.

Но последние слова она проговорила, едва веря собственным глазам, — так неожиданны были осанка

и наряд красивого, статного, одетого чуть ли не роскошно юноши, который, соскочив, как серна, с довольно высокого утеса, встал прямо перед нею. На нем был тот же тартан, что и на тех, что явились первыми, но перехваченный у локтей и на шее золотым ожерельем и запястьями. Кольчуга, облегавшая стан, была из стали, но начищена до такого блеска, что сияла, как серебряная. Руки унизаны были богатыми украшениями, а шапочку, кроме орлиного пера, отмечавшего в носителе достоинство вождя, украшала еще и золотая цепочка, несколько раз обернутая вокруг нее и закрепленная большой пряжкой, в которой мерцали жемчуга. Застежка, скреплявшая на плече клетчатый плащ, или плед, как его называют теперь, была тоже из золота, большая, затейливой резьбы. В руках у него не было никакого оружия, если не считать легкой ивовой трости с гнутой рукоятью. Весь вид его, вся повадка, в которой недавно проглядывало сознание приниженности, была теперь смелой, вызывающей, высокомерной. Юноша стоял перед Кэтрин, самодовольно улыбаясь, словно вполне отдавая себе отчет, насколько изменился к лучшему, и ожидая, узнает ли она его.

— Конахар, — сказала девушка, спеша положить конец тягостной неуверенности, — это люди твоего отца?

— Нет, прекрасная Кэтрин, — отвечал молодой человек, — Конахара больше нет, это имя существует отныне только в напоминание о перенесенных им обидах и о мести, которой требуют они. Я ныне Иан Эхин Мак-Иан, сын вождя, возглавляющего клан Кухил. Я изменил имя, и с меня, как ты видишь, слиняло чужое оперение. А эти люди состоят не при моем отце, а при мне. Здесь только половина моей личной охраны. Весь отряд составляют мой приемный отец с восемью своими сыновьями. Они являются моими телохранителями и наперсниками и тем лишь дышат, что исполняют каждое мое повеление. А Конахар, — добавил он, смягчая тон, — вновь оживет, едва лишь Кэтрин пожелает увидеть его. Для всех других он — юный вождь кухилов, но перед нею тот же смиренный

и покорный юноша, каким был всегда подмастерье Саймона Гловера. Видишь эту трость? Я получил ее от тебя в прошлом году, когда мы под солнцем ранней осени собирали вдвоем орехи в лощинах Ледноха. Я ее не променял бы, Кэтрин, на жезл верховного вождя моего племени.

Так говорил Эхин, а Кэтрин слушала и винила себя в неразумии: как могла она обратиться за помощью к дерзкому юнцу, которому явно вскружило голову, что он, вчерашний слуга, вдруг так вознесся и получил неограниченную власть над ватагой приверженцев, не признающих никакого закона.

— Ты не боишься меня, прекрасная Кэтрин? — сказал, взяв ее за руку, юный вождь. — Я велел моим людям явиться за несколько минут до меня, чтобы проверить, как ты почувствуешь себя в их присутствии, и мне показалось, что ты смотрела на них так, словно родилась быть женою вождя.

— У меня не было причины бояться зла со стороны горцев, — ответила Кэтрин, — а тем более, когда я полагала, что с ними Конахар. Конахар пил из одной с нами чаши и ел наш хлеб; и мой отец часто вел торговые дела с людьми его клана, и никогда не бывало между ними обиды или ссоры.

— Никогда? — возразил Гектор (ибо имя «Эхин» соответствует нашему «Гектор»). — Даже и тогда, когда он принял сторону Гоу Хрома, колченогого кузнеца, против Эхина Мак-Иана? Не говори ничего в его оправдание и поверь, если я еще когда-нибудь упомяну об этом, то лишь по твоей вине. Но ты хотела возложить на меня какое-то поручение — прикажи, и оно будет исполнено.

Кэтрин поспешила ответить. В речах и поведении юноши было нечто побуждавшее ее сократить свидание.

— Эхин, — сказала она, — раз ты больше не зовешься Конахаром, тебе должно быть понятно, что я просила об услуге себе равного, честно считая его таковым, и мне не приходило в голову, что я обращаюсь к лицу столь значительному и сильному. Ты, как и я, обязан наставлением в вере этому доброму

старику. Сейчас ему угрожает большая опасность; злые люди возвели на него ложное обвинение, и он хочет где-нибудь укрыться на время, пока гроза не пронесется мимо.

— Ага, наш ученый клерк Климент? Да, достойный инок много сделал для меня — слишком много, ибо я по своему необузданному нраву не мог обратиться к тебе на пользу его поучения. Посмотрел бы я, найдется ли в городе Перте человек, который осмелится преследовать того, кто схватился за плащ Мак-Иана!

— Едва ли безопасно будет положиться лишь на это, — сказала Кэтрин. — Я не сомневаюсь в могуществе вашего племени, но, когда Черный Дуглас поднимает ссору, он не боится тряхнуть гэльский плед.

Горца задела ее слова, но он прикрыл досаду деланным смехом.

— Воробей, что подле нас, — сказал он, — видится глазу крупней орла, взлетевшего на Бенгойл. Вы страшитесь Дугласов больше, потому что они сидят с вами рядом. Но пусть будет как тебе угодно... Ты не поверишь, как далеко простираются наши холмы, и доли, и леса за темной стеной этих гор, и мир для тебя весь лежит на берегах Тэя. Но этот добрый монах увидит горы, которые могут его укрыть, хотя бы все Дугласы гнались за ним, да; и в тех горах столько людей, что, столкнувшись с ними, Дугласы будут рады поскорей убраться на юг от Грэмпиана... А почему бы и тебе не отправиться к нам вместе с твоим добрым стариком? Я пришлю вам в охрану отряд — проводить вас из Перта, и мы по ту сторону Лох-Тэя наладим наш старый промысел. Только сам я не стану больше кроить перчатки: я могу поставлять кожу твоему отцу, но резать кожу я буду не иначе, как на спинах у врагов.

— Мой отец приедет как-нибудь посмотреть ваш двор, Конахар... простите, Гектор... но в более спокойные времена, потому что сейчас идет ссора между горожанами и слугами знатных вельмож; да еще поговаривают, что в Верхней Шотландии того и гляди разразится война.

— Поистине так, клянусь святою девою, Кэтрин! И когда бы не эта самая война между кланами, вы с отцом давно могли бы съездить погостить в Горную Страну, моя прелестная хозяйка. Но горцы недолго будут делиться на два племени. Они, как истые мужи, сразятся за первенство, и кто выиграет бой, тот будет разговаривать с королем Шотландии как с равным, не как с высшим. Молись, чтобы победа досталась Мак-Иану, моя святая Екатерина, — тогда ты будешь молиться за того, кто тебя истинно любит.

— Я буду молиться за правого, — сказала Кэтрин, — или еще лучше: буду молиться за мир для обеих сторон. Прощай, добрый мой и благородный отец Климент; поверь, я не забуду никогда твои уроки!.. Помяни меня в твоих молитвах... Но как ты выдержишь такой трудный путь?

— Где будет нужно, его понесут на руках, — сказал Гектор, — если не удастся вскоре же найти для него лошадь. Но ты, Кэтрин... Отсюда до Перта не близко: позволь, я провожу тебя туда, как бывало.

— Будь ты тем, кем был, я не отказалась бы от такого провожатого. Но опасны на спутнике золотые пряжки и браслеты, когда на большой дороге, точно листья в октябре, носятся отряды копьеносцев — лиддсдейлских и эннендейлских; а встречи гэльского тартана со стальными камзолами не проходят гладко.

Она позволила себе это замечание, так как подозревала все-таки, что юный Эхин, сбросив, как змея, кожу, не вполне освободился от привычек, усвоенных в приниженном положении, и что его, как он ни храбрился на словах, едва ли прельщало ринуться в бой при численном превосходстве противника, как, возможно, пришлось бы ему, отважясь он спуститься с гор и подойти поближе к городу. Она, по-видимому, рассудила правильно: юноша поспешил распроститься, причем, чтобы он не припал к губам, ему разрешили поцеловать руку.

Итак, Кэтрин отправилась одна в обратную дорогу; и, оглядываясь время от времени, она различала фигуры горцев, пробиравшихся на север самыми укромными и труднопроходимыми тропами.

Ее затаенный страх перед непосредственной опасностью постепенно улетучивался по мере того, как росло расстояние между нею и этими людьми, чьи действия направляла только воля их вождя и чьим вождем был своенравный и горячий юноша. Она ничуть не опасалась по дороге к Перту подвергнуться оскорблению со стороны солдат, на каких могла бы набрести: правила рыцарства в те дни служили более верной охраной для достойной с виду девушки, чем отряд вооруженных приспешников, в которых какой-нибудь встречный отряд мог бы не признать друзей. Но мысли о более отдаленных опасностях не давали ей покоя. Преследование со стороны беспутного принца представлялось все более страшным после угрозы, которую не постеснялся пустить в ход его бесчестный советник Рэморни, — угрозы погубить ее отца, если она не поступится своею скромностью. В тот век подобная угроза со стороны такого видного лица давала все основания для тревоги. Небезобидными должна была считать Кэтрин и притязания Конахара на ее благосклонность — притязания, которые юноша держал при себе, покуда был на положении слуги, но теперь решил, как видно, смело предъявить: в самом деле, все чаще повторялись набеги горцев на Перт, и случалось не раз, что горожан похищали из дому и уволокивали в горы или убивали палашом на улице родного города. Страшило девушку и то, что отец так настойчиво предлагает ей в мужья Смита, о чьем недостойном поведении в день святого Валентина уже дошел до нее слух и на чьи домогательства, даже останься он чист в ее глазах, она не смела склониться, пока помнила угрозу Рэморни обрушить месть на ее отца. Она думала об этих разных опасностях с глубоким страхом и крепнувшим желанием укрыться от них и от себя самой в стенах монастыря, но не видела возможности получить на то согласие отца, хотя ничто другое не могло ей дать защиту и покой.

Впрочем, мы не обнаружили бы в ходе ее мыслей прямого сожаления о том, что всем этим опасностям она подвергается потому, что прослыла пертской красавицей. И в этом мы вправе усмотреть черту, пока-

зывающую, что Кэтрин не была таким уж совершенным ангелом, как, может быть, еще и в том, что, несмотря на все провинности Генри Смита, действительные или мнимые, сердце ее билось чаще, когда ей вспоминался рассвет Валентинова дня.

Глава XV

Чтоб душу ввергло то питье
Истерзанную в забвенье!

«Берга»

Мы раскрыли тайны исповеди; не укроет от нас своих тайн и спальня больного. В полумраке комнаты, где запах мазей и микстур выдавал, что здесь применил свое искусство лекарь, лежал на кровати, запахнувшись в ночной халат, высокий худой человек и от боли хмурил лоб, меж тем как тысяча страстей клокотали в его груди. В комнате каждый предмет говорил о богатстве и расточительности. Хенбейн Двайнинг, аптекарь, как видно приглашенный пользоваться страждущего, скользил из угла в угол своей профессиональной кошачьей поступью, составляя лекарства и подготавливая все необходимое для перевязки. Раза два больной застонал, и лекарь, подойдя к кровати, спросил, на что указывают эти стоны — на телесную ли скорбь или на боль души.

— На обе сразу, подлый отравитель, — сказал сэр Джон Рэморни, — и на то, что мне опротивело твое гнусное присутствие.

— Если все дело только в этом, я могу, сэр рыцарь, избавить вашу милость от одной из бед и немедленно уйти в другое место. В наши беспокойные времена, имей я хоть двадцать рук вместо этих двух бедных прислужниц моего ремесла, — он раскрыл свои тощие ладони, — мне при нынешних непрерывных раздорах хватило бы дела на все двадцать — высоко ценимого дела, такого, что кроны и благословения сыпались бы на меня, стремясь наперебой щедрей

оплатить мою службу; а вы, сэр Джон, срываете злобу на своем враче, когда гневаться вам надо бы только на того, кто нанес вам рану.

— Мерзавец, ниже моего достоинства отвечать тебе! — сказал пациент. — Но твой зловредный язык каждым словом наносит раны, которых не залечить никакими аравийскими бальзамами.

— Сэр Джон, я вас не понимаю; но если вы станете и впредь давать волю бурным припадкам ярости, непременно следствием будут жар и воспаление.

— Так зачем же ты, как будто назло, стараешься каждым словом разжечь во мне кровь? Зачем ты упомянул, что твоя недостойная особа могла бы располагать и лишними руками сверх тех, что ей отпущены природой, в то время как я, рыцарь и джентльмен, лежу увечным калекой?

— Сэр Джон, — возразил лекарь, — я не духовное лицо и даже не слишком крепко верю во многое из того, о чем толкуют нам священники. И все же я могу вам напомнить, что с вами еще обошлись по-божески: ведь если бы удар, причинивший вам увечье, пришелся, как был нацелен, по шее, он бы снес вам голову с плеч, а не отсек менее важный член вашего тела.

— Я жалею, Двайнинг... да, жалею, что удар не попал куда следовало. Мне тогда не довелось бы увидеть, как тонко сотканную паутину моей политики разорвала грубая сила пьяного мужлана. Я не остался бы в живых, чтобы видеть коней, на которых не смогу больше скакать, арену турнира, на которую больше не смею выйти, блеск, которым мне больше не щеголять, бои, в которых мне уже не сражаться! Одержимый мужским стремлением к власти и борьбе, я должен буду занять место среди женщин, даже и теми презираемый, как жалкий, бессильный калека, лишенный права домогаться их любви.

— Пусть все это так, но я позволю себе напомнить вашей милости, — начал Двайнинг, все еще занимаясь подготовкой к перевязке раны, — что глаза, которых вы едва не лишились вместе с головой, теперь, когда они при вас, обещают подарить вам утеху, какой не

доставят ни улады честолюбия, ни победа на турнире или в битве, ни женская любовь.

— Должно быть, мой ум отупел — я не могу уловить, к чему ты клонишь, лекарь, — ответил Рэморни. — Каким же бесценным зрелищем предстоит мне наслаждаться, потерпев крушение?

— Вам осталось самое драгоценное, что дано человеку, — сказал Двайнинг, и со страстью в голосе, как называет влюбленный имя своей повелительницы, он добавил одно лишь слово: — Мечь!

Раненый приподнялся на ложе, с волнением ожидая, как разрешит свою загадку врач. Услышав разъяснение, он снова лег и, помолчав, спросил:

— В какой христианской школе ты усвоил такую мораль, добрый мастер Двайнинг?

— Ни в какой, — ответил врач, — потому что, хоть ей и учат тайным образом в большинстве христианских школ, открыто и смело она не принята ни в одной из них. Но я обучался ей среди мудрецов Гранады, где пламенный душою мавр высоко поднимает смертоносный кинжал, обогранный кровью врага, и честно исповедует учение, которому бледнолицый христианин следует на деле, хотя из трусости не смеет в том признаться.

— Ого! Ты, значит, негодяй более высокого полета, чем я думал, — сказал Рэморни.

— Возможно, — ответил Двайнинг. — Самые тихие воды — самые глубокие; и самый опасный враг — это тот, кто не угрожает, а сразу наносит удар. Вы, рыцари и воины, идете прямо к цели с мечом в руке. Мы же, ученые люди, подбираемся к ней бесшумным шагом и окольной тропой, но достигаем желаемого не менее верно.

— И я, — воскликнул рыцарь, — кто шагал к месту одетой в сталь стопой, пробуждая громовое эхо, я должен теперь влезть в твои комнатные туфли? Ничего себе!

— Кто не располагает силой, — сказал коварный лекарь, — должен добиваться своей цели хитростью.

— Скажи-ка мне откровенно, аптекарь, к чему ты учишь меня этой дьявольской грамоте? Зачем ты меня

подбиваешь быстрее и дальше идти дорогой мести, чем сам я, как думается тебе, пошел бы ею по своему почину? Я куда как искушен в мирских путях, аптекарь, и знаю, что такой, как ты, не проронит слова впустую и зря не доверится такому, как я, если опасное доверие не сулит ему кое-что продвинуть в его собственных делах. Какой же выгоды ждешь ты для себя на пути мирном или кровавом, который могу я избрать в данном случае?

— Скажу вам прямо, сэр рыцарь, хоть не в моем это обычае, — ответил лекарь, — в мести моя дорога сходится с вашей.

— С моей? — удивился Рэморни, и в голосе его прозвучало презрение. — А я полагал, моя для тебя проходит на недостигаемой высоте. Ты метишь в своей мести туда же, куда и Рэморни?

— Поистине так, — ответил Двайнинг, — потому что чумазый кузнец, чей меч вас изувечил, часто обращался со мной пренебрежительно и обидно. Перечил мне в совете, выказывал презрение своими действиями. Его тупая, животная храбрость — живой укор человеку такого тонкого природного склада, как у меня. Я боюсь его и ненавижу.

— И ты надеешься найти во мне деятельного пособника? — сказал Рэморни тем же надменным тоном, что и раньше. — Знай же, городской ремесленник стоит слишком низко, чтобы внушать мне ненависть или страх. Но и он свое получит. Мы не питаем злобы к ужалившей нас змее, хоть и можем стряхнуть ее с ноги и раздавить пятой. Мерзавец издавна слывет удалым бойцом и, слышал я, домогается благосклонности той самонадеянной куклы, чья прелесть, сказать по правде, толкнула нас на столь разумное и благовидное покушение... Дьяволы, правящие нашим дольным миром! По какой подлой злобе вы решили, чтобы руку, способную вонзить копьё в грудь наследного принца, отрубил, как лозинку, жалкий простолудин, и как — в сумятице ночной потасовки!.. Ладно, лекарь, тут наши дороги сходятся, и можешь на меня положиться, я для тебя раздавлю гада кузнеца. Но не

вздумаю увильнуть от меня, когда я легко и просто совершу эту часть нашей мести.

— Едва ли так уж легко, — заметил лекарь. — Поверьте мне, ваша милость, связываться с ним не безопасно и не просто. Он самый сильный, самый храбрый и самый искусный боец в городе Перте и во всей округе.

— Не бойся, найдем, кого на него наслатъ, хоть был бы он силен, как Самсон. Но смотри у меня! Я расправлюсь с тобой по-свойски, если ты не станешь моим послушным орудием в игре, которая следует затем. Смотри, говорю тебе еще раз! Я не учился ни в каких мавританских школах и не отличаюсь твоей ненасытной мстительностью, но и я должен получить свое в деле мести... Слушай внимательно, лекарь, раз уж приходится мне перед тобою раскрываться, но берегись предать меня, потому что, как ни силен твой бес, ты брал уроки у черта помельче, чем мой... Слушай!.. Хозяин, которому я, забыв добро и зло, служил с усердием, быть может пагубным для моего честного имени, но с непоколебимой верностью, тот самый человек, чью взбалмошность я ублажал, когда понес свою непоправимую потерю, — он готов сейчас сдаться на просьбы своего доброго отца, пожертвовать мною: лишить меня покровительства и отдать на расправу этому лицемеру, моему дяде, с которым он ищет непрочного примирения — за мой счет! Если он не оставит свое неблагоприятное намерение, твои свирепейшие мавры, будь они черны, как дым преисподней, покраснеют со стыда, так я посрамлю их в моей мести! Но я дам ему еще последнюю возможность спасти свою честь и свободу, перед тем как обрушу на него всю беспощадную, неукротимую ярость моей злобы... Вот тогда-то, раз уж я тебе открылся... тогда мы ударим по рукам на нашем договоре... Как я сказал? Ударим по рукам!.. Где она, рука, которую Рэморни должен протянуть в подкрепление своего слова?! Пригвождена к столбу для объявлений? Или кинута вместе с отбросами бездомным собакам, и в этот самый час они грызутся из-за нее? Что ж, приложи свой палец к обрубку, и поклянись,

что будешь верным вершителем моей мести, как я — твоей... Как, сэр лекарь, ты побледнел — ты, приказывающий смерти «отступи» или «приблизься», ты трепещешь при мысли о ней или при упоминании ее имени? Я еще не назвал, что ты получишь в уплату, потому что тому, кто любит месть ради мести, не нужно другой награды... Однако, если земли и золото могут увеличить твоё рвение в смелом деле, поверь мне, отказа в них не будет.

— Они тоже кое-что значат в моих скромных желаниях, — сказал Двайнинг. — Бедного человека в мирской нашей сутолоке сбивают с ног, как карлика в толпе, и топчут, богатый же и сильный высится, как великан, над людьми, и ему нипочем, когда все вокруг теснят и давят друг друга.

— Ты вознесешься над толпою, лекарь, так высоко, как может поднять тебя золото. Этот кошелек тяжел, но в твоей награде он только задаток.

— Ну, а как с кузнецом, мой высокий благодетель? — сказал лекарь, кладя вознаграждение в кармап. — С Генри Уиндом, или как там его зовут... Разве известие, что он уплатил пеню за свой проступок, не уймёт боль вашей раны, благородный рыцарь, слаще, чем бальзам из Мекки, которым я смазал ее?

— Он ниже помыслов Рэморни, и на него я не досажую, как не злобствую на тот клинок, которым он орудовал. Но твоей злобе впору пасть на него. Где его можно встретить всего верней?

— Я все обдумал заранее, — сказал Двайнинг. — Напасть на него днем в его собственном доме будет слишком дерзко и опасно, потому что у него работают в кузне пятеро слуг. Четверо из них — крепкие молодцы, и все пятеро любят своего хозяина. Ночью, пожалуй, также рискованно, потому что дверь он держит на крепком дубовом болту и стальном засове; пока силой вломишься в дом, поднимутся ему на подмогу соседи, тем более что они еще настороже после переполоха в канун святого Валентина.

— Эге, правда, лекарь, — сказал Рэморни. — Ты по природе своей не можешь без обмана — даже со мною... Как сам ты сказал, ты узнал мою руку и пер-

стенъ, когда ее нашли валявшейся на улице, как мерзкий отброс с бойни... Почему же, узнав ее, ты отправился вместе с другими безмозглыми горожанами на совет к Патрику Чартерису — обрубить бы ему шпоры с пяток за то, что якшается с жалким ремесленным человеком! — и приволок его сюда вместе со всем дурачьем глумиться над безжизненной рукой, которая, будь она на своем месте, не удостоила бы его ни мирного пожатия, ни удара в честном бою?

— Мой благородный покровитель, как только я уверился, что пострадавший — вы, я изо всех сил старался убедить их, чтоб они не завязывали ссору, но Смит и еще две-три горячие головы стали требовать мести. Вы, мой добрый рыцарь, верно, знаете, этот чванливец объявил себя поклонником пертской красавицы и полагает долгом чести поддерживать ее отца в каждом вздорном споре. Тут, однако, я ему испортил всю обедню, а это месть не шуточная!

— Что вы хотите сказать, сэр лекарь? — усмехнулся пациент.

— Понимаете, ваша милость, — сказал аптекарь, — Смит не придерживается степенности, а живет как вольный гуляка. Я повстречался с ним на Валентинов день, вскоре после столкновения между горожанами и людьми Дугласа. Да, я встретил его, когда он пробирался улочками и проулками с простой девчонкой-менестрелем: прелестница сунула ему в одну руку свою корзинку и виолу, а на другой повисла сама. Как посмотрите на это, ваша честь? Хорош удалец: тягаться с принцем за любовь красивейшей девушки Перта, отсекаль руку рыцарю и барону, а затем объявиться кавалером бродяжки-потешницы — и все на протяжении одних суток!

— Вот как! Он вырос в моем мнении: даром что мужлан, наклонности у него самые дворянские, — сказал Рэморни. — По мне, уж лучше бы он был добронравным обывателем, а не гулякой, тогда у меня больше лежало бы сердце помочь тебе в твоей мести. Да и что за месть? Месть кузнецу! Как если бы у меня вышла ссора с каким-нибудь жалким мастером, выделяющим грошовые шевроны! Тьфу... И все же

придется довести дело до конца. Ты, поручусь я, кое-что сделал уже для начала на свой хитрый лад.

— В очень скромной мере, — сказал аптекарь. — Я позаботился, чтобы две-три самые завзятые сплетницы с Кэрфью-стрит, которых разбирает досада, когда Кэтрин именуют пертской красавицей, прослышали о ее верном Валентине. Они жадно подхватили слухок, и теперь, если кто усомнится в новости, тут же поклянутся, что видели все своими глазами. Час спустя влюбленный явился к ее отцу, и ваша милость поймет, какой прием оказал ему возмущенный перчаточник — сама-то девица и глядеть на него не пожелала. Так что ваша честь правильно разгадали, что я уже пригубил чашу мести. Но я надеюсь испытать ее до дна, приняв из рук вашей светлости, поскольку вы вступили со мною в братский союз, который...

— Братский? — с презрением повторил рыцарь. — Пусть так. Священники говорят, что все мы созданы из одного и того же праха. Я бы не сказал — по-моему, разница все-таки есть; но глина более благородная будет верна более низкой, и ты упьешься мстью... Позови моего паж.

На зов явился из смежной комнаты юноша.

— Ивиот, — спросил рыцарь, — Бонтрон еще здесь? И трезвый?

— Трезвый, насколько может протрезвить сон после крепкой выпивки, — ответил паж.

— Так веди его сюда. И прикрой плотно дверь.

Послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел человек, малый рост которого, казалось, возмещался шириною плеч и мощью рук.

— Есть над кем поработать, Бонтрон, — сказал рыцарь.

Хмурое лицо вошедшего прояснилось, рот осклабился в довольной улыбке.

— Аптекарь укажет тебе, над кем. Надо будет толково выбрать час, место и обстановку, чтобы исход был верный; и смотри, как бы тебя самого не ухлопали, потому что твоим противником будет умелый боец — Смит из Уинда.

— Дело не шуточное, — проворчал наемник. — Тут, если промажешь, считай себя покойником. Смит известен на весь Перт искусством и силой.

— Прихвати двух помощников, — предложил рыцарь.

— Ну нет! — сказал Бонтрон. — Если что удваивать, так уж лучше награду.

— Рассчитывай на двойную, — сказал его хозяин, — но смотри, чтобы сделано было чисто.

— Можете на меня положиться, сэр рыцарь, — не часто мне случалось сплеховать.

— Следуй руководству этого разумника, — сказал раненый рыцарь, указывая на лекаря. — Слушай... Ты его пропустишь вперед... И не пей, пока не управишься.

— Не буду, — отвечал черный приспешник. — От силы и верности удара зависит моя собственная жизнь. Я знаю, с кем имею дело.

— А теперь убирайся. Жди, когда лекарь тебя позовет, и держи топор и кинжал наготове.

Бонтрон кивнул и вышел.

— Вы полагаете, мой благородный рыцарь, что он управится с работой в одиночку? — сказал лекарь, когда за убийцей закрылась дверь. — Позволю себе напомнить вам, что тот позавчера расправился один с шестью вооруженными противниками.

— Будьте покойны, сэр лекарь. Такой человек, как Бонтрон, когда он наметил заранее место и час, стоит двадцати гуляк, захваченных врасплох. Позови Ивиота; ты сперва займешься врачеванием, а насчет дальнейшего не сомневайся — в работе у тебя будет помощник, не уступающий тебе в искусстве разить быстро и неожиданно.

На зов лекаря снова явился паж Ивиот и, по знаку своего господина, помог хирургу снять повязку с искалеченной руки сэра Джона Рэморни. Осматривая обнаженный обрубок, Двайнинг испытал особое, профессиональное удовольствие, усугубленное той бурной радостью, которую он по злой своей натуре черпал в страданиях ближнего. Рыцарь тоже остановил взгляд на жутком зрелище, и то ли боль, то ли

душевная мука вырвала у него стон, как ни хотел он его подавить.

— Вы стонете, сэр, — сказал лекарь вкрадчиво-улыбающимся голосом, но на губах его заиграла усмешка удовольствия и презрения, которых в своем привычном притворстве он все же не сумел утаить. — Вы стонете... Но могу вас утешить: Генри Смит знает свое дело — его меч бьет так же верно, как его молот по наковальне. Нанеси этот роковой удар заурядный мечник, он так попортил бы кость и раскромсал мускулы, что тут, возможно, и мое искусство мало что поправило бы. А Генри Смит отрезал чисто и так правильно, как будто бы это я произвел ампутацию своим тонким скальпелем. Если будете точно и неуклонно соблюдать предписания медицины, вы через несколько дней начнете выходить.

— Но рука... рука потеряна...

— На время это можно будет скрыть, — сказал аптекарь. — Я тут шепнул под великим секретом двум-трем болтунам, что найденная рука отрублена у вашего конюха, Черного Квентина, а вы, господин рыцарь, знаете, что Квентин уехал в Файф, так что все тем легче поверят такому слуху.

— Я отлично знаю, — сказал Рэморни, — что правду можно на короткое время затемнить ложью. Но что мне даст небольшая отсрочка?

— Вы, сэр рыцарь, на какое-то время удалитесь от двора, и, пока не вернетесь, никто ничего не узнает; а там, когда свежие новости вытеснят из памяти людей недавнее происшествие, вашу потерю можно будет приписать несчастному случаю — дрогнуло-де копьё или вырвался из рук самострел. Ваш покорный слуга изыщет правдоподобное объяснение и подтвердит его истинность.

— Эта мысль сводит меня с ума! — сказал Рэморни и вновь застонал в духовной и телесной муке. — Но другого, лучшего средства я не вижу.

— Другого и нет, — сказал лекарь, наслаждаясь отчаянием своего покровителя. — А пока что люди думают, что вас держат дома полученные в драке сшибки да вдобавок и досада на принца, который согла-

сился по требованию Олбени дать вам отставку и удалиться от своего двора, что уже получило широкую огласку.

— Негодяй, ты терзаешь меня! — вскричал пациент.

— Так что, в общем, — продолжал Двайнинг, — вы, ваша милость, отделались благополучно, и если не думать об отрубленной руке (эта утрата невосполнима!), то вы не сетовать должны, а радоваться, ибо ни один брадобрей-хирург ни во Франции, ни в Англии не мог бы искусней сделать операцию, чем это совершил одним прямым ударом кузнец.

— Я полностью признаю свой долг перед ним, — сказал Рэморни, еле сдерживая гнев под напускным спокойствием, — и если Бонтрон не заплатит ему таким же одним прямым ударом, да так, чтобы не явилось надобности во враче, тогда говори, что Джон Рэморни отступился от своих обязательств.

— Вот это речь благородного рыцаря! — сказал аптекарь. — И позвольте мне добавить, что все искусство хирурга могло бы оказаться бессильным и ваши вены иссушило бы кровотечение, если бы добрые монахи не наложили вовремя повязку, сделав прижигание и применив кровоостанавливающие средства, и если бы не услуги вашего смиренного вассала Хенбейна Двайнинга.

— Замолчи! — вскричал пациент. — Слышать не могу твоего зловещего голоса и трижды зловещего имени! Когда ты напоминаешь мне о пытках, которым я подвергался, мне чудится, что мои трепещущие нервы растягиваются и сжимаются, как будто хотят побудить к действию пальцы, которые еще недавно могли стиснуть кинжал!

— Этот феномен, — объяснил лекарь, — с разрешения благородного рыцаря, людям нашей профессии хорошо известен. Некоторые ученые древности утверждали, что сохраняется некая симпатическая связь между перерезанными нервами и теми, что принадлежат к ампутированному члену, и что не раз наблюдалось, как отсеченные пальцы вздрагивают и напрягаются, как бы в соответствии с импульсом, который

вызывается в них симпатией к силам, действующим в живом организме. Если бы нам удалось завладеть рукой, пока она была пригвождена к кресту или хранилась у Черного Дугласа, я был бы рад понаблюдать это удивительное проявление таинственных симпатий. Но это, боюсь, оказалось бы куда как опасно — я лучше бы вырвал коготь голодному орлу!..

— Лучше дразни своими злыми шутками раненого льва, чем Джона Рэморни! — закричал рыцарь в бешеном негодовании. — Делай свое дело, собака, и помни: если моя рука и не может больше сжимать кинжал, мне повинуются сотня рук.

— Довольно будет и одной, в гнев занесенной над вашим хирургом, — сказал Двайнинг, — и он от ужаса умрет на месте. Но кто же тогда, — добавил он тоном не то укоризны, не то насмешки, — кто тогда придет облегчить огненную боль, которая сейчас терзает моего господина и распаляет в нем злобу даже против его бедного слуги, посмевшего заговорить о законах врачевания, столь жалких, бесспорно, в глазах того, кто властен наносить раны?

Затем, словно не отваживаясь больше дразнить своего грозного пациента, лекарь спрятал усмешку и принялся за обработку раны, приложив к ней бальзам, от которого разлился по комнате приятный запах, а в ране жгучий жар сменила освежающая прохлада. Для лихорадившего пациента перемена была так отрадна, что если раньше он стонал от боли, то теперь у него вырвался вздох удовольствия, когда он вновь откинулся на свои подушки, чтобы насладиться покоем после благотворной перевязки.

— Теперь, мой благородный рыцарь, вы знаете, кто ваш друг, — начал снова Двайнинг. — А поддайся вы безрассудному порыву и прикажи: «Убейте мне этого ничтожного знахаря!» — где между четырех морей Британии нашли бы вы мастера, чье искусство принесло бы вам такое облегчение?

— Забудь мои угрозы, добрый лекарь, — сказал Рэморни, — но впредь остерегись искушать меня. Такие, как я, не терпят шуток по поводу своих страда-

ний. Глумись, если хочешь, вволю над жалкими бедняками, призреваемыми в монастыре.

Дваининг не посмел возражать и, вынув из кармана склянку, накапал несколько капель в чашечку с разбавленным вином.

— Это лекарство, — сказал ученый муж, — дается больному, чтобы он уснул крепким сном, который не следует нарушать.

— Может быть, вечным? — усмехнулся пациент. — Сэр лекарь, сперва отведайте сами вашего снадобья, иначе я к нему не притронусь.

Лекарь повиновался с презрительной улыбкой.

— Я безбоязненно выпил бы все, но сок этой индийской камеди наводит сон как на больного, так и на здорового, а долг врача не позволяет мне сейчас уснуть.

— Прошу прощения, сэр лекарь, — пробурчал Рэморни и потупил взгляд, как будто устыдившись, что выдал свое подозрение.

— Нечего и прощать там, где неуместно было б оскорбиться, — отвечал аптекарь. — Козявка должна благодарить великана, что он не придавил ее пятой. Однако, благородный рыцарь, у козявок тоже имеются средства чинить вред — как и у врачей. Разве не мог бы я без особых хлопот так замесить этот бальзам, что рука у вас прогнила бы до плечевого сустава и жизнетворная кровь в ваших венах свернулась бы в испорченный студень? Или что помешало бы мне прибегнуть к более тонкому способу и заразить вашу комнату летучими эссенциями, от которых свет жизни меркнул бы постепенно, пока не угас, как факел среди гниlostных испарений в иных подземных темницах? Вы недооцениваете мою силу, если не знаете, что мое искусство располагает и этими и другими, более таинственными средствами разрушения.¹ Но врач не

¹ Хорошо известно, как развита была на континенте в средние века наука отравления. Ее мерзкие приемы делались все более утонченными и получали с течением времени все более широкое применение. Среди прочих примеров дьявольского этого искусства нам доводилось слышать о перчатках, которые стоило лишь раз надеть, чтобы получить смертельное заболевание; о

умертвит пациента, чьими щедротами он живет; и, уж конечно, когда он только лишь и дышит жаждой мести, он не захочет убить союзника, который клятвенно обещал помочь ему в деле отмщения. Еще одно слово: если явится надобность разогнать сон (ибо кто в Шотландии может рассчитывать наверняка на восемь часов спокойного отдыха?), тогда вдохните в себя запах сильной эссенции, заключенной в этой вот ладанке. А теперь прощайте, сэр рыцарь; и если вы не можете почитать меня излишне совестливым человеком, то не откажите мне хотя бы в рассудительности и уме.

С этими словами аптекарь вышел из комнаты, причем в его поступи, обычно крадущейся, боязливой, появилось что-то более благородное, как будто сознание победы над властительным пациентом возвысило его.

Сэр Джон Рэморни предавался своим гнетущим думам, пока не почувствовал, что снотворное начинает оказывать свое действие. Тогда он на минуту приподнялся и кликнул пажу:

— Ивиот! Эй, Ивиот!.. («Зря я все же так разоткровенничался с этим ядовитым знахарем!..») Ивиот!

Паж явился.

— Аптекарь ушел?

— Ушел, с соизволения вашей милости.

— Один или с кем-нибудь?

— Бонтрон поговорил с ним с глазу на глаз и вышел почти тотчас же вслед за ним — как я подумал, по распоряжению вашей милости.

— Да, увы!.. Пошел принести еще каких-то лекарств... скоро вернется. Если он будет пьян, последи, чтоб не подходил близко к моей комнате, и не давай ему заводить с кем-нибудь разговор. Когда хмель вступит ему в голову, он блажит. Бесценный был человек, покуда английская алебарда не раскроила ему

письмах, которые, когда их вскрывали, источали роковое испарение, и т д и т п Вольтер справедливо и чистосердечно отмечает как отличительную черту англичан, что в их истории политические отравления не играли сколько нибудь значительной роли (*Прим. автора.*)

череп, а с той поры он порет вздор всякий раз, как приложится к чарке. Лекарь что-нибудь говорил тебе, Ивиот?

— Ничего, только повторил свой наказ не тревожить вашу честь.

— Чему ты должен неукоснительно следовать, — сказал рыцарь. — Меня, я чувствую, клонит ко сну, а я был лишен его с того злого часа, как получил свою рану... или если я и спал, то лишь урывками... Помогите мне снять халат, Ивиот.

— Да пошлют вам бог и его святые добрый сон, милорд, — молвил паж и, оказав своему раненому господину требуемую помощь, направился к выходу.

Когда Ивиот вышел, рыцарь, у которого все больше мутилось в мозгу, забормотал, как бы в ответ на прощальное пожелание паж:

— Бог... святые... Я спал, бывало, крепким сном с их благословения. Но теперь... Мне думается, если не суждено мне проснуться для свершения своих гордых надежд на могущество и месть, то лучше всего пожелать мне, чтобы сон, что дурманит сейчас мою голову, оказался предвестником иного сна, который вернет к изначальному небытию мои силы, взятые взаймы... Я больше не могу рассуждать...

Не договорив, он погрузился в глубокий сон.

Глава XVI

На заговенье, во хмелю!

Шотландская песня

Ночи, спустившейся над измученным Рэморни, не суждено было пройти спокойно. Протекло два часа с тех пор, как отзвонил вечерний колокол (а звонил он в семь часов) и все, по обычаю наших дедов, улеглись спать — кроме тех, кому не давали удалиться на покой молитва, служебный долг или попойка. А так как шел последний вечер масленой недели — постный

сочельник, как его называют в Шотландии,¹ — то в этих трех разрядах полуночников друзья веселья составляли огромное большинство.

Простой народ весь день отдал страстям игры в мяч; вельможи и дворяне смотрели петушинные бои или слушали озорные песни менестрелей; горожане же объедались молочными блинами, жареными в сале, и брозом, или брузом, то есть поджареной овсяной мукой, которая в горячем виде заваривается крепким и жирным отваром из солонины, — блюдо, и в наши дни отнюдь не презиравшее ветхозаветным вкусом простодушного шотландца. Таковы были развлечения и блюда, подобающие празднику; и торжественности вечера ничуть не нарушало, если набожный католик выпьет за ужином столько доброго эля и вина, сколько ему окажется по средствам, а коли он молод и удал, — покружится в хороводе или вступит в ряды исполнителей танца моррис, которые в Перте, как и всюду, рядились в фантастическое платье и норовили превзойти друг друга в ловкости и живости. Это буйное веселье оправдывалось тем разумным соображением, что перед наступающим великим постом не худо человеку как можно плотнее заполнить суетными чувственными удовольствиями остающиеся до него короткие часы.

Итак, отпировали, как положено, и в большей части города, как положено, улеглись на покой. Знатные господа приложили немало стараний, чтобы не дать возобновиться раздору между слугами знати и горожанами Перта, так что во время гульбы произошло даже меньше несчастных случайностей, чем обычно, — всего лишь три убийства да несколько случаев членовредительства, но поскольку коснулись они лиц незначительных, было сочтено излишним проводить

¹ Постный сочельник — последний вечер перед началом великого поста. В Англии он называется «исповедная пора», потому что в это время полагается исповедаться и получить отпущение грехов. Проводимые об эту пору еще и в наши дни петушинные бои и тому подобные развлечения представляют собой пережиток католического карнавала, который справлялся перед долгими неделями воздержания (*Прим. автора.*)

расследование. В общем, карнавал спокойно завершился, и только кое-где еще шла потеха.

Но одна компания бражников, стяжавшая наибольший успех, нипочем, казалось, не хотела кончать свои проказы. Выход, как это называлось, состоял из тринадцати человек, одетых все на один лад: замшевые облегающие стан полукафтаны с затейливой вышивкой и фестонами; на всех — зеленые колпаки с серебряными кисточками, красные ленты и белые башмаки; у всех на коленях и лодыжках нацеплены бубенчики, а в руках — обнаженные мечи. Рыцарственный выход, исполнив перед королем танец меча — с лязгом железа, с причудливыми телодвижениями, — соизволил рыцарственно повторить представление у дверей Саймона Гловера; и там, снова показав свое искусство, танцоры заказали вина для себя и для зрителей и с шумными возгласами выпили за здоровье пертской красавицы. Саймон вышел на шум, стал в дверях своего дома, выразил согражданам признательность за такую любезность и, в свою очередь, пустил по кругу чару с вином в честь веселых танцоров города Перта.

— Благодарим тебя, отец Саймон, — раздался нарочитый писк, сквозь который все же слышалась развязная чванливость тона, свойственная Оливеру Праудфьюту. — Но если ты дашь нам взглянуть на твою прелестную дочь, для нас, молодых удальцов, это будет слаще, чем весь урожай мальвазии.

— Благодарю, соседи, за ласку, — ответил Гловер. — Дочь моя занедужила и не может выйти на вечерний холод; но если этот веселый кавалер, чей голос я как будто узнаю, не откажется зайти в мой бедный дом, она пришлет с ним привет вам всем.

— Принесешь нам ее привет в харчевню Грифона! — закричали остальные танцоры своему счастливому товарищу. — Мы там встретим звоном великий пост и еще раз выпьем круговую за прелестную Кэтрин!

— Через полчаса явлюсь к вам, — сказал Оливер, — и посмотрим, кто осушит самую большую чашу, кто споет самую громкую песню. Да, я буду пить и

петь до последней минуты карнавала, хотя бы знал, что в первый день великого поста мои губы сомкнутся навеки!

— Прощай же, — прокричали его сотоварищи танцоры, — прощай, наш храбрый рубака, до скорой встречи!

Итак, танцоры двинулись дальше с пляской, с песнями следом за четверкой музыкантов, возглавлявшей их буйное шествие, а Саймон Гловер затащил между тем их вожака в свой дом и усадил его в кресло у очага своей гостиной.

— А где же ваша дочь? — сказал Оливер. — Она добрая приманка для нас, удалых вояк.

— Да право же, Кэтрин не выходит из своей светелки, сосед Оливер; попросту говоря, слегла.

— Коли так, поднимусь наверх, проведу большую... Вы помешали моей прогулке, кум Гловер, и должны мне это возместить... Такому, как мне, странствующему воителю не в обычае терять и девицу и чарку... Она в постели, верно?

У нас двоих такая статья
Девиц болящих навещать
Всегда к какой-нибудь больной
Мы ходим — я и песик мой

Мне помереть — не миновать!
Так пусть в могиле будем спать
Под доброй бочкою пивной
В обнимку — я и песик мой ¹

— Нельзя ли, сосед Праудфьют, хоть минутку без смеха да шуток? — сказал Гловер. — Мне нужно поговорить с тобою кое о чем.

— Без шуток? — ответил гость. — Да мне нынче весь день было не до шуток — как раскрою рот, так и просятся на язык слова о смерти, о похоронах, и все в таком роде, а это, как я посужу, вещи не шуточные.

— Святой Иоанн! — воскликнул Гловер. — Уж не свихнулся ли ты?

. ¹ Перевод С. Петрова

— Нет, нисколько... Не мою, собственно, смерть предвещали эти мрачные думы, у меня надежный гороскоп, я проживу еще с полвека. Вся беда в этом бедняге из людей Дугласа, в том молодчике, которого я зарубил в драке в канун Валентинова дня... Он помер минувшей ночью... Вот что камнем лежит на моей совести и будит печальные мысли. Ах, отец Саймон, нас, воителей, сгоряча проливающих кровь, временами осаждают черные думы... Я иной раз готов пожелать, чтобы мой нож не резал ничего, кроме шерстяной пряжи.

— А я хотел бы, — вставил Саймон, — чтобы мой не резал ничего, кроме замши, а то он нет-нет, да и порежет мне палец. Но можешь успокоить свою совесть: в драке был тяжело ранен только один человек — тот, которому Генри Смит отхватил руку, и он уже поправляется. Это парень из свиты сэра Джона Рэморни, и зовут его Черный Квентин. Его послали тайком в его родную деревню, в графство Файф.

— Как, Черный Квентин?.. Тот самый, значит, кого мы с Генри — мы же всегда деремся бок о бок! — рубанули одновременно мечами, только мой меч упал чуть раньше? Боюсь я, как бы ссора теперь не разгорелась пуще, и мэр боится того же... Так он поправляется? Ну, я очень рад, и раз уж ты не пускаешь меня посмотреть, к лицу ли Кейт ее ночная сорочка, я поспешу к Грифону, к своим танцорам.

— погоди минутку. Ты друг-приятель Генри Уинда и оказал ему немалую услугу, приняв на себя кое-какие его подвиги, в том числе и последний. Хотел бы я, чтобы ты снял с него и другие обвинения, которые возводит на него молва.

— Клянусь рукоятью своего меча, все это черная клевета, отец Саймон, черная, как ад! Щит и клинок! Разве люди меча не должны стоять стеной друг за друга?

— Прошу терпения, сосед шапочник! Ты можешь оказать Смиу добрую услугу, и у тебя правильный взгляд на вещи. Я недаром решил посоветоваться именно с тобою касательно этого дела — хоть я и не

считаю тебя умнейшей головой в Перте: скажи я такое, я солгал бы.

— Ну-ну, — самодовольно ответил шапочник, — я знаю, чего, по-вашему, мне не хватает: вы, люди холодного расчета, считаете нас, в ком кровь бурлит, дураками... Я слышал двадцать раз, как люди называли Генри Уинда сумасбродом.

— Бывает, что и холодный расчет неплохо ладит с сумасбродством, — сказал Гловер. — Ты — добрая душа и, я думаю, любишь своего приятеля. Между нами сейчас не все гладко, — продолжал Саймон. — Тебе, верно, известно, что шла речь о браке между моей Кэтрин и Генри Гоу?

— Поговаривают о том с Валентинова дня... Эх! Счастлив будет тот, кто получит в жены пертскую красавицу!.. А все-таки часто после женитьбы удалец уже не тот, что был! Я и сам иной раз сожалею...

— О своих сожалениях ты, парень, пока помолчи, — перебил довольно нелюбезно Гловер. — Ты, верно, знаешь, Оливер, что кое-какие сплетницы — из тех, которые считают, кажется, своим долгом соваться во все на свете, — обвинили Генри Уинда в том, будто бы он водит недостойную дружбу с бродячими певицами и прочим таким людом. Кэтрин приняла это к сердцу; да и я почел обидным для моей дочери, что он не пришел посидеть с нею на правах Валентина, а проякшался с каким-то отребьем весь тот день, когда обычай старины давал ему отличный случай поухаживать за девушкой. Так что, когда он явился сюда поздно вечером, я, старый дурак, сгоряча попросил его идти назад в ту компанию, с которой он расстался, и не пустил его в дом. С того часа я с ним не виделся, и меня разбирает сомнение, не слишком ли я поторопился в этом деле. Она у меня единственное дитя, и я скорей похороню ее, чем отдам развратнику. Но до сих пор я полагал, что знаю Генри Гоу как родного сына. Я не думаю, чтобы он мог так с нами обойтись; и, может быть, найдется какое-нибудь объяснение тому, в чем его обвиняют. Присоветовали мне расспросить Двайнинга — он, говорят, поздоровался со Смитом, когда тот шел по улице в таком замечатель-

ном обществе... Если верить Двайнингу, девица была не кто иная, как двоюродная сестра Смита, Джоэн Лэтам. Но ты же знаешь, у этого торговца зельями всегда язык говорит одно, а улыбка — другое... Так вот, Оливер, ты у нас не хитер... то есть я хотел сказать, ты слишком честен... и не станешь говорить против истины. А так как Двайнинг упомянул, что ты тоже видел эту особу...

— Я ее видел, Саймон Гловер? Двайнинг говорит, что я видел ее?

— Нет, не совсем так... Он говорит, что ты ему сказал, будто ты встретил Смита в таком обществе.

— Он лжет, и я запихну его в аптечную банку! — сказал Оливер Праудфьют.

— Как! Ты вовсе и не говорил ему о такой встрече?

— А если и говорил? — ответил шапочник. — Разве он не поклялся никому словечком не обмолвиться о том, что я ему сообщу? Значит, если он доложил вам о случившемся, он, выходит, лжец!

— Так ты не встретил Смита, — прямо спросил Саймон, — в обществе распутной девки, как идет молва?

— Ну, ну!.. Может, и встретил, может, и нет. Сам посуди, отец Саймон: я четыре года как женат, где уж мне помнить, какие ножки у бродячих певиц, и походочка, и кружева на юбке, и прочие пустяки... Нет, пусть об этом думают неженатые молодцы вроде моего куманька Генри.

— Вывод ясен, — сказал в раздражении Гловер, — ты в самом деле на Валентинов день встретил его при всем честном народе, на людной улице...

— Ну зачем же, сосед? Я встретил его в самом глухом и темном переулке Перта. Он быстро шагал к себе домой и, как положено кавалеру, тащил на себе и даму и всю ее поклажу: собачонка на одной руке, а сама девица (по-моему, очень пригожая) повисла на другой.

— Святой Иоанн! — воскликнул Гловер. — Да перед таким бесчестьем доброму христианину впору отречься от веры и начать со зла поклоняться дьяволу! Не видать ему больше моей дочери! По мне, лучше

ей уйти с голоногим разбойником в дикие горы, чем обвенчаться с человеком, который уже сейчас так бессовестно претупает и честь и приличия... Не нужен он нам!

— Полегче, полегче, отец Саймон, — остановил его нестрогий в суждениях шапочник. — Вы забыли, что такое молодая кровь! Он недолго возжался с потешницей, потому что... Уж скажу вам правду, я за ним немножко последил... и я видел, как перед рассветом он вел свою красотку на Сходни богоматери, чтобы сплавить ее по Тэю из Перта. И я знаю наверное (порасспросил кого надо) — она отплыла на паруснике в Данди. Так что сами видите, это была лишь мимолетная забава юности.

— И он приходит сюда, — возмутился Саймон, — и требует, чтобы его пустили к моей дочери, а тем часом дома его ждет красотка! По мне, лучше бы он зарезал в драке двадцать человек! Нечего и говорить, ясно всякому, а уж тем более тебе, Оливер Праудфьют, потому что, если ты сам и не таков, ты хотел бы слыть таким... Но все же...

— Эх, не судите так сурово, — сказал Оливер, который теперь только смекнул, как подвел он друга своей болтовней, и чем ему самому грозит недовольство Генри Гоу, если Саймон передаст оружейнику, в какие разоблачения пустился храбрый вояка — и не по злему умыслу, а просто по суетности нрава. — Надо помнить, — продолжал он, — что юности свойственно безрассудство. Случай соблазнит человека на подобную шалость, а исповедь скинет ее со счетов. Могут вам признаться, что хотя моя жена самая приятная женщина в городе, однако же и я...

— Молчи ты, глупый хвостун! — крикнул с сердцем Гловер. — Твои похождения, что любовные, что боевые, — одна легенда. Если тебе непременно нужно лгать, потому что такова твоя природа, неужели ты не можешь придумать что-нибудь, чему бы люди поверили? Точно я не вижу тебя насквозь, как если бы я смотрел на огонь в роговом светильнике! Точно я не знаю, грязный сучильщик гнилой пряжи, что дойди твоя похвальба до ушей жены, ты не посмел бы пере-

ступить порог собственного жилья, как не посмел бы скрестить оружие с мальчишкой двенадцати лет, который первый раз в жизни вынул меч из ножен! Клянусь святым Иоанном, вот возьму да передам твоей Моды, чем ты так бойко хвастаешь, получишь тогда по заслугам за свои труды, разносчик сплетен!

При этой угрозе шапочник так затрепетал, точно у него неожиданно просвистела над головой стрела из арбалета.

— Ой ли, добрый отец Гловер! — залепетал он с дрожью в голосе. — Вы вот гордитесь своими седыми волосами. Поразмыслите, милый сосед, не слишком ли вы стары, чтобы вступать в пререкания с молодым воителем? А что до моей Моды, то здесь я вполне на вас полагаюсь — уж кто другой, а Саймон Гловер не станет нарушать мир в чужой семье.

— Не больно-то на меня полагайся, бахвал! — вскипел Гловер. — Ступай вон да уноси подальше то, что ты зовешь головою, а не то я тряхну стариной и обломаю твой петушиный гребень!

— Вы хорошо повеселились на проводах масленицы, сосед, — сказал шапочник, — и я вам желаю спокойного сна. Утром мы встретимся более дружески.

— А нынче прочь от моего порога! — закричал Гловер. — Мне стыдно, что твой праздный язык мог меня так взволновать... Болван... скотина... хвастливый петух! — восклицал он, кинувшись в кресло, когда шапочник удалился. — Подумать только! Парень весь — сплошное вранье, и недостало у него милосердия сочинить какую-нибудь ложь, чтобы прикрыть срамоту своего друга! Да и я-то хорош, если хотел в глубине души найти благовидный предлог, чтоб извинить жестокую обиду, нанесенную и мне и моей дочери! Но я был такого мнения о Генри, что с радостью поверил бы самой грубой выдумке, какую мог измыслить хвастливый осел... Ладно, что об этом думать!.. Мы должны сохранить наше доброе имя, хотя бы все кругом пошло прахом.

Покуда Гловер терзался из-за того, что так некстати подтвердились слухи, которые он предпочел бы считать ложными, танцор, прогнанный за дверь, мог

поразмыслить на досуге в холодке темной февральской ночи о возможных последствиях необузданного гнева перчаточника.

«Но это ничто, — рассуждал он, — перед яростью Генри Уинда! Тому случалось убить человека и за меньшее, а уж если кто посеял недовольство между ним и Кэтрин... или этим свирепым стариком, ее отцом!.. Спору нет, мне было бы самое верное начисто все отрицать. Но меня разбирало желание показать, что я — искушенный кавалер (а разве нет?) и кое-что знаю. Пойти теперь, что ли, к Грифону, допировать до конца?.. Только вот Моды разбушует, когда я вернусь... Да, но ведь вечер как-никак праздничный, можно кое-что себе позволить... Вот что, к Грифону не пойду — пойду-ка я к Смиту... Он, конечно, дома, раз никто не видел его сегодня на гулянье. Попробую установить с ним мир и пообещаю замолвить за него словечко перед Гловером. Гарри — человек прямой, простая душа, и хотя я думаю, что в схватке он бы осилил меня, зато в словесной перепалке я могу вернуть им как хочу. На улицах тихо, ночь темная. Если повстречаю каких-нибудь озорников, могу отойти в сторонку. Пойду к Смиту, закреплю нашу дружбу — и плевал я тогда на старого Саймона! Святой Ринган как-нибудь спасет меня в эту ночь, а там... Я скорее откушу себе язык, чем позволю ему опять навлечь беду на мою голову! Когда у Гловера вскипела кровь, вид у него был такой, точно он больше привык резать ножищем бычью шкуру на куртки, чем кроить на перчатки замшу».

Так раздумывая, грозный Оливер быстро, но по возможности бесшумно шагнул к Уинду, где находилось, как читатель уже знает, жилище Смита. Но злосчастье упрямо преследовало шапочника. Едва свернув на Хай-стрит, он услышал совсем близко громкую музыку и голоса.

«Мои веселые приятели, затейники-танцоры, — подумал он. — Я среди сотни других распознаю трехструнный ребе́к старого Джереми. Тут-то я и отважусь пересечь улицу, пока они не пошли дальше... если за мною кто подглядывает, пойдет обо мне мол-

ва, что я пустился один в поиски приключений, а это ли не слава для странствующего воителя!»

Итак, с мечтой отличиться среди удалых кавалеров, но втайне следуя благоразумному расчету, шапочник сделал попытку перейти на другую сторону. Однако весельчаки, кто бы они ни были, шли с факелами, и отсветы огней упали на Оливера, чья светлая одежда отчетливо выделялась в темноте. Звуки музыки утонули в многоголосом: «Попался! Попался!» — и, прежде чем шапочник успел решить, что лучше — остановиться или бежать, двое проворных молодцов с тяжелыми дубинами в руках, похожие в своих причудливых маскарадных костюмах на дикарей, вдруг схватили его и патетически вскричали:

— Сдавайся, надутый пузырь в колокольцах, сдавайся безоговорочно, или смерть тебе, веселый танцор!

— Кому я должен сдаться? — пролепетал шапочник. Он хоть и видел, что имеет дело с компанией ряженных, решивших потешиться, однако разглядел в то же время, что они по состоянию куда выше его, и со страху растерял всю отвагу, необходимую, чтобы не уронить свое достоинство в игре, где с низшим могли обойтись куда как круто.

— Ты еще разговариваешь, раб! — вмешался один из ряженных. — Или ты только тогда поймешь, что ты наш пленник, когда моя палка прогуляется по твоей спине?

— Нет, нет, могущественный индеец, — залепетал шапочник, — я повинуюсь вам... с радостью...

— Так ступай же, — кричали ряженные, — воздай честь Императору Мимов, Королю Проказников, Великому Герцогу Часа Тьмы и объясни, по какому праву ты расхаживаешь по его владениям, чванливо позвякивая бубенцами да вырядившись в кожу для сапог, и не платишь ему дани? Знаешь ли ты, что подлежишь казни за измену королю?

— Это, я сказал бы, чересчур сурово, — проговорил бедный Оливер, — я не знал, что его светлость нынче вечером вступил в управление государством... Но я готов испустить свою вину, насколько позволит

кошелек скромного шапочника, — поставить, скажем, в виде пени галлон вина... или что-нибудь такое.

— Веди его к Императору! — закричали кругом.

И танцора поставили перед очень худым, но стройным и красивым молодым человеком в великолепном одеянии: пояс и тиара из павлиньих перьев, которые в те времена привозились с востока как редкостная диковина, короткая куртка и штаны из леопардовой шкуры, плотно облегавшие стан, а все остальное затянуто в шелк телесного цвета для вящего сходства с обычным представлением об индийском князе. На ногах у него были сандалии, подвязанные алыми шелковыми лентами, а в руке он держал нечто вроде дамского веера тех времен, сделанного из павлиньих же перьев, собранных в султан или метелку.

— Кто сия надменная особа, — сказал индийский вождь, — осмелившаяся прицепить бубенчики плясуна к ногам осла? Эй ты, приятель, твой наряд делает тебя нашим подданным, ибо нам подвластна вся Страна веселья, со всеми мимами и менестрелями любого толка. Что? Язык прилип к гортани? Он не допил, налейте ему винца полную нашу скорлупку.

К губам упиравшегося пленника приставили огромную тыквенную бутыль белого испанского вина, а князь бражников потребовал:

— Раздави мне этот орешек, только честно, без гримас.

В умеренном количестве Оливер с удовольствием отведал бы этого отличного вина, но предложенная доза повергла его в ужас. Он отпил сколько мог и взмолился о пощаде:

— Извините меня, ваше сиятельство, мне нынче предстоит еще далекий путь, а ежели я выпью вина в меру вашей всемилостивейшей щедрости, за которую нижайше вас благодарю, то свалюсь в первую же сточную канаву.

— Можешь ты вести себя как веселый малый? А ну, попрыгай. Ага! Раз... два... три!.. Замечательно!.. Еще! Пришпорьте его (тут кто-то из свиты индийского князя легонько кольнул Оливера мечом)... Ого, вот это да! Подскочил, словно кот на крыше!

Поднесите ему еще разок скорлупку... Нет, без принуждения, он уплатил пеню сполна и заслужил не только свободный пропуск, но и награду. Стань на колени... так... и ты станешь рыцарем Тыквенной Бутыли! Как тебя зовут? Эй, кто-нибудь, одолжи мне свою рапиру!

— Оливером, с соизволения вашей чести... то есть вашего высочества...

— Оливером? Значит, ты и так уже один из Дюжины пэров¹ и судьба возвысила тебя сама, предвосхитив наше намерение. Так встань же, дорогой сэра Оливер Соломенная Башка, рыцарь славного ордена Тыквы... Встань во имя Чепухи, ступай по собственным твоим делам, и черт с тобой!

С такими словами князь бражников плашмя, но крепко ударил шапочника рапирой по плечу. Рыцарь Тыквы вскочил проворней прежнего и, подгоняемый улюлюканьем и смехом, домчался со всех ног, ни разу не остановившись, до самого дома кузнеца так быстро, как бежит от гончих лисица к своей норе.

Только стукнув уже кулаком в дверь, перепуганный шапочник вспомнил, что нужно было подумать наперед, с чем он предстанет перед Генри и как добьется от него прощения за то, что нечаянно проговорился Саймону Гловеру. На первый стук никто не отозвался, и, может быть, после этой минутной задержки шапочник, одумавшись, отступился бы от своего намерения и пошел восвояси: но донесшийся издалека взрыв музыки и пения оживил в нем страх снова попасть в руки озорников, от которых он едва ушел. Торопливой, хотя и нетвердой рукой Оливер вторично постучал в дверь кузнеца, и тут его поверг в трепет густой, но не лишенный мелодичности голос Генри Гоу, отзывавшийся из дома:

— Что за гость в этот час?.. Чего вам надобно?

— Это я... Оливер Праудфьют, — пролепетал шапочник. — Я должен рассказать тебе занятную штуку, кум Генри.

¹ Двенадцать пэров Карла Великого, получившие бессмертие в эпической поэзии. (Прим. автора)

— Неси свои глупости на другой базар, мне не до шуток, — сказал Генри. — Ступай прочь... Сегодня я никого не желаю видеть.

— Но, куманек... милый куманек! — отвечал воин. — На меня насаждают негодяи, я прошу убежища под твою крышей!

— Дуралей! — крикнул Генри. — Ни один петух с вонючего двора, даже самый трусливый из всех сражавшихся нынче на проводах масленой, не станет трепать свои перья о такую ворону, как ты!

В этот миг новый взрыв пения, и значительно приблизившийся, как отметил шапочник, довел его тревогу до предельного накала. Он опять взмолился, и в голосе его прозвучал такой отчаянный и откровенный страх, точно бедняга и впрямь подвергался непосредственной опасности:

— Ради нашего старого кумовства и пречистой богородицы,пусти меня, Генри, если не хочешь, чтобы нашли у твоих дверей мой кровавый труп, изрубленный кровожадными Дугласами!

«Это покрыло бы меня позором, — подумал добросердечный Смит. — И, сказать по правде, в городе небезопасно. По улицам слоняется всякий народ; иной ястреб не побрезгает заклевать не только цаплю, но и воробья».

Пробурчав вполголоса эти мысли, Генри снял с двери крепкий засов, предполагая, перед тем как впустить в свой дом незваного гостя, проверить сперва, так ли велика опасность. Но когда он выглянул за дверь, чтобы осмотреться, Оливер шмыгнул в дом, как вспугнутый олень в кусты, и пристроился на кухне у Смитова очага раньше, чем Генри успел окинуть взглядом переулок и убедиться, что никакие враги не преследуют перетрусившего беглеца. Он снова крепко запер дверь и вернулся на кухню, досадуя, что, поддавшись жалости к трусу, позволил нарушить мрачное свое одиночество, хоть и пора бы уж знать, подумал он, что жалость в нем так же легко пробудить, как страх в его боязливом приятеле.

— Ну как? — сказал он, увидев, что шапочник преспокойно расположился у очага. — Что за дурац-

кая выходка, мастер Оливер?.. Я никого поблизости не вижу, кто мог бы тебя обидеть...

— Дай мне попить, добрый куманек, — сказал Оливер. — У меня дыхание сперло, так я спешил к тебе!

— Я поклялся, — сказал Генри, — что в этом доме не будет нынче гулянья.. На мне, ты видишь, и одежда затрапезная, и я не пирую, а пощусь, несмотря на праздник, потому что на то есть причина. А ты уже и так довольно нагрузился для праздника, судя по тому, как заплетается у тебя язык... Если хочешь еще вина или эля, иди куда-нибудь в другое место.

— Да, нынче меня крепко угостили, — сказал бедный Оливер. — Я даже чуть не утоп в вине... Будь она проклята, эта тыква!.. Мне бы глоток воды, куманек, — уж в нем ты мне, наверно, не откажешь? . Или, если соблаговолишь, чашку холодного легкого пивка.

— Только и всего? Ну, за этим дело не станет, — сказал Генри. — Но сильно же ты нализался, коли запросил таких напитков.

С этими словами он нацедил из стоявшего рядом бочонка большой, на добрую кварту, жбан. Оливер жадно схватил его, поднес трясущейся рукой ко рту и, волнуясь, высосал дрожащими губами все содержимое; хотя пиво, как и просил он, было некрепкое, но так он был измучен всяческими страхами и опасениями, что, поставив жбан на дубовый стол, вздохнул во всю грудь, не говоря ни слова.

— Что ж, горло ты промочил, куманек, — сказал Смит. — В чем же дело? Где они, те, что тебе грозили? Я никого не видел.

— Да... Но за мною гнались двадцать человек, пока я не свернул в твой переулок, — ответил Оливер. — Когда же они увидели, что нас двое, они, понимаешь, растеряли свою храбрость, которой у них достало бы, чтоб навалиться всем сразу на кого-нибудь одного из нас.

— Не мели ты вздор, друг Оливер, — оборвал хозяин, — я нынче не расположен шутить,

— Святой Иоанн Пертский мне свидетель, я вовсе не шучу. Меня остановили и подло всего искололи, — он провел ладонью по задетым местам, — сумасшедший Давид Ротсей с горлопаном Рэморни и всеми прочими. Они влили в меня целый бочонок мальвазии.

— Глупости ты говоришь, приятель. Рэморни чуть не при смерти, как рассказывает всюду торговцев зельями; ни он, ни все они не могли, конечно, встать среди ночи, чтобы так озорничать.

— Спорить не стану, — ответил Оливер, — но я видел компанию при факелах и жизнью своей поклянусь, что на них были шапки, которые я сам сделал по их заказу в эту зиму после дня святого Иннокентия. Чудного покроя шапки — и уж свой-то стежок я от всякого отличу.

— Да, тебя, пожалуй, могли крепко поколотить, — согласился Генри. — Страшновато теперь идти назад; уж лучше я прикажу, чтобы тебе постелили здесь. Но ты сразу же ляжешь, потому что я не расположен разговаривать.

— Н-да... Я был бы очень тебе благодарен нынче за ночлег, да только моя Моди рассердится. То есть не рассердится, это бы меня ничуть не испугало, но, сказать по правде, она будет очень беспокоиться в такую бражную ночь, потому что знает, что я, как и ты, смел на язык и скор на расправу.

— Так иди домой, — сказал Смит, — и покажи ей, мастер Оливер, что ее сокровище цело и невредимо. На улицах тихо... И, скажу напрямик, мне хочется побыть одному.

— Да, только мне надобно поговорить с тобой кое о чем, — начал опять Оливер, которому и оставаться было боязно и уходить не хотелось. — Вышел у нас шум в городском совете из-за того дела в ночь на святого Валентина. Мэр сказал мне часа четыре назад, что спор будет разрешен единоборством двух бойцов, по одному с каждой стороны, и что наш знакомец Чертов Дик должен показать свою рыцарскую доблесть и сразиться за дело Дугласа и знати, а один из нас — либо ты, либо я — будет биться за

Славный Город. Так вот, хоть я и постарше, все же я согласен ради дружбы и любви, какую мы всегда питали друг к другу, уступить тебе первенство, а самому удовольствоваться более скромной обязанностью палочника.¹

Генри Смит, как ни был он рассержен, еле удержался от улыбки.

— Если только это гонит от тебя покой и до полуночи не дает тебе улечься спать, я легко улажу вопрос. Тебе не придется отказываться от лестного преимущества. Я сражался в поединках много раз — слишком, слишком много. А ты, я думаю, встречался только со своим деревянным султаном: было бы нехорошо, нечестно, неблагородно с моей стороны воспользоваться твоею дружеской жертвой. Иди же домой, и пусть боязнь упустить почет не тревожит твой сон. Спи спокойно в уверенности, что ты примешь вызов, и по праву, потому что этот дерзкий наездник нанес тебе обиду.

— Я очень тебе признателен и премного благодарен, — сказал Оливер, сильно смущенный неожиданной уважительностью оружейника. — Ты мне добрый друг, каким я всегда тебя считал. Но я так же дружески предан Генри Смицу, как и он Оливеру Праудфьюту. Клянусь святым Иоанном, я не стану драться по этому спору в ущерб для твоей чести. А уж раз я так сказал, никакой соблазн не заставит меня пойти на попятный; ведь не захочешь ты, чтобы я стал клятвопреступником, хотя бы и ради чести сразиться в двадцати поединках.

— Послушай, — сказал Смит, — признайся, что ты боишься, Оливер. Скажи правду честно и прямо, а иначе я тебе предоставлю самому расхлебывать кашу.

— Нет, милый кум, — ответил шапочник, — ты знаешь, что я никогда ничего не боюсь. Но что и говорить, этот Дик — отчаянный головорез, а у меня жена, моя бедная Моды, ты знаешь... и малые дети. Ну, а у тебя...

¹ Так в старину назывались следившие за правилами поединка секунданты, эмблемой которых были белые палки. (Прим. автора.)

— А у меня, — перебил поспешно Генри, — нет никого и никогда не будет.

— Словом... раз оно так, я предпочел бы, чтобы на поединок вышел не я, а ты.

— Эх, клянусь святою девою, куманек, — сказал Смит, — легко тебя одурачить! Знай же, глупая голова, что сэр Патрик Чартерис всегда любил потешиться, и он над тобой подшутил. Неужели ты думаешь, он вверил бы честь города твоей руке? Или я уступил бы тебе первенство, когда пошел бы об этом спор? Ладно, ступай домой, и пусть Модии надеет тебе на голову теплый ночной колпак; а утром, когда ты съешь горячий завтрак и выпьешь чашку чистой воды, ты сможешь сразиться со своим чурбаном, или султаном, как ты его называешь, — только на нем и доведется тебе в жизни испробовать, как бьют сплеча.

— От тебя ли я это слышу, приятель? — ответил Оливер с большим облегчением, но все же почитая нужным представиться обиженным. — Ты все дразнишься, но мне нипочем; счастье твое, что ты не можешь настолько меня обозлить, чтобы я с тобой рассорился. Ладно, мы кумовья, и я в твоём доме. С чего бы это мы, два лучших в Перте удальца, вдруг скрестили клинки? Ну нет! Я знаю твой горячий нрав и умею это прощать... Значит, спор, ты говоришь, улажен?

— Вполне. Так все гладко, что молот глаже не заделает заклепку, — сказал Смит. — Горожане выдали Джонстону кошель с золотом — за то, что он не избавил их от беспокойного человека по имени Оливер Праудфьют, когда тот был у него в руках, и за это золото мэру достался Бессонный остров, который король ныне жалует ему, потому что всегда в конечном счете все оплачивает король. Таким образом, сэр Патрик получает отличный луг, прямо напротив своего замка, а наша честь ублажена вдвойне: ведь что даровано мэру, то, сам понимаешь, даровано городу. А главное, Дуглас покинул Перт — двинулся в поход на англичан, которых, люди поговаривают, призвал из-за рубежа изменник Марч. Так что Славный Город освободился от обременительного гостя.

— Но, во имя святого Иоанна, как же все это обделали тишком? — спросил Оливер. — Не было ни с кем разговорю?

— Понимаешь, друг Оливер, я думаю, дело вышло так: парень, которому я отрубил руку, оказался, как сейчас выясняется, слугой сэра Джона Рэморни. Он бежал к себе на родину, в Файф. И туда же ссылают сэра Джона — на радость каждому порядочному человеку. Ну, а всюду, где замешан сэр Рэморни, там ищи в придачу и другого человека, куда повыше. Саймон Гловер, я полагаю, так это и объяснил сэру Патрику Чартерису. Если верна моя догадка, то мне впору благодарить небо со всеми святыми, что я не зарубил его там на лестнице, когда он попался мне в руки.

— Я тоже от души благодарю небо и всех святых! — сказал Оливер. — Я, как ты знаешь, стоял у тебя за спиной и...

— Об этом, коли ты не глуп, помалкивай: закон строго карает всякого, кто поднимет руку на принца, — сказал Смит. — Лучше не хвататься за подкову, пока она не остыла. Сейчас дело замяли.

— Если так, — сказал Оливер, отчасти встревоженный, но, в общем, скорее успокоенный сообщениями своего неплохо осведомленного приятеля, — я вправе жаловаться на сэра Патрика Чартериса: как же это он, мэр нашего города, играет честью почтеннейшего горожанина?

— Правильно, Оливер! Вызывай его к барьеру, и он прикажет своему йомену спустить на тебя собак. Но смотри, уже далеко за полночь, тебе не пора ли?

— Нет, я хотел кое о чем с тобой потолковать, куманек. Но выпью сперва еще кружечку твоего холодненького пивка.

— Чума на тебя, дурень! Я готов послать тебя туда, где холодные напитки — редкостный товар. Ладно, выдуй хоть весь бочонок, если хочешь.

Оливер налил себе жбан, но пил (вернее, делал вид, что пьет) очень медленно, оттягивая время, чтобы обдумать, как подступиться к другому предмету разговора — предмету, касаться которого было куда

как не просто сейчас, когда Смит казался таким раздраженным. В конце концов ничего лучшего не пришло ему в голову, как бухнуть сразу:

— Я сегодня видел Саймона Гловера, кум.

— Так, — сказал Смит низким, густым и суровым голосом. — Ты видел, а я тут при чем?

— Ни при чем, ни при чем, — оторопел шапочник. — Только я думал, может быть, тебе любопытно будет узнать, что он с глазу на глаз спросил меня, встречал ли я тебя на Валентинов день после драки у доминиканцев — и с кем ты был.

— А ты, я поручусь, сказал ему, что встретил меня с уличной певицей по горло утопающим в грязи?

— Знаешь Генри, я не умею лгать, но я все с ним уладил.

— Как же, скажи на милость? — спросил Смит.

— А очень просто. Папаша Саймон, сказал я, вы старый человек, вы не понимаете нас, удальцов, в чьих жилах молодость бурлит, точно ртуть. Вы думаете, верно, что он занят этой девчонкой, сказал я, и, может быть, припрятал ее где-нибудь в Перте, в тайном уголке? Ничего похожего! Я знаю, сказал я, и могу в том поклясться, что на другое утро она ушла ранехонько из его дома и уехала в Данди... Ну что, разве я не помог тебе в нужде?

— Еще бы не помог! Если хоть что-нибудь могло в этот час усилить мою муку и горе, так только это: когда я глубоко увяз в болоте, приходит такой, как ты, осел и ставит неуклюжее копыто мне на голову, чтобы окончательно меня утопить! Ступай вон, и пусть тебе будет такая удача, какую ты заслужил, сунувшись в чужие дела, и тогда, я думаю, тебя найдут сломавшим себе шею в первой же канаве. Вон отсюда, или я выброшу тебя за дверь головой вперед!

— Ха-ха-ха! — рассмеялся принужденным смехом Оливер. — Ну и шутник же ты! Но, может быть, кум Генри, ты пройдешься со мной до Мучного ряда и заглянешь к нам, чтоб развеять печаль?

— Будь ты проклят, не пойду! — отрезал Смит.

— Если зайдешь, я угощу тебя вином, — сказал Оливер,

— Я угощу тебя дубинкой, если ты еще тут замешкаешься! — сказал Генри.

— Ну, так я надену твоё кожаное полукафтанье и твой стальной шлем, и пойду, как ходишь ты, вразвалку, и буду насвистывать песенку о том, «как ломали кости в Лонкарти»; если меня примут за тебя, они и вчетвером не посмеют подойти ко мне близко.

— Бери что хочешь, черт с тобой. Только убирайся.

— Ладно, ладно, Хэл, мы встретимся с тобою, когда ты будешь в лучшем расположении духа, — сказал Оливер, уже облачившись в его платье.

— Ступай... И чтоб больше я не видел твоей чванной рожи!

Оливер оставил наконец гостеприимного хозяина и побрел вразвалку, подражая, как умел, тяжелой поступи и широким жестам своего грозного друга и насвистывая песенку о разгроме датчан в Лонкарти, которую он перенял у Смита, посчитав её любимой песней оружейника, — а ему он всегда и во всем тщился подражать. Но когда безобидный, хоть и самонадеянный мастер, выйдя из Уинда, свернул на Хай-стрит, кто-то сзади ударил его по затылку, плохо защищенному шлемом, и шапочник упал на месте. Имя Генри — друга, к чьей защите он привык прибегать, — замерло на его языке.

Глава XVII

Ну чем же я не принц?

Фальстаф

Вернемся к бражникам, которые полчаса назад с бурным ликованием засвидетельствовали подвиг Оливера в пляске — последний, какой суждено было свершить бедному шапочнику, — а затем буйным гиканьем проводили его поспешное отступление. Нахотавшись вволю, они пустились дальше в свой веселый путь, забавляясь и озорую, останавливая и пугая

редких прохожих, но, надо признать, никому не нанеся существенной обиды, ни телесной, ни нравственной. Наконец, устав слоняться, их главарь дал знак своим затейникам обступить его тесным кольцом.

— Вы видите в нашем лице, мои храбрые сотоварищи и мудрые советники, — сказал он, — истинного короля¹ Шотландии, достойного держать власть в своих руках. Мы правим в те часы, когда ходит вкруговую чаша и становится ласковой красота, когда бесчинство бодрствует, а степенность храпит на соломенном тюфяке. Мы предоставляем нашему наместнику, королю Роберту, скучную задачу обуздывать честолюбивую знать, ублаговотворять жадное духовенство, приводить в повиновение диких горцев и улаживать кровавую вражду. И так как наша власть есть власть радости и наслаждения, нам пристало поспешно двинуть наши силы на спасение тех наших верных вассалов, кто, по злосчастью, захвачен в плен черной заботой и болезнью, именуемой ипохондрией. Речь идет в первую очередь о сэре Джоне — в просторечии Рэморни. Мы не встречали его со времени побоища на Кэрфью-стрит, и хотя нам известно, что он был ранен в этом деле, мы не видим причины, почему не может он должным образом оказать нам почет и повиновение. Эй, глашатай ордена Тыквенной Бутыли, звал ты по всей форме сэра Джона принять участие в вечернем пиршестве?

— Звал, милорд.

— А сообщил ты ему, что мы отсрочим для него на эту ночь приговор об изгнании, дабы можно было нам — коль скоро вынесла высшая власть такое по-

¹ В шотландской Книге статутах мы находим множество актов о тех озорных шутках, порой со смертельным исходом, какие разыгрывались во времена наших предков под эгидой лиц, избираемых отправлять высокую должность Королевы Мая, Принца Святок, Аббата Безрассудства, и т. д., и т. д., соответствовавших английскому Малютке Епископу и французскому Abbé de Liesse² (или Abbas Letitiæ).³ Равно и на проводах масленой избирались подобные же шутовские короли и вельможи. (Прим. автора.)

² Аббату Веселья (франц.).

³ То же (лат.).

становление — хотя бы весело отпраздновать проводы старого друга?

— Так я и доложил, милорд, — ответил шутейный герольд.

— И он не написал в ответ ни строчки? Он, столь похваляющийся своей великой ученостью?

— Сэр Джон лежал в постели, милорд, и меня к нему не допустили. Как мне передавали, он прожил эти дни в строгом уединении, пряча свои синяки и удрученный немилостью вашего высочества — да и не решаясь показаться на улицах после того, как едва унес ноги от горожан, когда те загнали его с двумя слугами в доминиканский монастырь. Слуг он отослал в Файф, пока они тут не наговорили лишнего.

— Что ж, неглупо, — сказал принц, который, как нам не нужно разъяснять догадливому читателю, мог называться так не только лишь по праву шутовского коронования. — Он поступил разумно, убрав подальше своих болтливых сподвижников. Но в том, что сэр Джон не присутствует на нашем торжественном празднестве, указ о котором был нами заблаговременно издан, я усматриваю прямой мятеж и отречение от своего суверена. Однако если рыцарь и в самом деле в плену у болезни и печали, мы должны лично провести его. Ибо нет лучшего лекарства от этих скорбей, нежели наше присутствие и нежный поцелуй тыквенной бутылки... Пошли, царедворцы, певцы, телохранители наши и сподвижники! Поднимите ввысь великую эмблему нашего достоинства... Выше, говорю я, наши тыквы! И пусть в носители этих сосудов, наполняющих чаши кровью своих жил, будут избраны самые трезвые из моих весельчаков. Их ноша тяжела и драгоценна, а они, хоть это в наших глазах не порок, покачиваются и спотыкаются больше чем желательно. Итак, вперед, господа, а менестрелям — запеть самую дерзкую, самую радостную песню!

Они двинулись в хмельном ликовании, и бесчисленные факелы бросали по узким улицам красные отсветы на оконца, откуда выглядывали в ночных колпаках домовладельцы — одни или с женами — посмотреть украдкой, что за дикое гулянье нарушило

сон города в неурочный час. Наконец веселое шествие остановилось перед домом сэра Джона Рэморни, отделенным от улицы небольшим двором.

Гости стучали, гремели, орали, ругая не желавших отворить ворота стражников и обещая отомстить. Самым легким наказанием, каким они грозили, было заточить виновных в пустую бочку в Массаморе¹ при дворце Принца Увеселений, иначе говоря — в пивном погребе. Но Ивиот, паж Рэморни, отлично узнавший голоса непрошенных гостей, так смело стучавших в дверь, щадя сон своего хозяина, почел наилучшим ничего не отвечать, в надежде что бражники пройдут мимо: попытка уговорить их, он знал, ни к чему не приведет. Спальня его хозяина выходила окнами в маленький сад, и паж надеялся, что шум не разбудит больного, а на прочность наружных ворот он вполне полагался; гости будут стучать, решил он, пока не надоест или пока в их пьяные головы не взбредет какая-нибудь другая затея. Бражникам и впрямь, по-видимому, наскучили крик и шум, который они сами же производили, колотя в ворота, но их шутейный принц (увы, не только шутейный!) упрекнул их, назвав ленивыми и скучными служителями бога вина и веселья.

— Подайте сюда, — сказал он, — наш ключ — вон он лежит!.. — и откройте им непокорную дверь.

«Ключ», на который он указывал, представлял собой здоровенную балку, брошенную среди улицы с обычным небрежением к порядку, характерным для шотландского города той поры.

Расшумевшиеся «индийцы» мгновенно подхватили балку на руки и сообщая с разбегу ударили ею в ворота так сильно, что петли, засов и крюк залязгали

¹ М а с с а м о р, или М а с с и М о р, — главная тюрьма феодального замка Предполагают, что это наименование проникло к нам в результате сношений с народами Востока в эпоху крестовых походов Доктор Джеймисон приводит ссылку на один старинный латинский путеводитель: «Proximus est carcer subterraneus sive ut Mauri appellant Mazmorra». ² (Прим. автора.)

² «Ближайшей является подземная темница или, как ее называют мавры, Мазморра» (лат.).

и должны были, казалось, уступить. Ивиот не стал дожидаться, когда таран сделает свое дело. Он вышел во двор и, задав для проформы несколько быстрых вопросов, приказал привратнику отворить ворота, как будто только сейчас узнал полночных гостей.

— Лживый раб вероломного хозяина! — сказал принц. — Где наш неверный вассал сэр Джон Рэморни — отступник, не отозвавшийся на наш призыв?

— Милорд, — сказал Ивиот, склоняясь перед высоким саном предводителя банды, и действительным и шуточным, — моему хозяину сильно неможется. Он принял снотворное, и... извините меня, ваша светлость, если я скажу вам, что сейчас с ним нельзя говорить, не подвергнув опасности его жизнь.

— Вздор! Не говори мне об опасности, юный мастер Тивиот... Чивиот... Ивиот, или как там тебя... Веди меня прямо в спальню к твоему хозяину! Или просто отвори мне дверь в его жилище, и я сам пойду наугад... Выше тыкву, храбрые мои друзья, и смотрите не пролейте ни капли напитка, который господин Бахус послал нам во исцеление всех телесных скорбей и душевных страданий. Выходите с нею вперед, говорю вам, дабы каждый из нас мог видеть священную оболочку, в которой заключен драгоценный напиток.

Принц, как сказал, вошел в дом и, прекрасно зная расположение комнат, взбежал по лестнице в сопровождении паж, тщетно умолявшего соблюдать тишину, и со всей своей буйной ватагой ворвался в комнату раненого.

Если доводилось вам, несмотря на мучительную боль, заснуть под действием снотворного, а затем из-за шума пробудиться от того неестественного бесчувствия, в которое вас насильственно погрузило лекарство, то вы легко себе представите тревогу и смятение сэра Джона Рэморни и его телесную муку, взаимно усиливавшие друг друга. А если вы учтете, что вдобавок к этим чувствам его смущала мысль о преступном приказе, недавно отданном и, возможно, исполняемом в эту минуту, вы тогда поймете, как было страшно пробуждение, которому раненый предпочел

бы вечный сон. В стане, каким дал он знать, что к нему возвращается сознание, было что-то настолько жуткое, что даже бражники благоговейно смолкли. В полулежащем положении, как застал его сон, сэр Джон повел глазами, и ворвавшиеся в комнату странные фигуры представились его расстроенному воображению вдвойне причудливыми.

— Значит, все это так, — забормотал он про себя, — не лжет писание! Вот они, черти, и я осужден навеки! Снаружи нет никакого огня, но я чувствую его... чувствую в своей груди... Он так горит, точно там, внутри, пылают семь печей.

Пока он в смертном ужасе глядел вокруг, стараясь хоть несколько прийти в себя, Ивиот подошел к принцу и, упав перед ним на колени, взмолился, чтобы тот удалил из комнаты своих людей.

— Этот шум, — сказал он, — может стоить моему хозяину жизни.

— Не бойся, Чивиот, — ответил герцог Ротсей. — Будь он даже на пороге смерти, вот это вырвет у чертей их добычу... Поднесите тыкву, господа.

— Приложиться к бутылки для него смерть, — сказал Ивиот. — Если он сейчас выпьет вина, он умрет.

— Так должен выпить за него кто-нибудь другой, его заместитель, и больной исцелится. Да пожалует наш преосвященный владыка Бахус сэра Джона Рэморни утехой, веселием сердечным, прочисткой легких и игрой воображения — своими приятнейшими дарами! А на верного слугу, который за него осушит кубок, да перейдут тошнота и рвота, расслабление нервов, муть в глазах и сумятица в мыслях — все то, что наш великий властитель добавляет к своим дарам, ибо иначе, прияв их, мы бы слишком уподобились небожителям... Что скажешь, Ивиот? Не будешь ли ты тем верным слугой, который осушит чашу во благо своего господина как его представитель? Выпей, и мы уйдем удовлетворенные, потому что, сдается мне, вид у нашего вассала плоховатый.

— Я бы сделал все, что в моих силах, — сказал Ивиот, — лишь бы избавить моего господина от питья, которое может его убить, а вашу светлость — от со-

знания, что вы виновник его смерти. Но вот человек, который совершит этот подвиг с великой охотой и вдобавок поблагодарит ваше высочество.

— Кого мы видим пред собой? — сказал принц. — Мясник, и, кажется, прямо с бойни! Разве мясники не отдыхают от дел в канун великого поста? Ух, как разит от него кровью!

Это сказано было о Бонтроне. Ошеломленный шумом в доме, где ожидал найти мрак и тишину, и одурев от вина, поглощенного им в огромном количестве, он стоял в дверях, тупо глядя на странное зрелище; его куртка буйволово́й кожи была залита кровью, а в руке он держал окровавленный топор, являя отталкивающий вид для бражников, ощутивших в его присутствии безотчетный страх и омерзение.

Когда этому неуклюжему и свирепому дикарю поднесли тыквенную бутылку и он жадно протянул к ней руку, измазанную, казалось, в крови, принц закричал:

— Уведите его вниз — мерзавец не должен пить перед нами! И найдите ему другой какой-нибудь сосуд, а не священную тыкву, эмблему нашей гульбы. Лучше всего подошло бы свиное корыто, если сыщется. Убрать его отсюда и напоить как положено, во искупление трезвости его хозяина... А меня оставьте с сэром Джоном и его пажом... Нет, по чести — он мне очень не понравился на вид, тот мерзавец!

Спутники принца вышли из комнаты, остался один Ивиот.

— Боюсь, — начал принц, подойдя к кровати, совсем в другом тоне, чем говорил до сих пор, — боюсь, мой дорогой сэр Джон, что мы явились не вовремя. Но вина на тебе самом. Ты знаешь наш старый обычай и сам принимал участие в подготовке к празднику, а между тем с Валентинова дня не показывался нам на глаза — а сегодня заговенье перед великим постом! Твое дезертирство граничит с прямым мятежом и означает измену Королю Веселья и уставу ордена Тыквенной Бутыли.

Рэморни поднял голову и остановил на принце туманный взгляд, потом кивнул Ивиоту, чтобы тот

дал ему пить. Паж налил большую чашу настоя ромашки, которую больной осушил жадными глотками, торопливо и весь дрожа. Затем он несколько раз приложился к живительной эссенции, нарочно для такого случая оставленной врачом, и его рассеянные мысли пришли наконец в ясность.

— Дай мне пощупать твой пульс, дорогой Рэморни, — сказал принц, — я кое-что смыслю в этом искусстве. Как! Ты мне протягиваешь левую руку, сэр Джон? Это против правил как медицины, так и учтивости.

— Правая уже отслужила вашему высочеству, — пробормотал больной тихим, надломленным голосом.

— Что ты хочешь сказать? — смутился принц. — Я знаю, твой слуга Черный Квентин потерял руку; но он и левой может наворовать ровно столько, сколько надо, чтобы угодить на виселицу, так что в его судьбе ничто, в сущности, не изменилось.

— Эту потерю на службе вашей милости понес не он... Ее понес я, Джон Рэморни.

— Ты? — сказал принц. — Ты дурачишь меня, или твой рассудок еще не прояснился после снотворного?

— Даже если сок всех маков Египта сольется в одно питье, — сказал Рэморни, — его действие на меня рассеется, когда я погляжу вот на это.

Он вынул из-под одеяла забинтованную правую руку и протянул ее принцу.

— Если все это развязать, — сказал он, — ваше высочество увидит кровавый обрубок — все, что осталось от той руки, которая всегда была готова обнажить меч по первому велению вашей милости.

Ротсей в ужасе отшатнулся.

— Это должно быть отомщено! — воскликнул он.

— В малой мере уже отомщено, — сказал Рэморни. — Кажется, я видел здесь только что Бонтрона.. Или видение ада, возникшее в моем мозгу, когда я пробудился, породило близкий ему образ? Ивиот, позови этого скота — конечно, если он в пристойном виде.

Ивиот вышел и вскоре вернулся с Бонтроном, избавив его от наказания, для него не столь уж не-

приятного, — выпить вторую бутылку вина, потому что первую он уже осушил и она не произвела на него заметного действия.

— Ивиот, — сказал принц, — не позволяй этой твари подойти ко мне. Моя душа отшатывается от него в ужасе и отвращении; в его внешности есть что-то столь чуждое моей природе, что меня кидает в дрожь, как перед мерзостной змеей, против которой восстает инстинкт.

— Сперва послушаем, что он скажет, милорд, — возразил Рэморни. — Он немногословен, как никто, разве что заставили бы говорить мехи с вином. Ты с ним расправился, Бонтрон?

Дикарь поднял секиру, которую все еще держал в руке, и снова опустил лезвием вниз.

— Хорошо. Как ты узнал человека? Ночь, мне сказали, темная.

— По виду и на слух: одежда, походка, свист.

— Довольно, прочь с моих глаз!.. А ты, Ивиот, вели дать ему золота и вина вдосталь по скотской его природе... Прочь с моих глаз!.. И ты вместе с ним.

— А кого убили? — спросил принц, избавившись от чувства омерзения и ужаса, которое владело им, покуда убийца был у него перед глазами. — Надеюсь, это только шутка? Если нет, я должен назвать такое деяние опрометчивым и диким. Кого же постигла жестокая участь быть зарезанным этим кровожадным и грубым рабом?

— Человека немногим лучше его, — сказал раненый, — жалкого ремесленника, которому, однако, волей судьбы случилось превратить Рэморни в калеку, черт бы уволок его низкую душу!.. Мою жажду мести не насытит его смерть — капля воды, упавшая в горн. Я буду краток, потому что опять мои мысли пошли вразброд; только необходимость еще связывает их на время, как держит колчан горстку стрел. Вы в опасности, милорд, я это знаю наверное... Вы пошли против Дугласа и притом оскорбили вашего дядю... И вызвали еще неудовольствие отца... что, впрочем, было бы пустяком, когда бы не все остальное.

— Я сожалею, что вызвал неудовольствие отца, — сказал принц, предав забвению такое незначительное происшествие, как убийство ремесленника, едва лишь речь зашла о более важном предмете. — Но если суждено мне жить на свете, сила Дугласа будет сломлена. Не много пользы получит Олбени от всей своей хитрости.

— Да... если... если, милорд! — сказал Рэморни. — При таких противниках, как у вас, вы не должны полагаться на «если» да «кабы» — вы сразу должны сделать выбор: убить вам или быть убитым.

— Что ты говоришь, Рэморни? Тебя лихорадит, ты бредишь! — ответил герцог Ротсей.

— Нет, милорд, — сказал Рэморни, — как бы я ни обезумел, мысли, что сейчас проносятся в моем уме, уняли бы лихорадку. Возможно, сожаление о моей потере доводит меня до иступления, а тревога за ваше высочество толкает на дерзкие замыслы... Но я в полном разуме, когда говорю вам, что если вы желаете носить когда-либо корону Шотландии... нет, больше того — если хотите еще раз встретить день святого Валентина, вы должны...

— Что же я должен сделать тогда, Рэморни? — сказал высокомерно принц. — Надеюсь, ничего, что недостойно меня?

— Конечно, ничего недостойного, не подобающего принцу Шотландии, если кровавые летописи нашей страны рассказывают правду; но нечто такое, перед чем, наверно, содрогнется принц шутов и бражников.

— Ты строг, сэр Джон Рэморни, — сказал с откровенной досадой Ротсей, — но потеря, понесенная тобой на нашей службе, дает тебе право осуждать нас.

— Милорд Ротсей, — сказал рыцарь, — хирург, леча мне этот покалеченный обрубок, сказал, что чем ощутимее боль от его ножа и прижигания, тем вернее могу я рассчитывать на быстрое выздоровление. Так и я, не колеблясь, задену ваши чувства, потому что, поступая таким образом, я, может быть, заставлю вас яснее осознать, какие меры необходимы для вашей безопасности. Ваше величество, вы слишком

долго предавались безрассудному шутовству. Пора вам стать мужчиной и политиком, или вы будете раздавлены, как мотылек, на груди цветка, вокруг которого вы вьетесь.

— Мне кажется, я знаю, почему, сэр Джон, вы вспомнили вдруг о морали: вы наскучили веселым шутовством (церковники зовут его пороком), и вот вас потянуло к серьезному преступлению. Убийство или резня придадут вкус кутежу, как маслина на закуску сообщает прелесть вину. Но самые дурные мои поступки — только легкие шалости; я не нахожу вкуса в кровавом ремесле, и мне претит... я даже слышать не могу об убиении хотя бы самого жалкого подлеца... Если суждено мне взойти на престол, я думаю подобно моему отцу отрешиться от своего имени и назваться Робертом в память Брюса... да, и когда это сбудется, каждый мальчишка в Шотландии поднимет в одной руке бутылъ, а другою обовьет за шею свою девчонку; и мужество будет проверяться на поцелуях и кубках — не на кинжалах и палашах; и на могиле моей напишут: «Здесь лежит Роберт, четвертый король этого имени. Он не выигрывал сражений, как Роберт Первый, он не возвысился из графов в короли, подобно Роберту Второму; не возводил церквей, как Роберт Третий, — он удовольствовался тем, что жил и умер королем весельчаков!» Из всех моих предков за два столетия я хотел бы затмить славу одного лишь короля Коула, о котором поется:

Коул, король наш старый,
Из глиняной пил чары.¹

— Мой милостивый государь, — сказал Рэморни, — разрешите напомнить вам, что ваши легкие шалости влекут за собою тяжкое зло. Когда бы я потерял эту руку в бою, ища для Ротсея победы над его могущественными врагами, утрата нисколько не огорчила бы меня. Но из-за уличной драки отказаться от шлема и панциря и сменить их на халат и ночной колпак!..

¹ Перевод С. Петрова.

— Ну вот, опять, сэра Джон! — перебил безрасудный принц. — Разве это красиво — все время тыкать мне в лицо изувеченную руку, как призрак Гескхолла швырнул свою голову в сэра Уильяма Уоллеса!¹ Право, ты ведешь себя более дико, чем сам Фодион, потому что тому Уоллес со зла снес голову, тогда как я... я охотно приклеил бы на место твою руку, будь это возможно... Но послушай, так как это невозможно, я сделаю тебе взамен стальную — какая была у старого рыцаря Карслоджи: он ею пожимал руки друзьям, ласкал жену, бросал вызов противникам — словом, делал все, что можно делать рукою из плоти и крови, защищаясь или нападая... Право же, Джон Рэморни, в нашем организме немало лишнего. Человек может видеть одним глазом, слышать одним ухом, трогать одной рукой, обонять одной ноздрей; и я, например, не возьму в толк, чего ради нам всего этого дано по два, разве что про запас — на случай утраты или повреждения.

Сэр Джон Рэморни с глухим стоном отвернулся от принца.

— Нет, сэра Джон, — сказал Ротсей, — я не шучу. Ты не хуже моего знаешь, правдиво ли сказание о Карслоджи Стальной Руке, — ведь он твой сосед. В его время это замысловатое приспособление могли сработать только в Риме; но я с тобой побьюсь об заклад на сто золотых, что, если дать ее в образец Генри Уинду, наш пертский оружейник соорудит ее подобие так безупречно, как не сделали бы этого все римские кузнецы с благословения всех кардиналов.

— Я принял бы ваш заклад, милорд, — ответил в раздражении Рэморни, — но сейчас не до глупостей... Вы уволили меня со службы по приказу вашего дяди?

— По приказу моего отца, — ответил принц.

— Для которого приказы вашего дяди непреложны, — возразил Рэморни. — Я — опальный слуга, меня вышвыривают, как я теперь могу вышвырнуть

¹ Намек на эпизод, едва ли не самый поэтический, в поэме Гарри Слепца об Уоллесе (книга V, стихи 180—220). (*Прим. автора.*)

за ненадобностью перчатку с правой руки. Однако, хотя руки я лишился, моя голова может еще послужить вам. Ваша милость не соизволит ли выслушать от меня слово великой важности?.. Я утомился и чувствую, что силы мои падают.

— Говори что хочешь, — сказал принц, — твоя потеря обязывает меня выслушать: твой кровавый обрубок — скипетр, перед которым я должен склониться. Говори же, но не злоупотребляй беспредельно своей привилегией.

— Я буду краток как ради вас, так и ради себя самого. Да мне и не много остается досказать. Дуглас спешно скликает сейчас своих вассалов. Он намерен набрать именем короля Роберта тридцать тысяч воинов в пограничной полосе, а затем, возглавив это войско, двинуться с ним в глубь страны и потребовать, чтобы герцог Ротсей принял — или, вернее, восстановил — его дочь в правах герцогини. Король Роберт пойдет на все уступки, лишь бы сохранить мир в стране... Как поступит герцог?

— Герцог Ротсей любит мир, — сказал принц высокомерно, — но никогда не боялся войны. Прежде чем он снова примет эту чопорную куклу на свое ложе или сядет с ней за стол по приказу ее отца, Дугласу нужно будет стать королем Шотландии

— Пусть так.. Но это еще не самая страшная опасность, тем более что она грозит открытым насилием: ведь Дуглас не действует втайне

— Что же еще грозит нам и не дает спать в этот поздний час? Я утомлен, ты ранен, и даже свечи меркнут, как будто устали от нашего разговора.

— Объясните мне: кто правит Шотландией? — сказал Рэморни.

— Король Роберт Третий, — ответил принц, приподняв шляпу. — И да будет ему дано подольше держать скипетр!

— Поистине так, и аминь, — отозвался Рэморни. — Но кто управляет Робертом и подсказывает доброму королю почти все его мероприятия?

— Милорд Олбени, хочешь ты сказать? — был ответ принца. — Да, что верно, то верно: мой отец

чуть ли не во всем следует советам своего брата; и, по совести, мы не можем его порицать за это, сэр Джон Рэморни, потому что не много помощи получал он до сих пор от сына.

— Поможем же ему теперь, милорд, — сказал Рэморни. — Я владею страшной тайной... Олбени завел со мною торг, чтобы в сговоре с ним я отнял жизнь у вашего высочества! Он предлагает полное прощение всего прошлого, высокие милости на будущее.

— Что ты говоришь?.. Отнять у меня жизнь! Ты, верно, хотел сказать — корону? Да и это было бы нечестиво! Он и мой отец — родные братья, они сидели на коленях у одного отца... одна мать качала их у своей груди. Брось, слышишь! Каким нелепостям ты готов поверить в лихорадке!

— Поверить! — повторил Рэморни. — Для меня внове, что меня зовут легковым. Но, искушая меня, Олбени взял в посредники такого человека, что ему поверит каждый, коль скоро речь пойдет о злом умысле... Даже лекарства, изготовленные его рукой, отдают ядом.

— Ну, этот раб оклеветает и святого, — возразил принц. — Тебя попросту одурачили, Рэморни, как ты ни хитер. Мой дядя Олбени честолюбив и не прочь закрепить за собой и своим домом такую долю власти и богатства, на какую он не вправе притязать. Но предположить, что он замышляет свергнуть с престола... или убить своего племянника... Фи, Рэморни! Не понуждай меня сослаться на старую поговорку, что творящий зло ждет зла и от других. Твои слова подсказаны тебе подозрением, а не твердой уверенностью.

— Вы роковым образом заблуждаетесь, ваше высочество! Но я этому положу конец. Герцога Олбени ненавидят за его жадность и корысть... а ваше высочество — вас, может быть, больше любят, чем...

Рэморни запнулся. Принц спокойно договорил за него.

— Меня больше любят, чем уважают? Это мне только приятно, Рэморни.

— Во всяком случае, — сказал Рэморни, — вас больше любят, чем боятся, а для принца такое положение вещей небезопасно. Но дайте мне слово рыцаря, что вы не разгневаетесь на меня, что бы я ни сделал ради вас как преданный слуга. Предоставьте мне вашу печать, чтобы я мог от вашего имени вербовать друзей, и герцог Олбени не будет больше пользоваться при дворе никаким влиянием вплоть до той поры, когда кисть руки, которая еще недавно заканчивала этот обрубок, не прирастет к телу и не начнет действовать по-прежнему, подчиняясь приказам моего рассудка.

— Но ты не отважился бы омыть свои руки в крови короля, — строго сказал принц.

— О, милорд, ни в коем случае. Кровь проливать ни к чему. Жизнь может — нет, должна — угаснуть сама собой. Перестаньте подбавлять в светильник масло и отнимите у него заслон от ветра, и в нем угаснет дрожащий свет. Позволить человеку умереть не значит убить его.

— Верно... Я упустил из виду такой прием. Итак, допустим, мой дядя Олбени перестанет жить, — так, полагаю, нужно выразиться? Кто же станет тогда править Шотландией?

— Роберт Третий — с соизволения и при поддержке мудрого и почитаемого Давида, могущественного герцога Ротсея, правителя королевства и *alter ego*,¹ в чью пользу, надо полагать, добрый король, утомленный трудами и заботами державной власти, добровольно отречется от престола. Итак, да здравствует наш славный юный государь, король Давид Третий!

*Ille, manu fortis,
Anglis ludebit in hortis.*²

— А нашему отцу и предшественнику, — сказал Ротсей, — разрешат ли жить монахом и молиться за сына, по чьей милости ему предоставлено будет

¹ Второго «я» (лат.).

² А тот, обладающий мощной рукой, будет играть в уединенных садах (лат.).

право сойти в могилу не ранее, чем этого потребует естественное течение вещей?.. Или на его пути тоже встанут те небрежности, вследствие которых люди «перестают жить»? Ему не придется сменить стены тюрьмы или подобного тюрьме монастыря на спокойную темную келью, где, как говорят священники, «беззаконные перестают буйствовать и где отдыхают истощившиеся в силах».

— Вы шутите, милорд! — ответил Рэморни. — Нанести вред доброму старому королю — это противно законам и политики и естества.

— Зачем бояться этого, — ответил, нахмурясь, принц, — когда весь твой план — образец противоестественного преступления и близорукого тщеславия?.. Если и сейчас, когда король Шотландии может нести незапятнанное и честное знамя, он все же едва в состоянии возглавить своих родовитых баронов, то кто же последует за принцем, запятнавшим себя убийством дяди и заточением отца? Знаешь, любезный, твои происки могли бы возмутить и языческого жреца, не говоря уже о королевском совете христианской страны!.. Ты был моим воспитателем, Рэморни, и, может быть, за многие из тех безрассудств, какие мне ставят в упрек, справедливей было бы винить тебя, подававшего мне дурной пример и порочные наставления. Возможно, если бы не ты, я не стоял бы среди ночи в этой шутовской одежде, — он оглядел свой наряд, — выслушивая честолюбивое и преступное предложение убить дядю и свергнуть с престола лучшего из отцов. Не только по твоей, но и по своей вине я погряз так глубоко в трясине бесчестия, и было бы несправедливо, чтобы за это понес кару ты один. Но посмей только еще раз завести со мной подобный разговор, и тебе не сносить головы! Я разоблачу тебя перед отцом, перед Олбени... перед всей Шотландией! Сколько есть в стране рыночных крестов, на каждом будет прибит кусок тела предателя, дерзнувшего подать такой гнусный совет наследному принцу Шотландии!.. Я надеюсь, к счастью для тебя, что сегодня тобой правят жар и отравляющее дейст-

вие лекарства на воспаленный мозг, а не какое-нибудь твердое и определенное намерение.

— Поистине, милорд, — сказал Рэморни, — если я сказал нечто такое, что могло так ожесточить ваше высочество, это было вызвано чрезмерным усердием в сочетании с помрачением рассудка. Во всяком случае, я меньше чем кто бы то ни было способен предлагать вам честолюбивые планы ради своей личной выгоды! Увы, все, на что могу я рассчитывать в будущем, — это сменить копье и седло на требник и исповедальную. Линдорский монастырь должен будет принять увечного и обнищавшего рыцаря Рэморни, который сможет размышлять на досуге над словами писания «Не уповай на князей!»

— Что ж, доброе намерение, — сказал принц, — и мы не преминем поддержать его. Наша разлука, думал я раньше, будет лишь кратковременной. Теперь мы должны расстаться навечно. После такого разговора, какой произошел между нами сейчас, нам следует жить врозь. Но Линдорский монастырь или другую обитель, какая примет тебя, мы богато одарим и отметим высокой нашей милостью... А теперь, сэр Джон Рэморни, спи... Спи и забудь недобрую беседу, в которой за тебя говорила, я надеюсь, лихорадка от болезни и зелья, а не твои собственные мысли... Посвети мне до дверей, Ивиот.

Паж разбудил сотоварищей принца, которые спали в прихожей и на лестнице, утомленные ночными похождениями.

— Есть среди вас хоть один трезвый? — спросил Ротсей, с отвращением осмотрев свою свиту.

— Никого... ни одного человека, — отвечали его люди пьяным хором. — Никто из нас не посмеет изменить Императору Веселых Затейников!

— Значит, вы все обратились в скотов? — сказал принц.

— Повинуясь и подражая вашему высочеству! — ответил один удалец. — Или, ежели мы и отстали немного от нашего принца, довольно будет разок прилечь к бутылке...

— Молчать, скотина! — оборвал его герцог Ротсей. — Так нет среди вас ни одного трезвого?

— Есть один, мой благородный государь, — был ответ, — есть тут недостойный брат наш, Уоткинс Англичанин.

— Подойди ко мне, Уоткинс, поддержи факел... Поддай мне плащ... так, и другую шляпу, а этот хлам прими... — Принц отбросил свою корону из перьев. — Если бы только я мог так же легко стряхнуть всю свою дурь!.. Англичанин Уот, проводишь меня ты один. А вы все кончайте бражничать и скиньте шутовские наряды. Праздник миновал. Наступает великий пост.

— Наш император слагает с себя корону раньше чем обычно в эту ночь, — сказал один из ватаги затейников.

Но так как принц ничем не выразил одобрения, каждый, кто к этому часу не мог похвалиться добродетельно-трезвым видом, постарался в меру сил напустить его на себя, и в целом ватага запоздалых бражников походила теперь на компанию приличных людей, которых случайно захватили в пьяном виде, и вот они спешат замаскироваться, напуская на себя преувеличенную добропорядочность. Принц между тем, торопливо сменив одежду, проследовал к дверям за факелом, который нес перед ним единственный трезвый человек из его свиты, но, не дойдя до выхода, чуть не упал, споткнувшись о тушу спящего Бонтрона.

— Что такое? Это гнусное животное опять у нас на пути? — сказал он с отвращением и гневом. — Эй, кто тут есть! Окуните мерзавца в колоду, из которой поят лошадей, пусть он хоть раз в жизни дочиста отмоется!

Покуда свита исполняла приказ, направившись для этой цели к водоему во внешнем дворе, и покуда над Бонтроном совершалась расправа, которой он не мог противиться иначе, как издавая нечленораздельные стоны и хрипы, подобно издыхающему кабану, принц шел своим путем в отведенные ему палаты в так называемом Доме Констебля — старинном дворце, которым издавна владели графы Эррол. По до-

роге, чтобы отвлечься от не совсем приятных мыслей, принц спросил своего спутника, как он умудрился остаться трезвым, когда вся прочая компания так безобразно перепилась.

— С соизволения вашей милости, — ответил Англичанин Уот, — я вам сознаюсь, для меня это самое обычное дело — оставаться трезвым, когда вашему высочеству угодно, чтобы ваша свита была вдребезги пьяна; но я так соображаю, что все они, кроме меня, шотландцы, и, значит, напиваться в их компании мне не след — потому как они и трезвые меня едва терпят, а уж если мы все захмелеем, я, чего доброго, выскажу им откровенно, что у меня на уме, и мне тогда в отплату всадят в тело столько ножей, сколько их найдется в порядочном обществе.

— Значит, ты поставил себе за правило держаться в стороне, когда в моем доме идет кутеж?

— С вашего соизволения — да. Вот разве что угодно будет вашей светлости дать приказ всей свите остаться один денек трезвой, чтобы дать Уилу Уоткинсу напиться, не опасаясь за свою жизнь.

— Такой случай может еще выдаться. Ты где служишь, Уоткинс?

— При конюшне, с вашего соизволения.

— Скажи дворецкому, чтобы он поставил тебя в ночную стражу. Я доволен твоей службой: совсем не плохо иметь в доме одного трезвого человека, пусть даже он не пьет только из страха смерти. Держись поближе к нашей особе, и ты убедишься, что трезвость — выгодная добродетель.

Между тем к печалям Джона Рэморни на ложе болезни прибавилась новая тягота забот и страхов. В его голове, затуманенной снотворным, совсем помутилось, как только принц, при котором он усиленно воли перебарывал действие лекарства, наконец удалился. Во время беседы с гостем больной привел свои мысли в ясность, но теперь они снова пошли вразброд. У него оставалось смутное сознание, что на его пути возникла большая опасность, что он сделал наследного принца своим врагом и выдал ему сокровенную тайну, поставив этим под удар себя

самого. Неудивительно, что при таком состоянии, душевном и телесном, лишенный сна, он неизбежно поддался того рода бредовым видениям, какие возбуждает опиум. Ему чудилось, что стоит у его кровати тень королевы Аннабеллы и требует с него отчета за юношу, которого она отдала на его попечение прямодушным, добродетельным, веселым и невинным.

«Ты же сделал его безрассудным, распущенным и порочным, — говорила бескровная тень королевы. — Но я тебя благодарю, Джон Рэморни, хотя ты выказал себя неблагодарным, изменил своему слову и не оправдал моих надежд. Твоя ненависть обезвредит то зло, которое принесла юноше твоя дружба. Я с доброй надеждою жду, что теперь, когда ты уже не советник его, жестокая земная кара купит моему злополучному сыну прощение его грехов и позволит вступить в лучший мир».

Рэморни простер руки к своей благодетельнице, сиюсья выговорить слова раскаяния и оправдания; но лик видения стал темней и строже. И вот перед ним уже не призрак покойной королевы, а Черный Дуглас, мрачный и надменный; потом печальное и робкое лицо короля Роберта, который, казалось, горюет о близком крушении своего королевского дома; потом — толпа причудливых фигур, то безобразных, то смешных, которые кривлялись, и дразнились, и выкручивались в неестественные и необычайные образы, словно издеваясь над усилием больного составить себе точное понятие о том, что они представляют собою на самом деле.

Глава XVIII

...Багряная страна, где жизнь законы
Не охраняют

Байрон

Утро пепельной среды встало унылое и тусклое, как это обычно для Шотландии, где нередко самая дурная и немилосердная погода выпадает на первые

месяцы весны. День был морозный, и горожанам хотелось отоспаться с похмелья после праздничной гульбы. Солнце уже с час как поднялось над горизонтом, а среди обитателей Перта только начали появляться признаки некоторого оживления, и уже совсем рассвело, когда один горожанин, поспешая к ранней обедне, увидел злополучного Оливера Праудфьюта, лежавшего ничком поперек водосточной канавы, как упал он под ударом, который нанес ему (о чем без труда догадались читатели) Энтони Бонтрон, подручный Джона Рэморни.

Этой ранней птишкой среди горожан был Аллен Грифон, именовавшийся так потому, что был владельцем гостиницы под вывеской с изображением грифона, и по тревоге, поднятой им, к месту убийства сбежались сперва кое-кто из соседей, а потом постепенно собралась изрядная толпа. Поначалу, когда распознали хорошо всем известное полукафтанье буйволово́й кожи и алое перо на шлеме, пошел говор, что найден убитым храбрый Смит. Этот ложный слух продержался довольно долго, потому что хозяин гостиницы Грифона, будучи сам членом городского совета, никому не позволял касаться тела и поворачивать его, покуда не явится бэйли Крейгдэлли, так что лица убитого никто не видел.

— Задета честь Славного Города, друзья, — сказал он, — и, если перед нами лежит мертвым храбрый Смит из Уинда, тот не гражданин Перта, кто не готов положить свою жизнь и все свое достояние, чтобы отомстить за убитого! Взгляните, негодяи ударили его сзади, потому что не найдется никого в Перте, ни на десять миль вокруг, ни простолюдина, ни дворянина, ни горца, ни сассенаха из Низины, кто отважился бы ради такого злого умысла встретиться с ним лицом к лицу. О храбрецы Перта! Цвет вашего мужества скошен — скошен низкой рукой предателя!

Ропот неистовой ярости поднялся среди народа, все быстрее стекавшегося к месту происшествия.

— Мы возьмем его на плечи, — сказал силач мясник. — Понесем его прямо к королю в доминиканский монастырь.

— Да, да, — подхватил какой-то кузнец, — мы пройдем к королю, и никакие засовы и затворы не остановят нас! Ни монахи, ни обедня не помешают нам сделать наше дело. Он был лучший оружейник, чей молот бил когда-либо по наковальне!

— К доминиканцам! К доминиканцам! — кричали в толпе.

— Одумайтесь, граждане, — возвысил голос еще один горожанин, — у нас с вами добрый король, и он нас любит как своих детей. Это Черный Дуглас и герцог Олбени не дают доброму королю Роберту узнать о горестях своего народа.

— Значит, если король у нас мягкосердечный, нас можно убивать на улицах нашего города? — возмутился мясник. — При Брюсе было не так. Когда король не защитит нас, мы сами себя защитим! Звони в колокола обратным трезвоним — в каждый колокол, недаром дан ему медный язык. Клики клич! Пощады никому! Идет охота Сент-Джонстона.

— Да, — закричал кто-то еще из горожан, — идемте на замки Олбени и Дугласа, спалим их дотла! Пусть пламя возвещает повсюду, что Перт сумел отомстить за своего верного Генри Гоу! Наш добрый оружейник двадцать раз выходил в бой за права Славного Города — покажем, что и мы можем единожды выйти в бой, чтобы отомстить за обиду верного Генри. Эгей! Го-го-го! Добрые граждане, идет охота Сент-Джонстона!

Клич, по которому жители Перта привыкли объединяться и который им доводилось слышать не иначе как в случае всеобщего возмущения, летел из уст в уста. И две или три соседние звонницы, куда забрались разъяренные горожане, где с согласия священников, а где и самочинно, подняли звон в зловещем и тревожном тоне, и звон подхватили прочие колокола в обратном против обычного порядке: отсюда и пошло это название — «обратный трезвон».

Толпа становилась все гуще, шум возрастал, делаясь все громче, разносясь все дальше, а хозяин гостиницы Аллен Грифон, дородный, с зычным голосом и уважаемый во всех слоях общества, неизменно

стоял на своем посту и шагал вокруг тела, громко покрикивая и осаживая толпу в ожидании прихода властей.

— Надобно, добрые мои мастера, провести дело по порядку: чтобы во главе шли наши власти. Мы их выбрали и посадили в наш городской совет, добрых и верных людей, — пусть же никто не назовет нас мятежниками, не скажет, что мы попусту тревожим покой короля. Стойте тихо и расступитесь, потому что идет бэйли Крейгдэлли, да и честный Саймон Гловер, оказавший Славному Городу столько услуг. Горе, горе, добрые мои сограждане! Его прекрасная дочь стала вчера невестой, а сегодня утром пертская красавица овдовела, не быв женой!

Этот новый призыв к людским сердцам вызвал повторную волну ярости и скорби, тем более бурную, что к толпе примешалось немало женщин, которые пронзительными голосами подхватывали боевой клич мужчин:

— Да, да, все на охоту Сент-Джонстона! За пертскую красавицу и верного Генри Гоу! Встань! Каждый встань, не жалей своей головы! К конюшням! К конюшням! Когда конь под ним убит, латник немного стоит! Перережем конюхов и йоменов!.. Бей, калечь и коли лошадей! Перебьем оруженосцев и пажей! Пусть кичливые рыцари выйдут на нас пешие, если посмеют!

— Не посмеют, не посмеют! — откликнулись мужчины. — Вся их сила — в коне да в оружии; и все же эти мерзавцы, надменные и неблагородные, убили искуснейшего оружейника, которому не было равного ни в Милане, ни в Венеции! К оружию! К оружию, храбрые граждане! Идет охота Сент-Джонстона!

В этой сутолоке члены совета и самые видные горожане с трудом пробрались к месту, чтобы произвести осмотр тела и при участии городского писца по всей форме снять протокол, или, как и сейчас иногда говорится, произвести «описание условий», в каких было найдено тело. Этой отсрочке толпа подчинилась с тем терпением и чинностью, которые так замеча-

тельны для национального характера шотландцев: оскорбленные, они всегда оказывались тем опаснее в гневе, что, никогда не отступая от принятого раз решения отомстить, готовы терпеливо подчиниться всем отсрочкам, если это нужно, чтобы тем верней свершилась месть. Итак, толпа встретила своих старшин многоголосым криком, в котором страстные призывы к мести перемежались с почтительными приветствиями по адресу отцов города, под чьим руководством люди надеялись добиться отмщения обиды в законном порядке.

Приветственный крик еще звенел над толпой, запрудившей теперь все ближайшие улицы, и тысячи разнообразных слухов передавались и подхватывались всеми, когда отцы города велели поднять тело с земли и внимательно его осмотреть. И тут сразу обнаружилось и было всем возвещено, что убит не оружейный мастер из Уинда, пользовавшийся среди сограждан таким большим почетом (и справедливым, если мы подумаем, какие качества особенно ценились в те времена), а совсем другой человек, куда менее уважаемый, хотя и он имел заслуги перед обществом: найден убитым не кто иной, как веселый шапочник Оливер Праудфьют. Первое известие о том, что зарублен будто бы Генри Гоу, верный и храбрый защитник всех обездоленных, вызвало в народе такое глубокое возмущение, что, когда этот слух был опровергнут, ярость толпы сразу охладела. Между тем, если бы с самого начала в мертвеце опознали несчастного Оливера, его сограждане, наверно, столь же горячо и единодушно стали требовать мести, хоть, может быть, и менее рьяно, чем за Генри Уинда. Поначалу, когда распространилась эта неожиданная весть, она даже вызвала у многих улыбку — так тесно страшное граничит порой со смешным.

— Убийцы, несомненно, приняли его за Генри Смита, — сказал Грифон, — что должно было послужить ему великим утешением в этих обстоятельствах.

Вскоре, однако, прибытие новых лиц вернуло сцене ее глубоко трагический характер.

Глава XIX

Эй, кто там бьет в набат? Вот черти!
Весь город всполошили

«Отелло», акт II, сц 3

Дикие слухи, облетевшие город, и поднявшийся вскоре тревожный перезвон колоколов навели ужас на всех. Вельможи и рыцари со своими приспешниками собирались в условленных местах, где можно было успешнее обороняться. Тревога проникла и в монастырь, где стоял королевский двор и куда молодой принц явился одним из первых, чтобы в случае нужды встать на защиту старого короля. Одна из сцен прошлой ночи ожила в его воспоминаниях, и, представив себе залитую кровью фигуру Бонтрона, он подумал, что дело, совершенное этим негодяем, пожалуй, имело прямую связь с беспорядками в городе. Но последующий разговор с сэром Джоном Рэморни, более для него занимательный, произвел тогда на принца сильнейшее впечатление, вытеснив из его памяти все, что он слышал о кровавом деле, и у него осталось лишь смутное представление, что кого-то прикончили. Только ради отца он поспешил вооружиться сам и вооружить своих людей, которые теперь, в ярко начищенных панцирях и с копьями в руках, являли совсем другой вид, чем минувшей ночью, когда они бесчинствовали в обличии пьяных служителей Бахуса. Добрый старый король со слезами благодарности принял это проявление сыновней привязанности и гордо указал на принца герцогу Олбени, пришедшему несколько позже. Он взял их обоих за руки.

— Ныне мы, трое Стюартов, — сказал он, — столь же нераздельны, как священный трилистник. Говорят, кто носит при себе эту священную траву, над тем бессильны злые чары; так и нас, доколе мы верны друг другу, не страшит коварство врагов.

Брат и сын поцеловали руку доброго короля, соединявшую их руки, когда Роберт III выражал свою уверенность в их преданной любви. Юноша в

тот час был вполне чистосердечен, тогда как поцелуй королевского брата был поцелуем Иуды-предателя.

Между тем колокол церкви святого Иоанна взвонил наряду с прочими и обитателей Кэрфью-стрит. В доме Саймона Гловера старая Дороти Гловер, как ее именовали, потому что и она получила прозвание по ремеслу, которым занималась под крылом своего хозяина, первая услышала тревогу. В обычных случаях тугая на ухо, она худые вести слышала так хорошо, как чует коршун запах падали; ибо Дороти, вообще говоря трудолюбивая, преданная и добросердечная женщина, склонна была с жадностью подхватывать и разносить мрачные известия — свойство, часто наблюдаемое у людей низших сословий. Не слишком привыкшие, чтобы к ним прислушивались, они дорожат тем вниманием, каким неизменно пользуется вестник печали; или, может быть, их радует равенство, хотя бы и временное, которое беда устанавливает между ними и теми, кого законы общества в обычное время ставят выше их. Едва подхватив первый же слухок, облетевший округу, Дороти ворвалась в спальню своего хозяина, который сегодня позволил себе поспать подольше по случаю праздника и по праву преклонного возраста.

— Лежит и спит, добрый человек! — начала Дороти в тоне то ли укоризны, то ли жалостного причитания. — Лежит и спит! Его лучшего друга убили, а он ничего и не знает о том, точно новорожденный младенец, не ведающий, что такое жизнь и что такое смерть!

— Что там еще! — закричал, вскочив с постели, Гловер. — Что случилось, старуха? Не с дочкой ли что?

— «Старуха»! — повторила Дороти; поймав рыбку на крючок, она позволила себе потешиться над нею. — Я не так стара, — сказала она, улепetyвая из комнаты, — чтобы мешкать в спальне, когда мужчина вылезает неодетый из постели.

И вот уже слышно издалека, как она внизу, на кухне, мелодически напевает под шарканье метлы.

— Дороти, черный филин... чертова карга... скажи только, жива ли дочь!

— Я жива, отец, — отозвалась Кэтрин из своей светелки, — жива и здорова. Но ради пречистой девы, скажите, что случилось? Колокола звонят обратным трезвонном, на улицах крик и стон.

— Пойду узнаю, в чем дело. Копахар, скорей сюда, помоги мне застегнуться!.. Эх, забыл! Бездельник горец сейчас далеко, по ту сторону Фортингала. Потерпи, дочка, я сам сейчас принесу новости.

— Нечего вам ради этого так торопиться, Саймон Гловер, — сказала упрямая старуха. — Вы наилучшим образом обо всем услышите, не перешагнув за порог. Я побывала на улице и все уже разузнала, потому что, подумала я, наш хозяин — горячая голова, он еще на-творит чего-нибудь, если и впрямь совершилось такое дело. Вот я и подумала: лучше уж не пожалею свои старые ноги и узнаю сама, что там стряслось, а то он сунет свой нос в самую гущу, и ему его тут же оттяпают, он и спросить не успеет, за что!

— Так какую же ты узнала новость, старуха? — сказал в нетерпении Гловер, все еще хлопоча с несчетным множеством пряжек и петель, посредством которых камзол пристегивался к штанам.

Дороти предоставила ему заниматься этим делом до тех пор, когда он должен был, по ее расчету, почти управиться с ним. Но теперь уже можно было опасаться, что, если она не откроет тайну, хозяин выйдет на улицу и сам разузнает причину переполоха.

— Ладно, ладно, — закричала она, — только уж не говорите, что по моей вине вы услышали дурную новость, не успев побывать у ранней обедни! Я не хотела сообщать ее вам, покуда вы не послушаете слово священника, но раз вам непременно надо услышать поскорей, так вот: вы потеряли самого верного друга, какой когда-либо пожимал вам руку, и люди Перта оплакивают самого храброго горожанина, какой когда-либо держал меч в руке!

— Гарри Смит! Гарри Смит! — закричали разом отец и дочь.

— Ну вот, дождались наконец! — сказала Дороти. — А по чьей вине, как не по своей же?.. Такую под-
няли бучу из-за того, что он проводил время с уличной
музыкантшей, как если бы он вожжался с еврейкой!

Дороти продолжала бы все в том же духе, но хояин крикнул дочери, еще не сошедшей вниз:

— Вздор, Кэтрин, бредни старой дуры! Ничего такого не могло случиться. Я живо схожу и принесу тебе верную весть.

Схватив свой посох, старик пробежал мимо Дороти и бросился из дому — туда, где народ валом валил к Хай-стрит. Дороти между тем все ворчала себе под нос:

— Твой отец куда как умен — на его собственный суд! Вот теперь он влезет в какую-нибудь свару, а потом начнется: «Дороти, дай корпии! Дороти, наложи пластырь!» А сейчас Дороти только врет и порет вздор, и ежели она что сказала, так быть того не может. Быть того не может! Уж не думает ли старый Саймон, что у Гарри Смита голова крепка, как его наковальня, и не треснет, хотя бы горцы накинулись на него целым кланом?

Поток ее слов остановило неожиданное явление: Кэтрин, точно призрак, с блуждающим взором, с мертвенно-бледным лицом, с распушенной косой, проскользнула мимо нее, как в бреду. Охваченная ужасом, старуха забыла свое брюзгливое недовольство.

— Огради богородица мою доченьку! — сказала она. — Что ты глядишь как шальная?

— Ты как будто сказала... кто-то умер? — пролепетала, запинаясь Кэтрин, до того напуганная, что ей, казалось, изменили и речь и слух.

— Умер, родненькая! Да, да, лежит совсем мертвый. Теперь уж не будешь больше на него серчать.

— Мертвый! — повторила Кэтрин с той же дрожью в голосе. — Мертв... убит... и ты сказала — горцами?

— Да уж верно, горцами, беззаконниками. А то кому же тут убивать, как не им? У нас если и случится смертоубийство, так разве что горожане поцапаются во хмелю да порежут друг друга... Или там

бароны да рыцари вздумают кровь проливать... Но я голову дам на отсечение, что это сделали горцы. В Перте не было человека — ни лэрда, ни простого мужика, — который посмел бы выйти один на один против Генри Смита. Небось накинулись на него гурьбой. Увидишь сама, когда разберутся в этом деле!

— Горцы! — повторила Кэтрин, словно ее смущала какая-то неотступная мысль. — Горцы... О, Конахар! Конахар!

— Вот-вот! Ты, скажу я, угадала, Кэтрин: он самый! Ты же видела, в ночь на святого Валентина они повздорили, до драки дело дошло. А у горца на такие вещи память длинная. Дай ему оплеуху на Мартынов день, у него до духовя дня будет гореть щека. И кто только назвал сюда длинноногих бездельников делать в городе свою кровавую работу?

— Горе мое! Это я! — сказала Кэтрин. — Я, я привела сюда горцев, я послала за Конахаром... Да, они подстерегали добычу у себя в горах, а я привела их сюда и отдала ее в их руки! Но я должна увидеть своими глазами, и тогда... мы что-нибудь сделаем. Скажи отцу, что я мигом вернусь.

— В уме ли ты, девочка моя? — закричала Дороти, когда Кэтрин, не глянув на нее, выбежала вон. — Куда ты пойдешь в таком виде на улицу? Волосы висят ниже пояса, а еще слынешь первой красавицей в Перте... Силы небесные, выскочила на улицу, и ей хоть бы что, а старый Гловер так теперь взбеленится, точно я могла удержать ее силком! Летит как сумасшедшая... Вот тебе и утро пепельной среды! Как же быть? Ежели пойти искать хозяина в толпе, так меня собьют с ног и затопчут, и никто не пожалеет о старухе. А побежать за Кэтрин — куда там, разве за ней угонишься? Ее, чай, и след простыл!.. Пойду-ка я к соседу, к Николу-цирюльнику, и все ему расскажу.

Покуда верная Дороти выполняла свое разумное решение, Кэтрин мчалась по улицам Перта в таком виде, что в другое время привлекла бы к себе все взоры. Она неслась очертя голову, нисколько не похожая на ту скромную и выдержанную девицу, какой

ее привыкли видеть люди: простоволосая, ни шарфа, ни накидки, которые порядочная женщина, то есть женщина доброго имени и приличного состояния, всегда надевает на себя, когда выходит в город. Но все кругом были так возбуждены, одни — выпрашивая, другие — сообщая о причине волнения (причем рассказывали все по-разному), что небрежность ее одежды и порывистость движений никого не удивляли; она могла идти куда считала нужным, и никто не обращал на нее больше внимания, чем на прочих девушек и женщин, которые в страхе или жадном любопытстве высыпали на улицу: одни — чтоб узнать причину переполоха, другие — чтоб увериться, не грозит ли опасность их близким.

Продираясь сквозь толпу, Кэтрин поддалась разительному действию обстановки, и ей стоило большого труда удержаться и не подхватить крик ужаса и жалости, эхом прокатившийся вокруг. Между тем она бежала вперед и вперед, как во сне, подавленная смутным чувством свершившейся страшной беды, истинную природу которого она не могла бы с точностью определить: но довольно было и сознания, что человек, так преданно ее любивший, тот, чьи достоинства она так высоко ценила и кто, как поняла она теперь, был ей дороже, чем она осмеливалась до сих пор признаться даже самой себе, — что этот человек убит и, возможно, по ее вине. Не связана ли гибель Генри с приходом Конахара и его удалцов? В минуту предельного возбуждения у Кэтрин возникла такая мысль. Но догадка показалась бы вполне правдоподобной и в более спокойный час, когда девушка могла бы тщательно ее обдумать. Не разбираясь в собственных мыслях, желая только одного — узнать, верен ли худший из страшных слухов, — мчалась она вперед к тому месту, от которого еще вчера в обиду на друга старалась бы держаться подальше.

В вечер последнего дня карнавала разве поверила бы Кэтрин Гловер, если бы кто-нибудь стал ее уверять, что она, такая гордая, скромная, сдержанная, всегда так строго соблюдавшая приличия, — что в пе-

пельную среду, до ранней обедни, она с распущенными волосами, не приведя в порядок платье, побежит по улицам Перта, пробиваясь сквозь толпу и давку к дому того самого поклонника, который, как она должна была думать, грубо и бесстыдно ее оскорбил и, пренебрегши своей Валентиной, погнался за утехами низменной, распутной любви! Но так оно и было. И, в своем нетерпении безотчетно выбирая дорогу посвободнее, она направилась не по Хай-стрит, где была самая сильная давка, а вышла к кузнице узкими переулками северной окраины города, по которым Генри Смит вел недавно Луизу. Но даже эти сравнительно малолюдные переулки теперь кишели народом — так широко распространилась тревога. Кэтрин, однако, пробиралась сквозь толпу и ни на кого не смотрела, и те, кто ее примечал, переглядывались и качали головами, сочувствуя ее горю. Наконец, не давая себе отчета, зачем пришла, она остановилась перед домом верного своего друга и постучалась в дверь.

Никто не отозвался на ее торопливый стук, гулко прозвучавший в тишине, и тишина еще больше усилила ее волнение, толкнувшее ее на этот отчаянный шаг.

— Открой... Открой, Генри! — закричала девушка. — Открой, если ты жив!.. Открой, если не хочешь найти Кэтрин Гловер мертвой на пороге твоего дома!

Когда она кричала так в неистовстве, вызывая к ушам, которые, как ее уверили, уже никогда ее не услышат, ее возлюбленный сам открыл дверь — как раз вовремя, чтобы не дать гостье упасть наземь. Восторг его неожиданной радости умеряло только удивление, не позволявшее поверить счастью, а затем испуг перед закрывшимися глазами девушки, ее побелевшими полуоткрытыми губами, бескровным лицом и, казалось, прервавшимся дыханием.

Генри оставался дома, несмотря на всеобщую тревогу, давно достигшую и его ушей: он твердо решил держаться в стороне и не ввязываться в драку, если можно будет ее избежать; и, только повинуюсь

призыву городских властей, он снял со стены свой меч и запасной щит и собрался выйти, чтобы — впервые против воли — исполнить долг, к которому его обязывало звание гражданина.

«Тяжело, если город втягивает тебя во все свои распри, а Кэтрин так претит драка! Я уверен, в Перте немало найдется девчонок, которые твердят своим поклонникам: «Ступай, храбро исполни долг, и ты завоюешь благосклонность своей дамы». А вот же не посылают за их женихами, а зовут меня, когда я не могу исполнить долг мужчины и защитить несчастную девушку-менестреля, не могу, как подобает гражданину, сразиться за честь своего города, потому что Кэтрин рассердится и осудит меня как задиру или распутника!»

Такие мысли проносились в уме оружейника, когда он собрался выйти на зов набата. Но едва открыл он дверь, самое дорогое его сердцу существо, та, кого он меньше всего ожидал увидеть, предстала его глазам и упала ему на руки.

Удивление, радость, тревога охватили его разом, но не лишили присутствия духа, какого требовал случай. Прежде чем подчиниться призыву властей, хотя бы и самому настойчивому, нужно было устроить Кэтрин Гловер в безопасном месте и привести в сознание. Он понес свою милую ношу, легкую как перышко, но более для него дорогую, чем если бы вся она была из червонного золота, в небольшую комнату — бывшую спальню его матери. Комната эта лучше всего подходила для больной, так как смотрела окнами в сад и сюда не доносился шум переполоха.

— Эй, няня!.. Няня Шулбред... Скорей сюда!.. Тут дело жизни и смерти... Нужна твоя помощь!

Старуха подошла, ковыляя:

— Если тебе опять понадобился кто-нибудь в свидетели, чтоб вызволить тебя из неприятности...

Ее тоже разбудил переполох, но каково же было ее удивление, когда она увидела бережно и почтительно положенное на кровать ее покойной хозяйки и поддерживаемое могучими руками ее питомца без-

жизненное, как ей показалось, тело пертской красавицы!

— Кэтрин Гловер!— вскричала она.— Мать святая! Никак мертва!..

— Нет, нет, старая,— сказал ее питомец.— Сердце бьется, дыхание не прервалось!.. Подойди же, ты сможешь помочь ей толковей, чем я. Принеси воды... настойку, что ли, какую знаешь, ты в этих делах искусница. Небо вручило мне ее не для того, чтоб она умерла: она должна жить себе и мне на радость!

С проворством, какого трудно было ждать от старухи, няня Шулбред собрала все, что было нужно, чтобы привести в чувство Кэтрин. Как многие женщины тех времен, она даже умела лечить несложные раны, и свои знания ей непрестанно приходилось применять на деле благодаря воинственным наклонностям ее питомца.

— А теперь, Генри, сынок,— сказала она,— выпусти из объятий мою пациентку — хоть ее и стоит крепко прижать к груди! — и освободи свои руки: они понадобятся мне в помощь. А вот ее ручку можешь и не отпускать, но только бей легонько по ладони, чтобы пальцы разжались, а то видишь — стиснулись в кулачок!

— Мне, мне бить по ее тонкой, красивой руке! — сказал Генри.— Уж лучше попроси, чтобы я ударил молотом по стеклянной чаше, чем стучать мне заскорузлыми пальцами по ее нежной ручке!.. Ничего, пальцы разожмутся, мы найдем для этого способ получше.

И он припал губами к прелестной руке, легкое движение которой указывало, что сознание возвращается. Последовал глубокий вздох, затем другой, и пертская красавица, открыв глаза, остановила их на любимом, который опустил на колени подле ее кровати, и снова откинулась на подушки. Так как она не выдернула своей руки из руки возлюбленного, мы снисходительно должны поверить, что сознание вернулось к ней не вполне и она не заметила, как он, злоупотребляя создавшимся положением, поочередно

прижимает ее руку то к губам своим, то к груди. В то же время мы должны признать, что на щеках ее проступил румянец, а ее дыхание те две минуты, пока была она в полуобмороке, оставалось глубоким и ровным.

Стук в дверь стал громче, и Генри кликали по всем его многообразным именам — Смит, Гоу, Хэл из Уинда, — как язычники призывают свои божества под их различными наименованиями. Наконец, подобно католикам-португальцам, когда те исчерпают все мольбы, вызывая к своим святым, толпа у входа перешла к яростной ругани:

— Стыд и срам, Генри! Бесчестный человек! Сейчас же выходи, или тебя объявят нарушителем гражданской присяги, изменником Славному Городу!

Средства няни Шулбред, как видно, возымели действие, и Кэтрин начала приходить в себя: прямой обратившись лицом к любимому, чем позволяло до сих пор ее положение, и все еще не отнимая у него левой руки, она опустила правую ему на плечо, как будто хотела его удержать, и шептала:

— Не ходи, Генри... Останься со мной... Они тебя убьют, эти кровожадные звери!

Свои призывные слова, подсказанные радостью, что нашла любимого живым, когда ждала увидеть его мертвым и окоченелым, она произнесла так тихо, что он их едва разобрал. И все же они не позволили Генри Уинду встать с колен и выйти на улицу, как упорно ни звала его разноголосая толпа за дверью.

— Стойте, ребята! — крикнул один горожанин посмелее своим товарищам. — Надменный Смит просто решил над нами подшутить! Что ж, ворвемся в дом и вытащим его за уши!

— Ты сперва подумай, а потом лезь, — сказал более осторожный из осаждавших. — Кто силком ворвется к Генри Гоу, когда он заперся, войдет в его дом целым и невредимым, а вернется такой, что костоправам будет над чем потрудиться... Но вот идет самый нужный нам человек: ему мы и поручим потолковать со Смитом, пусть пристыдит как следует отступника.

Тот, о ком шла речь, был не кто иной, как Саймон Гловер. Он подоспел к роковому месту, где лежало тело несчастного шапочника, в ту самую минуту, как по приказу бэйли Крейгдэлли убитого повернули вверх лицом, — и перчаточник, к великому своему облегчению, узнал черты бедного бахвала Праудфьюта, когда толпа ждала увидеть своего любимца, заступника всех обиженных — Генри Смита. Смех или нечто близкое к нему послышался среди тех, кто припомнил сейчас, как настойчиво Оливер домогался славы бойца, столь чуждой его природе и наклонностям; и кто-то заметил, что шапочнику довелось умереть смертью, вернее отвечавшей его притязаниям, нежели характеру. Но это непристойное веселье, отразившее грубые нравы эпохи, сразу смолкло, когда послышались стоны и причитания женщины, которая пробивалась сквозь толпу, жалобно взывая: «Мой муж! Мой муж!»

Толпа расступилась перед скорбящей и сопровождавшими ее подругами. До сих пор Мод Праудфьют знали только как миловидную женщину. Поговаривали, что она заносчива и смотрит пренебрежительно на тех, кого почитает ничтожней или беднее себя; знали, что она была хозяйкой и властительницей над мужем, с которого умела живо сбить спесь, когда он, бывало, расхвастается нектати. Но теперь, среди разыгравшихся страстей, горе придавало ей новую значительность в глазах людей.

— Вы смеетесь, — сказала она, — недостойные жители Перта! Не над тем ли, что один из ваших сограждан пролил свою кровь в сточную канаву?.. Или потому смеетесь, что смертный жребий пал на моего супруга? Чем заслужил он ваш смех?.. Разве не кормил он честно свою семью усердным трудом? Или не были открыты перед каждым двери его почтенного дома, где больной находил приют, а бедный — помощь? Разве не ссужал он каждого в нужде?.. Не помогал дружески своим соседям, не держал по справедливости совета в ратуше?

— Верно говоришь, верно! — отвечали в толпе. — Его кровь — наша кровь, как если бы убили того же Генри Гоу!

— Правильно, соседи, — сказал Крейгдэлли. — Это дело мы не можем замять, как то, прежнее: кровь гражданина не должна литься, неотмщенная, по нашим канавам, точно мутная вода, или пройдет немного времени, и широкий Тэй станет алым у нас на глазах. Но этот удар предназначался не тому бедняге, которому выдалось несчастье пасть под ним. Каждый знает, каков был Оливер Праудфьют, знает, как он умел грозиться и как мало причинял на деле зла. На нем оказался кожаный кафтан Смита, его же щит и шлем. Они знакомы всему городу, как знакомы мне; на этот счет не может быть сомнений. У Оливера, вы знаете, было одно пристрастие — он старался чуть ли не во всем подражать Смигу. И вот ни в чем не повинного шапочника, которого никто не мог бояться или ненавидеть, на которого никто и никогда всерьез не обижался, кто-то в слепом ли бешенстве или во хмелю сразил вместо честного Смита, у которого на руках двадцать кровных ссор.

— Что же теперь делать, бэйли? — кричали в толпе.

— А это, друзья, порешат за вас ваши выборные, как только прибудет сэр Патрик Чартерис — его ждут с часу на час — и мы сойдемся все на совет. Тем временем хирург Двайнинг осмотрит эти бедные останки, чтобы сказать нам, как постигла нашего согражданина его роковая участь. А тогда обрядим тело в чистый саван, как благоприличествует честному горожанину, и возложим перед высоким алтарем в церкви святого Иоанна, покровителя Славного Города. Прекратите шум и крик, и пусть каждый из вас, кто способен держать оружие, если любит он Славный Город, препоясается мечом и будет готов явиться на Хай-стрит, едва раздастся звон общинного колокола, что на башне ратуши, — и либо мы отомстим за смерть нашего согражданина, либо примем такую судьбу, какую пошлет нам небо. А до той поры, покуда мы не узнаем, кто чист и кто виновен, избегайте завязывать ссоры с рыцарями или их людьми... Но что он мешкает, бездельник Смит? Как начнется потасовка, в которой он совсем не нужен, он

тут как тут, а теперь, когда потребовалось послужить Славному Городу, его не дожدهшься!.. Что с оружейником? Неладно? Знает кто-нибудь? Веселился он на проводах карнавала?

— Он то ли болен, то ли одурел, мастер бэйли, — сказал один из городских голов, как называли в те времена старшин ополчения. — Посудите сами: его молодцы говорят, что он дома, а он не отзывается и не впускает нас.

— Разрешите, ваша милость, мастер бэйли, — сказал Саймон Гловер, — я сам схожу и приведу Генри Смита. Мне, кстати, нужно уладить с ним небольшой спор. И благословенна будь пречистая, что он в добром здравии, когда четверть часа назад я уже не чаял застать его живым!

— Приходи с храбрым Смитом в городской совет, — сказал Крейгдэлли, в то время как какой-то йомен верхом на коне прорвался сквозь толпу и шепнул ему что-то на ухо. — Тут явился добрый человек и говорит, что рыцарь Кинфонс уже въезжает в ворота!

Вот по какому случаю Саймон Гловер явился неожиданным гостем в дом Генри Гоу.

Откинув колебания и сомнения, какие могли бы удержать других, он прошел прямо в гостиную и, услышав возню тетушки Шулбред, поднялся на правах старой дружбы в спальню, небрежно бросив в оправдание: «Извини, соседка», отворил дверь и вошел в комнату, где его ждало странное и неожиданное зрелище. Звук его голоса оживил Мэй Кэтрин куда быстрее, чем могли подействовать все меры и лекарства тетушки Шулбред, а бледность на ее лице сменил горячий жар самого милого румянца. Она оттолкнула от себя любимого обеими руками, которые до той минуты он все время поглаживал, а она не отнимала — потому ли, что пришла в себя, или по влечению, пробужденному в ней событиями этого утра. Генри Смит, застенчивый, каким мы его знаем, встал, шатаясь, и все присутствующие были в большей или меньшей мере смущены, за исключением тетушки Шулбред: воспользовавшись первым

же предлогом, она повернулась спиной к остальным, чтобы вволю посмеяться над ними. А Гловер, хоть и пораженный неожиданностью, но больше обрадованный, быстро оправился и от души рассмеялся тоже.

— Ну вот, клянусь добрым святым Иоанном, — сказал он, — сегодня утром я увидел зрелище, после которого, думалось мне, я забуду смех по меньшей мере до конца поста, но уж тут... Да лежи я хоть при смерти, я свернул бы себе скулы со смеху! Смотри ты, честного Генри Смита оплакивали в городе как мертвого, звонили по нем во все колокола, а он стоит веселый и живехонький и, судя по румянцу на щеках, не больше склонен помирать, чем любой человек в нашем Перте. И вот моя драгоценная дочка, которая вчера только и говорила, что об испорченности жалких созданий, предающихся мирским утехам и берущих под свое крыло всяких веселых потешниц... Да, давно ли она восставала против святого Валентина и святого Купидона, — а нынче, как я посужу, сама превратилась в ту же бродяжку потешницу! Право, я рад, что вы, моя милая тетушка Шулбред, делили компанию с нашей влюбленной четой: уж вы-то не допустите никакого непорядка.

— Вы ко мне несправедливы, дорогой отец, — сказала Кэтрин, чуть не плача. — Меня привела сюда совсем иная забота, чем вы полагаете. Я пришла, потому что... потому что...

— Потому что ты ждала найти здесь мертвого жениха, — подхватил ее отец, — а нашла живого, готового принять изъявление твоих добрых чувств и ответить на них. Не будь в том греха, я от всей души поблагодарил бы небо, что тебя захватили врасплох и наконец заставили признаться, что ты женщина. Саймон Гловер недостоин иметь дочь чистейшую святую... Ладно, не гляди так жалостно и не жди от меня утешения! Так и быть, я перестану потешаться над тобой — но только тогда, когда ты согласишься утереть слезы или признаешься, что плачешь от радости.

— Пусть я умру на месте за такие слова, — сказала бедная Кэтрин, — но, право, я сама не знаю,

откуда эти слезы. Голько поверь, дорогой отец, и Генри тоже должен поверить, я никогда не пришла бы сюда, если бы... если бы...

— Если бы не думала, что Генри уже не может прийти к тебе, — подсказал отец. — А теперь пожмите друг другу руки на мир и согласие и дружите, как пристало двум Валентинам. Вчера было заговенье, Генри. Будем считать, что ты исповедался в своих безрассудствах, получил отпущение и очистился от всех лежащих на тебе грехов и вин.

— Ну нет, отец Саймон! — возразил Смит. — Сейчас, когда вы можете спокойно выслушать меня, я поклянусь на евангелии и призову в свидетельницы мою старую няню, тетушку Шулбред, что по этой части...

— Нет, нет, — перебил Гловер, — к чему опять будить разногласия, которые нужно забыть!

— Слушай ты, Саймон!.. Саймон Гловер!.. — доносилось между тем снизу, с улицы.

— Верно, сынок Смит, — сказал внушительно Гловер, — у нас другое дело на руках. Нам с тобою нужно немедленно идти в ратушу. Кэтрин до нашего возвращения останется здесь под присмотром тетушки Шулбред; а потом, так как в городе беспокойно, мы с тобою, Гарри, вместе отведем ее домой, и посмотрю я на того смельчака, который попробует нас задеть!

— Ну вот, дорогой отец, — улыбнулась Кэтрин, — теперь ты принимаешь на себя роль Оливера Праудфьюта, доблестного горожанина, собрата Генри Смита по оружию!

Лицо ее отца омрачилось:

— Ты сказала, дочка, колкое словцо, но ты еще не знаешь, что случилось... Поцелуй его, Кэтрин, в знак прощения.

— Ну нет, — возразила дочь. — Я и без того была к нему слишком милостива. У него еще будет время требовать награды, когда он благополучно доставит домой свою заблудившуюся девицу.

— А до тех пор, — сказал Генри, — я на правах хозяина дома потребую того, чего ты мне не хочешь разрешить на иных основаниях.

Он заключил девушку в объятия, и ему разрешено было сорвать поцелуй, который она не хотела подарить ему сама.

Когда они спускались по лестнице, старик положил руку Смиту на плечо и сказал:

— Генри, самые горячие мои пожелания исполнились, но угодно было святым, чтобы это свершилось в трудный и страшный час.

— И то верно, — сказал Смит. — Но ты знаешь, отец, если и часто бывают беспорядки в Перте, зато длятся они по большей части недолго. — И, отворив дверь, которая вела из его жилища в кузницу, он крикнул:

— Эй, друзья! Энтон, Катберт, Дингвел и Ринган! Чтоб ни один из вас не тронулся с места, пока я не вернусь. Будьте верны, как мечи, которые я научил вас ковать. Получите каждый по французской кроне и веселое шотландское угощение на всех, если не ослушаетесь моего приказа. Я оставляю на вас драгоценное сокровище. Хорошенько сторожите дверь... Маленький Дженкин пусть ходит вверх и вниз по проулку, а вы держите оружие под рукой на случай, если кто подступится к дому. Никому не открывайте дверь, покуда мы не вернемся — отец Гловер или я. Дело идет о моей жизни и счастье.

— Смерть тому, что на них посягнет! — дружно отозвались чумазы богатыри, к которым он обратился.

— Моя Кэтрин теперь в такой безопасности, — сказал оружейник ее отцу, — как если бы ее оберегала в королевском замке стража в двадцать человек. Мы можем спокойно отправиться в ратушу. Пройдем через сад.

И он повел гостя маленьким фруктовым садом, где птицы, которым добросердечный мастер всю зиму давал приют и корм, в эту предвесеннюю пору встречали преждевременную улыбку февральского солнца слабой, неуверенной попыткой запеть.

— Послушай-ка моих менестрелей, отец! — сказал Смит. — Нынче утром я со злобой в сердце смеялся над ними, что вот они распелись, чудачки, когда

впереди столько еще зимних дней. А теперь как будто по душе мне их веселый хор, потому что и у меня, как у них, есть моя Валентина. Пусть ждет меня завтра какая угодно беда — сегодня я самый счастливый в Перте человек, в городе и по графству, в крепостных стенах и на вольном поле.

— Однако мне время умерить твою радость, — сказал старый Гловер, — хоть, видит небо, я разделяю ее. Бедный Оливер Праудфьют, безобидный дурак, которого мы с тобою оба так хорошо знали, нынче утром был найден мертвым на улице.

— Но оказался лишь мертвецки пьян? — сказал Смит. — Чашка крепкого бульона да крепкая взбучка от супруги живо вернут его к жизни.

— Нет, Генри, нет. Он убит — зарублен боевой секирой или чем-то в этом роде.

— Быть не может! — вскричал Смит. — Он был такой быстроногий! Хоть весь Перт ему подари, не доверился бы он своей руке там, где ему обещают спасение пятки.

— Ему не дали сделать выбор. Удар нанесен в затылок, у самой шеи. Убийца, как видно, меньше его ростом и пустил в ход боевой топорик латника или другое подобное оружие, потому что лохаберская секира снесла бы верхнюю часть черепа. Так или иначе, он лежит мертвый, с разmozженной головой, и рана, скажу я, ужасна.

— Непостижимо! — сказал Генри Уинд. — Он заходил ко мне вчера в полночь в наряде танцора. Был вроде как в подпитии, но не шибко пьян. Он мне что-то наплел, будто за ним гнались какие-то озорники и ему грозит опасность... Но, увы, ты же знаешь, что это был за человек! Вот я и подумал, что он расхвстался, как всегда, когда захмелеет, и — да простит меня милосердная дева! — я отпустил его, отказавшись проводить, и поступил бесчеловечно. Святой Иоанн мне свидетель, я пошел бы провожать каждого, кто нуждается в защите, а уж тем более его, с кем я часто ел за одним столом и пил из одной чаши. Но кому во всем роде человеческом могла прийти в голову блажь расправиться с таким

безобидным простаком, способным причинить другому вред разве только пустой болтовней!

— Генри, он был в твоём шлеме, в твоём кафтане буйволовой кожи, при твоём щите... Как он их получил?

— Он просто попросил их у меня на одну ночь, а я был в расстройстве и рад был поскорее от него отвязаться. Я и праздника не справлял и не хотел никого принимать — все из-за нашей с вами размолвки.

— Бэйли Крейгдэлли и все наши умнейшие советники того мнения, что убить замыслили тебя и что ты должен отомстить как подобает за нашего согражданина, принявшего смерть, предназначенную тебе.

Смит не ответил. Они уже вышли из сада и шагали пустынной улочкой, по которой рассчитывали дойти без помехи до ратуши, избегнув встреч и праздных расспросов.

— Ты молчишь, сынок, а нам еще надо о многом поговорить, — сказал Саймон Гловер. — Ты подумай о Моды, вдове убитого, — ведь если она против кого-нибудь возбудит дело об обиде, нанесенной ей и ее осиротевшим детям, то по закону и обычаю ее должен поддержать воин-заступник, потому что, кто бы ни был убийца, нам ли не знать, каковы они, эти приспешники знати: заподозренный, уж будьте уверены, потребует решить дело поединком — нарочно, в насмешку над «трусливыми горожанами», как они нас зовут. Покуда течет в наших жилах кровь, не должно тому быть, Генри Уинд!

— Понимаю, к чему ты гнешь, отец, — отвечал в унынии Генри. — И видит святой Иоанн, призывы к битве были для меня всегда отрадны, как звук трубы для боевого коня. Но вспомни, отец, как снова и снова я терял благосклонность Кэтрин и едва не отчаялся уже вернуть ее, а все лишь потому, что был всегда, могу сказать, мужчиной — слишком быстро хватался за меч. Но наконец все наши раздоры уладились, и мне блеснула надежда, которая еще сегодня

утром казалась несбыточной... И вот, когда на губах еще не остыл поцелуй прощения, дарованный мне моею милой, меня опять вовлекают в дело насилия, а оно — тебе ли не знать — глубоко оскорбит Кэтрин.

— Тяжело мне, Генри, давать тебе совет, — сказал Саймон, — но об одном я должен тебя спросить: есть или нет основания думать, что злополучного Оливера приняли по ошибке за тебя?

— Боюсь, и очень, что это так, — сказал Генри. — Люди находили, что он немного похож на меня, и бедняга нарочно старался подражать мне и повадкой и походкой. Мало того — он даже перенял у меня мои любимые напевы и насвистывал их для большего сходства; и как же дорого оно ему обошлось! У меня предостаточно недругов, что в городе, что в округе, готовых со мной поквитаться, а у него не было, верно, ни одного.

— Да, Генри, ничего не скажу, дочь моя почтет себя обиженной. Она водила дружбу с отцом Климентом и набралась от него всяких мыслей о мире, о всепрощении, с которыми, по-моему, трудно жить в стране, где законы не могут защитить нас, когда у нас не хватает храбрости защищаться самим. Если ты решишься на поединок, я постараюсь убедить ее, чтобы она на это дело посмотрела как смотрят все порядочные женщины города; если ты предпочтешь устранишься от этого дела, оставить неотмщенным беднягу, убитого вместо тебя, оставить вдову и сирот без воздаяния за утрату мужа и отца, — что ж, я тогда буду к тебе справедлив, не стану укорять тебя чрезмерной терпимостью, раз она внушена любовью к моей дочери... Но, Генри, нам придется в этом случае покинуть добрый Сент-Джонстон, потому что здесь на нашу семью падет позор.

Генри глубоко вздохнул.

— Я лучше приму смерть, чем бесчестье, — сказал он, помолчав, — хотя бы мне после этого вовек не видать Кэтрин! Случись оно вечор, я бы вышел против лучшего бойца из баронских телохранителей так

радостно, как никогда не плясал вокруг майского дерева. Но сегодня, когда она впервые все равно что сказала мне: «Генри Смит, я тебя люблю!» — отец Гловер, это куда как тяжело! Но я сам всему виной! Бедный, незадачливый Оливер! Мне бы следовало приютить его под своим кровом, когда он молил меня о том в смертельном страхе, или хотя бы проводить его — я тогда отвел бы от него злую судьбу или сам разделил ее с ним. Но я его дразнил, я высмеивал его, ругал, хотя, видит небо, я ругал в сердцах, по пустой лишь злобе. Я прогнал его от своего порога, зная, что он так беспомощен, и дал ему принять судьбу, предназначенную мне! Я должен за него отомстить или буду навек обесчещен. Да, отец, ибо мне говорили, что я тверд, как та сталь, которую кую... Разве закаленная сталь когда-нибудь вот так роняет слезы?.. Позор мне, что я их лью!

— Никакого нет в том позора, дорогой мой сын! — сказал Саймон. — Ты не только храбрый, ты и добрый, и я всегда это знал. Но нам еще может посчастливиться. Возможно, не откроют никого, на кого могло бы пасть подозрение; а если никого не заподозрят, то никакого поединка и не будет. Нехорошо желать, чтобы невинная кровь так и осталась неотомщенной, но если виновник гнусного убийства укроется на время, то не придется тебе добровольно брать на себя дело мести, которую небо не преминет свершить в урочный час.

Так разговаривая, они вышли на Хай-стрит, прямо к ратуше. Когда они подходили к дверям, когда пробивались сквозь толпу, запрудившую улицу, они видели, что все подступы охраняет отборная стража из вооруженных горожан, а в добавление к ним — пятьдесят копьеносцев из свиты рыцаря Кинфонса, — ибо сэр Патрик вместе со своими союзниками — Грейями, Блэрами, Монкрифами и другими — привел в Перт сильный отряд конных воинов, из которого и были выделены эти копьеносцы. Гловер и Смит называли себя и были пропущены в палату, где уже собирались члены городского совета.

Глава XX

Исчахшая вдовица у ворот
В отчаянье суда и правды ждет.

«Берта»¹

Необычное зрелище являла палата заседаний пертского городского совета. В сумрачном зале, слабо и неверно освещенном двумя окнами неодинаковой формы и неравной величины, восседала за обширным дубовым столом большая группа людей. Кресла во главе стола занимали купцы — то есть члены гильдии или лавочники — в приличной одежде, отвечавшей их положению; но большинство, подобно регенту Йорку, носили «на старых шеях знак войны», — иначе говоря, на них были надеты латные нашейники и перевязи, на которых висели мечи. Ниже за столом заняли места мастера и ремесленники — старшины, или, как их называли, деканы цехов, в своей будничной одежде, но более опрятной, чем обычно. Они также были вооружены чем попало. На одних были черные куртки или камзолы, сплошь покрытые стальными ромбовидными пластинками, которые прикреплялись с верхнего угла и висели рядами, находя одна на другую; при каждом движении тела они покачивались и, в общем, давали ему верную защиту. На других — полукафтання буйволовои кожи, которые, как уже упоминалось, могли устоять против меча и даже пики, если удар был не слишком силен. В кругу этого пестрого собрания на самом нижнем месте за столом сидел сэр Луис Ландин — человек не военного звания, а духовная особа, священник церкви святого Иоанна, облаченный в рясу каноника, а перед ним на столе — перо и чернила. Он был городским писцом и, как все священники того времени (которых потому и называли папскими рыцарями), носил почетное звание *dominus*,² сократившееся в «дом» или «дэн» (что можно бы перевести

¹ Перевод С. Петрова.

² Господин (лат.).

просто словом «сэр») — почтительное обращение к рыцарю из белого духовенства.

На возвышении во главе стола совета сидел сэр Патрик Чартерис в начищенных до блеска доспехах — яркий контраст пестрой одежде, военной и мирской, горожан, которые призывались к оружию только от случая к случаю. Мэр всей своей повадкой подчеркивал тесную близость, установившуюся в силу взаимной выгоды между ним, горожанами и городским советом, но в то же время его осанка рассчитана была утвердить его верховенство, ибо, по воззрениям того века, дворянская кровь и рыцарское звание, бесспорно, возвышали его над членами собрания, на котором он председательствовал. За его спиною стояли два оруженосца, один — с его рыцарским знаменем в руке, другой — со щитом, на коем красовался его геральдический знак: рука, сжимающая кинжал или короткий меч с гордым девизом: «Вот моя хартия». Два красивых пажа держали один — длинный обнаженный меч своего господина, другой — его копье; и все эти рыцарские эмблемы и принадлежности выставлялись на вид с тем большей нарочитостью, что их вельможный обладатель был в этот час занят отправлением своих обязанностей председателя городского совета. Даже лицо рыцаря Кинфонса как будто старалось выразить чопорность и важность, не вязавшиеся с его открытым и веселым нравом.

— Итак, вы наконец явились, Генри Смит и Саймон Гловер, — сказал мэр. — Вы заставили нас долго ждать. Если подобный случай повторится, пока мы занимаем это место, мы на вас наложим такую пеню, что вы закричите, когда придется платить. Довольно! Никаких извинений! Сейчас мы их не спрашиваем, а в другой раз мы их не допустим. Узнайте же, государи мои, то, что наш уважаемый писец только что записал во всех подробностях и что я изложу вам вкратце, дабы вам стало ясно, чего от вас требуют, и в частности от тебя, Генри Смит. Наш покойный согражданин Оливер Праудфьют найден мертвым на Хай-стрит, близ поворота в Уинд. По-видимому, он

был убит сильным ударом короткой секиры, нанесенным сзади и врасплох. Деяние, причинившее эту смерть, нельзя назвать иначе, как подлым, умышленным убийством. Таково преступление. Что касается преступника, то его могут выявить лишь косвенные улики. В записи, составленной почтенным сэром Луисом Ландином, значится, что ряд свидетелей, люди доброго имени, видели покойного нашего гражданина Оливера Праудфьюта в течение минувшей ночи участвующим до позднего часа в представлениях танцоров; он вместе с ними прошел до дома Саймона Гловера на Кэрфью-стрит, где они снова разыграли свой спектакль. Установлено также, что после разговора с Саймоном Гловером он расстался со своими товарищами, уговорившись встретиться с ними в гостинице под вывеской Грифона, чтобы там закончить праздник. Теперь, Саймон, я спрашиваю тебя, в какой мере изложенное соответствует тому, что тебе известно? И далее: о чем ты вел разговор с покойным Оливером Праудфьютом?

— Милорд мэр и глубокоуважаемый сэр Патрик! — ответил Саймон Гловер. — Довожу до вашего сведения и до сведения всего почтенного собрания, что в связи с распространявшимися слухами о странном поведении Генри Смита между мною и кое-кем еще из моей семьи, с одной стороны, и присутствующим здесь Смитом — с другой, произошла размолвка. Наш злополучный земляк Оливер Праудфьют тоже усиленно распространял эти слухи, так как, что греха таить, посплетничать он любил. Вот мы с ним и обменялись несколькими словами по этому поводу; и, думается, он ушел от меня с намерением навестить Генри Смита, потому что он отделился от остальных плясунов, пообещав вернуться к ним, как вы отметили, ваша милость, в гостиницу Грифона, чтобы завершить там вечер. Но куда он пошел на самом деле, я не знаю, потому что больше мне не довелось увидеть его живым.

— Достаточно, — сказал сэр Патрик. — Это сходится со всем, что мы слышали ранее. Далее, почтенные господа, мы находим нашего несчастного

согражданина в кругу собравшихся на Хай-стрит бражников и масок, которые обращались с ним самым недостойным образом: его поставили на колени среди улицы и принуждали пить против воли вино в огромном количестве, покуда ему не удалось спастись бегством. Совершая свое насилие, озорники грозили несчастному обнаженными мечами и понукали его с громким криком и руганью, чем привлекли внимание нескольких горожан, которые, потревоженные шумом, выглянули в окна. Это подтверждается и показаниями двух-трех прохожих, которые, держась в стороне, вне света факелов, чтобы не подвергнуться той же обиде, видели глумление над их согражданином посреди Хай-стрит города Перта. Бражники были в масках и потешных костюмах, но нам тем не менее удалось с точностью установить, кто они такие, ибо на них оказались те самые потешные наряды, которые несколько недель назад были изготовлены по заказу сэра Джона Рэморни, конюшего при его высочестве герцоге Ротсее, наследном принце Шотландии.

Глухой ропот пробежал по собранию.

— Да, это так, мои добрые горожане, — продолжал сэр Патрик. — Расследование привело нас к заключению и печальному и страшному. Но если я и сожалею, как никто на свете, о грозящих нам последствиях, они меня нисколько не пугают. Да, дело обстоит так: несколько ремесленников, выполнявших заказ, описали нам потешные костюмы, приготовленные ими для Джона Рэморни, и их описание в точности сходится с тем, какое дают свидетели нарядам, что были на людях, глумившихся над Оливером Праудфьютом. А один ремесленник, некто Уингфилд, мастер по выделке перьев, видевший озорников, когда они захватили нашего согражданина, заметил, что на них были пояса и венцы из раскрашенных перьев, которые он сделал своими руками по заказу конюшего принца. С того часа, как Оливер убежал от этих озорников, мы теряем его из виду; но имеются свидетельства, что ряженные направились затем к дому сэра Джона Рэморни, где перед ними не сразу открыли ворота. Передают, что ты, Генри Смит, видел нашего

несчастливого согражданина Оливера Праудфьюта после того, как он побывал в руках у тех ряженных. Правда ли это?

— Он пришел в мой дом в Уинде, — сказал Генри, — за полчаса до полуночи, и я впустил его довольно неохотно, потому что он праздновал проводы карнавала, тогда как я сидел дома; а не зря говорит пословица, что между сытым и постником плохой разговор.

— В каком он был состоянии, когда ты все-таки впустил его в дом? — спросил мэр.

— Он запыхался, — ответил Смит, — и несколько раз повторил, что ему грозит опасность со стороны каких-то гуляк. Я, однако, мало обратил внимания на его слова, потому что он хоть и хороший человек, но всегда был робок, с цыплячьей душой, и я подумал, что в его словах больше выдумки, чем правды. Но я никогда не прощу себе, что не пошел его проводить, когда он меня о том попросил! Я, покуда жив, буду всегда заказывать по нем панихиды во искупление моей вины.

— Описывал он тех, от кого потерпел обиду? — спросил мэр.

— То были, сказал он, переодетые бражники в масках, — ответил Генри.

— А говорил он, что боится снова столкнуться с ними на обратном пути? — продолжал сэр Патрик.

— Он намекнул, что будто бы его подстерегают, но я решил, что ему это все померещилось, потому что вышел я посмотреть и никого в переулке не увидел.

— Итак, он не получил от тебя помощи? Никакой помощи? — спросил мэр.

— Только одно, ваша честь, — ответил Смит. — Он сменил свой наряд танцора на мой камзол буйволовой кожи, мой шлем и щит, которые, как слышал я, оказались при нем, когда его нашли убитым; а у меня дома лежит его колпак с колокольцами, куций кафтанчик и прочие принадлежности. Он сегодня должен был бы возвратить мне мое вооружение и забрать свою маскарадную одежду, когда бы то угодно было небу...

— Больше ты его с тех пор не видел?

— Не видел, милорд.

— Еще одно слово,— сказал мэр.— Есть у тебя основания думать, что Оливер Праудфьют сражен ударом, предназначавшимся другому человеку?

— Есть,— ответил Смит.— Но неверное это дело и опасное — высказывать догадки, да еще сомнительные.

— Все-таки выскажи по долгу и совести гражданина: как ты думаешь, кому был предназначен удар?

— Если долг велит, я скажу,— ответил Генри.— Полагаю, Оливера Праудфьюта постигла участь, предназначавшаяся мне самому; тем более что Оливер по неразумию своему говорил, что постарается, когда пойдет, перенять в добавление к одежде и мою походку.

— Что тебя наводит на такую мысль? У тебя с кем-нибудь ссора? — спросил сэр Патрик Чартерис.

— К стыду своему и греху, скажу: у меня вдоволь ссор и в Горной Стране и в Низине, с англичанами и с шотландцами в Перте и в Ангюсе. А бедный Оливер, мне думается, не завел бы ссоры и с цыпленком, только что вылупившимся из яйца. Увы! Из нас двоих он был лучше подготовлен предстать неожиданно пред судом всевышнего!

— Послушай, Смит, — сказал мэр, — ответь мне ясно: есть ли причина к вражде между тобою и кем-либо из людей сэра Джона Рэморни?

— Несомненно так, ваша честь. Идет молва, что отсеченная рука, которую в ночь на святого Валентина нашли на Кэрфью-стрит, принадлежит тому самому Черному Квентину, который несколько дней назад переправился за Тэй, в графство Файф. Эту руку отрубил я своим коротким мечом. Так как Черный Квентин был дворецким сэра Джона и его доверенным лицом, то между мною и вассалами его господина, бесспорно, есть место для кровной вражды.

— Это очень правдоподобно, Смит, — сказал сэр Патрик Чартерис. — А теперь, добрые братья и мудрые советники, возникают два предположения, и оба они наводят на один и тот же след. Возможно, гуляки в масках, захватившие нашего согражданина и

подвергшие его глумлению, о чем свидетельствуют легкие отметины на его теле, встретились со своим бывшим пленником, когда он шел домой, и закончили свое глумление, лишив его жизни. Он сам признался Генри Гоу, что боится такого исхода. Если так, то убийство совершено кем-либо из приспешников сэра Джона Рэморни — одним или несколькими. Но мне представляется более правдоподобным другое: двое-трое из гуляк остались на месте или вернулись туда позже, вероятно сменив свой наряд, и, когда перед ними явился Оливер Праудфьют в одежде Смита, да еще постаравшийся перенять походку Генри Смита (сам Оливер Праудфьют в собственном своем обличье мог только пробудить желание вновь позабавиться над ним), — вот тогда в них проснулась затаенная злоба, и, видя, что он один, эти люди решили самым верным и безопасным способом отделаться от грозного врага, каким, как всем известно, слывет среди недругов Генри Уинд. Если так рассудить, вина опять-таки ложится на дом сэра Джона Рэморни. Как вы полагаете, господа? Не вольны ли мы обвинить в преступлении его и его приспешников?

Советники пошептались несколько минут, и затем бэйли Крейгдэлли ответил от их лица:

— Благородный рыцарь и наш достойный мэр! Мы вполне согласны с тем, что высказали вы в своей премудрости относительно этого темного и кровавого дела. И мы полагаем, вы правильно рассудили в своей проницательности, что в гнусном насилии, свершенном над нашим убиенным гражданином, след приводит к дому Джона Рэморни из Рэморни — было ли замыслено убийство Оливера Праудфьюта как такового или же убит он по ошибке, принятый за нашего честного и доброго горожанина Генри из Уинда. Но сэр Джон, как владетельный рыцарь и конюший принца, содержит большой двор; и так как он и его приспешники непременно станут отрицать свою вину, мы спрашиваем, как повести нам дело? Когда бы закон позволял нам сжечь его дом и перерезать всех, кто в доме, то впору было бы вспомнить старую

пословицу: «Краткая речь — добрая речь». Ибо нигде не укрывается столько богоотступников, столько убийц и насильников, как в черной стае Рэморни. Но едва ли, думается нам, закон потерпит такого рода огульную расправу; а у нас, как мы здесь слышали, нет таких улик, которые позволяли бы обвинить в преступлении кого-нибудь одного или, скажем, нескольких из слуг сэра Джона Рэморни.

Мэр не успел ответить, как встал городской писец и, поглаживая свою почтенную бороду, попросил разрешения сказать свое слово, что было ему тотчас дозволено.

— Братья, — сказал он, — как во времена наших отцов, так и в наше время, когда взывали благочестиво к богу, он снисходил к молитве и утверждал вину преступного и непричастность тех, кого обвинили слишком поспешно. Обратимся же к нашему суверенному господину королю Роберту, который, когда злые советники не отвращают его от добра, всегда показывает себя самым справедливым и милосердным государем, какого знали наши летописи за долгие времена, и попросим его от имени Славного Города и всех общин Шотландии предоставить нам возможность по примеру наших предков воззвать к небу, чтобы оно пролило свет на это темное убийство. Мы потребуем испытания гробом, как оно не раз проводилось, одобряемое папскими буллами и декреталями, в царствие предков нашего государя и допускалось императором Карлом Великим во Франции, королем Артуром в Англии, а у нас в Шотландии — Григорием Великим и могучим Ахайюсом.

— Слышал и я, сэр Луис, о божьем суде через испытание гробом, — сказал мэр, — и знаю, что оно утверждено хартиями Славного Города; но я не доволюсь сведущ в древних законах и попрошу вас разъяснить нам подробно, в чем оно состоит.

— Если будет принят мой совет, — сказал сэр Луис Ландин, — мы попросим короля, чтобы тело убитого выставили в храме святого Иоанна и чтобы там, как подобает, отслужили молебствие за упокой его души и за открытие гнусного его убийцы. Тем

временем будет издан указ, чтобы сэр Джон Рэморни представил нам список всех слуг своего дома, какие находились в Перте в ночь на пепельную среду, и обязал их в заранее назначенный день и час явиться в храм святого Иоанна; в храме они один за другим должны будут пройти перед гробом нашего убиенного согражданина и по предписанной форме воззвать к богу с его святыми, чтобы он засвидетельствовал знаменiem их невиновность в убийстве и непричастность к нему. И поверьте мне, многие примеры тому доказательством: если убийца посмеет покривить душою, сделав такой призыв, то некая антипатия, существующая между мертвым телом и рукою, что нанесла роковой удар, разлучивший это тело с душою, пробудит в теле слабую жизнь, и под ее воздействием в жилах мертвеца проснется ток и на роковых его ранах проступит кровь, хотя она давно остыла в жилах. Или, вернее, небу угодно, чтобы оставалась возможность посредством некоей скрытой от нас, непостижимой силы раскрывать злодейство того, кто исказил в своем образе воплощенный в нем образ создателя.

— Слышал я, что возможен такой суд, — сказал сэр Патрик, — и что он применялся во времена Брюса. Допустимо, полагаю, и в наше время прибегнуть к этому мистическому способу расследования, коль скоро мы не можем раскрыть истину обычными путями, ибо ясно: если выдвинуть общее обвинение против дома сэра Джона в целом, мы, несомненно, встретим общий же отказ признать вину. Но я должен далее спросить сэра Луиса, нашего почтенного городского писца: как мы задержим виновного? Пока суд да дело, он сбежит.

— Горожане будут строго держать стражу на крепостных стенах; от заката до восхода все подъемные мосты будут подняты, заградительные решетки спущены, и всю ночь будут ходить по улицам сильные сторожевые отряды. Горожане будут бдительно нести дозор и не дадут ускользнуть убийце нашего согражданина.

Прочие советники, кто словом, кто кивком, выразили свое согласие.

— Ну, а если, — сказал мер, — кто-либо из заподозренного дома откажется подвергнуться такого рода божьему суду?

— Он вправе взамен испытания гробом потребовать иного суда, — сказал почтенный городской писец, — суда поединком с противником, равным ему по состоянию; ибо обвиненному, если его призывают к божьему суду, предоставляется право самому избрать вид испытания. Но если он отказывается и от поединка и от испытания гробом, его объявляют виновным и предают казни.

Мудрые советники единодушно согласились с мнением своего мэра и городского писца и по всей форме постановили обратиться с ходатайством к королю уважить закон и разрешить провести расследование убийства их согражданина в согласии с древним обычаем. Такой способ устанавливать истину приравнивали в случаях убийства к твердой улике, и он применялся вплоть до семнадцатого века. Но прежде чем собрание разошлось, бэйли Крейгдэлли почел нужным поставить еще один вопрос: кто выступит поборником Моды — или Магдален — Праудфьют и двух ее детей.

— Тут и спрашивать нечего, — сказал сэр Патрик Чартерис. — Мы все мужчины, все носим меч у пояса, и этот меч будет сломлен над головою каждого, кто не захочет обнажить его в защиту вдовы и сирот нашего убитого согражданина и честно отомстить за него. Если сэр Джон Рэморни лично выйдет на суд, Патрик Чартерис из Кинфонса примет поединок и будет биться до последнего — пока не падет боец или конь, не сломятся копые и клинок. В случае же, если вызов будет брошен кем-либо из йоменов, Магдален Праудфьют может избрать себе заступника среди храбрейших граждан Перта. Позор и бесчестие падут на Славный Город, если тот, кого она назовет, покажет себя изменником и трусом и ответит «нет». Приведите ее сюда, и пусть выбирает.

Генри Смит слушал и с горечью предугадывал, что бедная женщина остановит выбор на нем — и

только что достигнутое им примирение с его владычицей снова разладится, оттого что ему, Гарри Гоу, придется влезть в новую ссору, от которой он не сможет уклониться, не опозорив себя, и которую при других обстоятельствах он принял бы с открытой душой, видя в ней почетную возможность отличиться пред лицом всего города и королевского двора. Он был уверен, что, следуя учению отца Климента, Кэтрин почтет подобный поединок скорее оскорблением религии, чем призывом к божеству, и, уж конечно, она не признает разумным, чтобы виновность человека или нравственная его чистота устанавливались в зависимости от того, превосходит ли он другого силой и умением владеть мечом. Поэтому оружейник не ждал ничего доброго для себя от ее своеобразных суждений в этой связи — суждений слишком тонких, опережавших свой век.

Пока он терзался этими противоречивыми чувствами, в зал вошла Магдален, вдова убитого. На ней был траурный покров, и ее вели и поддерживали пять или шесть добропорядочных, то есть респектабельных, женщин в таком же горестном наряде. Одна из провожающих несла на руках грудного младенца — последний залог супружеской нежности бедного Оливера. Другая вела переваливавшегося на коротких ножках малыша лет двух, смотревшего с удивлением и страхом то на черное платье, в которое его обрядили, то на все окружающее.

Все встали, чтобы встретить печальную группу, и приветствовали вдову выражением глубокого сочувствия, на которое Магдален, хоть и была она не более как ровней покойному Оливеру, отвечала с достоинством, почерпнутым, быть может, в самой силе ее горя. Сэр Патрик Чартерис выступил вперед и, с учтивостью рыцаря к женщине и покровителя к угнетенной и обиженной вдове, взял несчастную за руку и коротко разъяснил ей, каким порядком город решил добиваться должного отмщения за убийство ее мужа.

Удостоверившись с несвойственными ему вниманием и мягкостью, что несчастная отлично все уяснила себе, мэр громко объявил собранию:

— Добрые граждане Перта, свободнорожденные ремесленники и гильдейцы! Будьте свидетелями тому, что сейчас произойдет, ибо это касается ваших прав и привилегий. Здесь стоит пред вами Магдален Праудфьют, помогающая отмщения за смерть своего супруга, гнусно убиенного, как утверждает она, сэром Джоном Рэморни из Рэморни, рыцарем, и свое обвинение она предлагает проверить божьим судом через испытание гробом или поединком на жизнь и смерть. Поэтому я, Патрик Чартерис, препоясанный рыцарь и прирожденный дворянин, предлагаю лично сразиться за ее правое дело, доколе устоят человек и конь, если поднимет мою перчатку равный мне по крови. Что ты скажешь, Магдален Праудфьют, принимаешь ты меня своим заступником?

— Более благородного я не могла бы себе пожелать, — пролепетала в ответ вдова.

Тогда сэр Патрик взял ее за правую руку и, поцеловав в лоб, как требовал обычай, торжественно сказал:

— Бог и святой Иоанн да укрепят мою силу в час нужды, когда я стану исполнять долг твоего заступника рыцарски верно и мужественно. Теперь ступай, Магдален, избери по своей воле среди граждан Славного Города, присутствующих здесь или отсутствующих, кому желаешь ты поручить свое дело, если тот, на кого ты возводишь обвинение, окажется по роду и званию ниже меня.

Все взоры обратились на Генри Смита, кому глас народа уже присудил сразиться за дело вдовы. Но та и не ждала ничьей указки или поощрения. Сэр Патрик не успел договорить, как она уже направилась к тому месту у нижнего конца стола, где стоял среди людей своего состояния оружейный мастер, и взяла его за руку.

— Генри Гоу, или Смит, — сказала она, — добрый горожанин и ремесленник! Мой... мой... — Она приготовилась сказать «покойный муж», но эти слова не хотели сойти с ее языка; пришлось прибегнуть к другому обороту речи. — Ушедший от нас любил и ценил тебя превыше всех людей, потому тебе и подобает принять на себя спор его вдовы и сирот.

Если б и была хоть малейшая возможность для Генри — а в тот век ее не было — уклониться или отвергнуть доверие, которое весь народ как бы возлагал на него, у него исчезла бы даже мысль о том, когда обратилась к нему с первыми своими словами вдова; повеление с небес не произвело бы на него более сильного действия, чем призыв несчастной Магдален. Напоминание о дружбе с усопшим взволновало его до глубины души. Покуда был жив Оливер, могла казаться нелепой его чрезмерная приверженность к Генри, бесспорно несколько забавная, если учесть, как различны были они нравом. Но все это теперь забылось, и Генри, уступая своей пылкой природе, помнил только, что Оливер был его другом-приятелем, человеком, который любил и чтит его со всем жаром, какой вояка-шапочник был способен вложить в эти чувства. И вдобавок ко всему, были веские основания подозревать, что несчастный пал от удара, предназначенного ему, Генри Смиту.

Поэтому с живостью, какой за минуту до того он и сам от себя не ждал бы и выдававшей, казалось, тайную радость, оружейник припал губами к холодному лбу несчастной Магдален и сказал в ответ:

— Я, Генри Смит, проживающий в городе Перте, в Уинде, честный и верный человек и свободно-рожденный, принимаю на себя долг заступника этой вдовы Магдален и этих сирот и буду сражаться в ее споре со всяким, кто равен мне по состоянию, доколе достанет дыхания в моей груди. Да помогут мне в час нужды бог и добрый святой Иоанн!

Приглушенный ропот прошел по собранию, показывая, как жадно хотели присутствующие божьего суда и как они были уверены в исходе поединка.

Сэр Патрик Чартерис не преминул затем лично отправиться к королю и потребовать его разрешения на расследование убийства Оливера Праудфьюта посредством божьего суда, как позволял обычай, — через испытание гробом или, если явится нужда, посредством поединка.

Этот свой долг он исполнил, как только разошелся городской совет, в частной беседе с королем.

С сильной досадой услышал Роберт III о новом неприятном осложнении и повелел сэру Патрику и противной стороне явиться на следующее утро, после ранней обедни, на королевский совет, где его величество изъявит свою волю; а тем временем в Дом Констебля был отправлен королевский гонец с повелением истребовать у сэра Джона Рэморни список его слуг и приказать ему под страхом суровой кары оставаться в Перте со всею своею свитой и ждать королевского решения.

Глава XXI

Ристалище готовь согласно правил,
Пора кончать — пусть бог рассудит нас!

«Генрих IV», ч. II¹

В доминиканском монастыре, в том самом покое, где происходил королевский совет, король Роберт сидел со своим братом Олбени, который в напускной добродетели и подлинном искусстве лицемерия всегда умел подчинить своему влиянию слабовольного государя. Да и что тут неестественного, если тому, кто не способен видеть вещи в их истинном очертании, цвете и виде, они представляются такими, какими их рисует ему дерзкий и коварный человек, облеченный к тому же правами близкого родственника.

Тревожась, как всегда, за несчастного сына, окруженного дурными советчиками, король и теперь старался склонить Олбени к своему мнению, снимая с Ротсея всякую вину в смерти шапочника, хотя сэр Патрик, не скрывая, представил свои подозрения на суд короля.

— Какое несчастье, брат Робин, — говорил король, — какое печальное стечение обстоятельств! Пойдет раздор между знатью и здешними городскими общинами, как шла между ними вражда во

¹ Перевод Д. Самойлова.

многих отдаленных землях. Во всем этом меня утешает только одно: поскольку сэр Джон Рэморни уже удален от двора герцога Ротсея, никто не может утверждать, будто бывший конюший принца или кто бы то ни было из его людей, совершивший это кровавое деяние (если оно впрямь совершено кем-либо из дома Рэморни), пошел на него в угоду моему бедному мальчику или по его наущению. Я уверен, брат, ты и я — мы оба можем засвидетельствовать, как охотно Давид ответил согласием на мою просьбу уволить Рэморни со службы после той драки на Кэрфью-стрит.

— Да, я хорошо это помню, — сказал Олбени. — И я надеюсь, что отношения между принцем и Рэморни не возобновились после того, как Ротсей как будто согласился уступить желанию вашего величества.

— Что значит «как будто»? — возмутился король. — Не возобновились ли отношения? Что хочешь ты сказать этими словами, брат? Разве Давид не обещал мне расстаться с Рэморни, если это несчастное дело на Кэрфью-стрит будет замято и сохранено в тайне, потому что Рэморни, признал он, злой советчик, которого люди недаром считают способным вовлекать его в подобные безумства? И разве принц не согласился, чтобы мы подвергли этого злого советчика изгнанию или другой подобной каре, какую нам угодно будет на него наложить? Почему же, брат, ты сомневаешься в том, что изъявления принца были искренни и что он верен своему слову? Вспомни, Робин: когда ты посоветовал не изгонять Рэморни, а наложить тяжкую пеню на его поместья в Файфе, принц заявил, что не только для Рэморни, но и лично для него предпочтительнее будет отправить Рэморни в изгнание!

— Я это помню, мой высокородный брат. И, право, я никогда не заподозрил бы, что Рэморни может еще сохранить такое сильное влияние на принца, после того как своими советами поставил его в столь опасное положение. Но мой царственный родич сам признался, склоненный на то вашей милостью, что

если оставить Рэморни при дворе, то он и впредь будет влиять на него. Я в тот раз и сам пожалел о своем совете заменить изгнание пеней. Но тот случай — дело прошлое, ныне же совершенно новое озорство, сопряженное с большой опасностью для вашего величества, равно как и для вашего царственного наследника и всего королевства.

— Что ты говоришь, Робин! — сказал малодушный король. — Могилой наших родителей, душою Брюса, бессмертного нашего предка, заклинаю тебя, дорогой мой брат, имей ко мне сострадание! Открой мне, какое новое зло угрожает моему сыну или моему королевству?

Король склонил к брату искаженное страхом лицо, слезы проступили на его глазах, между тем как брат его медлил, как бы обдумывая ответ.

— Милорд, опасность вот в чем, — сказал он наконец. — Вы верите, ваше величество, что принц не замешан в этом вторичном посягательстве на права горожан — в убийстве шапочника, из-за которого ремесленники разгались, точно чайки по своей товарке, когда какой-нибудь мальчишка, сын рыбака, подстрелит хоть одну из их шумной стаи.

— Их жизни, — сказал король, — дороги им самим и друзьям их, Робин.

— Бесспорно так, государь, и нас они тоже заставляют дорожить их жизнями, если мы не желаем дорого платить за каждую пролитую каплю их подлой крови. Но, как я сказал, вы полагаете, ваше величество, что принц непричастен к последнему убийству. Что ж, вопрос очень щекотлив, и я не стану колебать ваше убеждение, а, напротив, постараюсь разделить его с вами. Ваше мнение, вы знаете, для меня закон! Роберт Олбени никогда не будет мыслить иначе, чем мыслит Роберт Шотландский.

— Благодарю, благодарю тебя! — сказал король, взяв брата за руку. — Я знаю, я могу на тебя положиться; любя моего сына, ты всегда справедлив к бедному, опрометчивому Ротсею, который слишком часто навлекает на себя осуждение и едва ли заслуживает теплых чувств, какие ты к нему питаешь.

Олбени преследовал свою цель с таким неуклонным постоянством, что нашел в себе силу ответить на братское пожатие королевской руки даже в ту минуту, когда подсекал под корень робкую надежду старого отца, любящего и снисходительного.

— Но, увы, — добавил герцог со вздохом, — этот несговорчивый грубиян, рыцарь из Кинфонса, и его крикливая орава горожан — они не посмотрят на дело нашими глазами. У них достало наглости уверять, что этот человек, найденный потом убитым, подвергся перед тем глумлению со стороны Ротсея и его людей, которые будто бы слонялись по улицам под масками и во хмелю, останавливали прохожих — мужчин и женщин, принуждая их плясать или опоражнивать огромные кубки вина, и творили всякое другое озорство, о чем нет нужды рассказывать; и они утверждают, что озорники отправились затем всей ватагой к сэру Джону Рэморни и чуть не силой ворвались в его дом, чтобы там закончить кутеж; а это позволяет нам предположить, что принц лишь притворно согласился уволить сэра Джона, прибегнув к такому приему для отвода глаз. А потому, говорят они, если в ту ночь сэром Джоном Рэморни или кем-либо из его людей совершено было убийство, то можно с полным основанием думать, что герцог Ротсей если и не явился зачинщиком дела, то по меньшей мере причастен к нему.

— Олбени, это страшно! — простонал король. — Они объявляют моего мальчика убийцей? Утверждают, что мой Давид способен запятнать свои руки шотландской кровью беспричинно, ничем на то не вызванный? Нет, нет, такой явной клеветы никто не измыслит, она слишком нагла, слишком неправдоподобна!

— Извините, государь мой, — ответил герцог Олбени, — люди говорят, что столкновение на Кэрфью-стрит и все, что последовало далее, вызвано причиной, которая больше касается принца, чем сэра Джона, потому что никто не думает и никогда не поверил бы, что это остроумное предприятие было затеяно в угоду самому рыцарю Рэморни.

— Ты сведешь меня с ума, Робин! — взмолился король.

— Я нем, — отвечал его брат. — Свое скромное мнение я посмел высказать лишь по королевскому приказу.

— Я знаю, ты желаешь мне добра, — сказал король. — Но вместо того, чтобы терзать меня, открывая, какие мне уготованы неизбежные бедствия, разве с твоей стороны не добрее было бы, Робин, указать мне способ избежать их?

— Верно, государь; но так как единственный путь к спасению труден и тернист, нужно, чтобы вы сперва уяснили себе безусловную необходимость вступить на этот путь, и лишь тогда я осмелюсь указать его вашей милости. Хирург должен сперва убедить больного, что поврежденный член неизлечим, и лишь затем он дерзнет заговорить об отсечении, даже если нет другого выхода.

Эти слова возбудили в короле такую сильную тревогу и негодование, на какую никак не рассчитывал его брат.

— Поврежденный, омертвелый член, милорд Олбени? Отсечение — единственный выход? Непонятные слова, милорд... Применяя их к нашему сыну Ротсею, ты должен их обосновать, или тебе придется горько раскаться в последствиях!

— Вы толкуете их слишком буквально, мой царственный господин, — сказал Олбени. — В таких неподобающих выражениях я говорил отнюдь не о принце; призываю небо в свидетели: как сын моего горячо любимого брата, он мне дороже собственного сына. Я говорил в том смысле, что надо бы отлучить его от безумств и суеты светской жизни, которые, по словам святых людей, подобны омертвевшим членам и должны быть отсечены и отринуты, потому что мешают нам следовать путями добра.

— Понимаю... ты хотел бы, чтобы Джон Рэморни, которого полагают виновным в безрассудствах моего сына, был удален от двора, — с облегчением сказал монарх, — до поры, когда эти неприятные пересуды

забудутся и наши подданные научатся смотреть на нашего сына иными глазами — с бóльшим доверием?

— Хорошее предложение, государь мой, но я пошел бы несколько дальше. Я посоветовал бы удалить на короткое время от двора также и принца.

— Как, Олбени? Расстаться с сыном, с моим первенцем, светом очей моих, когда он... при всей своей взбалмошности он так дорог моему сердцу!.. Ох, Робин, я не могу, я не хочу!

— Нет, я только предложил, милорд. Я понимаю, какую рану такое решение должно нанести родительскому сердцу, разве я сам не отец? — И он склонил голову, как будто безнадежно сокрушенный.

— Я этого не переживу, Олбени! Ведь и наше на него влияние, иногда забываемое в наше отсутствие, но неизменно действенное, пока он с нами, должно, по твоему замыслу, совершенно прекратиться. Подумай же, какие опасности могут тогда обрушиться на принца! Я лишусь сна, если Давида удалят от меня; в каждом вздохе ветра мне будет слышаться его предсмертный стон. Да и ты, Олбени, хоть ты и лучше умеешь это скрыть, и ты будешь тревожиться не меньше, чем я!

Так слабовольный государь старался убажить брата и обмануть самого себя, утверждая как нечто безусловное, что между дядей и племянником существует нежная привязанность, которой на деле не было и тени.

— Ваша отцовская нежность слишком легко переходит в тревогу, милорд, — сказал Олбени. — Я отнюдь не предлагаю предоставить принцу свободу следовать буйным его наклонностям. Я разумею так: Ротсея следует поместить на короткое время в какое-нибудь подобающее место уединения, отдать на попечение какого-либо разумного советника, который будет отвечать за поведение и безопасность принца, как наставник отвечает за ученика.

— Что ты! Наставник? Словно Ротсей не взрослый! — возмутился король. — Он уже два года как вышел из возраста, когда юноша считается по нашим законам несовершеннолетним.

— Римляне были мудрее, — заметил Олбени, — по их законам совершеннолетие наступало четырьмя годами позже; а если следовать здравому смыслу, право надзора может простирается в случае нужды и дальше, так что срок, когда человека признают совершеннолетним, должен меняться в зависимости от нрава. Возьмите, например, юного Линдсея, графа Крофорда (кстати, он выступает покровителем Рэморни в его споре с городом): это мальчик пятнадцати лет, обуреваемый сильными страстями и твердо идущий к цели, как мужчина лет тридцати; тогда как мой царственный племянник, обладая куда более приятными и благородными свойствами и ума и сердца, в свои двадцать три года проявляет иногда легкомыслие своенравного юноши, которого ради его же блага следует держать в узде. Но не огорчайтесь, что это так, государь мой, и не гневайтесь на вашего брата, если он говорит вам правду, потому что лучшие плоды — те, что медленно созревают, и лучшие кони — те, с которыми было немало труда, пока их не объездили для поля битвы или для ристалища.

Герцог умолк и, дав королю Роберту погрузиться в раздумье, выждал две-три минуты, а затем добавил более веселым тоном:

— Но не сокрушайтесь, мой благородный государь, может быть спор удастся еще разрешить без боя и без всяких трудностей. Вдова бедна, потому что ее муж, хоть и получал достаточно заказов, был склонен к безделью и мотовству, так что дело, пожалуй, можно будет уладить посредством денег; а то, что придется уплатить во искупление за пролитую кровь, мы покроем из доходов с поместья Рэморни.

— Нет, мы всё уплатим сами, — сказал король Роберт, жадно ухватившись за надежду мирно разрешить неприятный спор. — Состояние Рэморни сильно пошатнется в связи с его отставкой от двора и увольнением от обязанностей при доме Ротсея; невеликодушно бить лежачего... Но вот идет наш секретарь, настоятель монастыря, возвестить нам, что пора открывать совет... С добрым утром, мой достойный отец!

— Benedicite, государь, — отвечал приор.

— Добрый отец, — продолжал король, — не будем ждать Ротсея — мы сами поручимся, что он примет наши советы, и приступим к разбору дел, касающихся королевства. Какие у вас вести от Дугласа?

— Он прибыл в свой замок Танталлон, государь, и прислал гонца с извещением, что хотя граф Марч отсиживается в крепости Данбар, никого к себе не допуская, друзья и вассалы изменника собрались и стали лагерем близ Колдингема, где, по-видимому, ждут из Англии подмоги. Хотспер и сэр Ралф Перси стягивают к шотландской границе большие силы.

— Невеселые новости, — вздохнул король. — И да простит господь Джорджа Данбара!

В эту минуту вошел принц. Король продолжал:

— Ага, наконец явился и ты, Ротсей... Тебя не видно было на обедне.

— Нынче утром я позволил себе полентяйничать, — ответил принц, — так как ночью у меня была бессонница и лихорадка.

— Ах, безрассудный мальчик! — сказал король. — Когда бы ты не провел без сна заговенье, тебя не лихорадило бы в ночь на пепельную среду.

— Боюсь, я перебил вас на словах молитвы, государь мой, — сказал небрежно принц. — Ваша милость призывали на кого-то благословение небес — несомненно, на вашего врага, потому что чаще всего вы молитесь за врагов.

— Садись и успокойся, безрассудный юноша! — сказал отец, остановив взгляд на красивом лице и грациозном стане любимого сына.

Ротсей пододвинул подушку поближе к трону и небрежно раскинулся на ней в ногах у отца, тогда как король продолжал:

— Я выражал сожаление о том, что граф Марч, которому при расставании мы твердо обещали возместить все обиды, на какие мог он пожаловаться, оказался способен вступить в предательский сговор с Нортумберлендом против родной страны. Неужели он усомнился в нашем намерении сдержать слово?

— Отвечу за него: «Нет», — сказал принц. — Марч не усомнился в слове короля. Но у него могло явиться опасение, что многоученые советники ваши не дадут вашему величеству сдержать королевское слово.

Роберт III широко применял трусливый прием делать вид, что не расслышал слов, которые, когда они дошли до слуха, требуют — даже по его суждениям — гневной отповеди. Он поэтому пропустил мимо ушей возражение сына и продолжал свою речь. Тем не менее неосторожные слова Ротсея усилили то недовольство, которое зародилось против него в душе отца.

— Хорошо, что Дуглас сейчас на границе, — сказал король. — Предки Дугласа всегда умели постоять за отчизну, и грудь его для Шотландии — самый верный оплот.

— Значит, горе нам, если он повернется спиной к неприятелю, — сказал неисправимый Ротсей.

— Ты посмел бросить тень на доблесть Дугласа? — ответил с сердцем король.

— Кто посмеет усомниться в доблести графа? — сказал Ротсей. — Она бесспорна, как его гордыня... Но можно не слишком верить в его счастье.

— Клянусь святым Андреем, Давид, — вскричал его отец, — ты — что филин: каждым словом предвещаешь раздор и беду!

— Молчу, отец, — ответил юноша.

— А что слышно о раздорах в Горной Стране? — продолжал король, обратившись к настоятелю.

— Там как будто дела принимают благоприятный оборот, — отвечал аббат. — Огонь, грозивший охватить всю страну, удастся, по-видимому, загасить кровью полусотни удалцов. Два больших союза племен торжественно поклялись на мечах тридцатого марта, то есть в вербное воскресенье, в вашем королевском присутствии разрешить свой спор любым оружием, какое назовет ваше величество, и на указанном вами поле. Решено ограничить число сражающихся тридцатью бойцами с каждой стороны, но биться они будут до последней крайности. При этом кланы обращаются с покорной просьбой к вашему

величеству, чтобы вы отечески соизволили сложить с себя на этот день королевское право присудить победу одной из сторон до окончания боя: вы не бросите на землю жезл, не крикнете «довольно», пока они сами не доведут дело до конца.

— Лютые дикари! — огорчился король. — Неужели они хотят ограничить самое нам дорогое королевское право — право положить конец сражению и провозгласить перемирие в битве? Они отнимают у меня единственное побуждение, которое могло бы меня привлечь на зрелище их резни. Хотят они сражаться как люди или как волки их горного края?

— Милорд, — сказал Олбени, — мы с графом Крофордом по некоторым причинам позволили себе, не снесшись с вами, дать предварительное согласие на эти условия.

— Граф Крофорд! — заметил король. — Мне кажется, он слишком молод, чтобы с ним советоваться о таком важном деле.

— Невзирая на молодость, — возразил Олбени, — он пользуется среди соседствующих с ним горцев большим уважением. Без его помощи и воздействия едва ли я о чем-либо договорился бы с ними.

— Слышишь, юный Ротсей? — укоризненно обратился король к своему наследнику.

— Мне жаль Крофорда, сэр, — ответил принц. — Он слишком рано лишился отца, чьи советы были бы так ему нужны в его юные лета.

Король поднял на Олбени торжествующий взгляд, как бы призывая брата оценить сыновнюю преданность, сказавшуюся в этом ответе. Нисколько не тронутый, Олбени продолжал:

— Не жизнью своей, а только смертью эти горцы могут послужить Шотландскому королевству; и, сказать по правде, графу Крофорду, да и мне самому представилось весьма желательным, чтоб они дрались до полного взаимного истребления.

— Вот оно что! — воскликнул принц. — Если Линдсей в столь юные годы держится такой политики, каким же милосердным правителем станет он лет через десять — двенадцать! Ну и мальчик — еще ни

волоска над губой, а уже такое твердокаменное сердце! Уж лучше бы он развлекался вволю петушиными боями на проводах масленой, чем строил замыслы массового избияния людей в вербное воскресенье. Ему, видать, по нраву уэльсский обычай делать ставку только на смерть.

— Ротсей прав, Олбени, — сказал король. — Не подобает христианскому государю уступать в таком вопросе. Я не могу согласиться, чтобы люди у меня на глазах сражались, пока не полягут все до одного, как скот на бойне. Такое зрелище будет для меня нестерпимо, и жезл выпадет из моей руки уже потому, что не станет у меня силы держать его.

— А этого никто и не заметит, — сказал Олбени. — Я позволю себе указать вашей милости, что вы лишь отказываетесь от королевской привилегии, которая, прибегни вы к ней, не стяжает вам почета, ибо не встретит повиновения. Если король опустит жезл в разгаре боя, эти люди, разгоряченные борьбой, не больше с ним посчитаются, чем волки со скворцом, когда бы тот во время их драки уронил в их стаю соломинку, которую нес в свое гнездо. Этих бойцов ничто не заставит разойтись, пока они не полягут мертвыми все до единого; и пусть уж лучше они перережут друг друга своими руками, чем пасть им от мечей наших воинов, когда те ввяжутся в бой, пытаясь их разнять по приказу вашего величества. Попытка водворить мир насилием будет истолкована как ловушка, и противники объединятся, чтобы вместе дать отпор. Получится такая же бойня, а надежда на водворение мира в будущем рухнет.

— Слова твои слишком близки к истине, брат Робин! — ответил податливый король. — Что пользы отдавать приказы, если я бессилён добиться их исполнения? И хотя я имею несчастье поступать так каждый день моей жизни, ни к чему выставлять на вид перед толпами людей, которые стекутся на это зрелище, беспомощность их короля. Пусть дикари вершат друг над другом кровавую расправу — я отказываюсь от попытки запретить то, чему не в силах воспрепятствовать... Да поможет небо несчастной на-

шей стране! Пойду в молельню и помолюсь за Шотландию, потому что мне не дано помочь ей ни рукой моей, ни разумом. Отец настоятель, прошу вас, дайте мне опереться на ваше плечо.

— Но, брат мой, — сказал Олбени, — простите, если я вам напомню, что мы еще должны обсудить спор между гражданами Перта и Рэморни по поводу смерти одного горожанина...

— Верно, верно, — сказал монарх, опять усаживаясь. — Снова насилие, снова битва... О Шотландия, Шотландия! Если бы лучшая кровь вернейших твоих сыновей могла утучнить твою скудную почву, какие поля на земле могли бы сравниться плодородием с твоими! Дожил ли хоть один шотландец до седины в бороде, если он не жалкий калека, подобно твоему государю? Своим увечьем король защищен от убийства ближних, но его принуждают смотреть на кровавую бойню, которую он бессилен пресечь!.. Пусть войдут, не будем их задерживать. Они спешат убивать, завистливо отнимают друг у друга благотворный воздух, дарованный им создателем. Демон борьбы и убийства завладел всей страной!

Когда мягкосердечный государь откинулся на спинку кресла с видом нетерпения и гнева, мало ему свойственным, дверь в дальнем конце зала распахнулась, и из галереи, куда она выходила (и где видна была в глубине охрана из вооруженных бранданов), явилась в скорбном шествии вдова бедного Оливера, которую вел под руку сэр Патрик Чартерис так почтительно, словно самую высокородную леди. За ними шли две почтенные горожанки — жены членов городского совета, обе в трауре; из них одна несла на руках грудного младенца, другая вела ребенка постарше. Далее следовал Смит в лучшей своей одежде, и поверх его камзола буйволовой кожи был наброшен креповый шарф. Скорбное шествие замыкал Крейгдэлли в паре еще с одним советником, оба с теми же знаками траура.

Гневная вспышка короля сразу погасла, как только он взглянул на бледное лицо скорбящей вдовы и увидел малых сирот, не ведающих, какую понесли

они утрату; и, когда сэр Патрик Чартерис помог Магдален Праудфьют опуститься на колени и, все еще не выпуская ее руки, сам преклонил одно колено, король Роберт уже с глубоким состраданием в голосе спросил, как ее зовут и в чем ее просьба. Она не ответила и лишь пролепетала что-то, подняв глаза на своего провожатого.

— Говори ты за бедную женщину, сэр Патрик Чартерис, — повелел король, — и объясни нам, какая нужда привела ее к нам.

— Я скажу, если так угодно моему государю, — ответил, поднявшись, сэр Патрик. — Эта женщина и эти бедные сироты приносят вашему величеству жалобу на сэра Джона Рэморни из Рэморни, рыцаря, в том, что собственной его рукой или рукой одного из его приспешников ее ныне покойный муж Оливер Праудфьют, свободный человек и пертский горожанин, был убит на улицах города в ночь на пепельную среду или на заре того же дня.

— Женщина, — отвечал король как мог ласково, — ты уже по природе своей кротка и должна быть жалостлива даже в своем горе, ибо самые бедствия наши должны делать нас — и, полагаю, действительно делают — милосердными к другим. Твой супруг лишь прошел стезю, предназначенную каждому из нас.

— Но его стезя, — сказала вдова, — не забывайте, государь, оказалась короткой и кровавой.

— Согласен с тобою, ему была отпущена скудная мера. Но так как я оказался бессилен его оградить, как мне повелевал мой королевский долг, я пожалую тебе такое воздаяние, чтобы ты и твои сироты могли жить не хуже или даже лучше, чем при жизни твоего супруга; только отступись от обвинения и не требуй нового кровопролития. Уясни себе: я предлагаю тебе выбор между милосердием и отмщением, между достатком и нуждой.

— Это верно, мой государь, мы бедны, — с колебимой твердостью ответила вдова, — но я и мои дети — мы лучше согласимся кормиться с лесным зверьем чем бог пошлет, нежели станем жить в довольстве

ценою крови моего супруга. Государь, вы не только коронованный король, вы и препоясанный рыцарь, и я прошу: позвольте моему заступнику сразиться за правое дело.

— Я знал, что так будет! — тихо сказал король, обращаясь к Олбени. — В Шотландии первые слова, какие лепечет младенец, и последние, какие бормочет, умирая, седобородый старец — это поединок, кровь, месть!.. Бесполезно увещевать. Впусти ответчиков.

В палату вошел сэр Джон Рэморни. Он был в длинном платье на меху, какое носили в те дни мужчины высшего сословия, когда ходили невооруженными. Прикрытая складками плаща, его изувеченная правая рука лежала у пояса, на перевязи алого шелка, а левой он опирался на плечо юноши, который по годам едва вышел из отрочества, однако уже носил на челе глубокую печать ранней думы и зрелых страстей. Это был тот знаменитый Линдсей, граф Крофорд, который в более поздние годы свои был известен под прозвищем «граф Тигр»¹ и правил обширной и богатой долиной Стратмора с необузданным произволом и безжалостной жестокостью феодального деспота. Несколько дворян — его личные друзья или друзья Линдсея — сопровождали сэра Джона Рэморни, чтобы своим присутствием придать ему бодрости в споре. Обвинение было вновь повторено и решительно отвергнуто обвиняемым, в ответ на что обвинители предложили доказать свою правоту божьим судом, путем испытания гробом.

— Я, — ответил сэр Джон Рэморни, — не подлежу такому испытанию, поскольку могу доказать свидетельством бывшего моего царственного господина, что я находился в собственном своем жилище и лежал больной в своей кровати в те часы, когда я, как уверяют сей мэр и господа старшины, якобы совершил преступление, на какое никогда не склонили б меня ни соблазн, ни собственная воля. Следовательно, на меня не может лечь подозрение.

¹ Сэр Дэвид Линдсей, первый граф Крофорд и зять Роберта III. (Прим. автора.)

— Могу подтвердить, — сказал принц, — что в ту самую ночь, когда произошло убийство, я виделся с сэром Джоном Рэморни и беседовал с ним о делах, касающихся моего двора. Поэтому я знаю, что он действительно был нездоров и не мог лично совершить деяние, о котором идет речь. Но я ничего не знаю касательно того, чем заняты были его слуги, и не возьму на себя утверждать, что никто из них непричастен к преступлению, в котором их обвиняют.

В начале этой речи сэр Джон Рэморни обвел окружающих высокомерным взглядом, однако выражение его лица резко изменилось при заключительных словах Ротсея.

— Благодарю, ваше высочество, — сказал он с улыбкой, — за ваше осторожное и половинчатое свидетельство в мою пользу. Был мудр тот, кто написал: «Не уповай на князей».

— Если у тебя нет других свидетелей твоей невиновности, сэр Джон Рэморни, — сказал король, — мы не можем в отношении твоих слуг отказать твоей обвинительнице, потерпевшей вдове с ее сиротами, в праве требовать испытания гробом — либо, если кто предпочтет, поединком. Что касается тебя самого, то в силу свидетельства принца ты от испытания освобождаешься.

— Государь мой, — ответил сэр Джон, — я могу поручиться, что ни один из моих слуг и домочадцев не виновен.

— Так мог бы говорить монах или женщина, — сказал сэр Патрик Чартерис. — Отвечай на языке рыцарей, готов ли ты, сэр Джон Рэморни, сразиться со мною за дело твоих приспешников?

— Мэр города Перта не успел бы вымолвить слово «поединок», — сказал Рэморни, — как я тотчас же принял бы вызов. Но в настоящее время я не в состоянии держать копьё.

— С твоего дозволения, сэр Джон, я этому рад.. Меньше будет кровопролития, — сказал король. — Итак, ты должен привести всех своих слуг, какие числятся в домовоей книге твоего дворцового, в собор святого Иоанна, чтобы они в присутствии всех, кого

это касается, могли очиститься от обвинения. Прими меры, чтобы каждый из них явился в собор к часу обедни, иначе на твою честь ляжет несмываемое пятно.

— Они явятся все до одного, — сказал сэр Джон Рэморни. Низко поклонившись королю, он подошел к молодому герцогу Ротсею и, изогнувшись в почтительном поклоне, заговорил так, чтобы слышал он один:

— Великодушно обошлись вы со мною, милорд! Одно слово из ваших уст положило бы конец этой передраге, но вы отказались произнести это слово...

— Клянусь, — прошептал принц, — я сказал все, что было можно сказать, не слишком погрешив против правды и совести. Не ожидал же ты, что ради тебя я стану лгать... И в конце концов, Джон, в смутных воспоминаниях этой ночи мне как будто видится немой мясник с короткой секирой в руке — разве не похоже, что такой человек мог исполнить ту ночную работу?.. Ага! Я вас поддел, сэр рыцарь!

Рэморни не ответил, но отвернулся так стремительно, как если бы кто-либо вдруг задел его раненую руку, и направился с графом Крофордом к себе домой. И хотя меньше всего он был склонен в тот час к пированию, ему пришлось предложить графу блистательную трапезу — хотя бы в знак признательности за поддержку, какую оказал ему юный вельможа.

Глава XXII

Он с толком зелья составлял
Врачуя, многих убивал

Данбар

Трапеза затянулась, превратившись в пытку для хозяина; и когда наконец Крофорд сел в седло, чтобы отправиться в далекий замок Даплин, где он гостил в те дни, Рэморни удалился в свою спальню, истерзанный телесной болью и душевной мукой. Здесь он

застал Хенбейна Двайнинга, который волею злой судьбы один лишь и мог принести ему утешение в том и другом. Лекарь с напускным подобострастием выразил надежду, что видит своего высокого пациента веселым и счастливым.

— Веселым, как бешеная собака, — сказал Рэморни, — и счастливым, как тот бедняга, который был укушен псом и уже начинает ощущать в себе первые признаки бешенства. Этот Крофорд, бессовестный юнец, видел, как я мучаюсь, и ничуть не пожалел меня... Что? Быть к нему справедливым? Вот уж поистине! Захоти я быть справедливым к нему и ко всему человечеству, я должен бы вышвырнуть юного графа в окно и на этом прервать его карьеру. Потому что если Линдсей вырастет тем, чем обещает стать, его успех явится источником бедствий для всей Шотландии, а для долины Тэя в особенности... Ты осторожней снимай повязку, лекарь: незаживший обрубок так и горит; коснись его муха крылом — для меня это что кинжал!

— Не бойтесь, мой благородный покровитель, — усмехнулся лекарь, тщетно стараясь притворным сочувствием прикрыть свое злорадство. — Мы приложим новый бальзам и — хе-хе-хе! — облегчим вашему рыцарскому благородию зуд, который вы так стойко переносите.

— Стойко, подлец! — сказал Рэморни с гримасой боли. — Я его переносу, как переносил бы палящие огни чистилища... Кость у меня как раскаленное железо! Твоя жирная мазь зашипит, если капнуть ею на рану... Но это декабрьский лед по сравнению с той лихорадкой, в которой кипят мои мысли.

— Мы попробуем сперва успокоить мазями телесную боль, мой благородный покровитель, — сказал Двайнинг, — а потом, с разрешения вашей чести, покорный ваш слуга попытается применить свое искусство к врачеванию возмущенного духа... Впрочем, душевная боль должна до некоторой степени зависеть от воспаления в ране; когда мне удастся смягчить телесные муки, я надеюсь, волнение мыслей уляжется само собой.

— Хенбейн Двайнинг! — сказал пациент, почувствовав, что боль в ране утихла. — Ты драгоценный, ты неоценимый лекарь, но есть вещи, которые вне твоей власти. Ты мог заглушить телесную боль, сводившую меня с ума, но не научишь ты меня сносить презрение мальчишки, которого я взрастил! Которого я любил, Двайнинг, — потому что я и впрямь любил его, горячо любил! Худшим из дурных моих дел было потакание его порокам, а он поскупился на слово, когда единое слово из его уст сняло бы всю тяжесть с моих плеч! И он еще улыбался — да, я видел на его лице улыбку, когда этот ничтожный мэр, собрат и покровитель жалких горожан, бросил мне вызов, а он ведь знал, бессердечный принц, что я не способен держать оружие... Я не забуду этого и не прощу — скорее ты сам начнешь проповедовать прощение обид! А тут еще тревога о том, что назначено на завтра... Как ты думаешь, Хенбейн Двайнинг, раны на теле убитого в самом деле должны открыться и заплакать кровавыми слезами, когда к нему приблизится убийца?

— Об этом, господин мой, я могу судить только с чужих слов, — ответил Двайнинг. — Слышал я, что бывали такие случаи.

— Скотину Бонтрона, — сказал Рэморни, — берет оторопь при одной мысли об этом. Он говорит, что скорее пойдет на поединок. Что ты скажешь?.. Он железный человек.

— Не впервой оружейнику бить железо, — ответил Двайнинг.

— Если Бонтрон падет в бою, меня это не очень опечалит, — признался Рэморни, — хотя я потеряю полезного подручного.

— Полагаю, ваша светлость не станет так о нем печалиться, как о той руке, которую вы потеряли на Кэрфью-стрит... Простите мою шутку, хе-хе-хе!.. Но какими полезными свойствами обладает этот Бонтрон?

— Бульдозьими, — сказал рыцарь, — он кусает не лая.

— А вас не страшит его исповедь? — спросил врач.

— Как знать, до чего может довести страх перед близкой смертью, — ответил пациент. — Он уже вызывает трусость, хотя она всегда была чужда его обычной угрюмости; бывало, он и рук не ополоснет, убив человека, а сейчас не смеет глянуть на мертвое тело — боится, что из ран выступит кровь.

— Хорошо, — сказал лекарь, — я сделаю для него что смогу, потому что как-никак тот смертельный удар он нанес в отмщение за мои обиды — даром что удар пришелся не по той шее.

— А кто тому виной, подлый трус, — сказал Рэморни, — если не ты сам, принявший жалкую косулю за матерого оленя?

— Benedicite, благородный сэр! — возразил изготовитель зелий. — Вы хотите, чтобы я, работающий в тиши кабинета, оказался так же искусен в лесной потехе, как вы, мой высокородный рыцарь, и умел в полночном мраке на прогалине отличить оленя от лани, серну от сайги? Я почти не сомневался, когда мимо нас к кузнице пробежал по переулку человек в одежде для пляски моррис. Но все-таки тогда меня еще смущала мысль, тот ли это, кто нам нужен: мне показалось, что он вроде бы ростом поменьше. Но когда он вышел опять, пробыв в доме достаточно долго, чтоб успеть переодеться, и враскачку прошел мимо нас в кожаном камзоле и стальном шлеме, да еще насвистывая любимую песенку оружейника, сознаюсь, тут я был введен в обман *super totam materiem*.¹ Я и напустил на него вашего бульдога, благородный рыцарь, и тот неукоснительно исполнил свой долг — хоть и взял не того оленя. Поэтому, если проклятый Смит не убьет на месте нашего бедного друга, я сделаю так, что дворовый пес Бонтрон не пропадет, или все мое искусство ничего не стоит!

— Трудное это будет испытание для твоего искусства, лекарь, — сказал Рэморни. — Знай: если наш боец потерпит поражение, но не падет убитым на поле боя, — его прямо с места поволокут к виселице и без долгих церемоний вздернут, как уличенного убийцу; и

¹ По совокупности признаков (лат.).

когда он часок-другой прокачается в петле, как мочало, вряд ли ты возьмешься лечить его сломанную шею.

— Извините, благородный рыцарь, я другого мнения, — скромно ответил Двайнинг. — Я перенесу его от подножия виселицы прямо в царство эльфов, как некогда были перенесены король Артур, и Угеро Датчанин, и сэр Юон Бордоский; или же, если угодно, я дам вашему Бонтрону поболтаться на виселице сколько-то минут или даже часов, а там — фьюить! — умчу его прочь с глаз людских так легко, как уносит ветер увядший лист.

— Пустое хвастовство, сэр лекарь, — ответил Рэморни. — Его пойдет провожать на казнь вся пертская чернь; каждому лестно поглазеть, как помирает челядинец благородного рыцаря за убийство кичливого горожанина. У подножия виселицы соберется тысяча зрителей.

— А соберись их там хоть десять тысяч, — сказал Двайнинг, — неужели я, мудрый врач, учившийся в Испании и даже в Аравии, не сумею обмануть глаза грубой своры горожан, когда ничтожный плут, набивший руку на фокусах, умеет обдурить, как ни зорко за ним следят, самых разумных рыцарей? Говорю вам, я напущу на них мороку, как если бы я обладал волшебным перстнем Кедди.

— Если ты правду говоришь, — ответил рыцарь, — а думаю, ты не посмел бы лукавить со мной в таком деле, то, значит, ты полагаешься на помощь сатаны. Но с ним я не желаю путаться. Я ему не слуга!

Двайнинг засмеялся своим сдавленным смешком, когда его покровитель отрекся от нечистого и в подтверждение осенил себя крестом. Однако он притих под строгим взглядом Рэморни и заговорил почти серьезно, хотя не без труда подавлял разбивавшее его веселье:

— Сговор, мой благочестивый сеньор! Сговор — вот на чем зиждется искусство фокусника. Но... хе-хе-хе!.. я не имею чести... хе-хе-хе!.. состоять в союзе с джентльменом, о котором вы говорите... и в чье существование... хе-хе-хе... я не очень верю, хотя вашей

рыцарской чести, несомненно, представлялось больше случаев завязать с ним знакомство.

— Дальше, мерзавец! И без твоей усмешки, или ты за нее поплатишься!

— Слушаюсь, мой бесстрашный рыцарь, — отозвался Двайнинг. — Так знайте же, у меня тоже есть тайный пособник, без которого мое искусство немногого стоило бы.

— Кто он, позволь узнать?

— Стивен Смазеруэлл, если угодно вашей чести, горстаник¹ Славного Города. Удивительно, как это вы, мой благородный рыцарь, с ним незнакомы.

— А меня, подлый раб, удивляет, что ты не познакомился с ним при отправлении его профессиональной обязанности, — ответил Рэморни. — Вижу, нос тебе не обрезали и уши не отсекли, а если и есть у тебя на плечах рубцы или клеймо, так ты умно придумал носить камзол с высоким воротом.

— Хе-хе!.. Ваша милость изволите шутить, — сказал лекарь. — Я не как пациент свел знакомство со Стивеном Смазеруэллом, а в порядке купеческой сделки: коли угодно знать вашей милости, я выплачиваю некоторые суммы серебром за тела, головы, руки и ноги тех, кто умирает при содействии кума Стивена.

— Несчастный! — отшатнулся в ужасе рыцарь. — Ты покупаешь бранные останки смертных, чтобы творить колдовство и наводить порчу на людей?

— Хе-хе-хе!.. Никак нет, ваша честь! — ответил врачеватель, забавляясь невежеством своего покровителя. — У нас, рыцарей скальпеля, в обычае производить тщательное рассечение трупов (мы называем это диссекцией): мы таким путем исследуем мертвые члены и уясняем себе, как нам поступить с тем или другим членом тела у живого человека, когда он занедужил из-за ранения или по другой причине. Ах, если бы высокородный рыцарь заглянул в мою бедную лабораторию, я бы ему показал головы и руки, ноги

¹ То есть палач. Именовался так, потому что он среди прочих поборов брал в свою пользу горсть муки из каждого мешка, принесенного для продажи на рынок. (Прим. автора.)

и легкие, о которых люди полагают, что они давно гниют в могильной земле! Череп Уоллеса, украденный с лондонского моста; сердце сэра Саймона Фрезера,¹ не боявшегося никого на свете; милый череп прекрасной Мэгги Лоджи...² Ох, когда бы только посчастливилось мне заполучить рыцарскую руку моего многотимого покровителя!

— Сгинь ты, раб! Ты хочешь, чтобы меня стошнило от перечня твоих мерзких диковин? Говори прямо, к чему ты клонишь? Каким образом твоя сделка с подлым палачом может послужить нам на пользу или спасти моего слугу Бонтрона?

— Я это советую вашей рыцарской чести только на случай крайности, — ответил Двайнинг. — Но допустим, бой состоялся и наш петух побит. Вот тут нам важно держать его в руках: пусть знает, что, если он не победит, мы все-таки спасем его от казни — но только если он не скажет на исповеди ничего, что бросит тень на вашу рыцарскую честь.

— Стой! Меня осенило! — сказал Рэморни. — Мы можем сделать больше... Можем вложить в уста Бонтрону слово, которое будет не совсем приятно тому, кого я проклинаяю как виновника собственной моей беды. Пойдем в конуру этого дворового пса и разъясним ему, как он должен себя вести при всех возможных обстоятельствах. Уговорить бы его на испытание гробом, и мы в безопасности — это ведь только зря народ пугают. Если он предпочтет поединок — он свиреп, как затравленный медведь, и, возможно, одолеет противника, — тогда мы не только в безопасности, мы отмщены. Если же Бонтрон будет сам побежден, мы пустим в ход твой фокус; и, если ты сумеешь чисто обделать дело, мы еще продиктуем ему предсмертную исповедь и воспользуемся ею (а как — я объясню тебе при следующей встрече), чтобы ускорить месть за мои обиды! Все же остается некоторый риск. Допустим, наш бульдог будет смертельно ранен

¹ Знаменитый предок Ловатов, повешенный и четвертованный в Хэлидон-хилле. (Прим. автора.)

² Красивая девушка, любовница Давида II. (Прим. автора.)

на арене боя — что тогда помешает ему выбрехать совсем не ту исповедь, какую мы хотим ему внушить?

— Пустое! Лекарь уладит и это! — сказал Двайнинг. — Поручите мне выходить его, дайте мне случай хоть раз приложить палец к его ране, и я вам поручусь, он ничего не выдаст.

— Эх, люблю, когда черт покладист и не надо его ни уламывать, ни поощрять! — сказал Рэморни.

— Зачем? Я и без того рад услужить благородному рыцарю.

— Пойдем, вразумим нашего пса, — продолжал рыцарь. — Он тоже будет сговорчив, потому что, как истый пес, он умеет отличить, кто кормит, а кто дает пинка; моего бывшего царственного господина он люто возненавидел за оскорбительное обхождение и унижительные клички, какими тот награждал его. И я еще должен вызнать у тебя подробно, какой уловкой ты рассчитываешь вырвать собаку из рук оголтелых горожан.

Оставим двух достойных друзей плести свою интригу; к чему она привела, мы узнаем в дальнейшем. Хоть и различные по складу, оба они были, каждый по-своему, приспособлены измышлять и проводить в жизнь преступные замыслы, как приспособлена борзая хватать дичь, которую подняла легавая, а легавая — выслеживать добычу, которую углядел глаз ищейки. Гордость и эгоизм были главной чертой у обоих, но в людях, принадлежавших к двум разным сословиям, в людях разного воспитания и дарования эти свойства проявлялись по-разному.

Что могло быть более несходно с надменным тщеславием придворного фаворита, любимца дам и отважного воина, нежели заискивающая приниженность лекаря, который, казалось, принимал оскорбления с подобострастным восторгом, в то время как в тайниках души он сознавал, что обладает высоким превосходством учености — силой, какую дают человеку знание и ум, бесконечно его возвышавшие над невежественной знатью современного ему общества. Это свое превосходство Хенбейн Двайнинг сознавал так отчетливо, что, подобно содержанию зверинца, от-

важивался иногда забавы ради возбуждать буйный гнев в каком-нибудь Рэморни, уверенный, что внешнее смирение позволит ему уйти от бури, которую он вызвал сам. Так мальчишка, индеец швыряет легкий челнок, устойчивый в силу своей хрупкости, навстречу бурунам, которые неизбежно разбили бы в щепы более тяжелое судно. Что феодальный барон должен презирать низкородного врачевателя, разумелось само собой, хоть это не мешало рыцарю Рэморни подпасть под влияние Двайнинга; и нередко в их умственном поединке лекарь одерживал верх над противником, как иногда двенадцатилетний мальчик смиряет причуды норовистого коня, если владеет искусством выездки. Но далеко не так естественно было презрение Двайнинга к Рэморни. Сравнивая рыцаря с самим собой, он считал его чем-то вроде дикого животного, правда способного погубить человека, как бык рогами или волк зубами, но одержимого жалкими предрассудками и погрязшего в «церковном дурмане» — выражение, в которое Двайнинг включал религию всех толков. Вообще он считал Рэморни существом, коему сама природа назначила быть его рабом, добывающим для него золото в копиях, а золото он боготворил, и стяжательство было его величайшей слабостью, хотя отнюдь не худшим пороком. В собственных глазах он оправдывал эту свою неблагоприятную наклонность, убеждая самого себя, что ее источником была жажда власти.

«Хенбейн Двайнинг, — говорил он, со сладострастием глядя на собранные втайне сокровища, когда время от времени навещал их, — ты не какой-нибудь глупый скупец, которого тешит в червонцах золотой их блеск; власть, которую они дают своему владельцу, — вот чем ты дорожишь! Что в том, что все это еще не в твоих руках? Ты любишь красоту, когда сам ты — жалкий, уродливый, бессильный старик? Вот та приманка, которая привлечет самую красивую птишку. Ты слаб и немощен, над тобою тяготеет гнет сильного? Вот то, что вооружит на твою защиту кое-кого сильнее, чем жалкий тиран, перед которым ты дрожал. Тебе потребна роскошь, ты жаждешь выставить

напоказ свое богатство? В этом темном сундуке заперта не одна цепь привольных холмов, пересеченных долинами, не один прекрасный лес, кишаший дичью, и покорность тысячи вассалов. Нужна тебе милость при дворах светских или духовных владык? Улыбки королей, прощение старых твоих преступлений папами и священниками и терпимость, поощряющая одураченных духовенством глупцов пускаться на новые преступления? Все это святейшее попустительство пороку покупается на золото. Даже месть, которую, как говорится, боги оставляют за собой — не уступать же человеку самый завидный кусок! — даже месть можно купить на золото! Но в мести можно достичь успеха и другим путем — высоким искусством, и такой путь куда благородней! А потому я поберегу свое сокровище на другие нужды, а месть свершу *gratis*;¹ более того — к торжеству отмщения обиды я прибавлю сладость приумноженных богатств!»

Так размышлял Двайнинг, когда он, вернувшись от сэра Джона Рэморни, прибавил к общей массе своих накоплений золото, полученное за разнообразные услуги; затем, полюбовавшись минуты две на свои сокровища, он запер на ключ тайник и отправился в обход пациентов, уступая проход у стены каждому встречному, кланяясь и снимая шляпу перед самым скромным горожанином, владельцем какой-нибудь жалкой лавчонки, или даже перед подмастерьем, еле-еле зарабатывающим на хлеб трудом своих мозолистых рук.

«Мерзавцы, — думал он про себя, делая поклон, — подлые, скудоумные ремесленники! Знали бы вы только, что я могу отворить этим ключом! Злейшая непогода не помешала бы вам снять шляпу предо мной, самая гнилая лужа среди вашего городишки не показалась бы вам слишком мерзкой, чтобы пасть в нее ниц, благоговей пред владельцем такого богатства! Но я еще дам вам почувствовать мою силу, хотя мне нравится прятать ее источник. Я стану инкубом для

¹ Бесплатно (лат.).

вашего города, раз вы отвергли меня и не избираете в городской совет. Я, как злой кошмар, буду гнать вас и душить, оставаясь сам невидимым... А этот жалкий Рэморни туда же! Потеряв руку, он, как бедный ремесленник, утратил с нею единственную ценную часть своего существа — и он еще осыпает меня оскорблениями, как будто хоть что-нибудь из всего, что может он сказать, в силах пошатнуть стойкий ум, подобный моему! Обзывая меня плутом, мерзавцем или рабом, он поступает не умнее, чем если бы вздумал развлекаться, выдергивая мне волосы в тот час, когда я держал бы в руке пружины его сердца. За каждое оскорбление я тут же могу отплатить телесным страданием или душевной болью... Хе-хе! Надо сознаться, я не остаюсь у рыцаря в долгу!»

В то время как лекарь тешился своею дьявольской думой и, крадучись, пробирался по улице, за его спиной слышались женские голоса.

— А, вот он, слава пречистой деве! Во всем Перте кто, как не он, поможет нам сейчас! — сказал один голос.

— Пусть там говорят о рыцарях и королях, воздающих за обиды, как это у них называется, а мне, кумушки, подайте достойного мастера Двайнинга, составителя лекарств! — добавил другой.

В ту же минуту лекарь был окружен и схвачен говорившими — почтенными матронами славного города Перта.

— В чем дело? Что такое? — усмехнулся Двайнинг. — У кого тут корова отелилась?

— Не в отёле на этот раз дело, — сказала одна из женщин. — Умирает бедный малыш, потерявший отца. Иди скорее с нами, ибо все наше упование на тебя, как сказал Брюс Доналду, Властителю Островов.

— *Orifereque per orbem discor*,¹ — сказал Хенбейн Двайнинг. — От чего умирает ребенок?

— Круп у него... круп, — запричитала одна из кумушек. — Бедняжка хрипит, как ворон.

¹ Я же славлюсь по всему свету как подающий помощь (лат.).

— *Cynanche trachealis*.¹ Эта болезнь быстро вершит свое дело. Немедленно ведите меня в дом, — продолжал врач, который зачастую оказывал помощь больным бесплатно — невзирая на свою жадность, и человеколюбиво — несмотря на свой злобный нрав. Так как мы не можем заподозрить его в более высоких побуждениях, возможно его толкали на это тщеславие и любовь к своему искусству.

Тем не менее в этом случае он, пожалуй, уклонился бы и не пошел к больному, знай он, куда его ведут добрые кумушки, и располагай временем придумать отговорку. Но лекарь не успел сообразить, куда идет, как его чуть ли не втокнули в дом покойного Оливера Праудфьюта, откуда доносилось пение женщин, обмывавших и обряжавших тело покойного шапочника к назначенному на утро обряду. Их песнь, если ее переложить на современный язык, прозвучала бы примерно так:

Дух незримый, дух парящий,
Кротко на того глядящий,
В ком ты сам когда-то жил,
В чьем облиии ты был, —

Жди, крылами помавая,
Вправо, влево ли порхая .
Ввысь взлетишь иль канешь ты —
Жди у роковой черты!

Мстя за раннюю разлуку,
Неурочной смерти муку,
Подчини себе ты вновь
Тайной силой ум и кровь.

Коль того приметит око,
Кто пронзил тебя жестоко,
Коль того заслышишь шаг,
Кто тебя поверг во мрак, —

¹ Старинное латинское обозначение дифтерии.

Силы тайные проснутся,
Мышцы дрогнут, встрепенутся,
Зев разверзнут раны вновь,
Воззывая: «Кровь за кровь!»¹

Лекарю, как ни был он закален, претило переступить порог человека, к чьей смерти он был непосредственно причастен, пусть даже вследствие ошибки.

— Отпустите меня, женщины, — сказал он, — мое искусство может помочь только живым — над мертвыми мы уже не властны.

— Да нет, больной наверху — меньшей сиротка...

Пришлось Двайнингу войти в дом. Но когда он перешагнул порог, его поразило, что одна из кумушек, хлопотавших над мертвым телом, вдруг оборвала пение, а другая сказала остальным:

— Во имя господа, кто вошел?.. Проступила большая капля крови.

— Да нет, — возразил другой голос, — это капля жидкого бальзама.

— Нет, соседки, то была кровь... Еще раз спрашиваю. кто вошел в дом?

Женщины выглянули из комнаты в тесную прихожую, где Двайнинг, встревоженный донесшимися до него обрывками разговора, нарочно замешкался и не шел дальше, делая вид, что не различает лесенку, по которой ему надлежало подняться на верхний этаж дома скорби.

— Это же только достойный мастер Хенбейн Двайнинг, — отозвалась одна из сивилл.

— Мастер Двайнинг? — более спокойно подхватила та, которая заговорила первой. — Наш верный помощник в нужде? Тогда, конечно, то была капля бальзама.

— Нет, — сказала другая, — это все-таки могла быть и кровь, потому что лекарю, когда нашли труп, власти приказали поковыряться в ране инструментами, а откуда бедному мертвому телу знать, что это делалось с добрыми намерениями?

¹ Перевод С. Петрова.

— Верно, соседushка, верно! Бедный кум Оливер и при жизни частенько принимал друзей за врагов, так уж нечего думать, что он теперь поумнел.

Больше Двайнинг ничего не расслышал, потому что его втащили по лестнице в горенку вроде чердака, где Магдален сидела на своем вдовьем ложе, прижимая к груди младенца. У крошки уже почернело личико, и он, задыхаясь, выдавливал из себя похожие на карканье звуки, по которым и получила в народе свое название эта болезнь. Казалось, недолгая жизнь младенца вот-вот оборвется. Возле кровати сидел монах-доминиканец со вторым ребенком на руках и время от времени произносил слова духовного утешения или ронял замечания о болезни.

Лекарь бросил на монаха беглый взгляд, полный того невыразимого презрения, какое питает человек науки к знахарю. Его собственная помощь оказалась мгновенной и действенной. Он выхватил младенца из рук отчаявшейся матери, размотал ему шею и отворил вену, из которой обильно полилась кровь, что немедленно принесло облегчение больному крошке. Все угрожающие симптомы быстро исчезли, и Двайнинг, перевязав вену, снова положил младенца на колени полуобезумевшей матери.

Горе несчастной по утраченному супругу, отступившее было перед смертельной опасностью, угрожавшей ребенку, теперь нахлынуло на Магдален с новой силой, как река в половодье, когда она вдруг сокрушит плотину, преградившую на время ее поток.

— Ах, мой ученый господин, — сказала она, — перед вами бедная женщина, которую вы знавали раньше богатой... Но тот, кто вернул мне мое дитя, не оставит этот дом с пустыми руками. Великодушный, добрый мастер Двайнинг, примите эти его четки... они черного дерева и отделаны серебром... Он любил, чтобы вещи были у него красивые, как у джентльмена. И он больше всякого другого, равного ему по состоянию, был похож в своих обычаях на джентльмена; оттого и погиб как джентльмен.

С этими словами в немом порыве скорби она приложила к груди и губам четки своего покойного мужа

и снова стала настойчиво совать их в руки Двайнингу.

— Возьмите, — сказала она, — возьмите из любви к тому, кто сам искренне вас любил. Ах, он, бывало, говаривал: «Если кто может оттащить человека от края могилы, так только мастер Двайнинг...» И вот его родное дитя возвращено к жизни в этот божий день, а он лежит неподвижный и окоченевший и не знает ни здоровья, ни болезни!.. Ох, горе мне, горе!.. Но возьмите же четки и вспоминайте о его чистой душе, когда станете перебирать их; он скорее освободится из чистилища, если добрые люди будут молиться за спасение его души.

— Убери свои четки, кума, я не умею показывать фокусы, не знаю никаких знахарских ухищрений, — сказал лекарь: растроганный сильнее, чем сам ожидал при черствой своей натуре, он упирался, не желая принять жуткий дар.

Но последние его слова задели монаха, о чьем присутствии он забыл, когда произносил их.

— Это что же, господин лекарь? — сказал доминиканец. — Молитву по усопшему вы приравниваете к скоморошьим фокусам? Слышал я, будто Чосер, английский стихотворец, говорит о вас, лекарях, что бы хоть и ученые, да не по святому писанию. Наша мать церковь долго дремала, но глаза ее ныне раскрылись, и она начинает различать, где ее друзья, а где враги. Я верно вам говорю...

— Что вы, досточтимый отец! — перебил Двайнинг. — Вы же не дали мне договорить! Я сказал, что не умею творить чудеса, и собирался добавить, что церковь, конечно, могла бы сотворить непостижимое, а потому богатые четки следует передать в ваши руки, ибо вы, перебирая их, принесете больше пользы душе усопшего.

Он набросил четки на руку доминиканца и выбрался за порог дома скорби.

«Удивительно, что меня привели сюда — и в этот час! — сказал он про себя, когда вышел на улицу. — Я не больно-то верю в такие вещи... а все же, хоть это и пустая блажь, я рад, что спас жизнь младенца,

висевшую на волоске... Но пойду-ка я поскорей к другу Смазеруэллу, он мне, конечно, понадобится в деле с Бонтроном. Вот и выйдет, что я в этом случае спас две жизни, а сгубил только одну».

Глава XXIII

То кровь его, а не бальзам;
Он кровью умащен
Она взывает к небесам:
«Да будет отомищен!»

«Уран и Психея»

По решению городского совета обряд должен был состояться в соборе святого Иоанна Пертского: поскольку Иоанн считался покровителем города, казалось, что здесь испытание должно было пройти с наибольшим успехом. Церкви и монастыри доминиканцев, картезианцев и других монашеских орденов щедро одаривали и король и знать, а потому горожане единодушно решили, что надежней будет положиться на суд «своего святого — старого доброго Иоанна», в чьей благосклонности они не сомневались, и предпочесть его новым покровителям, которым доминиканцы, картезианцы, кармелиты и прочие построили новые обители вокруг Славного Города. Извечная тяжба между белым и черным духовенством придала остроту этому спору о выборе места, где должно свершиться чудо при прямом воззвании граждан к богу для изобличения преступника. И городской писец так ревностно ратовал за то, чтобы предпочтение было отдано собору святого Иоанна, как будто и святые в небесах делились на две партии и одна из них держала сторону Славного Города, другая же была его противницей.

В связи с выбором храма строилось и разрушалось немало мелких интриг. Но все же городской совет, полагая это делом высокой чести для города и упоная на справедливость и неподкупность своего покров-

вителя, постановил доверить исход божьего суда влиянию святого Иоанна.

Итак, с большой торжественностью, как требовал случай, отслужили обедню, после чего собравшиеся, обстоятельно и горячо помолившись, приготовились воззвать к небу, чтобы оно прямым своим знамением произнесло суд о загадочном убиении несчастного шапочника.

Сцена являла ту впечатляющую торжественность, какая всегда отличает обряды католического богослужения. Восточное окно, богато и затейливо расписанное, пропускало струи смягченного света на высокий алтарь. На поставленных подле него носилках лежали бранные останки убитого, причем руки его были сложены на груди ладонь к ладони, кончиками пальцев вверх, как будто бесчувственное тело само взывало к небесам об отмщении тому, кто насильственно разлучил бессмертный дух с его земной оболочкой.

Рядом с носилками установили троны, на которых восседали Роберт Шотландский и его брат Олбени. Принц сидел подле отца, на сиденье пониже. По этому поводу пошли толки среди собравшихся, что Олбени посажен почти на одном уровне с королем, тогда как сына королевского, хоть он и достиг совершеннолетия, хотят, очевидно, поставить ниже его дяди пред лицом всех граждан Перта. Носилки помещены были таким образом, чтобы тело, распростертое на них, было видно по возможности всему набившемуся в церковь народу.

Подле носилок стоял у изголовья рыцарь Кинфонс, обвинитель, а в ногах — юный граф Крофорд, представитель ответчика. Свидетельство герцога Ротсея «в обеление», как говорилось тогда, сэра Джона Рэморни избавило его бывшего конюшего от необходимости явиться самому в качестве лица, подлежащего искусу; а болезнь послужила для него оправданием, чтобы и вовсе остаться дома. Его домочадцев, включая и тех, кто прислуживал непосредственно сэру Джону, но числился за двором принца и еще не получил отставки, насчитывалось до десяти человек. ~~Большиней частью это были люди распутной жизни,~~

и, по общему суждению, любой из них мог, озоруя в праздничную ночь, совершить убийство шапочника. Они выстроились в ряд в левом приделе храма, облаченные в белую одежду кающихся — нечто вроде рясы. Под пристальным взором всех глаз многие из них ощущали сильное беспокойство, и это предрасполагало наблюдателей считать их виновными. У истинного же убийцы лицо было таково, что не могло его выдать: этот тупой и мрачный взгляд не оживляло ни праздничное веселье, ни вино; никогда не возмущал бы его страх разоблачения и казни.

Мы уже отметили, какая поза придана была мертвецу. Лицо было открыто, равно как руки и грудь, тело завернуто в саван самого тонкого полотна, так что, где бы ни проступила кровь, ее тотчас же заметили бы.

Когда закончилась месса и вслед за нею прозвучал торжественный призыв к небу, чтобы оно оградило невинного и указало виновного, Ивиот, паж сэра Джона Рэморни, был первым приглашен подвергнуться испытанию. Он подошел нетвердой поступью. Может быть, он боялся, что его тайная уверенность в виновности Бонтрона делала и его самого причастным убийству, хотя он и не был непосредственно в нем замешан. Юноша стал перед носилками, и у него срывался голос, когда он клялся всем, что создано в семь дней и семь ночей, небом и адом, и местом своим в раю, и господом богом, творцом всего сущего, что он чист и не запятнан кровавым деянием, свершенным над этим телом, простертым перед ним, — и в подтверждение своего призыва перекрестил грудь мертвеца. Не последовало ничего. Тело осталось недвижимым и окоченелым, на запекшихся ранах — никаких признаков крови.

Горожане переглянулись, и лица их выразили откровенное разочарование. Все заранее убеждали себя в виновности Ивиота, а его нерешительность, казалось, подтверждала подозрения. И когда он вышел обеленным, зрители были безмерно удивлены. Остальные слуги Рэморни приободрились и произносили свою клятву все смелее, по мере того как они

один за другим проходили проверку и судьи объявляли их невиновными и чистыми от всякого подозрения, павшего на них в связи со смертью Оливера Праудфьюта.

Но был один, в ком отнюдь не крепла уверенность. Имя «Бонтрон... Бонтрон!» трижды прозвучало под сводами храма, но тот, кто носил это имя, в ответ только зашаркал ногой и не мог сойти с места, точно вдруг его разбил паралич.

— Отвечай, собака, — шепнул ему Ивиот, — или готовься к собачьей смерти!

Но таким смятением наполнило убийцу представшее ему зрелище, что судьи, видя это, уже раздумывали, как поступить — приказать ли, чтобы его немедленно приволокли к носилкам, или прямо произнести над ним приговор. И только когда его в последний раз спросили, хочет ли он подвергнуться испытанию, он ответил, как всегда отрывисто:

— Не хочу... Почему я знаю! Мало ли какие фокусы можно проделать, чтоб лишить жизни бедняка... Предлагаю поединок каждому, кто скажет, что я учинил зло над этим мертвецом.

И, следуя принятому обычаю, он тут же, в храме, бросил перчатку на середину пола.

Генри Смит выступил вперед под ропот одобрения со стороны своих сограждан, который не сдержало даже присутствие короля. Подняв перчатку негодая, он, по обычаю, положил ее в свою шляпу и бросил на пол собственную — в знак того, что принимает вызов. Но Бонтрон не поднял ее.

— Он мне не ровня, — буркнул убийца, — и недостойно поднять мою перчатку. Я состою при особе принца Шотландского как слуга его конюшего. А этот парень — жалкий ремесленник.

Тут вмешался принц:

— Ты состоишь при моей особе, мерзавец? Я на месте увольняю тебя со службы. Бери его, Смит, в свои честные руки и бей, как никогда не колотил ты молотом по наковальне! Он и преступник и трус. Мне претит смотреть на него! Если бы мой царственный отец послушал моего совета, он дал бы обоим

противникам по доброй шотландской секире, и не успел бы день состариться на полчаса, как мы уже увидели бы, кто из них двоих достойнее.

Предложение было с готовностью принято покровителями двух противных сторон — графом Крофордом и сэром Патриком Чартерисом, которые легко договорились, что бойцы, поскольку они не дворяне, сразятся на секирах, одетые в куртки из буйволовой кожи и стальные колпаки, и что бой состоится сразу же, как только противники соответственно приготовятся.

Ареной поединка назначены были Скорняжки Дворы — ближний пустырь, занятый под рынок корпорации, по которой он получил свое имя и которая сразу расчистила для боя площадку футов в тридцать длины и двадцать пять ширины. Туда сейчас же устремились толпой и знать, и священники, и цеховой люд — все, кроме старого короля: ненавидя кровавые зрелища, он удалился в свои покои, возложив проведение боя на графа Эррола, верховного констебля, к чьим обязанностям такое дело относилось ближе всего. Герцог Олбени усталым взглядом внимательно наблюдал за всем происходившим. Его племянник следил за сценой с небрежной рассеянностью, отвечавшей его нраву.

Когда бойцы вышли на арену, они внешним своим видом являли разительный контраст. Вся осанка Смита дышала мужеством и бодростью, глаза его, ярко сверкавшие, казалось лучились уже торжеством победы, на которую он твердо надеялся. Бонтрон, угрюмый и грубый, заметно приуныл и стал похож на мерзкую птицу, которую выволокли на дневной свет из ее темного гнезда. Бойцы, как требовал обряд, поочередно покланялись каждый в своей правоте. Но Генри Гоу произносил слова клятвы с ясной и мужественной уверенностью, Бонтрон же — с упрямой решимостью, побудившей герцога Ротсея сказать лорду верховному констеблю:

— Видел ты когда-нибудь, мой дорогой Эррол, такую смесь злобы, жестокости и, я сказал бы, страха, как на лице у этого человека?

— Да, непригляден, — сказал граф, — но крепкий парень, как я погляжу.

— Пospory с вами на бочонок вина, любезный лорд, что он потерпит поражение. Генри Оружейник не уступит ему в силе, а в ловкости превзойдет. И посмотри, как он смело держится, наш Гоу! А в том, другом, есть что-то отталкивающее. Сведи их поскорее, мой дорогой констебль, потому что мне тошно на него смотреть.

Верховный констебль обратился к вдове, которая сидела в кресле на арене, облаченная в глубокий траур, и все еще не отпускала от себя двух своих детей:

— Женщина, согласна ты принять этого человека, Генри Смита, своим заступником, чтобы он сразился за тебя в этом споре?

— Согласна... всей душой, — ответила Магдален Праудфьют. — И да благословят его господь и святой Иоанн и подадут ему и силу и удачу, потому что он сражается за сирот, потерявших отца!

— Итак, объявляю это место полем боя! — громко провозгласил констебль. — Да не посмеет никто под страхом смерти прервать их поединок словом, возгласом или взглядом. Трубы, трубите! Сражайтесь, бойцы!

Трубы запели, и бойцы, сходясь твердым и ровным шагом с двух разных концов арены, приглядывались друг к другу, привыкшие оба судить по движению глаз противника, с какой стороны можно ждать удара. Сойдясь достаточно близко, они стали лицом к лицу и поочередно замахнулись несколько раз, словно желая проверить, насколько бдителен и проворен противник. Наконец, то ли наскучив этими маневрами, то ли убоившись, как бы в таком соревновании его неповоротливая сила не сдала перед ловкостью Смита, Бонтрон занес свою секиру для прямого удара сверху и, опуская ее, добавил к тяжести оружия всю силу своей могучей руки. Однако Смит, отпрянув в сторону, избежал удара, слишком сильного, чтобы можно было его отразить даже с самой выгодной позиции. Бонтрон не успел снова стать в оборону, как

Генри нанес ему сбоку такой удар по стальному его колпаку, что убийца сразу распростерся на земле.

— Сознайся или умри! — сказал победитель, наступив ногой на тело побежденного и приставив к его горлу острый конец секиры — тот кинжал или стальной шип, которым она снабжена с обратного конца.

— Сознаюсь, — сказал негодяй, широко раскрытыми глазами глядя в небо. — Дай встать.

— Не дам, пока не сдашься, — сказал Гарри Смит.

— Сдаюсь! — буркнул Бонтрон.

И Генри громко провозгласил, что противник его побежден.

Тогда прошли на арену Ротсей с Олбени, верховный констебль и настоятель доминиканского монастыря и, обратившись к Бонтрону, спросили, признает ли он себя побежденным.

— Признаю, — ответил злодей.

— И виновным в убийстве Оливера Праудфьюта?

— Да... Но я принял его за другого.

— Кого же ты хотел убить? — спросил настоятель. — Исповедайся, сын мой, и заслужи исповедью прощение на том свете, ибо на этом тебе не много осталось свершить.

— Я принял убитого, — отвечал поверженный боец, — за того, чья рука меня сразила, чья стопа сейчас давит мне грудь.

— Благословение всем святым! — сказал настоятель. — Ныне каждый, кто сомневался в святом испытании, прозрел и понял свое заблуждение. Глядите, преступник попал в западню, которую приготовил безвинному.

— Я, сдается мне, раньше никогда и не видывал этого человека, — сказал Смит. — Никогда я не чинил обиды ни ему, ни его близким. Спросите, если угодно будет вашему преподобию, с чего он надумал предательски меня убить.

— Вопрос вполне уместный, — сказал настоятель. — Пролей свет среди тьмы, сын мой, хотя бы вместе с истиной он осветил и твой позор. По какой причине ты хотел умертвить этого оружейника, который утверждает, что ничем тебя не обидел?

— Он учинил обиду тому, кому я служу, — ответил Бонтрон, — и я пошел на это дело по его приказу.

— По чьему приказу? — спросил настоятель.

Бонтрон молчал с минуту, потом прорычал:

— Он слишком могуществен, не мне его называть.

— Послушай, сын мой, — сказал церковник, — пройдет короткий час, и для тебя могущественное и ничтожное на этой земле станут равно пустым звуком. Уже готовят дроги, чтобы везти тебя к месту казни. А посему, сын мой, я еще раз призываю тебя: позаботься о спасении своей души и во славу небес раскрой нам правду. Не твой ли господин, сэр Джон Рэморни, побуждал тебя на столь гнусное деяние?

— Нет, — отвечал простертый на земле негодяй, — кое-кто повыше. — И он указал пальцем на принца.

— Тварь! — вскричал с изумлением герцог Ротсей. — Ты посмел намекнуть, что твоим подстрекателем был я?

— Именно вы, милорд, — нагло ответил убийца.

— Умри во лжи, окаянный раб! — вскричал принц. И, выхватив меч, он пронзил бы им клеветника, когда бы не остановил его словом и делом лорд верховный констебль:

— Простите мне, ваша милость, но я отправляю свои обязанности — подлец должен быть передан в руки палача. Он недостойн умереть от чьей-либо еще руки, и меньше всего от руки вашего высочества.

— Как! Благородный граф, — сказал во всеуслышание Олбени в сильном волнении, истинном или притворном, — вы дадите этому псу уйти отсюда живым, чтобы отравлять уши людей наветом на принца Шотландского? Говорю вам, пусть его здесь же изрубят в куски!

— Извините меня, ваша светлость, — сказал граф Эррол, — но я обязан оказывать ему защиту, пока не свершилась казнь.

— Так вздернуть его немедленно! — сказал Олбени. — А вы, мой царственный племянник, что вы стоите, точно окаменели от изумления? Соберитесь с духом... возражайте осужденному, клянитесь... объявите именем всего святого, что вы и знать не знали

об этом подлом умысле. Смотрите, люди переглядываются, шепчутся в сторонке. Голову дам на отсечение, что эта ложь распространится быстрее, чем божья правда... Обратитесь к ним, мой царственный родич. Неважно, что вы скажете, лишь бы вы отрицали уверенно и твердо.

— Как, сэр! — молвил Ротсей; он одолел наконец немоту, которая нашла на него от неожиданности, от чувства унижения, и с высокомерным видом повернулся к дяде. — Вы хотите, чтобы я положил на весы слово наследника короны против клеветы презренного труса? Кто может поверить, что сын его короля, потомок Брюса, способен ставить западню, посягая на жизнь бедного ремесленника, пусть думает в свое удовольствие, что негодяй сказал правду.

— Я первый же этому не поверю, — сказал, не раздумывая, Смит. — Я всегда был почтителен к его высочеству герцогу Ротсею, и никогда не дарил он меня недобрым словом или взглядом, не чинил мне зла. Я и подумать не могу, чтоб он замыслил против меня такое низкое дело.

— А это почтительно — сбросить его высочество с лестницы на Кэрфью-стрит в ночь на святого Валентина? — сказал Бонтрон. — И как вы думаете, за такую услугу дарят добрым взглядом или недобрым?

Это было сказано так дерзко, представилось столь правдоподобным, что уверенность Смита в невиновности принца поколебалась.

— Эх, милорд, — сказал он, горестно взглянув на Ротсея, — неужели ваше высочество умышляли лишить жизни неповинного человека за то, что он по долгу чести вступился за беззащитную девушку? Уж лучше бы мне было умереть на этой арене, чем остаться в живых и услышать такое о правнучке Брюса!

— Ты славный парень, Смит, — сказал принц, — но я не могу ожидать от тебя, что ты станешь судить разумней, чем другие... Тащите преступника на виселицу и, если хотите, вздерните его так, чтобы он задохся не сразу: пусть плетет свою ложь и клеветает на нас до последней своей не слишком близкой минуты!

С этими словами принц отвернулся от арены, полагая ниже своего достоинства замечать, как мрачно все косились на него, когда медленно и неохотно наступалась перед ним толпа, и не выразил ни удивления, ни досады при глухом ропоте и вздохах, какими его провожали. Лишь немногие из его приближенных шли следом за ним с поля, хотя сюда явилось в его свите немало видных особ. Даже горожане из низших слоев отступились от несчастного принца; о нем и раньше шла дурная слава, позволявшая обвинять его в легкомыслии и бесчинствах; теперь же самые черные подозрения легли на него — и, казалось, ничто их не рассеет.

Медленно, в тяжком раздумье брел он к церкви доминиканцев, где уединился его отец; но недобрая весть уже летела с вошедшей в поговорку быстротой и достигла покоев короля раньше, чем юный принц. Войдя во дворец и спросив, у себя ли король, герцог Ротсей был поражен ответом, что государь совещается строго наедине с герцогом Олбени, который, когда принц оставил арену поединка, тут же сел на коня и прискакал в монастырь, опередив племянника. Пользуясь привилегией, какую давали ему положение и рождение, Ротсей хотел пройти в королевские покои, когда Мак-Луис, начальник бранданов, в самых почтительных словах дал ему понять, что в силу особого наказа не может пропустить его высочество.

— Ты хоть пойди, Мак-Луис, и дай им знать, что я жду дозволения войти, — сказал принц. — Если мой дядя берет на себя смелость захлопнуть перед сыном дверь в покои отца, ему приятно будет услышать, что я сижу в прихожей, как лакей.

— Разрешите мне сказать вам, — не без колебания ответил Мак-Луис. — Может быть, вы согласились бы, ваше высочество, выйти сейчас и терпеливо подождать; я, если угодно вашей милости, когда герцог Олбени уйдет, сразу пришлю кого-нибудь известить вас о том, и тогда его величество, несомненно, допустит к себе вашу светлость. А в настоящее время, ваше высочество, простите меня, но я лишен возможности пропустить вас к королю.

— Понимаю тебя, Мак-Луис! Тем не менее ступай и повинуйся моему приказу.

Начальник охраны ушел и вернулся с ответом, что король нездоров и удаляется сейчас в свою опочивальню, но что герцог Олбени скоро примет принца Шотландского.

Прошло, однако, с добрых полчаса, пока герцог Олбени явился, и Ротсей в ожидании то угрюмо молчал, то заводил пустой разговор с Мак-Луисом и бранданами, смотря по тому, что брало в нем верх — обычное его легкомыслие или не менее свойственная ему раздражительность.

Герцог наконец пришел, а с ним лорд верховный констебль, чье лицо выражало печаль и смущение.

— Милый родич, — сказал герцог Олбени, — я с прискорбием должен сказать вам, что, по мнению моего царственного брата, честь королевской семьи требует ныне, чтобы наследник престола временно ограничил себя пребыванием в доме верховного констебля и принял своим главным, если не единственным, товарищем по уединению присутствующего здесь благородного графа — до той поры, пока распространившиеся о вас сегодня позорные слухи не будут опровергнуты или забыты.

— Как, милорд Эррол! — удивился принц. — Ваш дом становится моей тюрьмой, а вы — моим тюремщиком?

— Боже упаси, государь мой! — сказал граф Эррол. — Но мой злосчастный долг велит, чтобы я, повинаясь приказу вашего отца, некоторое время смотрел на ваше высочество как на моего подопечного.

— Принц Шотландский... наследник престола — под надзором верховного констебля!.. Но какие к тому основания? Неужели наглые слова осужденного на казнь подлеца обладают достаточным весом, чтобы оставить пятно на гербе королевского сына?

— Коль скоро такие обвинения не опровергнуты и не отвергнуты, племянник, — сказал герцог Олбени, — они бросают тень и на герб государя.

— Отвергать их, милорд! — вскричал принц. — А кем они возведены, как не жалким мерзавцем, слыш-

ком презренным даже по собственному его признанию, чтобы хоть на миг принять его слова на веру, очернил он доброе имя последнего нищего, не то что принца... Приволоките его сюда, и пусть ему покажут дыбу — увидите, он сразу возьмет назад наглую клевету.

— Петля слишком верно сделала свое дело, чтобы вид дыбы мог смутить Бонтрона, — сказал герцог Олбени. — Он казнен час назад.

— Почему понадобилась такая спешка, милорд? — заметил принц. — Вам не кажется, что это выглядит так, точно с этим делом поспешили нарочно, чтобы очернить мое имя?

— Таков повсеместный обычай: после божьего суда бойца, проигравшего поединок, прямо с арены отправляют на виселицу. И все-таки, милый родич, — продолжал герцог Олбени, — если бы вы стали смело и твердо отвергать обвинение, я почел бы себя вправе помедлить с казнью в целях дальнейшего расследования; но так как, ваше высочество, вы промолчали, я почел наилучшим удушить позорную молву вместе с дыханием человека, который ее пустил.

— Святая Мария! Милорд, это уж прямое оскорбление! Значит, вы, мой дядя и родич, допускаете, что я причастен к тому бессмысленному и недостойному умыслу, в котором признался этот раб?

— Мне не пристало препираться с вашим высочеством, иначе я спросил бы, не станете ли вы отрицать и другое, еще менее достойное дело, хоть и не столь кровавое, — нападение на дом некоего перчаточника. Не сердитесь на меня, племянник, но вам и в самом деле настоятельно необходимо удалиться на короткий срок от двора — скажем, до конца пребывания короля в этом городе, где жителям учинено так много обид.

Ротсей смолк при этом доводе; потом, остановив на герцоге твердый взгляд, сказал:

— Дядя, вы хороший охотник. Свое оружие вы применяете с большим искусством; тем не менее вас постигла бы неудача, когда б олень не устремился в сети добровольно. Да поможет вам небо — и пусть вам будет от ваших хлопот тот самый прок, какого

заслужили вы своими делами. Скажите моему отцу, что я подчиняюсь аресту, согласно его приказу. Лорд верховный констебль, я жду лишь вашего соизволения, чтобы отправиться в ваш дом. Уж если меня отдадут под стражу, я не могу пожелать более любезного и учтивого тюремщика.

Так закончился разговор между дядей и племянником, и принц последовал за графом Эрролом к его дому. Прохожие на улицах, увидев герцога Ротсея, спешили перейти на другую сторону, чтобы не нужно было поклониться тому, в ком их научили видеть не только безрассудного, но и жестокого распутника. Наконец дом констебля укрыл своего владельца и его царственного гостя, которые оба рады были убраться от осуждающих взоров. Все же, едва переступив порог, они ощутили неловкость своего взаимного положения.

Но пора нам вернуться на арену поединка — к той минуте, когда закончился бой и знатные зрители разошлись. Толпа теперь отчетливо разделилась на две неравные половины. Первая, не столь многочисленная, заключала в себе наиболее почтенных горожан из высшего слоя обывателей Перта, которые сейчас поздравляли победителя и друг друга со счастливым завершением их спора с придворной знатью. Городские власти на радостях попросили сэра Патрика Чартериса почтить своим присутствием трапезу в ратуше. Разумеется, и Генри, герой дня, получил приглашение — или, правильнее сказать, предписание — принять в ней участие. С большим смущением выслушал он приказ, потому что сердце его, как легко догадаться, рвалось к Кэтрин Гловер. Но настояния старого Саймона помогли ему решиться. Ветеран-горожанин, естественно, питал подобающее уважение к городскому совету Сент-Джонстона; он высоко ценил всякую почесть, исходившую от такого высокого учреждения, и считал, что его будущий зять совершит ошибку, если не примет с благодарностью приглашение.

— И не подумай уклониться от торжественной трапезы, Генри, сынок, — были его слова. — Там ведь

будет сам сэра Патрик Чартерис, а тебе, я полагаю, не скоро представится подобный случай завоевать его благосклонность. Он, возможно, закажет тебе новые доспехи. И я слышал сам, как достойный Крейгдэлли сказал, что был разговор о пополнении городской оружейной палаты. Не упускай случая заключить выгодную сделку — теперь, когда ты становишься семейным человеком, расходы у тебя возрастут.

— Ну, ну, отец Гловер, — смутился победитель, — у меня нет недостатка в заказчиках... А ты знаешь, Кэтрин ждет, ее может удивить, что я долго не иду. И еще наговорят ей опять сказок о потешницах и уж не знаю о чем.

— Этого ты не бойся, — сказал Гловер. — Ступай как послушный гражданин, куда зовут тебя отцы города. Не буду отрицать, что тебе не просто будет установить мир с Кэтрин после поединка, потому как она полагает, что судит в этих делах разумнее, чем король со своими советниками, церковь со всеми канониками и мэр с отцами города. Но спор с ней я беру на себя и так для тебя постараюсь, что, если завтра она и встретит своего Валентина упреками, они расплывутся в слезах и улыбках, как апрельское утро, начавшееся теплым дождем. Иди же, сынок, а завтра уж явись ко времени, после ранней обедни.

Смит, хоть и неохотно, должен был склониться перед доводами будущего тестя; и, решивши принять столь почетное предложение отцов города, он выбрался из толпы и поспешил домой переодеться в свой лучший наряд, в каковом он вскоре и вошел в зал совета, где тяжелый дубовый стол ломился под множеством изысканных яств. Тут была и прекрасная тэйская лососина, и превосходная морская рыба из Данди — все лакомые блюда, какие разрешаются во время поста; вволю было и вина, и эля, и медовой браги, чтобы их заливать. Пока шел пир, все время играли и пели городские менестрели, а в перерывах между музыкой один из них с большим воодушевлением читал нараспев длинный рассказ в стихах о битве у Черного Лога, в которой сэра Уильям Уоллес и его грозный друг капитан Томас Лонгвиль встрети-

лись с английским генералом Сьюардом — сюжет, давно знакомый всем гостям; они, однако, были терпеливей своих потомков и слушали с таким жаром, как если бы рассказ имел для них всю прелесть новизны. Местами он был, разумеется, лестен для предка рыцаря Кинфонса и для других пертских фамилий, и тогда пирующие прерывали менестреля шумными возгласами, усердно подливая друг другу в кружки и предлагая выпить в память соратников великого шотландского героя. Вновь и вновь пили за здоровье Генри Уинда, и мэр объявил во всеуслышание, что старейшины держали между собой совет, как им лучше всего отблагодарить бойца — предоставить ли какие-либо особливые привилегии или же почетную награду, чтобы показать, как высоко ценят сограждане его доблестный подвиг.

— Не надо, ваша милость, — сказал Смит с обычной своей прямоотой. — Станут еще говорить, что в Перте доблесть редка, если у нас награждают человека за то, что он сразился в защиту одинокой вдовы. Я уверен, в Перте нашелся бы не один десяток честных горожан, которые сделали бы сегодняшнее дело не хуже, а то и лучше, чем я. Потому что, сказать по правде, мне бы нужно было расколоть на этом парне шлем, как глиняный горшок, и уж я, конечно, расколол бы, кабы не был то один из тех шлемов, которые я сам же и закалил для сэра Джона Рэморни. Но, коль скоро Славный Город все же ценит мою службу, я почту себя вполне вознагражденным, если из городской казны будет оказана какая ни на есть помощь вдове Магдален и ее сиротам.

— Окажем, — сказал сэр Патрик Чартерис, — но Славный Город от этого не обнищает — он уплатит свой долг Генри Уинду. Об этом долге каждый из нас лучший судья, чем сам Генри, ослепленный излишней щепетильностью, которую люди называют скромностью. А если город и впрямь слишком беден, мэр уплатит что следует из собственных средств. Золотые ангелы Красного Разбойника не все еще улетели.

Кубки снова пошли вкруговую под именем «чаши утешения вдовы», а затем вновь свершили возлияние

в светлую память убитого Оливера, так доблестно ныне отомщенного. Словом, пир пошел такой веселый, что все соглашались — для вящей радости за столом не хватало только самого шапочника, чья гибель дала повод для этого пира. Уж он-то на таких праздничных собраниях никогда не лез в карман за крепкой шуткой!

— Если бы мог он здесь присутствовать, — трезво заметил Крейгдэлли, — он, безусловно, притязал бы на венец победителя и клялся бы, что лично отомстил за свое убийство.

Разошлись уже под звон вечерних колоколов, причем наиболее степенные направились в церковь, где они с полузакрытыми глазами и лоснящимися лицами составили самый набожный и примерный отряд великопостной паствы; другие же поспешили домой, чтобы в кругу семьи рассказать во всех подробностях о битве и о пире; а кое-кто предпочел, надо думать, те вольности, какие могла предоставить таверна, двери которой великий пост не держал так строго на запоре, как требовал церковный канон. Генри, разгоряченный добрым вином и похвалами сограждан, вернулся в Уинд и звалился на кровать, чтоб увидеть во сне безоблачное счастье с Кэтрин Гловер.

Мы упоминали, что по завершении битвы зрители разделились на две неравные половины. И если первая — меньшая, но более почтенная — веселой процессией пошла за победителем, вторая — куда более многочисленная, то, что можно бы назвать толпой, или, если хотите, сбродом, — последовала за побежденным и осужденным Бонтроном, которого повели в другую сторону и для другого дела. Что бы ни говорили о сравнительной приятности дома скорби и дома веселья при иных обстоятельствах, не подлежит сомнению, какой из них больше привлечет посетителей, когда предложат выбор: смотреть ли нам на беды, нами не разделяемые, или же на пиршества, в коих мы не примем участия. Соответственно и двуколку, повезшую преступника на казнь, провожала куда большая часть обывателей города Перта.

Рядом с Бонтроном в двуколку сел монах, и убийца без колебаний повторил ему под видом исповеди

ту же ложь, какую он провозгласил на поле битвы: будто засада, в которую попал по ошибке злополучный шапочник, была устроена по требованию герцога Ротсея. Свой навет он с невозмутимым бесстыдством бросал и в толпу, уверяя всех, кто близко подходил к повозке, что исполнил прихоть герцога и за это идет на казнь. Он долго повторял эти слова с угрюмым упрямством, как затверженный урок; так лжец настойчиво твердит одно и то же, стараясь путем повторения придать веру своим словам, когда чувствует в душе, что веры они не заслуживают. Но вот, подняв глаза, он увидел вдали черный остов виселицы, с лестницей и роковой веревкой, поднимавшийся на горизонте на добрых сорок футов в высоту, и тут он вдруг умолк, и монах заметил, что осужденного охватила дрожь.

— Утешься, сын мой, — сказал добрый священник, — ты сознался и получил отпущение. Твое покаяние будет оценено в меру твоей искренности. И хотя сердце твое жестоко и руки залиты кровью, церковные молитвы в положенный срок вызволят тебя из карающих огней чистилища.

Эти уверения как будто рассчитаны были усилить, а не успокоить страх преступника, которого разбирало сомнение: а что, если меры, принятые, чтобы спасти его от смерти, не окажут действия? Смущала также мысль: да и впрямь ли кому-нибудь выгодно хлопотать о его спасении? Он знал хорошо своего господина и знал, как спокойно пожертвует он человеком, если в будущем тот может оказаться опасным свидетелем против него.

Но так или иначе, судьба его была решена, от нее не уйти! Медленно приближалась процессия к роковому «дереву», воздвигнутому на высоком берегу реки в полумиле от городских стен. Это место выбрали в расчете на то, чтобы тело несчастного, отданное на расклевание воронью, было видно издалека и со всех четырех сторон. Здесь исповедник передал Бонтрона палачу, который помог преступнику подняться на лестницу и, как показалось зрителям, совершил казнь согласно предписаниям закона. С минуты повешенный

боролся за жизнь, но вскоре утих и повис бездыханный. Палач, простояв на посту более получаса, как будто выжидая, чтоб угасла последняя искра жизни, объявил любителям подобных зрелищ, что не успели изготовить цепи, посредством которых полагалось надолго прикрепить мертвое тело к виселице, и поэтому труп будет выпотрошен и вывешен на всеобщее обозрение только к рассвету следующего дня.

Хотя мастер Смазеруэлл назначил столь ранний час, его провожала к виселице большая толпа жаждавших увидеть заключительную сцену казни. Велико же было удивление и недовольство этих высоких знатоков, когда обнаружилось, что мертвое тело с виселицы снято. Однако причина его исчезновения никому не показалась загадочной. Бонтрон, решили все, служил барону, земли которого лежат в Файфе, и сам был уроженцем тех же мест. Что ж тут удивительного, если кому-то из жителей Файфа, чьи лодки постоянно снуют по реке, вздумалось увезти тайком тело своего земляка и спасти его от глумления. Толпа обрушилась с яростью на Смазеруэлла за то, что накануне он не довел свою работу до конца, и если бы палач со своим помощником не бросились в лодку и не переплыли Тэй, их, возможно, избили бы до смерти. В общем, происшествие было вполне в духе времени и не вызвало особых толков. Истинную причину его мы разъясним в следующей главе.

Глава XXIV

Псам — виселицы, людям —
путь свободный
«Генрих V»

В такой повести, как наша, все события должны быть пригнаны одно к другому в точном соответствии, как бородка ключа к замочной скважине. Читателя, даже самого благосклонного, не удовлетворит простое утверждение, что имел-де место такой-то или такой-то случай, хотя, сказать по правде, в обычной

жизни мы только это и знаем о происходящем; но, читая для своего удовольствия, человек хочет, чтобы ему показали скрытые пружины, обусловившие ход событий: вполне законное и разумное любопытство, ибо вы, конечно, вправе открывать и разглядывать механизм собственных своих курантов, сработанных для вашего пользования, хотя никто не позволит вам ковыряться во внутреннем устройстве часов, водруженных для всех на городской башне.

А потому нелюбезно будет с нашей стороны оставлять читателей в недоумении, какими судьбами убийца Бонтрон был снят с виселицы, — происшествие, которое иные из обывателей Перта приписывали нечистой силе, тогда как другие объясняли его естественным нежеланием уроженцев Файфа видеть своего земляка качающимся в воздухе на берегу реки, так как подобное зрелище служило к посрамлению их родной провинции.

В ночь после казни, в полуночный час, когда жители Перта погрузились в глубокий сон, три человека, закутанные в плащи и с тусклым фонарем в руках, пробирались по темным аллеям сада, спускавшегося от дома сэра Джона Рэморни к набережной Тэя, где у причала — или небольшого волнореза — на воде покачивалась лодка. Ветер глухо и заунывно выл в безлиственном ивняке, и бледный месяц «искал броду», как говорят в Шотландии, среди плывущих облаков, грозивших дождем. Осторожно, стараясь, чтоб их не увидели, трое вошли в лодку. Один был высокий, мощного сложения человек, другой — низенький и согбенный, третий — среднего роста, стройный, ловкий и, как видно, помоложе своих спутников. Вот и все, что позволял различить скудный свет. Они расселись по местам и отвязали лодку от причала.

— Пустим ее плыть по течению, пока не минуем мост, где горожане все еще несут дозор; а вы знаете пословицу: «Пертская стрела промаху не даст», — сказал самый молодой из трех.

Сев за кормчего, он оттолкнул лодку от волнореза, тогда как двое других взялись за весла с обернутыми

в тряпки лопастями и бесшумно гребли, пока не вышли на середину реки; здесь они перестали грести, сложили весла и доверили кормчему вести лодку по стрелню.

Так, не замеченные никем — или не обратив на себя внимания, — они проскользнули под одним из стройных готических сводов старого моста, воздвигнутого заботами Роберта Брюса в 1329 году и снесенного половодьем 1621 года. Хотя до них доносились голоса дозорных из гражданской стражи, которую, с тех пор как в городе пошли беспорядки, каждую ночь выставляли на этом важном посту, их никто не окликнул. И когда они прошли вниз по реке так далеко, что ночные стражники уже не могли их услышать, гребцы — правда, еще соблюдая осторожность, — снова принялись грести и даже начали вполголоса говорить между собой.

— Ты взялся, приятель, за новый промысел с тех пор, как мы с тобой расстались, — сказал один гребец другому. — Я оставил тебя выхаживающим больного рыцаря, а теперь ты занялся, я вижу, похищением мертвых тел с виселицы.

— Живого тела, с дозволения вашей дворянской милости, или мое искусство, мастер Банкл, не достигло цели.

— Я много о нем наслышан, мастер аптекарь, но при всем почтении к вашему ученому степенству, если вы не разъясните мне, в чем ваш фокус, я буду сомневаться в его успешности.

— Простая штука, мастер Банкл, она едва ли покажется занимательной такому острому уму, как ваш, мой доблестный господин. Могу объяснить. Когда человека казнят через повешение — или, вульгарно говоря, вздергивают на крюк, — смерть наступает от апоплексии, то есть кровь, вследствие сжатия вен лишенная возможности вернуться к сердцу, бросается в мозг, и человек умирает. Есть еще и дополнительная причина смерти: когда веревка перехватывает гортань, прекращается доступ в легкие жизненно необходимого воздуха, и пациент неизбежно погибает.

— Это мне понятно. Но как сделать, чтобы кровь все же не ударяла повешенному в голову, сэр лекарь? — сказал третий — не кто иной, как Ивиот, паж Рэморни.

— Дело простое, — ответил Двайнинг. — Повесьте мне пациента таким образом, чтобы сонные артерии остались несжатыми, и кровь не повернет к мозгу, никакой апоплексии не произойдет; опять-таки, если петля не сдавила гортань, то воздух будет поступать в легкие достаточно свободно, болтается ли человек высоко над землей или твердо стоит на ней.

— Все это мне ясно, — сказал Ивиот. — Но как сочетать такие меры с выполнением казни — вот чего не может разгадать мой глупый мозг.

— Эх, милый юноша, доблесть твоя загубила твой светлый ум! Если бы ты проникал в науки, как я, ты бы научился постигать и куда более сложные вещи. Фокус мой вот в чем. Я заказал ремни из того же материала, что конская подпруга вашей рыцарской доблести, причем особо позаботился, чтобы они как можно меньше поддавались растяжению, так как иначе мой эксперимент был бы испорчен. Под каждую ступню продевается ляпка из такого ремня и затем проводится вдоль всей ноги до пояса, где обе ляпки закрепляются. От пояса пропущено на грудь и на спину несколько штрипок, и все это между собой соединено, чтобы равномерно распределить по ремням тяжесть тела. Делается ряд дополнительных приспособлений для удобства пациента, но основное в этом. Лямки и перевязи прикрепляются к широкому стальному ошейнику, выгнутому спереди и снабженному двумя-тремя крючками, чтобы не соскочила петля, которую сочувствующий ему палач пропускает по этому приспособлению, вместо того чтобы набросить ее на гортань пациента. Таким образом, потерпевший, когда из-под него выбивают лестницу, оказывается повешенным, с дозволения вашей милости, не за шею, а за стальной обруч, поддерживающий те ляпки, в которые вдеты его ноги; на обруч и падает вся тяжесть его тела, уменьшенная вдобавок подобными же ляпками для обеих рук. Вены и дыхательное горло

ничуть не сдавлены, человек может свободно дышать, и разве только страх и новизна положения слегка возмутят его кровь, которая так же спокойно будет течь в его жилах, как у вашей рыцарской доблести, когда вы приподнимаетесь в стременах, осматривая поле битвы.

— Честное слово, удивительное изобретение! — заметил Банкл.

— Не правда ли? — продолжал лекарь. — В него стоит вникнуть людям, стремящимся к развитию своего ума, как, например, вам, мои доблестные рыцари. Ибо никто не может знать, на какую высоту предстоит вознестись питомцам сэра Джона Рэморни; и если высота будет такой, что спускаться с нее придется посредством веревки, приспособление, пожалуй, покажется вам более удобным, нежели то, что применяют обычно. Но, правда, при этом нужно будет носить камзол с высоким воротом, чтобы прикрыть стальной обруч, а главное, обзавестись таким *вопо socio*,¹ как Смазеруэлл, чтобы петлю набросили как надо.

— Низкий торговец ядом! — сказал Ивиот. — Люди нашего звания умирают на поле битвы.

— Я все же постараюсь не забыть урока, — отозвался Банкл, — на случай нужды... Ну и ночку должен был, однако, пережить этот кровавый пес Бонтрон, отплясывая в воздухе танец щита под музыку своих кандалов, пока ночной ветер раскачивал его туда-сюда!

— Добрым было бы делом оставить его висеть, — сказал Ивиот, — потому что снять его с виселицы — значит поощрить на новые убийства. Ему знакомы только две стихии — пьянство и кровопролитие.

— Возможно, сэр Джон Рэморни согласился бы с вашим мнением, — сказал Двайнинг, — но тогда надо было бы сперва подрезать негодюю язык, чтобы он с воздушной свсей высоты не вздумал рассказывать странные истории. Были и другие причины, которые ни к чему знать вашей рыцарской доблести. Сказать по правде, я и сам, оказывая ему услугу, проявляю

¹ Добрым союзником (лат).

великодушные, потому что парень сколочен крепко, как Эдинбургский замок, и скелет его не уступил бы ни одному из тех, что мы видим в хирургическом зале Падуи. Но скажите мне, мастер Банкл, какие новости вы принесли нам от храброго Дугласа?

— Я, можно сказать, — ответил Банкл, — тот самый глупый осел, который несет весть, да не знает ее смысла. Впрочем, так оно для меня безопасней. Я отвозил Дугласу письма от герцога Олбени и сэра Джона Рэморни, и граф был темен, как северная буря, когда распечатывал их... Я привез им ответ от графа, и они, прочитав, улыбались, как солнце, когда гроза пронеслась мимо. Обратись к своим эфемеридам, лекарь, и допытаться, что это значит.

— Не требуется особого ума, чтоб это разгадать, — сказал лекарь. — Но я вижу там, в бледном свете месяца, нашего живого мертвеца. То-то было бы забавно, если бы он вздумал что-нибудь прохрипеть случайному прохожему: вышел ты ночью прогуляться, и вдруг тебя окликают с виселицы!.. Но что это? Я, кажется, и впрямь слышу стоны среди свиста ветра и лязга цепей. Так... тихо и надежно... Закрепляйте лодку на крюк... Достаньте ларец с моими инструментами... Хорошо бы теперь посветить, да фонарь, чего доброго, привлечет к нам внимание... Идемте, мои доблестные господа. Но подвигайтесь осторожно, потому что наша тропа ведет нас к подножию виселицы. Посветите — лестницу, надеюсь, нам оставили.

Мы три молодца, мы три удалца,
Мы три удалых молодца:
Ты — на земле, я — на скале,
Джек — на суку, в петле!

Подходя к виселице, они отчетливо слышали стоны, хоть и приглушенные. Двайнинг кашлянул несколько раз, давая знать о своем приходе. Тот не отозвался.

— Надо поспешить, — сказал он товарищам, — наш приятель, как видно, *in extremis*,¹ если он не от-

¹ При последнем издыхании (лат.).

вечает на сигнал, возвещающий, что помощь близка. Живо за дело. Я первый влезу по лестнице и перережу веревку. Вы двое подниметесь друг за другом и будете его придерживать, чтобы он у нас не вывалился, когда мы распустим петлю. Держите крепко — вы сможете ухватиться за лямки. Учтите: хотя в эту ночь он изображает филина, крыльев у него нет, а выпасть из петли иногда бывает не менее опасно, чем попасть в нее.

Так он говорил со смешком и ужимками, а сам между тем влез на лестницу и, уверившись, что его пособники, два воина, уже подхватили повешенного, перерезал веревку, после чего добавил и свои силы к тому, чтобы не дать упасть почти безжизненному телу преступника.

Когда общими стараниями, сочетая силу со сноровкой, они благополучно спустили Бонтрона на землю и убедились затем, что он хоть и слабо, но дышит, его перенесли к реке, где сень нависшего берега могла их укрыть от постороннего глаза, покуда лекарь с помощью своих средств вернет повешенного к жизни. Все для этого необходимое он заранее позаботился припасти.

Прежде всего он снял с повешенного кандалы, наконец ради того оставленные палачом незапертыми, и заодно удалил сложную сеть из лямок и перевязей, в которой тот был повешен. Усилия Двайнинга увенчались успехом не сразу. Как ни искусно построено было его сооружение, лямки, предназначенные поддерживать тело, все-таки настолько растянулись, что повешенный сильно чувствовал удушье. Однако искусство лекаря восторжествовало над всеми помехами. Два-три раза скрючившись и распрямившись в судороге, Бонтрон дал наконец решительное доказательство своего возвращения к жизни: перехватил руку врача в тот миг, когда она лила ему на грудь и на шею спирт из бутылки. Преодолев сопротивление руки, он направил бутылку со спиртом к губам и проглотил изрядное количество ее содержимого.

— Неразбавленный спирт двойной перегонки! — изумился лекарь. — Он кому угодно обжег бы горло

и опалил кишечник. Но это необыкновенное животное так непохоже на всякое другое человеческое существо, что меня не удивит, если такая отравка только приведет его в себя.

Бонтрон оправдал предположение; он передернулся в судороге, сел, повел вокруг глазами и показал, что к нему действительно вернулось сознание.

— Вина... вина! — были первые его членораздельные слова.

Медик дал ему глоток лечебного вина, разбавленного водой. Но тот оттолкнул бутылку, неуважительно назвав напиток «свинячьим пойлом», и снова закричал:

— Вина!

— Ну и глотай, во славу дьявола, — сказал лекарь, — раз никто, кроме нечистого, не разберется в твоём естестве.

Бонтрон жадно припал к бутылке и хватил такую дозу, что у всякого другого от нее помутилось бы в голове, но на него она произвела просветляющее действие, хотя он, видимо, не сознавал, ни где он, ни что с ним случилось, и только спросил, как было ему свойственно — отрывисто и угрюмо, почему его в такой поздний час принесли к реке.

— Бешеный принц опять затеял выкупать меня, как в тот раз?.. Клянусь распятием, вот возьму да и...

— Тише ты! — перебил его Ивиот. — Скажи спасибо, неблагодарная тварь, что твоё тело не пошло на ужин воронью, а душа не попала в такое место, где воды слишком мало, чтобы тебя в ней купать.

— Теперь я вроде бы сообразил, — сказал негодяй.

И, поднеся бутылку к губам, он сперва почтил её долгим и крепким поцелуем, потом поставил пустую наземь, уронил голову на грудь и погрузился в раздумье, как будто стараясь привести в порядок свои смутные воспоминания.

— Не будем ждать, пока он додумает думу, — сказал Двайнинг. — Когда выпится, у него, конечно, прояснится в голове... Вставайте, сэр! Вы несколько часов скакали в воздухе, теперь попытайте, не пред-

ставит ли вода более удобный способ сообщения. А вы, мои доблестные господа, соизвольте мне помочь. Поднять эту громадину для меня так же невозможно, как взвалить на плечи бычью тушу.

— Стой крепко на ногах, Бонтрон, раз уж мы тебя на них поставили, — сказал Ивиот.

— Не могу, — отвечал висельник. — Каждая капля крови колет мне вены, как будто она утыкана булавками, а мои колени отказываются нести свою ношу. Что это значит? Верно, всё твои лекарские фокусы, собака!

— Так и есть, честный Бонтрон, — сказал Двайнинг, — и за эти фокусы ты еще поблаговаришь меня, когда уразумеешь их суть. А пока растянись на корме и дай мне завернуть тебя в плащ.

Бонтрону помогли забраться в лодку и уложили его там поудобнее. На хлопоты своих спасителей он отвечал пофыркиванием, напоминающим хрюканье кабана, когда он дорвался до особенно приятной пищи.

— А теперь, Банкл, — сказал лекарь, — вы знаете сами, почтеннейший оруженосец, что на вас возложено. Вы должны сплавить этот живой груз вниз по реке до Ньюбурга, где вам надлежит распорядиться им согласно приказанию; кстати, тут его кандалы и лямки — предметы, говорящие, что он подвергался заключению и был затем освобожден. Свяжите все это вместе и бросьте по пути в самый глубокий омут: если их найдут при вашей особе, они могут кое-что показать против всех нас. С запада дует легкий теплый ветер — на рассвете, когда вы устанете грести, он позволит вам поставить парус. А вы, другой мой доблестный воин, господин паж Ивиот, вам придется вернуться со мною в Перт пешком, потому что здесь нашей честной компании следует разделиться... Прихватите с собою фонарь, Банкл, вам он будет нужнее, чем нам, и позаботьтесь прислать мне назад мою фляжечку.

Когда пешеходы шагали обратной дорогой в Перт, Ивиот высказал предположение, что пережитое Бонтроном потрясение отразилось на его умственных

способностях, в особенности на памяти, и что к нему едва ли полностью вернется рассудок.

— С дозволения вашего пажества, это не так, — сказал лекарь. — Рассудок у Бонтрона от природы крепкий; он только некоторое время будет еще колебаться: так маятник, когда его толкнут, походит из стороны в сторону, а потом придет в равновесие и остановится. Из всех наших умственных способностей памяти наиболее свойственно покидать нас на какое-то время. Глубокое опьянение или крепкий сон равно отнимают ее у нас, и все-таки она возвращается, когда пьяный протрезвится, а спящий — проснется. То же действие производит иногда и страх. Я знал в Париже преступника, приговоренного к повешению; приговор соответственно привели в исполнение, и преступник не выказал на эшафоте особенной боязни, вел себя и выражался, как обычно ведут себя в таких условиях люди. Случайность сделала для него то, что сделало хитроумное приспособление для любезного нашего друга, с которым мы только что расстались. Повешенного сняли с виселицы и выдали друзьям раньше, чем в нем угасла жизнь, и мне выпало счастье приводить его в чувство. Но хотя во всем остальном он быстро оправился, он почти ничего не помнил о суде и приговоре. Из своей исповеди в утро казни... хе-хе-хе! — лекарь захихикал по своей привычке, — он потом не помнил ни слова. Не помнил ни как вывели его из тюрьмы, ни как шел он на Гревскую площадь, где его вешали, не помнил тех набожных речей, которыми — хе-хе-хе! — он направил на истинный путь — хе-хе-хе! — столь многих добрых христиан... не помнил, как влез на роковое «дерево» и совершил свой роковой прыжок, — обо всем этом у моего выходца с того света ничего не сохранилось в памяти...¹ Но вот мы и подошли к месту, где нам

¹ Происшествие, в точности подобное приведенному, имело место в нашем столетии в Оксфорде с некоей молодой женщиной, осужденной на казнь за детоубийство. Один ученый, профессор Оксфордского университета, опубликовал отчет о своей беседе с этой особой после того, как она пришла в сознание. (Прим. автора.)

надлежит расстаться, потому что, если мы встретимся с дозором, не подобает, чтобы нас видели вместе; да и осторожности ради нам лучше войти в город разными воротами. Мне моя профессия служит всегда приличным извинением, в какое бы время дня и ночи я ни вздумал уйти или вернуться. А для себя, ваше пажество, вы сами подыщете вразумительное объяснение.

— Я скажу, если спросят, что такова моя воля, этого будет достаточно, — сказал высокомерно юноша. — Все же я хотел бы по возможности избежать проволочки. Месяц светит тускло, и дорога черна, как волчья пасть.

— Ну-ну! — заметил врач. — Пусть это не тревожит моего доблестного воина: недалек тот час, когда мы вступим на тропу потемнее.

Не спрашивая, что означает зловещее предсказание, и даже по свойственной ему гордости и опрометчивости пропустив его мимо ушей, паж сэра Рэморни расстался со своим хитроумным и опасным спутником, и они пошли дальше каждый своим путем.

Глава XXV

Путь истинной любви всегда
негладок.
Шекспир

Дурные предчувствия не обманули нашего оружейника. Расставшись после божьего суда со своим будущим зятем, добрый Гловер убедился, что дело так и обстоит, как он ожидал: его красавица дочь настроена неблагоприятно к своему жениху. Но хоть он и видел, что Кэтрин холодна, сдержанна, сосредоточенна, что она уже напустила на себя вид непричастности земным страстям и слушает равнодушно, чуть ли не презрительно великолепное описание поединка на Скорняжьих Дворах, он решил не замечать в ней перемены и говорил о ее браке с его названным сыном Генри как о твердо решенном деле. Наконец, когда

она, как бывало раньше, завела речь о том, что ее привязанность к оружейнику не выходит за границы простой дружбы, что она вообще не думает выходить замуж, что так называемый божий суд посредством поединка есть издевательство над господней волей и человеческим законом, — Гловер не на шутку рассердился:

— Я не берусь читать в твоих мыслях, девочка, и не буду делать вид, что понимаю, по какому злому наваждению ты целуешь человека, открывшегося тебе в любви... позволяешь и ему целовать себя... бежишь в его дом, когда пронесся слух о его смерти, и падаешь ему на грудь, застав его живым. Все это вполне пристойно для девицы, готовой послушно выйти замуж за жениха, выбранного для нее отцом. Но когда девица дарит такой нежной дружбой человека, которого она не может уважать, за которого не намерена выйти замуж, то это не вяжется ни с приличием, ни с девичьей скромностью. Ты уже оказала Генри Смиту больше внимания, чем твоя покойная мать — царствие ей небесное! — когда-либо дарила мне до нашей свадьбы. Говорю тебе, Кэтрин, так играть любовью честного человека — этого я не могу, не хочу и не должен допускать. И не допущу! Я дал согласие на брак и настаиваю, чтобы он безотлагательно свершился. Завтра ты примешь Генри Уинда как человека, за которого ты скоро выйдешь замуж.

— Власть более сильная, чем ваша, отец, наложил на это запрет, — возразила Кэтрин.

— А я не боюсь ее! Моя власть законная — власть отца над дочерью, над заблудшей дочерью! — ответил Саймон Гловер. — И бог и люди позволяют мне пользоваться этой властью.

— Тогда да поможет нам небо, — сказала Кэтрин, — потому что, если вы стоите на своем, мы все погибли.

— Ждать помощи от неба не приходится, — сказал Гловер, — ежели мы ведем себя нескромно. Настолько я все же учен, чтобы это понимать; а что твоя беспричинная непокорность моей воле грешна, это скажет тебе любой священник. Мало того — ты тут

неуважительно отозвалась о благочестивом уповании на господу в божьем суде. Остерегись! Святая церковь пробудилась и следит за своею паствой и станет ныне искоренять ересь огнем и мечом, предупреждая тебя!

Кэтрин тихо вскрикнула и, с трудом принудив себя сохранять внешнее спокойствие, пообещала отцу, что если он избавит ее на весь день от споров по этому предмету, то она к их утренней встрече разберется в своих чувствах и все ему откроет.

Пришлось Саймону Гловеру удовольствоваться этим, хотя его сильно встревожило, что дочь откладывает объяснение. Он знал: не по легкомыслию или прихоти Кэтрин вела себя так, казалось бы, своевольно с человеком, которого выбрал для нее отец и на которого, как она недавно созналась напрямик, пал и ее собственный выбор. Какая же могущественная внешняя сила принуждает ее изменить решение, твердо высказанное накануне? Это было для него загадкой.

«Буду так же упрям, как она, — думал перчаточник. — Либо она немедленно выйдет за Генри Смита, либо приведет старому Саймону Гловеру веское основание для отказа».

Итак, в тот вечер они не возвращались к этому предмету, но рано поутру, едва рассвело, Кэтрин опустилась на колени перед кроватью, на которой еще спал ее отец. Сердце ее словно разрывалось, и слезы обильно лились из ее глаз на лицо отца. Добрый старик проснулся, поднял взор, перекрестил лоб дочери и любовно ее поцеловал.

— Понимаю, Кейт, — сказал он, — ты пришла исповедаться и, надеюсь, хочешь искренним признанием отвести от себя тяжелое наказание.

Кэтрин с минуту молчала.

— Я не должна спрашивать, отец мой, помните ли вы картезианского монаха Климента, его проповеди и наставления: ведь вы сами присутствовали на них, и так часто, что люди, как вы не можете не знать, считают вас одним из его последователей и с большим основанием причисляют к ним и меня.

— Мне известно и то и другое, — сказал старик, приподнявшись на локте, — но пусть посмеют злые языки сказать, что я когда-либо следовал его еретическому учению, хотя и любил слушать его речи о развращенности церкви, о злоупотреблениях властью со стороны знати, о грубом невежестве бедняков: это, мнилось мне, доказывало, что в нашем государстве добродетель крепка и поистине чтится только в высших слоях городского ремесленного класса. В этом я полагал учение отца Климента правильным, уважительным к нашему городу. А если в чем другом его учение было неправильно, так чего смотрело его картезианское начальство? Когда пастухи пускают в овчарню волка в овечьей шкуре, не винить же овец, что стаду наносится урон!

— В монастыре терпели его проповедь, даже поощряли ее, — сказала Кэтрин, — покуда отец Климент осуждал пороки мирян, раздоры среди знати, угнетение бедноты, и радовались, видя, как народ толпами валит в церковь картезианцев, а церкви других монастырей пустуют. Но эти ханжи (потому что ханжи они и есть!) объединились с другими монашескими орденами и обвинили своего проповедника в ереси, когда он, не довольствуясь осуждением мирян, стал изобличать самих церковников: их гордость, невежество и роскошь, их жажду власти, их деспотизм в стремлении подчинить себе людскую совесть, их жажду приумножить свое земное богатство.

— Ради бога, Кэтрин, — сказал ее отец, — говори потише: тебя слышно с улицы, и речь твоя звучит ожесточением, глаза сверкают. Вот из-за такого твоего рвения в делах, которые касаются тебя не больше чем других, злые люди и приклеили тебе ненавистное и опасное прозвание еретички.

— Вы знаете, что я говорю чистую правду, — сказала Кэтрин. — Вы и сами не раз ее признавали.

— Клянусь иглой и замшей — никогда! — поспешно возразил Гловер. — Никак ты хочешь, чтобы я признался в том, за что меня лишат здоровья и жизни, земли и добра? Создана комиссия, уполномоченная

хватать и пытаться еретиков, на которых теперь валят всю вину за недавнюю смуту и беспорядки. Так что, девочка, чем меньше слов, тем лучше. Я всегда держался одного мнения со старым стихотворцем:

Ведь слово — раб, лишь мысль свободна;
Держи в узде язык негодный! ¹

— Ваш совет опоздал, отец, — сказала Кэтрин, опустившись на стул подле кровати отца. — Слова были сказаны и услышаны, и сделан уже донос на Саймона Гловера, пертского горожанина, в том, что он вел непочтительные речи об учении святой церкви...

— Как то, что я живу иглой и ножом, — перебил Саймон, — это ложь! Никогда я не был так глуп, чтобы говорить о вещах, в которых ничего не смыслю.

— ...и поносил духовенство, черное и белое, — продолжала Кэтрин.

— Не стану отпираться от правды, — сказал Гловер, — я, может, позволял себе иной раз сказать пустое слово в доброй компании за жбаном вина, а в общем, не тот у меня язык, чтобы губить мою же голову.

— Так вы полагаете, мой дорогой отец. Но каждое ваше словцо подстерегалось, каждое самое безобидное суждение толковалось вкривь, и в доносе вас выставляют злостным хулителем церкви и духовенства — из-за тех речей, какие вели вы против них среди разных распутников вроде покойного Оливера Праудфьюта, кузнеца Генри из Уинда и других... Они все объявлены приверженцами учения отца Климента, которого обвиняют в ереси и разыскивают именем закона по всему свету, чтобы предать пыткам и казни... Но этого им не свершить, — добавила Кэтрин, опустившись на колени и возведя глаза к небу; сейчас она напоминала одну из тех святых, чьи образы католическая церковь запечатлела в живописи. — Он

¹ Эти строки и сейчас еще можно прочесть в полуразрушенном домике одного аббата. Говорят, что они намекают на то, что святой отец обзавелся любовницей. (Прим. автора.)

избежал расставленных сетей, и, слава небесам, при моем содействии!

— При твоём содействии, девочка? Ты не сошла с ума? — сказал в ужасе Гловер.

— Я не хочу отречься от того, чем горжусь, — ответила Кэтрин. — По моему призыву Конахар явился сюда с отрядом своих людей и увел старика. Теперь отец Климент далеко в глубине Горной Страны.

— О мое неразумное, несчастное дитя! — вскричал Гловер. — Ты осмелилась содействовать побегу чело- века, обвиненного в ереси, и призвать в город горцев, чтобы они с оружием в руках помешали правосудию? Горе, горе! Ты преступила законы церкви и законы королевства. Что... что теперь станет с нами, если об этом узнают!

— Об этом узнали, дорогой отец, — сказала твердо девушка, — и узнали как раз те, кто рад отомстить за это дело.

— Пустое, Кэтрин, ничего они не узнали! Это все происки хитрых священников и монахинь. Но мне не- вдомек — ведь ты последнее время была такая весе- лая и согласилась выйти за Смита?

— Ах, дорогой отец! Вспомните, как мне было горько услышать вдруг о его смерти и какую радо- стью было найти его живым; да и вы меня поощря- ли... что ж тут удивительного, если я сказала больше, чем позволяло мне здравое рассуждение! Но я тогда еще не прослышала о самом худшем и думала, что опасность не так велика. Увы! Самообман рассеялся, и я узнала страшную правду, когда аббатиса само- лично явилась сюда и с нею монах-доминиканец. Они показали мне грамоту за большой королевской печат- ью — полномочие выискивать и карать еретиков; они мне показали наши имена, ваше и мое, в списке запод- озренных лиц, и со слезами, подлинными слезами аббатиса меня заклинала отвратить от себя страшную участь, как можно скорей удалившись в монастырь; а монах — тоже со слезами — клятвенно обещал, что если я постригусь, то вас они не тронут.

— Унеси их обоих нечистый за их крокодиловы слезы! — озлился Гловер.

— Увы, — сказала Кэтрин, — жалобы и гнев немало нам не помогут. Но теперь вы видите, у меня достаточная причина для тревоги.

— Для тревоги? Назови это гибелью! Горе, горе! Безрассудное мое дитя, где ж было твое разумение, когда ты устремилась очертя голову в их ловушку?

— Послушайте, отец, — сказала Кэтрин, — нам оставлен все же путь к спасению, и это то, о чем я часто сама помышляла, на что напрасно молила вас дать мне согласие.

— Понимаю тебя — монастырь! — сказал ее отец. — Но ты подумай, Кэтрин, какая же аббатиса, какая игуменья посмеет...

— Сейчас я все разъясню, отец, и вы поймете, почему я казалась нетвердой в своем решении; может быть, напрасно и вы и другие корили меня за это. Мой духовник старый отец Франциск, которого я выбрала по вашему настоянию в доминиканском монастыре...

— И то верно, — перебил Гловер. — Таков был мой совет: я на нем настаивал, чтобы рассеять слухи, будто ты всецело под влиянием отца Климента.

— Так вот, отец Франциск при случае вызывал меня на разговор о таких вещах, о которых, думал он, я стану судить, следуя учению картезианского проповедника. Да простит мне бог мою слепоту! Я не разглядела ловушки, говорила свободно, а так как возражал он неуверенно, будто и сам был готов сдаться на мои доводы, я говорила даже с жаром в защиту того, во что свято верю. Он не показывал, каков он на самом деле, и не выдавал своих тайных намерений, пока не выведал всего, что я могла ему доверить. И вот лишь тогда он стал грозить мне карами на этом свете и вечным осуждением на том. Если бы его угрозы касались меня одной, я держалась бы стойко, потому что жестокость их на земле я могла бы стерпеть, а в их власть надо мною за гробом я не верю.

— Ради всего святого! — вскричал Гловер. Он был вне себя, за каждым новым словом дочери усматривая

все большую опасность. — Остерегись кощунствовать против святой церкви... Уши ее слышат все, а меч разит быстро и нещадно.

— То наказание, — сказала пертская красавица, поднимая к небу глаза, — которым грозили мне самой, не устрасило меня. Но когда мне сказали, что и на тебя, отец мой, они возведут те же обвинения, признаюсь, я дрогнула и стала искать пути к примирению. Так как аббатиса Марта из женского монастыря в Элкоу — родственница моей покойной матери, я доверилась ей в моем горе, и она обещала взять меня к себе, если я, отрекшись от мирской любви и помыслов о браке, постригусь и стану одной из сестер ее ордена. Она на этот счет сговорила, я уверена, с доминиканцем Франциском, и они стали петь в один голос ту же песню. «Останешься ты в миру, — говорили они, — и вы оба, твой отец и ты, пойдете под суд, как еретики. Наденешь на себя покрывало монахини — и ваши заблуждения будут прощены и забыты». Они даже и не говорили, что я должна отречься от якобы ложного учения: все мирно уладится, лишь бы я пошла в монастырь,

— Еще бы... еще бы! — сказал Саймон. — Старый Гловер слывет богатеем, все его золото вслед за дочерью утечет в Элкоу, разве что оттягают себе кое-что доминиканцы. Так вот оно, призвание, тянувшее тебя в монастырь!.. Вот почему ты отвергаешь Генри Уинда!

— Сказать по правде, отец, на меня давили со всех сторон, и мой собственный разум подсказывал мне то же решение. Сэр Джон Рэморни грозил мне тяжелой местью со стороны молодого принца, если я не уступлю его домогательствам. А бедный Генри... я же сама только совсем недавно поняла, к своему удивлению, что мне... что я больше ценю его достоинства, нежели ненавижу его недостатки... Увы! Мне это открылось только для того, чтобы уход от мира стал еще труднее, чем в те дни, когда я думала, что буду сожалеть лишь о разлуке с тобой.

Она склонила голову на руку и горько заплакала.

— Глупости! — сказал Гловер. — Как бы ни при- жала нужда, умный человек всегда найдет выход, достало бы только отваги. Не та у нас страна и на- род не тот, чтобы священники стали здесь править именем Рима — и никто не пресек бы такую узурпа- цию. Если начнут у нас наказывать каждого честного горожанина, когда он говорит, что монахи любят зо- лото и что многие из них живут позорной жизнью, вопиющей против их же проповеди, — право, у Сти- вена Смазеруэлла будет работы по горло! И если каждой глупой девчонке прикажут отрешиться от мира лишь за то, что она следует ложному учению монаха-краснобая, то придется открыть множество новых женских монастырей и снизить вклад для за- творниц. В старое время наши добрые короли не раз вступали в спор с самим папой, защищая привилегии своей страны; а когда папа пытался подавить шат- кую королевскую власть, так у нас на то был шот- ландский парламент: однажды он напомнил королю о его долге письмом, которое следовало бы начертать золотыми буквами. Я видел сам это послание, и пусть я не умел его прочесть, но, когда глянул на приве- шенные к нему печати глубоко почитаемых прелатов и верных благородных баронов, у меня от радости чуть не выскочило сердце из груди. Тебе не надо бы таиться от меня, дочка... Но сейчас не время для по- преков. Сойди вниз, принеси мне поесть. Я сейчас же сяду на коня и отправлюсь к нашему лорду-мэру, посоветуюсь с ним. Полагаю, он и другие истинные шотландские рыцари окажут мне свое покровитель- ство, не допустят, чтобы честного человека топтали ногами за лишнее слово.

— Увы, отец, — сказала Кэтрин, — твоей горячно- сти я и боялась. Я знала: пожалуйся я тебе, сразу разгорятся пожар и вражда, как будто религия, дан- ная нам отцом мира, может только порождать раз- дор! И вот почему я должна теперь — даже теперь! — отречься от мира и удалиться со своей печалью к се- страм в Элкоу... если ты согласишься на эту жертву и отпустишь меня. Но только, отец, утешь бедного Генри, когда мы расстанемся навеки, и пусть... пусть

он не слишком сурово меня осуждает. Скажи, что Кэтрин больше никогда не станет докучать ему своими попреками и всегда будет поминать его в молитвах.

— Так красно девчонка говорит, что, слушая ее, заплакал бы и сарацин! — сказал Саймон, и от жалости к дочери у него самого на глазах проступили слезы. — Только не позволю я, чтобы монахиня да священник своими происками отняли у меня единственное дитя! Ступай, дочка, дай мне одеться и изволька повиноваться мне в том, что я тебе прикажу ради твоего же спасения. Собери кое-какую одежду и какие есть у тебя драгоценности, возьми ключи от кованого ларца, который подарил мне бедный Генри Смит, и раздели все золото, какое там найдешь, на две части. Одну положи в свой кошелек, другую — в мой двойной пояс, что я всегда ношу на себе в путешествиях. Так мы будем оба обеспечены в том случае, если судьба нас разлучит. Когда суждено тому быть, пусть ветер господень сорвет увядший лист и пощадит зеленый! Вели, чтобы не мешкая оседлали моего коня и белую испанскую лошадку, которую я купил не далее как вчера в надежде, что ты на ней отправишься в храм святого Иоанна с девицами и почтенными мужними женами самой счастливой невестой, какая только переступала когда-либо святой порог. Но к чему пустой разговор!.. Иди и помни, что силы небесные помогают только тому, кто сам готов себе помочь. Ни слова поперек! Ступай, сказал я, сейчас не до причуд. В тихую погоду кормчий может позволить мальчишке-корабельщику побаловаться рулем, но, ей-богу, когда воют ветры и горой вздымаются волны, он сам встает за штурвал. Иди, не возражай!

Кэтрин вышла из комнаты, чтобы послушно выполнить распоряжение отца. Мягкий по натуре и нежно привязанный к дочери, он, казалось, нередко уступал ей руководство — однако же, как ей хорошо было известно, не терпел ослушания и умел проявить родительскую власть там, где обстоятельства требовали твердой домашней дисциплины.

Итак, прекрасная Кэтрин исполняла распоряжения отца, а добрый старый Гловер поспешно одевался в

дорогу, когда на узкой улице раздался стук копыт. Всадник был закутан в плащ для верховой езды; поднятый ворот закрывал нижнюю половину лица, а шляпа, надвинутая на глаза, и ее широкое перо затеняли верхнюю. Он соскочил с седла, и едва Дороти успела в ответ на его вопрос доложить, что Гловер в спальне, как незнакомец уже взбежал по лестнице и вошел в комнату. Саймон, удивленный и даже испуганный (в раннем госте он заподозрил судебного пристава, присланного забрать его дочь), вздохнул свободней, когда пришедший снял шляпу, спустил плащ и он узнал в незваном госте благородного мэра Славного Города, чье появление в его доме во всякую пору означало бы немалую милость и честь, а в этот час показалось чуть ли не чудесным, хотя при создавшихся обстоятельствах не могло не встревожить хозяина.

— Сэр Патрик Чартерис? — сказал Гловер. — Ваш смиренный слуга не знает, как благодарить вас за высокую честь...

— Брось! — сказал рыцарь. — Сейчас не время для пустых любезностей. Я сюда явился потому, что в час испытаний человек сам свой вернейший слуга. Я успею только предложить тебе бежать, добрый Гловер: твоя дочь и ты обвинены в ереси, и сегодня королевский совет издаст приказ арестовать вас. Промедление будет стоить вам обоим свободы, а возможно, и жизни.

— Дошли и до меня такие слухи, — сказал Гловер, — так что я и сам думал сейчас поехать в Кинфонс, чтобы обелить себя по этому доносу и просить у вашей милости совета и покровительства.

— Твоя невиновность, друг Саймон, мало поможет тебе там, где судьи предубеждены. Мой совет будет короток: беги и выжидай более счастливой поры. А с моим заступничеством придется повременить до того часа, когда волна спадет, не причинив тебе вреда. Тебе надо будет переждать несколько дней или, возможно, недель где-нибудь в укрытии, а там церковников поставят на место. Опираясь в придворных интригах на герцога Олбени и выставляя единственной причиной всех народных бед распространение ереси, они сумели полностью подчинить короля своему влиянию.

Но я уверен, что скоро им дадут отпор. А пока что, да будет тебе известно, король Роберт не только предоставил им полномочия на подавление ереси — он еще согласился утвердить папского ставленника Генри Уордло архиепископом на престоле святого Андрея и примасом Шотландии. Таким образом, он в угоду Риму отступился от всех вольностей и непререкаемых прав шотландской церкви, которые так смело отстаивали его предки со времен Малькольма Кэнмора. Его храбрые отцы скорей подписали бы договор с дьяволом, чем пошли в таком вопросе на уступки Риму.

— Вот горе! А какой же выход?

— Никакого, старик, кроме немедленной перемены при дворе, — сказал сэр Патрик. — Наш король — что зеркало: не имея в себе света, оно всегда готово отразить тот свет, какой окажется поближе. Ныне Дуглас, хоть он и спелся с Олбени, все же не склонен поддерживать притязания князей церкви, так как он с ними рассорился из-за тех поборов, которые произвела его свита в Абербротокском аббатстве. Скоро граф возьмет большую силу, потому что, по слухам, он обратил Марча в бегство. Дуглас вернется, и сразу все у нас пойдет по-другому, потому что его присутствие наложит узду на Олбени; это тем вернее, что многие бароны, и я в том числе (скажу тебе доверительно), решили сплотиться вокруг графа для защиты наших прав. Значит, с появлением Дугласа при королевском дворе придет конец и твоему изгнанию. Тебе нужно только найти местечко, где бы ты мог укрыться на время.

— На этот счет, милорд, — сказал Гловер, — мне ломать голову не придется, потому что сейчас я вправе рассчитывать на покровительство одного из властителей Горной Страны, Гилкрита Мак-Иана, вождя клана Кухил.

— Ну, если ты можешь ухватиться за его плащ, тебе нет нужды искать иной помощи: за рубежом Горной Страны закон бессилен, кто бы ни повел судебное преследование, мирянин ли из Нижней Шотландии или наши церковники.

— Но как быть с моей дочерью, благородный сэр, с моей Кэтрин? — спросил Гловер.

— Пусть едет с тобой, приятель. От овсяных лепешек ее зубы станут лишь белее, козье молоко вернет ей румянец, который все эти тревоги согнали с ее щек, и даже для красивейшей девушки Перта не будет слишком жестким ложе из горного вереска.

— Не такие пустые заботы, милорд, смущают меня, — сказал Гловер. — Кэтрин — дочь простого горожанина и не избалована ни в смысле еды, ни в смысле жилья. Но сын Мак-Иана много лет был гостем в моем доме, и я, признаться, не раз подмечал, что он заглядывается на мою дочь, а сейчас она, можно сказать, обрученная невеста! Пока все мы жили здесь, на Кэрфью-стрит, меня это мало тревожило; но как не опасаться дурных последствий, когда мы окажемся с нею в горном клане, где у Конахара множество друзей, а у меня ни единого?

— Фью, фью! — свистнул в ответ благородный мэр. — В таком случае посоветую тебе отправить дочь в монастырь Элкоу — ведь там аббатисой, если память мне не изменяет, какая-то ваша родственница? Нет, в самом деле, она мне это говорила сама и добавляла, что нежно любит свою кузину, как и весь твой дом, Саймон.

— Правильно, милорд; я полагаю, аббатиса настолько ко мне расположена, что охотно возьмет на свое попечение и мою дочь и все мое добро в придачу... Черт возьми, привязанность ее довольно крепка; мать-настоятельница потом не захочет выпустить из своих рук ни девицу, ни ее приданое.

-- Фью... Фью! — свистнул опять рыцарь Кинфонс. — Не звать же мне таном, если этот узел легко развязать. Но никто не скажет, что лучшая девушка Славного Города попала в монастырь, как курочка в силки, да еще накануне своей свадьбы с честным Генри Уиндом. Нет, не будет такой молвы, пока я ношу пояс и шпоры и зовусь мэром Перта.

— Но что же делать, милорд? — спросил Гловер.

— Придется каждому из нас пойти на некоторый риск. Вот что: немедленно садитесь на коней вы

оба, и ты и дочь. Вы поедете со мною, и посмотрим, посмеет ли кто косо на вас поглядеть. Приказ на твой арест еще не подписан, а если пришлют в Кинфонс судебного пристава без грамоты за собственноручной подписью короля, клянусь душою Красного Разбойника, я заставлю наглеца проглотить всю его писанину как она есть — пергамент вместе с воском. В седло, в седло! И ты, — обратился он к Кэтрин, которая вошла в комнату, — собирайся и ты, моя красавица.

В седло! И не страшись за дом:

Печется хартия о нем ¹

Не прошло и двух минут, как отец с дочерью уже сидели на конях и скакали в Кинфонс, держась, по указанию мэра, на полет стрелы впереди него, чтобы не выдать, что они едут все вместе. Поспешно миновали они Восточные ворота и понеслись дальше, не сбавляя хода, пока не скрылись с глаз. Сэр Патрик следовал за ними не спеша; но как только стражники и его потеряли из виду, он пришпорил своего резвого скакуна, и вскоре, когда рыцарь нагнал Гловера с Кэтрин, между ними завязался разговор, который прольет свет на многое, о чем упоминалось раньше в этой повести.

Глава XXVI

Привет тебе, край лучников,
чьи предки
Не гнули шею перед властным
Римом...
Любезнейшая Альбиона часть,
Как валом обнесенная волнами!

«Албания» (1737) ¹

— Я все гадаю, — сказал заботливый мэр, — как бы мне надежней укрыть вас обоих на неделю-другую от злобы ваших врагов; а там, я нимало не со-

¹ Перевод С. Петрова.

мневаюсь, обстановка при дворе изменится. Но чтобы мне вернее рассудить, что тут лучше всего предпринять, скажи мне откровенно, Саймон, какие у тебя отношения с Гилкристом Мак-Ианом? Что позволяет тебе так безусловно на него полагаться? Ты хорошо знаком с обычаем горожан, и уж тебе ли не знать, какие суровые наказания налагает город на тех своих жителей, которые ведут сношения и дружбу с горными кланами.

— Верно, милорд. Но вам должно быть также известно, что нашему цеху, поскольку нам приходится работать по коже — козьей, и оленьей, и всякой, — разрешено вступать в сделки с горцами, потому что они вернее всех других могут снабдить нас товарами, необходимыми нам, чтобы мы могли развивать свой промысел — к немалой выгоде для города. Вот и мне частенько доводилось вести дела с этими людьми, и я поклянусь вам спасением своей души: нигде вы не найдете людей честнее и справедливее в торговых делах, и ни на ком человек не заработает легче свой честный грош. Мне не раз случалось в свое время, положившись лишь на слово их вождей, отправляться в самые дальние концы Горной Страны, и нигде не встречал я никого, кто был бы так верен своему слову: уж если горец вам что обещал, можете вполне на него положиться. А этот вождь горного клана, Гилкрисст Мак-Иан, — ему, конечно, нипочем и убить и дом поджечь, если у него с кем кровная вражда, но в остальном это человек, идущий самым честным и прямым путем.

— Такого я до сих пор не слыхивал, — сказал сэра Патрик Чартерис, — хоть и я немного знаком с бродягами горцами.

— Они совсем иные со своими друзьями, нежели с врагами, как вы сами, ваша милость, понимаете, — сказал Гловер. — Так или иначе, мне довелось сослужить службу Гилкристу Мак-Иану. Лет восемнадцать назад случилось так, что клан Кухил, враждуя с кланом Хаттан (они ведь редко когда в мире), понес тяжелое поражение, и семья их вождя Мак-Иана оказалась почти вся истреблена. Семеро его сыновей

были убиты — кто в бою, кто после боя. Сам он вынужден был бежать, а его замок был захвачен и спален. Жена его — а была она тогда на сносях — бежала в лес в сопровождении одного верного своего слуги и его дочери. Здесь в печали и горестях она родила на свет мальчика; и так как у матери от горя и лишений пропало в груди молоко, младенца выкормили молоком лани, которую лесовику, прислуживавшему им, удалось поймать живой в западню. Полгода спустя враждующие кланы снова встретились, и Мак-Иан, в свой черед, нанес поражение противнику и вновь овладел землями, которые перед тем потерял. С большою радостью узнал он, что его жена и ребенок живы, когда он давно утратил надежду увидеть их и думал, что волки и дикие кошки обглодали их кости.

Однако среди этого дикого народа очень сильны суеверия и предрассудки, и в силу одного такого предрассудка вождь клана не мог полностью насладиться счастьем, когда вновь обрел живым и невредимым своего единственного сына. У них из рода в род передавалось древнее пророчество, что могущество племени будет сломлено из-за мальчика, рожденного под кустом остролиста и вскормленного белой ланью. К несчастью для вождя, обстоятельства рождения оставшегося у него сына были именно таковы, и старейшины клана потребовали от него, чтобы он предал смерти свое дитя или по меньшей мере удалил его за пределы владений племени и взрастил в неведении, кто он есть. Гилкрест Мак-Иан был принужден согласиться и выбрал из двух предложений второе. Мальчика, под именем Конахар, отдали на воспитание в мою семью, причем сперва предполагалось, что от него будет скрыто раз и навсегда, кто он и что он, дабы он не мог со временем предъявить притязания на власть над своим многочисленным и воинственным племенем. Но годы шли, из старейшин, когда-то имевших вес, одних унесла смерть, другие же по старости стали не способны вмешиваться в общественные дела; напротив, влияние Гилкреста Мак-Иана возрастало вследствие его успешной борьбы с кланом Хаттан:

ему удалось установить равновесие между двумя соперничающими конфедерациями, какое существовало между ними до того тяжкого поражения, о котором я рассказал вашей чести. Чувствуя за собой силу, вождь, конечно, пожелал вернуть единственного сына в лоно своей семьи; вот и стал он требовать от меня, чтобы я то и дело отправлял молодого Конахара, как его тогда звали, в его родные горы. Красивый и стройный юноша был будто нарочно создан, чтобы покорить сердце отца. В конце концов мальчик, я думаю, либо сам разгадал тайну своего рождения, либо ему кое-что рассказали; надменный горец-ученик, и раньше никогда не уважавший мое честное ремесло, все откровеннее выказывал свое отвращение к труду. А я уже не осмеливался прогуляться палкой по его спине, боялся, как бы он не всадил мне в ребра кинжал — обычный ответ кельта на замечание сакса. И тут уж мне самому захотелось поскорее от него избавиться, тем более что он стал заглядываться на Кэтрин, а та, понимаете, вбила себе в голову, что должна добела отмыть эфиопа и научить дикого горца милосердию и добрым нравам. К чему это привело, она вам скажет сама.

— Да нет, отец, — смутилась Кэтрин, — я, право, лишь по милосердию хотела выхватить из огня горящее полено.

— По милосердию, но уж никак не по мудрости, — возразил отец, — потому что при такой попытке недолго и пальцы обжечь. А вы что скажете, милорд?

— Милорд не посмеет оскорбить прекраснейшую девушку Перта, — сказал сэр Патрик. — И я хорошо знаю, как чисты и праведны ее помыслы. Но не могу не отметить: будь этот вскормленник белой лани лохматым, неуклюжим, рыжеволосым дикарем вроде кое-кого из тех горцев, каких я знавал на своем веку, едва ли пертская красавица взялась бы так ревностно за его обращение; и, если бы Кэтрин была старухой, в морщинах, согбенной годами, вроде той, что нынче поутру отворила мне дверь вашего дома, я прозакладывал бы свои золотые шпоры против пары гэльских

брогов, что ваш дикий олень выслушал бы одно наставление, а второго бы слушать не стал. Ты смеешься, Гловер, а Кэтрин вспыхнула от гнева. Но ничего не попишешь, так повелось на свете.

— Так повелось, милорд, среди светских людей, куда как уважающих ближнего! — с сердцем ответила Кэтрин.

— Прости мне шутку, моя красавица, — сказал рыцарь. — А ты, Саймон, рассказывай дальше, чем кончилась эта история. Верно, Конахар удрал в свои горы?

— Да, он вернулся домой, — сказал Гловер. — Последние два-три года в Перт время от времени навевывался вестником один паренек, приходивший к нам под разными предлогами, на деле же ему поручалось держать связь между Гилкристом Мак-Ианом и его сыном, юным Конахаром, или, как зовут его теперь, Гектором. От этого парня я узнал в общих чертах, что в племени опять обсуждался вопрос об изгнании питомца белой лани — по-ихнему, Долт-ан-Ней-Дила. Его приемный отец, Торквил из Дубровы, старый лесовик, явился с восемью сыновьями, лучшими бойцами клана, и потребовал, чтобы приговор был отменен. Говорил он с тем большим весом, что он и сам слывет тэйсхатаром, то есть ясновидцем, и там у них считают, что он связан с незримым миром. Торквил объявил, что провел колдовской обряд, тин-эган,¹ посредством которого он вызвал беса и вырвал у него признание, что Конахар, именуемый ныне Эхином, или Гектором, Мак-Ианом, — единственный, кому удастся выйти невредимым из предстоящего сражения между двумя враждующими кланами. Отсюда следует, настаивал Торквил из Дубровы, что только присутствие в их рядах этого отмеченного судьбою юноши может обеспечить клану победу. «Я в этом так

¹ Тин-эган — иначе нейдфайр, то есть «вынужденный огонь». Все огни в доме гасятся, и два человека, добыв огонь посредством трения, разводят костер, обладающий будто бы очистительной силой. Это колдовство на памяти живущих ныне людей проводилось на Гебридских островах, когда нападал мор на скот. (Прим. автора.)

убежден, — сказал лесной богатырь, — что если Эхин не займет своего места в рядах кухилов, то ни я, его приемный отец, ни восемь моих сыновей не поднимем меча в этом споре».

Заявление Торквила возбудило большую тревогу; выход из рядов девяти человек, самых крепких бойцов их племени, означал серьезный урон, тем более что, по слухам, сражение должно было решиться при небольшом числе участников с каждой стороны. Древнему предсказанию о выкормыше белой лани было противопоставлено новое, более позднее; оно произвело не меньшее впечатление на суеверных горцев, и отец воспользовался этой возможностью представить клану своего сына, которого долго скрывали от всех; а юношеское, но красивое и воодушевленное лицо Эхина, его гордая осанка и ловкое сложение восхитили горцев. Клан с радостью принял его как потомка и наследника их вождя, невзирая на дурное пророчество, о котором напоминало его рождение под кустом и то, что его вскормили молоком лани... Теперь, когда я все вам рассказал, — продолжал Саймон Гловер, — вы легко поймете, ваша честь, почему мне обеспечен добрый прием в клане Кухил. В то же время вы ясно видите, как опрометчиво было бы с моей стороны взять туда с собой мою дочь Кэтрин. О ней-то, благородный лорд, вся моя тяжкая дума.

— Тяжесть мы облегчим, — сказал сэр Патрик. — Я, мой добрый Гловер, ради тебя и этой девицы готов пойти на риск. Сейчас я в союзе с Дугласом и потому держу сторону его дочери Марджори, герцогини Ротсей, покинутой супруги своенравного принца. В ее свите, Гловер, можешь твердо на то положиться, твоя дочка будет как за каменной стеной. Сейчас герцогиня стоит двором в замке Фолкленд, который владеец его, герцог Олбени, предоставил Марджори Дуглас, чтобы она там проживала со всеми удобствами. Не обещаю, милая девица, что тебе будет весело: герцогиня Марджори Ротсей несчастна и, значит, желчна, надменна и привередлива; она понимает, что лишена привлекательности, и, значит, смотрит ревниво на каждую миловидную женщину. Но она

верна слову и благородна духом; она бросила бы и прелата и папу в свой замковый ров, когда бы те пришли забрать кого-нибудь, кого она приняла под свое покровительство. Поэтому ты будешь там в полной безопасности, хоть, может быть, и не найдешь развлечений.

— На большее я не могу притязать, — сказала Кэтрин. — И я признательна тому, кто с такой добротой обеспечил мне это высокое покровительство. Если герцогиня мне покажется надменной, я вспомню, что она — Дуглас и, значит, вправе гордиться больше всякого другого смертного; если она будет раздражительна, я скажу себе самой, что она несчастна; а если она окажется без меры придирчива, я не забуду, что она моя покровительница. Не беспокойтесь больше обо мне, милорд, когда вы передадите меня заботам благородной леди... Но бедный мой отец! Какое ему придется среди дикого, воинственного племени!..

— Не тревожься, Кэтрин, — сказал Гловер. — Я так свыкся с тартаном и брогами, точно сам носил их с юных лет. Боюсь я только одного: как бы решающий бой не произошел раньше, чем я смогу покинуть их страну. Если клан Кухил проиграет сражение, гибель моих покровителей принесет гибель и мне.

— На этот случай мы примем свои меры, — сказал сэр Патрик. — Положись на меня, я обо всем позабочусь. Но как ты думаешь, кто из них победит?

— Откровенно говоря, милорд мэр, я думаю, клану Хаттан не поздоровится: те девять лесных богатырей составляют чуть ли не третью часть отряда, который сплотится вокруг вождя клана Кухил, а они — грозные противники.

— Ну, а твой подмастерье, как ты думаешь, он-то им под стать?

— Он горяч, как огонь, сэр Патрик, — ответил Гловер, — но притом непостоянен, как вода. Все же, если будет жив, он станет со временем храбрым бойцом.

— А пока что в нем дает себя чувствовать молоко белой лани? Не так ли, Саймон?

— Он еще неопытен, милорд, — сказал Гловер, — а такому почтенному воину, как ваша милость, я могу и не говорить, что мы должны свыкнуться с опасностью, а там уже можем и пренебрегать ею как надоевшей подругой.

В таких разговорах они и не заметили, как подъехали к замку Кинфонс, где отец и дочь, передохнув немного, должны были тут же распротиться, отправляясь каждый к месту своего пристанища. Только теперь, видя, что отец в тревоге о ней совсем позабыл своего друга, Кэтрин впервые, словно невзначай, обронила имя Генри Гоу.

— Верно, верно! — подхватил ее отец. — Мы должны известить его о наших намерениях.

— Предоставьте это мне, — сказал сэр Патрик, — я не доверюсь вестнику и письма посылать не стану, потому что, если бы и мог я написать, не думаю, чтобы Генри умел прочесть письмо. Придется ему до поры до времени потревожиться, а завтра я урву часок и съезжу в Перт рассказать ему о ваших планах.

Время разлуки между тем приблизилось. Это была горькая минута, но старому горожанину его мужественный склад души, а Кэтрин — благочестивое смирение перед волей божьей позволили перенести ее легче, чем можно было ожидать. Добрый рыцарь, хоть и в самом учтивом тоне, торопил гостя в отъезд; в своей любезности он пошел так далеко, что даже предложил горожанину взаймы несколько золотых монет, что в те времена, когда золото было так редко, следовало расценить как знак внимания *pes plus ultra*.¹ Гловер, однако, заверил рыцаря, что у него и так достаточно припасено, и пустился в странствие, держа путь на северо-запад. Не менее учтиво обошелся хозяин и со своей прелестной гостьей. Ее отдали на попечение дуэнье, которая вела хозяйство благородного рыцаря; однако девушке пришлось на несколько дней задержаться в Кинфонсе из-за всяческих помех и проволочек, чинимых неким тэйским корабельщиком,

¹ Такой, что дальше некуда (лат.).

по имени Китт Хеншо, доверенным лицом мэра, чьим заботам он и решил препоручить Кэтрин.

Так отец и дочь расстались в час нужды и опасности, еще не зная сами о новых тяжких обстоятельствах, которые, казалось бы, должны были убить их последнюю надежду на спасение.

Глава XXVII

— Так это сделал Остин?

— Да.

— Ну что же,

Пусть и для нас теперь свершит
он то же.

*Поп. Пролог к «Кентерберийским
рассказам» Чосера*

Продолжая наше повествование, нам лучше всего последовать за Саймоном Гловером. В наши цели не входит устанавливать географические границы владений двух соперничающих кланов, тем более что их не указывают сколько-нибудь точно и те историки, которые передали нам летопись этой достопамятной распри. Довольно будет сказать, что клан Хаттан занимал обширную территорию, охватывавшую Кейтнес и Сазерленд, и что во главе его стоял могущественный граф Сазерленд, носивший в то время имя Морар-Хат.¹ Этим общим наименованием обозначались вступившие в конфедерацию Киты, Синклеры, Ганы и другие могущественные роды и кланы. Однако не все они были втянуты в настоящую ссору, которая со стороны клана Хаттан ограничилась областями Пертшир и Инвернесшир, составляющими значительную

¹ То есть Великий Кот Графство Кейтнес, как предполагают, получило свое название по тевтонским поселенцам из племени cattii, и геральдика не преминула в этом случае, следуя своему излюбленному приему, отразить на гербе игру слов «Не тронь кота иначе как в перчатке» — таков девиз Мак-Интоша, намекающий на его герб с изображением горного кота, как мы это видим и ныне у большинства рассеянных племен древнего клана Хаттан (*Прим. автора.*)

часть северо-восточной окраины Горной Страны. Широко известно, что по сей день два больших племени, безусловно принадлежащие к клану Хаттан — Мак-Ферсоны и Мак-Интоши, — спорят о том, которое из них в лице своего вождя возглавляло эту баденохскую ветвь великой конфедерации; оба вождя с давних времен присвоили себе звание главы клана Хаттан. *Non postrum est.*¹ Но, во всяком случае, Баденох, несомненно, входил в конфедерацию, поскольку он был вовлечен в спор, о котором идет наш рассказ.

О втором союзе племен, о клане Кухил, соперничавшем с хаттанами, наши сведения еще менее отчетливы — по причинам, которые выявятся в ходе повествования. Некоторые авторы отождествляют кухиллов с многочисленным и сильным племенем Мак-Кей. Если это делается на достаточном основании (что сомнительно), то мак-кеи должны были после царствования Роберта III переселиться в новые, весьма отдаленные места, тогда как в наше время мы находим их (как клан) на крайнем севере Шотландии, в графствах Росс и Сазерленд.² Итак, мы не можем, как нам хотелось бы, географически точно определить место действия нашего рассказа. Достаточно сказать, что Гловер, направившись на северо-запад, ехал целый день к стране Бредалбейнов, откуда рассчитывал пробраться к укрепленному замку, где глава кухиллов, отец его бывшего ученика Конахара, Гилкрест Мак-Иан, обычно стоял двором, соблюдая во всем варварски пышный этикет, как ему и подобало по его высокому сану.

Не будем останавливаться на трудностях и ужасах путешествия. Дорога пролегла среди гор и пустынных мест, то взбегая по кручам, то заводя в непролазные болота, пересекаемая бурными широкими потоками и даже реками. Но всем этим опасностям Саймон Гловер не раз подвергался и раньше ради честного барыша; не могли бы они, понятно,

¹ Здесь: «Не нам решать» (лат.).

² Их территория, обычно называемая по вождю мак-кеев страню лорда Риза, в недавнее время перешла во владение знатного рода Стаффорд Сазерленд (Прим. автора)

остановить его и сейчас, когда дело шло о его свободе, а может быть, и жизни.

Кого-нибудь другого опасность, грозившая со стороны воинственных и нецивилизованных обитателей дикого края, устрасила бы, верно, не меньше, чем трудности путешествия. Но Саймон был хорошо знаком с языком и нравами горцев, а потому чувствовал себя спокойно и в этом отношении. Кто воззвал к гостеприимству самого дикого гэла, тот никогда не прогадает; и удалец, который при других обстоятельствах без зазрения совести убил бы человека ради серебряной пуговицы с его плаща, останется сам без обеда, чтобы угостить путника, попросившего приюта под кровом его хижины. Разъезжая по Горной Стране, держись правила: надо казаться как можно доверчивее и незащитнее. Следуя этому правилу, Гловер путешествовал безоружный и как будто без всяких мер предосторожности. Позаботился он также, чтобы в его наряде ничто не бросалось в глаза, что могло бы возбудить алчность. Он почитал разумным соблюдать еще и другое правило — избегать общения со случайными попутчиками, ограничиваясь лишь ответом на любезное приветствие, с каким ни один горец не преминет обратиться к путнику. Но не часто приходилось Гловеру обмениваться в дороге даже такими беглыми приветствиями. Местность, всегда пустынная, казалась теперь и вовсе оставленной обитателями; даже в небольших приречных долинах, где случалось ему проезжать, селения стояли брошенными и жители их подались в леса и пещеры. Нетрудно было разгадать причину: усобица, постоянно раздиравшая эту несчастную страну, грозила вот-вот разгореться и повлечь за собой повальные грабежи и разорение.

Это безлюдье начинало тревожить Саймона. После отъезда из Кинфонса он сделал среди дня длительный привал, чтобы дать отдых коню; и теперь его смущал вопрос, как устроиться с ночлегом. Он рассчитывал заночевать в доме старого своего знакомого, Нийла, прозванного Бушаллохом (то есть Волопасом), потому что на него был возложен надзор за стадами и отарами, принадлежавшими вождю кухилов,

и он для верности поселился на берегу Тэя, неподалеку от истока реки, где она покидает озеро того же названия. У этого старого друга и гостеприимца, с которым Гловер издавна вел дела, закупая меха и шкуры, он надеялся разузнать, что творится сейчас в стране, ждут ли здесь мира или войны и какие меры он посоветует ему принять для личной своей безопасности. Напомним читателю: ведь сам король Роберт только за день до побега Гловера из Перта узнал, что постановлено сократить число жертв усобицы, решив ее битвой между малым числом бойцов, и что соглашение о том уже достигнуто; значит, новость еще не успела широко распространиться.

«Если Нийл Бушаллох покинул, как и все они, свое жилище, мне зарез! — думал Саймон. — Я не только не получу доброго совета, но и не знаю, кто обо мне похлопочет перед Гилкристом Мак-Ианом. Мало того — не получить мне тогда ни ночлега, ни ужина».

В таком раздумье въехал он на вершину пологого зеленого холма, и отсюда ему открылся величественный вид на лежавший у его ног Лох-Тэй — огромный пласт полированного серебра, вправленный, как богатое зеркало, в рамку темных вересковых косогоров и еще безлиственных дубовых рощ.

И во всякое-то время безразличный к красотам природы, Саймон Гловер сейчас и вовсе их не замечал; во всем великолепном ландшафте его взгляд привлекала лишь Петля — край поймы, где Тэй, излившись полноводным потоком из своего родимого озера и описав дугу по живописной долине, простершейся на милю в ширину, устремляется в путь на юго-восток, как победитель и законодатель, чтобы покорить и обогатить дальние окраины. В уединенном уголке, так удачно расположенном между озером, горой и рекой, поднялся впоследствии феодальный замок Баллох,¹ а в наши дни встал ему на смену блистательный дворец графов Бредалбейн.

¹ На гэльском языке «баллох» означает место истока реки из озера (*Прим. автора*)

Однако Кэмбелы, хоть они и достигли уже большого могущества в Аргайлшире, еще не проникли тогда на восток до самого Лох-Тэя, берега которого, по праву или в порядке захвата, принадлежали в ту пору кухилам, чьи отборные стада тучнели на приозерных заливных лугах. Потому-то в этой долине, в углу между озером и рекой, среди обширных зарослей дубняка, ореха, рябины и лиственницы, стояла смиренная хижина Нийла Бушаллоха, кельтского Эвмея, чей гостеприимный очаг весело дымился, к великой радости Саймона Гловера, которому иначе пришлось бы заночевать под открытым небом, что его никак не прельщало.

Он подъехал к дверям хижины и, давая знать о своем прибытии, засвистал, потом крикнул. Поднялся лай гончих и овчарок, и вышел наконец из хижины хозяин. Вид у него был озабоченный: казалось, хранитель стад удивился при виде Саймона Гловера, хоть и постарался скрыть и заботу свою и удивление, потому что в этих краях считалось верхом неучтивости, если хозяин дома взглядом или движением даст гостю повод подумать, что приход его неприятен или хотя бы неожидан. Лошадь путника отвели в стойло, оказавшееся для нее низковатым, а самого Гловера пригласили войти в дом Бушаллоха, где, по обычаю страны, перед гостем, покуда состряпают более основательный ужин, поставили хлеб и сыр. Саймон, знавший местный обиход, делал вид, что не замечает печальных лиц хозяина и его домочадцев, пока приличия ради не отведал пищи, после чего он спросил, как принято, какие новости в здешних краях.

— Самые недобрые, — сказал пастух. — Нет больше нашего отца.

— Как! — встревожился Саймон. — Глава клана Кухил умер?

— Глава клана Кухил никогда не умирает, — отвечал Бушаллох, — но Гилкрест Мак-Иэн вчера скончался, и главою теперь его сын — Эхин Мак-Иан.

— Как — Эхин?.. Конахар, мой подмастерье?

— Пожалуйста, поменьше об этом, брат Саймон, — сказал пастух. — Нужно помнить, друг, что твой про-

мысел, очень уважаемый в мирном городе Перте, все же слишком отдает ремеслом, чтобы могли его чтить у подножия Бен-Лоэrsa и на берегах Лох-Тэя. У нас даже нет гэльского слова, которым мы могли бы обозначить мастера, шьющего перчатки.

— Было бы странно, когда бы оно у вас имелось, друг Нийл, — сказал невозмутимо Саймон, — ведь вы и перчаток не носите. Во всем клане Кухил не найдешь другой пары, кроме той, что я сам подарил Гилкристу Мак-Иану — упокой господь его душу! — и он принял их как ценное подношение. Его смерть сильно меня опечалила, ведь я к нему по неотложному делу.

— Так лучше тебе с первым светом повернуть коня обратно к югу, — сказал пастух. — Сейчас начнутся похороны, и обряд не затянется, потому что не далее как на вербное воскресенье предстоит битва между кланами Кухил и Хаттан, по тридцать воинов с каждой стороны. Так что у нас едва достанет времени оплакать усопшего вождя и почтить живого.

— Однако дела мои таковы, что я, хочешь не хочешь, должен повидаться с молодым вождем хоть на четверть часа, — сказал перчаточник.

— Послушай, друг, — возразил хозяин. — Какое у тебя может быть дело? Либо деньги взыскать, либо сделать закупки. Так вот, если вождь что-нибудь должен тебе за прокорм или еще за что, не требуй с него уплаты сейчас, когда племя отдает все, чем богато, чтобы как можно нарядней вооружить своих воинов: ведь когда мы выйдем навстречу этим кичливым горным котам, самый вид наш должен показать, насколько мы выше их. Еще неудачней ты выбрал время, если явился к нам ради торговой сделки. Знаешь, и то уже многие в нашем племени косо смотрят на тебя, потому что ты взрастил нашего молодого вождя: такое почетное дело обычно поручается самым знатым в клане.

— Святая Мария! — воскликнул Гловер. — Надо бы им помнить, что я вовсе не домогался этой чести и она мне оказана была не как милость: я принял на себя это поручение весьма неохотно, после настоячивых просьб и уговоров. Ваш Конахар, Гектор, или как

вы его там зовете, испортил мне ланьих шкур на много шотландских фунтов.

— Ну вот, — сказал Бушаллох, — опять ты молвил слово, которое может стоить тебе жизни. Всякий намек на кожи да шкуры, особенно же на оленьи и ланьи, почитается у нас провинностью — и немалой! Вождь молод и ревнив к своему достоинству, а почему — о том, друг Гловер, ты знаешь лучше всех. Он, понятно, хотел бы, чтобы все, что стояло между ним и его наследственным правом, все, что привело к его изгнанию, забылось теперь навсегда; и едва ли он ласково посмотрит на гостя, если гость напомнит его народу и ему самому то, о чем и вождю и народу не радостно вспоминать. Подумай, как в такой час глянут здесь на старого Гловера из Перта, в чьем доме вождь так долго жил в подмастерьях!.. Так-то, старый друг, просчитался ты! Поспешил приветствовать восходящее солнце, когда его лучи только еще стелются по горизонту. Приходи, когда оно будет высоко стоять на небосклоне, тогда и тебя пригреет его полуденный жар.

— Нийл Бушаллох, — сказал Гловер, — мы с тобой, как ты сам говоришь, старые друзья; и так как я считаю тебя верным другом, откровенно скажу тебе все, хотя мое признание могло бы оказаться губительным, доверься я кому-нибудь другому в твоем клане. Ты думаешь, я пришел сюда искать выгоды подле молодого вождя, и вполне естественно, что ты так думаешь. Но я в мои годы не бросил бы свой мирный угол у очага на Кэрфью-стрит, чтобы погреться в лучах самого яркого солнца, какое светило когда-либо над вереском ваших гор. Истина же в том, что меня привела к вам горькая нужда: мои враги одолели меня, обвинили меня в таком, о чем я и помыслить не посмел бы! Против меня, как видно, вынесут приговор, и передо мною встал выбор: собраться и бежать или же остаться и погибнуть. Я пришел к вашему молодому вождю как к тому, кто сам в беде нашел у меня приют, к тому, кто ел мой хлеб и пил со мною из одной чаши. Я прошу у него убежища в надежде, что оно мне понадобится не на долгий срок.

— Это другое дело, — ответил пастух. — Совсем другое! Когда бы ты постучался в полночный час к Мак-Иану, держа в руках отрубленную голову шотландского короля, а по пятам за тобой гналась бы тысяча человек, чтоб отомстить за королевскую кровь, — я думаю, даже и тогда наш вождь почел бы долгом чести взять тебя под свою защиту. А виновен ты или безвиновен, к делу не относится... Или даже скажу: будь ты виновен, тем больше был бы он обязан тебя укрыть, потому что в этом случае и твоя в нем нужда и опасность для него возросли бы. Пойду прямо к вождю — и поскорее, пока ничей поспешный язык не сказал ему вперед меня о том, что ты прибыл, да не добавил бы, по какой причине.

— Уж ты извини меня за беспокойство, — сказал Гловер. — А где сейчас вождь?

— Он стоит двором в десяти милях отсюда и занят сейчас погребальными хлопотами и подготовкой к бою: мертвому — в могилу, живым — в сражение!

— Путь не близкий. Туда да назад — на это уйдет вся ночь, — сказал Гловер. — Но я уверен, когда Конахар услышит, что это я...

— Забудь Конахара, — сказал пастух, приложив палец к губам. — А пробежать десять миль для горца — что один прыжок, если нужно принести весть от своего друга своему вождю.

Сказав это и поручив путника заботам старшего сына и дочери, быстроногий пастух покинул свой дом за два часа до полуночи и вернулся задолго до рассвета. Он не стал беспокоить усталого гостя, но, когда старик встал поутру, сообщил ему, что вождя хоронят в этот же день и что Эхин Мак-Иан хоть и не может пригласить сакса на похороны, однако будет рад видеть его на трапезе, которая последует за погребением.

— Повинуюсь его воле, — сказал Гловер, чуть улыбнувшись при мысли о перемене отношений между ним и его бывшим подмастерьем. — Теперь он стал мастером — и, надеюсь, не забудет, что, когда дело между нами обстояло иначе, я не слишком злоупотреблял своими правами.

— Ты так думаешь, друг? — вскричал Бушал-лох. — Чем меньше ты будешь об этом говорить, тем лучше. Увидишь, Эхин и впрямь примет тебя как желанного гостя. И тот не человек, а дьявол, кто посмеет обидеть тебя на его земле... Однако прощай, ибо я должен, как мне положено, присутствовать на похоронах лучшего вождя, какой стоял когда-либо во главе клана, и самого мудрого предводителя, когда-либо носившего на шапке ветвь душистого восковника. Прощаюсь с тобой ненадолго, и, если ты подынешься на Том-ан-Лонах — холм, что позади моего дома, — ты увидишь красивое зрелище и такой услышишь коронах, что он донесется до вершины Бен-Лоэrsa. Через три часа тебя будет ждать лодка в малом заливчике, в полумиле к западу от истока Тэя.

С этими словами он пустился в дорогу со своими детьми — тремя сыновьями и двумя дочерьми. Сыновьям предстояло грести в той лодке, на которой Нийл должен был присоединиться ко всем, кто провожал вождя в последний путь, дочерям — вплести свои голоса в погребальный плач, какой неизменно пелся — или, скорее, выкрикивался — в дни всенародного горя.

Оставшись один, Саймон Гловер зашел в стойло приглядеть за своим конем, которому, как он увидел, не пожалели граддана — хлеба из пережаренного ячменя. Он был до глубины души растроган таким вниманием, понимая, что в хозяйстве и для людей-то осталось, наверно, лишь скудный запас этого лакомства, — едва ли семья дотянет с ним до нового урожая. Мясом народ был обеспечен вдосталь, и озеро в изобилии поставляло рыбу на время постов, соблюдавшихся у горцев не слишком строго, но в хлебе Верхняя Шотландия всегда ощущала недостаток, и он здесь был дорогим угощением. На болотах росла мягкая и сочная трава — лучшей и не пожелаешь, — но лошади Нижней Шотландии, как и те, кого они возили на себе, привыкли к хлебному корму. Для Перчатки (так называл Гловер своего верхового коня) не пожалели на подстилку сухого папоротника — полное

стойло набили; да и в остальном лошадь была так ухожена, как только можно было ждать от гэльского гостеприимства.

Когда Саймон Гловер уверился, что его бессловесный спутник отлично устроен, ничего лучшего он не нашел, как, предавшись горьким своим думам, последовать совету пастуха. Неторопливо поднимаясь на холм, именуемый Том-ан-Лонах (Холм тисовых деревьев), он через полчаса добрался до вершины и мог теперь обозреть с высоты весь широкий простор озера. Несколько высоких старых тисов, разбросанных по склонам, еще оправдывали название, данное этому красивому зеленому холму. Но куда большее число их пало жертвой постоянной нужды в луках в тот воинственный век. Этот вид оружия был у горцев в большом ходу, хотя они и самый лук и стрелы свои выделяли далеко не так изящно, как лучники веселой Англии, превосходившие их и меткостью стрельбы. Отдельные хмурые тисы, стоявшие вразброс, напоминали ветеранов разбитого войска, которые, уже не соблюдая строя, заняли выгодную позицию в суровом решении стоять насмерть. За этим холмом, но отделенный от него ложбиной, поднимался другой, более высокий и местами одетый лесом, местами же усталый зеленью пастбищ, где бродил скот, выискивая в эту раннюю пору года скудное пропитание у истоков горных ручьев и по заболоченным луговинам, где раньше, чем повсюду, начинает прорастать свежая трава.

Противоположный, то есть северный, берег озера был куда гористей, чем тот, откуда глядел Гловер. Леса и заросли кустов взбегали по склонам и ныряли в извилистые лощины, пересекавшие их; выше, там, где кончалась полоса относительно плодородной почвы, голые и бурые, громоздились горы в сером сумрачном запустении, присущем поре между зимой и весной.

Горы вставали одни острым пиком, другие широким гребнем; одни высились скалистой кручей, другие имели более мягкие очертания; а над кланом исполинов, казалось, верховенствовали прирожденные

вожди — угрюмый Бен-Лоэрс и высоко подымавшаяся даже и над ним громада Бен-Мора, чьи островерхие пики чуть ли не до середины лета, а иногда и круглый год сверкали снежными шлемами. Однако по границе дикой и лесистой местности, там, где горы спускаются к озеру, многое даже и сейчас, в предвесенние дни, говорило о присутствии человека. Больше всего селений можно было видеть на северном берегу озера. Укрытые наполовину в небольших ложбинах, откуда переполненные ручьи несли свои воды в Лох-Тэй, эти селения, как многое на земле, пленяли издали глаз, но, когда вы подходили ближе, оказывались крайне неприглядными — поражало отсутствие самых жалких удобств, каких не лишен даже индейский вигвам. Здесь проживал народ, не возделывавший землю и не помышлявший о тех радостях, какими нас тешит промышленность. Вся необходимая домашняя работа возлагалась на женщину, хотя, вообще говоря, с женщиной обходились любезно, даже с изысканной почтительностью. Мужчины же брали на себя только присмотр за мелким скотом, составлявшим все богатство семьи, и лишь редко пускали в дело неуклюжий плуг, а чаще лопату, работая ею лениво, нехотя, полагая труд пахаря унижительным для своего достоинства. В короткие периоды мира они все свое время отдавали охоте и рыбной ловле, развлекаясь притом разбоем: беззастенчиво грабить, а во время войны, общенародной или местной, ведущейся то в широких, то в ограниченных рамках, яростно и вдохновенно биться — вот что составляло истинное содержание их жизни и представлялось им единственным занятием, подобающим мужчине.

Великолепен был вид на само озеро. Его горделивому плесу, переходившему в красивую реку, придавал особенную живописность один из тех островков, какие мы нередко видим так удачно расположенными посредине шотландских озер. Развалины на этом островке, ныне почти бесформенные под густою порослью леса, поднимались в дни нашей повести баш-

нями и бельведерами аббатства, где покоились останки Сибиллы, дочери Генриха I Английского и супруги Александра I Шотландского. Это святое место почли достойным принять также и прах главы клана Ку-хил — хотя бы на то время, пока не минет непосредственная опасность и можно будет переправить тело в один почтенный монастырь на севере, где вождю преуказано было судьбой мирно почивать бок о бок со своими предками.

Множество челнов отчаливало в разных местах от ближнего и дальнего берега, иные — под черными знаменами, другие — с волынщиками на носу, которые время от времени издавали пронзительные, жалобные, протяжные звуки, дававшие Гловеру знать, что обряд вот-вот начнется. Эти заунывные звуки были не более как пробой инструментов — вскоре за нею должен был подняться всеобщий плач.

Далекий отголосок донесся с озера или, как показалось, из дальних и глухих лощин, откуда впадают в Лох-Тэй реки Дохарт и Лохи. В диком и неприступном месте, там, где в более позднее время Кэмбелы основали свой оплот — крепость Финлейригг, — скончался грозный повелитель кухилов; и, чтобы придать погребению должную торжественность, его тело решено было переправить по озеру на остров, назначенный ему временно местом упокоения. Погребальный флот с ладьей вождя во главе, над которой развевалось огромное черное знамя, прошел уже более двух третей своего пути, прежде чем стал виден с того возвышения, откуда Саймон Гловер следил за церемониями. В то мгновение, когда вдали раздался вопль плакальщиков с погребальной ладьи, все другие плачи сразу смолкли, как ворон прерывает свое карканье и ястреб — свой свист, едва послышится клекот орла. Лодки, сновавшие взад и вперед и рассыпавшиеся, точно стая уток, по глади озера, теперь стянулись в строгим порядке, давая проход погребальной флотилии и занимая каждая положенное ей место. Между тем пронзительное пение боевых волынок становилось громче и громче, и крики с бесчисленных челнов, следовавших за ладьей под черным знаменем

вождя, поднимались, слившись в дикий хор, к Том-ан-Лонаху, откуда Гловер наблюдал эту картину. Ладья, возглавлявшая процессию, несла на корме особый помост, на котором, убранный в белый холст, но с непокрытым лицом, возлежало тело усопшего вождя. Его сын и ближайшие родственники теснились на этой ладье, а следом шли бесчисленные суденышки всех родов, какие только оказалось возможным собрать по самому Лох-Тэю и притащить волоком по сухопутью с Лох-Ирна и отовсюду, — иные из очень ненадежного материала. Здесь были даже курраги, сделанные из воловьих шкур, натянутых на ивовый каркас, — нечто вроде древнебританских лодок. Многие прибыли даже на плотях, связанных нарочно для этого случая из чего пришлось и кое-как, так что представлялось вполне вероятным, что иные из сородичей покойного еще до окончания проводов отправятся в царство духов, чтобы там услужать своему вождю.

Когда с меньшей группы челнов, стянувшихся к краю озера в стороне от островка, увидели главную флотилию, гребцы принялись окликать друг друга таким дружным и громким плачем, с такими протяжными и странными каденциями, что не только испуганные олени из всех лошин на много миль вокруг бросились искать прибежища далеко в горах, но и домашний скот, привычный к человеческому голосу, был охвачен тем же страхом и, подобно своим диким сородичам, устремился с пастбищ в болота и дебри.

На эти звуки стали выходить из монастыря, изпод низкого его портала, иноки, обитатели островка, неся распятие, хоругвь и все дароносицы, какие имелись у них; одновременно загревели над озером все три колокола, гордость обители, и похоронный звон докатился до слуха смолкшей толпы, сливаясь с торжественным католическим гимном, который запели иноки, начав крестный ход. Один за другим вершились всевозможные обряды, покуда родственники выносили тело на берег и, сложив на песчаной косе, издавна посвященной этой цели, творили вокруг усоп-

него деасил.¹ Когда тело подняли, чтобы отнести его в церковь, из собравшейся толпы вырвался новый многоголосый вопль, в котором низкие голоса воинов и звонкий женский стон сплетались со срывающимися возгласами стариков и захлебывающимся плачем детей. И снова — в последний раз — прокричали коронах, когда тело вносили в глубину храма, куда допустили проследовать только самых близких родственников покойного и наиболее видных предводителей клана. Последний скорбный вопль был так чудовишно громок и подхвачен таким стократным эхом, что Гловер непроизвольно поднял руки к ушам, чтобы не слышать или хотя бы заглушить этот пронзительный звук. Он все стоял, зажав уши, когда ястребы, совы и другие птицы, всполошенные бешеным визгом, уже почти успокоились в своих гнездах. Вдруг, едва он отнял руки, чей-то голос рядом с ним сказал:

— Как по-вашему, Саймон Гловер, под такой ли гимн покаяния и хвалы подобает жалкому, потерянному человеку, исторгнутому из бренного праха, в котором пребывал он, предстать пред своим творцом?

Гловер обернулся и в белобородом старике, стоявшем рядом с ним, без труда узнал по ясным и кротким глазам и доброму лицу отца Климента, монаха-картезианца, хотя вместо иноческой одежды проповедник был закутан в грубошерстный плащ, а голову его покрывала шапочка горца.

Вспомним, что Гловер относился к этому человеку с уважением и вместе с тем — с неприязнью: ибо монаха нельзя было не уважать за его личные свойства и душевный склад; неприязнь же порождалась тем, что еретическая проповедь отца Климента явилась причиной изгнания его дочери и его собственных бед. Поэтому отнюдь не с чувством чистосердечной радости ответил он на поклон отца Климента,

¹ Очень древний обряд, заключающийся в том, что близкие трижды проходяг вокруг тела усопшего или вокруг живого человека, призывая на него благословение Деасил следует совершать посолонь, то есть двигаясь справа налево. Если накликают проклятие, то движутся против солнца — слева направо (*Прим. автора*)

а когда монах повторил свой вопрос, каково его мнение об этих диких погребальных обрядах, проворчал:

— Да не знаю, мой добрый отец. Во всяком случае, эти люди исполняют свой долг перед покойным вождем сообразно с обычаями их предков: они выражают, как умеют, сожаление об утрате друга и возносят по-своему молитву о нем к небесам. А что создается от чистой души, то, по моему разумению, должно быть принято благосклонно. Будь это иначе, небо, думается мне, давно просветило бы их и научило делать по-другому.

— Ты ошибаешься, — ответил монах. — Правда, бог послал свой свет всем нам, хотя и не в равной мере; но люди нарочно закрывают глаза и свету предпочитают мрак. Этот народ, пребывая во тьме, пришеивает к ритуалу римско-католической церкви древнейшие обряды своих отцов и, таким образом, к мерзости церкви, развращенной богатством и властью, добавляет жестокость и кровавый обычай диких язычников.

— Отец, — отрезал Саймон, — по-моему, ваше присутствие будет полезнее там, в часовне, где вы сможете помочь вашим братьям в отправлении церковной службы. Это лучше, нежели смущать и расшатывать веру такого, как я, смиренного, хотя и невежественного христианина.

— А почему ты говоришь, мой добрый брат, что я потрясаю основы твоей веры? — отвечал Климент. — Я предался небесам, и, если нужна моя кровь, чтобы укрепить человека в святой вере, которую он исповедует, я, не колеблясь, отдам ее всю ради этой великой цели.

— Ты говоришь от души, отец, не сомневаюсь, — сказал Гловер. — Но если судить об учении по его плодам, то, по-видимому, небо покарало меня рукою церкви за то, что я внимал ложному учению. Пока я не слушал тебя, ничто не смущало моего исповедника, хотя бы я и признавался ему, что рассказал приятелям за кружкой пива какую-нибудь веселую историю, пусть даже про инока или монашку. Если случилось мне сказать, что отец Губерт больше успе-

вает в охоте за зайцами, чем за человеческими душами, я, бывало, исповедаюсь в этом викарию Вайнсофу, а он посмеется и во искупление греха заставит меня кое-что заплатить... Когда же мне случалось обмолвиться, что викарий Вайнсоф больше привержен чарке, чем своему молитвеннику, я исповедовался в том отцу Губерту, и новая пара перчаток для соколиной охоты все улаживала. Таким образом, я, моя совесть и добрая наша мать церковь жили в добром мире, дружбе и взаимной терпимости. Но с тех пор как я слушаю вас, отец Климент, это доброе согласие пошло прахом, и мне непрестанно угрожают чистилищем на том свете и костром на этом. А потому держитесь-ка вы особняком, отец Климент, или разговаривайте только с теми, кто может понять ваше учение. У меня не хватит духу стать мучеником: я никогда в жизни не мог набраться храбрости даже на то, чтобы снять пальцами нагар со свечи; и, сказать по правде, я намерен вернуться в Перт, испросить прощения в церковном суде, отнести свою вязанку дров к подножию виселицы в знак покаяния и снова купить себе имя доброго католика, хотя бы ценой всего земного богатства, какое у меня еще осталось.

— Ты гневаешься, дорогой мой брат, — сказал Климент. — Тебе пригрозили кое-чем на этом бренном свете, маленькой земной потерей, и ты уже раскаиваешься в добрых мыслях, которых когда-то держался.

— Вам, отец Климент, легко так говорить, потому что вы, наверно, давно отреклись от земных благ и богатств и приготовились, когда потребуется, положить свою жизнь за то учение, которое проповедуете, в которое уверовали. Вы готовы спокойно надеть на себя просмоленную рубаху и колпак из серы, как другой спокойно лег бы голым в постель, — и, кажется, такой обряд был бы вам не так уж неприятен. А я все еще хожу в том, что мне больше пристало. Мое богатство пока еще при мне, и, слава богу, оно позволяет мне жить приличным образом... Мне только шестьдесят лет, и, скажу не хвастая, я крепкий старик и вовсе не спешу расстаться с жизнью... Но будь

я даже беден, как Иов, и стой я на краю могилы, разве и тогда я не должен был бы заботиться о своей дочери, которой уже и так слишком дорого стоили ваши наставления?

— Твою дочь, друг Саймон, — сказал монах, — можно вонстину назвать ангелом небесным на земле.

— Да! И, слушая ваши наставления, отец, она скоро сможет назваться ангелом в небесах — и вознесется она туда на огненной колеснице.

— Мой добрый брат, — сказал Климент, — прошу тебя, не говори о том, в чем ты мало смыслишь. Показывать тебе свет, который тебя только раздражает, — бесполезное дело; но послушай, что я скажу тебе о твоей дочери, чье земное счастье (хоть я ни на миг не приравняю его к благам духовным) по-своему все же дорого Клименту Блэру не менее, чем ее родному отцу.

Слезы стояли в глазах старика, когда он это говорил, и Саймон Гловер смягчился.

— Тебя, отец Климент, — обратился он к монаху, — можно почесть самым добрым, самым ласковым человеком на свете; как же получается, что, куда бы ты ни обратил свои стопы, везде тебя преследует общая неприязнь? Голову дам на отсечение, что ты уже умудрился обидеть эту горсточку бедных иноков в их клетке посреди воды и что тебе запрещено принять участие в заупокойной службе.

— Ты не ошибся, мой сын, — сказал картезианец, — и боюсь, их злоба изгонит меня из этой страны. Я всего лишь назвал суеверием и неразумием то, что они отправляются в церковь святого Филлана, чтобы разоблачить вора посредством ее колоколов, что они купают умалишенных в луже среди церковного двора, чтобы излечить душевную болезнь, — и что же? Гонители вышвырнули меня из своей общины, как не замедлят согнать и с лица земли.

— Эх, горе, горе, ну что за человек! — сказал Гловер. — Сколько его ни предостерегай, все напрасно! Но знаете, отец Климент, меня люди не вышвырнут, а если уж вышвырнут, так разве за то, что якшаюсь с вами. А потому прошу вас, скажите мне, что вы хо-

тели, касательно моей дочери, и будем впредь держаться друг от друга подальше.

— Вот что, брат Саймон, хотел я тебе сообщить. Юный вождь упоен сознанием своего величия и власти, но есть на свете нечто, что ему дороже всего: твоя дочь.

— Как, Конахар?! — воскликнул Саймон. — Мой беглый подмастерье посмел поднять глаза на мою дочь?

— Увы! — ответил Климент. — Тесно обвила нас земная гордость, никнет к нам цепко, точно плющ к стене, и ее не оторвешь! Смеет поднять глаза на твою дочь, добрый Саймон? Если бы так! Но нет, со своей высоты и с той высоты, которой он полагает достичь, вождь клана Кухил может взирать лишь сверху вниз на дочь пертского ремесленника и думает, что, глядя на нее, он унижает себя. Однако, говоря его собственными кощунственными словами, Кэтрин ему дороже жизни земной и рая небесного, без нее он и жить не может.

— Так пусть помирает, коли ему угодно, — сказал Саймон Гловер, — потому что она обручена с честным горожанином Перта, и я не нарушу слова даже для того, чтобы отдать свою дочь в жены принцу Шотландскому.

— Такого ответа я и ждал от тебя, — возразил монах. — Хотел бы я, мой достойный друг, чтобы ты и в духовные свои заботы внес хотя бы часть того смелого и решительного духа, с каким ты ведешь свои земные дела.

— Тише, отец Климент! Молчок! — ответил Гловер. — Когда вы пускаетесь в такие рассуждения, от слов ваших пахнет кипящей смолой, а мне этот запах не по вкусу. Что касается Кэтрин, так уж я управляюсь как умею, чтобы не слишком раздосадовать молодого вельможу: сейчас, на мое счастье, ему до нее не дотянуться.

— Значит, она поистине далеко! — сказал монах. — А теперь, брат Саймон, раз ты считаешь опасным для себя общаться со мной и внимать моей проповеди, я должен уйти один со своим учением и той опасно-

стью, которую оно на меня навлекает. Но если когда-нибудь твои глаза, не столь ослепленные, как ныне, земными страхами и упованиями, вновь обратятся на того, кто, быть может, скоро будет похищен от вас, — вспомни тогда, что не что другое, как глубокая любовь к истине и преданность учению, которое он проповедовал, внушало Клименту Блэру не только твердо сносить, но и нарочно вызывать гнев могущественных и закоснелых, возбуждать тревогу и страх в завистливых и робких, шагать по земле так, как будто он на ней не жилец, и заслужить от людей имя безумца за то, что он старался как мог вербовать души богу. Видит небо, я был бы рад идти путями закона, жить в мире с ближними, снискав их любовь и сочувствие. Не легкая это вещь, если достойные люди отшатываются от тебя как от зачумленного; если преследуют тебя современные фарисеи, как неверующего еретика; если с ужасом и презрением взирает на тебя толпа, видя в тебе безумца, который может оказаться опасным. Но пусть все эти беды умножатся во сто крат — огонь, горящий в душе, не будет заглушен! Некий голос во мне приказывает: «Говори!» — и я должен повиноваться. Горе да падет на мою голову, если не стану я проповедовать слово божье, хотя бы я должен был возвестить его напоследок из огненного костра!

Так говорил этот смелый обличитель, один из тех, кому время от времени небо давало родиться на свет, чтобы проповедь неизвращенного христианства сохранялась живой даже в самые невежественные века и была донесена до последующих — от апостольских времен до той поры, когда, поддержанная изобретением книгопечатания, развернулась во всем блеске Реформация. Гловер узрел все убожество своего эгоизма; и он сам себе показался достойным презрения, когда увидел, как картезианец, самоотверженный и просветленный, отвернулся от него. И даже было мгновение, когда ему захотелось последовать примеру проповедника, его бескорыстному человеколюбию. Но желание это промелькнуло, как вспышка молнии под темным небосводом, где не на

что упасть ее огню; и он медленно побрел вниз по склону холма — не в ту сторону, куда монах, — забыв его и его проповедь и с тревогой гадая, что еще уготовила судьба его дочери и ему самому.

Глава XXVIII

Чем рок завоевателей пленил?
Пустой хвалой продажных летописцев?
Богатством новым? Мрамором могил?
Их душами владел неукротимый пыл.

Байрон¹

Когда завершились погребальные обряды, та же флотилия, которая недавно величаво-скорбным строем проплыла по озеру, теперь приготовилась возвратиться под развернутыми знаменами, выказывая всем, чем только можно, радость и веселье, ибо оставалось совсем мало времени для праздничных торжеств и надвигался срок, когда должен был разрешиться в бою нескончаемый спор между кланом Кухил и его самыми грозными соперниками. Было постановлено поэтому, что тризна по усопшему вождю сольется с традиционным пиром в честь его молодого преемника.

Некоторые возражали против такого распорядка, усматривая в нем дурное предзнаменование. Но, с другой стороны, он в каком-то смысле освящался всем строем чувств и обычаем горцев, которые по сей день склонны примешивать некоторую дозу торжественного веселья к своей скорби и нечто сходное с грустью — к своему веселью. Обычная боязнь говорить или думать о тех, кого мы любили и утратили, мало свойственна этому вдумчивому и вдохновенному племени. Среди горцев вы не только услышите, как молодые (это принято повсюду) охотно заводят речь о достоинствах и доброй славе родителей, которые по естественному ходу вещей умерли раньше их: здесь овдовевшие супруги в обыденной беседе то и дело

¹ Перевод Д. Самойлова.

поминают утраченного мужа и жену, и, что еще необычайней, родители часто говорят о красоте или доблести своих похороненных детей. По-видимому, в отличие от других народов, шотландские горцы не смотрят на разлуку с друзьями, похищенными смертью, как на нечто окончательное и безнадежное, и о дорогих и близких, раньше их сошедших в могилу, говорят в таком тоне, точно те отправились в дальнее странствие, в которое они и сами должны будут вскоре пуститься вслед за ними. Таким образом, в глазах пирующих не могло быть ничего оскорбительного для соблюдаемого всей Шотландией древнего обычая тризны, если в настоящем случае ее соединили с празднеством в честь юного вождя, наследующего своему отцу.

Та самая ладья, которая только что доставила мертвеца к могиле, теперь несла молодого Мак-Иана к его новому, высокому назначению; и менестрели приветствовали Эхина самыми веселыми напевами, как недавно самым скорбным плачем провожали в могилу прах Гилкрита. Со всех челнов неслась радостно-торжественная музыка на смену воплю горести, так недавно будившему эхо на берегах Лох-Тэя; и тысячи голосов возглашали славу юному вождю, когда стоял он на корме, вооруженный с головы до пят, в цвете первой возмужалости, ловкости и красоты — на том самом месте, где так недавно возлежало тело его отца, окруженный ликующими друзьями, как тот был окружен неутешными плакальщицами. Один из челнов сопровождающей флотилии держался борт о борт с почетной ладьей. Его вел за кормчего Торквил из Дубровы, седой исполин; на веслах сидели восемь его сыновей — каждый выше обычного человеческого роста. Как любимый пес, могучий волкодав, игриво скачет, спущенный со своры, вокруг благодушного хозяина, так челн названных братьев скользил мимо барки вождя, то с одного борта, то с другого, и даже вился вокруг нее, словно в радости, бьющей через край. В то же время в ревливой бдительности волкодава, с которым мы их только что сравнили, они не давали ни одной лодке беспрепятственно приблизиться

к судну вождя, так как их челнок неминуемо наско-чил бы на нее в своем бешеном кружении. Их на-званный брат стал главою клана, и теперь, возвысив-шись вместе с ним, они этим бурным и отчаянным способом выказывали свое торжество.

Далеко позади и совсем с другими чувствами в сердцах пловцов — или по меньшей мере одного из них — шла маленькая лодочка, в которой Бушаллох с сыном везли Саймона Гловера.

— Если наш путь лежит к тому концу озера, — сказал Саймон приятелю, — то нам туда добираться не час и не два.

Но только он это сказал, гребцы в челне лейхта-хов,¹ названных братьев вождя, по сигналу с барки сложили весла и, дав суденышку Бушаллоха порав-няться с их собственным, перебросили ему на борт длинный ремень, который Нийл тут же закрепил на носу своего челна; тогда лейхтахи вновь налегли на весла и, хотя вели теперь на буксире еще и малую лодочку, понеслись по озеру с прежней почти быстро-той. Буксир мчался так стремительно, что лодочка, казалось, вот-вот перевернется или развалится на куски.

Саймон Гловер следил в беспокойстве за отчаян-ными маневрами. Временами борта лодчонки так глу-боко уходили в воду, что только дюйма на два высо-вывались над ее поверхностью; и хотя друг его Нийл Бушаллох уверял, что все это делается в знак особо-го почета, горожанин молился в душе, чтобы плава-ние кончилось благополучно. Его желание исполни-лось — и куда быстрее, чем он смел надеяться, потому что празднеству назначено было происходить в каких-нибудь четырех милях от острова погребения. Это место избрали в угоду молодому вождю, так как сразу после пира Эхин должен был пуститься в путь, направляясь на юго-восток.

У южного залива Лох-Тэя красиво сверкала пес-чаная отмель, где могли удобно причалить суда; а на сухой луговине за отмелью, уже по-вешнему зеленой

¹ То есть телохранителей (Прим. автора.)

и огороженной с трех сторон лесистыми косогорами, шли усердные приготовления к приему гостей.

Горцы, которые недаром славятся умелыми плотниками, построили для пиршества длинную беседку, или лесной павильон, где могли разместиться человек двести, а вокруг, назначенные, видимо, под спальни, теснились во множестве небольшие хибарки. Колоннами, балками и стропилами этого временного пиршественного зала служили стволы горных сосен, еще покрытые корой. С боков проложили перекладки из того же материала и все это перевили зелеными ветвями елей и других хвойных деревьев, которых росло достаточно в ближних лесах, в то время как окрестные холмы доставили в изобилии вереск, чтобы выстлать им крышу. В этот лесной дворец были приглашены на пиршество наиболее важные из гостей. Другие, менее значительные, должны были пировать под многообразными навесами, построенными не столь рачительно; а еловые стволы, сколоченные наспех и расставленные под открытым небом, предназначались для прочего бесчисленного люда. Вдалеке были видны костры, в которых рдел древесный уголь или пылали дрова, а вокруг них несчетные повара трудились, хлопотали и злобились, как бесы, работающие в своей природной стихии. Ямы, вырытые на склоне холма и выложенные раскаленным камнем, служили печам, в которых тушились в огромном количестве говядина, баранина и дичь; ягнята и козлята целными тушами висели над огнем на деревянных вертелах или же, рассеченные на части по суставам, томились, как в котле, в мешках из их собственной шкуры, наспех сшитых и наполненных водою, в то время как всяческая рыба — щука, форель, лосось, хариус — жарилась более сложным способом, в горячей золе. Гловеру доводилось видеть пиры в Горной Стране, но ни для одного угощение не изготавлялось в таком варварском изобилии.

Горожанину, однако, не дали времени подивиться на окружающее зрелище. Едва они причалили у отмели, Бушаллох заметил в некотором смущении, что, поскольку их не пригласили в павильон (на что он,

как видно, рассчитывал), не мешает им обеспечить себе места в одной из беседок поплотнее; и он повел было друга к этим строениям, когда его остановил один из телохранителей вождя, исправляющий, видимо, обязанности церемониймейстера, и что-то шепнул ему на ухо.

— Я так и думал, — вздохнул с облегчением пастух, — так я и думал, что ни чужеземный гость, ни человек, исполняющий такую задачу, какая возложена на меня, не будут обойдены приглашением к столу почета.

Итак, их повели в обширную беседку, уставленную длинными рядами столов, уже почти занятых гостями, в то время как те, кто изображал собою слуг, расставляли по столам обильные, но грубые яства. Юный вождь, хоть и видел, конечно, как вошли Гловер с пастухом, не обратился с особливым приветствием ни к тому, ни к другому, и места указали им в дальнем углу, много ниже солонки (огромной посуды старинного серебра) — единственной ценной вещи, украшавшей стол, вещи, в которой клан видел своего рода палладиум, извлекаемый и употребляемый только в таких, как сейчас, особо торжественных случаях.

Бушаллох, несколько раздосадованный, пробурчал Саймону, когда тот садился, что, мол, времена пошли другие, приятель. У его отца, упокой господь его душу, нашлось бы для каждого из них ласковое слово. Но этим дурным манерам молодой вождь научился среди вас, сассенахов, в Низине!

На такое замечание Гловер не почел нужным возразить; вместо того он стал внимательно рассматривать ветви хвои и еще внимательней — шкуры животных и прочие украшения, в которые убран был изнутри павильон. Самым примечательным было здесь множество доспехов — гэльские кольчуги и к каждой по стальному шлему, боевой секире и двуручному мечу, — занимавших верхний конец помещения; их еще дополняли щиты с дорогой и обильной отделкой. Каждая кольчуга висела поверх отлично выделанной

оленьей шкуры, которая выгодно ее оттеняла, в то же время оберегая от сырости.

— Это оружие для избранных воинов клана Ку-хил, — шепнул Бушаллох. — Здесь, как ты видишь, двадцать девять наборов; тридцатым бойцом выступает сам Эхин, облачившийся сегодня в свои доспехи, а то здесь висели бы все тридцать наборов. Впрочем, панцирь на нем не так хорош, как нужно бы к вербному воскресенью. А вот эти девять панцирей, огромнейшие, они для лейхтахов, на которых вся наша надежда!

— А эти чудесные олени шкуры, — сказал Саймон, в котором при виде добротного сырья заговорил мастер своего дела, — как ты полагаешь, не согласится ли вождь отдать их по сходной цене? На них большой спрос — идут на фуфайки, которые рыцари надевают под панцирь.

— Разве не просил я тебя, — сказал Нийл Бушаллох, — не заводить речь об этом предмете!

— Так я же говорю о кольчугах, — стал оправдываться Саймон. — Разреши спросить, не сделана ли хоть одна из них нашим знаменитым пертским оружейником, по имени Генри из Уинда?

— Час от часу не легче! — сказал Нийл. — Для Эхина имя этого человека — что вихрь для озера, — сразу возмутит. Хотя никто не знает почему.

«Я-то догадываюсь!» — подумал наш перчаточник, но не выдал своего помысла и, дважды натолкнувшись в беседе на неприятный предмет, не стал пускаться в новый разговор, а приналег, как все вокруг, на еду.

Из рассказанного нами о приготовлениях к пиру читатель легко заключит, что угощение было самое грубое. Его основу составляло мясо, которое накладывалось большими кусками и поедалось, невзирая на великий пост, — даром что стол освятили своим присутствием несколько иноков из монастыря на острове. Тарелки были деревянные, равно как и перехваченные обручами коги, то есть чаши, из которых гости пили крепкие напитки, а также брот, или мясной сок, считавшийся изысканным лакомством. Немало

подавалось и молочных блюд, которым отдавали должное — причем их ели из той же посуды. Скуднее всего пиршество было хлебом, но Гловеру и его покровителю Нийлу подали каждому по два небольших каравая. За едою, как, впрочем, и по всей Британии, гости применяли свои скины, то есть ножи или длинные и острые кинжалы, нисколько не смущаясь мыслью, что при случае эти же ножи и кинжалы служили совсем иным, отнюдь не мирным целям.

У верхнего конца стола, возвышаясь ступени на три над полом, стояло пустое кресло. Над ним был устроен балдахин, точнее — навес, из голых сучьев и плюща, а на сиденье лежали меч в ножнах и свернутое знамя. Это было кресло покойного вождя, и в его честь оно оставалось незанятым. Эхин сидел в кресле пониже, справа от почетного места.

Читатель сильно ошибется, если из этого описания сделает вывод, что гости вели себя как стая голодных волков и жадно набросились на пиршественную еду, так редко им предлагаемую. Напротив, в клане Кухил все вели себя с той учтивой сдержанностью и вниманием к нуждам соседа, какие мы часто наблюдаем у первобытных народов, особенно в тех странах, где люди всегда при оружии, — ибо всеобщее соблюдение правил учтивости тем более необходимо там, где могут легко произойти ссора, кровопролитие, убийство. Гости занимали места, указываемые им Торквилом из Дубровы, который, исполняя роль маршала-таха, то есть кравчего, безмолвно касался белым посохом того места, которое каждому надлежало занять. Разместившись по чину, гости терпеливо ждали полагавшейся им порции, так как еда распределялась среди них лейхтахом; самые храбрые мужи или наиболее заслуженные воины клана получали двойную порцию, которая носила особое название — *биефир*, то есть «порция мужа». Когда подававшие увидели, что обслужили всех, они и сами сели за стол на назначенные им места, и каждому из них была подана эта увеличенная порция мяса. Вода стояла так, что каждый мог легко до нее дотянуться, а

салфетку заменял кусочек мягкого мха: здесь, как на восточных пирах, при смене блюд непременно омывались руки. Чтобы развлечь гостей, встал бард и вознес хвалу покойному вождю, высказав надежду кухилов, что его добродетели вновь расцветут в молодом его сыне и преемнике. Затем торжественно прочли родословную племени, которая возводилась к роду Далприадов. В зале играли арфисты, а за его стенами народ веселился под пение боевых волюнок. Разговор среди гостей велся степенно, вполголоса, очень учтиво, никто не позволял себе насмешки, разве что легкую шутку, рассчитанную лишь на то, чтобы вызвать мимолетную улыбку. Никто не возвышал голоса, не слышно было ревнивого спора; Саймону Гловеру доводилось слышать в сто раз больше шума на гильдейских трапезах в Перте, чем в этом павильоне, где пировали двести диких горцев.

Даже напитки, казалось, не побудили пирующих нарушить чин и порядок. Напитков было много, и самых разных. Меньше всего вина, которое подавалось только особо почетным гостям, в чье число вновь оказался включен Саймон Гловер. В самом деле, вино и два пшеничных хлебца были единственным знаком внимания, оказанным во время пира чужеземцу; но Нийл Бушаллох, ревнуя о славе гэльского гостеприимства, не преминул поговорить о них как о высоком отличии. Самогонные водки, которые в Горной Стране сейчас повсеместно в ходу, были тогда сравнительно мало известны. Асквибо пускалось по кругу в малом количестве и сильно отдавало настоем шафрана и других трав, напоминая больше лечебное питье, чем праздничный напиток. Подавались кое-кому сидр и брага, основу же составлял эль, для того и сваренный в огромном количестве, и он ходил вкруговую без ограничения; однако и его пили с умеренностью, не очень-то знакомой в наши дни жителям Горной Страны. Только когда все насытились, был провозглашен первый тост — в поминание покойного вождя. И тогда прошел по рядам тихий ропот славословия, между тем как монахи — они лишь одни —

затянули хором «Requiem eternam dona».¹ Воцарилась странная тишина, словно все ожидали чего-то необычного, когда встал Эхин со смелой и мужественной, хотя и скромной грацией и, заняв пустовавшее место на троне, твердо и с достоинством проговорил:

— На этот трон и на наследие моего отца я предъявляю право свое. Благослови же меня бог и святой Барр!

— Как будешь ты править детьми твоего отца? — сказал седой старик, дядя покойного.

— Я буду защищать их мечом моего отца и справедливо судить под отчим знаменем.

Старик дрожащей рукой вынул из ножен тяжелый меч и, держа его за лезвие, протянул рукоятью вперед молодому вождю; в то же время Торквил из Дубровы развернул родовую хоругвь и несколько раз взмахнул ею над головою Эхина, который с удивительной ловкостью и грацией заиграл огромным мечом, как бы защищая хоругвь. Гости шумными возгласами выражали приверженность своему патриархальному вождю, притязавшему на их признание, и не было здесь никого, кто, видя пред собою изящного и ловкого юношу, склонен был бы вспомнить связанное с ним зловещее пророчество. Когда Эхин стоял в сверкающей кольчуге, опершись на длинный меч и отвечая грациозными поклонами на приветственный клич, потрясавший воздух в павильоне и далеко вокруг, Саймон Гловер глядел и дивился; неужели этот величавый юный вождь — тот самый мальчишка, с которым он зачастую обходился весьма непочтительно? И в душе перчаточника зашевелились опасения, как бы ему теперь не отплатили за это сторицей. Бурные приветствия сменились музыкой менестрелей, и скалы и сосновые леса вокруг огласило пение арф и волынок, как недавно оглашал их погребальный плач.

Было бы скучно излагать в подробностях, как велось торжество посвящения, или во всех деталях

¹ «Даруй вечный покой» (лат.) — первые слова заупокойной молитвы.

пересказывать, сколько кубков поднято было во славу былых героев клана и за здравие тех двадцати девяти удалцов, которым предстояло сразиться в близком уже бою на глазах и под водительством своего молодого вождя. Барды, исстари сочетавшие в своем лице поэтов и пророков, отважились предсказать им самую блистательную победу и наперед говорили о ярости, с какою Синий Сокол, символ клана Кухил, растерзает на куски Горного Кота — всем известную эмблему клана Хаттан.

Солнце клонилось к закату, когда «чаша милости» (кубок, вырезанный из дуба и оправленный в серебро) пошла вкруговую по столу в знак окончания пира. Впрочем, кому не надоело бражничать, те вольны были пойти еще в любой павильон и продолжать пирование. Саймона Гловера Бушаллох отвел в небольшую хижину, приспособленную явно для нужд лишь одного человека. Постель из вереска и мха, приготовленная так пышно, как только позволяла ранняя весна, и запас всяческой вкусной еды, какую только можно было собрать после недавнего пира, — все указывало, что кто-то нарочно позаботился поудобнее устроить гостя, который заночует в этой хижине.

— Оставайся здесь и никуда не уходи, — сказал Бушаллох, прощаясь со своим другом и protégé.¹ — Это твоя спальня. В такую суматошную ночь как выйдешь из помещения, его сразу займут. Так, если бобер покинет свою нору, в нее тут же заползет лиса.

Саймон Гловер был как нельзя больше доволен таким распорядком. За день он устал от шума и теперь нуждался в отдыхе. Отведав чего-то, хотя ему совсем не хотелось есть, и выпив, только чтоб согреться, чарку вина, он пробормотал вечернюю молитву, завернулся в плащ и улегся на ложе, которое по давнему знакомству было для него привычным и удобным. Гудение и рокот голосов, а иногда и шумные выкрики, доносившиеся снаружи — потому что народ кругом еще продолжал пировать, — недолго смущали

¹ Тем, кому оказывают покровительство (франц.).

покой старика. Прошло минут десять, и уже он спал так крепко, как если бы лежал в собственной постели в доме на Кэрфью-стрит.

Глава XXIX

Опять завел про дочь мою...

«Гамлет»

За два часа до того, как кричать тетереву, Саймона Гловера разбудил хорошо знакомый голос, окликнувший его по имени.

— Как, это ты Конахар, — отозвался он спросонья, — разве уже утро? — И, открыв глаза, он увидел наяву того, кто ему снился в эту ночь.

В то же мгновение пришли ему на память события минувшего дня, и Саймона поразило, что видение сохранило тот образ, какой придал ему сон: Эхин стоял перед ним не в кольчуге гэльского вождя, как накануне вечером, не с мечом в руке, — нет, это был Конахар с Кэрфью-стрит, в одежде бедного подмастерья, и в руке он держал дубовый прут. Явись ему призрак, пертский горожанин не мог бы удивиться сильнее. В недоумении глядел он на юношу, а тот навел на него свой фонарь, в котором тлела гнилушка, и на возглас, брошенный им спросонья, ответил:

— Именно так, отец Саймон: это Конахар пришел поговорить со старым знакомым в такой час, когда наша беседа не привлечет излишнего внимания.

С этими словами он сел на козлы, служившие стулом, и, поставив рядом фонарь, продолжал самым дружеским тоном:

— Я долгие дни пользовался твоим гостеприимством, отец Саймон; надеюсь, и ты ни в чем не встретил недостатка в моем доме?

— Ни в чем, ни в чем, Эхин Мак-Иан, — ответил Гловер, потому что простота кельтского языка и обычаев отбрасывает все почетные титулы. — Если вспомнить, что нынче у нас великий пост, меня приняли

куда как хорошо и уж никак не по моим заслугам: и подумать-то стыдно, как вам плохо жилось на Кэр-фью-стрит.

— Отвечу твоими же словами, — сказал Конахар. — Мне там жилось не по заслугам хорошо, если вспомнить, каким я был ленивым подмастерьем, и слишком хорошо — по нуждам юного горца. Но вчера, если и было за столом, как я надеюсь, достаточно пищи, тебе, мой добрый Гловер, показалось, верно, что маловато было учтивого привета? Не говори ничего в извинение, я знаю сам, так тебе показалось. Но я молод и еще не пользуюсь достаточным весом среди своего народа, мне пока что нельзя привлекать внимание людей к чему-либо, что может им напомнить о времени, когда я жил в Нижней Шотландии, хотя для меня оно незабвенно!

— Все это мне очень понятно, — сказал Саймон, — а потому я крайне неохотно, можно сказать — по принуждению, так рано явился к вам в гости.

— Ни слова, отец, ни слова! Хорошо, очень хорошо, что ты здесь и видишь меня во всем моем блеске, пока он не погас... Вернись сюда после вербного воскресенья, и кто знает, кого и что застанешь ты на тех землях, какими сейчас мы владеем! Возможно, Дикий Кот устроит свое логово там, где сейчас стоит пиршественный шатер Мак-Иана.

Юный вождь умолк и приложил к губам конец своего жезла, словно запрещая себе говорить дальше.

— Этого бояться нечего, Эхин, — сказал Саймон в той небрежной манере, в какой не слишком горячий утешитель пытается отвлечь озабоченного друга от мыслей о неизбежной опасности.

— Тут есть чего бояться! Мы, возможно, падем все до единого, — ответил Эхин, — и нет сомнения, что мы понесем большие потери. Меня удивляет, как это отец согласился на такое гнусное предложение Олбени. Когда бы Мак-Гилли Хаттанах принял мой совет, мы, чем проливать нам кровь лучших людей, сражаясь между собой, двинулись бы сообща на Стратмор, всех бы там перебили и завладели краем. Я правил бы в Перте, он — в Данди, и вся Большая

Долина была бы в наших руках, вплоть до устья Тэя. Этой мудрости я научился у седой головы, у отца Саймона, стоя с блюдом в руках за его спиной и слушающая его разговор за ужином с бэйли Крейгдэлли.

«Недаром говорится: язык мой — враг мой, — подумал Гловер. — Я, выходит, сам держал свечку, указывая черту путь ко злу». Но вслух он только сказал:

— Опоздали вы с такими планами.

— Опоздал! — отозвался Эхин. — Условия боя подписаны, скреплены нашими знаками и печатями: взаимная ненависть клана Кухил и клана Хаттан раздута в неугасимый костер оскорблениями и похвалой с обеих сторон. Да, время упущено... Но поговорим о твоих делах, отец Гловер. Тебя, как мне сказал Нийл Бушаллох, привело сюда гонение за веру. Я знаю твою рассудительность и, понятно, не могу подозревать, что ты рассорился с матерью церковью. Вот старый мой знакомец отец Климент — этот из тех, кто гонится за мученическим венцом, и ему отрадней обнять столб среди горящего костра, чем милую невесту. Ярый защитник своих религиозных воззрений, он тот же странствующий рыцарь и, куда бы ни явился, везде поднимает меч. Он повздорил с монахами с острова Сибиллы по каким-то вопросам вероучения. Ты виделся с ним?

— Виделся, — ответил Саймон. — Но мы не говорили толком, время не позволило.

— А не сказал он тебе, что есть и третье лицо, истинно преданное вере, и оно, я полагаю, больше нуждается в убежище, чем ты, осмотрительный горожанин, или он, крикливый проповедник? Некто, кому бы мы от всей души предложили наше покровительство?.. Не понимаешь, глупый человек? Я о дочери твоей, о Кэтрин!

Последние свои слова юный вождь сказал по-английски и дальше повел разговор на том же языке, как будто опасаясь, что его подслушают. Говорил он через силу, словно бы колеблясь.

— Моя дочь Кэтрин, — сказал Гловер, памятуя, что сообщил ему картезианец, — здорова и в безопасности.

— Но где она и с кем? — спросил молодой вождь. — Почему она не приехала с тобою? Ты думаешь, в клане Кухил не найдется ни одной кейлах¹ прислуживать дочери человека, который был хозяином их вождя? Найдется их сколько угодно, и таких же расторопных, как старая Дороти, чья рука не раз согривала мне скулу.²

— Опять же благодарю вас, — сказал Гловер, — и ничуть не сомневаюсь, что есть у вас и власть и добрая воля оказать покровительство моей дочери, равно как и мне. Но одна благородная дама, друг сэра Патрика Чартериса, предложила ей убежище, где она может укрыться, не подвергаясь опасности трудного путешествия по нелюдимой и незаконной стране.

— А, да... сэр Патрик Чартерис! — сказал Эхин более сдержанным и отчужденным тоном. — Ему, бесспорно, должно быть отдано предпочтение перед всеми. Он, кажется, твой друг?

Саймону Гловеру так и хотелось наказать мальчишку за притворство: ведь его, бывало, четыре раза на дню отчитывали за то, что он выбегал на улицу поглазеть, как проедет мимо на коне сэр Патрик Чартерис; но старик не стал спорить и сказал просто:

— Сэр Патрик Чартерис последние семь лет был мэром Перта. И, надо думать, мэр он и сейчас, потому что выборы в городское самоуправление происходят у нас не великим постом, а на Мартынов день.

— Ах, отец Гловер! — Юноша вернулся к более мягкому и любезному тону. — Вы столько видывали в Перте пышных зрелищ и парадов, что вам едва ли после них доставили большое удовольствие наши варварские торжества. Что ты скажешь о вчерашнем празднестве?

— Оно было и благородным и волнующим, — сказал Гловер, — а тем более для меня, знавшего вашего отца. Когда вы стояли, опершись на меч, и поводили взором вокруг, мне так и мнилось, что я вижу перед

¹ Старухи. (*Гэльск — Прим. автора*)

² То есть била по щеке (*Прим. автора.*)

собой своего старого друга Гилкрита Мак-Иана восстановившим из мертвых в былой своей силе и юности.

— Надеюсь, я держался с должной смелостью? Не был похож на того жалкого мальчишку-подмастерья, с которым вы, бывало... с которым обходились так, как он того заслуживал?

— Эхин не больше похож на Конахара, — сказал Гловер, — чем семга на лосося, хоть люди и говорят, что это та же рыба, только в разном состоянии, или чем бабочка на гусеницу.

— Как ты полагаешь, теперь, когда я облечен властью, которая так по вкусу женщинам, стали бы девушки заглядываться на меня? Проще сказать, мог бы я понравиться Кэтрин таким, каков я был на празднестве?

«Подходим к мели, — подумал Саймон Гловер. — Тут нужно умело вести корабль, а то как раз врежешься в песок».

— Большинству женщин нравится пышность, Эхин; но, я думаю, моя дочь Кэтрин — исключение. Она порадовалась бы удаче друга своей семьи и товарища детских игр. Но блистательного Мак-Иана, предводителя клана Кухил, она не ценила бы выше, чем сироту Конахара.

— Она великодушна и бескорыстна во всем, — сказал юный вождь. — Но сами вы, отец, дольше живете на свете, чем она, и лучше можете судить о том, что дают власть и богатство тем, кому они выпали на долю. Подумай и скажи откровенно, какие мысли явились бы у тебя самого, когда бы ты узрел Кэтрин под тем балдахинном, простершей свою власть на сто гор вокруг и на десять тысяч вассалов, беспрекословно повинующихся ей? В уплату за такое возвышение она должна лишь отдать руку человеку, который любит ее больше всех благ земли.

— То есть тебе, Конахар? — сказал Саймон.

— Да, зови меня Конахаром, мне любезно это имя, потому что под ним знавала меня Кэтрин.

— Откровенно говоря, — ответил Гловер, стараясь придать своим словам безобидный тон, — у меня была бы одна сокровенная мысль, одно желание: чтобы

мне с Кэтрин благополучно вернуться в наш незнатный дом на Кэрфью-стрит, где единственным нашим вассалом была бы старая Дороти.

— И еще, надеюсь, бедный Конахар? Вы не оставили бы его изнывать вдали в его одиноком величии?

— Не так я худо отношусь к своим старинным друзьям кухилам, — возразил Гловер, — чтобы в час нужды отнять у них молодого храброго вождя, а у их вождя — ту славу, которую он должен стяжать, возглавив их в уже недалеком сражении.

Эхин прикусил губу, подавляя чувство раздражения, перед тем как сказать в ответ:

— Слова, слова... пустые слова, отец Саймон! Не так ты любишь кухилов, как боишься их. Ты страшишься, что гнев их будет ужасен, если их вождь женится на дочери пертского горожанина.

— А если и страшусь я такого исхода, Гектор Мак-Иан, разве я неправ? К чему приводили неравные браки в доме Мак-Калланмора и могущественных Мак-Линов? И даже у самих государей наших островов? Чем кончались они для самонадеянных искательниц, если не разводом, лишением наследства, а то и худшей участью? Ты не мог бы обвенчаться с моей дочерью пред алтарем, а и мог бы, так разве с левой руки. Я же... — Он подавил в себе закипевшее возмущение и заключил: — Я хоть и простой, да честный пертский горожанин и предпочту увидеть свою дочь законной и неоспоримой супругой ремесленника, равного мне по состоянию, нежели узаконенной наложницей государя.

— Я намерен обвенчаться с Кэтрин пред лицом священника и всего мира, пред алтарем и пред черными скалами Айоны! — сказал в бурном порыве молодой вождь. — Я люблю ее с юных лет, и нет таких уз веры или чести, какими я дал бы себя связать. Я испытал свой народ. Пусть только мы выиграем битву (а сердце мое говорит мне: если будет у меня надежда завоевать Кэтрин, мы победим непременно!), и тогда я настолько завладею любовью моего народа, что, приди мне в голову взять жену из богадельни, ее примут у нас с таким же ликованием, как если бы

она была дочерью Мак-Калланмора. Но ты отвергаешь мое сватовство? — сурово добавил Эхин.

— Ты принуждаешь меня говорить оскорбительные вещи, — сказал старик, — а потом сам же накажешь меня за них, потому что я весь в твоей власти. Но с моего согласия дочь моя никогда не выйдет замуж иначе, как за ровню. Сердце ее разорвалось бы из-за непрестанных войн и вечного кровопролития, связанных с твоею долей. Если ты и вправду любишь мою дочь и помнишь, как ее страшили вражда и распри, ты не пожелаешь ей без конца подвергаться ужасам войны, которая для тебя будет всегда и неизбежно главным делом жизни, как была для твоего отца. Избери себе в жены дочь какого-нибудь гэльского вождя, сынок, или неистового барона из Низины. Ты молод, красив, богат, ты высокороден и могуч, твое сватовство не будет отклонено. Ты легко найдешь такую, что она будет радоваться твоим победам, а при поражениях ободрять тебя. Кэтрин же победы твои будут страшить хуже поражения. Воину подобает носить стальную перчатку — замшевая через час разорвется в клочья.

Темное облако прошло по лицу молодого вождя, только что горевшему живым огнем.

— Прощай, единственная надежда, — воскликнул он, — которая еще могла осветить мне путь к победе и славе! — Он замолк и некоторое время стоял в напряженном раздумье, потупив глаза, нахмутив брови, скрестив руки на груди. Потом поднял обе ладони и сказал: — Отец (потому что ты всегда был для меня отцом), я открою тебе тайну. Разум и гордость равно советуют молчать, но судьба принуждает меня, и я повинуюсь. Я посвящу тебя в самую сокровенную тайну, какую может открыть человек человеку. Но берегись... чем бы ни кончился наш разговор, берегись выдать кому-нибудь хоть полусловом, хоть единым вздохом то, что я сейчас тебе поведаю. Сделай ты это хотя бы в самом отдаленном уголке Шотландии, знай — повсюду есть у меня уши, чтоб услышать, и рука, чтоб вонзить кинжал в грудь предателя! Я... Нет, слово не хочет слететь с языка!

— Так не говори его, — остановил осторожный Гловер. — Тайна уже не тайна, когда сошла с языка. Не хочу я такого опасного доверия, каким ты мне пригрозил.

— Все-таки я должен сказать, а ты — выслушать, — сказал юноша. — В наш век битв, отец, был ты сам когда-нибудь бойцом?

— Только однажды, — ответил Саймон, — когда на Славный Город напали южане. Я как верный гражданин был призван стать на защиту города наравне со всеми цеховыми людьми, обязанными нести дозор и охрану.

— Ну, и как ты чувствовал себя при этом? — спросил юный вождь.

— А какое это имеет касательство к нашим с тобой делам? — сказал в недоумении Саймон.

— Большое, иначе я не спрашивал бы, — ответил Эхин с тем высокомерием, которое он нет-нет да и напускал на себя.

— Старика нетрудно склонить на беседу о прошлых днях, — сказал, поразмыслив, Саймон. Он был не прочь перевести разговор на другой предмет. — И должен я сознаться, мои чувства были тогда далеки от той бодрой уверенности, даже радости, с какою, видел я, шли в битву другие. Я был человеком мирной жизни и мирного промысла; и хотя, где требовалось, я всегда выказывал достаточное мужество, однако редко случалось мне спать хуже, чем в ночь накануне того сражения. Мысли мои были вполонены рассказами, недалекими от истины, о саксонских лучниках: что будто бы они стреляют стрелами в суконный ярд длиной и что луки у них на треть длиннее наших. Только задремлю, как защечочет мне бок соломинка в тюфяке, и я просыпаюсь, вообразив, что в моем теле трепещет английская стрела. Рано утром, когда я с грехом пополам уснул просто от усталости, меня разбудил общинный колокол, призывая нас, горожан, на городские стены... Никогда до той поры его гудение не казалось мне столь похожим на похоронный звон.

— Дальше!.. Что было потом? — спросил Эхин.

— Надел я свой панцирь, какой был у меня, — продолжал Саймон, — подошел к матери под благословение, — а была она женщина высокого духа, — и она мне рассказала, как сражался мой отец за честь нашего Славного Города. Это меня укрепило, и еще храбрее почувствовал я себя, когда оказался в одном ряду с другими людьми из цехов — все с луками в руках, потому что, как ты знаешь, граждане Перта искусны в стрельбе из лука. Рассыпались мы по стенам, а среди нас замешалось несколько рыцарей и оруженосцев в надежных доспехах, и они с таким смелым видом — небось полагались на свои латы — сказали нам поощрения ради, что зарубят своими мечами и секирами всякого, кто попробует уйти с поста. Меня самого любезно уверил в том старый Воитель из Кинфонса, как его прозвали, тогдашний наш мэр, отец доброго сэра Патрика. Он был внук Красного Разбойника, Тома Лонгвиля, и как раз такой человек, что непременно сдержал бы слово, с которым обратился ко мне особливо — потому что после беспокойной ночи я, верно, побледнел против обычного; да и был я тогда почти что мальчик.

— Ну и как? Его увещания добавили тебе решимости или же страху? — сказал Эхин, слушавший с большим вниманием.

— Пожалуй, решимости, — ответил Саймон, — потому что, думается мне, никогда человек так храбро не пойдет навстречу опасности, грозящей издалека, как если его подталкивает идти вперед другая опасность, совсем близкая. Так вот, влез я на стену довольно смело и поставили меня вместе с другими на Подзорной башне, так как я считался неплохим стрелком. Но меня обдало холодом, когда англичане в полном порядке двинулись на приступ тремя сильными колоннами — лучники впереди, конные мечники позади. Они шли прямо на нас, и кое-кого в наших рядах разбирала охота выстрелить; но это было строго запрещено, и мы должны были стоять тихо, укрывшись как можно лучше за бойницами. Когда южане разбились на длинные шеренги, попадая, как по волшебству, каждый на свое место, и пригото-
ви-

лись прикрыться павизами — щитами во весь рост, — которые они ставили перед собой, у меня как-то странно защекотало в горле и захотелось пойти домой глотнуть чего-нибудь покрепче воды. Но, глянув вбок, я увидел достойного Воителя из Кинфонса, натягивающего тетиву своего большого лука, и мне подумалось, что будет жаль, если он потратит стрелу на верного шотландца, когда перед нами так много англичан; вот и остался я стоять где стоял — в удобном таком уголке между двумя зубцами. Англичане продвинулись вперед и натянули тетивы — не на грудь, как натягивают ваши горские удалцы, а на ухо, — и не успели мы призвать святого Андрея, как полетела в нас целая стая их «ласточкиных хвостов» — стрел, оперенных на две стороны. Я зажмурился, когда они в первый раз подняли свои луки, и, надо думать, вздрогнул, когда стрелы застучали о парашет. Но поглядел я вокруг и вижу — никто не ранен, кроме Джона Скволлита, городского глашатая, которому длинная, в суконный ярд, стрела пробила челюсти. Тут я собрался с духом и выстрелил в свой черед с доброй охотой и точным прицелом. Коротышка, в которого я метил (он как раз выглянул из-за щита), упал с моей стрелой в плече. Мэр крикнул: «Недурно прошел, Саймон Гловер!» — «За святого Иоанна и за город его, собратья мои мастера!» — закричал я, хотя тогда я был только еще подмастерьем. И поверишь ли, до конца битвы — а завершилась она тем, что враг отступил, — я знай себе натягивал тетиву и выпускал стрелы так спокойно, как будто стрелял в мишень, а не людям в грудь. Тут я стяжал в некотором роде славу, и после мне всегда думалось, что, когда явится в том нужда (сам я зря не полез бы), не уроню я эту свою славу. Вот и все, что могу я тебе рассказать о моем воинском опыте. Случалось, грозили мне другие опасности, но, как благоразумный человек, я старался их избегать; когда же уклониться было невозможно, я смотрел им в лицо, как должно порядочному гражданину. Держи голову высоко, иначе в Шотландии не проживешь.

— Я понял твой рассказ, — сказал Эхин, — а моему вряд ли ты поверишь, зная, из какого я племени и чей я сын... Хорошо, что старый вождь лежит в могиле, где никогда не узнает о том, что услышишь ты! Смотри, отец мой, огонь, который я принес, едва светит, гореть ему осталось несколько минут, но, пока он не угас, я должен сделать свое мерзкое признание. Отец, я трус! Слово сказано наконец, и тайной моего позора владеет другой!

Молодой человек поник как бы в обмороке, вызванном мукой рокового признания. Гловер, движимый и страхом и состраданием, принялся приводить его в чувство, и это ему удалось, но самообладания он ему не вернул. Конахар спрятал лицо в ладони, и слезы, обильные и горькие, покатались по его щекам.

— Ради пречистой богородицы, — сказал старик, — успокойся и возьми назад подлое слово! Я знаю тебя лучше, чем ты сам; не трус ты! Ты только молод и неопытен, да и воображение у тебя слишком живое — потому и невозможна для тебя та стойкая доблесть, какой обладает бородатый муж. Скажи мне кто другой о тебе такую вещь, Конахар, я назвал бы его лжецом... Ты не трус — я видел, как загорались в тебе жаркие искры отваги, стоило только чуть тебя раздражить.

— Жаркие искры гордости и гнева! — сказал несчастный юноша. — Но когда ты видел, чтоб их поддерживала решимость? Искры, о которых говоришь ты, падали на мое робкое сердце, как на кусок льда, который ничто не зажжет огнем... Если оскорбленная гордость понуждала меня к борьбе, малодушие тотчас же толкало меня на бегство...

— Ты просто не привык, — сказал Саймон. — Перелезая через стены, юноши научаются карабкаться по кручам над крепостью. Начни с легких ссор — изо дня в день упражняй свое оружие в поединках с приспешниками.

— Есть ли еще время? — вскричал молодой вождь и содрогнулся, словно что-то мерзкое представилось его воображению. — Сколько дней осталось от этого часа до вербного воскресенья? И что ждет меня в тот

день? Огражденная арена боя, с которой никому нельзя будет уйти, точно бедному медведю, прикованному цепью к своему столбу. Шестьдесят бойцов лучших и самых свирепых (за одним-единственным исключением), каких порождали когда-либо горы Альбиона! И каждый из них горит жаждой пролить кровь противника, а король со своими вельможами и тысячи горлопанов за ними — все ждут, как в театре, разжигая их бесовскую ярость! Звенят клинки, льется кровь — все быстрее, все гуще, все алее... Они как безумные устремляются друг на друга... рвут друг друга, как дикие звери. . раненых затапывают насмерть их же товарищи! Кровавый поток идет на убыль, ослабевают руки.. Но недопустимы никакие переговоры, никакое перемирие или перерыв, пока еще жив хоть один из всех этих искалеченных, обреченных людей! И тут не притаишься за бойницей, сражаешься не метательным оружием — только врукопашную, до тех пор, когда больше не поднять руки, чтобы дальше вести ужасный спор! Если в помыслах так ужасно это поле, каково же будет оно в действительности?

Гловер хранил молчание.

— Еще раз спрашиваю: что ты думаешь об этом?

— Я только могу пожалеть тебя, Конахар, — сказал Саймон. — Тяжело это — быть потомком прославленных предков, сыном благородного отца, прирожденным предводителем отважного воинства — и чтобы тебе недоставало... или думать, что тебе недостает (я все же убежден — вся беда в живом воображении, преувеличивающем опасность)... недоставало бы того заурядного качества, каким обладает каждый боевой петух, если не зря он получает свою горсть зерна, каждая гончая, если она не даром жрет варево из требухи. Но как же это ты, сознавая себя неспособным сразиться в этом бою, все-таки предлагаешь моей дочери разделить с тобою высокое положение вождя? Твоя власть зависит от того, как проведешь ты битву, а в этом деле Кэтрин не может тебе помочь.

— Ошибаешься, старик, — возразил Эхин. — Когда бы Кэтрин взглянула благосклонно на мою глубокую к ней любовь, я с пылом боевого коня устремил-

ся бы на врагов. Как ни угнетен я чувством собственной слабости, сознание, что Кэтрин смотрит на меня, придало бы мне силы. Скажи — о, скажи мне: «Она будет твоей, если ты выиграешь спор», и увидишь: сам Гоу Хром, чье сердце из одного куска с его наковальней, не хаживал в битву так легко, как ринусь я! Чувство страха, как он ни силен, будет побеждено другим сильным чувством.

— Это безумие, Конахар. Неужели забота о твоей же пользе, о чести твоей, о клане не придаст тебе столько же отваги, как мысль о надменной, взбалмошной девчонке? Ну как тебе не стыдно, милый мой!

— Ты мне говоришь только то, что я сам себе твердил, но тщетно, — вздохнул Эхин. — Только спарившись с ланью, робкий олень становится отчаянным и опасным. Что тому виной — мой ли природный склад, молоко ли белой лани, как уверяют наши гэльские кейлахи, мирное мое воспитание, знакомство с вашей строгой сдержанностью или же, как мнится тебе, расналенное воображение, которое рисует мне опасность грозней, чем она есть, — не скажу. Но я знаю свой недостаток и не утаю: я ужасно боюсь, что не смогу преодолеть свою трусость! Так боюсь, что, склонись ты на этом условии к моему желанию, я тут же на месте покончил бы со всем, сложил бы с себя свое новое звание и вернулся бы к прежней незаметной жизни.

— Что, опять кроить перчатки, Конахар? — усмехнулся Саймон. — Это будет почище легенды о святом Криспине. Нет, нет, твоя рука для этого не создана. Не будешь ты мне больше портить ланьи шкуры.

— Не смейся, — сказал Эхин, — я не шучу. Если я не гожусь для труда, я принесу с собой довольно богатства, чтобы нам достало на жизнь. Меня объявят отступником, прогремят о том на рожках и во-лынках... Ну и пусть их!.. Кэтрин полюбит меня тем крепче, что я предпочел мирную тропу кровавым, а отец Климент научит нас жалеть и прощать людей, когда они станут возводить на нас хулу, и хула их нас не поранит. Я буду счастливейшим человеком на свете, а Кэтрин изведает всю радость, какую может

дать женщине безграничная мужская любовь. И не придется пертской красавице жить в постоянном трепете перед лязгом клинков и видом крови, как сулит ей неудачный брак по выбору отца. Ты же, отец Гловер, будешь сидеть в углу у очага самым счастливым и почитаемым человеком, какой когда-либо...

— Молчи, Эхин... Прошу, замолчи! — сказал Гловер. — Огонь почти догорел, и, значит, нам пора кончать беседу, а я тоже хочу сказать свое слово и уж лучше скажу напрямик. Хоть ты, пожалуй, и рассердишься, даже в ярость придешь, я положу конец этим бредням и сразу же объявлю: Кэтрин никогда не будет твоей. Перчатка — эмблема верности, так что человеку моего ремесла никак не подобает нарушать свое слово. Рука Кэтрин уже обещана — обещана человеку, которого ты, может быть, ненавидишь, но которого должен бы уважать: Генри Оружейнику. Это равный брак, брак по взаимной склонности, и я дал на него согласие. Объяснимся начистоту: коль угодно, гневайся за отказ — я целиком в твоей власти. Но ничто не заставит меня изменить слову.

Гловер говорил так твердо, потому что знал из опыта, что в самых ярых порывах злобы его бывший подмастерье шел на попятный, если встречал суровый и решительный отпор. Но, памятуя о том, где находился, он не мог не почувствовать страха, когда пламя в фонаре вспыхнуло ярче и бросило отсвет на лицо Эхина: юноша был бледен как мертвец и дико вращал глазами, как сумасшедший в бредовой лихорадке. Свет, вспыхнув раз, потух, и Саймон с ужасом подумал, что сейчас придется ему схватиться насмерть с юношей, который, как он знал, в сильном возбуждении бывал способен на отчаянный поступок, хотя по всему его душевному складу такие порывы могли у него длиться лишь очень недолго. Голос Эхина, зазвучавший хрипло и по-новому, его успокоил.

— То, о чем мы говорили этой ночью, схорони в своей душе. Если ты вынесешь это на свет, лучше рой сам себе могилу.

Дверь хижины приоткрылась, впуслав на мгновение бледный лунный луч. Его пересекла тень удаляющегося вождя; затем плетенка снова опустилась, и в хижине стало темно.

Саймон Гловер вздохнул свободно, когда разговор, сопряженный с обидой и угрозой, завершился так мирно. Но с глубокой болью думал он о беде Гектора Мак-Иана, которого он как-никак сам воспитал.

— Несчастное дитя! — сказал он. — Вознесли его на такую высоту — и только затем, чтобы с презрением сбросить вниз! То, что он мне поведал, я и сам отчасти знал: я примечал не раз, что Конахар горячий на спор, чем на драку. Но эта гнетущая слабость духа, которую не может одолеть ни стыд, ни необходимость, — она для меня, хоть я и не сэр Уильям Уоллес, совершенно непостижима. И предлагать себя в супруги Кэтрин, как будто молодая жена должна набраться храбрости на двоих — на себя и на мужа! Нет, нет, Кэтрин выйдет замуж за такого человека, которому она сможет говорить: «Муж мой, пощади своего врага», а не такого, чтобы ей молить за него: «Великодушный враг, пощади моего мужа!»

Истерзанный этими думами, старик наконец заснул. Утром его разбудил Бушаллох, который смущенно предложил ему вернуться под его кров на лугу Баллох. Он извинился, что вождь никак не мог повицаться утром с Саймоном Гловером, так как очень был занят в связи с предстоящей битвой; Эхин Мак-Иан, сказал он, полагает, что Баллох будет для Саймона Гловера самым безопасным и здоровым местом, и распорядился, чтобы там оказано было гостю покровительство и всяческая забота.

Нийл Бушаллох долго распространялся на этот счет, стараясь придать хоть какую-то благовидность поведению вождя, который отправляет гостя, не дав ему особой аудиенции.

— Отец его так не поступил бы, — сказал паcтух. — Но откуда было бедняге Эхину научиться приличиям, когда он вырос среди ваших пертских горжан, а в этом племени, кроме вас, сосед Гловер,

говорящего по-гэльски не хуже, чем я, никто и понятия не имеет об учтивости!

Читатель легко поверит, что Саймон Гловер отнюдь не пожалел о таком неуважении, как ни огорчило оно его друга. Наоборот, он и сам был рад вернуться в хижину пастуха, предпочитая ее мирный кров шумному гостеприимству вождя в день праздника, даже если бы и не произошло ночного свидания с Эхином и разговора, о котором мучительно было вспоминать.

Итак, он мирно вернулся в Баллох, где, будь он спокоен за Кэтрин, он не без приятности проводил бы свой досуг. Ради развлечения он плавал по озеру в лодочке, в которой управлялся веслами мальчонка-горец, покуда старик удил рыбу. Частенько причаливал он к островку, где предавался размышлениям на могиле своего старого друга Гилкрита Мак-Иана и свел дружбу с монахами, подарив игумену пару перчаток на куньем меху, а старшим инокам — по паре, сделанной из шкуры дикой кошки. За изготовлением этих скромных подарков коротал он часы после заката: сам, бывало, кроит или стачивает, а семья пастуха соберется вокруг гостя, дивясь его ловкости и слушая рассказы и песни, которыми он умел прогнать вечернюю скуку.

Надо сознаться, осторожный Гловер избегал разговоров об отце Клименте, ошибочно почитая его не товарищем по несчастью, а виновником всех своих бед. «Не хочу я, — думал он, — ради его бредней терять благоволение этих любезных монахов, которые мне, глядишь, и понадобятся когда-нибудь. Довольно я и так натерпелся из-за его проповедей. Мудрости они мне не прибавили, зато я стал через них куда бедней. Нет, нет, пусть Кэтрин с Климентом думают что хотят, а я при первом же случае приползу назад, как побитая собака на зов хозяина, и надену, как положено, власяницу, отстегаю себя бичом и уплачу изрядную пеню, только бы вновь помириться с церковью.

Две недели и больше прошло с того дня, как Гловер прибыл в Баллох, и его стало удивлять, что он

не получает вестей ни от Кэтрин, ни от Генри Уинда, которому, по его расчетам, мэр давно уже должен был сообщить, где они скрываются. Гловер знал, что удалой кузнец не посмеет явиться сам в страну кухилов, имея на своем счету не одну ссору с ее обитателями, не говоря уж о драке с Эхином, с которым он сцепился, когда тот еще носил имя Конахар; но Гловер полагал, что Генри нашел бы способ передать ему весточку или привет через того или другого гонца: их в те дни без конца засылали друг к другу королевский двор и стан кухилов, чтобы уточнить условия предполагаемой битвы — какой дорогой прибыть в Перт обоим отрядам и другие подробности, требующие предварительного соглашения. Была середина марта, и роковое вербное воскресенье быстро приближалось.

Время шло и шло, а Гловер в своем изгнании так ни разу и не повидался с бывшим своим подмастерьем. Правда, забота, с какою предварялись все его нужды, показывала, что о нем не забывают; и все же, заслышав иной раз над лесом охотничий рог вождя, он спешил направить свой шаг в другую сторону. Но однажды утром он оказался неожиданно в такой близости от Эхина, что едва успел уклониться от встречи. Случилось это так.

Когда Саймон брел в задумчивости небольшой поляной, со всех сторон окруженной лесом — высокими деревьями попеременно с подлеском, — из зарослей вынеслась белая лань, настигаемая двумя борзыми, которые тут же впились ей одна в бедро, другая — в горло и повалили ее наземь в нескольких шагах от Гловера, оторопевшего от неожиданности. Близкий и пронзительный звук рога и лай легавой возвестили Саймону, что следом за оленем появятся охотники. Улюлюканье и шум бегущих сквозь заросли людей слышались совсем рядом. Будь у Саймона хоть минута на раздумье, он сообразил бы, что лучше всего остаться на месте или пойти потихоньку, предоставив Эхину выбор, узнать гостя или нет. Но стремление избегать юношу перешло у него в какой-то инстинкт, и, увидав его так близко, Саймон с перепугу

шмыгнул в кусты лещины и остролиста, где оказался надежно укрыт. Едва успел он спрятаться, как из чащи на открытую поляну вырвались Эхин и его приемный отец Торквил из Дубровы. Торквил, сильный и ловкий, перевернул на спину бьющуюся лань, придавил ее коленом и, правой рукой придерживая ее задние ноги, левой протянул свой охотничий нож молодому вождю, чтобы тот собственноручно перерезал животному горло.

— Нельзя, Торквил. Делай свое дело и зарежь сам. Я не должен убивать ту, что носит облик моей приемной матери.

Это сказано было с грустной улыбкой, и слезы стояли в глазах говорившего. Торквил смерил взглядом юного вождя, потом полоснул острым ножом по горлу лани так быстро и твердо, что клинок прошел сквозь шею до позвонков. Потом вскочил на ноги, снова остановил на вожде долгий взгляд и сказал:

— Что сделал я с этим оленем, я сделал бы с каждым человеком, чьи уши слышали бы, как мой долт — приемный сын — заговорил о белой лани и связал это слово с именем Гектора.

Если раньше Саймону было ни к чему прятаться, то теперь слова Торквила послужили к тому веской причиной.

— Не скрыть, отец Торквил, — сказал Эхин, — это выйдет на белый свет.

— Чего не скрыть? Что выйдет на свет? — спросил Торквил в недоумении.

«Да, страшная тайна! — подумал Саймон. — Чего доброго, этот верзила, советник и доверенный вождя, не сумеет держать язык за зубами, и, когда по его вине позор Эхина получит огласку, отвечать буду я!»

Он говорил это себе в немалой тревоге, а сам между тем умудрился из своего укрытия увидеть и услышать все, что происходило между удрученным вождем и его поверенным, — так подстрекало его любопытство, которое владеет нами не только при обычных обстоятельствах жизни, но и при весьма знаменательных, хотя зачастую оно идет бок о бок с самым недвусмысленным страхом.

Торквил ждал, что скажет Эхин, а юноша упал ему на грудь и, упершись в его плечо, нашептывал ему в ухо свою исповедь. Богатырь лейхтах слушал в изумлении и, казалось, не верил своим ушам. Словно желая увериться, что это ему говорит сам Эхин, он слегка отстранил от себя юношу, заставил выпрямиться и, взяв его за плечи, смотрел на него широко раскрытыми глазами, точно окаменев. И таким стало диким лицо старика, когда вождь договорил, что Саймон так и ждал: он сейчас с омерзением отшвырнет от себя юношу, и тот угодит в те самые кусты, где он притаился. Его присутствие откроется, и это будет и неприятно и опасно! Но совсем по-другому проявились чувства Торквила, вдвойне питавшего к своему приемному сыну ту страстную любовь, какая у шотландских горцев всегда присуща отношениям такого рода.

— Не верю! — вскричал он. — Ты лжешь на сына твоего отца... Ты лжешь на дитя твоей матери... Трижды лжешь на моего питомца! Призываю в свидетели небо и ад и сражусь в поединке с каждым, кто назовет это правдой! Чей-то дурной глаз навел на тебя порчу, мой любимый. Недостаток, который ты называешь трусостью, порожден колдовством! Я помню, летучая мышь погасила факел в час, когда ты родился на свет — час печали и радости. Приободришься, дорогой! Ты отправишься со мной в Айону, и добрый святой Колумб с целой ратью святых и ангелов, покровителей твоего рода, отберет у тебя сердце белой лани и вернет тебе твое украденное сердце.

Эхин слушал, и было видно, как жадно хочет он поверить словам утешителя.

— Но, Торквил, — сказал он, — пусть это нам и удастся — роковой день слишком близок, и, если я выйду на арену, боюсь, мы покроем себя позором.

— Не бывает тому! — сказал Торквил. — Власть ада не так всемогуща. Мы окунем твой меч в святую воду... вложим в гребень твоего шлема плакун-траву, зверобой, веточку рябины. Мы окружим тебя кольцом, я и твои восемь братьев, ты будешь как за стенами крепости,

Юноша опять что-то беспомощно пробормотал, но таким упавшим, безнадежным голосом, что Саймон не расслышал, тогда как громкий ответ Торквила явно дошел до его слуха:

— Да, есть возможность не дать тебе сразиться. Ты самый младший из тех, кому предстоит обнажить меч. Слушай же меня, и ты узнаешь, что значит любовь приемного отца и насколько она превосходит любовь кровных родичей! Самый младший в отряде Хаттанов — Феркухард Дэй. Мой отец убит его отцом, и красная кровь кипит, не остывшая, между нами. Я ждал вербного воскресенья, чтоб остудить ее. Но горе мне! Ты понимаешь сам, крови Феркухарда Дэя никогда не смешаться с моею кровью, даже если слить их в один сосуд, и все же он поднял взор любви на мою единственную дочь, на Еву, красивейшую из наших девушек. Ты поймешь, что я почувствовал, когда услышал о том: это было, как если бы волк из лесов Феррагона сказал мне: «Дай мне в жены твое дитя, Торквил». Моя дочь думает иначе. Она любит Феркухарда. Румянец сбежал с ее щек, и она исходит слезами, страшась предстоящей битвы. Пусть она только посмотрит на него благосклонно, и он, я знаю, забудет род и племя, оставит поле боя и сбежит с нею в горы.

— Если он, младший из воинов клана Хаттан, не явится, то и я, младший в клане Кухил, не должен буду участвовать в битве, — сказал Эхин, и при одной только мысли, что спасение возможно, у него порозовело лицо.

— Смотри же, мой вождь, — сказал Торквил, — и сам посуди, как ты мне дорог: другие готовы отдать за тебя свою жизнь и жизнь своих сыновей — я жертвую ради тебя честью моего дома.

— Мой друг, мой отец! — повторял вождь, прижимая Торквила к груди. — Какой же я жалкий негодяй, если в своем малодушии готов принять от тебя эту жертву!

— Не говори так... у зеленых лесов есть уши. Вернемся в лагерь, а за дичью пришлем наших молодцов. Псы, назад, по следу!

К счастью для Саймона, легавая окунула нос в кровь оленя, а не то она непременно учуяла бы Гловера, залегшего в кустах; но так как сейчас острый нюх ее был притуплен, она спокойно последовала за борзыми.

Когда охотники пропали из виду, Гловер выпрямился и, свободно вздохнув, пошел в обратную сторону так быстро, как позволяли его годы. Его первая мысль была о верности приемного отца:

«Дикие горцы, а какие верные и честные у них сердца! Этот человек больше похож на исполина из какого-нибудь романа, чем на человека из персти земной, как мы грешные, и все же добрые христиане могут взять его за образец преданности. Но какая глупость! Тоже придумал — выманить из стана врагов одного бойца! Точно Дикие Коты не найдут на его место хоть двадцать других!»

Так думал Гловер, не зная, что издан строжайший указ, запрещающий в течение недели до и после сражения кому бы то ни было из двух борющихся кланов либо из их друзей, или союзников, или вассалов подходить к Перту ближе чем на пятьдесят миль, и что этот указ постановлено проводить в жизнь вооруженной силой.

Когда наш приятель Саймон прибыл в дом пастуха, его там ожидали и другие новости. Принес их отец Климент, явившийся в далматике, то есть плаще пилигрима, так как он уже собрался возвращаться на юг и пришел проститься с товарищем по изгнанию или взять его с собой в дорогу, если тот захочет

— Но почему, — спросил горожанин, — вы вдруг решились вернуться, не смущаясь опасностью?

— Разве ты не слышал, — сказал отец Климент, — что граф Дуглас потеснил Марча с его союзниками-англичанами обратно за рубеж и ныне добрый граф приступил к исправлению зла внутри государства? Он отписал королю, требуя отмены полномочий, предоставленных комиссии по искоренению ереси, поскольку ее действия означали вмешательство в дела человеческой совести; граф требует далее, чтобы

назначение Генри Уордло настоятелем монастыря святого Андрея было поставлено на утверждение парламента, и выставляет ряд других требований, угодных общинам. Большинство баронов, окружающих в Перте короля, в том числе и сэр Патрик Чартерис, ваш достойный мэр, высказались за предложение Дугласа. Принял их и герцог Олбени, по доброму ли согласию или из хитрости — не знаю. Короля нетрудно склонить к мягкому и кроткому образу правления. Итак, у гонителей раскрошились зубы в их черной пасти, и добыча вырвана из их жадных когтей. Не хочешь ли двинуться со мной в Низину? Или думаешь пожить здесь еще?

Нийл Бушаллох избавил друга от труда отвечать самому.

— Вождь, — сказал он, — распорядился, чтобы Саймон Гловер остался до поры, когда отправятся в путь воины клана.

В таком ответе горожанин усмотрел вмешательство в свободу своей воли; но в тот час его это мало смутило — он был слишком рад благовидному предложению уклониться от поездки с неудобным попутчиком.

— Удивительный человек! — сказал он своему другу Нийлу Бушаллоху, как только отец Климент ушел. — Многоученый и поистине святой. Можно только пожалеть, что ему уже не угрожает сожжение, ибо его проповедь из горящего костра обратила бы тысячи грешников. Ох, Нийл Бушаллох! Костер отца Климента был бы как благоуханная жертва, как маяк для всех благочестивых христиан. Но к чему послужило бы сожжение невежественного, неотесанного горожанина вроде меня? Люди, я полагаю, не жертвуют на ладан кожу старых перчаток и огонь маяков не поддерживают невыделанными шкурами! Сказать по совести, я не столь образован и не столь отважен, чтобы такое дело принесло мне славу, — мне от него, как у нас говорится, только срам и никакого барыша.

— Твоя правда, — ответил пастух.

Нам пора вернуться к тем действующим лицам нашего драматического рассказа, которых мы оставили в Перте, когда последовали за Гловером и его дочерью в Кинфонс, а из гостеприимного замка направились вместе с Саймоном к Лох-Тэю; и в первую очередь наше внимание должно быть отдано принцу, как самой высокой особе.

Опрометчивый молодой человек не слишком терпеливо переносил свое уединение под кровом верховного констебля, чье общество, при других обстоятельствах вполне приятное, сейчас ему не нравилось по той простой причине, что Эррол оказался приставлен к нему едва ли не стражем. В злобе на дядю и досаде на отца принц, естественно, потянулся вновь к сэру Джону Рэморни, к которому издавна привык кидаться, когда искал развлечения или нуждался в руководстве и наставлении, хотя всякий намек на это, наверно, его оскорбил бы. Итак, принц прислал сэру Джону приказ навестить его, если позволит здоровье; при этом он ему предлагал пройти рекой до павильона в саду верховного констебля, примыкавшем, как и сад самого сэра Джона, к берегу Тэя. Возобновляя столь опасную дружбу, Ротсей памятовал лишь о том, что был сэру Джону Рэморни щедрым покровителем, тогда как сэр Джон, получив приглашение, припомнил только те оскорбления, которыми его своенравно награждал бывший хозяин, утрату руки и легкость, с какой Ротсей говорил о его потере, а потом отступился от друга, когда на того легло обвинение в убийстве шапочника. Он горько рассмеялся, прочитав записку принца.

— Ивиот, — сказал он, — снаряди большую лодку с шестью надежными гребцами — надежными, заметь! — и не теряй ни минуты. Немедленно позови сюда Двайнинга!.. Небо нам улыбается, мой верный друг, — сказал он затем аптекарю. — Я ломал голову, как мне получить доступ к подлому мальчишке, а тут он сам посылает за мной.

— Гм!.. Все ясно, — сказал Двайнинг. — Небо сейчас улыбается, а какие будут еще последствия? Хе-хе-хе!

— Ничего! Капкан готов, и приманка заложена такая, приятель, что выманила бы мальчишку из священного убежища, хотя бы солдаты с обнаженными мечами поджидали его на церковном дворе. Но в ней нет нужды. Он сам себе так надоел, что рад со скуки сладить нам все дело. Приготовь что надо, ты едешь с нами. Напиши ему (я же не могу), что мы немедленно явимся по его зову. Только пиши грамотно: он хорошо читает и этим обязан мне.

— Вы его обяжете, мой доблестный сэр, еще одним полезным уроком до того, как ему умереть, хе-хе-хе! Но ваша сделка с герцогом Олбени тверда? Сколько он заплатит?

— Не беспокойся, достанет, чтоб удовлетворить мое честолюбие, твою жадность и нашу общую жажду мести. Итак — в лодку, в лодку, живей! Пусть Ивиот прихватит бутылку-другую вина из самых изысканных да разных жарких.

— А ваша рука, милорд сэр Джон? Она у вас не болит?

— Стук сердца заглушает боль моей раны. Оно колотится так, что, кажется, грудь разорвется.

— Боже упаси! — сказал Двайнинг, и добавил про себя: «Любопытное было бы зрелище, если бы это случилось. Я бы не прочь рассечь это сердце, только, боюсь, оно из такого твердого камня, что я иступил бы об него свои лучшие инструменты».

Через несколько минут все были в лодке, а гонец нес принцу письмо.

Ротсей сидел с констеблем после полдника. Он был угрюм и молчалив, и граф уже спросил, не угодно ли будет принцу, чтобы убрали со стола, когда тому вручили письмо, и лицо у него сразу просветлело.

— Как хотите, — сказал он, — я пройду в сад, как всегда, с дозволения милорда констебля, чтобы встретиться в павильоне с моим бывшим конюшим.

— Милорд?! — сказал лорд Эррол.

— Вот именно. милорд. Или я должен дважды просить разрешения?

— Конечно, нет, милорд, — ответил констебль. — Но разве вы забыли, ваше высочество, что сэр Джон Рэморни...

— Он, надеюсь, не зачумлен? — отрезал герцог Ротсей. — Ну, Эррол, вы рады бы сыграть роль сурового тюремщика, но это не в вашем нраве... Расстаемся на полчаса.

— Новое безрассудство! — сказал Эррол, когда принц, распахнув окно зала в нижнем этаже, где они сидели, выпрыгнул прямо в сад. — Этого еще не хватало! Опять сумасшедший мальчишка призывает в советники Рэморни! Подлец его приворожил!

Принц между тем оглянулся и торопливо добавил:

— А вы, милорд, как гостеприимный хозяин, не пришлете ли нам в павильон бутылку-другую вина и легкую закуску? Я люблю пить *al fresco*¹ у реки.

Констебль поклонился и отдал соответствующие распоряжения, так что, когда сэр Джон, пригнав к берегу лодку, прошел в павильон, там его ждал уже накрытый стол.

— У меня сердце щемит, когда я вижу ваше высочество под стражей, — сказал Рэморни с наигранным состраданием.

— Боль твоего сердца отзывается болью в моем, — сказал принц. — Скажу по правде, этот Эррол, хоть он и благородный хозяин, так мне наскучил своим торжественным видом и торжественными поучениями, что толкнул обратно к тебе, отъявленный ты негодяй. Я, понятно, не жду от тебя ничего хорошего, но надеюсь, что ты хоть развлечешь меня. Впрочем, скажу, пока не забыл: скверная получилась шутка тогда, в канун поста. Надеюсь, это сделано не по твоему наущению, Рэморни?

— Признаюсь по чести: скотина Бонтрон дал маху. Я ему только намекнул, что нужно поколотить человека, из-за которого я лишился руки; но, увы, мой слуга совершил двойную ошибку: во-первых, принял

¹ На свежем воздухе (*итал.*).

одного человека за другого, во-вторых, вместо палки пустил в ход топор.

— Хорошо, что так. Шапочник — дело маленькое: а вот убей он оружейника, я тебе никогда не простил бы — ему нет равного во всей Британии! Надеюсь, мерзавца вздернули достаточно высоко?

— Если тридцать футов вас устраивают, — ответил Рэморни.

— Пф! Довольно о нем, — сказал Ротсей, — от одного его гнусного имени доброе вино начинает отдавать кровью. Что нового в Перте, Рэморни? Как *вопае гобае*¹ и наши весельчаки?

— Не до веселья, милорд, — ответил рыцарь. — Все взоры обращены на Черного Дугласа, который движется на нас со своими пятью тысячами отборных воинов, чтобы все здесь поставить на место, как если бы он готовился к новому Оттерберну. Говорят, он будет опять заместителем короля. Во всяком случае, у него объявилось вдруг много сторонников.

— Значит, самое время сбросить путы с ног, — сказал Ротсей, — иначе я рискую оказаться во власти тюремщика похуже, чем Эррол.

— Эх, милорд, вам бы только выбраться отсюда, и вы показали бы себя таким же отчаянным удалцом, как Дуглас.

— Рэморни, — сказал веско принц, — я лишь смутно помню, как ты однажды предложил мне что-то ужасное. Но остерегись повторить подобный совет. Я хочу свободы, хочу вполне располагать собою. Но я никогда не подниму руку ни на отца, ни на тех, кого ему угодно облечь своим доверием.

— Только в заботе об освобождении вашего высочества я и позволил себе это сказать, — ответил Рэморни. — На месте вашей милости я сел бы сейчас в эту лодочку, которая покачивается на волнах Тэя, и тихо и мирно поплыл бы вниз по реке прямо в Файф, где у вас много друзей, а там преспокойно завладел бы Фолклендом. Это королевский замок; и хотя король передал его в дар вашему дяде, однако, даже и

¹ Наряды; здесь в смысле «переодевания» (лат.).

не оспаривая дарственной, вы можете свободно располагать резиденцией вашего близкого родственника.

— Пока что он преспокойно располагает моими, — сказал герцог, — как, например, замком Стюартов в Ренфру. Но постой, Рэморни: кажется, Эррол упоминал, что леди Марджори Дуглас, которую величают герцогиней Ротсей, проживает сейчас в Фолкленде? Я не хочу ни жить под одной крышей с этой леди, ни наносить ей оскорбление, выгоняя ее вон.

— Леди там проживала, милорд, — ответил Рэморни, — но я получил точные сведения, что она выехала навстречу своему отцу.

— Ага! Чтобы разжечь в Дугласе злобу против меня? Или, может быть, чтобы вымолить для меня пощаду на том условии, что я на коленях приползу к ее ложу, как, по рассказам пилигримов, должны приползать ханы и эмиры, когда сарацинский султан назначает им в жены своих дочерей? Рэморни, я буду действовать по поговорке самого Дугласа: «Лучше слушать пение жаворонка, чем мышинный писк».¹ Нет, я должен сбросить путы с ног и рук.

— Лучше места не найти, чем Фолкленд, — ответил Рэморни. — У меня довольно храбрых йоменов для защиты замка; а если вашему высочеству вздумается его оставить — сел на коня и скачи к морю: с трех сторон до берега рукой подать.

— Хорошо тебе говорить. Но мы там помрем со скуки. Ни затей, ни музыки, ни девчонок... Эх! — вздохнул беспечный принц.

— Простите, благородный герцог, но хотя леди Марджори Дуглас, подобно странствующей даме в романах, отправилась взывать о помощи к своему суровому отцу, некая девица, и миловидная, сказал бы я, и, несомненно, моложе герцогини, уже сейчас находится в Фолкленде или же на пути к нему. Вы не забыли, ваше высочество, пертскую красавицу?

— Забыть самую хорошенькую девчонку в Шотландии? Ну нет! Я так же не забыл ее, как ты не

¹ Разумея: «Лучше жить в лесу, чем запираться в крепостях». (Прим. автора.)

забываешь, что сам приложил руку в том деле на Кэрфью-стрит в ночь на святого Валентина.

— Приложил руку, ваше высочество? Вы хотите сказать — потерял руку! Как верно, что мне никогда не получить ее назад, так верно и то, что Кэтрин Гловер находится сейчас в Фолкленде или скоро прибудет туда. Впрочем, не стану льстить вашему высочеству, уверяя, что она ждет там встречи с вами.. Она, сказать по правде, располагает отдаться под покровительство леди Марджори.

— Маленькая предательница! — сказал принц. — Она тоже приняла сторону моих противников? Нужно ее наказать, Рэморни.

— Ваша милость, надеюсь, сделает для нее наказание приятным, — подхватил рыцарь.

— Право, я бы давно стал исповедником крошки, но она всегда дичилась меня.

— Не представлялось случая, милорд, — возразил Рэморни, — да и сейчас не до того.

— Почему? Я совсем не прочь поразвлечься. Но мой отец...

— Его жизни ничто не угрожает, — сказал Рэморни, — и он на свободе, тогда как вашему высочеству...

— Приходится томиться в узах — в узах брака и в узах тюремных... Знаю! А тут еще является Дуглас и ведет за руку свою дочь, столь же надменную, с тем же суровым лицом, как у него самого, только что помоложе.

— А в Фолкленде скучает в одиночестве прелестнейшая девушка Шотландии, — продолжал Рэморни. — Здесь — покаяние и плен, там — радость и свобода.

— Уговорил, мудрейший из советников! — воскликнул Ротсей. — Но запомни, это будет моя последняя шалость.

— Надеюсь, что так, — ответил Рэморни. — Когда вы окажетесь на свободе, долго ли вам примириться с королем? Он все же ваш отец!

— Я ему напишу, Рэморни! Дай сюда все, что нужно для письма... Нет, не могу облечь свои мысли в слова — пиши ты за меня.

— Вы забываете, ваше высочество, — сказал Рэморни, указывая на свой обрубок.

— Ах, опять проклятая твоя рука! Как же быть?

— Если угодно вашему высочеству, — ответил его советчик, — можно воспользоваться рукою аптекаря, мастера Двайнинга. Он пишет лучше всякого монаха.

— Ему известны все обстоятельства? Он в них посвящен?

— Полностью, — ответил Рэморни и, высунувшись в окно, кликнул ждавшего в лодке Двайнинга.

Крадущимся шагом, ступая так тихо, словно боялся раздавить под ногами яйцо, лекарь вошел в зал и, потупив взор, весь съежившись в благоговейном страхе, предстал перед принцем Шотландским.

— Вот, любезный, письменные принадлежности. Я хочу тебя испытать. Ты знаешь, как обстоят дела, представь моему отцу мое поведение как можно благовидней.

Двайнинг сел и, в несколько минут набросав письмо, вручил его сэру Джону Рэморни.

— Смотри ты! Сам дьявол водил твоей рукой, Двайнинг, — сказал рыцарь. — Вы послушайте, мой дорогой господин: «Уважаемый отец мой и высокий государь! Поверьте, только очень важные соображения побудили меня удалиться от вашего двора. Я намерен поселиться в Фолкленде — во-первых, потому, что этот замок принадлежит моему дражайшему дяде Олбени, а мне ли не знать, как хочется вашему королевскому величеству, чтобы я жил с ним в дружбе; во-вторых, потому, что там проживает та, с которой я слишком долго был в разлуке и к которой ныне спешу, чтобы на будущее обменяться с ней обетами неизменной и нежнейшей преданности».

Герцог Ротсей и Рэморни громко рассмеялись, а лекарь, слушавший, как смертный приговор, им же написанное письмо, приободрился, услышав этот смех, поднял глаза, произнес еле слышно свое обычное «хе-хе» и снова смолк, испугавшись, что вышел из границ почтительности.

— Замечательно, — сказал принц, — замечательно! Старик подумает, что речь идет о герцогине Ротсей,

как ее называют. Двайнинг, тебе бы надо быть а *secretis*¹ его святейшества папы, который, говорят, нуждается иногда в писце, умеющем вложить два смысла в одно слово. Подписываю — и получай награду за хитроумие.

— А теперь, милорд, — сказал Рэморни, запечатав письмо и положив его на стол, — садимся в лодку?

— Сперва мой дворецкий соберет мне одежду и все необходимое. И тебе придется еще пригласить моего швеца.

— Времени у нас в обрез, милорд, — сказал Рэморни, — а сборы только возбудят подозрения. Завтра выедут следом ваши слуги с дорожными мешками. А сегодня, я надеюсь, вы удовольствуетесь за столом и в спальне моими скромными услугами.

— Ну нет, на этот раз ты сам забываешь, — сказал принц, коснувшись раненой руки своею тростью. — Запомни, любезный, ты не можешь ни разрезать каплуна, ни пристегнуть кружевной воротник — хорош слуга за столом и в спальне!

Рэморни передернулся от ярости и боли, потому что рана его, хоть и затянулась, была все еще крайне чувствительна, и, когда к его руке притрагивались пальцем, его кидало в дрожь.

— Так угодно будет вашему высочеству сесть в лодку?

— Не раньше, чем я попрошаюсь с лордом констеблем. Ротсей не может, как вор из тюрьмы, улизнуть из дома Эррола. Позови графа сюда.

— Милорд герцог, — вскричал Рэморни, — это ставит наш план под угрозу!

— К черту угрозу, и твой план, и тебя самого!.. Я должен и буду вести себя с Эрролом как требует честь его и моя!

Итак, граф явился на призыв принца.

— Я вас потревожил, милорд, — сказал Ротсей тем тоном благородной учтивости, который он всегда умел принять, — затем, чтобы поблагодарить вас за

¹ Буквально: «для сокровенного» (лат.); здесь — в смысле: личный секретарь.

гостеприимство и ваше милое общество. Как ни приятны они мне были, я должен от них отказаться, так как неотложные дела отзывают меня в Фолкленд.

— Вы, надеюсь, не забыли, ваша милость, — сказал верховный констебль, — что вы под надзором?

— Что значит «под надзором»? Если я узник, так и говорите; если нет, я волен уехать и уеду.

— Я хотел бы, ваше высочество, чтобы вы испросили на эту поездку разрешение его величества. Это вызовет сильное неудовольствие.

— Неудовольствие в отношении вас, милорд, или в отношении меня?

— Я уже сказал: ваше высочество состоите здесь под надзором, но, если вы решаетесь нарушить королевский приказ, мне не дано полномочий — боже упаси! — воспрепятствовать силой вашим намерениям. Я могу только просить ваше высочество ради вашей же пользы...

— Насчет моей пользы лучший судья я сам... Всего хорошего, милорд!

Своенравный принц сошел в лодку вместе с Дvainингом и Рэморни, и, не дожидаясь больше никого, Ивиот оттолкнул от берега суденышко, которое быстро понеслось на веслах и под парусом вниз по реке.

Некоторое время герцог Ротсей был молчалив и, казалось, расстроен; и спутники избегали нарушить его раздумье. Наконец он поднял голову и сказал:

— Мой отец любит шутки, и, когда все кончится, он отнесется к этой проказе не строже, чем она того заслуживает: просто шалость молодого человека, которую он должен принять, как все прежние... Смотрите, господа, вот уже показался над Тэем старый мрачный замок Кинфонс. Расскажи мне, кстати, Джон Рэморни, как удалось тебе вырвать пертскую красавицу из лап твердолобого мэра? Эррол говорил, что сэр Патрик, по слухам, взял ее под свое крыло.

— Правильно, милорд, с намерением отдать ее под защиту герцогини... я хотел сказать — леди Марджори Дуглас. В дубине мэре только и есть, что тупая отвага, а при таком человеке всегда состоит

доверенным лицом какой-нибудь лукавец, к которому он прибегает во всех своих делах и который умеет так внушить ему свою мысль, что рыцарь видит в ней собственную выдумку. Когда мне нужно чего-нибудь от такого деревенщины барона, я обращаюсь к его наперснику — в данном случае к Китту Хеншо, старому шкиперу на Тэе, который смолodu ходил на своем паруснике до самого Кемпвира, за что и пользуется у сэра Патрика Чартериса таким уважением, как если бы побывал в заморских странах. Этого его приспешника я и сделал собственным своим посредником и через него выдвигал всяческие предлоги, чтобы откладывать отъезд Кэтрин в Фолкленд.

— А ради чего?

— Не знаю, разумно ли говорить о том вашему высочеству, вы можете и не одобрить мое мнение... Мне, понимаете, хотелось, чтобы агенты комиссии по расследованию еретических воззрений захватили Кэтрин Гловер в Кинфонсе, ибо наша красавица — своенравная и строптивая вероотступница, и я, понятно, располагал устроить так, чтобы и рыцарь не избежал пени и конфискации по суду комиссии. У монахов давно на него руки чешутся, так как он частенько спорит с ними из-за лососьей десятины.

— А с чего ты захотел разорить рыцаря да заодно отправить на костер молодую красавицу?

— Бросьте, милорд герцог!.. Монахи никогда не сожгут миловидную девчонку. Для старухи это могло бы еще быть опасно. А что касается милорда мэра, как его величают, так если б у него и оттягали два-три акра тучной земли, это только явилось бы справедливым возмездием за дерзость, с какой он храбрился передо мной в храме святого Иоанна.

— По-моему, Джон, такая месть низка, — сказал Ротсей.

— Извините, милорд. Кто не может искать удовлетворения при помощи руки, тот должен пользоваться головой. Однако такая возможность уплыла, когда наш мягкосердечный Дуглас вздумал ратовать за свободу совести; и тут, милорд, у старого Хеншо больше не нашлось возражений, и он отвез красавицу

в Фолкленд, — но не для того, чтоб усладить тоску леди Марджори, как полагали сэр Патрик Чартерис и она сама, а чтобы не пришлось скучать вашему высочеству после псовой охоты в заповеднике.

Снова надолго водворилось молчание. Принц, казалось, глубоко задумался. Наконец он заговорил.

— Рэморни, совесть моя возражает против этого, но, если я изложу тебе свои сомнения, демон софистики, которым ты одержим, опровергнет мои доводы, как бывало не раз. Эта девушка красивей всех, каких я знавал или видывал, за исключением одной; и она тем больше мне по сердцу, что ее черты напоминают.. Элизабет Данбар. Но она, то есть Кэтрин Гловер, помолвлена, должна вот-вот обвенчаться с Генри Оружейником, мастером непревзойденным в своем искусстве и воином несравненной отваги. Довести эту затею до конца — значит слишком горько обидеть хорошего человека.

— Уж не ждете ли вы от меня, ваше высочество, что я стану хлопотать в пользу Генри Смита? — сказал Рэморни, поглядев на свою изувеченную руку.

— Клянусь святым Андреем и его обрубленным крестом, ты слишком часто плачешься о своем несчастье, Джон Рэморни! Другие довольствуются тем, что суют палец в чужой пирог, а ты непременно съешь в него свою руку с запекшейся на ней кровью. Дело свершилось, исправить его нельзя — надо забыть.

— Ну, милорд, вы о нем заводите речь чаще, чем я, — ответил рыцарь, — правда, больше в насмешку, тогда как я... Но если я не могу забыть, я могу молчать.

— Хорошо. Так вот, говорю тебе, совесть моя возражает против этой затеи. Помнишь, как однажды мы с тобой шутики ради пошли послушать проповедь отца Климента, а вернее сказать — посмотреть на прекрасную еретичку, и как он тогда вдохновенно, точно менестрель, говорил о богатом, отбирающем у бедняка единственную овечку?

— Подумаешь, важность какая, — ответил сэр Джон, — если у жены оружейника первый ребенок будет от принца Шотландского! Иной граф сам домо-

гался бы такой чести для своей прекрасной графини! И вряд ли после этого он лишился бы сна!

— Если мне разрешается вставить слово, — сказал лекарь, — я напому, что по древним законам Шотландии таким правом пользовался каждый феодальный лорд в отношении жены своего вассала — хотя многие по недостатку мужественности или из любви к деньгам променивали это свое право на золото.

— Меня не нужно уговаривать, чтобы я отнесся ласково к миловидной женщине. Но Кэтрин всегда была ко мне слишком холодна, — сказал принц.

— Ну, государь мой, — сказал Рэморни, — если вы, юный, красивый и к тому же принц, не знаете, как расположить к себе прелестную женщину, то я молчу.

— Если с моей стороны будет не слишком большой дерзостью снова молвить слово, — вмешался лекарь, — я сказал бы вот что: весь город знает, что Гоу Хром вовсе не избранник самой девицы, отец навязал его ей чуть ли не насильно. Мне доподлинно известно, что она не раз ему отказывала.

— О, если ты можешь нас в этом заверить, тогда другое дело! — сказал Ротсей. — Вулкан тоже был кузнецом, как Гарри Уинд, и он женился на Венере против ее воли, а что из этого вышло, о том рассказывают наши хроники.

— Итак, доброго здоровья и вечной славы леди Венере, — сказал сэр Джон Рэморни, — а также успехов учтивому рыцарю Марсу, дарившему своим вниманием прелестную богиню.

Разговор пошел веселый и пустой. Но герцог Ротсей вскоре дал ему другой поворот.

— Я вырвался, — сказал он, — из душной тюрьмы, но не стало мне веселей. На меня нашла какая-то сонливость, я не сказал бы — неприятная, но похожая на грусть, как бывает, когда мы устанем от трудов или пресытимся наслаждением. Теперь бы музыки, только негромкой, чтобы ласкала слух, а открыть глаза не хотелось бы... Вот был бы истинный дар богов!

— Вы и молвить не успели, ваша милость, и нимфы Тэя показали себя столь же благосклонными, как красавицы на берегу... Слышите?.. Не лютня ли?

— Да, играют на лютне, — сказал, прислушиваясь, герцог Ротсей, — и в необычной манере. Я узнаю эту замирающую каденцию... Гребите к барке, откуда не-сется музыка.

— Это идет вверх по реке старый Хеншо, — крикнул Рэморни. — Гей, капитан!

Корабельщики откликнулись и стали борт о борт с лодкой принца.

— Го-го! Старая приятельница! — провозгласил принц, узнав в музыкантше по лицу, одежде и всем принадлежностям француженку Луизу. — По-моему, я перед тобой в долгу, хотя бы уже потому, что ты из-за меня натерпелась страху в Валентинов день. В нашу лодку! Живо — с лютней, собачонкой, сумочкой и прочим!.. Я тебя поставлю в услужение к даме, которая будет кормить твоего щенка цыплятами и канарейками.

— Полагаю, вы посчитаетесь, ваше высочество... — начал Рэморни.

— Я не хочу считаться ни с чем, кроме своего удовольствия, Джон. Не соизволишь ли и ты считаться с тем же?

— Вы меня, в самом деле, поставите на службу к леди? — спросила певица. — А где она проживает?

— В Фолкленде, — ответил принц.

— О, я наслышана об этой высокородной леди! — сказала Луиза. — И вы, в самом деле, замолвите за меня слово перед вашей царственной супругой?

— Замолвлю, честью клянусь... когда снова приму ее к себе как таковую. Заметь эту оговорку, Джон, — через плечо бросил он Рэморни.

Все, кто был в барке, подхватили новость и, заключив из слов принца, что царственная чета — на пороге примирения, стали уговаривать Луизу воспользоваться выпавшей ей удачей и вступить в свиту герцогини Ротсей. Многие притом стали хвалить ее игру.

Во время этой заминки Рэморни успел шепнуть Двайнингу:

— А ну, подлый раб, сунься с каким-нибудь возражением. Девчонка нам только в обузу. Пошевели мозгами, а я пока перекинусь словом с Хеншо.

— С вашего разрешения, — начал Двайнинг, — я как человек, обучавшийся наукам в Испании и Аравии, позволю себе заметить, милорд, что в Эдинбурге появилась болезнь; небезопасно давать бродяжке приблизиться к вашему высочеству.

— А тебе не все равно? — сказал Ротсей. — Я, может быть, предпочту, чтобы меня отравили чумной заразой, а не лекарствами! Ты непременно должен испортить мне веселье?

Такими словами принц заставил Двайнинга умолкнуть, а сэр Джон Рэморни между тем успел расспросить Хеншо и узнал, что отъезд герцогини Ротсей из Фолкленда содержится пока в строгой тайне и что Кэтрин Гловер прибудет в замок к ночи или наутро, рассчитывая, что там ее примет под свое покровительство благородная леди.

Погруженный снова в глубокую думу, герцог Ротсей принял это сообщение так холодно, что Рэморни счел возможным упрекнуть его.

— Милорд, — сказал он, — вы играете в баловня судьбы. Захотели свободы — и вы свободны. Мечтали о красавице — она ждет вас после небольшой отяжки, чтобы тем драгоценнее стала улада. Даже мимолетные ваши пожелания для судьбы — закон. Вам захотелось музыки, когда казалось, что нет ничего несбыточней, — и пожалуйста, вот вам и лютия и песня. Можно бы нам позавидовать, если бы мы не вели себя как избалованные дети выбрасываем, изломав, игрушки, которых требовали только что, надрываясь от плача.

— Чтобы насладиться удовольствием, Рэморни, — сказал принц, — человек должен сперва помучиться, как надобно поститься, чтобы вкусней показалась еда. Мы, кому стоит пожелать, и получай что хочешь, — нас ничто по-настоящему не радует. Ты видишь ту черную тучу, что вот-вот разразится дождем? Она точно душит меня. Вода в реке кажется темной и мрачной... и берега уже не так хороши...

— Милорд, простите вашего слугу, — сказал Рэморни, — вы слишком подпадаете под власть своего воображения. Так неумелый наездник позволяет го-

рячему коню вставать на дыбы, пока тот не опрокинется назад и не придавить собой всадника. Умоляю вас, стряхните с себя оцепенение. Не попросить ли музыкантшу сыграть нам?

— Пожалуй. Только что-нибудь грустное. Сейчас веселое будет резать мне слух.

Девушка запела печальную песню на нормано-французском языке. Слова, которые мы передаем здесь в вольном переводе, сопровождались напевом таким же заунывным, как они сами.

Вздыхай, вздыхай!
Окинь вокруг прощальным оком
Луг, солнце на небе высоком
Смирись с приспевшим ныне сроком,
И умирай!

Пока епла
Хоть и зпля остается в теле,
Вели, чтобы монахи пели,
Чтобы колокола гудели —
Ведь жизнь прошла

Настал конец
Не бойся же внезапной боли,
За ней озноб и дрожь — не боле,
И вот конец земной юдоли,
И ты мертвец.¹

Принц не сказал, понравилась ли ему музыка, и девушка по кивку Рэморни время от времени вновь принималась наигрывать, пока не смерклось. Пошел дождь, сперва мелкий и теплый, потом проливной, с холодным ветром. Ни плаща, ни кафтана у принца не было. Когда же Рэморни предложил ему свой, он с гневом отказался.

— Не пристало Ротсею ходить в обносках с твоего плеча, сэр Джон! Я продрог до мозга костей от этого мокрого снега, а все по твоей вине. С чего ты вздумал отчалить, не захватив моих слуг и мои вещи?

¹ Перевод С. Петрова.

Рэморни не стал оправдываться: он видел, что принц не в духе, что ему куда приятнее распространяться о своих обидах, чем молча выслушивать оправдания, хотя бы и вполне основательные. Так, среди угрюмого молчания или попреков, на которые никто не возражал, лодка подошла к рыбацкой слободе Ньюбург. Люди сошли на берег, где для них уже стояли под седлом лошади, о чем Рэморни заранее позаботился. Принц принялся высмеивать их перед Рэморни — иногда прямо, но больше колкими намеками. Наконец сели в седла и поскакали в надвигающейся темноте под проливным дождем, причем впереди очертя голову неся принц. Музыкантша, которую по его особому распоряжению тоже посадили на коня, не отставала. Ее счастье, что она привыкла путешествовать во всякую погоду, и пешком и верхом, и потому переносила тяготы ночной поездки не менее стойко, чем мужчины. Рэморни волей-неволей должен был скакать голова в голову с принцем: он опасался, что тот еще вздумает с досады ускакать прочь и, попросив пристанища в доме какого-нибудь верного барона, избежит расставленных сетей. Поэтому он всю дорогу невыразимо страдал и духом и телом.

Наконец они вступили в Фолклендский лес, и в мерцании месяца встала перед ними громадная темная башня — владение самого короля, хотя и предоставленное временно герцогу Олбени. Подали знак, и подъемный мост опустился. Во дворе замерцали факелы, засуетились слуги, и, спешившись с их помощью, принц дал провести себя в покои, где его уже ожидал Рэморни вместе с Двайнингом. Сэр Джон стал уговаривать гостя посоветоваться с врачом. Герцог Ротсей отклонил предложение, высокомерно приказал, чтобы ему приготовили постель, постоял недолго у пылающего очага, весь дрожа в промокшей одежде, и, ни с кем не попрощавшись, удалился в отведенную ему спальню.

— Теперь ты видишь, как он своенравен, этот мальчишка, — сказал Рэморни Двайнингу. — Удив-

ляет ли еще тебя, что столь верному слуге, как я, немало сделавшему для него, надоел такой хозяин?

— Ничуть, — сказал Двайнинг. — Это да еще обещанное Линдорское графство хоть кого заставило бы забыть свою верность. Но мы приступим сегодня же? Если блеск его глаз и румянец на щеках не обманчивы, у пациента начинается лихорадка, которая сильно облегчит нам задачу: покажется, что дело сделано самой природой.

— Хоть мы и упускаем удобный случай, — сказал Рэморни, — но все же лучше повременить. Нанесем удар после того, как он встретится со своей прекрасной Кэтрин. Она явится впоследствии свидетельницей, что видела его в добром здравье и на ногах незадолго до... Ты понял меня?

Двайнинг одобрительно кивнул и добавил:

— Успеем и так! Долго ли увянуть цветку, который чахнет оттого, что ему дали расцвести до времени?

Глава XXXI

Он был, сознаюсь вам, бесстыжий малый,
Пьянчуга, беспардонный весельчак;
Его одно лишь в мире привлекало:
Угар любви, попок, пьяных драк,
Круг знатных бражников и круг простых
гуляк.

*Байрон*¹

Утром герцог Ротсей встал в другом расположении духа. Он, правда, жаловался на жар и озноб, но они его, казалось, нисколько не угнетали, а напротив того — возбуждали. Он говорил с Рэморни дружественно, и, хотя не вспоминал минувшую ночь, было ясно, что он не забыл про то, что хотел бы изгнать из памяти окружающих, — про свои вчерашние капризы. Со всеми он был любезен, а с Рэморни даже шутил насчет ожидаемого приезда Кэтрин.

¹ Перевод Д. Самойлова.

— Как удивится наша прелестная скромница, попав в семью мужчин, когда она ждала увидеть вокруг клобуки да рясы прислужниц этой ханжи, леди Марджори! А ты, Рэморни, я вижу, не жалуешь в своем доме женский пол?

— Да, кроме вашей странствующей музыкантши, вы женщин здесь не увидите. Я держу только двух-трех служанок, без которых уж никак не обойтись. Кстати, ваша французенка настойчиво спрашивает, где же та дама, которой, по обещанию вашего высочества, она должна быть представлена. Прикажете ее отпустить, чтобы она на свободе погонялась за новой своей госпожой?

— Ни в коем случае. Она нам нужна — будет развлекать Кэтрин. Послушай! А не устроить ли нам для строптивой смиренницы небольшой маскарад?

— Не понимаю, милорд.

— Олух ты этакий! Мы не будем ее разочаровывать, и раз она ожидает засиять здесь герцогиню Ротсей, я буду... герцогом и герцогиней в одном лице.

— Мне все-таки невдомек.

— Эх, умник бывает тупее всякого дурака, — сказал принц, — если сразу не уловит, о чем идет речь. Моя герцогиня, как ее величают, так же спешила покинуть Фолкленд, как спешил я с приездом сюда. Мы оба не успели собрать свою одежду: в гардеробной рядом с моей спальней осталось столько женского тряпья, что достало бы на целый карнавал. Послушай, я раскинусь здесь, на этом ложе, изображая собой госпожу Марджори, — в траурном покрывале, в венце скорби обо мне, забывшем супружеский долг! Ты, Джон, прямой и чопорный, отлично сойдешь за ее придворную даму — графиню Гермигильду, гальвегианку; а Двайнинг будет представлять старую ведьму, кормилицу герцогини, — только у той больше волос на верхней губе, чем у Двайнинга на всем лице с теменем в придачу; придется ему для пущего сходства наклеить себе бороду. Приведи судомоек с кухни да подходящих пажей, какие найдутся: мы из них сделаем моих постельниц. Ты слышал? Исполни! не медля!

Рэморни бросился в прихожую и разъяснил лекарю выдумку принца.

— Потешь сумасброда, — сказал он, — а мне, как подумаю, что предстоит нам сделать, хочется поменьше на него смотреть.

— Доверьте все мне, — ответил лекарь и пожал плечами. — Что ж это за мясник, если он способен перерезать горло овце, да страшится услышать ее блеяние?

— Боишься, что я отступлюсь? Нет, я не забуду, что он хотел загнать меня в монастырь, отшвырнуть, как сломанное копье! Пошли!.. Впрочем, постой, прежде чем устраивать дурацкий маскарад, надо что-нибудь предпринять, чтобы обмануть тугодума Чартериса. Если оставить его в уверенности, что герцогиня Ротсей еще здесь и при ней — Кэтрин Гловер, он, чего доброго, явится с предложением своих услуг и прочая в такой час, когда его присутствие, как едва ли я должен тебе объяснять, окажется нам неудобно.. Это не так уж невероятно, ибо в отеческой заботе меднолобого рыцаря о девице многие видят кое-что иное.

— С меня довольно вашего намека, рыцаря я устраню. Такое пошлю ему письмо, что в ближайший месяц в Фолкленд его не заманишь — он скорее согласится поехать в ад. Вы мне не скажете, кто духовник герцогини?

— Уолтиоф, монах-францисканец.

— Достаточно. Сейчас же приступаю.

Не прошло и нескольких минут, как Двайнинг, на редкость быстрый писец, закончил письмо и вручил его Рэморни.

— Чудесно! Ты мог бы найти свое счастье около Ротсея... Впрочем, я из ревности закрыл бы тебе доступ к принцу... когда бы дни его не были сочтены.

— Прочтите вслух, — сказал Двайнинг, — чтобы мы могли судить, то ли это, что надо.

И Рэморни прочитал нижеследующее:

— «По повелению нашей могущественной и высококородной принцессы Марджори, герцогини Ротсей и прочая, мы, Уолтиоф, недостойный брат ордена святого Франциска, извещаем тебя, сэр Патрик Чартерис,

рыцарь из замка Кинфонс, что ее высочество крайне удивила дерзость, с какою ты позволил себе прислать в ее дом женщину, чье поведение мы должны считать весьма легкомысленным, судя по тому, что она, не по-нуждаемая к тому необходимостью, более недели прожила в твоём собственном замке без общества какой-либо другой женщины, не считая прислуги. Об этом непристойном сожительстве прошел слух по Файфу, Ангюсу и Пертширу. Тем не менее ее высочество, видя в сем случае слабость человеческую, не повелела отстегать распутницу крапивой или предать ее иному наказанию, но, поскольку два добрых инока Линдорской обители, брат Тикскал и брат Дандермор, были в ту пору отправлены с особым поручением в Горную Страну, ее высочество препоручила им заботу об оной девице Кэтрин, наказав им сопровождать ее к отцу (каковой, по словам девицы, пребывает в окрестностях Лох-Тэя), ибо под покровом отца она найдет для себя место, более отвечающее ее званию и нраву, нежели замок Фолкленд, доколе в нем пребывает ее высочество герцогиня Ротсей. Она препоручила названным досточтимым братьям обращаться с молодой особой таким образом, чтобы та уразумела всю греховность своей невоздержанности, тебе же советует исповедаться и покаяться. Подписал Уолтиоф по повелению высокородной и могущественной принцессы... и прочая».

— Превосходно, превосходно! — воскликнул Рэморни, дочитав до конца. — Такая неожиданная отповедь взбесит Чартериса! Он издавна относится к герцогине с особенным почтением — и вдруг она заподозрила его в непристойном поведении, когда он ожидал похвалы за милосердное дело! Да это его просто ошеломит, и теперь он (ты правильно рассчитал) не скоро приедет сюда посмотреть, как тут живет девице, или выразить свое почтение миледи... Но ступай, займись маскарадом, а я тем часом подготавливаю то, чем должен маскарад завершиться.

За час до полудня Кэтрин в сопровождении старого Хеншо и конюха, предоставленного ей кинфонским рыцарем, подъехала к гордому замку Фолкленд. Ши-

рокое зная, развевавшееся над башней, носило на себе герб Ротсея, слуги, вышедшие к гостям, были одеты в цвета, присвоенные дому принца, — все, казалось подтверждало, что герцогиня, как думали в народе, еще стояла здесь со своим двором. Сердце Кэтрин тревожно забилося, потому что она слыхала, что герцогиня, как все Дугласы, горда и отважна. Кто знает, как ее примут? Вступив в замок, девушка заметила, что прислуга не столь многочисленна, как она ожидала; но так как герцогиня жила в строгом уединении, это не очень ее удивило. В прихожей ее встретила маленькая старушка, которая согнулась чуть ли не пополам под тяжестью годов и шла, опираясь на посох черного дерева.

— Привет тебе, моя красавица, — сказала она с поклоном. — Привет тебе в этом доме скорби. И я надеюсь, — она снова поклонилась, — ты будешь утешением моей бесценной и поистине царственной дочери — герцогине. Посиди, дитя мое, пока я схожу узнаю, расположена ли миледи принять тебя сейчас. Ах, дитя мое, ты и в самом деле куда как хороша, если дала тебе пречистая душа такую же прекрасную, как твое лицо!

С этими словами мнимая старуха проскользнула в соседний покой, где застала Ротсея в приготовленном для него женском наряде, а Рэморни, отказавшегося от маскарада, — в его обычном одеянии.

— Ты отъявленный подлец, сэр доктор, — сказал принц. — Честное слово, мне кажется, в душе ты не прочь разыграть один все роли в пьесе — любовника и всех остальных.

— С готовностью, если этим я могу избавить от хлопот ваше высочество, — ответил лекарь с обычным своим сдавленным смешком.

— Нет, нет, — сказал Ротсей, — здесь мне твоя помощь не понадобится. Скажи, как я выгляжу, раскинувшись вот так на ложе? Томная, скучающая леди, а?

— Пожалуй, слишком худошавая, — заметил лекарь, — и черты лица, позволю я себе сказать, слишком женственны для леди Дуглас.

— Вон отсюда, негодяй! Введи сюда эту прелестную ледяную сосульку. Не бойся, она не пожалуется на мою женственность... И ты, Рэморни, тоже удались

Когда рыцарь выходил из покоев в одну дверь, мнимая старуха впустила в другую Кэтрин Гловер. Комната была тщательно затемнена, так что у девушки, когда она увидела в полумраке на ложе женскую фигуру, не зародилось никаких подозрений.

— Это и есть та девица? — спросил Ротсей своим приятным голосом, нарочито смягченным сейчас до певучего шепота, — пусть подойдет, Гризельда, и поцелует нам руку.

Мнимая кормилица герцогини подвела дрожащую девушку к ложу и сделала ей знак опуститься на колени. Кэтрин исполнила указание и благоговейно и простосердечно поцеловала одетую в перчатку руку, которую протянула ей мнимая герцогиня.

— Не бойся, — сказал тот же музыкальный голос, — ты видишь во мне только печальный пример тщеты человеческого величия... Счастливы те, дитя мое, кто по своему рождению стоит так низко, что бури, потрясающие государство, его не затрагивают.

Говоря это, принц обнял Кэтрин и привлек девушку к себе, словно желая ласково приветствовать ее. Но поцелуй был чересчур горяч для высокородной покровительницы, и Кэтрин, вообразив, что герцогиня сошла с ума, вскрикнула от страха.

— Тише, глупышка! Это я, Давид Ротсей.

Кэтрин оглянулась — кормилицы нет, а Ротсей сорвал с себя покрывало, и она поняла, что оказалась во власти дерзкого, распутного юнца.

— С нами сила господня! — сказала девушка. — Небо не оставит меня, если я не изменю себе сама.

Придя к такому решению, она подавила невольный крик и постаралась, как могла, скрыть свой страх.

— Вы сыграли со мной шутку, ваше высочество, — сказала она твердо, — а теперь я попрошу вас (он все еще держал ее за плечи) отпустить меня.

— Нет, моя прелестная пленница, не отбивайся! Чего ты боишься?

— Я не отбиваюсь, милорд. Раз вам желательно меня удерживать, я не стану сопротивлением дразнить вас, давая вам повод дурно со мной обойтись; от этого вам будет больно самому, когда у вас найдется время подумать.

— Как, предательница! Ты сама держала меня в плену много месяцев, — сказал принц, — а теперь не позволяешь мне удержать тебя здесь хотя бы на краткий миг?

— На улицах Перта, где я могла бы, смотря по желанию, слушать или не слушать вас, это означало бы, милорд, учтливое внимание с вашей стороны, здесь — это тирания.

— А если я тебя отпущу, — сказал Ротсей, — куда ты побежишь? Мосты подняты, решетки спущены, а мои молодцы окажутся глухи к писку строптивой девчонки. Лучше будь со мною любезна, и ты узнаешь, что значит сделать одолжение принцу.

— Отпустите меня и выслушайте, милорд, мою жалобу вам на вас же самого — жалобу принцу Шотландскому на герцога Ротсея! Я дочь незнатного, но честного горожанина, и я невеста, почти жена, храброго и честного человека. Если чем-либо дала я повод вашему высочеству поступать, как вы поступаете, я это сделала непреднамеренно. Молю вас, не злоупотребляйте вашей властью надо мною, дайте мне уйти. Вам ничего от меня не добиться иначе, как средствами, недостойными рыцаря и мужчины.

— Ты смела, Кэтрин, — сказал принц, — но как мужчина и рыцарь я не могу не поднять перчатку. Я должен показать тебе, как опасны такие вызовы.

С этими словами он попытался снова обнять ее, но она выскользнула из его рук и продолжала так же твердо и решительно:

— Отбиваясь, милорд, я найду в себе не меньше силы для честной обороны, чем вы в себе — для бесчестного нападения. Не позорьте же и себя и меня, прибегая к силе в этой борьбе. Вы можете избить и оглушить меня; можете позвать на помощь других, чтобы меня одолеть; но иным путем вы не достигнете цели.

— Каким скотом изобразила ты меня! — сказал принц. — Коли я и применил бы силу, то лишь в самой малой мере. Просто чтоб у женщины было извинение перед самой собою, когда она уступит собственной слабости.

Взволнованный, он сел на своем ложе.

— Так поберегите вашу силу для тех женщин, — сказала Кэтрин, — которые нуждаются в таком извинении. Я же противлюсь со всей решимостью, как тот, кому дорога честь и страшен позор. Увы, милорд, если б вы добились чего хотели, вы только разорвали бы узы между мною и жизнью... между самим собою и честью. Меня заманили сюда как в западню, — уж не знаю, какими кознями. Но если я выйду отсюда обесчещенная, я на всю Европу ославлю того, кто разбил мое счастье. Я возьму посох паломника и повсюду, где чтут законы рыцарства, где слышали слово «Шотландия», прокричу, что потомок ста королей, сын благочестивого Роберта Стюарта, наследник героического Брюса показал себя человеком, чуждым чести и верности; что он недостоин короны, которая ждет его, и шпор, которые он носит. Каждая дама в любой части Европы будет считать ваше имя столь черным, что побоится испачкать им свои уста; каждый благородный рыцарь станет считать вас отъявленным негодяем, изменившим первому завету воина — оберегать женщину, защищать слабого.

Ротсей глядел на нее, и на его лице отразились досада и вместе с тем восхищение.

— Ты забываешь, девушка, с кем говоришь. Знай, отличие, которое я тебе предложил, с благодарностью приняли бы сотни высокородных дам, чей шлейф тебе не зазорно нести.

— Скажу еще раз, милорд, — возразила Кэтрин, — поберегите ваши милости для тех, кто их оценит, а еще лучше вы сделаете, если отдадите время и силы другим, более благородным устремлениям — защите родины, заботе о счастье ваших подданных. Ах, милорд! С какой готовностью ликующий народ назвал бы вас тогда своим вождем! Как радостно сплотился бы он вокруг вас, если бы вы пожелали стать во гла-

ве его для борьбы с угнетением слабого могущественным, с насилием беззаконника, с порочностью совратителя, с тиранией лицемера!

Жар ее слов не мог не подействовать на герцога Ротсея, в ком было столь же легко пробудить добрые чувства, как легко они в нем угасали.

— Прости, если я напугал тебя, девушка, — сказал он. — Ты слишком умна и благородна, чтобы делать из тебя игрушку минутной утехы, как я хотел в заблуждении. И все равно, даже если бы твое рождение отвечало твоему высокому духу и преходящей красоте, — все равно я не могу отдать тебе свое сердце; а только отдавая свое сердце, можно домогаться благосклонности таких, как ты. Но мои надежды растоптаны, Кэтрин! Ради политической игры от меня отторгли единственную женщину, которую я любил в жизни, и навязали мне в жены ту, которую я всегда ненавидел бы, обладай она всей прелестью и нежностью, какие одни лишь и могут сделать женщину приятной в моих глазах. Я совсем еще молод, но мое здоровье увяло; мне остается только срывать случайные цветы на коротком пути к могиле... Взгляни на мой лихорадочный румянец, проверь, если хочешь, какой у меня прерывистый пульс. Пожалей меня и прости, если я, чьи права человека и наследника престола попорчены и узурпированы, не всегда достаточно считаюсь с правами других и порой, как себялюбца, спешу потешить свою мимолетную прихоть.

— Ах, господин мой! — воскликнула Кэтрин с присущей ей восторженностью. — Да, мне хочется называть вас моим дорогим господином... потому что правнук Брюса поистине дорог каждому, кто зовет Шотландию своей матерью. Не говорите, молю вас, не говорите так! Ваш славный предок претерпел изгнание, преследование, ночь голода и день неравной борьбы, чтобы освободить свою страну, — проявите подобное же самоотречение, чтобы освободить самого себя. Порвите со всяким, кто прокладывает себе дорогу к возвышению, потакая вашим безрассудствам. Не доверяйте этому черному Рэморни!.. Я уверена,

вы этого не знали... не могли знать... Но негодяй, который склонял дочь на путь позора, грозя ей жизнью старика отца,— такой человек способен на все дурное... на любое предательство!

— Рэморни тебе этим угрожал? — спросил принц.

— Угрожал, господин мой, и он не посмеет это отрицать.

— Это мы ему припомним, — сказал герцог Ротсей. — Я его разлюбил; но он тяжело пострадал из-за меня, и я должен честно оплатить его услуги.

— Его услуги? Ах, милорд, если правду рассказывают летописи, такие услуги привели Трою к гибели и отдали Испанию во власть неверных!

— Тише, девочка! Прошу, не забывайся, — сказал принц, вставая. — На этом наша беседа кончена.

— Одно только слово, мой государь, герцог Ротсей! — сказала Кэтрин с воодушевлением, и ее красивое лицо загорелось, как лик ангела — провозвестника бедствий. — Не знаю, что побуждает меня говорить так смело, но горит во мне огонь и рвется наружу. Оставьте этот замок, не медля ни часа! Здешний воздух вреден для вас. Прежде чем день состарится на десять минут, отпустите Рэморни! Его близость опасна.

— Какие у тебя основания так говорить?

— Никаких особенных, — ответила Кэтрин, устыдившись горячности своего порыва, — никаких как будто, кроме страха за вашу жизнь.

— Пустому страху потомок Брюса не может придавать значения... Эй, что такое? Кто там?

Рэморни вошел и низко поклонился сперва герцогу, потом девушке, в которой он, может быть, уже видел возможную фаворитку наследника, а потому счел уместным отдать ей учтивейший поклон.

— Рэморни, — сказал принц, — есть в доме хоть одна порядочная женщина, которая могла бы прислуживать юной даме, пока мы получим возможность отправить ее, куда она пожелает?

— Если вашему высочеству угодно услышать правду, — ответил Рэморни, — ваш двор, боюсь я, в

этом отношении небогат; откровенно говоря, приличней бродячей певицы тут у нас никого не найдется.

— Так пусть она и прислуживает этой молодой особе, раз нет камеристки получше. А тебе, милая девушка, придется набраться терпения на несколько часов.

Кэтрин удалилась.

— Как, милорд, вы так быстро расстаетесь с пертской красавицей? Вот уж действительно — прихоть победителя!

— В этом случае не было ни победителя, ни побежденной, — ответил резко принц. — Девушке я не люб, а сам я не настолько люблю ее, чтобы терзаться из-за ее щепетильности.

— Целомудренный Малькольм Дева, оживший в одном из своих потомков! — сказал Рэморни.

— Сделайте милость, сэръ, дайте передохнуть вашему острословию или же изберите для него другой предмет. Я думаю, уже полдень, и вы меня очень обяжете, если распорядитесь подать обед.

Рэморни вышел из комнаты, но Ротсей приметил на его лице улыбку; а стать для этого человека предметом насмешки — такая мысль была для него пыткой. Все же он пригласил рыцаря к столу и даже удостоил той же чести Двайнинга. Пошла беседа, живая и несколько фривольная, — принц нарочно держался легкого тона, словно стремясь вознаградить себя за давешнее свое благонаравие, которое Рэморни, начитанный в старинных хрониках, имел наглость сравнить с воздержанностью Сципиона.

Несмотря на недомогание герцога, трапеза проходила в веселых шутках и отнюдь не отличалась умеренностью; и просто потому ли, что вино было слишком крепким, потому ли, что сам он был слаб, или же — и это всего вероятней — потому, что в его последнюю чашу Двайнинг чего-то подсыпал, но случилось так, что принц к концу трапезы погрузился в сон, такой тяжелый и глубокий, что, казалось, его не разбудишь. Сэр Джон Рэморни и Двайнинг отнесли спящего в опочивальню, призвав на помощь еще одного человека, имя которого мы не будем пока называть.

На другое утро было объявлено, что принц заболел заразной болезнью; а чтоб она не перешла на других обитателей замка, никто не допускался к уходу за больным, кроме его бывшего конюшего, лекаря Двайнинга и упомянутого выше слуги; кто-либо из троих неотлучно находился при больном, другие же строго соблюдали всяческую осторожность в сношениях с домочадцами, поддерживая в них убеждение, что принц опасно болен и что болезнь его заразна.

Глава XXXII

Когда тебе случится коротать
Со стариками долгий зимний вечер
У очага и слушать их рассказы
О бедствиях времен давно минувших, —
Ты Расскажи им повесть обо мне.

«Ричард II», акт V, сц. 1¹

Судьба распутного наследника шотландского престола была совсем другой, чем это представили населению города Фолкленда. Честолюбивый дядя обрек его на смерть, решив убрать с дороги первую и самую опасную преграду и расчистить путь к престолу для себя и своих детей. Джеймс, младший сын короля, был совсем еще мальчик — со временем, думалось, можно будет без труда устранить и его. Рэморни, в надежде на возвышение и в обиде на своего господина, овладевшей им с недавних пор, был рад содействовать гибели молодого Ротсея. А Двайнинга с равной силой толкали на то любовь к золоту и злобный нрав. Было заранее с расчетливой жестокостью решено старательно избегать тех способов, какие могут оставить за собой следы насилия: жизнь угаснет сама собой, когда хрупкий и нестойкий организм еще более ослабевает, лишенный заботливой поддержки. Принц Шотландский не будет умерщвлен — он, как сказал

¹ Перевод М. Донского.

однажды Рэморни применительно к другому лицу, только «перестанет жить».

Опочивальня Ротсея в фолклендской башне была как нельзя более приспособлена для осуществления преступного замысла. Люк в полу открывался на узкую лесенку, о существовании которой мало кто знал и которая вела в подземную темницу: этой лесенкой феодальный владетель замка пользовался, когда втайне и переодетый навещал своих узников. И по ней же злодеи снесли бесчувственного принца в самое нижнее подземелье, запрятанное в такой глубине, что никакие крики и стоны, полагали они, не донесутся оттуда; двери же и засовы были настолько крепки, что долго могли устоять против всех усилий, если потайной ход будет обнаружен. Бонтрон, ради того и спасенный от виселицы, стал добровольным помощником Рэморни в его беспримерно жестокой мести своему совращенному и проданному господину.

Презренный негодяй вторично навел в темницу в час, когда оцепенение начало проходить и принц, очнувшись, почувствовал мертвящий холод и убедился, что не может пошевелиться, стесненный оковами, едва позволявшими ему сдвинуться с прелой соломы, на которую его положили. Его первой мыслью было, что это страшный сон, но на смену пришла смутная догадка, близкая к истине. Он звал, кричал, потом бешено взывал — никто не приходил на помощь, и только эхо под сводами темницы отвечало на зов. Приспешник дьявола слышал эти вопли муки и нарочно мешкал, взвешивая, достаточно ли они вознаграждают его за те уколы и попреки, которыми Ротсей выражал ему, бывало, свое инстинктивное отвращение. Когда несчастный юноша, обессилив и утратив надежду, умолк, негодяй решил предстать пред своим узником. Он отомкнул замки, цепь упала. Принц привстал, насколько позволяли оковы. Красный свет, так ударивший в глаза, что он невольно зажмурился, заструился сверху, сквозь своды; и, когда он снова поднял веки, свет озарил отвратительный образ человека, которого он имел основания считать умершим. Узник отшатнулся в ужасе.

— Я осужден и отвержен! — вскричал он. — И самый мерзкий демон преисподней прислан мучить меня!

— Я жив, милорд, — сказал Бонтрон, — а чтоб вы тоже могли жить и радоваться жизни, соизвольте сесть и ешьте ваш обед.

— Сними с меня кандалы, — сказал принц, — выпусти меня из темницы, и хоть ты и презренный пес, ты станешь самым богатым человеком в Шотландии.

— Дайте мне золота на вес ваших оков, — сказал Бонтрон, — и я все же предпочту видеть на вас кандалы, чем овладеть сокровищем... Смотрите!.. Вы любили вкусно поесть — гляньте же, как я для вас постарался.

С дьявольской усмешкой негодяй развернул кусок невыделанной шкуры, прикрывавший предмет, который он нес под мышкой, и, поводя фонарем, показал несчастному принцу только что отрубленную бычью голову — знак непреложного смертного приговора, понятный в Шотландии каждому. Он поставил голову в изножье ложа, или, правильней сказать, подстилки, на которую бросили принца.

— Будьте умеренны в еде, — сказал он, — вряд ли скоро вы снова получите обед.

— Скажи мне только одно, негодяй, — сказал принц, — Рэморни знает, как со мной обращаются?

— А как бы иначе ты угодил сюда? Бедный кулик, попался ты в силки! — ответил убийца.

После этих слов дверь затворилась, загремели засовы, и несчастный принц вновь остался во мраке, одиночестве и горе.

— О, мой отец! Отец! Ты был провидцем!.. Посох, на который я опирался, и впрямь обернулся копьем. .

Мы не будем останавливаться на потянувшихся долгой чередой часах и днях телесной муки и безнадежного отчаяния.

Но неужодно было небу, чтобы такое великое преступление свершилось безнаказанно.

О Кэтрин Гловер и певице никто не думал — было не до них: казалось, всех только и занимала болезнь принца; однако им обоим не дозволили выходить за

стѣны замка, пока не выяснится, чем разрешится опасный недуг и впрямь ли он заразителен. Лишенные другого общества, две женщины если не сдружились, то все же сблизились, и союз их стал еще теснее, когда Кэтрин узнала, что перед нею та самая девушка-менестрель, из-за которой Генри Уинд навлек на себя ее немилость. Теперь она окончательно уверилась в его невинности и с радостью слушала похвалы, которые Луиза щедро воздавала своему рыцарственному заступнику. С другой стороны, музыкантша, сознавая, насколько превосходит ее Кэтрин и по общественному положению и нравственной силой, охотно останавливалась на предмете, который был ей, видимо, приятен, и, исполненная благодарности к храброму кузнецу, пела песенку «О верном и храбром», издавна любимую шотландцами:

О, верный мой,
О, храбрый мой!
Он ходит в шапке голубой,
И как душа его горда,
И как рука его тверда!
Хоть общите целый свет —
Нигде такого парня нет!

Есть рыцари из многих стран —
Француз и гордый алеман,
Что не страшатся тяжких ран;
Есть вольной Англии бойцы,
Стрелки из лука, молодцы,
Но нет нигде таких, как мой,
Что ходит в шапке голубой ¹

Словом, хотя при других условиях дочь пертского ремесленника не могла бы добровольно разделять общество какой-то странствующей певицы, теперь, когда обстоятельства связали их, Кэтрин нашла в Луизе смиренную и услужливую подругу.

Так прожили они дней пять, и, стараясь как можно меньше попадаться людям на глаза, а может быть,

¹ Перевод Д. Самойлова.

избегая неучтывого внимания челяди, они сами готовили себе пищу в предоставленном им помещении. Луиза, как более опытная в разных уловках и смелая в обхождении, да и желая угодить Кэтрин, добровольно взяла на себя общение с домочадцами, поскольку оно было необходимо, и получала от ключника припасы для их довольно скудного обеда, который она стряпала со всем искусством истинной француженки.

На шестой день, незадолго до полудня, певица, как всегда, пошла за провизией и, желая подышать свежим воздухом, а может быть, и в надежде найти немного салату или петрушки или хоть нарвать букетик ранних цветов, чтоб украсить ими стол, забрела в маленький сад, прилегавший к замку. Она вернулась в башню бледная как пепел и дрожа как осинный лист. Ужас ее мгновенно передался Кэтрин, и та с трудом нашла слова, чтобы спросить, какое новое несчастье свалилось на них:

— Герцог Ротсей умер?

— Хуже — его морят голодом.

— Ты сошла с ума!

— Нет, нет, нет! — возразила Луиза чуть слышно, и слова посыпались так быстро одно за другим, что Кэтрин едва улавливала их смысл.

— Я искала цветов на ваш стол, потому что вчера вы сказали, что любите цветы... А моя собачка кинулась в чашу тиса и остролиста — там ими поросли какие-то старинные руины рядом с крепостной стеной, — а потом она прибежала назад, визжа и скуля. Я подкралась ближе — узнать, в чем дело, и... ох!.. я услышала стон, точно кого-то страшно мучают, но такой слабый, что, казалось, звук идет из самой глубины земли. Наконец я открыла, что стон доносится сквозь небольшую пробоину в стене, увитой плющом; и, когда я приложила ухо к щели, я услышала голос принца, который сказал отчетливо: «Теперь мне недолго осталось тянуть», а потом он начал как будто молиться.

— Силы небесные!.. Ты с ним говорила?

— Я сказала: «Это вы, милорд?» И он ответил: «Кто это в издевку называет меня так?» Я спросила,

не могу ли я чем-нибудь ему помочь, и он ответил таким голосом, что я в жизни не забуду: «Еды!.. еды!.. Я умираю с голоду!» И вот я прибежала рассказать вам. Что делать?.. Поднять тревогу в доме?

— Увы! Этим мы не спасем его, а лишь вернее погубим,— сказала Кэтрин.

— Так что же нам делать? — спросила Луиза.

— Еще не знаю, — отозвалась Кэтрин, быстрая и смелая в решительный час, хотя в обыденных случаях жизни она уступала своей товарке в находчивости. — Сейчас еще не знаю... Но что-то мы сделать должны: нельзя, чтобы потомок Брюса умер, не получив ни откуда помощи.

С этими словами она схватила небольшую миску с их обедом — бульоном и вареным мясом, завернула в складки своего плаща несколько коржиков, которые сама испекла, и, кивнув подруге, чтобы та прихватила кувшин с молоком — существенную часть их припасов, — поспешно направилась в сад.

— Что, нашей прекрасной весталке захотелось погулять? — сказал единственный повстречавшийся им человек — кто-то из челяди.

Но Кэтрин прошла, не глянув на него, и вступила без помехи в сад.

Луиза указала ей на груды заросших кустами развалин у самой крепостной стены. Вероятно, раньше это был выступ здания. Здесь заканчивалась узкая, глубокая пробоина, которая была нарочно сделана в стене, чтобы дать доступ воздуху в подземелье. Но отверстие потом несколько расширилось и пропускало тусклый луч света в темницу, хотя те, кто спускался в подземелье, светя зажженным факелом, не могли этого заметить.

— Мертвая тишина, — сказала Кэтрин, прислушавшись с минутой. — Небо и земля! Он умер!

— Надо на что-то решиться, — сказала ее товарка и провела пальцами по струнам своей лютни.

Из глубины подземелья донесся в ответ только вздох. Кэтрин отважилась заговорить:

— Это я, милорд... Я принесла вам еду и питье.

— Ха! Рэморни?.. Ты опоздал со своей шуткой — я умираю, — был ответ.

«Он повредился в уме — и неудивительно, — подумала Кэтрин. — Но пока есть жизнь, есть и надежда».

— Это я, милорд, Кэтрин Гловер... Я принесла еду, только нужно как-нибудь передать ее вам.

— Бог с тобой, девушка! Я думал, страдание кончилось, но оно вновь разгорелось во мне при слове «еда».

— Вот она, еда. Но как — ах, как мне передать ее вам? Щель такая узкая, стена такая толстая!.. Есть способ!.. Нашла!.. Луиза, скорей: срежь мне ивовый прут, да подлиннее.

Музыкантша повиновалась, и Кэтрин, сделав надрез на конце тростинки, передала узнику несколько кусочков печенья, смоченного в мясном бульоне, что должно было служить сразу едой и питьем.

Несчастный юноша съел совсем немного, глотая через силу, но от души благословлял свою утешительницу.

— Я хотел сделать тебя рабой моих пороков, — сказал он, — а ты пытаешься спасти мне жизнь!.. Но беги, спасайся сама!

— Я вернусь и принесу еще еды, как только будет возможность, — сказала Кэтрин и отпрянула, потому что подруга уже дергала ее за рукав, сделав ей знак молчать.

Обе спрятались среди развалин и слышали голоса Рэморни и аптекаря, разговаривавших с глазу на глаз.

— Он крепче, чем я думал, — сказал первый хриплым шепотом. — Как долго тянул Дэлвулзи, когда рыцарь Лиддсдейл держал его узником в замке Эрмитаж?

— Две недели, — ответил Двайнинг. — Но он был крепкий мужчина и получал кое-какую поддержку: к нему сыпались понемногу зерна из житницы над его тюрьмой.¹

¹ Уильям Дуглас, владетель Гэллоуэя, злобствуя на сэра Александра Рэмзи из Далхоузи за то, что тот получил должность шерифа в Тевинотдейле, на которую высокомерный барон метил

— А не лучше ли разделаться сразу? Черный Дуглас завернет сюда дорогой. Едва ли Олбени поделился с ним своею тайной. Он захочет увидеть принца — к его приезду все должно быть кончено.

Они прошли дальше, продолжая свой страшный разговор.

— Скорее в башню! — сказала Кэтрин подруге, когда те вышли из сада. — У меня был придуман план бегства для себя самой — я применю его для спасения принца. Под вечер в замок является молочница, и, когда проходит с молоком в кладовую к ключнику, она обычно оставляет свой плащ в сенях. Возьми этот плащ, хорошенько в него укутайся и смело иди мимо стражника. К этому часу он всегда пьян. Держись уверенно, и ты свободно пройдешь под видом молочницы, тебя не окликнут ни в воротах, ни на мосту. А там — прямо навстречу Черному Дугласу! Ближе нет никого, он единственная наша надежда.

— Как! Тот жестокий лорд, — испугалась Луиза, — что угрожал мне плетью и позорным столбом?

— Поверь, — сказала Кэтрин, — такие, как мы с тобой, не живут и часу в памяти Дугласа, посулил ли он зло или добро. Скажи ему, что его зять, принц Шотландский, умирает в замке Фолкленд, что предатели морят его голодом, и ты не только будешь прощена, но и получишь награду.

— О награде я не думаю, — сказала Луиза. — Самое дело будет мне наградой. Но, боюсь я, оставаться опасней, чем бежать... Позвольте же мне остаться и кормить несчастного принца, а вы идите и пришлите ему помощь. Если меня убьют раньше, чем вы возвратитесь, возьмите себе мою бедную лютню... и прошу вас, приютите у себя моего маленького Шарло.

— Нет, Луиза, — возразила Кэтрин, — в странствии ты опытней меня, и твоя лютня тебе защитой... Иди и, если, воротившись, найдешь меня мертвой, что

сам, захватил его в Хоуике при исполнении им своих обязанностей и держал в заточении в замке Эрмитаж, пока он не умер с голоду в июне 1342 года. О зернах, сыпавшихся к нему из закромов, упоминает в своей хронике Годскрофт (стр. 75). (Прим. автора.)

вполне возможно, отдай моему отцу это кольцо и прядь моих волос и скажи, что Кэтрин умерла, спасая Брюсову кровь. А эту вторую прядь отдашь Генри. Скажи ему, что Кэтрин думала о нем в свой последний час; и еще скажи: он считал ее слишком строгой, когда дело шло о том, чтобы лить чужую кровь, но теперь он видит — она судила так не потому, что слишком дорожила своей собственной.

Девушки обнялись, рыдая, и оставшиеся до вечера часы провели, придумывая более удобный способ снабжать узника едой. Они соорудили трубку из полых тростинок, вставив их одна в другую, чтобы по этой трубке передавать ему жидкую пищу. Церковный колокол в Фолкленде зазвонил к вечерне. Доильщица с сыроварни пришла со своими кувшинами — снабдить молоком жителей замка да посудачить о новостях. Едва вошла она в кухню, как девушка-менестрель, на прощание кинувшись Кэтрин на грудь и покаявшись в неизменной верности, тихонько спустилась по лестнице со своей собачонкой под мышкой. Минутой позже Кэтрин, затаив дыхание, увидела, как музыкантша, укутанная в плащ молочницы, спокойно прошла подъемным мостом.

— Нынче ты рановато возвращаешься, Мэй Бриджет, — сказал стражник. — Скучно в замке, а, девочка?.. О болезнях-то говорить не весело...

— Расчетные палочки свои забыла, — сказала находчивая француженка, — я еще вернусь, вот только сливок соберу горшочек.

Она пошла дальше, обойдя стороной деревню Фолкленд, по тропинке, что вела охотничьим парком. Кэтрин вздохнула свободней и благословила небо, когда ее фигурка растаяла вдали. Еще один тревожный час пришлось пережить Кэтрин до того, как открылся побег. Произошло это, когда молочница, потратив час на дело, которое можно бы сладить за десять минут, собралась уходить и обнаружила, что кто-то унес ее серый суконный плащ. В поисках подняли на ноги весь дом. Наконец женщины на поварне вспомнили о музыкантше и высказали догадку, что она, пожалуй, не побрезговала бы обменять свой

старый плащ на новенький. Стражник по строгому допросу объявил, что молочница ушла из замка сразу, как прозвонили к вечерне, — он видел ее своими глазами. А так как сама молочница стала это отрицать, то он нашел только одно объяснение: не иначе, как сам черт принял ее обличье.

Однако, когда обнаружилось, что и потешницу не найти, загадка была легко разгадана, и дворецкий отправился известить сэра Джона Рэморни и Двайнинга, которые были теперь неразлучны, что одна из их пленниц скрылась. У виновного каждая мелочь возбуждает подозрение. Они переглянулись в унынии и пошли вдвоем в убогую комнату Кэтрин, чтобы захватить ее по возможности врасплох и выведать все обстоятельства, связанные с побегом Луизы.

— Где твоя приятельница, женщина? — сказал Рэморни с непреклонной суровостью в голосе.

— У меня здесь нет никаких приятельниц, — ответила Кэтрин.

— Не дури! — отрезал рыцарь. — Я говорю о потешнице, которая последние дни жила с тобою здесь, в этой комнате.

— Она, мне сказали, ушла, — возразила Кэтрин. — Говорят, час назад.

— А куда? — спросил Двайнинг.

— Как могу я знать, — отвечала Кэтрин, — куда вздумается пойти бродяжке? Наскучила, верно, одинокой жизнью, так не похожей на пиры и танцы, которые она привыкла посещать, раз уж таков ее промысел... Девчонка сбежала, и удивляться можно только одному — что она тут пробыла так долго.

— И это все, — озлился Рэморни, — что ты можешь нам сказать?..

— Это все, что я могу вам сказать, сэр Рэморни, — ответила твердо Кэтрин. — И если сам принц придет с вопросом, я ничего не смогу добавить.

— Едва ли грозит опасность, что он снова окажет вам честь личной беседой, — сказал Рэморни, — даже если Шотландия не будет повергнута в скорбь печальным исходом его болезни.

— Разве герцог Ротсей так опасно болен? — спросила Кэтрин.

— Врачи бессильны. Только небо может его спасти, — ответил Рэморни и возвел глаза к потолку.

— Значит, будем уповать на небо, — сказала Кэтрин, — если люди бессильны помочь!

— Аминь! — сказал Рэморни самым набожным тоном; а Двайнинг постарался состроить скорбное лицо, хотя ему, видно, стоило мучительной борьбы подавить глухой, но торжествующий смешок, который неизменно вызывала у него религиозность других.

— И это люди! Люди, живущие на земле, а не демоны во плоти, вот так взывающие к небу, в то время как сами пьют по капле кровь своего несчастного господина! — шептала Кэтрин, когда допросчики ушли от нее ни с чем. — И гром их не сразит!.. Но нет, он скоро грянет и... и принесет, надеюсь, не только кару, но и спасение!

Только в обеденные часы, когда вся челядь занята едой, можно будет, полагала Кэтрин, без большой опасности пробраться к бреши в стене. Наутро, выжидая этого часа, она наблюдала необычное оживление в замке, где со времени заключения герцога Ротсея царила могильная тишина. Решетки ворот поднимались и опускались и скрип подъемного механизма сменялся стуком копыт, когда выезжали или возвращались закованные в латы всадники на загнанных и взмыленных конях. Она заметила также, что те немногие слуги, которых она время от времени видела из своего окна, были все при оружии. Сердце девушки радостно билось, так как все это предвещало близкое спасение; к тому же благодаря переполоху маленький садик стал и вовсе безлюден. Наконец наступил полуденный час. Сославшись просто на свою прихоть (которой ключник был, как видно, склонен потакать), она заранее позаботилась, чтобы ей прислали такую еду, какую было бы удобнее всего передать несчастному узнику. Она попробовала шепотом известить о своем приходе.. Ответа нет... Она заговорила громче. Все то же молчание.

— Уснул... — проговорила она вполголоса и вздрогнула, а затем и громко вскрикнула, когда голос за ее спиной отозвался:

— Да, уснул... навеки.

Она оглянулась. Сэр Джон Рэморни стоял за нею в полном вооружении, но с поднятым забралом, и его лицо говорило о том, что этот человек приготовился скорее умереть, чем сражаться. Голос его звучал спокойно и ровно — так мог бы говорить сторонний наблюдатель захватывающих событий, а не участник их и устроитель.

— Кэтрин, — сказал он, — я говорю тебе правду: он мертв... Ты сделала для него все, что могла... Больше ты ничего сделать не можешь.

— Не верю... не могу поверить! — вскричала Кэтрин. — Небо милосердное! Усомнишься в провидении, как подумаешь, что свершилось такое великое преступление!

— Не сомневайся в провидении, Кэтрин: оно лишь допустило, что распутник пал жертвой своего же умысла. Ступай за мной — я объявлю тебе нечто касающееся лично тебя. Сказано, следуй за мной (девушка колебалась), если не предпочтешь, чтобы я отдал тебя на милость скота Бонтрона и лекаря Хенбейна Двайнинга.

— Иду за вами, — сказала Кэтрин. — Вы не причините мне больше зла, чем дозволит небо.

Он повел ее в башню, и они долго поднимались, одолевая ступеньку за ступенькой, лестницу за лестницей.

Девушке изменила ее решимость.

— Дальше не пойду, — сказала она. — Куда вы меня ведете?.. Если на смерть, я могу умереть и здесь.

— Всего лишь к бойницам замка, глупая, — сказал Рэморни и, скинув засов, распахнул дверь.

Они вышли на сводчатую крышу замка, где люди сгибали луки так называемых мангонел (военных машин для метания стрел и камней), заряжая их, и складывали в кучу камни. Защитников было не больше двадцати человек, и Кэтрин показалось, что она замечает в них признаки сомнения и нерешительности.

— Кэтрин, — сказал Рэморни, — я не могу уйти с поста — оборона требует моего присутствия; но я могу поговорить с тобой и здесь, как и во всяком другом месте.

— Говорите, — отвечала Кэтрин, — я слушаю.

— Ты проникла, Кэтрин, в кровавую тайну. Достанет у тебя твердости хранить ее?

— Я вас не понимаю, сэр Джон, — сказала девушка.

— Слушай. Я умертвил... предательски убил, если хочешь... моего бывшего господина, герцога Ротсея. Искра жизни, которую ты, по своей доброте, пыталась поддержать, была легко угашена. Его последние слова были обращены к отцу — он звал его... Тебе дурно? Крепись и слушай дальше. Ты знаешь, каково преступление, но не знаешь, чем оно вызвано. Взгляни! Эта перчатка пуста — я потерял правую руку, служа ему; а когда стал непригоден для службы, меня отшвырнули, как старого пса, над моей утратой посмеялись и дали мне совет сменить на монастырь дворцы и залы, для которых я был рожден! Пойми, что это значит... пожалей меня и помоги мне.

— Какой помощи вы ждете от меня? — сказала девушка, вся дрожа. — Я не могу ни вернуть вам потерю, ни оживить убитого.

— Ты можешь молчать, Кэтрин, о том, что видела и слышала в тех кустах. Я прошу тебя лишь на короткое время забыть об этом, потому что, я знаю, тебе поверят, скажешь ли ты «это было» или «этого не было». Показаниям твоей подруги — какой-то скоморошки, да к тому же иностранки, — никто не придаст цены. Если ты дашь мне слово, я положусь на него и, спокойный за свою жизнь, раскрою ворота перед теми, кто подходит к замку. Если ты не обещаешь мне молчать, я буду отстаивать замок, пока не полягут здесь все до последнего, а тебя я сброшу с этой бойницы. Погляди только вниз — на такой прыжок не сразу решишься! Ты еле дышала, когда поднялась сюда, на эти семь лестниц; но вниз ты сойдешь так быстро, что и вздохнуть не успеешь! Говори свое слово, краса-

вица; ты скажешь его тому, кто не хочет причинить тебе вреда, но в своем намерении тверд.

Кэтрин стояла, объятая ужасом, и не в силах была ответить человеку, с отчаяния готовому на все. Ее избавил от ответа подоспевший Двайнинг. Он заговорил все с тою же приниженной угодливостью, какая всегда отличала его повадку, и с неизменным своим сдавленным смешком, который превращал эту угодливость в притворство:

— Я вас обижу, благородный господин, подступив к вашей милости, когда вы заняты беседой с прелестной девицей. Но мне нужно задать вам один пустяковый вопрос.

— Говори, мучитель! — сказал Рэморни. — Злая новость, даже когда она грозит бедой тебе самому, для тебя удовольствие — лишь бы несла она горе и другим.

— Гм! Хе-хе!.. Я только хотел спросить, намерен ли храбрый рыцарь доблестно защищать замок одной рукой... покорнейше прошу извинить меня... я хотел сказать — в одиночку. Вопрос вполне уместен, потому что я — плохая подмога, разве что вы уговорите осаждающих принять лекарство — хе-хе-хе! — а Бонтрон так пьян, как только можно опьянеть от эля с водкой. Во всем гарнизоне только мы трое — вы, он да я — согласны оказать сопротивление.

— А остальные? Не желают драться, собаки?! — вскричал Рэморни.

— Я в жизни не видел, чтобы люди были так мало расположены к драке, — ответил Двайнинг, — никогда в жизни. Но вот идет сюда удалая парочка. *Venit extrema dies*,¹ хе-хе-хе!

Подошел Ивиот со своим приятелем Банклом, и взгляд их был решителен и мрачен. Так смотрит человек, когда он приготовился восстать против власти, пред которой долго склонялся.

— Что такое? — сказал Рэморни, шагнув им на встречу. — Почему вы бросили посты?.. Почему ты

¹ Настал последний день (лат.).

ушел из барбакана, Ивиот?.. А вы, прочие, разве вам не поручено присматривать за мангонелами?

— Мы пришли сказать вам кое-что, сэр Джон Рэморни, — ответил Ивиот. — В этом споре мы биться не будем.

— Как! Мои оруженосцы командуют мной? — вскричал Рэморни.

— Мы были вашими оруженосцами и пажами, милорд, покуда вы были конюшим герцога Ротсея. Идет молва, что герцога нет в живых. Мы хотим знать правду.

— Какой изменник посмел распространить эту ложь? — закричал Рэморни.

— Все, кого посылали на разведку в лес, милорд, в том числе и я, вернулись с этим известием. Девушка-менестрель, сбежавшая вчера из замка, разнесла повсюду слух, что герцог Ротсей убит или стоит на пороге смерти. Дуглас движется на нас с большими силами...

— И вы, трусы, воспользовались пустыми слухами, чтобы бросить своего господина? — возмутился Рэморни.

— Милорд, — сказал Ивиот, — пропустите Банкла и меня к герцогу Ротсею, и пусть герцог лично даст нам приказ защищать замок: если тогда мы не будем сражаться до последней капли крови, велите меня повесить здесь на самой высокой башне. Если принц умер своею смертью, мы сдадим замок графу Дугласу, которого, говорят, назначили полномочным наместником короля. Если же — не приведи господь! — благородный принц злодейски убит, кто бы ни были убийцы, мы не возьмем на себя греха поднять оружие в их защиту.

— Ивиот, — сказал Рэморни и поднял свою изуверченную руку, — не будь эта перчатка пуста, ты заплатил бы жизнью за свои дерзкие слова.

— Будь что будет, — ответил Ивиот, — мы только исполняем свой долг. Я долго очертя голову скакал за вами, милорд, но здесь я осажу коня.

— Прощай же, и будьте вы все прокляты! — вскричал разъяренный барон. — Седлать мне коня!

— Наш доблестный рыцарь собирается бежать, — сказал лекарь, незаметно подобравшись к Кэтрин и став бок о бок с ней. — Кэтрин, ты суеверная дуручка, как большинство женщин, но в тебе есть искра духа, и я обращаюсь к тебе как к единственному разумному существу среди этого стада быков. Кто они, надменные бароны, которые шагают широким шагом по земле, все попирая? Что они такое в день бедствия? Мякина на ветру! Подсеки им их руки-кувалды или столпообразные ноги, и глядь — война нет! Не ищи в них отваги, мужества — кусок мяса, и только! Дай им животную силу — и чем они лучше разъяренного быка? А отбери ее — и твой рыцарь-герой барахтается на земле, как скотина, когда ей подрезали поджилки. Не таков мудрец! Раздавите его, отрубите руки и ноги — покуда хоть искра сознания жива в его теле, разум его все так же силен... Кэтрин, сегодня утром я готовил тебе смерть; сейчас я, кажется, рад, что ты останешься жива, чтобы поведать людям, как бедный аптекарь, золотитель пилюль, растиратель порошков, продавец яда, встретил свою судьбу бок о бок с доблестным рыцарем Рэморни, владетельным бароном и будущим графом Линдорским... храни господь его светлость!

— Старик, — сказала Кэтрин, — если в самом деле так близок день твоей заслуженной гибели, другие бы мысли должны занимать твой ум, а не тщеславные бредни тщеславной твоей философии... Проси призвать к тебе духовника...

— Да, — сказал с презрением Двайнинг, — обратиться к жирному монаху, не понимающему — хе-хе-хе! — даже той варварской латыни, которую он кое-как зазубрил! Вот уж подходящий был бы душеприказчик для того, кто изучал науку в Испании и Аравии! Нет, Кэтрин, я выберу себе исповедника, на которого приятно смотреть, и эту почетную обязанность возложу на тебя. Взгляни на доблестного нашего барона — пот проступил у него на лбу, его губы дрожат в смертельной муке, потому что его милость торгуется за свою жизнь со своими же бывшими слугами и ему не хватает красноречия уговорить их,

чтоб они дали ему улизнуть... Смотри, как у него кривится лицо, когда он умоляет неблагодарных скотов, кругом обязанных ему, чтобы они дали ему хоть такую фору, какую имеет заяц перед сворой гончих, когда охотники напали на его след. Погляди и на их мрачные, унылые и упрямые лица: они колеблются между страхом и стыдом, слуги-предатели, отказывающие своему лорду даже в этой крохотной возможности спасти свою жизнь. И они-то, они возомнили себя выше такого человека, как я! А ты, глупая девочка, как же невысоко ставишь ты своего бога, если можешь думать, что такие жалкие твари созданы им, всемогущим!

— Нет, злой человек, нет! — с жаром сказала Кэтрин. — Господь, которого я чту, создал их способными постигать и любить его, охранять и защищать своих ближних, способными на добродетельную и святую жизнь. Их собственные пороки и обольщение лукавого сделали их тем, что они есть. О, дай же и ты своему каменному сердцу воспринять урок! Небо сделало тебя мудрей твоих собратий, дало тебе глаза, умеющие проникнуть в тайны природы, проницательный ум, искусную руку, но твоя гордость отравила эти прекрасные дары и превратила в нечестивого безбожника того, кто создан быть христианским мудрецом!

— В безбожника, ты сказала? — возразил Двайнинг. — Возможно, и есть у меня кое-какие сомнения... Но скоро они разрешатся. Вот идет тот, кто отправит меня, как тысячи других, в такое место, где разрешатся наконец все тайны, все загадки.

Кэтрин проследила за взглядом лекаря до одной из лесных прогалин и увидела там отряд всадников, скачущих во весь опор. Посреди отряда развевалось знамя, знаки на котором Кэтрин еще не могла различить, но по ропоту, поднявшемуся вокруг, она поняла, что это знамя Черного Дугласа. Отряд остановился на расстоянии полета стрелы, и герольд с двумя трубами подъехал к главному portalу, где, громко протрубив, потребовал, чтобы раскрыли ворота перед высокородным и грозным Арчибалдом, графом Дугласом, лордом-наместником короля, который именем

его величества приказывает обитателям замка сложить оружие: кто ослушается, будет обвинен в государственной измене.

— Вы слышали? — обратился Ивиот к Рэморни, который стоял с угрюмым видом, не зная, на что решиться. — Готовы вы отдать приказ о сдаче замка или предоставите это мне?

— Нет, негодяй! — перебил рыцарь. — Я до последнего вздоха буду повелевать тобою. Отвори ворота, опусти мост и сдай замок Дугласу!

— Вот это называется и по-рыцарски и по доброй воле! — сказал Двайнинг. — Совсем как если бы медная труба, что провизжала тут минуту назад, назвала своею собственной музыкой те звуки, которые вдохнул в нее грязный трубач.

— Злосчастный! — сказала Кэтрин. — Или молчи, или обрати свои мысли к вечности: ты стоишь на ее пороге.

— А что тебе до того? — ответил Двайнинг. — Ты, девушка, волей-неволей услышишь то, что я тебе скажу, и ты станешь это повторять повсюду, потому что так тебе прикажет твоя женская природа. Перт и вся Шотландия узнают, какого человека они потеряли в Хенбейне Двайнинге!

Звон оружия между тем возвестил, что вновь прибывшие спешили, вошли в замок и приступили к разоружению его малочисленного гарнизона. Сам Дуглас взошел на бойницы с небольшим отрядом своих воинов и подал им знак взять под стражу Рэморни и Двайнинга. Другие выволокли откуда-то из угла онемевшего от ужаса Бонтрона.

— Эти трое опекали принца во время его мнимой болезни? — сказал Дуглас, ведя допрос, начатый им в зале замка.

— Больше к нему никого не допускали, — сказал Ивиот, — хоть я и предлагал свои услуги.

— Ведите нас в опочивальню герцога и волоките следом узников... Тут еще должна быть в замке одна женщина, если ее не умертвили или не увезли тайком, — подруга той потешницы, что первая подняла тревогу.

— Вот она, милорд, — сказал Ивиот и вывел вперед Кэтрин.

Ее красота и волнение произвели впечатление даже на бесстрастного графа.

— Ничего не бойся, девушка, — сказал он, — ты заслужила и похвалу и награду. Расскажи мне как на исповеди, чему ты была свидетельницей в этом замке.

Кэтрин в нескольких словах поведала свою страшную повесть.

— Твои слова, — сказал Дуглас, — в точности согласуются с рассказом потешницы... Теперь идем в опочивальню принца.

Графа повели к покою, где якобы обитал эти дни несчастный герцог Ротсей. Но ключа не нашли, и графу, чтобы войти, пришлось ждать, пока взломают дверь. Глазам вошедших представились печальные останки принца — изможденное тело, наспех брошенное на кровать, — убийцы, как видно, намеревались обрядить его так, чтобы оно походило на труп человека, отошедшего в свой час, но им помешал переполох, поднявшийся в связи с побегом Луизы. Дуглас стоял и глядел на тело заблудшего юноши, которого прихоти и бурные страсти привели к безвременной гибели.

— У меня были счеты с ним, — сказал граф, — но такое зрелище изгоняет из памяти всякую обиду.

— Хе-хе!.. Мы тут хотели так устроить, — сказал Двайнинг, — чтобы вид был приятнее для вашего превосходительства. Но вы явились слишком неожиданно, а когда торопишься, то и работаешь кое-как.

Дуглас точно и не слышал сказанного узником, так пристально смотрел он на мертвого, на его увядшее, изможденное лицо, окоченелые члены. Кэтрин, едва стоявшей на ногах от слабости, разрешили наконец удалиться, и она сквозь сутолоку и смятение пробралась в свою прежнюю комнату, где ее заключила в объятия уже вернувшаяся Луиза.

Дуглас между тем продолжал расследование. В мертвой руке принца нашли зажатый клочок волос, цветом и жесткостью походивших на угольно-черную

щетину Бонтрона. Таким образом, хотя голод сделал половину дела, смерть Ротсея, по-видимому, явилась следствием прямого насилия. Потайной ход в темницу, ключи от которой нашли привязанными к поясу наемного убийцы, расположение ее свода, пробоина в стене, дававшая приток воздуха снаружи, жалкое соломенное ложе и брошенные на нем кандалы — все полностью подтверждало рассказ Кэтрин и девушки-менестреля.

— Что тут колебаться? — сказал Дуглас своему близкому родственнику, лорду Бэлвини, когда они вышли из подземелья. — Покончить с убийцами! Повесить их на бойницах.

— Но следовало бы, милорд, провести какой-то суд, — заметил Бэлвини.

— Чего ради? — возразил Дуглас. — Их захватили с кровью на руках. Я вправе своею властью казнить их на месте. Впрочем, погоди... Нет ли в нашем отряде каких-нибудь джедвудцев?

— Сколько угодно: и Тэрнбулы, и Резерфорды, и Эйнсли, и многие другие, — сказал Бэлвини.

— Сзовите мне присяжных из них — это все люди добрые и верные, только любят управляться по-свойски. Ты проследи, чтобы мерзавцев казнили, а я тем временем проведу в большом зале суд, и посмотрим, кто быстрее управится, судьи или палач. Сладим по джедвудскому обычаю: наспех повесить, а потом судить на досуге.

— Стойте, милорд, — сказал Рэморни, — вы раскаетесь в своей опрометчивости... Не позволите ли вы мне сказать вам одно слово на ухо?

— Ни за что на свете! — сказал Дуглас. — Если есть тебе что сказать, говори во всеуслышание.

— Так знайте же все, — сказал громко Рэморни, — что при благородном графе имеются письма от герцога Олбени и от меня самого, которые переправлялись ему через этого труса и отступника Банкла — пусть посмеет отрицать!.. Письма, в которых графу дается совет на некоторое время удалить герцога Ротсея от двора и запереть его здесь, в замке Фолкленд.

— Да, но ни слова не говорится о том, — возразил со злобной улыбкой Дуглас, — чтобы бросить принца в подземелье, заморить голодом... удушить!.. Уведите негодяев, Бэлвини, довольно им грязнить своим дыханием воздух в божьем мире!

Узников поволокли к бойницам. Но когда пошли приготовления к казни, аптекарь выразил вдруг горячее желание еще раз увидеть Кэтрин — как он уверял, «ради блага своей души». В надежде, что закоренелый грешник в последний час раскаялся, девушка согласилась вновь подняться к бойницам, не отступив перед зрелищем, столь претившим ей. Она сразу увидела Бонтрона, пьяного до бесчувствия; обезоруженного, без панциря, Рэморни, который тщетно старался скрыть страх, пока вел разговор со священником, вызванным к нему для напутствия по его особой просьбе; и увидела Двайнинга таким, каким знала его всегда: смиренным, подобоострастным, сгорбленным. В руке он держал серебряное перо, которым что-то строчил на клочке пергамента.

— Кэтрин, — сказал он, — я хочу — хе-хе-хе! — сказать тебе кое-что о сути моих религиозных верований.

— Если таково твое намерение, зачем терять время со мною? Обратись к этому доброму монаху.

— Этот добрый монах, — сказал Двайнинг, — хе-хе!.. давно уже поклоняется тому божеству, которому я служил. Поэтому я предпочитаю привести к своему алтарю нового почитателя — в твоём лице, Кэтрин. Этот клочок пергамента расскажет тебе, как проникнуть в мою часовню, где я так часто, укрытый ото всех, отправлял богослужение на свой лад. Те иконы, что ты там найдешь, я оставляю тебе в наследство — просто лишь потому, что тебя я ненавижу и презираю меньше, чем всех других безмозглых людишек, которых я был принужден доньше называть своими ближними. А теперь уходи... или оставайся, и ты увидишь, как умирает знахарь, — так же, как жил, или нет.

— Да не допустит того пречистая! — воскликнула Кэтрин.

— Постой, — сказал аптекарь, — я должен молвить еще словечко, а этот доблестный лорд пусть послушает, если хочет.

Лорд Бэлвини подошел, влекомый любопытством: непоколебимое бесстрашие человека, который никогда не обнажал меча и не носил брони, тщедушного карлика, представлялось ему чем-то колдовским.

— Видишь ты это орудье? — сказал преступник, показывая серебряное перо. — При его посредстве я могу уйти даже из-под власти Черного Дугласа.

— Не давайте ему ни чернил, ни бумаги, — поспешно сказал Бэлвини. — Он наведет чары.

— Не бойтесь, ваше благородие и любомудрие, хе-хе-хе! — возразил Двайнинг с обычным своим смешком и отвинтил верхушку пера, в котором оказалось запрятано нечто вроде крошечной губки, с горошину величиной. — Теперь смотрите, — сказал узник и поднес ее к губам.

Действие было мгновенным. Он упал перед ними мертвый, с застывшей на лице презрительной усмешкой.

Кэтрин вскрикнула и, спасаясь бегством от страшного зрелища, кинулась сломя голову вниз по лестнице. Лорд Бэлвини окаменел на мгновение, потом закричал:

— Он, может быть, навел чары! Повесить его на бойнице живого или мертвого! Если его гнусная душа только ждет в сторонке и еще воротится, она найдет тело со свернутой шеей.

Приказ был исполнен. Затем повели на казнь Бонтрона и Рэморни. Бонтрон, видно, так и умер, не успев понять, что с ним происходит. Рэморни, бледный как смерть, но полный все той же гордости, которая привела его к гибели, потребовал, чтобы ему, как рыцарю, дали умереть не в петле, а на плахе.

— Дуглас никогда не меняет своего приговора, — сказал Бэлвини. — Но твои права будут уважены.. Пришлите сюда повара с резакom.

Челядинец быстро явился на зов.

— Ты что дрожишь, парень? — сказал ему Бэлвини. — А ну, сшиби-ка своим резакom этому человеку

золоченые шпоры с пят! Теперь, Джон Рэморни, ты уже не рыцарь, а подлый виллан. Кончай с ним, провост-маршал! Вздерни его промеж двух его товарищей — и, если можно, выше их обоих.

Четверть часа спустя Бэлвини сошел доложить Дугласу, что преступники казнены.

— Значит, следствие продолжать ни к чему, — сказал граф. — Что вы скажете, господа присяжные, виновны эти люди в государственной измене или нет?

— Виновны, — объявили угодливые присяжные с похвальным единодушием. — Нет нужды в добавочных уликах.

— Протрубите сбор — и на коней! Мы едем одни с нашей личной свитой. Да накажите людям, чтоб молчали обо всем, что здесь произошло, пока не доложим королю, а это можно будет сделать не раньше как в вербное воскресенье, по окончании боя. Отберите, кому нас провожать, и объявите каждому — тем, кто поедет с нами и кто останется здесь, — что болтун умрет.

Через несколько минут Дуглас и латники, отобранные его сопровождать, уже сидели в седлах. Послали гонцов к его дочери, вдовствующей герцогине Ротсей, с приказом, чтобы она направлялась в Перт, держась берегов Лохливена, в обход Фолкланда, и с просьбой принять под свое покровительство Кэтрин Гловер и потешницу — двух девиц, о чьей безопасности печется ее отец.

Проезжая лесом, всадники оглянулись и увидели тела повешенных — три черных пятна на стенах старого замка.

— Рука наказана, — сказал Дуглас, — но кто потянет к ответу голову, которая заправляла сделанным?

— Вы хотите сказать — герцога Олбени? — спросил Бэлвини.

— Именно, родич... И если бы я прислушался к голосу своего сердца, я обвинил бы его в деянии, совершенном, я уверен, по его указке. Но доказательств нет — только сильное подозрение, а между тем у Олбени много сторонников в доме Стюартов, которым, и

то сказать, не оставалось другого выбора: не идти же за полоумным королем или за беспутным Ротсеем. Давно ли заключил я свой союз с Олбени, но попробуй я его порвать, и сразу вспыхнет гражданская война, а это будет гибелью для несчастной Шотландии в такое время, когда ей грозят вторжением Перси, поднявшие голову после предательства Марча. Нет, Бэлвини, наказать Олбени мы предоставим небу, и оно в добрый час свершит свой суд над ним и его домом.

Глава XXXIII

Наш час настал, мечей металл
Остер, но страха нет
Кто в битве пал, а кто бежал,
Поведает рассвет

Сэр Эдуолд¹

Напомним читателю, что Саймон Гловер и его красавица дочь, второпях покидая свой дом, не успели оповестить Генри Смита ни о своем отъезде, ни о грозной опасности, которая гнала их из родного города. Поэтому, когда влюбленный в утро их побега появился на Кэрфью-стрит, вместо сердечного привет, какого ждал он от честного мастера, и ясной, точно апрельское солнце, улыбки, полурадостной-полуосуждающей, какою могла бы его подарить Кэтрин, его встретила нежданная, ошеломляющая весть, что отец и дочь уехали чуть свет по зову неизвестного, который старательно прятал лицо в капюшон. К этому Дороти (а читатель уже знаком с ее обычаем преждевременно разглашать печальные новости, по своему их толкуя) сочла нужным добавить, что ее хозяин с молодой хозяйкой не иначе как отправились в Горную Страну, удирая от неприятных гостей — приставов, которые и впрямь час спустя явились в дом, именем королевской комиссии обшарили все

¹ Перевод С. Петрова.

углы, опечатали лари, где, на их взгляд, могли храниться бумаги, и, уходя, оставили отцу и дочери приказ в назначенный день предстать пред судом комиссии под угрозой объявления вне закона. Эти недобрые подробности Дороти постаралась передать в самых черных красках, а в утешение встревоженному жениху добавила только то, что хозяин поручил ей сказать ему, чтобы он спокойно оставался в Перте и ждал от них вестей. Смит пришлось отказаться от первого своего решения тотчас отправиться за ними следом в Горную Страну и, что бы их там ни ждало, разделить их участь.

Он вспомнил, однако, о своих неоднократных столкновениях с людьми из клана Кухил, в частности — свою ссору с Конахаром, которому предстояло сделаться верховным вождем клана, и, пораздумав, решил, что оказал бы худую услугу друзьям, появившись в тех местах, где они укрываются; с его вторжением их прибежище стало бы для них небезопасным. Оружейник знал, как дружен Саймон с вождем кухилов, и справедливо рассудил, что тот, несомненно, возьмет Гловера под свое покровительство. Он же, Генри Смит, послужил бы тому лишь помехой: неизбежно возникла бы ссора, а что может сделать один человек, как бы ни был он доблестен, в споре с целым племенем мстительных горцев? В то же время он горел негодованием, когда думал о том, что Кэтрин оказалась в полной власти молодого Конахара, в котором оружейник не мог не видеть своего соперника, располагавшего теперь столькими средствами для успеха в своих домогательствах. Что, если юный вождь поставит безопасность отца в зависимость от благосклонности дочери? Смит отнюдь не сомневался в преданности Кэтрин, но знал он и то, как бескорыстна девушка по всему своему образу мыслей и как нежно привязана к отцу; если любовь к жениху будет положена на одну чашу весов, на другую же — безопасность, а может быть, и жизнь отца, кто знает, которая перетянет? Глубокое и страшное сомнение говорило оружейнику, что едва ли первая. Терзаемый помыслами, которые нам нет нужды перебирать, он

все же решил остаться дома, как-нибудь подавить свое беспокойство и ждать от старика обещанных вестей. Весть пришла, но нисколько не облегчила тревогу.

Сэр Патрик Чартерис не забыл, что взял на себя известить Смита о намерениях беглецов. Но в суматохе, вызванной передвижением войск к границе, он не имел возможности сам передать это известие. Поэтому он передоверил дело своему посреднику, Китту Хеншо. Но сей достойный муж, как известно читателю, состоял на откупе у Рэморни, а тому как раз важно было скрывать от всех, а тем более от такого храброго и дерзкого поклонника, как Генри, истинное местонахождение Кэтрин. Поэтому Хеншо сообщил обеспокоенному Смигу, что его друг перчаточник благополучно прибыл в Горную Страну, где ему ничто не грозит; и хотя он прямо не сказал того же и о Кэтрин, он тем не менее постарался оставить Генри при мысли, что и она вместе с Саймоном находится под покровительством клана Кухил. От имени сэра Патрика он несколько раз заверил оружейника, что отец и дочь оба в безопасности и что если Генри желает добра им и себе, пусть спокойно сидит дома, предоставив событиям идти своим чередом.

Итак, с болью в сердце Генри решил спокойно ждать более верных известий, а пока что занялся доделкой панциря, который, решил он, будет так хорошо закален и так тонко отработан, как ни один еще панцирь, вышедший из его искусных рук. Такое упражнение в своем ремесле было ему приятнее всякого другого занятия, какое мог бы он придумать для себя, и служило приличным предлогом, чтобы запереться в своей кузнице, чуждаясь всякого общества: при встречах с людьми пустые слухи, возникавшие каждый день, смущали бы его и расстраивали. Он решил положиться на сердечную дружбу Саймона, верность его дочери и благосклонность мэра, который, думал он, так высоко оценив его доблесть после боя с Бонтроном, конечно, не оставит его в беде. Но день шел за днем, и лишь незадолго до вербного воскре-

сенья сэр Патрик Чартерис, приехав в город кое-чем распорядиться в связи с предстоящей битвой, собрался наконец заглянуть к оружейнику.

Он зашел к нему в кузницу с необычным для него видом сокрушенного сочувствия, и Генри сразу понял, что гость принес недобрую весть. Тревога сдавила сердце кузнеца, и поднятый молот застыл в воздухе над раскаленным железом, а сжимавшая его рука, всегда могучая, как у сказочного исполина, так вдруг ослабела, что у Генри едва достало силы осторожно опустить свое орудие на землю, не выронив его из руки.

— Мой бедный Генри, — сказал сэр Патрик, — я принес тебе невеселую новость... впрочем, еще не совсем достоверную. Если же она окажется верна, такому, как ты, удалцу не следует слишком горячо принимать ее к сердцу.

— Во имя господа бога, милорд, — сказал Генри, — я надеюсь, вы не принесли дурных вестей о Саймоне Гловере и его дочери?

— В отношении их самих — нет, — сказал сэр Патрик. — Они благополучно здравствуют. Но для тебя, Генри, моя новость будет не очень веселой. Китт Хеншо, верно, уже передал тебе, что я пробовал устроить Кэтрин Гловер в дом к одной почтенной леди, к герцогине Ротсей, думая, что та не откажет ей в покровительстве. Но леди отклонила мое ходатайство, и Кэтрин отослали к отцу в Горную Страну. Все случилось как нельзя хуже. Ты слышал, конечно, что Гилкрест Мак-Иан умер и во главе клана Кухил стал теперь его сын Эхин, тот, кого мы знали в Перте под именем Конахара, бывший подмастерье старого Саймона. И слышал я от одного моего слуги, что среди Мак-Ианов поговаривают, будто молодой вождь хочет жениться на Кэтрин. Моему слуге об этом рассказали (понятно, под большим секретом), когда он ездил в край Бредалбейнов для переговоров о предстоящей битве. Новость пока не проверена; однако, Генри, это очень похоже на правду.

— Слуга вашей милости сам виделся с Саймоном Гловером и его дочерью; — выговорил Генри, еле

дыша, и кашлянул, чтобы скрыть от мэра крайнее свое волнение.

— Не довелось ему, — сказал сэр Патрик. — Горцы, видать, ревниво оберегали своих гостей и не дали ему поговорить со стариком, а попросить, чтобы ему позволили свидеться с Кэтрин, он и вовсе не посмел — побоялся их всполошить. К тому же по-гэльски он не говорит, а его собеседник был не силен в английском, так что тут могла получиться и ошибка. Во всяком случае, ходит такой слух, и я почел нужным передать его тебе. Но в одном ты можешь быть уверен: свадьба не состоится, пока не будет покончено с тем делом на вербное воскресенье; и я тебе советую ничего не затевать, покуда мы толком всего не разузнаем, потому что всегда лучше знать наверняка, даже когда это причиняет боль... Ты пойдешь в ратушу? — добавил он, помолчав. — Предстоит разговор о подготовке арены на Северном Лугу. Тебе будут рады.

— Нет, мой добрый лорд.

— Ладно, Смит. Вижу по твоему короткому ответу, что мое известие тебя расстроило; но в конце концов женщины все — что флюгер, уж это так! Соломон и многие другие извели это раньше нас с тобой.

С этими словами сэр Патрик Чартерис удалился в полной уверенности, что наилучшим образом справился с задачей утешителя.

Но несчастный жених совсем по-другому отнесся к его сообщениям и попытке приукрасить дурную весть.

«Мэр, — сказал он горько самому себе, — ей-богу, превосходный человек. Он так высоко несет свою баронскую голову, что, если скажет бессмыслицу, бедняк должен считать ее разумной, как должен хвалить прескверный эль, если ему поднесут его в серебряном бокале его светлости. Как бы это все звучало при других обстоятельствах? Допустим, качусь я вниз по крутому склону Коррихи-Ду, и, когда я уже у самого обрыва, является лорд-мэр и кричит: «Генри, тут пропасть, и я с прискорбием должен тебе сказать, что ты того и гляди скатишься в нее. Но не унывай, ибо небо может послать на твоём пути камень или куст, за который ты уцепишься. Как бы то ни было, я посчитал,

что для тебя утешительно будет узнать наихудшее, — вот я тебе это и сообщаю. Я не знаю точно, какова глубина пропасти, сколько в ней сотен футов, но об этом ты сможешь судить, когда достигнешь ее дна, ибо всегда лучше знать наверняка. Кстати, не пойдешь ли ты поиграть в шары?» И такой болтовней хотят заменить дружескую попытку уберечь несчастного и не дать ему сломать себе шею!.. Я как подумаю о том, схожу с ума. Так бы, кажется, и схватил свой молот да пошел бы крушить все кругом. Но я должен сохранять спокойствие. И если этот горный стервятник, назвавшийся соколом, схватит мою горлинку, то он узнает, умеет ли пертский горожанин натянуть тетиву».

Был уже четверг, последний перед роковым вербным воскресеньем, и воины обоих кланов ожидались в город на другой день, чтобы всю субботу они могли отдыхать и готовиться к битве. От каждой стороны было выслано вперед по два-три человека — получить указания, необходимые для правильного разрешения спора: где стать лагерем каждому отряду и тому подобное. Поэтому Генри не удивился, увидав в своем проулке могучего, рослого горца, который шел и опасливо смотрел вокруг, как уроженцы дикого края глазают на диковины более цивилизованной страны. Сердце Смита уже потому не лежало к пришельцу, что тот был родом из Горной Страны, а наш оружейник разделял предубеждение пертских горожан против их северных соседей; но его неприязнь удвоилась, когда он разглядел на незнакомце плед расцветки клана Кухил. Вдобавок вышитая серебром ветка с дубовыми листьями указывала, что он принадлежит к личной охране молодого Эхина, на которую клан возлагал столько надежд в связи с предстоявшим сражением.

Все приметив, Генри удалился к себе в кузницу, так как вид пришельца пробудил в нем недобрые чувства; а зная, что горец должен скоро сразиться в большом бою и нельзя его втягивать в мелкую ссору, он решил по крайней мере избежать дружеского разговора с ним. Однако через несколько минут дверь

кузницы раскрылась, и, запахнувшись в свой тартан, от которого его богатырская фигура показалась еще более мощной, горец переступил порог с надменным видом человека, убежденного, что его достоинство ставит его выше всех и вся. Он стоял, озираясь, и, казалось, ждал, что повергнет всех в изумление. Но Генри был не склонен потакать его тщеславию и продолжал бить молотом по лежащей на его наковальне нагрудной пластинке для панциря, точно и не видел гостя.

— Ты Гоу Хром? — спросил горец.

— Так зовут меня те, кто хочет, чтобы им перебили хребет, — ответил Генри.

— Не обижайся, — сказал горец. — Она сама пришла купить панцирь.

— «Она сама» может повернуть свои голые ляжки и выйти за порог, — ответил Генри. — У меня нет ничего на продажу.

— Через два дня вербное воскресенье, а то она заставил бы тебя петь другую песню, — возразил гэл.

— А так как сегодня пятница, — сказал Генри с тем же пренебрежительным спокойствием, — я попрошу тебя не застить мне свет.

— Ты неучтивый человек; но она сама тоже *fir na p o r d*,¹ и она знает, что кузнец горяч, как огонь, когда железо горячо.

— Если «она сама» молотобоец, она должна уметь выковать себе доспехи, — ответил Генри.

— Так бы она и сделала и не стала бы тебя тревожить. Но, говорят, Гоу Хром, когда ты куешь мечи и броню, ты над ними поешь и свистишь напевы, которые обладают силой делать клинок таким, что он разрезает стальное кольцо, как бумагу, а латы и кольчугу — такими, что стальные копья отскакивают от них, как горох.

— Тебя дурачили, как невежду. Добрый христианин не стал бы верить такому вздору, — сказал Генри. — Я, когда работаю, насвистываю что придется, как всякий честный ремесленник, и чаще всего песенку

¹ То есть «человек молота». (Прим. автора.)

о роще Висельников. Мой молот бьет веселей под этот напев.

— Друг, напрасно давать шпоры коню, когда он стреножен, — сказал надменно горец. — Сейчас она сама не может драться. Невысокая доблесть так ее колоть.

— Клянусь гвоздем и молотом, ты прав! — сказал Смит, меняя тон. — Но говори прямо, друг, чего ты от меня хочешь? Я не расположен к пустой болтовне.

— Броню для моего вождя, Эхина Мак-Иана, — ответил горец.

— Ты кузнец, сказал ты? Как ты посудишь об этой? — спросил Смит, доставая из сундука кольчугу, над которой работал последние дни.

Гэл ощупал ее как диковину, с восхищением и некоторой завистью. Он долго разглядывал каждое колечко и пластинку и наконец объявил, что это лучшая кольчуга, какую он видел в жизни.

— Предложить за нее сто коров и быков с отарой овец в придачу — и то будет дешево, — произнес горец. — И она сама меньше не предложит, если ты уступишь ей кольчугу.

— Ты даешь честную цену, — возразил Генри, — но этот панцирь не будет продан ни за золото, ни за скот. Я имею обыкновение испытывать свои панцири своим же мечом; и эту кольчугу я не отдам никому на иных условиях, как только если покупающий померится со мною в честном состязании: на три крепких удара и три броска. На таком условии твой вождь может ее получить.

— Куда хватил! Выпей и ляг спать, — сказал с пренебрежительной усмешкой горец. — Ты сошла с ума! Думаешь, глава клана Кухил станет ссориться и драться с пертским ремесленником вроде тебя? Вот что. Я скажу, а ты слушай. Она сама окажет тебе большую честь для человека твоего рода и племени. Она будет биться с тобой сама за прекрасный панцирь.

— Сперва она должна доказать, что она мне чета, — сказал Генри с угрюмой усмешкой.

— Как, я тебе не чета? Я из лейхтахов Эхина Мак-Иана!

— Попытаем, коли хочешь. Ты говоришь, что ты *fig na n ord*? А умеешь ли бросать кузнечный молот?

— Умею ли! Спроси орла, может ли он пролететь над Феррагоном.

— Но прежде чем помериться со мной, ты должен потягаться с одним из моих лейхтахов. Эй, Дантер, сюда! Постой за честь города Перта! Ну, горец, вот стоят перед тобою в ряд молоты, выбирай любой, и пойдем в сад.

Горец, носивший имя Норман-нан-Орд, то есть Норман Молотобоец, доказал свое право на такое прозвание, выбрав самый тяжелый молот. Генри улыбнулся. Дантер, дюжий подмастерье Смита, сделал поистине богатырский бросок; но горец собрал все свои силы и, бросив на два-три фута дальше, посмотрел с торжеством на Генри, который опять лишь улыбнулся в ответ.

— Побьешь? — сказал гэл, протягивая молот Генри Смигу.

— Только не этой игрушкой, — сказал Генри. — Она так легка, что против ветра и не полетит... Дженникен, притащи мне «Самсона», и пусть кто-нибудь из вас поможет ему, мальчики, потому что «Самсон» изрядно увесист.

Молот, поданный Смигу, был раза в полтора тяжелее того, который горец избрал для себя как необыкновенно тяжелый. Норман стоял ошеломленный, но он изумился еще больше, когда Генри, став в позицию, размахнулся огромным молотом и запустил его так, что он полетел, точно снаряд из стенобитной машины. Воздух застонал и наполнился свистом, когда такая тяжесть пронеслась по нему. Молот упал наконец, и его железная голова на целый фут вошла в землю добрым ярдом дальше, чем молот Нормана.

Горец, убитый и подавленный, подошел к месту, где лег «Самсон», поднял его, взвесил в руке с превеликим удивлением и внимательно осмотрел, точно ждал, что разглядит в нем что-то другое, а не обычное орудие кузнеца. Наконец, когда Смит спросил, не попробует ли он бросить еще раз, он с грустной

улыбкой, поводя плечами и покачивая головой, вернул молот владельцу.

— Норман и так слишком много потерял ради забавы, — сказал он. — Она потеряла свое доброе имя молотобойца. А Гоу Хром работает сама на наковальне этим молотищем?

— Сейчас, брат, увидишь, — сказал оружейник и повел гостя обратно в кузню. — Дантер, достань мне из горна вон тот брусок. — И, подняв «Самсона», как прозвал он свой огромный молот, он стал сыпать удары на раскаленное железо справа и слева — то правой рукой, то левой, то обеими сразу — с такою силой и ловкостью, что выковал маленькую, но удивительно пропорциональную подкову в половинный срок против того, какой потратил бы на ту же работу рядовой кузнец, орудя более удобным молотом.

— Ого! — сказал горец. — А почему ты хочешь подраться с нашим молодым вождем, когда он куда как выше тебя, хоть ты и лучший кузнец, какой когда-либо работал с огнем и ветром?

— Слушай! — сказал Генри. — Ты, по-моему, славный малый, и я скажу тебе правду. Твой хозяин нанес мне обиду, и я бы отдал ему кольчугу бесплатно лишь за то, чтобы мне с ним сразиться.

— О, если он нанес тебе обиду, он должен с тобою встретиться, — сказал телохранитель вождя. — Нанести обиду человеку — после этого вождь не вправе носить орлиное перо на шапке. И будь он первый человек в Горной Стране — а Эхин у нас, конечно, первый человек, — он должен сразиться с обиженным, или упадет венец с его головы.

— Ты убедишь его, — спросил Генри, — после воскресной битвы сразиться со мной?

— О, она сама постарается сделать все, если не слетятся ястребы клевать ей самой мертвые глаза; ты должен знать, мой брат, что хаттаны умеют глубоко запускать когти.

— Итак, договорились: твой вождь получает кольчугу, — сказал Генри, — но я опозорю его перед королем и всем двором, если он не заплатит мою цену.

— Черт меня уволоки, когда я сам не приведу Эхина на поле, — сказал Норман, — можешь мне поверить.

— Ты этим повеселишь мою душу, — ответил Генри. — А чтобы ты не забыл обещание, я даю тебе вот этот кинжал. Смотри: держи вот так, и если всадишь врагу между капюшоном и воротом кольчуги, лекаря звать не придется.

Горец горячо поблагодарил и распростился.

«Я отдал ему лучший доспех, какой выковал за всю мою жизнь, — рассуждал сам с собою Смит, почти жалея о своей щедрости, — за слабую надежду, что он приведет своего вождя сразиться со мной в поединке; и тогда Кэтрин достанется тому, кто честно ее завоюет. Но я сильно боюсь, что мальчишка увернется под каким-нибудь предлогом — разве что вербное воскресенье принесет ему большую удачу, и тогда он разохотится еще раз показать себя в бою. Это не так уж невозможно: я видывал не раз, как неумелый боец, безусый мальчишка, после своей первой драки из карлика вырастал в исполина».

Так со слабой надеждой, но твердой решимостью Генри Смит стал ждать часа, который должен был решить его судьбу. По-прежнему ни от Гловера, ни от его дочери не было вестей, и это внушало кузнецу самые мрачные опасения. «Они совестятся, — говорил он себе, — сказать мне правду и потому молчат».

В пятницу, в полдень, два отряда по тридцать человек в каждом — бойцы двух поспоривших кланов — прибыли в указанные им места, где они могли отдохнуть.

Перед кланом Кухил гостеприимно открыло свои двери богатое Сконское аббатство, тогда как их соперников радушно угощал мэр в своем замке Кинфонс. Устроители приложили большую заботу, чтобы обе стороны встретили равное внимание и ни одна не нашла повода пожаловаться на пристрастие. Все мелочи этикета были заранее обсуждены и установлены лордом верховным констеблем Эрролом и юным графом Крофордом, причем первый представлял интересы клана Хаттан, второй же покровительствовал

клану Кухил. Непрестанно засылались гонцы от одного графа к другому, и за тридцать часов они сходились на переговоры раз шесть, не меньше, прежде чем точно установили чин и порядок сражения.

Между тем, дабы не пробудилась какая-нибудь старая ссора (а семена вражды между горожанами и их соседями-горцами никогда не могли заглухнуть), огласили воззвание к гражданам города Перта, запрещающее им приближаться на полмили к тем местам, где разместили горцев; с другой стороны, будущим участникам битвы запрещалось приближаться к городу Перту без особого разрешения. В подкрепление этого приказа была расставлена вооруженная стража, и она так добросовестно исполняла свои обязанности, что не подпустила к городу даже Саймона Гловера, гражданина Перта: старик неосторожно признался, что прибыл вместе с воинами Эхина Мак-Иана, и к тому же был одет в тартан расцветки клана Кухил. Это и помешало Саймону навестить Генри Уинда и порассказать ему обо всем, что случилось со времени их разлуки. А между тем, произойди такая встреча, она существенно изменила бы кровавую развязку нашей повести.

В субботу днем в город прибыло другое лицо, чей приезд возбудил среди горожан не меньший интерес, чем приготовления к ожидаемой битве. Это был граф Дуглас, который появился в городе с отрядом всего только в тридцать всадников, но все они были самые именитые рыцари и дворяне. Горожане провожали взглядом грозного пэра, как следили бы за орлом в облаках: не ведая, куда Юпитерова птица правит свой полет, они все же наблюдали за нею так внимательно и важно, как будто могли угадать, что она преследует, носясь в поднебесье. Дуглас медленно проехал по городу, вступив в него через Северные ворота. Он спешил к доминиканскому монастырю и заявил, что хочет видеть герцога Олбени. Графа тотчас же пропустили, и герцог принял его как будто любезно и дружелюбно, но в этой любезности чувствовались и неискренность и беспокойство. Когда обменялись первыми приветствиями, граф сокрушенно сказал:

— Я принес вам печальную весть. Царственный племянник вашей светлости герцог Ротсей скончался, и погиб он, боюсь, из-за чьих-то гнусных происков.

— Происков? — повторил в смущении герцог. — Но чьих же? Кто посмел бы умышлять на наследника шотландского престола?

— Не мне разбираться, чем порождены подобные слухи, — сказал Дуглас, — но люди говорят, орел убит стрелой, оснащенной пером из его же крыла, ствол дуба рассечен дубовым клином.

— Граф Дуглас, — сказал герцог Олбени, — я не мастер разгадывать загадки.

— А я не мастер задавать их, — сказал высокомерный Дуглас. — Ваша светлость узнает подробности из этих бумаг; их стоит прочесть. Я на полчаса пойду в монастырский сад, а потом вернусь к вам.

— Вы не пойдете к королю, милорд? — спросил Олбени.

— Нет, — ответил Дуглас. — Полагаю, ваша светлость согласится со мной, что нам следует скрыть это семейное несчастье от нашего государя хотя бы до того часа, пока не разрешится завтрашнее дело.

— Охотно с вами соглашусь, — сказал Олбени. — Если король услышит о своей утрате, он не сможет присутствовать при битве; а если он не явится, эти люди, пожалуй, откажутся сразиться, и тогда пропали наши труды. Но прошу вас, милорд, посидите, пока я прочту эти печальные грамоты, касающиеся бедного Ротсея.

Он перебирал в руках бумаги, одни лишь быстро пробегая взглядом, на других задерживаясь подолгу, как если бы их содержание было особенно важным. Потратив с четверть часа на просмотр, он поднял глаза и сказал очень внушительно:

— Милорд, эти печальные документы содержат в себе одно утешение: я не усматриваю в них ничего такого, что могло бы снова оживить разногласия в королевском совете, которые недавно удалось уладить торжественным соглашением между вашей милостью и мною. Моего несчастного племянника по этому соглашению предполагалось удалить от двора до той

поры, когда время научит его более разумному суждению. Ныне судьба устранила его совсем; таким образом, наши старания предвосхищены, и в них миновала нужда.

— Если ваша светлость, — ответил граф, — не усматривает ничего, что могло бы вновь нарушить между нами доброе согласие, которого требуют спокойствие и безопасность Шотландии, то я не враг своей стране и не стану сам выискивать повод к ссоре.

— Я вас понял, милорд Дуглас, — горячо подхватил Олбени. — Вы слишком поспешно пришли к заключению, что я, наверно, в обиде на вашу милость за то, что вы поторопились применить свои полномочия королевского наместника и расправились на месте с гнусными убийцами в принадлежащем мне Фолкленде. Поверьте, я, напротив, премного обязан вашей милости, что вы взяли на себя казнь негодяев, избавив меня от столь неприятного дела — ведь один их вид сокрушил бы мое сердце. Шотландский парламент, несомненно, захочет провести следствие по этому кощунственному деянию, и я счастлив, что меч отмщения взял в свои руки человек столь влиятельный, как вы, милорд. Переговоры наши, как, несомненно, припомнит ваша милость, шли только о том, чтобы временно наложить на моего несчастного племянника известные ограничения, ибо мы надеялись, что через год-другой он образумится и станет вести себя скромнее.

— Таковы, конечно, были намерения вашей светлости, как вы мне их излагали, — сказал граф Дуглас. — Это я честно могу подтвердить под присягой.

— Значит, благородный граф, нас никто не может осудить за то, что негодяи, как видно мстя за личную обиду, исказили наш честный замысел и придали делу кровавый исход.

— Парламент это рассудит по своему разумению, — сказал Дуглас. — Что до меня, то совесть моя чиста.

— Моя тоже снимает с меня всякую вину, — сказал торжественно герцог. — Но вот что, милорд: надо подумать, куда мы поместим для вящей безопасности

малолетнего Джеймса,¹ который становится теперь наследником престола.

— Это пусть решает король, — сказал Дуглас, спеша закончить разговор. — Я согласен, чтобы его содержали где угодно, кроме Стерлинга, Дауна и Фолкленда.

На этом он резко оборвал разговор и вышел вон.

— Удалился... — пробормотал лукавый Олбени. — Но он вынужден стать моим союзником... хотя в душе он мой смертельный враг! Все равно Ротсей отправился к праотцам... со временем может последовать за ним и Джеймс, и тогда наградой моих тревог будет корона.

Глава XXXIV

У стен обители вышли сразиться

Храбрые рыцари — тридцать на тридцать

Уинтоун

Наступил рассвет вербного вокресенья. В свою раннюю пору христианская церковь полагала свято-татством, если на страстной неделе велись бои, и карала за это отлучением. Римская церковь, к своей великой чести, постановила, чтобы на пасху, когда человек очищается от первородного греха, меч войны влагался в ножны и государи смирjali бы свой гнев на это время, именуемое «божьим миром». Однако лютоcть последних войн между Шотландией и Англией опрокинула эти благочестивые установления. Зачастую та или иная сторона в надежде захватить противника врасплох нарочно выбирала для нападения самые торжественные дни. Таким образом, однажды нарушенный, «божий мир» перестал соблюдаться; и даже вошло в обычай приурочивать к большим церковным праздникам поединки «божьего суда», каковым намеченная битва между кланами была как будто сродни.

¹ Второй сын Роберта III, брат несчастного герцога Ротсея и впоследствии король Шотландии Иаков I (*Прим. автора*)

Все же церковная служба и все праздничные обряды проводились в этот день со всею торжественностью, и даже сами участники сражения не уклонились от них. С ветвями тисового дерева в руках (наилучшая замена пальмовых ветвей) они направились: одни — в доминиканский монастырь, другие — в картезианский, послушать литургию, чтобы таким проявлением набожности, хотя бы показной, подготовить себя в это воскресенье к кровопролитной борьбе. Разумеется, приняты были все меры, чтобы по дороге в церковь клан не услышал волынок противного клана, ибо никто не сомневался, что, подобно боевым петухам, пропевшим друг другу свой военный клич, горцы по звуку волынок разыскали бы друг друга и сцепились бы, не дойдя до назначенного места боя.

В жажде подивиться на необычайное шествие горожане толпились на улицах и заполняли церкви, куда оба клана пришли на молебствие: всем любопытно было посмотреть, как они будут себя вести, и по внешнему их виду решить, которая сторона должна победить в близком уже бою. Впрочем, хотя не часто приходилось горцам посещать места молитвы, они держались в храме вполне благопристойно; и, несмотря на их дикий и необузданный нрав, казалось, лишь немногими из них владело удивление и любопытство. Они, как видно, почитали ниже своего достоинства любопытствовать и удивляться — пусть даже было вокруг немало такого, что, возможно, впервые в жизни явилось их взору.

Но и самые искушенные судьи не решались предсказывать исход борьбы, хотя огромный рост Торквила и его восьми богатырей склонял иных знатоков кулачного боя высказаться в том смысле, что преимущество будет, пожалуй, на стороне клана Кухил. Мнение прекрасного пола сложилось больше под влиянием стройного стана, гордого лица и рыцарской осанки Эхина Мак-Иана. Многим казалось, что где-то как будто бы видели они это лицо, но великолепный воинский наряд так неузнаваемо изменил ничтожного Гловерова подмастерья, что только один человек признал сго в юном вожде из Горной Страны.

Человек этот был не кто другой, как Смит из Уинда, который легко пробился в первый ряд в толпе, собравшейся полюбоваться отважными воинами клана Кухил. Со смешанным чувством неприязни, ревности и чего-то близкого к восхищению глядел он на Конахара, сбросившего с себя жалкую кожу городского подмастерья и представшего блистательным вождем, чей смелый взор, благородная осанка, гордая бровь и высокая шея, стройные ноги, красивые руки и все его удивительно соразмерное тело, а не только блеск доспехов, казалось, делали его достойным стать в первом ряду избранников, которым выпало на долю отдать жизнь за честь своего племени. Смиту не верилось, что перед ним тот самый задиристый мальчишка, которого он совсем недавно стряхнул с себя, как злобную осу, и только из жалости не раздавил.

«Он выглядит прямо рыцарем в моей благородной кольчуге, лучшей, какую я выковал, — бормотал Генри про себя. — Но, если бы нам с ним сойтись так, чтобы никто не видел, не помог, клянусь всем, что есть святого в этом божьем храме, прекрасный доспех воротился бы вновь к своему исконному владельцу! Я бы отдал все свое имение, чтобы нанести три честных удара по его плечам и сокрушить свою же лучшую работу. Да только не дожидаться мне такого счастья! Он, если выйдет живым из битвы, упрочит за собой такую славу храбреца, что незачем будет ему подвергать свое молодое счастье новому испытанию во встрече с жалким горожанином вроде меня. Он сразится через бойца-заместителя и выставит против меня моего же сотоварища, Нормана-молотобойца, — и все, чего я достигну, будет удовольствие проломить голову гэльскому быку. Кабы только увидеться мне с Саймоном Гловером!... Схожу-ка я в другую церковь, поищу его — он, конечно, уже воротился из Горной Страны».

Народ валом валил из церкви доминиканцев, когда Смит пришел наконец к своему решению, которое тут же и постарался поскорей осуществить, проталкиваясь через толпу так быстро, как только позволяла торжественность места и случая. Было мгновение,

когда он, прокладывая дорогу, оказался так близко от Эхина, что глаза их встретились. Смелое, покрытое густым загаром лицо Смита покраснелось под цвет железу, которое он ковал, и сохраняло эту багровую окраску несколько минут. Лицо Эхина вспыхнуло более ярким румянцем негодования, глаза его метали огонь жгучей ненависти. Но внезапный румянец угас, сменившись пепельной бледностью, а взгляд тотчас отвратился под встретившим его недружелюбным, но твердым взором.

Торквил, не сводивший глаз со своего приемного сына, подметил его волнение и тревожно поглядел вокруг, ища причину. Но Генри был уже далеко по пути к монастырю картезианцев. Здесь праздничная служба тоже кончилась, и те, кто еще недавно нес пальмовые ветви — символ мира и прощения грехов, теперь устремились к полю битвы, одни — готовясь поднять меч на ближнего или пасть от меча, другие — смотреть на смертельную битву с тем же диким наслаждением, какое находили язычники в борьбе гладиаторов.

Толпа была так велика, что всякий другой отчаялся бы пробиться сквозь нее. Но все так уважали в Генри из Уинда защитника города и так были уверены, что он сумеет силой проложить себе дорогу, что толпа, как по сговору, расступилась перед ним, и он очень быстро оказался подле воинов клана Хаттан. Во главе их колонны шли воынышки. Следом несли пресловутое знамя, изображавшее горного кота на задних лапах и соответственное предостережение: «Не тронь кота без перчатки!» За знаменем шел их вождь с двуручным мечом, обнаженным как бы в защиту эмблемы племени. Это был человек среднего роста, лет пятидесяти с лишним; однако ничто ни в стане, его, ни в лице не выдавало упадка сил или признаков недалекой старости. В его темно-рыжих, лежавших крутыми завитками волосах кое-где проступала седина, но поступь и движения были так легки и в пляске, и на охоте, и в бою, как если бы он едва перешагнул за тридцать. В серых глазах его ярким светом горели доблесть и лютость; лоб его, брови и

губы отмечены были умом и опытом. Дальше шли по двое избранные воины. У многих из них лежала на лице складка тревоги, так как утром они обнаружили, что в их рядах недостает одного человека, а в отчаянной борьбе, какая их ждала, недостаток даже одного бойца казался всем немаловажным делом — всем, кроме их бесстрашного вождя Мак-Гилли Хаттанаха.

— Не проговоритесь о его отсутствии саксам, — сказал он, когда ему доложили, что отряд неполон. — Подлые языки в Низине станут говорить, что в рядах клана Хаттан один оказался трусом, а остальные, может быть, и сами помогли его побегу, чтобы был предлог уклониться от битвы. Феркухард Дэй, я уверен, вернется в наши ряды, прежде чем мы приготовимся к бою; а если нет, разве я не стою двух любых воинов клана Кухил? Или разве мы не предпочли бы сразиться с противником в числе пятнадцати против тридцати, чем потерять ту славу, какую принесет нам этот день?

Воины с восторгом слушали смелую речь предводителя, но по-прежнему бросали украдкой беспокойные взгляды, высматривая, не возвращается ли беглец; и, может быть, во всем этом стойком отряде храбрецов один лишь вождь отнесся с полным безразличием к беде.

Они шли дальше по улицам, но так и не увидели Феркухарда Дэя, который в это время далеко в горах искал тех радостей, какими счастливая любовь могла его вознаградить за утрату чести. Мак-Гилли Хаттанах шел вперед, как будто и не замечая отсутствия беглеца, и вступил на Северный Луг — примыкавшее к городу отличное, ровное поле, где граждане Перта обычно обучались военному строю.

Поле с одной стороны омывалось Тэем, глубоким и взбухшим по весне. Посреди поля была сооружена крепкая ограда, замыкавшая с трех сторон площадь в полтораста ярдов длины и пятьдесят ширины. С четвертой стороны арена была, как полагали, достаточно ограждена рекой. Для удобства зрителей соорудили вокруг ограды амфитеатр, оставив свободным широ-

кий промежуток — для стражи, пешей и конной, и для зрителей из простонародья. У ближайшего к городу конца арены выстроились в ряд высокие крытые галереи для короля и его придворных, так щедро украшенные гирляндами и росписью, что за этим местом сохранилось по сей день название Золотого — или Золоченого — Шатра.

Менестрели горцев, трубившие пиброхи, то есть боевые напевы, каждой из двух соперничавших конфедераций, смолкли, как только бойцы вступили на Северный Луг, ибо таков был установленный заранее порядок. Два статных престарелых воина, каждый со знаменем своего клана, прошли в противоположные концы арены и, воткнув хоругви в землю, приготовились, не участвуя в битве, стать ее свидетелями. Волынщики, которым также положено было сохранять нейтралитет в борьбе, заняли свои места у соответственного браттаха.

Толпа приняла оба отряда равно восторженным кличем, каким она всегда в подобных случаях приветствует тех, чьи труды должны доставить ей победу — или то, что именуется словом «спорт».

Бойцы не отвечали на приветствия, но оба отряда прошли по лугу и стали у ограды с двух концов, где имелись входы, через которые их должны были пропустить на арену. Оба входа охранялись сильной стражей из латников. Граф-маршал — у одного, лорд верховный констебль — у другого тщательно проверяли каждого бойца, в положенном ли он вооружении, которое должны были составлять стальной шлем, кольчуга, двуручный меч и кинжал. Они проверили также и численность каждого отряда; велико же было волнение в толпе, когда граф Эррол поднял руку и провозгласил:

— Стойте! Сражение не может состояться, так как со стороны клана Хаттан не хватает одного бойца.

— Ну и что из того? — возразил юный граф Крофорд. — Нужно было сосчитать получше, когда покидали свой дом.

Однако граф-маршал согласился с верховным констеблем, что к сражению приступить нельзя, пока не

будет устранено неравенство; а толпа уже всполошилась, опасаясь, как бы после стольких приготовлений битву не отменили.

Среди всех присутствующих, быть может, только двое радовались тому, что сражение не состоится. Это были вождь клана Кухил и мягкосердечный король Роберт. Между тем оба вождя, каждый в сопровождении особого друга и советчика, встретились на середине арены, а чтоб им скорей договориться, в помощь им вышли граф-маршал и граф Крофорд с одной стороны, лорд верховный констебль и сэр Патрик Чартерис — с другой. Вождь клана Хаттан изъявил готовность сразиться безотлагательно, невзирая на численное неравенство.

— Нет, — сказал Торквил из Дубровы, — клан Кухил не даст на то согласия. Вы не можете отнять у нас славу мечом, вот и прибегаете к подвоху, чтобы оправдать свое поражение, в котором вы заранее уверены: вы его потом отнесете за счет недостачи у вас одного бойца. Предлагаю так: Феркухард Дэй был самым молодым в вашем отряде; в нашем самый молодой — Эхин Мак-Иан. Мы его отстраним, как устранился ваш боец, бежавший с поля.

— Предложение несправедливое и недостойное! — вскричал Тошах Бег, секундант, как сказали бы в наши дни, Мак-Гилли Хаттанаха. — Для клана жизнь вождя — дыхание наших уст. Мы никогда не согласимся, чтоб наш вождь подвергался опасности, когда глава клана Кухил не разделяет ее с ним.

Торквил с затаенной тревогой видел, что это возражение против вывода Гектора из отряда грозит разрушить весь его замысел. И он уже обдумывал, чем бы ему поддержать свое предложение, когда в спор вмешался сам Эхин. Он, заметим, был робок не той постыдной, эгоистической робостью, которая толкает человека, зараженного ею, спокойно идти на бесчестье, лишь бы избежать опасности. Напротив, духом он был смел, а робок был по своему физическому складу. Устраниться от битвы было стыдно, выйти в бой — страшно, и стыд взял верх над страхом.

— Я не желаю слышать, — сказал он, — о таком решении, по которому в день славного боя мой меч останется лежать в ножнах. Пусть я молод и непривычен к оружию, но вокруг меня довольно будет храбрецов, которым я могу подражать, если мне и не сравняться с ними. — Он сказал эти слова так пламенно, что они произвели впечатление на Торквила, а возможно, воодушевили и самого говорившего.

«Бог да благословит его благородное сердце! — сказал самому себе приемный отец. — Я знал, что злые чары распадутся и малодушие, владевшее им, отлетит от него, как только прозвучит боевая песнь и взовьется браттах».

— Послушай меня, лорд-маршал, — сказал констебль. — Уже близок полдень, и нам нельзя долго оттягивать час битвы. Пусть вождь клана Хаттан использует оставшиеся полчаса, чтобы найти, если сможет, замену своему беглецу. Если не сможет, пусть дерутся как есть.

— Согласен, — сказал маршал, — хоть я и не вижу, как Мак-Гилли Хаттанах найдет поборника — на пятьдесят миль вокруг здесь нет никого из их клана.

— Это его дело, — сказал верховный констебль. — Впрочем, если он предложит высокую награду, то среди храбрых йоменов, толкущихся вокруг арены, сыщется немало таких, что будут рады размять плечи в этой потехе. Я и сам, когда бы не мой сан и возложенная на меня обязанность, охотно бы заступил место любого из этих дикарей и почел бы это для себя за честь.

Горцам сообщили решение, и вождь клана Хаттан ответил:

— Вы рассудили нелицеприятно и благородно, милорды, и я почитаю себя обязанным исполнить ваше постановление. Итак, огласите, герольды, что, если есть охотник разделить с кланом Хаттан честь и счастье дня, ему будет дарована золотая корона и свобода сразиться насмерть в моих рьядах.

— Не слишком ли вы поскупились, вождь? — сказал граф-маршал. — Золотая корона — ничтожная плата за участие в такой драке, какая вам предстоит.

— Если найдется человек, готовый сразиться ради чести, — возразил Мак-Гилли Хаттанах, — оплата его не смутит; а мне не нужны услуги человека, который обнажает меч лишь ради золота.

Итак, герольды двинулись по полукругу, краем арены, время от времени останавливаясь, чтобы сделать оглашение. Но, как видно, никого не соблазняла предложенная честь быть зачисленным в отряд. Одни посмеивались над бедностью горцев, предложивших такую жалкую плату за столь опасную службу, другие притворно негодовали, что так дешево ценится кровь горожан. Никто не выказал ни малейшего желания взять на себя нелегкий этот труд, пока слова глашатая не достигли ушей Генри Уинда, который стоял по ту сторону барьера, разговаривая с Крейг-дэлли, или, правильней сказать, рассеянно слушая, что говорил ему бэйли.

— Эй, что он там объявил? — вскричал кузнец.

— Щедрое предложение Мак-Гилли Хаттанаха, — сказал хозяин гостиницы Грифона. — Уплатить золотую крону тому, кто захочет превратиться на денек в дикую кошку и быть убитым на его службе! Только и всего.

— Как! — вскричал с горячностью Смит. — Они вызывают охотника сразиться в их рядах против кухилов?

— Вот именно, — сказал Грифон. — Вряд ли сыщется в Перте такой дурак...

Только молвил он это слово, как увидел, что Смит перемахнул одним прыжком через ограду и вышел на арену, говоря:

— Вот, сэр герольд, я, Генри из Уинда, согласен сразиться на стороне клана Хаттан.

Ропот восхищения пробежал по толпе, между тем как степенные горожане, не видя никакого разумного оправдания такому поступку Генри, решили, что кузнец совсем свихнулся от любви к драке. Особенно был поражен сэр Патрик Чартерис.

— С ума ты сошел, Генри! — сказал он. — Да у тебя нет ни меча двуручного, ни кольчуги!

— И впрямь нет, — согласился Генри. — С той кольнугой, что я недавно сделал для себя, я расстался ради вон того удальца, вождя кухилов, и скоро он изведает на собственных плечах, каким ударом я разбиваю свою клепку. Ну, а меч... на первых порах мне послужит вот эта детская тросточка, пока я не раздобуду в бою меч потяжелее.

— Так не годится, — сказал Эррол. — Слушай, оружейник, во имя девы Марии, бери мой миланский панцирь и добрый испанский меч!

— Премного благодарен вам, мой благородный граф, сэр Гилберт Гэй! Но то снаряжение, с помощью которого ваш храбрый предок повернул счастье в битве при Лонкарти, сослужит службу и мне. Не больно я люблю драться чужим мечом и в доспехах чужой работы — я тогда не знаю толком, какой удар могу нанести, не сломав клинка, и что выдержит, не расколовшись, надетый на меня панцирь.

Между тем пронесся в толпе и пошел гулять по городу слух, что бесстрашный Смит выходит в бой без доспехов; и уже приблизился назначенный час, когда все услышали вдруг пронзительный голос женщины, кричавшей, чтоб ее пропустили к арене. Толпа раступилась перед ее дерзостью, и женщина подошла, еле дыша под тяжестью кольчуги и огромного двуручного меча. В ней сразу распознали вдову Оливера Праудфьюта, а доспехи несла она те, что принадлежали самому Смиуту: муж ее взял их у кузнеца в ту роковую ночь, когда был убит, и естественно, что вместе с телом мертвеца в дом жены внесли и надетые на нем доспехи; и вот благодарная вдова, собрав все свои силы, приволокла их на арену боя в час, когда оружие было как нельзя более нужно его владельцу. С глубокой признательностью принял Генри привычные доспехи, а вдова дрожащей рукой торопливо помогла ему облачиться в них и, прощаясь, сказала:

— Да поможет бог заступнику вдов и сирот! И да не будет удачи никому, кто выйдет на него!

Почувствовав на себе испытанные доспехи, Генри бодро встряхнулся, точно затем, чтобы кольчуга лучше облекла его тело, потом вырвал из ножен двуруч-

ный меч и завертел над головой, выписывая им в воздухе свистящие восьмерки такой легкой и быстрой рукой, что было видно, с каким искусством и силой владеет он своим увесистым оружием. Воинам дали приказ поочередно обойти арену — но так, чтобы не скрестились их пути, и, проходя, почтительно склониться перед золотым шатром, где восседал король.

Пока шел этот смотр, зрители снова с жаром сравнивали руки, ноги, рост и мускулатуру воинов обоих отрядов, гадая, каков будет исход сражения. Ярость столетней вражды, разжигаемой нескончаемым насилием и кровной местью, kloкотала в груди каждого бойца. Их лица были, казалось, дико искажены выражением гордости, ненависти и отчаянной решимости биться до конца.

В напряженном ожидании кровавой игры зрители весело и шумно выражали свое одобрение. Спорили и бились об заклад касательно исхода битвы и ожидаемых подвигов отдельных ее участников. Ясное, открытое и вдохновенное лицо Генри Смита привлекло к нему сочувствие большинства зрителей, и предлагались, как сказали бы сегодня, неравные пари, что он сразит троих противников, прежде чем будет сам убит. Смит едва успел облачиться в доспехи, как вожди отдали приказ стать по местам; и в тот же миг Генри услышал голос Гловера, громко прозвучавший над замолкшей теперь толпой и взывавший к нему:

— Гарри Смит, Гарри Смит! Какое безумие нашло на тебя!

«Эге, ты хочешь спасти от Гарри Смита знатного зятя... настоящего или будущего!» — такова была первая мысль оружейника; второй его мыслью было, что нужно обернуться и поговорить с перчаточником, а третьей — что, вступив в ряды, он уже ни под каким предлогом не может без позора выйти из них или выказать хоть минутное колебание.

Итак, он приступил к тому, что требовал час. Оба вождя расположили свои отряды в три ряда по десять человек. Бойцов поставили на таком расстоянии друг от друга, чтобы каждый мог свободно орудовать мечом, клинок которого имел пять футов в длину.

Второй и третий ряды составляли резерв и должны были вступить в бой по мере того, как первый будет редеть. На правом крыле кухилов стоял их вождь Эхин Мак-Иан, избравший для себя место во втором ряду между двумя своими названными братьями. Еще четверо лейхтахов заняли правую половину первого ряда, отец же и два других брата защищали своего любимого вождя с тыла. Сам Торквил стоял непосредственно за вождем, чтобы его прикрывать. Таким образом, Эхин оказался в центре девяти сильнейших бойцов своего отряда, поставив четырех защитников впереди себя, по одному слева и справа, и трех в своем тылу.

Хаттаны расположились в таком же порядке, с той лишь разницей, что вождь их стал в центре среднего ряда, а не на правом его конце. Это побудило Генри Смита, видевшего в отряде противника только одного врага — несчастного Эхина, попроситься на левое крыло отряда Хаттанов, в первый его ряд. Но предводитель не одобрил такого расположения и, напомнив Генри, что он обязан ему повиновением как наемник, принявший плату из его руки, приказал ему стать в третьем ряду, непосредственно за ним самим. Это был, конечно, почетный пост, и Генри не мог его отклонить, хоть и принял с неохотой.

Когда оба клана выстроились в таком порядке друг против друга, они стали ярким кличем выражать свое рвение королевских вассалов и жажду показать его на деле. Клич, раздавшийся сперва в строю кухилов, был подхвачен хаттанами; в то же время те и другие потрясали мечами и гневно грозились, точно хотели сломить дух противника, перед тем как действительно вступить в борьбу.

В тот час испытания Торквил, сам не знавший страха, был охвачен тревогой за Гектора, но быстро успокоился, видя, как уверенно держится его любимец. И те немногие слова, с какими юный вождь обратился к своему клану, прозвучали смело и должны были воодушевить бойцов: он выразил решимость разделить их жребий, ждет ли их смерть или победа. Но не осталось уже времени для наблюдений. Королевские трубачи протрубили вступление на

арену, пронзительно и одуряюще загудели волынки, и воины двинулись правильным строем, все ускоряя шаг, пока не перешли на легкий бег и не встретились на середине поля, как бурная река встречается с набегающим морским прибоем.

Первые два ряда стали рубиться длинными мечами, и бой, казалось, развивался поначалу как цепь независимых поединков. Но вскоре с той и другой стороны, распаленные ненавистью и жаждой славы, стали пробиваться в промежутки воины вторых и третьих рядов, и теперь битва уже являла картину общей сечи: над хаосом свалки то поднимались, то опускались громадные мечи, одни — еще сверкая, другие — залитые кровью, и так быстро они двигались, что казалось, будто ими управляют не человеческие руки, а какой-то сложный механизм. Многие бойцы, так как в тесноте стало невозможно пользоваться длинным мечом, уже пускали в ход кинжалы и пытались подойти к противнику совсем близко, чтобы тот, размахнувшись мечом, не мог их задеть. Хлестала кровь, и стоны раненых сливались с воем кидавшихся в сечу — потому что во все времена шотландские горцы, верные своему исконному обычаю, не кричали в бою, а скорей завывали. Однако зрители, даже те из них, чей взор был привычен к зрелищу крови и смятения, не могли разобрать, какая сторона берет верх. Бой, правда, шел, то придвигаясь ближе, то отступая, но это говорило всякий раз лишь о кратковременном превосходстве, которое тут же утрачивалось под натиском противной стороны. Дикая музыка волынок еще звучала над сечей и побуждала бойцов с новым рвением кидаться в битву.

Но вдруг, словно по обоюдному сговору, волынки пропели сигнал к отступлению; он был дан заунывными звуками, означавшими, казалось, погребальную песнь над павшими. Стороны прекратили схватку и разошлись для передышки на несколько минут. Зрители жадно оглядывали поредевшие ряды бойцов, когда те выходили из сражения; но все еще невозможно было решить, кто понес больший урон. Хаттаны потеряли меньше людей, чем их противники, но

зато их окровавленные плащи и рубашки (многие бойцы на той и другой стороне сбросили с себя плащи) показывали, что раненых среди них больше, чем у кухилов. В общей сложности человек двадцать с обеих сторон лежали на поле мертвыми или умирающими; и разбросанные всюду отрубленные руки и ноги, раскроенные до подбородка головы, торсы, рассеченные вкось от плеча до сердца, показывали, как была яростна битва, каким грозным оружием велась и с какою губительной силой владели им бойцы. Вождь клана Хаттан дрался с неустрашимой отвагой и был легко ранен. Эхин тоже сражался мужественно в кольце своих телохранителей. Меч его был окровавлен, осанка — смела и воинственна; и он радостно улыбался, когда старый Торквил, заключив в объятия, осыпал его похвалами и благословениями.

Оба вождя, дав бойцам передохнуть минут десять, снова построили свои отряды, численность которых сократилась на добрую треть. Бой передвинулся теперь ближе к реке: на прежнем месте схватки, заваленном телами убитых и раненых, стало тесно. Можно было видеть, как раненые — то один, то другой — приподнимались взглянуть на поле битвы и снова откидывались на спину — большей частью затем, чтобы тут же умереть от потери крови, так и хлеставшей из зияющих ран.

Гарри Смита было легко различить среди прочих — но не только по его городской одежде, а и по тому, что он одиноко стоял, опершись на меч, на прежнем месте боя, подле тела человека, чья голова в шапочке горца, на десять ярдов отскочившая от тела под мощным ударом меча, была украшена дубовым листом — знаком принадлежности к личной охране Эхина Мак-Иана. Генри с той минуты, как убил этого человека, больше не нанес ни одного удара, довольствуясь обороной: отражал удары, предназначенные ему самому, и несколько раз отвел удар, нацеленный на вождя. Когда Мак-Гилли Хаттанах дал своим людям сигнал снова сомкнуться в ряды, его не на шутку встревожило, что могучий наемник остается в стороне и не

выказывает ни малейшего расположения вернуться в строй.

— Что с тобой? — сказал вождь. — Неужели в таком сильном теле такой слабый и робкий дух? Ступай, сражайся!

— Ты сам только что назвал меня вроде как поденщиком, — возразил Генри. — Если я — поденщик, видишь, — он указал на обезглавленное тело, — я сделал достаточно за дневную плату.

— Кто мне служит, не считая часов работы, — возразил вождь, — тех я, не считая, награждаю золотом.

— Если так, — сказал Смит, — я сражаюсь как воин-доброволец — и на том посту, какой мне полюбился.

— Хорошо, на твое усмотрение! — ответил Мак-Гилли Хаттанах, почти разумным ублажить столь могучего помощника.

— Договорились! — сказал Генри.

Взяв к плечу свой тяжелый меч, он поспешно вступил в ряды и занял место напротив вождя клана Кухил.

Тогда-то — в первый раз — в Эхине проявилась неуверенность. Он издавна привык видеть в Генри лучшего бойца, какого могли выставить на поле боя Перт и вся его округа. К ненависти, с какой юный горец смотрел на соперника, примешивалось воспоминание, как еще недавно кузнец, невооруженный, с легкостью отразил его отчаянное и внезапное нападение; и теперь, увидев, что Генри Уинд с окровавленным мечом в руке неотрывно глядит в его сторону, как будто замыслил устремиться прямо на него, юноша пал духом и выказал первые признаки страха, не ускользнувшие от его приемного отца.

Счастьем было для Эхина, что Торквил, разделяя воззрения тех, среди кого он жил, да и по самому складу своему, был не способен представить себе, чтобы человеку его племени, а тем более вождю и его, Торквила, питомцу, могло недоставать прирожденной храбрости. Будь он способен вообразить что-либо подобное, горе и гнев толкнули бы его на отчаянный

шаг: он своей рукой лишил бы Эхина жизни, чтобы не дать ему запятнать свою честь. Но простую мысль, что его долг по природе своей трус, ум его отвергал как нечто чудовищное и противоестественное. Суеверие подсказывало другую разгадку: на вождя навели порчу злым колдовством! В тревоге, шепотом Торквил спросил Гектора:

— Чары снова омрачают твой дух, Эхин?

— Да! Я жалкий человек! — ответил несчастный юноша — И вот он стоит предо мной, лютый колдун!

— Как! — вскричал Торквил. — Вот этот? И на тебе доспех его работы?! Норман, несчастный мальчик, зачем ты принес эту проклятую кольчугу?

— Если моя стрела не попала в цель, я могу только пустить вслед за стрелой свою жизнь, — ответил Норман-нан-Орд. — Держитесь стойко. Вы увидите, я разобью заклятие.

— Да, держись, — сказал Торквил. — Пусть он колдун, но я слышал своими ушами — и своим языком повторяю: Эхин выйдет из битвы живой, свободный и невредимый... Где он, саксонский колдун, который может опровергнуть это предсказание? Как он ни силен, он и пальцем не дотронется до моего питомца, пока не свалит весь дубовый лес со всей порослью. Сомкнитесь кольцом вокруг долта, мои сыны! *Bas air son Eachin!*

Сыновья Торквила подхватили эти слова, означавшие: «На смерть за Гектора!»

Их преданность вновь придала Эхину отвагу, и он смело крикнул менестрелям своего клана:

— *Seid suas!* — Что означало: «Грядьте!»

Волянки пропели боевой призыв; но два отряда сходились медленней, чем в первый раз: противники узнали и оценили друг друга. Генри Уинд в нетерпении начать борьбу вырвался из рядов клана Хаттан и сделал знак Эхину выйти на поединок. Однако Норман бросился вперед, заслоняя названного брата, и на мгновение все замерло, как будто оба отряда согласились принять исход поединка как знамение судьбы. Горец выступил, подняв над головой двуручный меч, словно собираясь им ударить, но, едва подошел на

длину клинка, он отбросил громоздкое это оружие, легко перепрыгнул через меч Смита, когда тот попробовал подсесть его на бегу, обнажил кинжал и, подбравшись таким образом вплотную к противнику, ударил кинжалом — подарком Смита! — сбоку в шею, причем направил удар книзу, в грудь, и громко провозгласил:

— Ты сам научил меня так колоть!

Но на Генри Уинде была добрая кольчуга его собственной работы, с двойной прокладкой закаленной стали по вороту. Будь на нем кольчуга поплосше, никогда бы ему больше не сражаться. Он и сейчас был ранен, но легко.

— Глупец! — сказал он и хватил Нормана в грудь эфесом своего длинного меча так, что великан пошатнулся. — Колоть я научил, да не показал, как отражают!

И, ударив противника по голове с такой силой, что рассек и шлем и череп, он перешагнул через безжизненное тело, чтоб заняться молодым вождем, который теперь стоял перед ним, никем не прикрытый.

Но зычный голос Торквила прогремел:

— *Far eil air son Eachin!* (Еще один за Гектора!)

И два брата, заслонившие вождя с флангов, ринулись на Генри и, нанося удары оба сразу, принудили его перейти к обороне.

— Вперед, племя Тигрового Кота! — вскричал Мак-Гилли Хаттанах. — Выручайте храброго сакса! Дайте коршунам почувствовать ваши когти!

Сам весь израненный, вождь подоспел на помощь Смиту и свалил одного из лейхтахов, нападавших на кузнеца. Меч Генри сразил второго.

— *Reist air son Eachin!* (Вновь за Гектора!) — провозгласил непоколебимо приемный отец.

— *Bas air son Eachin!* (На смерть за Гектора!) — ответили еще двое из верных его сыновей. Они ринулись вперед, приняв на себя ярость Смита и всех, кто двинулся ему на помощь, тогда как Эхин, перейдя на левое крыло, стал искать в бою менее грозных противников и, выказав снова достаточную отвагу, оживил угасавшую надежду своих бойцов. Два сына Дубровы,

прикрывшие этот переход, разделили судьбу своих братьев: по окрику вождя хаттанов к этому участку битвы прорубились его самые храбрые воины. Сыновья Торквила не пали неотмщенными: они оставили своими мечами страшные меты на теле бойцов, мертвых и живых. Но то, что лучшие силы пришлось оттянуть на защиту вождя, в общем ходе сражения было не к выгоде клана; так малочисленны стали теперь оба отряда, что легко было видеть: в рядах хаттанов осталось пятнадцать бойцов — правда, по большей части раненых, — в рядах же клана Кухил только десять, в том числе четверо из телохранителей вождя, включая самого Торквила.

Бой, однако, продолжался, и по мере того как убывала сила воинов, их ярость словно росла. Генри Уинд, получивший немало ран, казалось, решил пробиться сквозь охрану вождя или целиком ее уничтожить — всех этих бесстрашных бойцов, заслонявших в битве того, чей вид разжигал в нем воинственный пыл. Но по-прежнему на клич отца: «Еще один за Гектора!» — сыновья отзывались, ликуя, ответным: «На смерть за Гектора!», и хотя ряды кухилов совсем поредели, исход сражения был все еще сомнительным. Только физическая усталость принудила сражавшихся сделать новый перерыв в борьбе.

Теперь нетрудно было увидеть, что в отряде хаттанов осталось двенадцать человек, но из них двое или трое могли стоять, лишь опершись на мечи. В отряде же кухилов осталось пятеро, в том числе Торквил и его младший сын, оба легко раненные. Один Эхин благодаря неизменной бдительности своих лейхтахов, отводивших все направленные на него удары, вышел из боя, не получив еще ни единой раны. Ярость противников угасла и перешла в угрюмое отчаяние. Они шли, шатаясь как во сне, между телами убитых и смотрели на них словно затем, чтобы вид утраченных друзей вновь разжег в них злобу на недобитых врагов.

Вскоре зрители увидели, как те, что вышли живыми из отчаянной борьбы, снова стали строиться, готовясь возобновить смертельную схватку на самом

берегу реки — единственном участке арены, еще не скользяком от крови и не слишком загроможденном телами убитых.

— Ради господа... ради того милосердия, которого мы ежедневно молим у него, — сказал добрый старый король герцогу Олбени, — вели это прекратить. Во имя чего должны мы допустить, чтоб искалеченные, полуживые создания довели свою бойню до конца? Теперь они, конечно, станут податливей и заключат мир на умеренных условиях.

— Успокойтесь, государь мой, — сказал его брат. — Для Нижней Шотландии эти люди — сушая чума. Оба вождя пока еще живы; если они невредимыми выйдут из боя, вся пролитая сегодня кровь будет напрасной жертвой. Вспомните, вы обещали совету не прерывать состязание.

— Ты склоняешь меня на великое преступление, Олбени: как король, я бы должен защищать своих подданных, как христианин — печься о своих братьях по вере.

— Вы неверно судите, мой господин, — сказал герцог. — Перед нами не верноподданные ваши, а непокорные мятежники, как может засвидетельствовать наш уважаемый лорд Крофорд; и еще того меньше их можно назвать христианами, ибо приор доминиканцев может клятвенно подтвердить, что они наполовину язычники.

Король глубоко вздохнул:

— Ты всегда настоишь на своем — ты слишком умен, мне тебя не переспорить. Я могу только отвести лицо и закрыть глаза, чтобы не видеть этого побоища, которое мне так претит, не слышать его шума. Но я твердо знаю: бог накажет меня уже и за то, что я был свидетелем этой резни.

— Трубы, трубите! — сказал Олбени. — Если дать им промедлить дольше, их раны начнут заживать.

Пока шел этот разговор, Торквил, обняв молодого вождя, пытался его приободрить.

— Не поддавайся колдовству еще последние несколько минут! Гляди веселей — ты выйдешь из битвы

без раны, без царапины, без рубца или изъяна. Гляди веселей!

— Как могу я быть весел, — сказал Эхин, — когда мои храбрые родичи один за другим умерли у моих ног?.. Умерли все ради меня, который никак не заслуживал их преданности!

— А для чего они были рождены на свет, если не затем, чтоб умереть за своего вождя? — сказал спокойно Торквил. — Стрела попала в цель — так жалеть ли, что она не вернется на тетиву? Воспрянь же духом... Смотри! Мы оба, я и Тормот, слегка лишь ранены, тогда как Дикие Коты еще тащатся по равнине, точно крысы, полузадушенные терьерами. Еще немного отваги и стойкости — и ты выиграл битву, хотя вполне возможно, что ты один выйдешь из нее живым... Музыканты, трубите сбор!

Волынщики на обоих концах арены заиграли на своих волынках, и бойцы снова вступили в бой, пусть не с прежней силой, зато с неослабной яростью. Присоединились к ним и те, кому полагалось соблюдать нейтралитет, — но безучастно стоять в стороне стало им невозможно: два старых воина, несших знамена, передвигались постепенно от края арены к ее середине и наконец подобрались непосредственно к месту сражения. Наблюдая теперь спор вблизи, они оба загорелись желанием отомстить за своих братьев или же умереть вместе с ними. Рьяно устремились они друг на друга с пиками, заменявшими древко их знаменам, нанесли один другому несколько сильных ударов, потом, не выпуская из рук знамен, схватились и боролись до тех пор, пока в пылу борьбы не свалились оба в Тэй, где их нашли после сражения захлебнувшимися, но крепко сжимавшими друг друга в объятиях... Ярость битвы, неистовство злобы и отчаяния захватили затем и музыкантов. Волынщики во время битвы делали все, что могли, чтобы поддержать дух в своих сородичах; но, увидав теперь, что спор почти закончен за недостатком бойцов, которые могли бы его продолжать, они отбросили оба свои волынки, яростно ринулись друг на друга с обнаженными кинжалами в руках, и, так как каждый больше стре-

мился сразить противника, чем защититься самому, менестрель клана Кухил был убит почти мгновенно, а клана Хаттан — смертельно ранен. Но, раненный, он все-таки снова схватил свою волынку, и над кланом Хаттан замирающими звуками в последний раз пронеслась вместе с отлетающим дыханием менестреля боевая песнь клана. Волынка, что ему служила, или, по меньшей мере, ее трубка, так называемый *чантер*, хранится по сей день в семье одного верхнешотландского вождя и высоко почитается родом под наименованием *Federan Dhu*, то есть Черный Чантер.¹

Схватка между тем шла к концу. Вот уже юный Тормот, как и его братья принесенный отцом своим в жертву ради защиты вождя, смертельно ранен нещадным мечом Генри Смита. Еще два брата, остававшихся в рядах кухилов, также пали, и Торквил со своим приемным сыном и раненым Тормотом, принужденные отступить перед семью-восемью хаттанами, остановились на берегу реки, в то время как их противники, все до одного раненые, из последних сил тянулись за ними. Торквил едва успел достичь того места, где наметил остановиться, как юный Тормот упал мертвый. Смерть его исторгла у отца первый и единственный стон, какой он позволил себе за весь этот горестный день.

— Сын мой Тормот, — сказал он, — самый юный, самый любимый! Но если спасу я Гектора, я все спасу... Теперь, дорогой мой приемыш, мой долт, я сделал для тебя все, что может сделать человек; осталось последнее: дай мне снять с тебя этот колдовской доспех — надень вместо него кольчугу Тормота; она

¹ Нынешний вождь клана, Клуни Мак-Ферсон, и сейчас владеет этим древним трофеем, говорящим об участии Мак-Ферсонов в битве на Северном Лугу. Другую версию дает нам предание, утверждающее, будто над головами хаттанов явился воздушный менестрель и, протрубив дикую мелодию, выронил из рук волынку. Так как она была из стекла, при падении она разбилась вдребезги, и уцелел только чантер, который сделан был, как обычно, из бакаута (или железного дерева). Волыщик Мак-Ферсонов сохранил эту волшебную трубку, и в роду у них и поныне считается, что она обеспечивает клану процветание (*Прим. автора.*)

легкая и придется тебе впору. Пока ты будешь ее надевать, я брошусь на этих калек и сделаю что смогу. Я с ними, верно, без труда расправлюсь — видишь, они еле плетутся гуськом друг за другом, как недорезанные быки. Во всяком случае, мой дорогой, если не смогу я тебя спасти, я покажу тебе, как должно умирать мужчине.

Так говоря, Торквил расстегнул на Гекторе замки кольчуги в простодушной вере, что этим он разорвет те сети, которыми страх и волшебство оплели сердце юного вождя.

— Мой отец, мой отец! Нет, ты мне больше чем отец! — говорил несчастный Эхин. — Не отходи от меня!.. Когда ты рядом, я знаю, что буду биться до конца.

— Нельзя, — сказал Торквил. — Я задержу их и не дам к тебе приблизиться, пока ты надеваешь кольчугу. Благослови тебя бог во веки веков, любовь моей души!

Потрясая мечом, Торквил из Дубровы ринулся вперед все с тем же роковым военным кличем, столько раз в этот день огласившим поле. *Bas air son Eashin!* — снова трижды громом прокатилось над ним. И каждый раз, как повторял он свой военный клич, его меч сражал одного, другого, третьего из воинов клана Хаттан, по мере того как они поодиночке приближались к нему. «Славно бьешься, ястреб!», «Хорошо налетел, сокол!» — восклицал в толпе то тот, то другой, следя за трудами бойца, которые, казалось, даже теперь, в последний этот час, грозили изменить исход сражения. Вдруг все крики смолкли, и среди мертвой тишины был слышен только звон мечей, такой страшный, точно весь спор пошел сначала, вылившийся в единоборство Генри Уинда и Торквила из Дубровы. Они так кидались друг на друга, кололи, рубили, секли, как будто впервые обнажили мечи в этот день; и ярость их была обоюдна, потому что Торквил узнал в противнике того колдуна, который, по его наивной вере, навел порчу на его дитя; а Генри видел пред собой исполина, который с начала и до конца сражения мешал тому, единственно ради чего

вступил он в строй, — не давал ему сразиться в поединке с Гектором. Борьба казалась равной, что, возможно, было бы не так, когда бы Генри, раненный сильнее, чем его противник, не утратил частично свою обычную ловкость.

Эхин между тем, оставшись один, силился впопыхах натянуть на себя доспехи павшего брата; но, охваченный стыдом и отчаянием, бросил бестолковые свои попытки и ринулся вперед помочь отцу в опасном единоборстве, пока не подоспели другие из клана Хаттан. Он был уже в пяти ярдах от сражавшихся, твердо решив вступить в эту грозную схватку на жизнь и смерть, когда его приемный отец упал, рассеченный от ключицы чуть ли не до сердца, последним дыханием своим прошептав все те же слова: *Bas air son Eachin!* Несчастный юноша увидел, что пал его последний защитник; увидел, что его смертельный враг, гонявшийся за ним по всему полю, стоит от него на длину клинка и потрясает грозным своим мечом, которым прорубился через все препятствия, чтобы убить его, Гектора Мак-Иана! Может быть, и этого было довольно, чтобы довести до предела его природную робость; или, может быть, в этот миг он спохватился, что стоит перед врагом без панциря, между тем как и остальные противники, хоть и еле ступая, но жадные до крови и мести, подтягиваются один за другим. Скажем только, что сердце у него упало, в глазах потемнело, зазвенело в ушах, голову заволокло туманом, и все другие помыслы исчезли в страхе перед неминуемой смертью. Нанеся Смиту лишь один беспомощный удар, он увернулся от ответного, отскочив назад, и не успел противник снова занести свой меч, как Эхин бросился в стремнину Тэя. Рев насмешек неся за ним вдогонку, пока переплывал он реку, — хотя, может быть, среди глумившихся не нашлось бы и десяти человек, которые в сходных обстоятельствах поступили бы иначе. Генри глядел в молчаливом удивлении вслед беглецу, но и подумать не мог о преследовании: его самого одолела слабость, как только угасло воодушевление борьбы. Он сел в траве над

рекой и принялся как умел перевязывать те свои раны, из каких всего сильнее бежала кровь.

Хвалебный хор поздравлений приветствовал победителей, герцог Олбени и другие вельможи сошли осмотреть арену, и особливим вниманием был удостоен Генри Уинд.

— Иди ко мне на службу, добрый воин, — сказал Черный Дуглас. — Ты у меня сменишь свой кожаный передник на рыцарский пояс; а чтобы было тебе чем поддержать свое звание, я взамен твоего городского владения дам тебе доходное поместье.

— Покорно благодарю, милорд, — сказал нерадостно Смит, — но я и так уже пролил слишком много крови, и небо в наказание отобрало у меня то единственное, ради чего я ввязался в битву.

— Как, приятель? — удивился Дуглас. — Разве ты не бился за клан Хаттанов — и разве они не стяжали славную победу?

— Я бился за собственную руку, — сказал безучастно Смит.

И это выражение с той поры вошло у шотландцев в поговорку.¹

Теперь и король Роберт верхом на иноходце проехал на арену, чтобы распорядиться о помощи раненым.

— Милорд Дуглас, — сказал он, — вы докучаете несчастному земными делами, когда у него, как видно, осталось мало времени подумать о духовном благе. Нет ли здесь его друзей, которые могли бы унести его отсюда, чтобы позаботиться и о его телесных ранах и о спасении его души?

— У него столько друзей, сколько добрых людей в Перте, — сказал сэр Патрик Чартерис. — Я и себя причисляю к самым близким его друзьям.

— В мужике всегда скажется мужичья порода, — высокомерно заметил Дуглас и повернул коня. — Была бы в этом парне хоть капля благородной крови,

¹ Говорится в смысле «я сделал это не для вашей выгоды, а ради собственного удовольствия». (Прим. автора.)

один лишь намек на то, что он будет посвящен в рыцари мечом Дугласа, поднял бы его с одра смерти.

Пропустив мимо ушей насмешку могущественного графа, рыцарь Кинфонс сошел с коня, чтобы поднять Генри с земли — потому что тот, теряя силы, откинулся навзничь; но его упредил Саймон Гловер, подоспевший к месту вместе с группой видных горожан.

— Генри, мой Генри, мой любимый сын! — закричал старик. — Ох, что тебя потянуло ввязаться в погибельную битву? Умираешь, не сказав ни слова?..

— Нет... Я скажу свое слово, — отозвался Генри. — Кэтрин...

Он больше ничего не мог проговорить.

— С Кэтрин, полагаю, все в порядке: она будет твоя, коли только...

— «Коли только она жива и здорова», не так ли, старик? — подсказал Дуглас. Его несколько задело, что Генри отклонил его предложение, однако он был слишком великодушен, чтобы безучастно отнестись к происходившему. — Она в безопасности, если знамя Дугласа может ее защитить, — в безопасности, и будет богата. Дуглас может дать людям богатство, если они ценят золото выше, чем честь.

— За то, что она в безопасности, милорд, сердечное благодарение ее отца благородному Дугласу! А что до богатства, так мы и сами изрядно богаты... Золото не вернет к жизни моего любезного сына.

— Дивлюсь! — сказал граф. — Мужик отклоняет рыцарское звание, горожанин презирает золото!

— Позвольте, милорд, — сказал сэр Патрик, — я сам — не последний среди рыцарей и знати, и я беру на себя смелость заявить, что такой храбрец, как Генри Уинд, может пренебречь всеми почетными званиями, а такой честный человек, как этот почтенный горожанин, может не гоняться за золотом.

— Ты правильно делаешь, сэр Патрик, когда заступаешься за свой город, и потому я не приму твои

слова в обиду, — молвил Дуглас. — Я никому не на-
вязываюсь со своими милостями... Однако, — сказал
он шепотом герцогу Олбени, — вашей светлости сле-
дует увести короля подальше от этого кровавого
зрелища: сегодня до вечера ему предстоит узнать то,
что завтра с первым светом разнесется по всей шот-
ландской земле. Так! Распре положен конец. А да-
же и мне больно подумать, что здесь лежат уби-
тыми столько храбрых шотландцев, чьи мечи могли
бы решить в пользу нашей страны исход хоть какого
сражения!

Короля Роберта с трудом убедили удалиться с
поля битвы. Слезы катились по его старческим ще-
кам и белой бороде, когда он заклинал всех вокруг —
и вельмож и священников — позаботиться о душевных
и телесных нуждах тех немногих, что вышли из спора
живыми, и с почетом похоронить убитых. Священ-
ники, присутствовавшие на месте, стали ревностно
предлагать свои услуги в том и другом — и благоче-
стиво исполнили, что обещали.

Так кончился знаменитый бой на Северном Лугу.
Из шестидесяти четырех храбрецов (включая мене-
стрелей и знаменосцев), вышедших на роковое поле,
выжили только семеро, да и тех унесли на носилках в
состоянии, близком к тому, в каком лежали вокруг —
мертвыми и умирающими — их соратники; и прово-
жали их вместе в единой скорбной процессии, и мерт-
вых и живых, с арены их борьбы. Один Эхин ушел с
нее невредимый, но утратив честь.

Остается добавить, что в клане Кухил из крова-
вой битвы не вышел живым никто, кроме сбежавшего
вождя, и вследствие поражения конфедерация эта
распалась. Любители старины могут лишь строить до-
гадки о том, какие именно кланы входили некогда в
ее состав, так как после решающего спора кухилы
уже никогда не собирались под общим знаменем.
Клан Хаттан, напротив того, продолжал разрастаться
и процветать; и лучшие роды на севере Горной Стра-
ны похваляются, что происходят от племени Горного
Кота.

Когда король медленно ехал назад в монастырь, где стоял двором, герцог Олбени с тревогой в глазах и дрожью в голосе спросил у графа Дугласа:

— Поскольку, милорд, вы явились очевидцем печальных событий в Фолкленде, не пожелаете ли вы сообщить о них весть моему злосчастному брату?

— Ни за всю Шотландию! — отрезал Дуглас. — Я лучше стану на полет стрелы перед сотней лучников Тайндейла и обнажу перед ними грудь. Нет, святая Брайда Дугласов мне свидетельницей, я могу только сказать, что видел несчастного юношу мертвым. Как случилось, что он умер, это скорее сможете объяснить вы, ваша светлость. Когда бы не бунт Марча и не война с англичанами, я бы высказал вам, как я на это смотрю. — С этими словами граф отвесил низкий поклон в сторону короля и поскакал к себе, предоставляя герцогу Олбени рассказать брату о случившемся, как он сам сумеет.

«Бунт Марча и война с англичанами? — повторил про себя герцог. — Да! И еще твоя собственная выгода, любезный граф, которую при всем своем высокомерии ты не можешь отделить от моей. Что ж, если задача возложена на меня, я должен с нею справиться — и справлюсь».

Он проследовал за королем в его покои. Король, опустившись в свое любимое кресло, с удивлением посмотрел на брата.

— Ты бледен как смерть, Робин, — сказал король. — Хотел бы я, чтобы ты побольше думал перед тем, как дать пролиться крови, если это на тебя так сильно действует. И, однако, Робин, я люблю тебя тем горячее, что временами ты все-таки показываешь природную свою доброту — даже и тогда, когда прибегаешь к сомнительной политике.

— А я, мой царственный брат, — сказал приглушенным голосом герцог Олбени, — всей душой хотел бы, чтобы нам сегодня не довелось услышать о чем-нибудь похуже, чем залитое кровью поле, которое мы с вами видели сейчас. Я не стал бы долго сокрушаться

о тех дикарях, что лежат там пищей для воронья. Но увы!.. — Он умолк.

— Как! — вскричал в ужасе король. — Что нового и страшного еще?.. Ротсей? Наверно... наверно, Ротсей!.. Говори! Какое совершил он новое безрассудство? Опять беда?

— Милорд... мой государь!.. Кончились все безрассудства, все беды моего несчастного племянника.

— Он умер!.. Умер! — в муке простонал отец. — Олбени, как брат заклинаю тебя... Нет, я уже не брат твой! Как твой король я тебе приказываю, темный и хитрый человек, сказать мне самое худшее!

Олбени, запинаясь, проговорил:

— Подробности мне известны только смутно... Достоверно одно: мой бедный племянник прошлой ночью был найден мертвым в своей спальне... Умер, как мне сказали, от какой-то внезапной болезни.

— Ротсей!.. Возлюбленный мой Давид!.. О, если бы дал мне бог умереть вместо тебя, мой сын... мой сын!

Так говорил страстными словами писания беспомощный, осиротелый отец и рвал на себе седую бороду и белоснежные волосы, между тем как Олбени, безмолвный, сраженный укорами совести, не смел остановить бурю его гнева. Но смертельная тоска короля почти мгновенно сменилась бешенством, настолько чуждым мягкой и робкой его природе, что братом его овладел страх и заглушил поднявшееся раскаяние.

— Так вот что крылось за твоими нравственными наставлениями, — сказал король, — за твоим благочестием!.. Но одураченный отец, отдавший сына в твои руки, невинного ягненка — в руки мясника, этот отец — король! И ты это узнаешь, на горе себе! Как, убийца смеет стоять перед братом, запятнанный кровью его сына? Не бывать тому!.. Эй, кто там есть? Мак-Луис! Бранданы!.. Измена!.. Убийство!.. Обнажите мечи, если вам дорог Стюарт!

Мак-Луис и с ним несколько человек из стражи ворвались в зал.

— Измена и убийство! — вскричал несчастный король, — Бранданы, ваш благородный принц...

В горе и волнении он замолчал, не в силах выговорить страшное свое сообщение. Наконец срывающимся голосом он снова начал:

— Немедленно топор и плаху во двор!.. Схватить... — Но слово точно застряло в горле.

— Схватить — кого, мой благородный сеньор? — спросил Мак-Луис, который, увидав своего короля в этом порыве неистовства, так не вязавшемся с его обычной учтивой манерой, почти склонился к мысли, что тот, насмотревшись на ужасы битвы, повредился в уме. — Кого я должен схватить, государь мой? — повторил он. — Здесь только брат вашего королевского величества, герцог Олбени.

— Верно, — сказал король, уже остыв после краткого приступа мстительной ярости. — Слишком верно... Никто, как Олбени... Никто, как сын моих родителей, никто, как брат мой! О боже! Дай мне силы унять греховную злобу, горящую в груди... *Sancta Maria, ora pro nobis!*¹

Мак-Луис бросил недоуменный взгляд на герцога Олбени, который постарался скрыть свое смущение под напускным сочувствием и полушепотом стал объяснять офицеру:

— От слишком большого несчастья у него помутился рассудок.

— От какого несчастья, ваша светлость? — спросил Мак-Луис. — Я ни о чем не слышал.

— Как!.. Вы не слышали о смерти моего племянника Ротсея?

— Герцог Ротсей умер, милорд Олбени? — вскричал верный брандан в ужасе и смятении. — Где, как и когда?

— Два дня назад... Как — еще не установлено... в Фолкленде.

Мак-Луис смерил герцога долгим взглядом; потом с горящими глазами, с видом твердой решимости обратился к королю, который творил про себя молитву:

¹ Святая Мария, молись за нас! (лат.).

— Мой государь! Минуту назад вы не договорили слова, одного только слова. Скажите его — и ваша воля для бранданов закон!

— Я молился, Мак-Луис, чтобы мне побороть искушение, — ответил убитый горем король, — а ты меня вновь искушаешь. Вложил бы ты в руку безумного обнаженный меч?.. Но ты, Олбени, мой друг, мой брат... советчик мой и наперсник!.. Как сердце твое позволило тебе это свершить?

Олбени, видя, что чувства короля смягчились, заговорил с большей твердостью:

— Мой замок не огражден бойницами против воинства смерти... Я не заслужил тех черных подозрений, которые заключены в словах вашего величества. Я их прощаю, ибо они внушены отчаянием осиротевшего отца. Но я присягну крестом и алтарем... спасением своей души... душами наших царственных родителей...

— Молчи, Роберт! — остановил его король. — Не добавляй к убийству ложную клятву. Но неужели все это делалось, чтобы на шаг приблизиться к скипетру и короне? Бери их сразу, безумец, и почувствуй, как чувствую я, что они жгут раскаленным железом!.. О Ротсей, Ротсей! Ты хоть избавлен от злого жребия стать королем!

— Государь, — сказал Мак-Луис, — позвольте мне вам напомнить, что корона и скипетр Шотландии, когда ваше величество перестанете их носить, переходят к принцу Джеймсу, который наследует права своего брата Давида.

— Верно, Мак-Луис! — горячо подхватил король. — А с ними, бедное мое дитя, он унаследует и те опасности, которые сгубили его брата! Благодарю, Мак-Луис, благодарю!.. Ты мне напомнил, что есть у меня дело на земле. Ступай и как можно скорее призови своих бранданов быть наготове! Не бери с нами в путь ни одного человека, чью преданность ты не проверил, в особенности никого, кто был связан с герцогом Олбени... да, с человеком, который называет себя моим братом!.. И вели, чтобы мне немедленно подали носилки. Мы отправимся в Дамбартон, Мак-Луис, или в Бьют. Горные кручи, и бурный прибой, и

сердца верных бранданов будут защитой моему сыну, пока не лег океан между ним и честолюбием его жестокого дяди... Прощай, Роберт Олбени... Прощай навсегда, человек с каменным сердцем и кровавой рукой! Наслаждайся той долей власти, какую уступят тебе Дугласы... Но впредь не смей показываться мне на глаза, а пуще того — не пытайся приблизиться к моему меньшому сыну! Потому что в час, когда ты совершишь такую попытку, мои телохранители получат приказ заколоть тебя своими протазанами!.. Мак-Луис, распорядись об этом.

Герцог Олбени удалился, не пытаясь ни оправдываться, ни возражать.

Что последовало далее, о том повествует история. На ближайшей сессии парламента герцог Олбени настоял, чтобы высокое собрание объявило его невиновным в смерти Ротсея, — хотя, исключив вопрос о пене за оскорбление или о прощении обиды, он тем самым показал, что признает за собой вину. Несчастный престарелый король затворился в замке Ротсея в Бьюте, чтобы там оплакивать погибшего первенца и в лихорадочной тревоге оберегать жизнь своего второго сына. Не видя более верного способа уберечь малолетнего Джеймса, отец отправил его во Францию, где мальчику предстояло воспитываться при дворе французского короля. Но судно, на котором отправили принца Шотландского, захватил английский корсар; и хотя в ту пору между двумя королевствами было заключено перемирие, Генрих IV Английский не постеснялся удержать принца в плену. Это нанесло несчастному Роберту III последний, сокрушительный удар. Возмездие, хотя и запоздалое, все же постигло его вероломного и жестокого брата. Правда, сам Роберт Олбени мирно сошел в могилу, дожив до седин и передав регентство, которого достиг такими гнусными путями, в наследство своему сыну Мардоку. Но через девятнадцать лет после смерти престарелого короля вернулся в Шотландию Джеймс — король Иаков I Шотландский, а герцог Мардок Олбени вместе со своими сыновьями взошел на эшафот во искупление вины своего отца и собственной вины.

Тому, кто честен искони,
Кто не носил личины,
Как мяч Фортуна ни гони,
Терзаться нет причины.

Бернс ¹

Пора нам вернуться к пертской красавице, которую по приказу Дугласа удалили от ужасов Фолклендского замка, чтоб отдать под покровительство его дочери, вдовствующей герцогини Ротсей. Эта леди временно стояла двором в Кемпсийской обители — небольшом монастыре, развалины которого по сей день на редкость живописно расположены над Тэем. Он взобрался на вершину кручи, высящейся над величавой рекой, которая здесь особенно примечательна водопадом Кэмпси Линн; в этом месте воды реки бурно перекатываются по ряду базальтовых скал, преграждающих ее течение наподобие естественной плотины. Прельщенные романтической красотой местности, монахи Купарского аббатства построили здесь обитель, посвятив ее малоизвестному святому Гуннанду, и сюда они нередко удалялись для приятного препровождения времени и молитв.

Обитель охотно открыла свои ворота перед именитой гостьей, так как этот край был подвластен могущественному лорду Драммонду, союзнику Дугласа. Здесь глава отряда телохранителей, доставившего в Кэмпси Кэтрин и французенку, вручил герцогине письма ее отца. Если и были у Марджори Дуглас основания жаловаться на Ротсея, его страшный, неожиданный конец глубоко потряс высокородную леди, и она далеко за полночь не ложилась спать, предаваясь скорби и молясь.

На другое утро — утро памятного вербного воскресенья — она приказала привести к ней Кэтрин Гловер и певицу. Обе девушки были потрясены и угнетены теми ужасами, на которые нагляделись в последние дни; а Марджори Дуглас, как и ее отец, своим

¹ Перевод С. Петрова.

внешним видом не столько располагала к доверию, сколько внушала почтение и страх. Все же она говорила ласково, хоть и казалась подавленной горем, и вызнала у девушек все, что могли они ей рассказать о судьбе ее заблудшего и легковверного супруга. Она, по-видимому, была благодарна Кэтрин и музыкантше за их попытку с опасностью для собственной жизни спасти Давида Ротсея от его страшной судьбы. Герцогиня предложила им помолиться вместе с нею, а в час обеда протянула им руку для поцелуя и отпустила подкрепиться едой, заверив обеих, особенно же Кэтрин, что окажет им действительное покровительство, означавшее, как дала она понять, и покровительство со стороны ее отца, всемогущего Арчибалда Дугласа; пока она жива, сказала герцогиня, они будут обе как за каменной стеной.

Девушки расстались со вдовствующей принцессой и были приглашены отобедать с ее дуэньями и придворными дамами, погруженными в глубокую печаль, но умевшими выказать при том необычайную чопорность, которая обдавала холодом веселое сердце француженки и тяготила даже сдержанную Кэтрин Гловер. Так что подруги (теперь вполне уместно так назвать их) были рады избавиться от общества этих важных дам, сплошь потомственных дворянок, когда те, полагая неудобным для себя сидеть за одним столом с дочерью какого-то горожанина и бродяжкой-потешницей, с тем большей охотой отпустили их погулять вокруг монастыря. Слева к нему примыкал густой — с высокими кустами и деревьями — плодовый сад. Он доходил до самого края обрыва, отделенный от него только легкой оградой, такой невысокой, что глаз легко мог измерить глубину пропасти и любоваться бурливыми водами, которые пенились, спорили и клокотали внизу, перекаываясь через каменный порог.

Красавица Кэтрин и ее приятельница тихо брели по тропе вдоль этой ограды, любовались романтической картиной местности и гадали, какой она примет вид, когда лето, уже недалекое, оденет рощу в листву. Они довольно долго шли молча. Наконец веселая,

смелая духом француженка сумела одолеть печальную думу, навеянную всем недавно пережитым, да и нынешними их обстоятельствами.

— Неужели ужасы Фолкленда, дорогая Мэй, все еще тяготеют над твоей душой? Старайся позабыть о них, как забываю я. Нелегко нам будет идти дорогой жизни, если мы не станем после дождя отряхивать влагу с наших намокших плащей.

— Эти ужасы не позабудешь, — ответила Кэтрин. — Однако сейчас меня больше тяготит тревога за отца. И не могу я не думать о том, сколько храбрых в этот час расстаются с жизнью в каких-нибудь шести милях отсюда.

— Ты думаешь о битве шестидесяти горцев, про которую нам вчера рассказывали конники Дугласа? О, на такое зрелище стоило бы поглядеть менестрелю! Но увы! Мои женские глаза... Блеск скрестившихся мечей всегда слепит их!.. Ах, что это — погляди туда, Мэй Кэтрин, погляди туда! Наверно, крылатый гонец несет весть с поля битвы!

— Кажется, я узнаю человека, который бежит так отчаянно, — сказала Кэтрин. — Но если это в самом деле он, его гонит какая-то шальная мысль...

Так она говорила, а тот между тем направил свой бег прямо к саду. Собачонка бросилась ему навстречу с неистовым лаем, но быстро вернулась, жалобно скуля, и стала, прижимаясь к земле, прятаться за свою хозяйку, потому что, когда человек одержим рьяным порывом какого-либо неодолимого чувства, даже бессловесные твари умеют это понять и боятся в такую минуту столкнуться с ним или пересечь ему путь. Беглец так же бешено ворвался в сад. Голова его была обнажена, волосы растрепались; его богатый кафтан и вся прочая одежда имели такой вид, точно недавно вымокли в воде. Кожаные его башмаки были изрезаны и разодраны, ноги в ссадинах и крови. Лицо дикое, глаза навыкате, сам до крайности возбужден или, как говорят шотландцы, «на взводе».

— Конахар! — закричала Кэтрин, когда он приблизился к ней, должно быть ничего перед собой не

видя, как зайцы будто бы не видят ничего, когда их настигают борзые.

Но, окликнутый по имени, он сразу остановился.

— Конахар, — сказала Кэтрин, — или, вернее, Эхин Мак-Иан! Что же это значит!.. Клан Кухил потерпел поражение?

— Да, я носил те имена, которые дает мне эта девушка, — сказал беглец после минутного раздумья. — Да, меня именовали Конахаром, когда я был счастлив, и Эхином — когда был у власти. Но больше нет у меня имени, и нет такого клана, который ты сейчас назвала. И ты безумна, девушка, когда говоришь о том, чего нет, тому, кого нет на свете...

— Несчастный!

— Почему несчастный, ответь? — закричал юноша. — Если я трус и подлец, разве подлость и трусость не управляют стихиями?.. Разве не бросил я вызов воде? Но она меня не захлестнула! И разве я не попираю земную твердь? Но она не разверзлась, чтобы меня поглотить! Так смертному ли стать мне поперек пути!

— Боже, он бредит! — сказала Кэтрин. — Беги, зови на помощь! Он не сделает мне зла, но, боюсь, он сотворит худое над самим собой. Гляди, как он смотрит на ревущий водопад!

Француженка кинулась исполнять приказание; и, когда она скрылась с глаз, обезумевшему Конахару словно легче стало на душе.

— Кэтрин, — начал он, — она ушла, и я скажу тебе все... Я знаю, как ты любишь мир, как ненавидишь войну. Слушай же... Вместо того чтобы разить врага, я предпочел отказаться от всего, что дорого человеку!.. Я потерял честь, славу, друзей — и каких друзей!.. (Он закрыл лицо руками.) О, их любовь была сильнее, чем любовь женщины! К чему я прячу слезы?.. Все знают мой позор, пусть видят все мою скорбь. Да, все ее увидят, но в ком она пробудит сострадание?.. Кэтрин, когда я бежал как сумасшедший берегом Тэя, меня поносили и мужчины и женщины!.. Нищий, которому я кинул милостыню, чтоб купить хоть одно благословение, брезгливо отшвырнул ее

прочь, проклиная труса! Каждый колокол вызывал: «Позор презренному подлецу!» Скотина мычанием и блеянием, лютые ветры шумом и воем, бурные воды плеском и рокотом вопили: «Долой отступника!..» Девять верных гонятся за мною по пятам, слабым голосом призывают: «Нанеси хоть один удар, чтоб огомстить за нас, — мы все умерли за тебя!»

Несчастный юноша еще продолжал свои безумные речи, когда в кустах зашелестело.

— Остался один только путь! — прокричал он, вскочив на парапет, но пугливо оглянулся на чашу, сквозь которую подкрадывались двое служителей, чтобы схватить его. Однако, увидев поднявшуюся из-за кустов человеческую фигуру, он отчаянно взмахнул руками над головой и с возгласом: «*Bas air Eachine!*» — бросился с обрыва в бушующий водопад.

Нужно ли добавлять, что только пушинка не разбилась бы в прах при падении с такой высоты? Но вода в реке стояла высоко, и останки несчастного юноши не были найдены. Предание дополнило его историю разноречивыми легендами. По одной из них юный вождь клана Кухил благополучно выплыл на берег много ниже Кэмпсийских порогов; безутешный, блуждая в дебрях Ранноха, он встретился там с отцом Климентом, который поселился отшельником в пустыне и жил по уставу древних кулдеев. Он обратил сокрушенного духом и кающегося Конахара, говорит предание, и принял его в свою келью, где они вместе проводили дни в посте и молитве, пока смерть не унесла их, каждого в свой час.

По другой, более причудливой легенде Эхин Мак-Иан был похищен у смерти народом эльфов — Дуун-Ши, как зовут их горцы; и с той поры он бродит неприкаянный по лесам и полям в оружии древних кельтов, но держа меч в левой руке. Призрак его всегда является погруженным в глубокую скорбь. Иногда кажется, что он вот-вот набросится на путника, но, встретив смелое сопротивление, всегда обращается в бегство. Эти сказания основаны на двух особенностях его истории: он проявил малодушие и покончил жизнь

самоубийством. То и другое почти беспримерно в истории горца-вождя.

Когда Саймон Гловер, устроив Генри в своем доме на Кэрфью-стрит, где его другу был обеспечен необходимый уход, прибыл к вечеру того же дня в Кэмпсийскую обитель, он застал свою дочь в жестокой лихорадке — так была она потрясена всем, чему стала свидетельницей в последние дни, и в особенности гибелью товарища детских лет. Бродяжка певица ухаживала за нею, как самая заботливая и усердная сиделка, и старый Гловер, тронутый ее привязанностью к Кэтрин, дал слово, что не его будет вина, если когда-нибудь она возьмет в руки лютную иначе, как ради своей же забавы.

Прошло немало времени, прежде чем Саймон отважился рассказать дочери о последних подвигах Генри и его тяжелых ранах; и в своем рассказе он постарался подчеркнуть одно искупающее обстоятельство: что верный ее возлюбленный отклонил почет и богатство, не пожелав пойти на службу к Дугласу и сделаться профессиональным воином. Кэтрин тяжело вздыхала и качала головой, слушая повесть о кровавом вербном воскресенье на Северном Лугу. Но она, как видно, рассудила, что люди по культуре и утонченности не часто поднимаются над понятиями своего времени и что в те жестокие дни, когда выпало им жить на земле, безрассудная и безмерная отвага — такая, как у Генри Смита, — все же предпочтительней, чем малодушие, приведшее Конахара к гибели. Если оставались у нее на этот счет сомнения, Генри их рассеял убедительными доводами, как только здоровье позволило ему заговорить самому в свою защиту:

— С краской в лице признаюсь тебе, Кэтрин: мне даже и подумать тошно о том, чтобы ввязаться в битву. На том поле такая была резня, что и тигр был бы сыт по горло. Я решил повесить свой палаш и не обнажать его иначе, как только против врагов Шотландии.

— Если призовет Шотландия, — сказала Кэтрин, — я сама препояшу тебя мечом.

— И вот что, Кэтрин, — сказал обрадованный Гловер, — мы закажем много месс за упокой души всех, кто пал от меча Генри, и оплатим их щедрой рукой; это и совесть нашу успокоит и примирит с нами церковь.

— На это дело, отец, — сказала Кэтрин, — мы употребим сокровища злополучного Двайнинга. Он завещал их мне, но, наверно, ты не захочешь смешать его гнусное, пахнущее кровью золото с тем, что ты сам заработал честным трудом.

— Я лучше принес бы чуму в свой дом! — сказал, не колеблясь, Гловер.

Итак, сокровища злодея аптекаря были розданы четырем монастырям; с тех пор никто ни разу не усомнился в правоте старого Саймона и его дочери.

Генри обвенчался с Кэтрин через четыре месяца после битвы на Северном Лугу, и никогда корпорации перчаточников и молотобойцев не отплясывали танец меча так весело, как на свадьбе храбрейшего горожанина и красивейшей девушки Перта. Десять месяцев спустя прелестный младенец лежал в богато устланной колыбельке, и его укачивала Луиза под песенку:

О, храбрый мой,
О, верный мой,
Он ходит в шапке голубой

Как значится в церковной записи, восприемниками мальчика явились «высокий и могущественный лорд Арчибалд, граф Дуглас, почитаемый и добрый рыцарь сэр Патрик Чартерис из Кинфонса и светлейшая принцесса Марджори, вдова его высочества принца Давида, покойного герцога Ротсея». Под таким покровительством какая семья не возвысилась бы в скором времени? И многие весьма почтенные дома в Шотландии и особенно в Пертшире, как и многие именитые личности, отличавшиеся в искусствах или на войне, с гордостью указывают, что ведут свой род от Гоу Хрома и пертской красавицы.

РАССКАЗЫ

восстания 1745 года, и нередко смутный страх охватывал тех, кто со Стерлингских башен устремлял взгляд на север, где, словно некая мрачная крепость, высилась мощная горная цепь, укрывавшая в своих тайниках племя, которое сохранило еще старинную одежду, обычаи и язык, чем немало отличалось от своих соотечественников — жителей равнин. Что до меня, то я отпрыск рода, не склонного поддаваться страхам, порожденным одним лишь воображением. У меня в Горной Шотландии были родные, я знала несколько знатных семейств этого края, и, сопровождаемая только моей горничной, миссис Алисой Лэмскин, я смело пустилась в путь.

Впрочем, у меня оказался проводник и чичероне, ничем почти не уступавший *Великодушью* в «Пути паломника»; то был не кто иной, как Доналд Мак-Лиш, возница, которого я, вместе с парой отменных лошадей, таких же надежных, как сам Доналд, наняла в Стерлинге, чтобы доставлять мою карету, мою дуэнью и меня самое куда мне только вздумается.

Доналд Мак-Лиш принадлежал к той породе возниц, которая, думается мне, совершенно исчезла с появлением дилижансов и пароходов. Людей этой профессии было немало в Перте, Стерлинге и Глазго, где обычно путешественники — или туристы — нанимали их вместе с упряжкой для тех поездок, которые им, либо по делам, либо для собственного удовольствия, случалось совершать по Шотландии. Они напоминали почтарей, которых мы встречаем на континенте. Такого возницу можно сравнить и со штурманом английского военного корабля, на свой собственный лад ведущим судно по тому курсу, который ему предписал капитан. Стоило только указать вашему вознице продолжительность предстоящего путешествия и сообщить ему, что именно вы хотели бы повидать, — и легко было убедиться, что он как нельзя лучше умеет выбирать места для ночлега и роздыха, вдобавок всегда принимая в расчет ваши вкусы, и старается показать вам все, что заслуживает внимания.

Такое лицо, разумеется, должно было обладать качествами гораздо более высокими, чем обычный

«сменный», три раза в день галопом пробегающий десять миль туда и назад. Доналд Мак-Лиш не только искусно справлялся со всеми неприятностями, какие в пути нередко могут приключиться с лошадьми и каретой, не только ухитрялся добывать для лошадей (если с фуражом приходилось туго и овса не оказывалось) разные замены вроде гороховых и овсяных лепешек, но был также человеком весьма сведущим. Он хорошо знал передававшиеся из рода в род сказания этой страны, которую он исколесил вдоль и поперек, и, если его к тому поощряли (ибо Доналд держал себя с приличествовавшей ему скромностью), охотно останавливался возле мест, где некогда происходили самые ожесточенные сражения между кланами, и пересказывал наиболее любопытные из легенд, относившихся как к самой дороге, так и к разным достопримечательностям, которые встречались на пути. В складе ума этого человека и его манере выражаться было нечто своеобразное: его любовь к древним преданиям являла резкий контраст находчивости, необходимой для промысла, которым он занимался; разговор с ним всегда бывал занимательным, и время в пути проходило незаметно.

Прибавьте к этому, что Доналд знал обычаи каждого из уголков того края, по которому разъезжал. Он мог с точностью сказать, когда именно будут «колоть ягнят» в Тиндраме или Гленуилте, благодаря чему приезжий может рассчитывать на пристойное пропитание, и столь же точно определял расстояние до последней деревни, где еще удастся купить каравай пшеничного хлеба, — сведения весьма ценные для тех, кто мало знаком со «страной овсяных лепешек». Он знал, как свои пять пальцев, каждую милю дороги, и мог безошибочно сказать, какая сторона того или иного моста в горах проезжая и какая, вне всякого сомнения, опасна.¹ Словом, Доналд Мак-Лиш

¹ Знать это было необходимо, особенно в те времена. В одном из прекраснейших горных округов не так еще давно на мосту красовалась поразительная надпись: «Держитесь правой стороны, левая опасна». (Прим. автора.)

был не только нашим надежным спутником и верным слугой, но и смиренным, услужливым нашим другом; и хотя я знавала почти классического итальянского чичероне, болтливого французского наемного лакея, и даже испанского погонщика мулов, гордого тем, что он питается одной кукурузой, и грозного, когда дело касалось его чести, — мне все же думается, что у меня никогда не было такого разумного и понятливого проводника.

Разумеется, нашими передвижениями ведал Доналд, и зачастую, в погожие дни, мы предпочитали дать отдохнуть лошадям в каком-нибудь живописном уголке, даже если там не было почтовой станции, и закусывали где-нибудь под отвесною скалой, с которой низвергался водопад, или у родника на сочной зеленой лужайке, пестревшей полевыми цветами. Доналд умел находить такие уголки, и хотя он, как мне кажется, никогда не читал ни Жиль Бласа, ни Дон-Кихота, он, однако, всегда умел выбрать места, достойные пера Лесажа или Сервантеса. Заметив, как охотно я вступаю в беседу с деревенским человеком, он зачастую предлагал нам расположиться на отдых не-вдалеке от хижины какого-нибудь престарелого гэла, чей палаш разил врага под Фолкерком или Престоном, старика, который, несмотря на всю свою ветхость, был живым свидетелем далекого прошлого. Иной раз ему удавалось исхлопотать нам скромное, простиравшееся не дальше чашки чая гостеприимство какого-нибудь сельского священника, человека образованного и достойного, или зажиточного землевладельца, с грубоватой простотой самобытных своих нравов и неподдельным сердечным радушием соединявшего своеобразную учтивость, вполне естественную у народа, самый захудалый представитель которого, подобно испанскому дворянину, привык считать, что он «такой же джентльмен, как сам король, разве что малость победнее».

Всем этим людям Доналд Мак-Лиш был хорошо известен, и его рекомендация имела не меньше значения, чем письмо от какого-нибудь влиятельного в этом краю лица.

Иногда случалось так, что гостеприимство горцев, потчевавших нас всякими разновидностями местных блюд — кушаньями, приготовленными из яиц, молока, и всевозможными пирогами, а если жители в состоянии были потратиться на угощение приезжих, то и более изысканными яствами, — когда дело доходило до «горной росы», слишком уж щедро простиралось на Доналда Мак-Лиша. Бедный Доналд! В таких случаях он был похож на руно Гедеоны, влажное от благородного вещества, на нас, разумеется, не изливавшегося. Но это был единственный его недостаток, и к тому же, когда его уговаривали выпить дох-ан-дорох¹ за мое, его госпожи, здоровье, отказ был бы сочтен кровной обидой, да и не мог бы он никогда решиться на такую неучтивость. Повторяю, то был единственный его недостаток, вдобавок не так уж сильно нам досаждавший, ибо, становясь навеселе несколько более словоохотливым, Доналд в то же время еще строже обычного соблюдал правила вежливости и только ехал медленнее да говорил пространнее и вычурнее, чем тогда, когда ему не доводилось отведать хмельного. Мы заметили, что только при таких обстоятельствах Доналд с важным видом разглагольствовал о роде Мак-Лишей; и мы не вправе были сурово осуждать слабость, последствия которой были столь невинны.

Мы так привыкли к поведению Доналда, что не без интереса следили за всеми уловками, которые он пускал в ход, чтобы устраивать нам маленькие приятные сюрпризы, тщательно скрывая от нас, где именно мы сделаем привал, если намеченное им место было необычным и представляло некий особый интерес. Это до такой степени вошло у него в обычай, что когда он при выезде заранее извинялся, говоря, что придется задержаться в уединенном глухом месте, чтобы накормить лошадей овсом, который он никогда не забывал прихватить с собою, — наше воображение начинало напряженно работать, стараясь угадать, какое романтическое прибежище он втайне избрал для нашего полуденного роздыха.

¹ Прощальную чашу (шотл.).

Однажды мы почти все утро провели в очаровательной деревушке Дэлмелли; почтенный священник,¹ в ту пору назначенный в приход Гленоркьюхи, катал нас на лодке по озеру, и мы наслушались от него рассказов о суровых вождях Лох-Оу, о Дункане в шапке с бахромой и о других властителях Килчернских башен, ныне уже обращающихся в развалины. Поэтому мы двинулись в путь позже, чем обычно, и лишь после того, как Доналд раз-другой намекнул нам, что до ночлега еще очень далеко, так как между Дэлмелли и Обеном нет годных для привала мест.

Прощавшись с почтенным и любезнейшим священником, мы продолжали путешествие, следуя по извилистой дороге, огибающей огромную гору, носящую название Бен-Крухан; ее поражающие своим диким величием склоны почти отвесно спускаются к озеру. Во всей этой скалистой громаде есть единственное ущелье, в котором, несмотря на всю свою мощь, воинственный клан Мак-Дугалов из Лорна был почти целиком истреблен хитроумным Робертом Брюсом. Этот король, который был Веллингтоном своего времени, форсированным маршем произвел смелый, неожиданный маневр: часть его войска, обойдя гору с другой стороны, зашла во фланг и в тыл воинов Лорна, тогда как сам он напал на них с фронта. Множество грубо сложенных из камней могильных холмиков, по сей день видных, когда выходишь из ущелья с западной его стороны, свидетельствует о размерах кровавой расправы, учиненной Брюсом над его ярыми противниками и личными врагами. Вы знаете, все мои братья — военные, и поэтому мне пришла поразившая меня мысль, что рассказанный Доналдом обходный маневр напоминает те, которые применялись Веллингтоном и Бонапартом. Великий человек был Роберт Брюс, даже я, отпрыск Бэлиолов, должна это признать, — хотя сейчас начинают приходить к мысли, что его права на корону были менее обоснованы, чем права злополучного рода, против

¹ Фамилия этого достойного и гостеприимного пастыря — Мак-Интайр. (Прим. автора)

которого он сражался. Но не будем говорить об этом. Избиение было тем страшнее, что Оу, река быстрая и глубокая, вытекающая из озера и омывающая со всех сторон подножие горы-великана, оказалась в тылу беглецов; таким образом, сама неприступность этого места, казалось, сулившая им защиту и безопасность, отрезала несчастным все пути к спасению.

Уподобясь известной леди в ирландской песне, размышляли мы о «деяньях давно уже минувших»,¹ и медлительность, с которой мы ехали, или, вернее, ползли, по военной дороге, генералом Уэйдом проложенной, не вызвала в нас раздражения. Дорога эта никогда — или почти никогда — не соблаговолит обойти подъем или спуск, как бы крут он ни был, а идет прямоком вверх и вниз по холмам, с тем безразличием к высотам и низинам, обрывам и ровным местам, которым были отмечены дороги, построенные римлянами. Несмотря на это, выдающиеся достоинства великих сооружений, — а военные дороги Горной Шотландии, несомненно, относятся к числу таковых — вполне заслуживали хвалы, возданной им поэтом, который, то ли потому, что он попал к нам из соседнего королевства и изъяснялся на родном своем языке, то ли потому, что полагал, будто те, к кому он обращается, по национальному складу своему притязают на дар провидения, — сочинил знаменитое двустиише:

Когда б ты мог сей край увидеть до того,
Как Уэйд сюда пришел — ты б подвиг чтил его!

Действительно, что может быть чудеснее зрелища этих диких, пустынных мест, по всем направлениям прорезанных и пересеченных широкими, открывающими доступ внутрь страны дорогами, отлично построенными и неизмеримо превосходящими все то, чего страна могла в течение многих веков добиваться для мирных торговых сношений. Так следы войны иной раз успешно служат мирным целям. Победы Наполе-

¹ Строка из трогательной баллады, которую при мне пела одна девица в Эджуортстоне в 1825 году. Насколько я знаю, эта баллада не была напечатана. (Прим. автора.)

она ни к чему не привели, но его дорога через Симплон надолго останется связующим звеном между мирными народами, стремящимися использовать для торговых и дружественных сношений это исполинское сооружение, созданное честолюбием в целях нашествия на другие страны.

Двигаясь все так же медленно, мы обогнули склон Бен-Крухана и, следуя вдоль быстрого, пенистого течения Оу, оставили далеко за собой величавую гладь озера, в котором берет начало этот бурный поток. На вершинах и в расселинах скал, отвесно вздымавшихся справа от нашего пути, кое-где еще виднелись жалкие остатки лесов, некогда сплошь покрывавших их, но, по словам Мак-Лиша, в более позднее время вырубленных, чтобы обеспечить топливом чугунолитейные заводы в Буноу. Узнав об этом, мы стали внимательно приглядываться к раскидистому дубу, высившемуся слева от нас, ближе к реке. То было дерево необычайной мощи и красоты, и стояло оно посередине небольшой, всего в несколько рудов, площадки, со всех сторон окруженной скатившимися с окрестных вершин обломками каменных глыб. Романтичность пейзажа подчеркивалась тем, что это ровное место было расположено у самого подножия мрачной отвесной скалы, вышиной около шестидесяти футов, с которой низвергался горный поток; струи его дробились и рассыпались белой пеной и мириадами брызг, но внизу он с трудом, точно разбитый в бою военачальник, вновь собирал свои рассеянные войска и, как будто смиренный своим падением, бесшумно пролагал себе путь сквозь вереск, чтобы потом слить свои воды с волнами Оу.

Дерево и водопад поразили мое воображение, и мне захотелось подойти к ним поближе; отнюдь не для того, чтобы сделать набросок для альбома — в дни моей молодости девицы брались за карандаш только тогда, когда могли с пользой употребить его, — а единственно из желания отчетливее разглядеть все вокруг. Доналд тотчас открыл дверцу кареты, но заявил, что спуск здесь очень крутой и что я гораздо лучше увижу это дерево, проехав еще ярдов сто по

дороге, ибо там она пролегает ближе к этому месту, которым сам он, однако, судя по всему, нисколько не восхищался. Он-де знает, поближе к Буноу, другое дерево, гораздо больше этого, и стоит оно на ровном, открытом со всех сторон месте, где карета сможет остановиться, что здесь, на этой крутизне, дело почти невозможное; но это уж как миледи будет угодно.

Миледи угодно было полюбоваться прекрасным деревом, бывшим у нее перед глазами, а не проезжать мимо него в надежде найти другое, более красивое, и мы пошли рядом с каретой, направляясь в такое место, откуда, уверял нас Доналд, мы сможем, не карабкаясь, подойти к дубу так близко, как только пожелаем, хотя лично он присоветовал бы нам не отдаляться от большой дороги.

Загорелое лицо Доналда приняло при этих словах серьезное и таинственное выражение, и речь его столь неожиданно утратила всю присущую ей непосредственность, что мое женское любопытство разгорелось. Тем временем мы все шли да шли, и я убедилась, что дерево, которое теперь, когда мы спустились в лощину, скрылось из виду, действительно отстоит гораздо дальше, чем я предположила вначале.

— Вот теперь, — сказала я своему чичероне, — я могла бы поклясться, что привал вы сегодня задумали сделать именно под этим дубом и у этого водопада.

— Избави меня бог! — тотчас воскликнул Доналд.

— А почему, Доналд? Почему вы намерены проехать мимо такого прелестного уголка?

— Слишком это близко от Дэлмелли, миледи, рано кормить лошадей: только позавтракали — глядишь, уже обедать приневоливают! Пожалеть их надо! Да и место здесь нехорошее.

— А! Вот и разгадка тайны! Стало быть, здесь водятся духи или гномы, ведьмы или водяные, людоеды или феи?

— Никак нет, миледи, вы, смею сказать, пальцем в небо попали; но если миледи угодно будет обождать, покуда мы выедем из лощины и минуем это место, я вам все о нем расскажу. Не к добру ведь это — говорить о таких делах там, где они приключились.

Пришлось мне совладать со своим любопытством. Я сообразила, что, вздумай я снова завести разговор на эту тему, Доналд всячески будет стараться переводить его на другую, и его сопротивление, словно скрученная из пеньки веревка от того, что ее будут дергать туда и сюда, только еще сильнее натянется. Наконец, миновав долгожданный поворот, мы оказались шагах в пятидесяти от дерева, которым мне так хотелось вволю полюбоваться, и, к великому своему изумлению, я среди окружавших его обломков скал обнаружила человеческое жилье. То была самая крохотная и жалкая хижина, когда-либо виденная мною даже в Горной Шотландии. Сложенные из кусков торфа, или *дивота*, как называют его шотландцы, стены не достигали и четырех футов высоты, ветхая дерновая крыша была кое-как заплатана камышом и соломой, глиняная труба очага обвязана соломенным жгутом, и все — стены, крыша, труба, как это всегда случается с заброшенными, сбитыми из таких материалов строениями, — густо поросло сорняками и мхом. Не было и следа капустной грядки, какие мы обычно видим даже возле самых жалких лачуг, а из живых существ нас встретил только козленок, пощипывавший траву на крыше хижины, да в некотором отдалении его мать, которая паслась между хижинной и рекой.

— Сколь же тяжки, должно быть, были грехи, — невольно воскликнула я, — чтобы грешник вынужден был влачить свои дни в этом убогом жилище!

— Грехи-то действительно тяжкие, — глухим голосом ответил Доналд Мак-Лиш, — да, видит бог, и горя тоже немало. И не грешник здесь живет, а грешница.

— Женщина? — повторила я. — В таком пустынном месте? Да кто ж она такая?

— Пожалуйте вот сюда, миледи, и вы сами сможете судить об этом, — сказал Доналд. Он прошел несколько шагов вперед, затем круто свернул влево, и нам предстал все тот же могучий дуб, но со стороны, противоположной той, откуда мы видели его раньше.

— Если она верна своей старой привычке, она приходит сюда в это время дня, — продолжал Доналд, но вдруг оборвал свою речь и молча, словно боясь,

что его подслушают, только указал мне на что-то пальцем.

Я глянула в том направлении и не без смутного ужаса увидела женщину, которая сидела прислонясь к стволу дуба, потупясь, стиснув руки, закутавшись в темный плащ с низко спущенным капюшоном, совершенно так же, как на сирийских медалях изображена Иудея, сидящая под пальмой. Страх и почтение, по-видимому внушенные этим одиноким существом моему проводнику, передались мне; я не посмела приблизиться к ней, чтобы получше ее разглядеть, прежде чем не бросила на Доналда вопросительный взгляд, в ответ на который он невнятно прошептал: «В ней само зло воплотилось».

— Говоришь, умом помутилась? — переспросила я, не дослышав. — Стало быть, это женщина опасная?

— Н-нет, она не умалишенная, — ответил Доналд. — Потеряй она рассудок, ей, пожалуй, было бы легче, чем сейчас, хотя, сдается мне, когда она задумывается над тем, что содеяла сама и что было содеяно по ее вине, только потому, что она ни на волосок не хотела поступиться пагубным своим упрямством, она, верно, сама не своя. Но никакая она не сумасшедшая и не опасная; и все же, по мне, миледи, не следует вам к ней близко подходить.

И вслед за тем он торопливо, в нескольких словах, поведал мне печальную повесть, которую я здесь расскажу более подробно. Я выслушала его со смешанным чувством ужаса и жалости; мне захотелось тотчас же подойти к несчастной и сказать ей слова утешения, или, вернее, сострадания, — и вместе с тем мне было страшно.

И в самом деле, именно такое чувство она внушала окрестным горцам, взиравшим на Элспет Мак-Тевиш, или Женщину под деревом, как они ее прозвали, так же, как греки некогда взирали на людей, преследуемых фуриями и терзаемых нравственными муками, которые следуют за великими злодеяниями. Уподобляя этих несчастных Оресту и Эдипу, древние верили, что они не столько сами повинны в преступлениях, ими содеянных, сколько являются слепыми орудиями,

покорно выполняющими грозные предначертания рока, и к обуревавшему народ страху примешивалась некоторая доля преклонения.

Еще я узнала от Доналда Мак-Лиша, будто люди сграшаты, что какая-нибудь беда неминуемо постигнет того, кто осмелится слишком близко подойти или чем-нибудь нарушить мрачное уединение этого столь обездоленного существа, и что, по местному поверью, его злосчастье в том или ином виде должно передаваться пришельцу.

Поэтому Доналд был не особенно доволен, когда я все-таки решила поближе посмотреть на страдалицу, и неохотно последовал за мной, чтобы помочь сойти по очень крутому склону. Мне кажется, только попечение обо мне несколько успокаивало злое предчувствие, теснившие его грудь, ибо, вынужденный содействовать моей затее, он уже ясно видел в воображении, как лошади захромали, ось сломалась, карета опрокинулась, словом — стряслись все те несчастья, какие подстерегают в пути возниц.

Я не уверена, хватило ли бы у меня духу так близко подойти к Элспет, не следуя он за мной. Лицо этой женщины говорило о том, что она поглощена неким безысходным, необоримым горем, к которому, перебивая друг друга, примешивались и угрызения совести и гордость, заставлявшая несчастную скрывать свои чувства. Может быть, она догадалась, что нарушить ее уединение меня побудило распаленное ее необычной историей любопытство, и, разумеется, ей никак не могло прийти по вкусу, что постигшая ее участь стала предметом праздной забавы для какой-то путешественницы. Однако взгляд, брошенный ею на меня, выражал не замешательство, а гнев. Мнение суетного света и всех его детей ни на йоту не могло ни усугубить, ни облегчить бремя ее скорби, и если б не подобие улыбки, в которой сквозило презрение, свойственное тем, кто силою страдания своего возносится над нашей повседневностью, она могла показаться столь же равнодушной к моему любопытству, как мертвое тело или мраморное изваяние.

Роста она была выше среднего; в ее все еще густых волосах пробивалась седина, а были они некогда черные как смоль. Глаза, тоже черные и являвшие разительный контраст суровой неподвижности ее черт, пылали мрачным, тревожным огнем, свидетельствовавшим о смятении души. Волосы были довольно тщательно уложены и заколоты серебряной булавкой в виде стрелы, а темный плащ ниспадал красивыми складками, хотя сшит он был из самой грубой ткани.

На эту жертву собственных деяний и злосчастья я пристально глядела, покуда не устыдилась наконец своего молчания; но я не знала, как с ней заговорить, и начала было выражать свое недоумение по поводу того, что она избрала себе столь уединенное и убогое жилище. Она тотчас оборвала эти изъяснения сочувствия и, нисколько не меняя позы, сурово ответила: «Дочь чужестранца, этот человек рассказал тебе мою историю». Я замолчала, поняв, сколь ничтожными всякие земные удобства должны представляться уму, сосредоточенному на таких предметах, какие неотступно занимали ее. Не пытаясь возобновить разговор, я вынула из кошелька золотой (ибо Доналд дал мне понять, что она живет милостыней) и ожидала, что она хоть бы протянет руку, чтобы взять монету. Но она не приняла и не отвергла мое даяние, — она как будто даже совсем его не заметила, хотя, по всей вероятности, оно раз в двадцать превышало обычные приношения. Мне не оставалось ничего другого, как положить золотой ей на колени, причем у меня вырвались слова: «Да простит вас господь, и да облегчит он печаль вашу». Век не забуду я ни взгляда, обращенного к небесам, ни голоса, которым она произнесла слова, прозвучавшие совершенно так же, как звучат они у старого моего друга Джона Хоума:

— Красавец мой! Смелый мой!

Слова эти были сказаны самою природой, и исходили они из сердца страдальцы-матери, подобно словам, которыми одаренный прекраснейшим воображением поэт так трогательно выразил возвышенную скорбь леди Рэндолф.

Нет горя горше моего —
Бреду куда невесть,
И нет в кармане ничего,
И нечего поесть.

Давно ль я с гордым шла лицом,
Счастливая, домой:
Слыл Доналд в клане храбрецом,
А Доналд сын был мой.

Старинная песня

Хотя старость Элспет вся была пронизана неутешной, неумемной скорбью, однако в молодости несчастная знавала светлые дни. Некогда она была красивой, счастливой женой Хэмиша Мак-Тевиша, за необыкновенную силу и храбрость удостоенного почетного звания Мак-Тевиша Мхора.¹ Жизнь у него была бурная, полная опасностей, ибо он придерживался взглядов горцев старого закала, считавших позором испытывать нужду в чем-либо, что можно отнять у другого. Жители равнинных местностей, расположенных неподалеку от его жилья, охотно вносили ему в качестве «платы за покровительство» небольшую дань, только бы спокойно жить и пользоваться своим достоянием, и утешали себя старой пословицей, гласящей, что «лучше дьявола ублажить, чем с ним враждовать». А на тех, кто считал такую дань бесчестьем для себя, Мак-Тевиш Мхор, его друзья и приверженцы обычно, чтобы покарать их, устраивали набеги, наносившие весьма значительный ущерб либо здоровью, либо имуществу непокорных, иногда же и тому и другому. Всем еще памятно его вторжение в Монтис, когда он разом угнал стадо в полтораста голов, и столь же памятно, как он посадил в трясину лэрда Баллибугта, предварительно раздев его догола, наказуя его таким образом за то, что лэрд пригрозил вызвать отряд горной стражи для охраны своих владений.

Но сколь велики ни были порою успехи отважного разбойника, они нередко все же сменялись поражени-

¹ Великого (шотл.).

ями, и ловкость, с которой он ускользал от неминуемой, казалось бы, гибели, внезапность его исчезновений, хитроумные уловки, благодаря которым он выпутывался из самого опасного положения — запоминались так же хорошо и вызывали такое же восхищение, как и его успешные действия. В счастье и в несчастье, во всех видах невзгод, трудностей, опасностей Элспет была верной его подругой. Вместе с ним радовалась она следовавшему за удачей благоденствию, а когда они попадали в беду, сила воли, ее отличавшая, присутствие духа, стойкость, с которой она переносила опасности и лишения, нередко — гласила молва — придавали мужу ее еще больше сил для борьбы.

Они придерживались древних нравственных правил горцев — верных друзей и свирепых врагов: стада и урожаи, принадлежавшие жителям равнины, они считали своими и, как только представлялась возможность, угоняли скот и увозили зерно, не подвергая в таких случаях ни малейшему сомнению свое право владеть ими. Хэмиш Мхор рассуждал совершенно так же, как старый критский воин:

Копьем, палашом над целой страной

Обрел я навеки власть,

И тот, кто боится встречи со мной,

К ногам моим должен пасть.

Пусть помнят, что чем бы трус ни владел,

Отдать мне должен он свой надел.

Однако эти опасные, хотя зачастую и успешные грабительские набеги со времени неудачного похода принца Карла Эдуарда стали затеваться все реже и реже. Мак-Тевиш Мхор не оставался непричастным к этому событию и был вслед за тем объявлен вне закона, как человек, повинный в государственной измене, и вдобавок — разбойник и грабитель. Теперь во многих местах, где «красные мундиры» никогда еще не показывались, были размещены гарнизоны, и барабанная дробь, возвещавшая выступление саксов в поход, гулко отдавалась в самых потаенных ущельях Шотландских гор. С каждым днем становилось яснее, что Мак-Тевишу не уйти от своей судьбы; ему тем

труднее было напрягать все силы, чтобы обороняться или скрываться от преследователей, что Элспет в разгар этих бедствий разрешилась от бремени и забота о младенце очень мешала столь необходимой для них простоте передвижений.

Наконец роковой день настал: в узком ущелье одного из склонов Бен-Крухана прославленного Мак-Тевииша Мхора настиг отряд сидьер ройев — «красных мундиров». Жена героически помогала ему защищаться, она то и дело перезаряжала его ружье, и, поскольку они засели в почти что неприступном месте, ему, возможно, удалось бы скрыться, будь у него достаточно зарядов. Но заряды в конце концов иссякли. После чего он расстрелял почти все серебряные пуговицы со своего кафтана. Тогда солдаты, которых уже не удерживал страх перед метким стрелком, убившим троих из них наповал и многих ранившим, приблизились к его засаде и, отчаявшись захватить врага живым, убили его после кровопролитной схватки.

Все это произошло на глазах у Элспет, все она выдержала, ибо дитя, чьим единственным оплотом она теперь являлась, стало для нее источником силы и мужества. Трудно сказать, каким образом она существовала. Единственным видимым источником средств к жизни для нее были три-четыре козы, которых она пасла всюду на горных пастбищах, где бы ей ни вздумалось, и никто не чинил ей в этом никаких препятствий. При лютой нужде, царившей тогда в Шотландии, ее старые друзья и знакомые сами не имели больших достатков, но все то, что они могли наскреести, урезывая собственные насущные потребности, они охотно уделяли другим. Впрочем, от местных жителей Элспет скорее требовала дани, чем просила у них вспоможения. Элспет не забыла, что она — вдова Мак-Тевииша Мхора и что ребенок, которого она только еще учила ходить, быть может, однажды, так ей грезилось, сравняется славой с отцом и будет обладать столь же неограниченной властью. Она до того мало общалась с людьми, до того редко и неохотно выходила из самых дальних, уединенных расселин, где обычно ютилась со своими козами, что не подозре-

вала о великом переломе, совершившемся во всей стране, о том, что на смену вооруженному насилию пришел гражданский правопорядок, что закон и его приверженцы возобладали над теми, кого древняя гэльская песня именует «меча мятежными сынами». Разумеется, она живо ощущала утрату прежнего своего значения и бедность свою, но в ее понимании смерть Мак-Тевииша Мхора была единственной тому причиной, и она нисколько не сомневалась, что, как только Хэмиш Бин (или Джеймс Светловолосый) научится владеть отцовским оружием, она снова возвысится до прежнего своего положения. Вот почему, когда прижимистый фермер грубо отказывал ей в чем-либо, необходимом для нее самой или для пропитания ее крохотного стада, угрозы мщения, которые, при том, что они были выражены весьма туманно, звучали устрашающе, нередко заставляли скупца, из страха перед ее проклятиями, оказывать ту помощь, на которую его не могла подвигнуть ее нужда; и фермерша, что, дрожа от страха, подавала вдове Мак-Тевииша Мхора муку или деньги, в душе горько сожалела о том, что старую ведьму не сожгли живьем в тот день, когда рассчитались с ее мужем.

Так шли годы, и Хэмиш Бин превратился в юношу; правда, ростом и силой он уступал отцу, но был предприимчив и отважен; белокурый, с нежным румянцем на щеках, с орлиным взором, он унаследовал если не всю мощь, то всю пылкость грозного своего родителя, о жизни и бранных подвигах которого мать постоянно ему рассказывала, чтобы склонить сына избрать ту же трудную и чреватую опасностями стезю. Но молодые глубже стариков проникают нынешнее состояние этого изменчивого мира. Всей душой привязанный к матери, готовый делать для ее благополучия все, что только в его силах, Хэмиш все же, общаясь с людьми, убедился, что разбой стал теперь промыслом столь же опасным, как и позорным, и что, если он хочет, подобно отцу, прославиться храбростью, ему нужно избрать какую-либо другую, более соответствующую современным взглядам отрасль военного искусства.

По мере того как развивались его духовные и физические силы, он все яснее отдавал себе отчет в ничтожности своего положения, в ошибочности взглядов матери и в полном ее незнании всего, что касалось перемен, наступивших в обществе, с которым она почти не сталкивалась. Бывая у друзей, у соседей, он понял, как скудны средства у его матери, и узнал, что она не располагает ничем или почти ничем сверх того, что необходимо для самого жалкого существования, да и эти несчастные крохи иной раз совсем иссякают. Временами обильный улов или удачная охота позволяли ему немного улучшить их житье-бытье; но он не видел надежного способа мало-мальски пристойно ее содержать, кроме одного — унизиться до положения наемного слуги, что, даже если б он сам мог это стерпеть, нанесло бы, — он это знал, — смертельный удар ее материнской гордости.

Тем временем Элспет дивилась тому, что Хэмиш Бин, теперь уже рослый и вполне способный носить оружие, не выказывал склонности вступить на то поприще, где подвизался его отец; материнское чувство возбранило ей прямо, без обиняков уговаривать его стать на путь разбоя, ибо мысль об опасностях, с таким промыслом сопряженных, страшила ее, и всякий раз, когда она намеревалась завести с ним речь об этом, перед ее разгоряченным воображением возникал призрак мужа: в залитом кровью тартане стоял он между ней и сыном и, приложив палец к губам, как бы запрещал ей касаться этого вопроса. Но поведение сына, свидетельствовавшее, казалось, о малодушии, смущало Элспет; она вздыхала, видя, как он день-деньской праздно слоняется из угла в угол, одетый в длиннополый кафтан, ношение которого в Южной Шотландии взамен прежней романтической одежды закон недавно предписал гэлам, и думала о том, насколько больше он походил бы на отца, носи он ладно перехваченный кушаком пестрый тартан и короткие штаны, а на боку — до блеска начищенный палаш.

Помимо этих поводов к беспокойству, у Элспет были еще и другие, вызванные ее необузданным, порывистым нравом. Ее любовь к Мак-Тевিশу Мхору была

проникнута уважением, а порою к ней примешивался и страх; не такого он был склада, чтобы позволить женщине верховодить. Но над сыном она в детстве его, да и в ранней юности, имела неограниченную власть, придавшую ее любви к нему деспотический характер. Для нее было непереносимо, что Хэмиш, мужая, стал неуклонно стремиться к самостоятельности, отлучался из хижины во всякое время и на сколько ему угодно было и, хотя, как и прежде, выказывал ей всяческое уважение, должно быть, считал, что волен поступать так, как ему нравится, и за все свои действия отвечает только перед самим собой. Ее обиды не имели бы большого значения, будь она способна таить свои чувства; но, по природе страстная и порывистая, она часто упрекала сына в том, что он якобы ею пренебрегает и дурно с ней обращается. Когда он надолго или даже на короткое время уходил из дому, не предупредив, куда и зачем идет, она по его возвращении так несдержанно выказывала свое недовольство, что у молодого человека, любившего независимость и мечтавшего улучшить свое положение, естественно возникала мысль расстаться с ней, хотя бы уже для того, чтобы содержать в достатке ее, свою родительницу, чьи себялюбивые требования неусыпного сыновнего внимания грозили заточить его в юдоли, где оба они прозябали бы среди унылой, беспросветной нищеты.

Когда однажды сын вернулся из такой самовольной отлучки, как всегда крайне огорчившей и ожесточившей мать, она встретила его еще более сердито, чем обычно встречала. Хэмиш был рассержен и стал мрачнее тучи. Эти безрассудные нападки истощили наконец его терпение; он взял ружье, висевшее возле очага, и, бормоча сквозь зубы ответ, который уважение к матери не позволяло ему вымолвить вслух, собрался тут же уйти.

— Ты что же, Хэмиш? — спросила мать. — Никак опять вздумал оставить меня одну? — Но Хэмиш в ответ только поглядел на затвор ружья и стал его протирать. — Да, да, протри хорошенько затвор, — с горечью продолжала она. — Я рада-радехонька, что

у тебя еще храбрости хватает стрелять, пусть хоть по косуле.

При этом незаслуженном оскорблении Хэмиш вздрогнул и гневно взглянул на мать. Та догадалась, что нашла чем его уязвить.

— Да, — не унималась она, — на старуху, на мать свою, так ты умеешь грозно глядеть, но когда дело дойдет до здорового мужчины, тут ты крепко призадумаешься, прежде чем брови нахмурить.

— Замолчите, матушка, — возразил, не на шутку рассердясь, Хэмиш, — или уж говорите про то, в чем смыслите, — стало быть, про веретено да прялку.

— О веретене и о прялке, что ли, я думала, когда на своем горбу несла тебя, грудного младенца, под пулями шести солдат-саксов и ты заливался плачем? Вот что я тебе скажу, Хэмиш: я во сто раз больше смыслю в палахах и ружьях, чем ты весь свой век будешь смыслить, и никогда ты своим умом не узнаешь о правой войне столько, сколько тебе довелось увидеть, когда ты еще был завернут в мой плед.

— Видно, матушка, вы и впрямь надумали не давать мне дома покоя; но это скоро кончится, — молвил Хэмиш. Решив уйти, он встал и направился к двери.

— Стой, я тебе приказываю! — крикнула мать. — Стой! А коли не хочешь, пусть ружье, которое ты несешь, сгубит тебя! Пусть дорога, которою ты пойдешь, будет для тебя последней!

— К чему вы так говорите, матушка? — продолжал юноша, повернувшись к ней вполоборота. — Недобрые это речи, и к хорошему они не приведут! А сейчас — прощайте! Чересчур уж распались мы оба, от разговора у нас с вами толку не будет. Прощайте, не скоро вы меня теперь увидите! — С этими словами он ушел. В порыве негодования мать стала осыпать его градом проклятий, но минуто спустя она уже яростно призывала их на свою голову, только бы они не обрушились на сына. Остаток этого и весь следующий день она пребывала во власти своего бессильного исступления и то умоляла небо и все таинствен-

ные силы, в которые она верила, вернуть ей милого сына, «ее ягнечка», то, терзаемая жгучей обидой, размышляла о том, какими горькими упреками она осыпет непокорного, когда он вернется, — а затем вдруг начинала подбирать самые нежные слова, чтобы снова привадить его к лачуге, которую, когда ее мальчик бывал дома, она, упоенная материнской любовью, не променяла бы на роскошные покои замка Теймаус.

В течение двух последующих суток старуха не поддерживала себя даже той скудной пищей, которая у нее имелась. Она совсем ослабела, хотя жгучая тоска не давала ей этого ощутить, и если она и осталась в живых, то, должно быть, только благодаря природной выносливости организма, привыкшего ко всяческим бедствиям и лишениям. Ее обиталищем в те дни была та самая хижина, возле которой я ее застала: но тогда благодаря Хэмишу, трудами которого она была построена и приведена в порядок, хижина эта была более пригодна для жилья.

На третий день после исчезновения сына мать его сидела у своего порога, раскачиваясь из стороны в сторону по обычаю, принятому у женщин ее народа, когда их одолевает горе или тоска, как вдруг — случай весьма редкий в тех местах — на проезжей дороге, пролегавшей повыше хижины, показался путник. Старуха бросила на него беглый взгляд: он ехал верхом на лошади — значит, то не был Хэмиш, а Элспет слишком мало было дела до какого-либо другого существа на земле, чтобы взглянуть на него еще раз. Однако незнакомец осадил своего пони напротив хижины, спешился и, ведя лошадку под уздцы, направился по обрывистой, неровной тропе прямо к ее двери.

— Да благословит вас бог, Элспет Мак-Тевииш!

С недовольным видом человека, раздумье которого внезапно прервали, она взглянула на пришельца, обратившегося к ней на ее родном наречии, но тот продолжал:

— Я привез вам вести от вашего сына Хэмиша.

И сразу весь облик чужака, до той поры для Элспет совершенно безразличный, стал в ее глазах грозным; она увидела в нем вестника, ниспосланного свыше, дабы изречь, жизнь ей суждена или смерть. Она вскочила, стиснув руки, подняла их к небу и, не сводя глаз с незнакомца, вся подавшись вперед, взглядом своим задала ему те вопросы, которых ее скованный волнением язык не мог вымолвить.

— Ваш сын шлет вам почтительнейший привет и еще вот это, — сказал вестник, вкладывая в руку Элспет небольшой кошелек, в котором было четыре или пять долларов.

— Он ушел, ушел! — вскричала Элспет. — Прогнулся, стал слугою саксов, и я никогда его больше не увижу! Скажи мне, Майлс Мак-Федрайк — теперь я тебя узнаю, — деньги, которые ты вложил сейчас в руку матери, сын мой получил за свою кровь?

— Нет, нет, сохрани меня бог! — ответил Мак-Федрайк; он был арендатор и нанимал обширные земли у вождя своего клана, жившего милях в двадцати от хижины Элспет. — Сохрани меня бог когда-либо сделать зло либо сказать неправду вам или сыну Мак-Тевииша Мхора! Клянусь вам рукою моего вождя, что ваш сын цел и невредим и в скором времени навестит вас, — все прочее он тогда расскажет вам сам. — С этими словами Мак-Федрайк круто повернулся, снова взобрался по тропинке на большую дорогу, вскочил на своего пони и помчался во весь опор.

Глава III

Элспет Мак-Тевииш долго еще стояла, пытливо взглядываясь в монеты, словно их чекан мог поведать, каким путем они были приобретены.

«Не лежит у меня душа к этому Мак-Федрайку, — думала она. — Он из тех, о ком бард сказал: «Бойся их не тогда, когда речь их шумит, словно зимний ветер, а тогда, когда она льется, словно песенка дрозда». И, однако, к этой загадке есть один только

ключ: мой сын взялся за оружие, чтобы силою, как пристало мужчине, завладеть тем, от чего трусы хотели бы его отвадить речами, годными только детей страшать». Это предположение, внезапно у нее возникшее, показалось ей весьма вероятным, тем более что Мак-Федрайк, как ей доподлинно было известно, при всей своей осторожности настолько поощрял образ действия ее мужа, что иногда покупал у Мак-Тевиша скот, хотя отлично знал, каким путем этот скот ему доставался; правда, Мак-Федрайк всегда обставлял эти сделки так, что, получая от них большой барыш, в то же время обеспечивал себе полную безопасность. Кто лучше Мак-Федрайка сумел бы указать юному удалцу потаенное ущелье, в котором тот мог бы взяться за этот опасный промысел и быть уверенным, что добьется успеха? Кто легче всего мог обратить в деньги его добычу? Чувства, которым женщина другой страны предалась бы, узнав, что ее единственный сын без оглядки ринулся на путь, погубивший его отца, едва ли в те дни были знакомы матерям горцев. В Мак-Тевише Мхоре Элспет видела павшего в неравном бою на своем воинском посту героя, смерть которого будет отомщена. Она боялась не столько за жизнь сына, сколько за его честь. Ее страшила мысль, что он покорится чужеземным пришельцам и что вслед за этим, как ей представлялось, порабощением душа его погрузится в непробудный сон.

Нравственные правила, столь естественно зарождающиеся и развивающиеся в умах людей, воспитанных под властью прочно установленных законов, которые защищают собственность слабого от покушений на нее сильного, были для бедняжки Элспет книгой за семью печатями и родником, под землею сокрытым. Ее приучили смотреть на тех, кого в горах называют саксами, как на вражеское племя, с которым гэлы испокон веков непрестанно воюют, и она была убеждена, что любое их селение, для горцев находящееся в пределах досягаемости, вполне дозволено сделать предметом вторжения и грабежа. Упрочению таких взглядов способствовало не только ее желание отомстить за смерть мужа, но и всеобщее негодование,

не без причин возникшее в Горной Шотландии из-за варварски жестоких действий победителей после сражения при Каллодене. Но и в некоторых кланах горцев она, памятуя вековые обиды и смертельные распри, видела врагов, чьим достоянием при случае отнюдь не грех поживиться.

Благоразумие могло бы заставить ее понять, сколь ничтожны при новом порядке вещей возможности противостоять крутым мерам объединенного правительства, которое прежде, когда его власть была не столь сильна и сосредоточенна, не могло справиться с такими лихими разбойниками, как Мак-Тевиш Мхор. Но благоразумие было чуждо этой одинокой женщине, жившей представлениями времен своей молодости. Она воображала, что ее сыну достаточно будет объявить себя преемником своего отца по части удали и предприимчивости — и толпы людей, столь же храбрых, как те, что выступали под знаменем его отца, тотчас стекутся под это самое знамя, как только оно будет развернуто снова. Для нее Хэмиш был орлом, которому надлежало лишь воспарить и занять место, природой ему определенное в поднебесье; она не способна была постичь, как много враждебных глаз будет следить за его полетом, как много пуль выпустят, целясь ему в грудь. Словом, Элспет принадлежала к числу тех, кто смотрит на общество настоящего времени с теми же чувствами, какие оно внушало им в прошлом. С тех пор как ее муж утратил свое могущество и его перестали бояться, она жила в бедности, угнетаемая и презираемая, и ей казалось, что, как только сын решится взять на себя ту роль, которая принадлежала отцу, она вновь обретет былое свое влияние. Когда она позволяла своему взору проникать более отдаленное будущее, ей неизменно представлялось, что она много лет уже будет лежать в могиле, что давно отзвучат погребальные песни, над ней пропеты ее кланом, прежде чем Хэмиш Светловолосый испустит дух, сжимая эфес своего окровавленного палаша. Ведь отец его успел поседеть, прежде чем, множество раз преодолев грозившие ему опасности, он пал с оружием в руках. То, что ей пришлось быть

очевидицей его гибели и остаться после этого в живых, было в те времена в порядке вещей. И лучше было, — так она с гордостью думала, — что муж ее умер у нее на глазах такой смертью, чем если бы ей довелось видеть, как он угасает в дымной хижине, на одре из полусгнившей соломы, словно изнуренный пес или пораженный тяжелой хворью вол. Но ее отважному юному Хэмишу до смерти еще далеко. Он должен преуспеть, должен побеждать, как его отец. А когда он наконец падет в бою — бескровной смерти Элспет для него не чаяла, — она давным-давно уже будет покониться в земле и ей не придется ни видеть его предсмертные страдания, ни причитать на его могильном холме.

Поглощенная этими бессвязными мыслями, Элспет впала в обычное для нее возбуждение или, вернее, в еще большее, чем обычно. Говоря высоким языком писания, который на этом наречии не намного отличался от языка повседневного, она поднялась, умылась, сменила одеяние свое, и вкусила хлеба, и воспрянула духом.

С великим нетерпением ждала она возвращения сына, но теперь к этому чувству не примешивалось ни горечи, ни тревоги, ни страха. Она говорила себе, что ему многое еще нужно совершить, прежде чем он теперь, в эти времена, сможет стать вождем, которого все будут уважать и бояться, и все же, когда она в мыслях своих видела его возвращение, ей начинало казаться, что он явится под звуки волюнок, с развернутыми знаменами, во главе отряда храбрецов, одетых в развевающиеся по ветру живописные тартаны, наперекор законам, которые под угрозой тяжелой кары возбраняли ношение национальной одежды и всех тех знаков отличия, столь дорогих для причислявших себя к рыцарям знатных горцев. На все это ее пылкое воображение давало ему лишь несколько дней.

С той минуты как Элспет прониклась глубокой, несокрушимой уверенностью, что так оно и будет, все ее мысли сосредоточились на том, чтобы достойным образом принять сына и его приверженцев и украсить

свою хижину так же пышно, как, бывало, она это делала к возвращению его отца.

Заготовить по части съестных припасов что-либо существенное ей было не на что, да это ее и не заботило: удачливые разбойники пригонят стада крупного и мелкого скота. Но в самой хижине все было готово к их приему; асквибо она наварила столько, что диву можно было дать, как женщина без чьей-либо помощи справилась с этой работой. Свою хижину она убрала так тщательно, что та приняла, можно сказать, парадный вид. Элспет тщательно подмела ее и украсила ветками всевозможных деревьев, как это делают еврейские женщины в канун того дня, который называют праздником кушей. Все молоко, полученное в эти дни от ее маленького стада, пошло на изготовление сыров и других изделий; она изощрялась, как только могла, чтобы на славу угостить сына и его соратников, которых рассчитывала принять у себя вместе с ним.

Но главным украшением хижины, на розыски которого она положила больше всего трудов, были веточки морошки — ярко-красной ягоды, растущей только на высоких холмах, да и то очень помалу. Ее муж, а возможно, даже кто-либо из его предков, избрал эмблемой рода Мак-Тевишей эту ягоду, как бы символизировавшую малочисленность их клана и высоту их честолюбивых стремлений.

Все то время, что длились эти несложные хлопоты, Элспет чувствовала себя взволнованно-счастливой. Тревожило ее лишь одно — успеет ли она закончить все приготовления к достойному приему Хэмиша и его новых друзей — тех, кто, как она полагала, сплотился вокруг него, прежде чем они явятся, не случится ли так, что они застанут ее врасплох.

Но, выполнив все, что было в ее силах, она опять осталась без дела, если не считать отнимавшей немного времени заботы о козах; обиходив их, она вновь и вновь проверяла, все ли приготовления закончены, и опять бралась за те из них, которые необходимо было обновлять, — заменяла иссохшие ветки и увядшие цветы свежими; после этого она садилась у двери

хижины и, не отрывая глаз, смотрела на дорогу, в одну сторону подымавшуюся вверх от берега Оу, в другую — извивавшуюся по склонам горы, принаравливаясь к подъемам и спускам в той мере, в какой это позволял план, которому следовал строивший ее военный инженер. А тем временем ее воображению, из воспоминаний о прошлом творившему будущее, в предрассветном тумане или закатных облаках виделись колеблющиеся очертания быстро приближающегося отряда тех, кого в те времена именовали сидьер дху — темными солдатами, — воинов, одетых в свои национальные тартаны и называвшихся так в отличие от носивших ярко-красные мундиры английских солдат. За этим занятием она проводила по многу часов утром и вечером каждого дня.

Глава IV

Тщетно Элспет при первых лучах утренней зари и при последних проблесках вечернего света вперяла взор в видневшуюся вдаль дорогу. Нигде не клубилась пыль, предвещающая появление развевающихся перьев и блистающего на солнце оружия. Медленно брел одинокий путник в своем темно-коричневом плаще, какие носят жители равнин, и в тартане, окрашенном в черный или алый цвет, таким способом выполняя или обходя правило, безоговорочно запретившее пестрые тартаны. Во всей его унылой повадке, в том, как он шел, понуря голову, выражалось умонастроение гэлов, в ту пору униженных и подавленных суровыми, хотя, быть может, и необходимыми законами, упразднившими то, что они считали прирожденным своим правом: невозбранное ношение национальной одежды и оружия. Несмелую походку таких вот смиренных странников Элспет никак не могла принять за легкую, гордую поступь своего сына, теперь, так она считала, освободившегося от всех примет сакского порабощения и вступившего в новую жизнь. Изю дня в день, вечерами, как только темнело, она покидала свое

место у двери и, не заперев ее, бросалась на соломенную подстилку, но не спала, а только напряженно вслушивалась в тишину. Храбрые и грозные, говорила она, ходят ночью. Шаги их слышны во мраке, когда молчит все, кроме бури и водопада. Робкая лань выходит из своего убежища, только когда солнце поднимется над вершиной горы, а не знающий страха волк — тот разгуливает в багровом свете сентябрьского месяца. Напрасно она себя этим утешала; столь желанный звук голоса Хэмиша не подымал ее с убогого ложа, где она грезила о его возвращении. Хэмиш не появлялся.

«Когда надежда долго не сбывается, сердцу больно», — сказал царь-мудрец. Несмотря на могучее здоровье, Элспет чувствовала теперь, что ей не перенести терзаний, причиняемых тревожной, безмерной любовью к сыну; как вдруг рано утром на пустынной горной дороге показался путник, при виде которого в ней вновь ожили надежды, уже начавшие было сменяться безысходным отчаянием. В облике пришельца не было и следа подчинения саксам. Издалека еще она заметила перехваченный поясом пестрый тартан, красивыми складками ниспадавший со спины, и колыхавшееся на ветру прикрепленное к шапочке перо — признак благородного звания. Через плечо у него было перекинута ружье, на боку висел палаш со всем, что ему обычно сопутствует, — кинжалом, пистолетом и *спорран-моллахом*.¹ Но еще раньше чем она разглядела все эти подробности, путник ускорил свой легкий шаг, замахал рукой в знак приветствия — еще миг, и Элспет заключила в свои объятия горячо любимого сына, одетого так, как одевались его предки, и, в глазах матери, прекраснейшего из многих тысяч таких, как он.

Тщетно было бы пытаться передать словами первые излияния материнской любви. Благословениями, чередовавшимися с самыми ласковыми прозваниями, какие только нашлись в ее обычно суровой речи, ста-

¹ Сшитый из козьей кожи кошель, который горцы носят у пояса. (Прим. автора).

ралась Элспет выразить свой иступленный восторг. Стол вмиг был уставлен всем, что у нее было припасено, и когда она увидела, как юный воин уписывает приготовленное для него угощение, на нее нахлынули чувства, весьма сходные с теми, какие владели ею, когда она впервые приложила его к груди, и в то же время сколь отличные от них!

Когда бурный порыв радости улегся, Элспет захотела поскорее узнать, что приключилось с ее сыном после того дня, как они расстались; не умея сдерживать себя, она тут же принялась журить его за дерзость, с которою он среди бела дня прошел по холмам в одежде горца, хотя отлично знал, что за это установлено тяжкое наказание и что Горная Шотландия кишит «красными мундирами».

— Не бойтесь за меня, матушка, — ответил Хэмиш тоном, рассчитанным на то, чтобы рассеять ее беспокойство, и, однако, выдававшим некоторое смущение. — Я могу носить пестрый тартан у самых ворот форта Огастеса, коли захочу.

— Ах, не будь слишком смел, родной мой Хэмиш! Хоть эта черта больше всех других под стать сыну твоего отца, все же не будь слишком смел! Увы! Сейчас быются не так, как в старину, честным оружием и в равном числе, а стараются воспользоваться превосходством в людях и вооружении; вот и выходит, что слабого и сильного — обоих одинаково может пристрелить мальчишка. И не сочти меня недостойной зваться вдовой твоего отца и твоей матерью из-за того, что я так говорю; видит бог, один на один я не утратилась бы для тебя самого что ни на есть сильного противника из Бредалбейна с самим Лорном в придачу!

— Уверяю вас, милая матушка, мне ничто не угрожает, — заявил Хэмиш. — А Мак-Федрайк у вас был? Что же он вам рассказал обо мне?

— Серебра он мне оставил вдосталь, Хэмиш. Но самой большой отрадой для меня была весть, что ты здоров и скоро меня проведаешь. Однако берегись Мак-Федрайка, сын мой: когда он называл себя другом твоего отца, он самым никудышным бычком своего стада дорожил больше, чем жизнью и кровью Мак-

Тевиша Мхора. Поэтому пользуйся его услугами и плати ему за них, ибо так надобно обходиться с людьми недостойными; но последуй моему совету и не доверяйся этому человеку.

Хэмиш не мог удержаться от вздоха, и Элспет решила, что с предостережением своим она опоздала.

— Какие у вас могли быть общие дела? — продолжала она тревожно и раздраженно. — Я от него получила деньги, а он их даром не дает; он не из тех, кто меняет ячмень на мякину. Ах! Если ты сожалеешь о сделке, которую ты с ним заключил, и если ее можно расторгнуть, не запятнав ни твоей чести, ни твоего достоинства, отнеси ему его серебряные монеты и не верь его ласковым словам.

— Это невозможно, матушка, — ответил Хэмиш. — Я несколько не раскаиваюсь в том, что сделал; я только сожалею о том, что мне придется в скором времени расстаться с вами.

— Расстаться со мной? Как так? Глупыш, неужели ты воображаешь, будто я не знаю, в чем долг жены или матери храбреца? Ты ведь совсем еще мальчик; а твой отец, который двадцать лет подряд был грозою Горной Шотландии, не гнушался ни моим обществом, ни моей помощью и часто говорил, что она стоит подмоги двух дюжих слуг.

— Не в этом дело, матушка... Но раз уж мне придется оставить родные места...

— Оставить родные места! — воскликнула мать, перебивая его. — А что я, по-твоему, куст, который пустил корни глубоко в землю и погибнет, если его пересадить в другую почву? Я знавала не такие еще ветры, как те, что веют вокруг Бен-Крухана. Я следовала за твоим отцом в пустоши Росса, в непроходимые заросли И Мак И Мхора. Стыдись, сын мой! Ноги у меня старые, но они понесут меня в любую даль во след за твоими молодыми ногами.

— О горе мне, матушка! — с дрожью в голосе проговорил юноша. — Плыть по морю...

— По морю! Разве я такая, что убоюсь моря? Никогда в жизни, что ли, я не сидела в лодке? Не видела

Мельского пролива, Трешорнишских островов, крутых скал Хэрриса?

— О горе мне, матушка! Я уеду далеко-далеко от всех этих мест. Я завербовался в один из новых полков, и нас отправляют воевать с французами в Америку.

— Завербовался?—удивленно переспросила мать.— Против *моей* воли, без *моего* согласия? Ты не мог так поступить! Ты бы так не сделал! — Она встала, выпрямилась, приняла гордую, повелительную позу. — Хэмиш, ты не посмел бы!

— Отчаяние, матушка, придает смелость идти на все, — ответил Хэмиш грустно и вместе с тем решительно. — Что мне делать здесь, где я едва могу зарабатывать на хлеб себе и вам и где жизнь с каждым днем становится труднее? Если только вы согласитесь сесть и выслушать меня, я берусь убедить вас, что поступил правильно.

Элспет села с горькой усмешкой, и все то же суровое, язвительное выражение не сходило с ее лица, пока она, плотно сжав губы, слушала все доводы, которые сын приводил в свое оправдание. А Хэмиш, не смущаясь тем, что, как он и ожидал, мать разгневана, продолжал:

— Когда я в тот раз ушел из дому, дорогая матушка, у меня давно уже было решено навестить к Мак-Федрайку; хоть он хитер и тщеславен, словно сакс, однако он человек умный, и я думал, что, раз это ему ничего не будет стоить, он научит меня, как мне улучшить наше положение.

— Улучшить наше положение! — вскричала Элспет, выйдя из терпения при последних словах сына. — И ты пошел к негодяю, у которого душа не лучше, чем у последнего труса, пошел просить у него совета, что тебе делать? Твой отец — тот испрашивал совета только у своей доблести и у своего палаша.

— Милая, дорогая матушка, — сказал в ответ Хэмиш, — как мне убедить вас, что вы живете в стране отцов наших так, словно отцы наши еще живы? Вы ходите словно во сне, вокруг вас — призраки тех, кто давным-давно уже пребывает среди мертвых. Когда жил и сражался мой отец, знатные люди уважали

того, кто славился мощью своей правой руки, а богатые боялись его. Отец состоял под покровительством Мак-Каллума Мхора и Каберфая, а люди менее значительные, чем он сам, платили ему дань. С этим покончено навсегда, и тот самый промысел, который давал отцу могущество и власть над теми, что ходят в пестрых тартанах, сыну принес бы только бесславную, никем не оплакиваемую смерть. Страна покорена, светильники, ее озарявшие, погасли. Гленгари, Лохиель, Перт, лорд Льюис — все знатные вожди умерли или в изгнании. Мы можем скорбеть об этом, но изменить ничего не можем. Шапка, палаш, расшитая сумка, власть, сила, богатство — все погибло на Драммоси-Мур.

— Неправда! — гневно воскликнула Элспет. — Ты и подобные тебе трусы страшитесь собственного малодушия, а вовсе не мощи неприятеля; вы похожи на пугливую болотную курочку, которой самое маленькое облачко в небесах кажется тенью парящего над ней орла.

— Матушка, — гордо заявил Хэмиш, — не обвиняйте меня в малодушии. Я иду туда, где нужны люди с сильными руками и смелой душой. Я покидаю пустыню ради страны, где могу достичь славы.

— И ты покидаешь мать, обрекаешь ее в старости на нищету и одиночество! — воскликнула Элспет, испытывая один за другим все способы поколебать решение, коренившееся, как она теперь поняла, намного глубже, чем ей казалось вначале.

— Отнюдь нет, — снова возразил он, — я обеспечу вам достаток и спокойствие, каких вы в жизни своей не знали. Сына Баркалдайна назначили командиром роты, к нему-то я и поступил. Мак-Федрайк работает для него, вербует ему людей и в накладе не остается.

— Вот единственные правдивые слова во всем, что ты рассказал, будь даже все остальное сплошной ложью, адом порожденной, — с горечью молвила старуха.

— Но и мы на этом не прогадаем, — продолжал Хэмиш, — ведь Баркалдайн даст вам славный домик в своем лесу Леттер-Финдрейт, с выгоном для ваших

коз, да и корову, если вы пожелаете ее завести и пасти на общинных лугах. А моего собственного жалованья, хоть я и буду далеко от вас, милая, дорогая матушка, вам с избытком хватит, чтобы покупать муку и все прочее, что только вам понадобится. За меня не тревожьтесь. Я поступаю рядовым; но если я сумею отличиться в боях и буду исправно нести свою службу, я вернусь офицером и буду получать полдоллара в день.

— Бедное дитя, — молвила Элспет голосом, в котором наравне со скорбью звучало презрение, — ты и впрямь доверяешь Мак-Федрайку?

— Я могу ему доверять, матушка, — сказал в ответ Хэмиш, — потому что, — при этих словах лоб и щеки юноши зарделись темным румянцем, таким, какой бывает только у людей его племени, — Мак-Федрайку известно, чья кровь течет в моих жилах; он знает, что, стоит ему пренебречь вашим благом, и ему останется только вычислить, сколько дней потребно Хэмишу, чтобы вернуться в Бредалбейн, да прибавить к ним еще три восхода и три захода солнца — и он точно сможет сказать, сколько ему еще положено жить. Я убил бы вероломного у его собственного очага, вздумай он нарушить данное мне слово, — да, убил бы, клянусь богом, сотворившим нас обоих.

Взгляд и вся повадка юного солдата на минутную другую ошеломили Элспет; для нее было ново, что сын выражал глубоко сокрытые, суровые чувства, сразу же напомнившие ей отца Хэмиша; но она продолжала говорить с ним тем же оскорбительным тоном, каким обратилась к нему вначале.

— Бедняжка, — сказала она, — и ты думаешь, что из-за моря-океана твои угрозы будут услышаны и устрашат кого бы то ни было? Ну что ж, ступай, ступай, подставь шею под ярмо Ганноверца, против которого каждый настоящий гэл сражался до последнего издыхания! Ступай, отрекись от династии Стюартов, во славу которой твой отец, и его пращур, и пращур твоей матери столько раз проливали свою кровь на полях сражений. Иди, склони голову, дай обвязать ее кушаком потомка Дермида, чьи сыновья убили, —

продолжала она с диким воплем, — да, убили предков твоей матери в их мирных жилищах в Гленко! Да, — продолжала она, издав вопль еще более пронзительный и дикий, — меня тогда еще не было на свете, но мать сказала мне — я-то прислушивалась к голосу матери и запомнила каждое ее слово: «Они пришли как мирные люди и были приняты как друзья, но кровь и огонь принесли они, скорбь и убийства!»

— Матушка, — мрачно, но твердо ответил Хэмиш, — все это я уже передумал. К благородной руке Баркалдайна не пристало ни капли той крови, что пролилась в Гленко. Это проклятие лежит на злощастной семье Гленлионов, и господь покарал их за то, что они содеяли.

— Ты уже сейчас говоришь словно сакский проповедник, — сказала мать. — Не лучше ли тебе остаться и выпросить у Мак-Каллума Мхора церковь, где ты мог бы призывать своих прихожан простить род Дермида?

— Что было — то было, — ответил Хэмиш, — а сейчас все по-иному. Сегодня, когда кланы сокрушены и лишены своих прав, необходимо и разумно покончить с извечной ненавистью, со старыми распрями; не след им продолжаться, раз кланы получили независимость и могущество. Кто не может отомстить как подобает мужчине, не должен, словно трус, носить в сердце своем бесполезную ненависть. Матушка, молодой Баркалдайн правдив и отважен. Я знаю, Мак-Федрайк советовал ему не отпускать меня к вам, потому что вы, мол, отговорите меня поступить на военную службу. А Баркалдайн на это сказал ему: «Хэмиш Мак-Тевииш — сын честного человека, он своему слову не изменит». Матушка, Баркалдайн предводительствует сотней самых храбрых сынов гэлов, они носят свою национальную одежду и оружие своих отцов, сердца их едины, они идут плечом к плечу. Я поклялся пойти с ним. Он доверился мне, и я доверюсь ему.

Этот ответ, произнесенный необычайно твердо и решительно, как громом поразил Элспет. Ее обуяло отчаяние. Доводы, представлявшие ей неопровер-

жимыми, разбились об упорство сына, как волна разбивается об утес. Помолчав довольно долго, она наполнила чашу сына и подала ему с видом смиренно-почтительным и покорным.

— Выпей, — сказала она, — выпей за отчий дом, прежде чем ты навсегда его покинешь; и скажи мне — раз уж, презрев, что ты сын своего отца, ты наложил на себя цепи, выкованные новым королем и новым предводителем — их обоих твои предки знали только как смертельных своих врагов, — скажи мне, сколько на этих цепях звеньев?

Хэмиш принял из ее рук чашу, но взглянул на мать с недоумением, видимо не поняв скрытого смысла ее слов. Она продолжала, повысив голос:

— Скажи мне, ведь я вправе это знать, сколько дней милостью тех, кого ты признал своими господами, мне дозволено будет на тебя глядеть? Другими словами — сколько дней мне осталось жить? Ведь, когда ты меня покинешь, на земле для меня не останется ничего, что бы привязывало меня к жизни.

— Матушка, — ответил Хэмиш Мак-Тевииш, — мне дозволено пробыть у вас шесть дней; и если вы согласны в пятый день уйти отсюда вместе со мной, я с миром доведу вас до вашего нового жилища. Если же вы останетесь здесь, я уйду на рассвете седьмого дня — это для меня крайний срок, чтобы успеть в Дамбартон; потому что, если я не окажусь на месте утром восьмого дня, меня сочтут дезертиром, подвергнут наказанию; я буду опозорен как солдат и как человек благородного звания.

— Поступь твоего отца, — возразила Элспет, — была свободна как ветер, что колышет вереск; спросить его: «Куда держишь путь?» было бы так же нелепо, как спросить того, кто гонит по небу облака: «Зачем ты веешь?» Скажи мне, раз уж ты должен уйти и хочешь уйти, — под страхом какого наказания ты должен точно в назначенный срок вернуться в рабство, тебе уготованное?

— Не называйте это рабством, матушка; это служба, честная солдатская служба, единственная, которая сейчас предоставляется сыну Мак-Тевииша Мхора.

— Скажи все-таки, какое наказание тебе грозит, коли ты не вернешься?

— То, которому по военным законам подлежат дезертиры, — ответил Хэмиш спокойно, но изменяясь в лице под влиянием каких-то сокрытых чувств; пылкий глаз матери тотчас уловил его смущение, и она решила непременно дознаться, где правда.

— Это, — продолжала она с напускным спокойствием, которому противоречил ее сверкающий взгляд, — это ведь то самое наказание, которому подвергают провинившуюся собаку?

— Не расспрашивайте меня больше, матушка, — сказал Хэмиш, — наказание не имеет никакого значения для того, кто никогда не навлечет его на себя.

— Для меня оно имеет значение, — возразила Элспет, — ведь я лучше тебя знаю, что там, где людям дана власть карать, часто возникает желание проявить эту власть без всякой к тому причины. Я хотела бы помолиться за тебя, Хэмиш, и мне нужно знать, о чем мне надлежит просить того, кто на всех простирает свое попечение, от каких бед он должен сохранить твою юность и твою чистую душу.

— Матушка, — молвил Хэмиш, — для того, кто твердо решил никогда не совершать преступления, нет разницы, какому наказанию подвергают преступников. Вожди наших нагорий нередко тоже карали своих вассалов и, как я слышал, карали сурово. Разве Лахлану Мак-Иану, который нам всем памятен, не отрубили голову по приказу его господина за то, что он посмел выстрелить первый, охотясь на оленя?

— Да, — подтвердила Элспет, — и следовало ее отрубить, раз он обесчестил вождя перед лицом всего клана. Но вожди наши и в гневе своем сохраняли благородство: они карали острым клинком, а не палкой. Наказание, ими назначенное, приводило к тому, что человек истекал кровью, но честь его оставалась незапятнанной. Можешь ли ты сказать это о законах, под ярмо которых ты подставил свою шею — шею человека, рожденного свободным?

— Нет, матушка, не могу, — грустно ответил Хэмиш. — Я видел, как они наказывали сакса, который,

как они выразились, покинул знамя. Его стегали — прямо скажу, стегали плетьюми, словно собаку, прогневившую властного хозяина. Признаюсь, когда я это увидел, мне стало худо. Но как собак наказывают только тех, кто хуже собак, кто не умеет сдерживать слово.

— И все же,—не унималась Элспет,—на этот позор ты, Хэмиш, будешь обречен, если дашь своим начальникам повод к недовольству и даже если они без повода будут недовольны тобой. Больше я с тобой о твоих делах говорить не буду. Если бы даже этому шестому дню, считая от сегодняшней утренней зари, суждено было стать днем моей смерти и ты задержался бы, чтобы закрыть мне глаза, ты подвергся бы опасности быть исхлестанным плетьюми, как привязанная к столбу собака,—да, если б у тебя хватило мужества не покинуть меня на смертном одре, не допустить, чтобы в моей одинокой хижине последняя искра огня в очаге твоего отца и последняя искра жизни в сердце брошенной тобой матери угасли в один и тот же миг!

Разгневанный Хэмиш быстрыми шагами направился к двери.

— Матушка,—сказал он наконец,—не думайте об этом. Я не могу быть обречен на такой позор, потому что никогда и ничем не навлеку его на себя; а если б он мне угрожал, я сумел бы умереть, прежде чем буду обещен.

— В этих словах я узнаю сына моего возлюбленного супруга! — воскликнула Элспет; затем она перевела разговор на другие предметы и с видимой грустью, словно покорившись судьбе, слушала Хэмиша, когда он, напомнив, сколь кратко время, которое им суждено еще пробыть вместе, стал упрашивать ее не омрачать эти часы ненужными, тягостными пререканиями об обстоятельствах, вынуждающих их расстаться.

Теперь Элспет уверилась, что ее сыну вместе с некоторыми другими свойствами передался гордый, мужественный дух его отца, которого ничто не могло отвести от однажды принятого решения. Поэтому

она вела себя так, будто примирилась с близкой разлукой, и лишь время от времени раздражалась жалобами и упреками, потому ли, что не могла до конца укротить свой необузданный нрав, или же потому, что, поразмыслив, сообразила — полное, безоговорочное согласие могло показаться сыну неискренним, внушить ему подозрения, побудить его наблюдать за ней и тем самым расстроить ее план — не дать ему уехать, на успех которого она все еще надеялась. Ее горячее, но эгоистичное материнское чувство, неспособное возвыситься до понимания того, что является подлинным благом для ее несчастного сына, которого она так любила, походило на инстинктивную привязанность животных к их детенышам; проникая в будущее не намного дальше, чем эти неразумные существа, она знала одно: расстаться с Хэмишем для нее равносильно смерти.

В тот недолгий промежуток времени, который им дозволено было провести вместе, Элспет применила все любовью подсказанные средства сделать приятным для сына его пребывание у родного очага. Она мысленно переносилась в далекое прошлое; в дополнение к богатому запасу легенд, во все времена бывших наилюбимейшим развлечением горцев в часы досуга, она знала и неисчислимое множество песен шотландских бардов, а также тех, относящихся к древнейшей истории страны сказаний, что самыми известными хронистами и хранителями традиций передавались из поколения в поколение. Она так неусыпно заботилась обо всех нуждах и удобствах сына, что он даже начинал от этого страдать. Он всячески старался умерить рвение, с которым она готовила ему ложе из отборного цветущего вереска или стряпала любимые блюда. «Не перечь мне, Хэмиш, — отвечала она тогда, — ты поставил на своем, когда решил уйти от матери, дай же и матери поставить на своем и, покуда ты здесь, — делать все, что приносит ей радость».

Старуха, казалось, настолько примирилась с переменами, которые Хэмиш счел нужным внести в ее жизнь, что спокойно слушала, когда он говорил с

ней о переезде на земли Зеленого Колина, как прозвали того, в чьих владениях Хэмиш, заранее об этом позаботившись, нашел для нее убежище. На самом же деле никакая мысль не была так чужда ей, как эта. Из всего того, что сын сказал ей во время их первого ожесточенного спора, Элспет заключила, что, буде он не явится из отпуска точно в назначенный начальником срок, ему вряд ли удастся избежать телесного наказания. Мать была уверена, что, очутившись под этой угрозой, он никогда не вернется в полк, где его ожидает бесчестье. Трудно сказать, думала ли она о каких-нибудь дальнейших вероятных последствиях своего гибельного замысла; но, верная спутница Мак-Тевиша Мхора во всех опасностях и скитаниях, она знала множество случаев сопротивления и бегства, кончавшихся благополучно, так как в стране скал, озер, гор, опасных ущелий и дремучих лесов человеку смелому, когда он один, всегда представляется случай ускользнуть от нескольких сот преследователей. Поэтому будущего она не страшилась; единственной всепоглощающей ее заботой было помешать сыну сдержать слово, данное им начальнику его отряда.

Втайне неуклонно стремясь к этой цели, она отказалась поступить так, как в течение этих дней несколько раз предлагал ей Хэмиш: пуститься в путь вместе, чтобы с его помощью водвориться в новом жилище. Для этого отказа она приводила причины, представлявшиеся настолько сообразными всему ее складу, что сын не стал ни тревожиться, ни досадовать. «Не понуждай меня, — сказала она, — за одну такую короткую неделю расстаться и с единственным сыном и с местом, где я прожила столько лет! Пусть глаза мои, затуманенные слезами, по тебе пролитыми, хоть недолго еще полюбуются Лох-Оу и Бен-Круханом».

Хэмиш тем охотнее согласился уступить матери в этом не столь уж важном вопросе, что двум-трем женщинам, жившим в соседней долине, тоже предстояло переселиться во владения начальника их сыновей, и, казалось, было решено, что Элспет примкнет к ним,

когда они направляются к новому своему местожительству. Таким образом, у Хэмиша создалось представление, что ему удалось одновременно ублажить мать и обеспечить ей безопасность в пути. Но сама Элспет втайне лелеяла совсем иные мысли и намерения.

Срок окончания отпуска Хэмиша быстро приближался, и не раз он порывался уйти из родного дома заблаговременно — так, чтобы не спеша, загодя добраться до Дамбартона — города, где квартировал штаб его полка. Но мольбы матери и его собственное желание подольше пробыть в местах, сызмальства знакомых и дорогих ему, а более всего твердая уверенность в своих силах и в быстроте своих ног заставили Хэмиша отложить отъезд до шестого дня — последнего, самого последнего, который он еще мог позволить себе провести с матерью, если действительно был намерен соблюсти поставленное ему условие.

Глава V

Но знай, что сына, сына своего
Опасности безмерной ты подвергла,
Едва ль не смерти в руки предала

«Кориолан»

Накануне того дня, когда Хэмишу предстояло отправиться в полк, он, захватив с собой удочку, под вечер спустился к реке, чтобы в последний раз доставить себе любимое развлечение и вдобавок поужинать вместе с матерью немного получше, чем обычно. Рыболов он был умелый и, как всегда, преуспел — поймал крупного лосося. На обратном пути с ним произошел странный случай, который ему, как он сам это поведал позднее, показался дурным предзнаменованием, хотя, по всей вероятности, именно его разгоряченная фантазия вкупе с пристрастием его соотечественников ко всему чудесному побудили его придать суеверное значение какому-то весьма заурядному и незначительному обстоятельству.

На дороге, по которой Хэмиш шел домой, он с удивлением увидел человека, одетого и вооруженного так, как он, на старинный лад. Сперва ему пришло в голову, что прохожий принадлежит к тем же войскам, что и он. Эти войска, завербованные агентами правительства и вооруженные так, как это было предписано самим королем, не подлежали наказанию за нарушение статуты, возбранявших горцам носить их национальную одежду и вооружение. Но когда Хэмиш ускорил шаг, чтобы догнать того, кого он счел своим товарищем по оружию, и предложить ему на другой день вместе пуститься в путь, он с изумлением увидел, что тот носит белую кокарду — роковой знак, строжайше запрещенный в Горной Шотландии. Пришелец был высокого роста, и оттого, что очертания его фигуры были расплывчатыми, казался еще выше, а способ, которым он передвигался — он не шел, а скорее скользил, — внушил Хэмишу суеверные, устрашающие догадки о таинственной природе этого существа, озаренного тусклым вечерним светом. Хэмиш уже не пытался догнать незнакомца, а довольствовался тем, что не терял его из виду, считая, по столь распространенному у горцев поверью, что сверхъестественным существам, которые иногда являются человеку, нельзя докучать, пытаясь войти с ними в общение, но вместе с тем нельзя и избегать их присутствия, а нужно всегда предоставлять им самим решать, станут ли они скрывать или, напротив, откроют свои тайны сообразно власти, им присвоенной, или же миссии, на них возложенной.

Дойдя до того места, где тропинка сворачивает к хижине Элспет, незнакомец поднялся на пригорок у дороги и, судя по всему, стал дожидаться Хэмиша. Тогда, видя, что ему никак не избежать встречи с существом, возбуждавшим в нем смутные подозрения, юноша призвал все свое мужество и остановился у пригорка, на котором стоял незнакомец; тот сначала указал ему пальцем на хижину Элспет, затем властным движением головы и одновременно руки, казалось, запретил ему к ней направляться; наконец простер руку к дороге, ведущей на юг, словно требуя,

чтобы Хэмиш немедленно свернул туда. Минуту спустя фигура в пестром тартане исчезла — Хэмиш не употребил слова «исчезла», так как в том месте было столько скал и сухостоя, что незнакомец мог притаиться за ними, — но сам он был убежден, что видел дух Мак-Тевisha Мхора и что дух грозно приказывал ему тотчас уйти в Дамбартон, не дожидаясь утра, не заходя в хижину матери. И в самом деле, мало ли разных случайностей, которые могли задержать его в пути, особенно там, где есть переправы. Поэтому Хэмиш тотчас же бесповоротно решил, что хоть он и не уйдет, не попрощавшись с матерью, пробудет он у нее не дольше, чем нужно, чтобы проститься; наутро же, еще до того как солнце взойдет, он, думалось ему, уже успеет пройти много миль по дороге в Дамбартон. Рассудив так, он спустился по тропинке и, войдя в хижину, прерывистым, взволнованным голосом, выдававшим душевное смятение, объявил матери, что тотчас отправится в путь. Ему показалось несколько странным, что Элспет не стала препираться по этому поводу, а только принялась упрасивать его закусить, прежде чем он расстанется с ней навсегда. Он поел торопливо и молча, думая о предстоящей разлуке и все еще не веря, что ему не придется напоследок выдержать жаркий бой с ее материнским чувством. Но, к великому изумлению Хэмиша, мать спокойно наполнила до краев его чашу.

— Иди, сын мой, — молвила она, — раз уж твое решение непоколебимо. Но сперва стань еще раз на прощание у очага твоей матери, где огонь угаснет задолго до того, как твоя нога снова ступит сюда.

— За ваше здоровье, матушка, — сказал Хэмиш, — и за то, чтобы мы снова свиделись в полном благополучии, вопреки всем вашим словам.

— Лучше бы нам не расставаться, — молвила мать, пристально глядя на сына, залпом опорожнившего чашу: он счел бы дурной приметой оставить хотя бы каплю на донышке. — А теперь, — пробормотала она сквозь зубы, — иди, если сможешь.

— Матушка, — сказал Хэмиш, ставя пустую чашу на стол, — ваш напиток приятен на вкус, но вместо того, чтобы придавать силу, он ее отнимает.

— Это только поначалу так, сын мой, — ответила Элспет. — Ляг вот сюда, на мягкую постель из свежего вереска, закрой глаза; ты соснешь часок, и этот сон придаст тебе больше сил, чем если б ты проспал три долгие ночи, слитые в одну.

— Матушка, — с трудом проговорил Хэмиш, на которого изготовленное матерью зелье начало уже оказывать свое действие, — дайте мне шапку... Мне пора поцеловать вас и уйти, а у меня такое чувство, будто ноги мои приросли к земле.

— Поверь мне, — настаивала мать, — это сразу пройдет, если только ты посидишь спокойненько пол часа, всего-навсего пол часа. До рассвета еще целых восемь часов, и ты, сын своего отца, поспеешь вовремя, даже если отправишься в путь на заре.

— Придется мне сделать по-вашему, матушка, чувствую, что придется, — пробормотал Хэмиш, — но окликните меня, как только взойдет луна.

Он сел на постель, откинулся назад и почти тут же уснул. С трепетной радостью человека, осуществившего трудный и сложный замысел, Элспет бережно укутала пледом спавшего мертвым сном юношу, который был обречен на гибель ее безрассудной любовью; заботливо укладывая сына, она в то же время речами, исполненными нежности и торжества, выражала свою радость. «Да, — говорила она, — да, мой ягненочек, луна взойдет и зайдет для тебя, и солнце тоже; но не для того, чтобы осветить тебе путь, уводящий из страны отцов твоих, и не для того, чтобы соблазнить тебя служить государю-чужеземцу или исконному врагу твоего рода! И я не буду отдана на милость сына Дермидов, на прокорм ему, словно рабыня, — нет! Он, моя гордость и моя радость, будет стражем и защитником моим. Говорят, что горный край переменился; но я вижу — Бен-Крухан так же гордо возносится в сумеречное небо, как возносился от века. Никто еще не пас коров в глубинах Лох-Оу; и могучий дуб здесь, у меня перед

глазами, еще не согнулся, как плакучая ива. Дети гор останутся такими, какими были их отцы, пока сами эти горы не сравняются с долинами. В дремучих лесах, некогда дававших пропитание тысячам храбров, и теперь, наверно, найдется приют и пища для старухи и для бесстрашного юноши, в котором жив боевой дух его предков».

Пока мать, тяжело заблуждаясь, радовалась успеху своего хитроумного замысла, мы можем пояснить читателю, что замысел этот зиждился на знании всевозможных целебных трав и настоев из них, которые Элспет, сведущая во всем, что имело касательство к полной опасностям жизни, некогда бывшей ее уделом, изучила в совершенстве. Эти свои познания она применяла в различных целях — она отлично умела отбирать и затем перегонять многие травы, и настоящий врач никогда бы не поверил, что средствами этими можно излечить столько самых разных болезней. Некоторые травы шли на окраску тартанов в яркие цвета, из других она изготовляла всевозможные настои, имевшие самые различные свойства, и, к несчастью, ей был известен состав редкостного снадобья, являвшегося сильнейшим снотворным. Как читатель, несомненно, уже догадался, она твердо рассчитывала посредством этого отвара помешать сыну вернуться к сроку в свой полк; в остальном же она уповала на то, что ужас при мысли о позорном наказании, которому он подлежал за эту вину, никогда не позволит Хэмишу вернуться туда.

Непробудным сном, более крепким, чем тот, что дарует человеку природа, спал в эту памятную ночь Хэмиш Мак-Тевииш; но его мать почти не смыкала глаз. Едва забывшись, она пробуждалась, вся дрожа от ужаса, — ей чудилось, будто сын незаметно встал и ушел; лишь подойдя вплотную к его ложу, прислушавшись к ровному, глубокому дыханию, она снова исполнялась уверенности в том, что сон, его объявший, надежен.

И все же она опасалась, как бы, несмотря на чудовищную крепость снотворного, которым она доверху наполнила чашу сына, его не пробудила заря. Она

знала — если останется хоть тень надежды на то, что смертный может успеть проделать столь стремительный путь, Хэмиш предпримет эту попытку, хотя бы ему пришлось испустить дух посреди дороги. Терзаемая этим новым опасением, она постаралась преградить доступ свету и для этого законопатила все щели, все скважины, сквозь которые скорее, чем обычным путем, утренние лучи могли проникнуть в ее убогое жилище; и все это — чтобы удержать там в нищете и безнадежности то самое существо, которому, будь это в ее власти, она с радостью отдала бы весь мир.

Ее хлопоты оказались излишними. Солнце высоко поднялось в небе — и теперь уже самый быстроногий олень бредалбейнских лесов, по пятам преследуемый гончими, не мог бы мчаться так стремительно, как пришлось бы Хэмишу, чтобы поспеть вовремя. Элспет достигла цели — возвращение сына в назначенный срок стало невозможным. Столь же невозможной покажется ему теперь и самая мысль о возвращении, ибо он знал, что за опоздание его неминуемо подвергнут позорному наказанию. Исполдволь, раз за разом, она сумела выведать у сына, в каком безвыходном положении он окажется, если не явится в назначенный день, и как мало надежды на то, что к нему отнесутся милостиво.

Известно, что великий и мудрый лорд Чэтем немало гордился планом, посредством которого он сумел сплотить для защиты заокеанских колоний отважных горцев, которые до его прихода к власти являлись предметом сомнений, опасений и подозрений для всех сменявших друг друга правительств. Однако своеобразие нравов, обычаев и характера этого народа несколько затруднило осуществление патриотического замысла Чэтема. По своему складу и традициям, каждый горец привык носить оружие, но в то же время ему совершенно непривычны стеснения, налагаемые необходимой в регулярных войсках дисциплиной, — они его раздражают. Горцы были некоей разновидностью народного ополчения и не представляли себе, что лагерь — единственное обиталище солдата. Проиграв сражение, они разбегались во все стороны, чтобы

спасти свою жизнь и позаботиться о безопасности своих семей, а одержав победу, возвращались в свои долины, чтобы припрятать там добычу да присмотреть за скотом и пашней. Этой привилегией отлучаться и возвращаться по своему усмотрению они чрезвычайно дорожили и не поступились бы ею даже по приказу своих вождей, во многих других отношениях пользовавшихся поистине деспотической властью. Само собой разумеется, вновь завербованным в Горной Шотландии солдатам чрезвычайно трудно было понять сущность взятого ими на себя обязательства, которое вынуждало человека прослужить в армии дольше, чем ему этого хотелось; может быть, впрочем, во многих случаях бывало и так, что при вербовке горцам недостаточно старались внушить мысль о неизбежности воинского долга из боязни, как бы такая откровенность не заставила их переменить свое решение. Поэтому во вновь сформированном полку дезертирство было не редким явлением, и старик генерал, командовавший расквартированными в Дамбартоне частями, не нашел лучшего способа покончить с побегами, как в виде устрашающего примера подвергнуть необычайно суровому наказанию солдата, дезертировавшего из английского полка. Полку шотландских горцев было вменено в обязанность присутствовать на экзекуции, в одинаковой мере ужаснувшей и возмущившей сынов народа, особенно ревниво относящегося ко всему, что связано с личной честью, и не приходится удивляться, что это тягостное зрелище кое-кого из них отвратило от военной службы. Но генерал этот, ожесточившийся в войнах с Германией, упорно стоял на своем и издал приказ, гласивший, что первый же горец, повинный в дезертирстве или в том, что своевременно не вернулся из отпуска, будет взят под стражу и подвергнется тому же наказанию, как тот, чью экзекуцию они видели. Никто не сомневался, что генерал сдержит слово, как только эта суровая мера потребует. Поэтому Элспет была убеждена, что ее сын, убедившись в невозможности явиться в срок, тут же поймет, что наказание, дезертирам положенное, неизбежно для него, если он

вздумает снова поставить себя под власть неумолимого генерала.

После полудня у женщины, в одиночестве предававшейся своим думам, возникли новые опасения. Сын все еще спал, снотворное продолжало действовать; но что, если это зелье, крепостью превосходившее все известные ей средства, вредно отразится на его памяти и рассудке? Вдобавок, она впервые, несмотря на высокое свое представление о родительской власти, начала страшиться гнева сына — ведь сердце говорило ей, что она дурно поступила с ним. С недавнего времени она заметила, что Хэмиш стал менее покладист, а главное — в этом она окончательно убедилась теперь, в связи с его поступлением на военную службу, — принимал все решения самостоятельно и неуклонно их выполнял. Она вспоминала необоримое упорство своего мужа, когда тот считал, что с ним обошлись несправедливо, и в ее душу закрался страх: а вдруг Хэмиш, распознав, как она его обманула, придет в такое негодование, что покинет ее и один отправится искать свою долю? Таковы были тревожные и вместе с тем обоснованные предположения, теснившиеся в голове несчастной женщины теперь, когда, казалось, ее злокозненный умысел удался.

День клонился к вечеру, когда Хэмиш наконец проснулся; он, однако, был еще весьма далек от того, чтобы в полной мере совладать со своим телом и духом. Его бессвязное бормотанье и неровный пульс сначала сильно напугали Элспет; но она тотчас применила все те средства, какие только, по своим познаниям в медицине, сочла полезными, и посреди ночи с радостью увидела, что Хэмиш снова впал в глубокий сон, очевидно почти целиком уничтоживший зловредное действие зелья — ибо на рассвете он поднялся и спросил у нее свою шапку. Но Элспет предусмотрительно убрала ее — из страха, как бы он не проснулся ночью и не ушел без ее ведома.

— Шапку мне, шапку! — кричал Хэмиш. — Пора ехать! Матушка, ваш напиток был не в меру крепок, солнце уже взошло, но завтра утром я все же увижу

обе вершины древнего Дана. Шапку, матушка, дайте мне шапку! Я сейчас же должен уйти.

Из этих слов было ясно — бедняга Хэмиш не подозревал, что две ночи и день прошли с той минуты, как он осушил роковую чашу, и теперь Элспет предстояло справиться с задачей, почти столь же, думалось ей, опасной, как и тягостной, — признаться сыну в том, что она содеяла.

— Прости меня, сын мой, — начала она, подходя к Хэмишу, взяв его руку и глядя на него с таким боязливым почтением, какое, быть может, не всегда выказывала его отцу, даже когда тот гневался.

— Простить вас, матушка? В чем ваша вина? — спросил Хэмиш смеясь. — В том, что вы угостили меня слишком крепким напитком, от которого у меня сейчас еще голова трещит, или в том, что вы спрятали мою шапку, чтобы задержать меня еще на миг? Нет, это *вы* должны *меня* простить. Дайте мне шапку, и пусть то, что нужно сделать, будет сделано. Дайте мне шапку, или я уйду без нее; уж наверно, я не стану мешкать из-за такой безделицы — немало лет я ходил с непокрытой головой, перевязав волосы ремешком из оленьей кожи. Хватит шутить, матушка! Дайте мне шапку, или я уйду без нее, дольше медлить нельзя.

— Сын мой, — снова начала Элспет, не выпуская его руки, — того, что случилось, не изменить. Если б даже ты мог взять у орла его крылья, и то ты явился бы к подножию Дана слишком поздно, чтобы выполнить свое намерение, слишком рано для того, что тебя там ожидает. Ты думаешь, солнце всходит впервые с той поры, как ты видел закат; но вчера оно поднялось над Бен-Круханом, хотя его свет был незрим для твоих глаз.

Хэмиш метнул на мать безумный, полный неизъяснимого ужаса взгляд, но тотчас овладел собой и сказал:

— Я не ребенок, меня не сбить с толку такими уловками. Прощайте, матушка! Сейчас каждый миг столь же дорог, как вся жизнь.

— Останься, — сказала Элспет, — дорогой мой, обманутый мною, не мчись навстречу бесчестью и

гибели. Вон там, на большой дороге, я вижу священника верхом на белой лошади. Спроси его, какой сегодня день месяца и недели, и пусть он нас рассудит.

Словно взмывший к небу орел, поднялся Хэмиш по крутой тропе на дорогу и подбежал к священнику из Гленоркьюхи, выехавшему спозаранку, чтобы утешить в несчастье семью горцев неподалеку от Буноу.

Добрый пастырь слегка струхнул, когда вооруженный горец — необычное в те времена зрелище! — к тому же, по-видимому, сильно взволнованный, остановил лошадь, схватив ее под уздцы, и дрожащим голосом спросил его, какой нынче день месяца и недели.

— Если б вчера ты был там, где тебе надлежало быть, юноша, — ответил священник, — ты знал бы, что вчера был день господень, а сегодня — понедельник, второй день недели, и двадцать первое число этого месяца.

— Это верно? — спросил Хэмиш.

— Так же верно, — с удивлением ответил священник, — как то, что вчера я проповедовал слово божье в этом самом приходе. Что с тобой, юноша? Ты болен? Или повредился в уме?

Хэмиш не ответил; он только повторил едва слышно первые слова священника: «Если б вчера ты был там, где тебе надлежало быть», отпустил узду, сошел с дороги и стал по тропинке спускаться к хижине с видом и поступью человека, идущего на казнь. Священник недоуменно смотрел ему вслед; но хоть он и знал жительницу лачуги в лицо, однако все, что он слышал об Элспет, отнюдь не побуждало его общаться с ней, так как ее считали паписткой, вернее — даже равнодушной к религии вообще и приверженной лишь некоторым суевериям, от родителей унаследованных. Что касается ее сына, то преподобный мистер Тайри наставлял его на путь истинный, когда мальчик попадался ему на глаза, и хотя, при строптивости и невежестве Хэмиша, доброе семя падало на почву, шипами и колючками усыпанную, все же оно не окончательно затерялось и не заглохло. А в эту минуту черты юноши выражали такой ужас, что

священнику пришла мысль войти в хижину и узнать, не стряслась ли там беда, не может ли его присутствие принести обитателям утешение и его пастырское слово быть для них полезным. К сожалению, он не выполнил этого благого намерения, которое, возможно, предотвратило бы большое несчастье, — ведь, по всей вероятности, он тотчас же заступился бы за несчастного юношу; но ему вспомнилось, сколь дики были нравы тех горцев, что воспитывались в духе старины, и это помешало ему отнестись с участием к вдове и сыну грозного разбойника Мак-Тевisha Мхора, и, таким образом, он, в чем впоследствии горько каялся, упустил случай сделать доброе дело.

Войдя в хижину матери, Хэмиш Мак-Тевиш бросился на постель, с которой недавно поднялся, и, воскликнув: «Все пропало! Все пропало!» — завопил от горести и гнева, давая волю бурному отчаянию, вызванному тем обманом, который над ним учинила мать, и ужасающим положением, в котором он очутился.

Элспет была подготовлена к этому первому взрыву неистовства; она сказала себе: «Это всего лишь горный поток, вздувшийся после грозового ливня. Нужно сесть на берегу и подождать; как бы он ни бушевал сейчас — скоро придет время, когда его можно будет перейти, не замочив ног». Она принудила себя ни единым словом не отвечать на его жалобы и упреки, которые даже в этом горчайшем страдании были выражены в почтительной и ласковой форме, и когда наконец, истощив все те горестные восклицания, которые язык человеческий, столь богатый в изъяснении сокровенных чувств души, подсказывает страдальцу, Хэмиш погрузился в угрюмое молчание, она заставила себя выждать почти час, прежде чем подошла к его ложу.

— А теперь, — сказала она голосом, властность которого смягчалась лаской, — скажи мне, кончил ли ты изливать свою тщетную скорбь и способен ли сравнить то, что ты выиграл, с тем, чего лишился? Кем тебе приходится лживый сын Дермида — братом или вождем твоего племени? Ты рыдаешь потому, что

не можешь привязать себя к его поясу и стать одним из тех, кто обязан повиноваться его приказам? Разве найдешь ты в тех дальних краях озера и горы, какие оставишь здесь? Разве сможешь в лесах Америки охотиться на бредалбейнского оленя, разве водится в океане серебристый лосось, которого тыловишь в нашей Оу? Так рассуди же сам, чего ты лишился, и мудро сопоставь то, что потерял, с тем, что выиграл.

— Я всего лишился, матушка, — ответил Хэмиш, — раз я нарушил свое слово и потерял честь. Я мог бы рассказать, как это случилось, но кто — ах! — кто мне поверит? — С этими словами несчастный юноша заломил руки и, схватившись за голову, рухнул на свое убогое ложе.

Тут Элспет по-настоящему перепугалась и, быть может, в душе раскаялась в том, что пошла на такое недоброе дело. Отныне она могла надеяться и рассчитывать единственно на свое красноречие, в котором у нее недостатка не было; но полное невежество во всем, что касалось окружающего мира, лишало ее слова убедительности. Пересыпая свою речь всеми теми ласковыми прозваниями, какие только может измыслить материнская нежность, она стала уговаривать Хэмиша скрыться.

— Предоставь мне, — говорила она, — навести на ложный след тех, что будут гнаться за тобой. Я спасу твою жизнь — я спасу твою честь. Я скажу им, что мой светловолосый Хэмиш скатился с Корри Дху в пропасть, дна которой никогда еще не видал глаз человеческий. Я скажу им это и заблаговременно брошу на колючий кустарник, растущий у края пропасти, твой тартан, чтобы они поверили моим словам. И они им поверят и вернутся к подножию двуглавого Дана; ибо барабан саксов может призывать живых идти на смерть, но не дано ему призывать мертвых под их рабское знамя. А затем мы вместе уйдем далеко-далеко на север, к соленым озерам Кинтайла, горы и ущелья встанут между нами и сыновьями Дермида. Мы остановимся на берегу черного озера, и мои родичи — разве мать моя родом не из клана Кеннетов,

разве не оживет в них былое чувство? — мои родичи примут нас со всем радушием давних времен, свято соблюдаемым в этих уединенных долинах, где гэлы еще хранят свое древнее благородство и не смешиваются ни с грубыми саксами, ни с подлой сворой тех холопов и прислужников, что работают на чужезмцев.

Всей мощи языка гэлов, даже в самых обыденных речениях всегда несколько склонного к гиперболам, теперь, казалось, было недостаточно, чтобы Элспет могла во всем блеске изобразить сыну тот край, куда она предлагала ему бежать. И все же — незатейливы были краски, которыми она рисовала ему представлявшейся ей сущим раем уголок Горной Шотландии.

Горы, говорила она, там выше и красивее бредалбейнских, Бен-Крухан — всего лишь карлик по сравнению со Скурурой. Озера куда больше и шире; вдобавок, они изобилуют не только рыбой, но и заколдованными земноводными,¹ дающими масло для светильен. Олени там тоже необычайно крупны, и их великое множество; кабан с белыми клыками, охоту на которого смельчаки всегда предпочитали всем другим видам охоты, по-прежнему водится в дебрях крайнего северо-запада; мужчины там благороднее, мудрее, сильнее, чем выродившаяся порода людей, живущих под знаменем саксов. Дочери страны, синеглазые, златокудрые, с белоснежными персями, прекрасны; среди них выберет она для Хэмиша девушку безупречного происхождения и доброй славы, та навек горячо его полюбит и осветит их летнюю лачужку, словно солнечный луч, и живительным теплом очага согреет их зимнее жилище.

Таковыми описаниями пыталась Элспет умерить отчаяние сына и убедить его, если только возможно, покинуть роковое место, с которым он, по-видимому, решил не расставаться. Стилль ее речей был поэти-

¹ Тюленей горцы считают заколдованными принцами (*Прим. автора*)

чен, но во всем остальном они сильно напоминали те излияния, которыми она, подобно другим любящим матерям, докучала Хэмишу, когда в его детские или отроческие годы хотела добиться согласия на что-то, чему он противился; но чем более она отчаивалась, что ей удастся своими посулами сломить его упорство, тем громче, быстрее и внушительнее она говорила.

На Хэмиша все ее красноречие не производило никакого действия. Он гораздо лучше матери знал современное положение дел в родной стране, и понимал, что хотя, пожалуй, ему и удастся, бежав, скрываться в дальних горных местностях, однако во всей Горной Шотландии не найдется уголка, где ему возможно было бы заниматься отцовским промыслом, даже если бы он и не усвоил более просвещенных взглядов своего времени и не проникся мыслью, что разбой уже не является путем к почестям и славе. Поэтому она проповедовала ушам неслышащим и усердствовала напрасно, пытаясь описать край, где жили родичи ее матери, в свете достаточно привлекательном, чтобы склонить Хэмиша уйти с ней туда. Она говорила часами, но тщетно. Единственным ответом были стоны, тяжкие вздохи да возгласы, в которых выражалось беспредельное отчаяние.

Наконец Элспет вскочила, выпрямилась и, сменив монотонные речи, прославлявшие прелести края, где она предполагала найти убежище, на отрывистый, лаконичный язык, язык сильной страсти, сказала:

— Как я глупа, что расточаю слова свои перед ленивым, скудоумным, тупым мальчишкой, который весь скорчился, как пес, увидевший плеть. Оставайся тут, дождись своих надсмотрщиков и прими от их рук наказание. Но не думай, что глаза твоей матери будут глядеть на этот позор. Я не могла бы после этого жить. Глаза мои часто видели смерть, но бесчестье — никогда. Прощай, Хэмиш! Прощай навеки!

Стрелой вылетела она из хижины и действительно, может быть, в ту минуту хотела выполнить объявленное ею решение навсегда расстаться с сыном. Страшное зрелище предстало бы в тот вечер всякому,

кто встретил бы Элспет на своем пути. Будто обреченный на вечные скитания призрак, бродила она в пустых лесах, ведя сама с собою речи, пересказать которые нет возможности. Много часов подряд металась она, не избегая самых опасных путей, а словно сама их отыскивая. Зыбкая стежка средь болота, узкая тропинка, выющаяся на головокружительной высоте вдоль края пропасти или по берегу бурной реки, — вот те дороги, которые она избирала, по которым неслась без оглядки. Но именно это мужество, отчаянием порожденное, спасло ей жизнь, ибо хотя самоубийство в Горной Шотландии было явлением весьма редким, она, должно быть, собиралась уже порешить с собою. Уверенно, как серна, неслась она по краю пропасти. Взгляд ее в этом возбужденном состоянии был так пронзителен, что даже во мраке примечал опасности, которых человек пришлый не сумел бы избежать среди бела дня.

Элспет не пошла напрямик — тогда она вскоре очутилась бы далеко от лачуги, где оставила сына. Ее путь был извилист — она все время кружила возле того места, к которому была прикована всем существом своим, и, непрестанно блуждая по окрестностям, чувствовала, что уйти совсем — свыше ее сил. С первыми лучами утренней зари она направилась к хижине. Подойдя к плетеной из прутьев двери, она помедлила, словно пристыженная тем, что необоримая нежность снова привела ее туда, откуда она ушла с намерением никогда не вернуться. Но еще больше, чем стыда, в ее промедлении было тревоги и страха; тревоги, вызванной опасением, не повредило ли все же крепчайшее снотворное здоровью ее светловолосого сына; страха — при мысли, что, не ровен час, враги схватили его посреди ночи. Она бесшумно открыла дверь и, крадучись, вошла. Обессиленный горем и мучительными думами, а возможно, в какой-то мере еще находившийся под действием снадобья, Хэмиш в ее отсутствие снова уснул тем тяжелым, глубоким сном, который, говорят, одолевает индейцев в промежутках между пытками. Мать сперва даже усомнилась, действительно ли это он лежит на убогом ложе;

она не могла даже с уверенностью сказать, слышит ли она его дыхание. Сердце у нее учащенно билось, когда она подошла к находившемуся посредине хижин очагу, где, прикрытые куском торфа, тлели красноватые угольки огня, никогда не угасающего в шотландском очаге, покуда те, кто поддерживает огонь, не покинут навсегда свое жилище.

— Бедный огонек, — проговорила она, зажигая спичкой сосновую щепку, которая заменяла ей свечу, — бедный огонек, скоро ты угаснешь навеки, и я молю небо о том, чтобы жизнь Элспет Мак-Тевииш длилась не дольше твоей!

С этими словами она, высоко подняв ярко горящую щепку, поднесла ее к ложу, на котором лежал распростертый Хэмиш, причем по его положению трудно было сказать, спит он или лежит в забытьи. Свет ударил юноше в глаза, он мгновенно очнулся, вскочил на ноги, выхватил кинжал, рванулся вперед, словно для схватки со смертельным врагом, и крикнул:

— Ни с места! Стой! Если тебе дорога жизнь — ни с места!

— Вот теперь ты говоришь и действуешь, как покойный мой муж, — ответила Элспет, — в словах и поступках твоих я узнаю сына Мак-Тевииша Мхора.

— Матушка, — сказал Хэмиш, и в голосе его теперь звучала не вызванная отчаянием решимость, а желание спокойно объясниться, — ах, милая, дорогая матушка, зачем вы вернулись?

— Спроси, почему лань возвращается к своему олененку, почему рысь возвращается в свое логово, к детенышу своему? Помни, Хэмиш, сердце матери живет в груди ее дитяти — только там.

— Тогда это сердце скоро перестанет биться, — ответил Хэмиш, — если только оно не способно жить в груди, покоящейся под дерном. Не осуждайте меня, матушка. Если я плачу, то не потому, что мне жаль себя, — мне жаль вас: ведь мои страдания скоро кончатся, а вот ваши, — ах, кто, кроме неба, сможет положить им предел?

Элспет вздрогнула и слегка подалась назад, но минуту спустя снова выпрямилась и приняла прежний гордый вид.

— Я было подумала, что ты мужчина, — начала она, — но сейчас ты опять стал ребенком. Хэмиш, выслушай меня и уйдем отсюда вместе. Разве я в чем-либо виновата перед тобой, чем-либо тебя обидела? Но если это даже и так — не надо мне мстить столь жестоко. Смотри, Элспет Мак-Тевиш никогда ни перед кем, даже перед священником, не преклоняла колен, а теперь она падает ниц перед собственным сыном и молит его о прощении. — С этими словами она бросилась перед юношей на колени, схватила его руку и, покрывая ее поцелуями, сотни раз повторила душераздирающим голосом самые трогательные мольбы о прощении.

— Прости, — твердила она, — прости меня, во имя праха отца твоего, прости, во имя тех мук, которые я претерпела, вынашивая тебя, во имя того, как я тебя пестовала! Слушай, небо, и ты, земля, гляди — мать просит прощения у сына, а он неумолим!

Тщетно пытался Хэмиш остановить этот поток страстных жалоб, повторяя матери самые торжественные заверения в том, что он полностью простил učinенный ею губительный обман.

— Пустые все это слова, — возражала Элспет, — ничего не значащие речи, которыми ты упорно прикрываешь желание отомстить мне. Если хочешь, чтобы я тебе поверила, — уйди тотчас отсюда, покинь этот край, где опасность, нависшая над тобой, растет с каждым часом. Сделай это — тогда я смогу тешить себя мыслью, что ты и вправду простил меня; если же ты откажешься — я снова призову луну и звезды, небо и землю в свидетели той неумолимой мести, с которой ты преследуешь мать за проступок, — да полно, проступок ли это? — единственно из любви к тебе содеянный!

— Матушка, — сказал Хэмиш, — вам не изменить моего решения. Бежать я ни от кого не намерен. Надумай Баркалдайн прислать за мной всех гэлов, слушающих под его знаменем, — здесь, на этом месте, буду

я дожидаться их; и когда вы приказываете мне бежать, это так же тщетно, как если б вы вон той горе приказали сдвинуться с места. Будь мне известно, какой дорогой они идут, я избавил бы их от труда разыскивать меня; но может статься, что я пойду навстречу им горной тропой, а они явятся со стороны озера. Здесь дождусь я своей судьбы, и нет во всей Шотландии голоса достаточно властного, чтобы приказать мне уйти отсюда и заставить меня повиноваться!

— Стало быть, я тоже останусь, — заявила Элспет, поднявшись и говоря с напускным спокойствием. — Я видела, как умер мой муж, глаза мои не увлажняются слезами, когда я увижу гибель моего сына. Но Мак-Тевиш Мхор умер так, как подобает храбрецу, держа славный свой палаш в правой руке; а мой сын погибнет как вол, которого ведет на бойню сакс, его владелец, купивший его за деньги.

— Матушка, — снова заговорил несчастный юноша, — вы отняли у меня жизнь — на это вы имели право, раз вы дали ее мне; но не трогайте мою честь! Я унаследовал ее от длинного ряда славных предков, и ни действия мужчины, ни речи женщины не вправе на нее посягать! Может быть, я сам еще не знаю, как поступлю, но перестаньте уязвлять меня своими упреками; вы и так уже нанесли мне столько ран, что вам за всю жизнь их не залечить.

— Ладно, сын мой, — ответила Элспет. — Больше ты не услышишь от меня ни жалоб, ни увещаний. Будем лучше молчать и дожидаться судьбы, которую ниспошлет нам небо.

Когда на следующее утро солнце озарило хижину, там царило могильное безмолвие. Мать и сын оба встали и занимались каждый своим делом. Хэмиш чистил и приводил в готовность свое оружие; делал он это необычайно тщательно, но с видом глубочайшего уныния. Элспет, которая терзалась душевной мукой и не находила себе места, занялась стряпней: волнения, пережитые накануне, заставили и мать и сына на долгие часы забыть о пище. Когда все было готово, она поставила на стол перед Хэмишем еду,

приведя при этом на память слова гэльского поэта: «Без пищи, изо дня в день вкушаемой, плуг хлебопашца останавливается в борозде; без пищи, изо дня в день вкушаемой, меч воина становится тяжел для его руки; наше тело — раб наш, но раба нужно кормить, если хочешь, чтобы он служил исправно. Так в старину Слепой Бард наставлял воинов Фиона».

Юноша ничего не ответил. Он съел все поставленные перед ним яства, словно для того, чтобы набраться сил для предстоящих испытаний. Когда мать увидела, что он насытился, она снова наполнила роковую чашу и подала ему, словно предлагая опорожнить ее в завершение трапезы. Но сын отстранился, судорожным движением руки выразив страх, смешанный с отвращением.

— Нет, сын мой, нет, — молвила Элспет, — поверь, на этот раз тебе нечего опасаться.

— Не уговаривайте меня, матушка, — возразил Хэмиш, — положите в графин самую мерзкую жабу, и я отхлебну глоток; но никогда больше не дотронусь я до этой проклятой чаши, никогда больше не отведаю этого дурманящего зелья!

— Как тебе угодно, сын мой, — надменно ответила Элспет и с нарочитым усердием принялась за все домашние дела, накануне оставшиеся незаконченными. Как ни была истерзана ее душа, ни черты, ни повадка ее теперь не выражали ни малейшего волнения; лишь по суетливости, которая не давала ей ни минуты провести в бездействии, мог внимательный наблюдатель догадаться, что ею движет возбуждение, вызванное душевной мукой; он, по всей вероятности, подметил бы также и то, что часто она обрывала песенку, или мелодию, которую, видимо сама того не сознавая, тихонько напевала, и украдкой выглядывала из хижины. Что бы ни творилось в сознании Хэмиша, его поведение было прямой противоположностью поведению матери. Вычистив и приведя в готовность свое оружие, — это он сделал, не выходя из хижины, — юноша сел перед дверью и, словно стоящий на посту часовой, ожидающий появления неприятеля, вперил взгляд в расположенный насупротив хижины холм.

Полдень застал его все в том же положении; час спустя мать, став рядом с ним, положила руку ему на плечо и равнодушно, будто речь шла о предполагаемом прибытии друзей, спросила: «Когда ты их ожидаешь?»

— Они могут быть здесь не раньше, чем тени от гор далеко протянутся на восток, — ответил Хэмиш, — да и то, если из Дамбартона послали нарочного известить самый ближний патруль под начальством сержанта Аллена Брейка Камерона; вероятнее всего, они так и сделают.

— А тогда ступи тотчас в последний раз под материнский кров; в последний раз вкуси пищу, матерью приготовленную; затем дай им приблизиться, и ты увидишь, такой ли уж мать окажется обузой в час борьбы. Как ни искусна твоя рука, она не сможет стрелять из этого ружья так быстро, как я буду его заряжать; а если понадобится, я и сама не побоюсь ни вспышки пламени, ни звука выстрела, и все знают, что пуля моя не минует цели.

— Ради всего святого, матушка, не вмешивайтесь в это дело! — воскликнул Хэмиш. — Аллен Брейк — умный, добрый человек из честной семьи. Может быть, он сможет заверить меня от имени наших офицеров, что никакому позорному наказанию меня не подвергнут; ну, а если они решат заточить меня в темницу или расстрелять — против этого я спорить не стану.

— О горе! И ты еще собираешься верить их слову, неразумное дитя? Помни, потомки Дермида всегда были лживы и фальшивы, и как только они наложат цепи на твои руки, они обнажат твои плечи, чтобы стегать их плетью.

— Оставьте ваши советы при себе, матушка, — сурово оборвал ее Хэмиш, — что до меня — мое решение непреклонно.

Но, ведя такие речи для того, чтобы мать перестала донимать его своими увещаниями, Хэмиш в то же время не мог сказать, какую линию поведения он выберет. Одно он знал твердо: он покорится своей судьбе, какова бы она ни была, и вину свою — невольно нарушенное слово — не усугубит попыткой избежать наказания. Пойти на такое самопожертво-

вание он считал себя обязанным во имя своей чести и чести своих соплеменников. На кого же из его товарищей по службе можно будет потом полагаться, если решат, что он, Хэмиш Мак-Тевиш, изменил своему слову, обманул доверие своих офицеров? Кого, как не его, Хэмиша Мак-Тевиша, гэлы будут хулить за то, что по его вине оправдались, подтвердились подозрения, которые, как всем было известно, военачальнику саксов внушала честность гэлов? Поэтому он приговорился терпеливо ждать своей судьбы. Но намеревался ли он добровольно отдаться в руки солдат, посланных, чтобы его задержать, или же решил, начав для вида обороняться, побудить их застрелить его на месте, — на этот вопрос он и сам бы не мог ответить. Желание увидеться с Баркалдайном и объяснить начальнику, почему он не явился в назначенный срок, склоняло его к первому решению; страх постыдного наказания и мысль о горьких упреках матери убедительно говорили в пользу второго, более опасного образа действий. Наконец он сказал себе, что нужно предоставить случаю решить дело, когда критический момент наступит; но долго томиться в ожидании катастрофы ему не пришлось.

Вечерело. Исполинские тени гор далеко простерлись на восток, меж тем как на западе вершины блистали золотом и багрянцем. Тем, кто стоял у двери хижины, дорога, змеившаяся вокруг Бен-Крухана, была видна как на ладони; вдруг в самом дальнем месте — на повороте, за которым эта дорога исчезает из виду, появилось пятеро солдат-горцев; их оружие сверкало на солнце. Один из них шел несколько впереди, а остальные шагали по двое, соблюдая расстояние, правилами военной дисциплины установленное. По их ружьям, тартанам, шапкам можно было безошибочно заключить, что это солдаты из полка Хэмиша, под командой сержанта, и не приходилось сомневаться в причине их появления на берегу Лох-Оу.

— Они торопятся, — сказала вдова Мак-Тевиша Мхора. — Не пришлось бы только им так же быстро назад повернуть. Но как-никак их пятеро, и разница в числе слишком велика. Поди назад в дом, сын мой,

и стреляй из окошечка, что у двери. Двух ты сможешь уложить, прежде чем они свернут с дороги на тропинку, стало быть, останутся всего трое; а не раз ведь бывало, что отец твой да я с тремя управлялись.

Хэмиш Бин взял из рук матери ружье, но не сдвинулся со своего места у двери. Солдаты, шедшие по большой дороге, вскоре заметили юношу; это явствовало из того, что они перешли на беглый шаг, все еще, однако, держась парами, словно гончие на сворке. Гораздо раньше, чем это удалось бы людям, менее привычным к ходьбе по горам, они дошли до узкой тропинки, ответвляющейся от дороги, и приблизились на расстояние пистолетного выстрела к хижине, на пороге которой недвижно, словно изваяние, стоял Хэмиш с кремневым ружьем в руке, меж тем как мать, стоявшая сзади и бушевавшими в ней чувствами доведенная чуть ли не до умоисступления, в самых обидных словах, какие только может подсказать отчаяние, попрекала сына слабоволием и малодушием. Ее речи еще усилили горечь, залившую сердце Хэмиша, когда он увидел, с какой не предвещавшей ничего хорошего поспешностью его недавние товарищи приближались к нему. Они чем-то походили на псов, готовых кинуться на смертельно раненного оленя. Казавшаяся ему несомненной враждебность тех, кто гнался за ним, разбудила неистовые, буйные страсти, унаследованные им от отца и матери, и узда, в которой их до того времени держал свойственный Хэмишу здравый смысл, быстро ослабла.

— Хэмиш Бин Мак-Тевииш, сложи оружие и сдайся! — окликнул его сержант.

— Стой, Аллен Брейк Камерон, и прикажи твоим людям остановиться, не то всем нам худо будет.

— Смирно! — скомандовал сержант, но сам сделал еще несколько шагов вперед. — Хэмиш, опомнись, подумай о том, что ты делаешь, и сдай ружье; ты можешь пролить кровь, но от наказания тебе не уйти.

— Плеть, плеть, помни о плети, сын мой! — шептала мать.

— Берегись, Аллен Брейк, — снова заговорил Хэмиш. — Я не хочу тебя изувечить, но знай: добро-

волью я сдамся, только если ты дашь мне слово, что плеть саксов меня не коснется.

— Глупый ты! — ответил Камерон. — Ты сам знаешь, что это не в моей власти. Я сделаю все, что смогу. Я скажу, что встретил тебя по пути в Дамбартон, и наказание будет легким; только сдай оружие! За мной, солдаты! — С этими словами он ринулся вперед, простерши руку словно для того, чтобы отстранить нацеленное на него ружье Хэмиша.

— Скорей! Не щади отцовскую кровь, защити отцовский очаг! — крикнула Элспет. Хэмиш выстрелил; Камерон, сраженный пулей, рухнул наземь. Все это произошло в мгновение ока. Солдаты ринулись к Хэмишу, схватили его, а он, словно окаменев от ужаса при виде того, что сделал, не оказал им ни малейшего сопротивления. Но Элспет не покорилась. Когда на ее сына стали надевать наручники, она так яростно набросилась на солдат, что двоим из них пришлось держать ее, пока остальные заключали пленника в оковы.

— Проклятье тебе, — воскликнул один из них, обращаясь к Хэмишу, — ведь ты убил лучшего своего друга, который всю дорогу только и думал о том, как избавить тебя от наказания за дезертирство!

— Слышите, матушка? — вскричал Хэмиш, поворачиваясь к Элспет, насколько оковы позволяли ему двигаться. Но мать ничего не слышала, ничего не видела. Потеряв сознание, она упала на пол.

Не дожидаясь, пока она придет в себя, патруль тотчас же направился обратно в Дамбартон, уводя с собой пленника. Однако они сочли нужным ненадолго остановиться в селении Дэлмелли, откуда послали нескольких жителей за телом погибшего сержанта, а сами меж тем пошли к местному судье, чтобы сообщить о случившемся и получить указания насчет того, как им действовать дальше. Поскольку преступник состоял на военной службе, им было велено без промедления доставить его в Дамбартон.

Мать Хэмиша пролежала без чувств довольно долго — гораздо дольше, пожалуй, чем обморок длился бы, не будь она, несмотря на свое могучее здоровье,

сильно изнурена волнениями предыдущих трех дней. Из бессознательного состояния ее наконец вывели женские голоса: мерно ударяя в ладоши, порою издавая горестные вопли, какие-то женщины заунывно тянули коронах — причитания над мертвецом; временами слышались жалобные звуки волынки, игравшей похоронную песнь клана Камеронов.

Словно человек, воскресший из мертвых, встала Элспет на ноги; она лишь смутно помнила, что произошло так недавно у нее на глазах. Теперь в хижине было несколько женщин, облакавших мертвеца в окровавленный тартан, прежде чем унести его из родового места.

— Женщины, скажите мне, — молвила она, выпрямься во весь рост, — почему это вы затянули похоронную песню рода Мак-Дхонуил Дху в доме Мак-Тевиша Мхора?

Услышав ее голос, женщины оборвали песню и одновременно перестали обряжать покойника.

— Молчи, волчица, и прекрати свой зловещий вой, — ответила одна из них, родственница убитого, — не мешай нам выполнять наш долг, оплакивать возлюбленного нашего родича. Никогда никто не станет причитать, не станет играть похоронную песню над тобой или над твоим кровожадным волчонком. Воронье растерзает его на виселице, а тебя лисицы и рысы сожрут вон там, на горе. Будь проклят тот, кто вздумает благословить твои кости или прибавить хоть один камень к твоему могильному холму!

— А ты, дочь неразумной матери, — ответила вдова Мак-Тевиша Мхора, — запомни, что в роду нашем никто не знал виселицы, которою ты нам угрожаешь! Тридцать лет подряд Черное Древо Закона, с которого, будто плоды, свисали тела мертвецов, тосковало по моему возлюбленному супругу; но он умер как храбрец с оружием в руках, он обманул надежды проклятого дерева, и висеть ему на нем не пришлось.

— С сыном твоим так дело не обойдется, ведьма проклятая, — возразила женщина, разъярившаяся не меньше самой Элспет. — Вороны раздерут его кудри

на подстилку для своих гнезд, прежде чем солнце закатится за Трешорнишскими островами.

Эти слова мгновенно воскресили в памяти Элспет все, что произошло за последних три страшных дня. Вначале она словно окаменела от неодолимого горя, но минуту спустя гордость и необузданный нрав ее взяли верх, и, возмущенная тем, что с ней ведут такие дерзкие, как ей казалось, речи в ее же доме, она ответила:

— Да, наглая тварь, мой светловолосый мальчик умрет, но руки его уже не белы. Они обагрены кровью его врага, самой благородной кровью одного из Камеронов — запомни это; и когда вы положите своего мертвеца в могилу, самой большой честью для него будут слова, что, пытаясь наложить руку на сына Мак-Тевиша Мхора на пороге его дома, он был убит Хэмишем Бином. Прощайте! И да ляжет весь позор поражения, утраты, кровопролития на тот клан, который все это претерпел.

Родственница убитого Камерона возвысила голос для ответа; но Элспет, не снисходя до продолжения спора или, возможно, опасаясь, как бы горе не возоблагодало над красноречием, с которым она выражала свою ненависть, перешагнула порог и пошла прочь, озаренная лунным светом.

Женщины, хлопотавшие вокруг убитого, оставили свое печальное занятие и некоторое время следили глазами за высокой фигурой, быстро скользившей среди скал.

— Я рада-радешенька, что она ушла, — сказала одна из них, помоложе. — Мне не страшнее было бы обрядить покойника, если бы перед нами — упаси боже! — встал сам искуситель, чем когда среди нас эта Элспет. Да, да, много, слишком много она в свое время якшалась с врагом рода человеческого!

— Несмышленная ты, — возразила другая, та, что так упорно продолжала перебранку с Элспет, — неужели ты воображаешь, будто на земле или под землей есть враг более лютый, нежели гордыня и ярость оскорбленной женщины, такой, как вон та жаждущая крови ведьма? Знай: кровь для нее с юных

лет была так же привычна, как роса — для горной ромашки. Многие и многие храбрецы по ее вине испустили дух в наказание за пустячные обиды, ей и ее близким нанесенные. Но сейчас ей уж не удастся буйствовать: ведь ее волчонок совершил убийство и, стало быть, умрет той смертью, какая убийцам положена.

Такие речи вели женщины, оставшиеся на ночь у тела Аллена Брейка Камерона, а злосчастливая виновница его смерти тем временем шла своим одиноким путем среди скал и гор. Пока ее еще могли видеть из хижины, она делала над собой огромное усилие, чтобы ни убыстрением шага, ни каким-либо жестом не выдать себя и не доставить врагам своим злобной радости измерить, сколь глубоко она взволнована, более того — в каком она отчаянии. Поэтому Элспет шла неторопливо, держась очень прямо; казалось, она стойко переносила то горе, которое уже ее постигло, — и одновременно бросает вызов тому, которому еще предстоит обрушиться на ее голову. Но когда она исчезла из поля зрения тех, кто остался в хижине, ей уже невольно стало сдерживать свое волнение и тревогу. Порывистым движением запахнув плащ, она остановилась у первого попавшегося на пути пригорка, поднялась на него, простерла руки к ярко светившей луне, словно призывая небо и землю к ответу за свои несчастья, и принялась истошно вопить, словно орлица, из гнезда которой похитили единственного птенца. Излив свое горе в этих нечленораздельных криках, она сбегала с пригорка и быстрым, неровным шагом пошла дальше, тщетно надеясь нагнать солдат, конвоировавших ее арестованного сына в Дамбартон. Но ее поистине нечеловеческие силы в этом испытании ей изменили: несмотря на неизмеримое напряжение, выполнить свой замысел она не смогла.

И все же она продолжала идти так быстро, как только могла при крайнем своем изнурении. Когда голод становился нестерпим, она входила в первый попавшийся домик и говорила: «Дайте мне поесть, я вдова Мак-Тевиша Мхора, я мать Хэмиша Мак-Тевиша

Бина, дайте мне поесть, чтобы я могла еще раз увидеть моего светловолосого сына». Ей нигде не отказывали, хотя иногда в сердцах людей, дававших ей пищу, жалость вступала в борьбу с омерзением, а кое у кого к этому примешивался и страх. Никто еще не знал в точности, в какой мере она причастна к смерти Аллена Брейка Камерона, которая, по всем признакам, должна была повлечь за собой гибель ее собственного сына; но поскольку ее необузданный нрав и ее прежняя жизнь широко были известны, никто не сомневался, что тем или иным образом причиной катастрофы была она; и люди считали, что, совершая это злодейство, Хэмиш Бин был скорее орудием, нежели сообщником своей матери.

Таково было общее мнение жителей окрестных мест, но несчастному Хэмишу от этого было не легче. Его командиру, Зеленому Колину, отлично знавшему нравы и обычаи своей родины, нетрудно было выпытать у Хэмиша все подробности мнимого его дезертирства и связанной с этим смерти сержанта Камерона. Он проникся глубочайшим состраданием к юноше, ставшему жертвой безрассудной, роковой материнской любви. Но он не мог привести никаких смягчающих вину обстоятельств, дабы отвести от несчастного пленника ту тяжкую кару, которую военная дисциплина и военный суд определяли за содеянное им преступление.

Следствие и заседание суда заняли совсем немного времени, и столь же краток был срок, назначенный для приведения приговора в исполнение. Незадолго до того генерал решил примерно наказать первого дезертира, который окажется в его власти, а тут ему попался солдат, применивший, чтобы не быть арестованным, грубую силу и в схватке убивший сержанта, посланного его задержать. Более подходящий случай не мог представиться, и суд вынес Хэмишу смертный приговор. Своим вмешательством в его пользу капитану удалось добиться лишь одного: дать Хэмишу умереть смертью солдата, в то время как вначале предполагалось казнить его через повешение.

Почтенный священник прихода Гленоркьюхи случайно по церковным делам оказался в Дамбартоне в дни этих страшных событий. Он посетил своего несчастного прихожанина в тюрьме и убедился, что Хэмиш в самом деле человек глубоко невежественный, но отнюдь не закоренелый грешник, а ответы, которые он давал пастырю, когда тот завел с ним беседу на религиозные темы, заставили мистера Тайри горько пожалеть о том, что эта от природы чистая и благородная душа, к великому для нее несчастью, осталась столь дикой и неразвитой.

Уяснив себе подлинный характер и умонастроение юноши, почтенный пастырь предался глубоким и тягостным размышлениям о том, как, поддавшись влиянию дурной славы, которой пользовался род Мак-Тевийшей, сам он проявил нерешительность и боязнь, и это помешало ему быть милосердным и вернуть заблудшую овцу в стадо праведных. Осуждая себя за малодушие в прошлом и боязнь подвергнуть себя опасности, дабы спасти бессмертную душу, добрый священник решил впредь не поддаваться робости и ценою любых усилий добиться от начальников Хэмиша если не отмены, то хотя бы отсрочки исполнения приговора, вынесенного заключенному, который теперь своей кротостью и вместе с тем силою духа возбуждал в нем живейшее сочувствие.

Рассудив так, священник отправился в казармы, где стоял гарнизон, и разыскал там капитана Кэмбела. Черты Зеленого Колина были омрачены печалью, и она нисколько не рассеялась, а, напротив, сгустилась, когда священник, назвав себя, изложил дело, по которому он к нему явился.

— Я склонен верить всему, что бы вы мне ни сказали хорошего об этом парне, — ответил начальник Хэмиша. — Все, что бы вы ни просили меня сделать для него, я по своему почину стремлюсь и уже пытался сделать. Но все напрасно. Генерал *** по происхождению наполовину южный шотландец, наполовину англичанин. Он и представления не имеет о благородном, страстном характере горцев, а ведь не чем иным, как этим характером, объясняется то, что

у них высокие добродетели зачастую приводят к тяжким преступлениям, возникающим, однако, не столько из обид, поранивших душу, сколько из неверных суждений. Я зашел очень далеко — сказал генералу, что в лице этого юноши он предаёт смертной казни самого лучшего, самого храброго солдата моей роты, где все сплошь или почти сплошь — славные, храбрые парни. Я пытался объяснить ему, каким нечестным обманом было вызвано его мнимое дезертирство, как мало его душа повинна в преступлении, к несчастью для него содеянном его рукой. И вот что он мне ответил: «Все это, капитан Кэмбел, обычные в Горной Шотландии порождения фантазии, столь же туманные и недостоверные, как те, что приписываются дару предвидения. В случаях несомненного дезертирства всегда можно в качестве смягчающего обстоятельства привести опьянение; а убийство начальника также легко представить в ином свете, объяснив его острым приступом умопомешательства. Нужно примерно наказать виновного, и если во всем остальном он хороший солдат — действие будет еще более устрашающим...» Таково решение генерала ***, — продолжал, тяжело вздохнув, капитан Кэмбел, — оно бесповоротно; а вы, ваше преподобие, позаботьтесь о том, чтобы ваш кающийся грешник завтра, перед рассветом, был должным образом подготовлен к тому великому переходу, который рано или поздно всем нам предстоит.

— И к наступлению которого, — сказал священник, — мы должны молить бога подготовить нас всех, как я, исполняя свой долг, не премину это сделать для несчастного юноши.

На другое утро, едва лишь первые лучи солнца озарили темные башни, венчающие эту дикую, неприступную скалу, солдаты вновь сформированного полка шотландских горцев явились на плац во внутренний двор Дамбартонского замка и, построившись в узкую колонну, по крутым лестницам и тесным переходам стали спускаться к самому подножию скалы, к наружным воротам замка. Время от времени слышались жалобные завывания волынки вперемежку с

сухой барабанной дробью и звуками дудок, игравших похоронный марш.

Сначала судьба несчастного преступника не звала в полку того всеобщего сочувствия, которое, по всей вероятности, возникло бы, будь он осужден только за дезертирство. Но по причине того, что Хэмиш убил Аллена Брейка Камерона, его вина предстала в совершенно ином свете: покойного очень любили, к тому же он принадлежал к большому, могущественному клану, многие представители которого служили в том же полку, тогда как злополучного убийцу знали только немногие, и родных у него в полку почти не было. Его отец действительно был известен своей силой и отвагой, но он происходил из «расщепленного» клана — так назывались кланы, которые не имели вождя.

Если б не это обстоятельство, было бы почти невозможно найти среди солдат нужное для приведения приговора в исполнение число людей; но шесть человек, выделенных для этого, были близкими друзьями убитого, подобно ему, происходили из рода Мак-Дхонуил Дху, и не без мрачного удовлетворения, возмездием доставляемого, готовились они выполнить возложенную на них грозную обязанность. Головная рота полка вышла из наружных ворот, за ней, такими же узкими рядами, последовали остальные; мерно шагая и затем одна за другой останавливаясь по команде полкового адъютанта, солдаты образовали каре: три стороны этого каре были обращены внутрь, четвертая же — к краю обрыва, над которым стоял замок; приблизительно на середине колонны, с непокрытой головой, без оружия, шла злосчастная жертва военного правосудия. Хэмиш был мертвенно бледен, руки у него были связаны, но шагал он твердо и взгляд его по-прежнему был ясен. Его сопровождал священник; впереди несли гроб, предназначенный для его бранных останков. Лица его товарищей были спокойны, сосредоточенны, торжественны. Они прониклись сочувствием к юноше — ведь, идя в колонне, они его лучше разглядели: его привлекательный облик и мужественное, при всей покорности, поведение

смягчили сердца многих, даже из числа тех, кто жаждал отмщения.

Гроб, которому предстояло тотчас после казни принять бездыханное тело Хэмиша Бина, поставили на смежном со скалой пустом краю плаца, в каких-нибудь двух ярдах от подножия скалы, в этом месте вздымающейся отвесно, словно каменная стена, вышиной в триста — четыреста футов. Туда привели осужденного; священник все еще шел рядом с ним, говоря ему слова утешения и призывая до конца сохранить твердость духа, а юноша, по-видимому, смиренно и благочестиво внимал этим напутствиям. Затем на середину каре медленно и словно нехотя вышли шестеро солдат, которые должны были произвести расстрел; их поставили в ряд, лицом к осужденному, ярдах в десяти от него. Для священника настало время уйти.

— Помни, сын мой, — сказал он, — что я говорил тебе, и твердо уповай на тот якорь спасения, который я тебе указал. Тогда взамен краткого греховного земного существования ты обретешь жизнь, где не будет ни горестей, ни треволнений. Быть может, ты хотел бы доверить мне какие-либо поручения?

Юноша взглянул на свои запонки. Они были чистого золота — должно быть, его отец во время междоусобных войн снял их с какого-нибудь английского офицера. Священник вынул их из рукавов его рубашки.

— Бедная матушка! — сдавленным голосом проговорил Хэмиш. — Прошу вас, отдайте их бедной моей матушке. Повидайте ее, отец мой, и научите ее уразуметь все, что случилось. Скажите ей, что Хэмиш Бин встречает смерть с большей радостью, чем когда-либо рад был отдыху после самой утомительной охоты. Прощайте, сэр! Прощайте!

Силы изменили почтенному пастырю; поддерживаемый одним из офицеров, еле волоча ноги, покинул он зловещее место. Обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на Хэмиша, он увидел, что юноша стоит, преклонив колена, на гробу; немногие военные, ранее окружавшие его, все до единого удалились. Прозвучала роковая команда, раздался залп, гулко

откатившийся от скалы, и Хэмиш с глухим стоном упал ничком, вряд ли даже успев ощутить предсмертную муку.

Затем из рядов его роты вышло человек десять — двенадцать: торжественно и благоговейно положили они останки своего товарища в гроб, и под звуки похоронного марша, вновь раздавшегося, все роты одна за другой прошли перед гробом, дабы все могли извлечь из этого страшного зрелища тот урок, каким оно должно было послужить. После этого каре перестроилось, и полк начал рядами снова подниматься на скалу, а музыканты, по принятому в этих случаях обыкновению, играли веселые мелодии, как бы утверждая этим, что горе или даже глубокое раздумье должны как можно скорее быть исторгнуты из сердца солдата.

Тем временем ранее упомянутый нами маленький отряд опустил гроб с телом злосчастного Хэмиша в убогую могилу в том уголке Дамбартонского кладбища, где обычно хоронят преступников. Здесь, среди истлевшего праха злодеев, покоится юноша, имя которого, если бы он пережил роковые события, толкнувшие его на преступление, возможно, украсило бы собой списки доблестных воинов.

Священник прихода Гленоркьюхи покинул Дамбартон тотчас после того, как при нем разыгралась последняя сцена этой горестной трагедии. Умом он признавал справедливость приговора, потребовавшего кровь за кровь, и был согласен с тем, что строптивый нрав его соплеменников нужно сурово сдерживать железной уздой законов, управляющих обществом. Но все же он оплакивал того, кто в данном случае стал их жертвою. Кто из нас вздумает упрекать громовую стрелу в том, что она разит сынов леса? И, однако, кто может удержаться от сетований, когда предметом своего испепеляющего действия она избирает стройный ствол молодого дуба, сулившего стать красой дола, в котором рос? Неспешно ехал пастырь, размышляя об этих печальных событиях, и полдень застал его в горных теснинах, через которые пролегал путь к его еще далекому жилищу.

Полагаясь на то, что он хорошо знает окрестности, священник свернул с большой дороги на одну из тех сокращающих путь тропинок, которыми пользуются только пешеходы или те всадники, которые, как и он сам, ездят на маленьких, но уверенно ступающих, выносливых и смысленных лошадках этих краев. Местность, по которой он ехал сейчас, сама по себе была мрачна и пустынна, к тому же о ней с давних времен ходила нехорошая молва: сказывали, что там зачастую появляется злой дух в образе женщины, именуемый Клогт-деарг — Алый Плащ, — и что он во всякое время, но чаще всего — в полдень и полночь, бродит по ущелью, враждуя как с человеком, так и со всякой живой тварью, причиняя им все зло, какое только может содейть, и поражая смертельным ужасом тех, принести коим иной вред не в его власти.

Священник из Гленоркьюхи открыто и неустанно боролся с большинством этих суеверий, справедливо считая, что они восходят к мрачному прошлому — к папизму, а возможно, даже к язычеству, и что христианам, живущим в просвещенное время, не пристало ни быть приверженным им, ни даже вообще придавать им какое-либо значение. Некоторые наиболее преданные ему прихожане полагали, что он слишком уж ретиво ниспровергает все то, во что издревле веровали их отцы, и, при всем их глубоком уважении к душевной стойкости своего пастыря, они не в силах были подавить в себе, а иной раз даже вслух выражали, опасение, что он когда-нибудь падет жертвою своей дерзости и будет растерзан на части в ущелье Алого Плаща или каком-либо другом из тех злыми силами посещаемых пустынных мест, по которым он, явно гордясь и тешась этим, предпочитал ездить один в те самые дни и часы, когда, по старому поверью, злые духи имеют особую силу над человеком и зверем.

Легенды эти припомнились священнику, когда он остался в этих местах один. Он с грустью улыбнулся, подумав о непоследовательности природы человеческой, и стал размышлять о том, сколько есть храбрецов, которые под воинственные звуки волынки в ту же минуту очертя голову ринулись бы на примкнутые

штыки, как разъяренный бык кидается на противника, но, возможно, побоялись бы встречи с этими воображением порожденными страшными видениями, тогда как он, человек мирный и во всякого рода передрягах отнюдь не проявлявший большой силы духа, сейчас без всяких колебаний пустился на этот риск.

Обведя глазами унылую, мрачную теснину, он мысленно согласился с тем, что она — подходящее обиталище для тех духов, которые, как гласит молва, приверженны уединению и мраку. Ущелье было до того глубоко и узко, что полуденное солнце едва могло заронить туда свои лучи и лишь скудно осветить ими хмурые воды, которые протекали по его извилинам, чаще всего едва слышно; лишь местами, с шумом разбиваясь о скалы или о валуны, казалось, твердо решившие преградить им путь, угрюмо рокотали темные струи. Зимой или в дождливую пору река превращалась в бушующий, пенящийся поток, перекатывавший и оголявший мощные обломки скал, которые в то время года, о котором здесь идет речь, скрывали обмелевшую речку от взгляда путника и будто хотели совершенно ее запрудить. «Не приходится сомневаться, — подумал священник, — что вот эта горная речка, внезапно вздувшаяся вследствие смерча или сильной грозы, нередко бывала причиной тех несчастных случаев, какие впоследствии, из-за того что они произошли в ущелье Алого Плаща, приписывались злым чарам таинственного духа».

Едва только он это подумал, как услышал женский голос, неистово, пронзительно вопивший: «Майкл Тайри! Майкл Тайри!» С изумлением и не без опаски осмотрелся он вокруг; сперва он вообразил, что злой дух, существование которого он так упорно отрицал, вот-вот появится, чтобы покарать его за неверие. Но этот страх владел им не дольше минуты и не помешал ему твердым голосом спросить: «Кто меня зовет? Кто ты такая?»

— Та, что идет в тоске и горе между жизнью и смертью, — ответствовал голос, и произнесшая эти слова рослая женщина вышла из-за обломков скал, скрывавших ее от глаз.

Когда она подошла поближе, священник увидел перед собой существо, которому высокий рост, яркий, с преобладанием алого цвета, тартановый плащ, властная поступь, иссеченное морщинами лицо и дико сверкавшие из-под чепца глаза придавали разительное сходство с духом этой горной долины, каким его себе обычно представляли. Но мистер Тайри мгновенно узнал в ней Женщину под деревом — вдову Мак-Тевиша Мхора, лишившуюся своего чада мать Хэмиша Бина. Я не решусь сказать, не предпочел ли бы священник оказаться лицом к лицу с самим Алым Плащом, чем так внезапно столкнуться с Элспет, на душе у которой было тяжкое преступление и неизбывное горе. Он невольно придержал лошадь и, покуда она, размахисто шагая, не подошла к нему вплотную, пытался собраться с мыслями.

— Майкл Тайри, — сказала она, — глупые кумушки Клахана почитают тебя за божество; будь им для меня, скажи, что сын мой жив. Скажи мне это, и я тоже буду тебе поклоняться, в седьмой день недели преклоню колена в доме, где ты собираешь молящихся, и твой бог станет моим богом.

— Несчастная, — возразил ей священник, — человек не может заключать с творцом своим сделки, как с теми, что, подобно ему самому, слеплены из праха. Ужели тебе мнится, что ты можешь вступать в переговоры с тем, кто создал землю и раскинул свод небесный, или что какие-либо твои действия, благоговение и преклонение выражающие, он сочтет достойными и примет? Он требует повиновения, а не жертв долготерпения в тех испытаниях, которые он нам ниспосылает, и не суетных даров, какие человек предлагает бренному, как и он сам, изменчивому брату своему, дабы отвратить решения, им принятые.

— Молчи, священник! — ответила доведенная до глубокого отчаяния женщина. — Не говори мне слов, начертанных в твоей белой книге. Родители Элспет были не из тех, что творили крестное знамение и преклоняли колена, как только слышался звон освященного колокола, и она знает, что на алтаре можно искупить то, что содеяно на поле брани. Были некогда у

Элспет стада коров и овец, козы на скалах, скот в долинах. Она носила золото на шее и в волосах — толстые цепи, какими встарь украшали героев. Все это она рада была бы отдать священнику, все без остатка; и пожелай он получить драгоценности знатной леди, или спорран вождя столь же могущественного, как сам Мак-Каллум Мхор, Мак-Тевииш Мхор добыл бы их, ежели бы Элспет их посулила. Сейчас Элспет бедна и дать ничего не может; но Черный Аббат Инчефрея приказал бы ей стать паломницей, и плетьюм исхлестать себе плечи, и в кровь изодрать ноги; и он даровал бы ей прощение, узрев, что кровь ее пролилась и тело все в ранах. Эти священники поистине имели власть, самые могущественные из людей ее признавали; великих мира сего они повергали в страх словами, исходившими из их уст, изречениями, запечатленными в их книгах, полыханьем их факелов, звонном освященных колоколов. Властители покорялись их велениям и по первому же слову священника беспрекословно освобождали тех, кого в гневе своем заточили, и они выпускали на волю невредимыми тех, кого приговаривали к смерти, чьей крови алкали. Священники эти были люди поистине могущественные; они-то имели право приказывать бедным преклонить колена, раз у них хватало силы унижать надменных властителей. А вы! Против кого пускаете вы в ход вашу силу, как не против женщин, повинных в распутстве, и против мужчин, никогда не носивших палаша? Некогда священники были как бурные потоки, что заполняют теснину и швыряют каменные глыбы друг на дружку так же легко, как мальчик играет мячом, который кидает перед собой. А вы! Вы всего-навсего подобны пересохшему в летний зной ручью; повстречается ему заросль тростника — и он изменяет свое течение; попадетса на пути куст осоки — и путь прегражден. Горе, горе вам, и вы его заслужили, ибо никому вы не в силах помочь!

Священник тотчас понял, что Элспет отступила от католической веры, не приобретя взамен никакой другой, и что в ней все еще жива смутная мысль о том,

что при помощи исповеди, раздачи милостыни и долгого покаяния с духовенством можно сговориться; он понял, что она верит в огромную власть священников, в ее представлении способную даже, если только умилоостивить ее носителей, спасти жизнь ее сына. Сочувствуя страданиям Элспет, снисходя к ее невежеству и заблуждениям, он ответил ей весьма кротко:

— Увы, несчастная! Я молю господя, чтобы мне так же легко было убедить тебя, где именно тебе надлежит искать утешения и где оно тебе уготовано, как легко мне одним-единственным словом уверить тебя в том, что, будь Рим и все его священство еще в зените своего могущества, они не могли бы ни за щедрые дары, ни за истовое покаяние хоть бы на йоту помочь тебе или утешить тебя в великом твоём горе. Элспет Мак-Тевииш, мне тяжело сообщить весть, которую я тебе несусь.

— Я знаю ее без твоих речей, — сказала Элспет. — Мой сын приговорен к смерти.

— Элспет, — продолжал священник, — он был приговорен: казнь свершилась.

Несчастливая мать возвела очи к небу и издала вопль, столь непохожий на звук человеческого голоса, что орел, паривший над ущельем, откликнулся на него, как откликнулся бы на зов своей подруги.

— Не может этого быть! — вскричала она. — Не может! Не бывает, чтобы человека осудили и казнили в тот же день! Ты меня обманываешь. Люди называют тебя святым — и твое сердце позволяет тебе сказать матери, что она убила единственное свое дитя?

— Бог свидетель, — сказал священник со слезами на глазах, — что, будь это в моей власти, я рад был бы сообщить тебе более утешительную весть. Но та, которую я принес, столь же достоверна, как ужасна. Своими ушами слышал я смертоносный залп, своими глазами видел смерть твоего сына, видел погребение. Язык мой только свидетельствует о том, что уши мои слышали, что глаза мои видели.

Несчастливая женщина заломила руки и, подобно сивилле, войну и бедствия предрекающей, воздела их

к небесам, объятая бессильной, но неумолимой яростью; она неумолчно изрыгала самые страшные проклятия.

— Подлый раб, подвластный саксам! — вопила она. — Мерзкий, лицемерный обманщик! Глаза твои покорно взирали на смерть моего светловолосого мальчика — так пусть же изойдут они в глазницах твоих слезами, которые ты непрестанно будешь лить по самым близким и дорогим тебе людям! Уши твои слышали смертоносный грохот — так пусть же они после этого станут глухи ко всем звукам, кроме карканья воронов и шипения змей! Язык твой глаголет мне о его смерти и о моей вине — так пусть же иссохнет он во рту твоём, или нет — пусть лучше, когда ты будешь молиться вместе со своей паствой, дух тьмы завладеет им, и будет он вместо славословий изрекать кощунства, покуда люди, прихожане твои, не разбегутся в ужасе и громы небесные, на твою голову обращенные, не заставят навсегда умолкнуть твой голос, богохульствующий и богом проклятый! Прочь отсюда — и да сопутствует тебе это проклятие! Никогда, никогда уже Элспет не станет расточать столько слов кому-либо из людей!

Она сдержала слово. С этого дня мир стал для нее пустыней, где она пребывала, ничего не видя вокруг себя, ни о чем не думая и не заботясь, целиком погруженная в свою скорбь, безучастная ко всему остальному.

О том, как она жила, или, вернее, прозябала, читатель уже знает все, что в моей власти было сообщить ему. О ее смерти я ничего не могу ему сказать. Есть основания полагать, что она скончалась спустя несколько лет после того, как привлекла внимание дорогого моего друга, миссис Бетьюн Бэлиол. Никогда не довольствуясь, по доброте своей, пролитием сентиментальных слез, когда можно было проявить действительное милосердие, миссис Бэлиол неоднократно пыталась хоть немного скрасить жизнь этой несчастнейшей из женщин. Но ценою больших усилий она добилась лишь того, что несколько улучшила материальное положение Элспет — обстоятельство, которому

обычно даже самые обездоленные из людей придают значение. Но Элспет, по-видимому, оно было совершенно безразлично. Все попытки поселить в ее хижине кого-нибудь, кто заботился бы о старухе, терпели неудачу — либо из-за того, что она крайне враждебно относилась ко всему, что могло нарушить ее уединение, либо из-за того, что все те, кого уговаривали поселиться вместе со страшной Женщиной под деревом, робели и трусили. Наконец, когда Элспет настолько (по крайней мере так всем казалось) ослабела, что уже не могла сама повернуться на скамье, заменявшей ей постель, преемник мистера Тайри, движимый человеколюбием, послал двух сиделок ухаживать за отшельницей в последние ее часы, по всем вероятностям уже сочтенные, и не допустить, чтобы она из-за отсутствия ухода или пищи скончалась раньше срока, определенного ей глубокою старостью или смертельным недугом.

Хмурым ноябрьским вечером женщины, которым было дано это скорбное поручение, добрались до жалкой хижины, уже знакомой читателю по нашему описанию. Несчастная лежала, вытянувшись во весь рост, на своем убогом ложе; ее можно было бы принять за мертвую, если бы не сверкавшие мрачным огнем черные глаза, ужасающе вращавшиеся в орбитах и, казалось, с удивлением и негодованием следившие за всеми движениями обеих незнакомок, чье присутствие для умирающей, судя по всему, было столь же неожиданно, сколь и тягостно. Ее взгляд испугал вошедших, но сознание, что их двое, успокоило их; они разожгли огонь в очаге, засветили свечу, сготовили ужин и сделали еще кое-какие приготовления, чтобы выполнить возложенные на них обязанности.

Сиделки условились бодрствовать у ложа больной по очереди; но около полуночи их обеих (они с утра были в пути) сморил сон. Проснувшись спустя несколько часов, женщины увидели, что хижина пуста, а больная исчезла. Они в ужасе вскочили и подбежали к двери — засов был задвинут, как они его задвинули с вечера. Стоя на пороге, они вглядывались во мрак, много раз тщетно звали свою подопечную по

имени. На зов их откликнулся ворон из кроны могучего дуба, завывала лисица на пригорке, грозно рокотал водопад, и эхо повторяло его рокот, но не слышать было голоса человека. Вне себя от страха, женщины решились отложить дальнейшие поиски до рассвета, ибо внезапное исчезновение существа столь немощного, как Элспет, после всего того, что они знали о необычайной, страшной ее жизни, так напугало их, что они не решались выйти из хижины и сидели там, скованные ужасом: то им чудилось, что где-то за хижинкой слышен ее голос, то вдруг казалось, что в печальные вздохи ночного ветерка, в шум водопада вторгаются иные, зловещие звуки. Время от времени засов скрипел, будто чья-то слабая, дрожащая рука тщетно пыталась его отодвинуть, и сиделки ждали, что старуха вот-вот появится, движимая сверхъестественной силой и, быть может, в сопровождении существа еще более грозного, чем она сама. Наконец рассвело. Они обыскали заросли кустарника, скалы, ближнюю лесную чащу, но ничего не нашли. Часа два спустя приехал священник; узнав от женщин, что произошло, он поднял тревогу. По всем направлениям от хижины и старого дуба, вблизи и вдали, были произведены самые тщательные розыски. Все было тщетно. Элспет Мак-Тевииш не нашли ни живую, ни мертвую, и люди никогда не узнали ничего, что пролило бы хоть слабый свет на ее дальнейшую судьбу.

В соседних с хижинкой местах об исчезновении Элспет ходили различные толки. Люди суеверные полагали, что искуститель, под чьим влиянием она, думалось им, действовала, унес ее еще живую; и сейчас еще немало найдется людей, которые ни за что не согласятся после наступления темноты пройти мимо старого дуба, под которым, если верить им, она иной раз по-прежнему сидит в обычной своей позе. Другие, менее приверженные старине, говорили, что, пожалуй, если бы своевременно обыскали пропасть Корри Дху, глубокие воды озера или омуты, которых в реке множество, останки Элспет Мак-Тевииш можно было бы найти, ибо она так ослабела и телом и умом, что было бы не удивительно, если бы она

случайно свалилась или намеренно ринулась в то или иное из этих таящих верную гибель мест. Но священник на этот счет держался особого мнения. На его взгляд, несчастная старуха, раздраженная тем, что к ней приставили сторожей, последовала зову инстинкта, повелевавшего ей, как то бывает иногда с домашними животными, скрыться от себе подобных, дабы предсмертные мучения пришли к ней в какой-то никому не ведомой пещере, где ее прах навсегда будет сокрыт от глаз людских. Ему казалось, что такого рода чутье соответствует всей ее несчастливой судьбе, и, по всей вероятности, именно оно-то и повлияло на это последнее решение, которое она приняла.

ДВА ГУРТОВЩИКА

Глава I

Мой рассказ начинается на другой день после ярмарки в Дауне. Торговали там бойко; на ярмарку приехало немало прасолов из северных и центральных графств Англии, и английские деньги лились рекой на радость скотоводам Горной страны. Множество стад должно было направиться в Англию под охраной их владельцев или же наемных гуртовщиков, которым вверялась скучная, хлопотливая и ответственная задача гнать быков за много сотен миль от рынка, где они были куплены, до пастбищ или скотных дворов, где их полагалось откормить для убоя.

Шотландские горцы особенно хорошо выполняют трудные обязанности гуртовщиков; это ремесло им, очевидно, так же по нутру, как военное дело. Здесь они могут проявить исконные свои качества — стойкое терпение и выносливость в работе. Гуртовщики не только должны в совершенстве знать все те часто пролегающие в самых пустынных и диких местах проселочные дороги, по которым им предстоит гнать скот, но и по мере возможности избегать больших дорог, мучительных для быков, и застав, обременительных для их вожатых, тогда как на широких, покрытых сочной или жухлой зеленью тропях, пересе-

кающих бескрайние торфяные болота, животные не только не подлежат никаким поборам, но к тому же, если придет охота, могут подкормиться сочной травой. Ночи гуртовщики обычно проводят подле своих стад, какая бы ни стояла погода, и многие из этих сызмальства закаленных людей за время долгого перехода от Лохабера до Линкольншира ни разу не спят под крышей. Им платят не скупясь, так как на них лежит большая ответственность: ведь от их осмотрительности, неусыпного наблюдения и честности зависит, дойдет ли гурт до места назначения в хорошем виде и получит ли скотовод желанную прибыль. Но харчатся гуртовщики за свой счет и поэтому всячески урезают себя по части еды. В те времена, когда происходили описываемые события, запасы пищи, которые гуртовщик-горец брал с собой в долгий, утомительный путь, состоял из нескольких пригоршней овсяной муки, двух-трех луковиц, время от времени прикупаемых, да бараньего рога, наполненного виски, каковым напитком он хоть и умеренно, но регулярно подкреплялся утром и вечером. Кинжал, или скенедху («черный нож») — горцы носят его либо под мышкой, либо спрятанным в складках тартана, — был единственным его оружием, если не считать посоха, при помощи которого он управлял своим стадом. Горцы считали эти дни самыми счастливыми в своей жизни. Такие путешествия несли с собой разнообразие впечатлений, отвечавшее присущей кельтам любознательности и страсти к передвижениям, сопровождалась постоянной сменой мест, ландшафтов, обычными в долгих странствиях приключениями, а встречи с фермерами, скотоводами, прасолами, заканчивавшиеся иногда веселыми пирушками, были тем более приятны Доналду, что он-то на них не тратился; вдобавок сюда присоединялось сознание своего несравненного превосходства, ибо горец, беспомощный, когда он имеет дело с отарой, властно распоряжается стадами быков, и усвоенные им сызмальства навыки заставляют его презирать ленивое прозябание овечьего пастуха; вот почему самое разлюбезное для него

дело — идти за вверенным его попечению гуртом отборных быков своего родного края.

Из всех молодцов, в то утро покинувших Даун в тех целях, которые мы здесь изложили, ни у кого шапка не была так ухарски заломлена, ни у кого под туго натянутыми клетчатыми чулками не обрисовывались такие стройные ноги, как у Робина Ойга Мак-Комбиха; друзья обычно звали его Робин Ойг, иначе говоря — молодой, или меньшей, Робин. Росту он был небольшого, как явствует из самого прозвания Ойг, и не такого уж мощного сложения, но проворен и ловок, как живущий в его родных горах олень. У него была легкая, упругая поступь, во время долгих переходов вызывавшая зависть многих дюжих парней, а его манера располагать складки тартана и носить шапку свидетельствовала о твердой уверенности в том, что такой удалой «Джон с высоких гор», как он, уж наверно обратит на себя внимание красоток равнины. Смуглый румянец, ярко-красные губы, белые как кипень зубы придавали немалую привлекательность обветренному лицу, черты которого скорее можно было назвать мужественными, нежели грубыми. Хотя Робин смеялся или даже улыбался не так уж часто — среди его соотечественников это ведь не принято, — но его живые, ясные глаза из-под лихо сдвинутой набекрень шапки искрились жизнерадостностью, которой легко было перейти в шумную веселость.

Проводы Робина Ойга были немаловажным событием, так как и в самом городке и в его окрестностях у него было много друзей — юношей и девушек. В своем кругу он был видной персоной, заключал довольно крупные сделки на свой собственный страх и риск, а кроме того, самые богатые скотоводы Горной Шотландии предпочитали его всем другим гуртовщикам этого края. Он мог бы значительно увеличить свои обороты, согласись он держать подручных; но если не считать двух-трех молодых людей — его племянников, Робин Ойг решительно отказывался от всякой подмоги — быть может, он сознавал, в какой мере его репутация зависит от того, что он во всех случаях

самолично выполняет принятые на себя обязательства. Итак, он довольствовался тем, что ему платили намного дороже, чем другим гуртовщикам, и тешил себя надеждой со временем, после нескольких успешных путешествий в Англию, завести собственное дело, размахом своим приличествующее его происхождению. Ибо отец Робина Ойга, Лахлан Мак-Комбих (что означает «сын моего друга»; на самом деле он по своему клану носил фамилию Мак-Грегор), был назван так прославленным Роб Роем по причине тесной дружбы, соединявшей деда Робина со знаменитым разбойником. Говорили даже, что имя Робин было дано младенцу в честь того, кто в лесах и горах Лох-Ломонда стяжал не меньшую известность, чем его тезка Робин Гуд в окрестностях веселого Шервуда. «Можно ли не гордиться такой родословной?» — говорил Джеймс Босуэл. И Робин Ойг гордился. Однако, приобретая благодаря частым путешествиям в Англию и Нижнюю Шотландию некоторое знание людей и света, он чутьем понял, что это родство может дать ему право на кое-какие преимущества в его родной уединенной долине, но что во всяком другом месте такие притязания будут сочтены и дерзкими и смешными. Поэтому гордость, которую ему внушало его происхождение, была для него, как сокровища для скупца, предметом тайного любования, но он ею никогда не бахвалился перед посторонними.

Много поздравлений и добрых пожеланий выслушал в это утро Робин Ойг. Знатоки наперебой расхваливали его гурт, в особенности быков самого Робина, лучших из всех. Одни протягивали ему роговые табакерки, предлагая прощальную понюшку, другие просили выпить дох-ан-дорох — прощальную чашу. Все дружно кричали: «Счастливого тебе пути, счастливого возвращения! Хорошей торговли на ярмарках у саксов! Побольше банкнот в *леабхар-дху* (черном бумажнике), побольше английского золота в *спорране* (кошеле из козьей кожи).

Местные красотки прощались менее шумно, но, если верить молве, не одна из них с радостью отдала бы самое ценное свое украшение за сладостную уве-

ренность в том, что именно на ней юноша остановил свой взгляд, прежде чем двинуться в путь.

Только Робин Ойг протяжно крикнул «Ого-ой!», чтобы расшевелить медлительных животных, как за его спиной раздался возглас:

— Эй, Робин, погоди малость! Это я, Дженет из Томагуриха, старая Дженет, сестра твоего отца!

— Разрази ее гром, старую ведьму, горную колдунью, — проворчал фермер из плодородной низины под Стерлингом, — она еще, не ровен час, наведет порчу на скот.

— Этого она никак не может, — сказал другой фермер, такой же мудрец. — Не таковский Робин Ойг: никогда он с места не сойдет, пока у каждого быка на хвосте святому Мунго узелок не завяжет, а уж это верное средство самую дотошную ведьму спугнуть, из тех, что на помеле над Димайетом летали.

Читателю, пожалуй, небезынтересно узнать, что рогатый скот горной Шотландии особенно подвержен воздействию заговоров и колдовства, во избежание чего люди осмотрительные завязывают особо хитрые узелки на пучке волос, которым заканчивается хвост животного.

Но старуха, внушавшая фермеру такие мрачные подозрения, казалось, была всецело занята гуртовщиком и не обращала никакого внимания на стадо. Робина же, напротив, ее присутствие, явно раздражало.

— Что за нелепая причуда, — спросил он, — погнала вас сюда чуть свет от теплого очага, тетушка? Я ведь хорошо помню, что простился с вами вчера вечером и вы еще пожелали мне счастливого пути...

— И оставил мне больше серебра, чем никому не нужная старуха может истратить до твоего возвращения, милый мой птенчик, — ответила сивилла. — Но к чему мне вкушать пищу, к чему греться у очага, к чему мне само солнышко господне, если со внуком отца моего приключится недоброе? Поэтому дай мне совершить для тебя древний наш *деасил*, дабы ты благополучно дошел до чужой страны и так же благополучно вернулся домой.

Робин Ойг остановился, не то досадуя, не то смеясь, и знаками объяснил тем, кто стоял поблизости, что уступает старухе, только чтобы утихомирить ее. Она же тем временем, шатаясь из стороны в сторону, стала ходить вокруг него. Она старалась умиловить божество, совершая обряд, как считают, ведущий начало от друидических верований.

Обряд этот, как известно, заключается в том, что лицо, совершающее *деасил*, трижды обходит по кругу того, чье благополучие стремится обеспечить, непременно двигаясь при этом с востока на запад, подобно солнцу. Но вдруг старуха остановилась и дрожащим от волнения и ужаса голосом завопила:

— Внук отца моего, на твоей руке кровь!

— Да замолчите вы, бога ради, тетушка! — воскликнул Робин Ойг. — Этот ваш *тайсхатараг*¹ навлечет на вас неприятности, от которых вы потом долго не избавитесь.

Но старуха, глядя на него остекленевшими глазами, только повторяла: «На руке твоей — кровь, и это кровь англичанина; кровь гэлов гуще и краснее. Дай-ка поглядеть... Дай-ка...»

И прежде чем Робин Ойг мог помешать ей — впрочем, для этого ему пришлось бы волей-неволей применить грубую силу, так быстро и решительно старуха действовала, — она выхватила из складок его тартана кинжал и, высоко подняв его, хоть лезвие и сверкало на солнце, снова завопила: «Кровь, кровь — опять кровь сакса! Робин Ойг Мак-Комбих, не ходи на этот раз в Англию!»

— Вздор все, — ответил Робин Ойг, — это уж не дело, тогда мне останется только бродяжничать! Не срамите себя, тетушка, отдайте мой кинжал! По цвету никак нельзя отличить кровь черного быка от крови белого, а вы говорите, что можете отличить кровь сакса от крови гэла. У всех людей кровь от праотца Адама, тетушка! Отдайте кинжал — в дорогу пора! И так уж мне надо было сейчас быть на полпути к Стерлингскому мосту. Отдайте кинжал, и я пойду!

¹ Дар ясновидения (*шотл.*).

— Не отдам, — упорствовала старуха. — Не выпущу из рук твой тартан, покуда ты не дашь мне слово, что оставишь здесь это губительное оружие!

Толпившиеся вокруг женщины уже стали уговаривать Робина, напоминая, что тетка его не привыкла бросать слова на ветер; недовольные проволочкой, фермеры Нижней Шотландии хмуро глядели на все происходящее, и Робин Ойг решил любой ценой выпутаться из этого положения.

— Ну ладно, — сказал он, вручая кинжал Хьюгу Моррисону, — вы-то, жители равнин, не верите этим рассказам. Пусть этот кинжал будет пока у тебя. Подарить я его тебе не могу, потому он отцовский, но твоё стадо идет вслед за моим, и пусть он лучше хранится у тебя, а не у меня. Ну как, тетушка, поладим мы, что ли, с вами на этом?

— Придется поладить, — ответила вещунья, — коли он так безрассуден, что берется этот кинжал у себя держать.

Здоровяк из западной Шотландии звонко расхохотался и сказал:

— Слушай, тетка, я Хьюг Моррисон из Глены, потомок древнего рода Моррисонов Смелых, которые никогда и ни с кем не сражались таким куцым оружием. Да они в нем и не нуждались. У них были палаши, у меня, — тут он указал на толстенную дубинку, — есть вон эта тросточка, а пырять ножом — этим уж пусть горец Джон занимается. Зря вы фыркаете, горцы, особенно ты, Робин. Что ж, если слова старой колдуньи тебя напугали, я поберегу твой кинжал и отдам его тебе, как только понадобится.

Многое из того, что сказал Хьюг Моррисон, пришлось Робину не по вкусу; во время своих переходов он научился быть более терпеливым, чем это свойственно горцам от природы, и услугу, которую ему согласился оказать потомок Моррисонов Смелых, принял, не ставя ему в укор несколько пренебрежительный тон речи.

— Если б он с утра не хватил лишнего да к тому же не был дамфризширским боровом, его речь больше

походила бы на речь джентльмена. Но чего от свиньи дождешься, кроме хрюканья? Какой позор, если он кинжалом моего отца будет крошить хэггис себе на потребу!

С этими словами (сказанными, однако, по-гэльски) Робин щелкнул бичом и махнул рукой всем тем, кто его провожал. Он торопился, тем более что в Фолкерке условился встретиться с приятелем, тоже гуртовщиком, вместе с которым рассчитывал затем пройти весь путь.

Этим приятелем — вернее, близким другом — Робина Ойга был Гарри Уэйкфилд, молодой англичанин, уже приобретший добрую славу на всех северных рынках, человек, в своем кругу столь же уважаемый и известный, как наш гуртовщик-горец. Без малого шести футов ростом, он был достаточно силен и ловок, чтобы с честью подвизаться и на смитфилдских состязаниях в боксе и в борьбе. Если кое-кто из наиболее выдающихся представителей этих видов спорта и мог бы, пожалуй, победить его, то доморощенным любителям этот деревенский силач, хоть и не прошедший настоящей выучки, всегда задавал хорошую трепку. Он был заметной фигурой на Донкастерских скачках, где ставил не меньше гиней и обычно выигрывал, и никогда, если только позволяли дела, не пропускал ни одного сколько-нибудь значительного кулачного боя в Йоркшире, где скотоводы задавали тон. Но Гарри Уэйкфилд, парень разбитной и любитель кутнуть в веселой компании, был, однако, наделен упорством и к делу относился не менее ревностно, чем степенный Робин Ойг Мак-Комбих. И когда он давал себе роздых, он уж отдыхал вовсю; но обычно его дни проходили в усердной, неустанной работе. По своему обличью и духовному складу он был типичным жизнерадостным йоменом Старой Англии, одним из тех, чьи длинные копья некогда во многих сотнях сражений утвердили ее главенство над другими народами и чьи острые сабли в наши дни являются для нее самой дешевой и надежной защитой. Его нетрудно было развеселить; пышущий здоровьем, удачливый в делах, он склонен был благо-

душно относиться ко всему вокруг, а встречавшиеся временами трудности его, человека весьма энергичного, скорее развлекали, нежели раздражали. Обладая всеми качествами, присущими сангвиническому темпераменту, наш молодой гуртовщик-англичанин имел, однако, и свои недостатки. Он был настолько вспыльчив, что иногда и сам затевал ссоры, и, возможно, то обстоятельство, что лишь очень немногие могли сравняться с ним в кулачном бою, толкало его разрешать споры именно силой. Трудно сказать, каким образом Гарри Уэйкфилд и Робин Ойг сблизились; несомненно одно — что между ними возникла тесная дружба, хотя, по всей видимости, как только они переставали толковать о своих гуртах, тем для разговоров почти не находилось. Так мало было у них общих интересов. В самом деле, Робин Ойг с трудом изъяснялся по-английски, когда речь шла не о быках и бычках, а об иных предметах, тогда как Гарри Уэйкфилд, говоривший с сильнейшим йоркширским акцентом, не способен был ни слова сказать по-гэльски. Напрасно Робин однажды, во время перехода по Минхским болотам, целое утро старался научить своего спутника правильно произносить гэльский шиболет — слово «лху», на этом языке обозначающее теленка. От самого Тракуэйра до Мердеркейна горы оглашались отнюдь не благозвучными попытками сакса выговорить строптивное односложное слово и следовавшими за каждой из этих неудач взрывами смеха. Но два приятеля знали и более приятные способы пробуждать эхо: Уэйкфилд распевал всевозможные песенки, восхвалявшие Молли, Сьюзен и Сисили, тогда как Робин Ойг умел необычайно искусно насвистывать нескончаемые, с затейливыми вариациями пиброхи; вдобавок — и это было гораздо приятнее для слуха южанина Гарри — он знал множество песен северного края, как веселых, так и трогательных, а Уэйкфилд научился вторить ему басом. Вот почему, хотя Робину трудно было понять рассказы своего спутника о скачках, петушиных боях или охоте на лисиц и хотя сказания о кровавых распрях между кланами и о воинственных вторжениях горцев в Равнину,

перемежавшиеся легендами о горных духах, феях и гномах, которые Робин помнил с детства, были слишком изысканны для грубоватого вкуса Гарри, они все-таки находили известное удовольствие в общении друг с другом и уже три года подряд старались, если только у обоих гурты шли в одном направлении, сговориться заранее и пройти весь путь вместе. В самом деле, это было выгодно им обоим. Где бы англичанин нашел лучшего водителя по западным областям Горной Шотландии, чем Робин Ойг Мак-Комбих? А когда, перевалив через горы, они, по выражению Гарри, оказывались на правильной стороне границы, его обширные связи и туго набитый кошель всегда были к услугам друга-горца и нередко щедрый англичанин оказывал Робину услугу, достойную настоящего йомена.

Глава II

Друзья такие с давних пор!
Из-за чего ж вдруг вспыхнул спор?

То захотелось одному
Для друга постараться:
Чтоб доказать любовь к нему
Решил он с ним подражаться

«Герцог против герцога»

Дружно, как обычно, прошли оба гуртовщика по зеленым лугам Лиддсдейла и пересекли ту часть Камберленда, которую так выразительно именуют пустыней. В этих малонаселенных краях вверенные обоим друзьям стада кормились главным образом травой, в изобилии росшей по обе стороны дороги, а иной раз, уступая соблазну, невозбранно вторгались на соседние пастбища, где лакомились вволю. Но теперь характер местности менялся на глазах у гуртовщиков: спускаясь все ниже, они приближались к плодородному краю, где луга были размежеваны и огорожены, где нельзя было безнаказанно позволять себе такие вольности, а приходилось заранее сговариваться с владельцами этих угодий о пастьбе и о плате за нее.

В данном случае это было тем более необходимо, что в этих местах, на севере Англии, в ближайшие дни должна была состояться большая ярмарка, где и шотландец и англичанин рассчитывали продать часть своих гуртов, а поэтому обоим было очень важно привести туда скот отдохнувшим, хорошо откормленным. Но поскольку того же добивались и многие другие, пастбища трудно было получить и владельцы запрашивали неслыханные цены. Поэтому друзьям волею-неволею пришлось на время расстаться: каждый из них в одиночку отправился промыслять кормежку для своих быков. На беду случилось, что им обоим, неведомо друг для друга, приглянулся луг, принадлежавший богатому землевладельцу, поместье которого находилось неподалеку. Гуртовщик-англичанин обратился к управителю, с которым уже раньше был знаком. Волею судьбы у камберлендского сквайра именно в ту пору возникли сомнения в честности этого служащего: дабы проверить, в какой степени они обоснованны, он распорядился, что все переговоры о временном пользовании его лугами должны вестись лично с ним. Но поскольку мистер Айрби накануне уехал по делам куда-то на север, за несколько миль от поместья, управитель решил, что, пока хозяин его находится в отлучке, он может не считаться с этим ограничением своих полномочий и что в интересах мистера Айрби, а возможно, и его собственных, лучше всего будет, если он заключит соглашение с Гарри Уэйкфилдом. Тем временем Робину Ойгу, понятия не имевшему о том, как действует его друг и спутник, повстречался на дороге приземистый благообразный мужчина в кожаных штанах и с длинными шпорами, верхом на пони, челка и хвост которого были весьма искусно подстрижены по последней моде. Всадник задал ему два-три деловых вопроса насчет рынков и цен на скот, и Робин, видя, что он — человек рассудительный и учтивый, позволил себе спросить его, не знает ли он где-нибудь поблизости пастбища, чтобы ненадолго поместить там гурт. Он, можно сказать, попал в самую точку. Джентльмен в кожаных штанах был не кто иной, как тот землевладелец, с чьим

управителем договаривался — или уже договорился — Гарри Уэйкфилд.

— Это твое счастье, друг шотландец, что ты встретился со мной, — сказал мистер Айрби, — я вижу, твои быки здорово устали, а у меня только одно пастбище за три мили отсюда, и другого тебе в этих краях не найти.

— Мой гурт отлично может пройти еще две, три, а то и четыре мили, — ответил осмотрительный шотландец. — А сколько ваша честь спросите с головы скота, коли б я надумал пробыть там денька два-три?

— Да уж как-нибудь поладим, Соуни, если ты согласишься продать мне по сходной цене шестерых бычков.

— А каких бычков ваша честь желает отобрать?

— Дай-ка хорошенько поглядеть... Вот этих двух черных и бурого, этого рыжеватого и вон того с завитками на рогах, да еще безрогого прихвачу. Почему с меня возьмешь?

— Ох, — сказал Робин, — ваша честь понимает в скоте, право слово, премного понимает. Я и сам бы лучше не отобрал, а ведь я всех их знаю наперечет, словно это дети мои родные.

— Так почему возьмешь, Соуни? — повторил мистер Айрби.

— На ярмарках в Дауне и Фолкерке цены были очень высокие, — уклончиво ответил Робин.

Так они проговорили некоторое время, покуда не сторговались: в придачу к плате за быков сквайр разрешил шотландцу пользоваться в течение нескольких дней пастбищем, а Робин подумал, что, если трава окажется мало-мальски подходящей, сделка эта чрезвычайно для него выгодна. Сквайр пустил пони шагом и поехал рядом с гуртовщиком, отчасти чтобы указать ему путь и водворить его на пастбище, отчасти чтобы узнать, что нового на северных рынках.

Так они доехали до пастбища, которое было таким, что лучше не сыщешь. Но велико было их изумление, когда они увидели, что управитель преспокойно впускает гурт Гарри Уэйкфилда на огороженный, поросший сочной травой луг, который сам владелец

только что согласился предоставить Робину Ойгу Мак-Комбиху! Сквайр Айрби пришпорил своего пони, вплотную подъехал к управителю и, узнав о том, что произошло, не тратя лишних слов, объявил гуртовщику-англичанину, что управитель сдал пастбище без его, владельца, разрешения и что подножный корм для своих стад он может искать где хочет — здесь он ничего не получит. Он тут же разбранил управителя за то, что тот нарушил его приказ, а затем велел немедленно прогнать с поля голодное, изнуренное стадо Гарри Уэйкфилда, только что принявшееся за весьма обильную трапезу, и впустить туда стадо его друга, которого гуртовщик-англичанин с этой минуты начал считать своим врагом.

Уэйкфилд был настолько возмущен, что хотел сначала воспротивиться выполнению приказа мистера Айрби; но ведь любой англичанин имеет довольно ясное представление о законе и правосудии, и поскольку Джон Флисбампкин, управитель, признал, что он превысил свои полномочия, Уэйкфилд понял, что ему остается лишь одно — собрать своих голодных, совсем приунывших подопечных и погнать их куда глаза глядят в поисках корма. Что до Робина Ойга, то он был очень расстроен всем, что произошло, и тотчас предложил своему другу-англичанину остаться вместе с ним на спорном пастбище. Однако гордость Уэйкфилда была сильно уязвлена, и он презрительным тоном ответил:

— Забирай все себе, забирай все — одну вишенку пополам никак не разделишь; умеешь ты к богачам подлаживаться, а простым людям пыль в глаза пускать. Уйди прочь от меня, парень, я-то уж ни за что не стал бы облизывать грязные хозяйские башмаки ради того, чтобы хозяин позволил мне хлебы к нему в печь сажать.

Робин Ойг, огорченный, но не удивленный негодованием своего приятеля, стал упрашивать его подождать хотя бы час, пока он сходит к сквайру получить деньги за проданный скот и вернется, после чего поможет Гарри перегнать быков куда-нибудь, где они покормятся и отдохнут, а затем толком объяснит ему,

какое досадное недоразумение произошло с ними обоими. Но англичанин все так же гневно продолжал:

— Стало быть, ты тут уж и скотом промышлял? Ну и хитрюга же ты — знаешь, когда что продать! Ступай-ка ко всем чертям, смотреть больше не хочу на твою лживую шотландскую рожу, стыдись мне и в лицо-то глядеть.

— Мне никому не стыдно смотреть в лицо, — ответил Робин Ойг, слегка волнуясь, — и я еще сегодня посмотрю тебе прямо в лицо, если ты дождешься меня внизу, в деревне.

— Пожалуй, тебе лучше туда не показываться, — ответил англичанин; и, круто повернувшись спиной к тому, кто был его другом, он с помощью управителя, отчасти искренне, отчасти притворно озабоченного тем, чтобы найти Уэйкфилду пристанище, собрал своих непокорных быков.

Потеряв некоторое время на переговоры с соседними фермерами, которые не то не могли, не то не хотели приютить его гурт, Гарри Уэйкфилду наконец по необходимости пришлось столкнуться с хозяином трактира, где он и Робин Ойг условились встретиться, когда разошлись утром, чтобы порознь искать пастбище. Трактирщик охотно предоставил ему покрытое скудной растительностью болото, за которое спросил немногим меньше, чем управитель за отличный луг; убогость пастбища и непомерность платы еще усугубили горечь обиды, вызванной действиями друга-шотландца, которые Гарри считал вероломными и предательскими. Неприязнь эту в нем поддерживал управитель, у которого были свои причины озлобиться на беднягу Робина (невольного виновника постигшей его немилости сквайра); сам трактирщик и двое-трое случайных посетителей тоже всячески старались еще больше ожесточить англичанина против его бывшего товарища; кое-кого к тому побуждала старинная неприязнь к шотландцам, почти везде уже исчезнувшая, но иной раз еще тлеющая именно в пограничных графствах Англии, а кое-кого — та всеобщая страсть сеять раздоры, которая, к чести детей Адамовых будь сказано, свойственна людям всех званий и состояний.

Славный Джон Ячменное Зерно, всегда разжигающий и предельно усиливающий страсти, безразлично, добрые они или злые, в данном случае тоже не скупился на услуги: и не раз в этот вечер поднимали кубок за то, чтобы гром разразил вероломных друзей и жестокосердых господ.

Тем временем мистер Айрби, чтобы развлечься, постарался задержать у себя в замке гуртовщика-северянина. Он велел поставить перед ним в буфетной изрядный кусок холодной говядины и кружку пенящегося домашнего пива и забавлялся, глядя, как лихо Робин Ойг Мак-Комбих уплетает эти непривычные для него яства. Затем сквайр зажег трубку и, чтобы примирить свое аристократическое достоинство с желанием узнать, что делается у скотоводов, стал разговаривать с гостем, расхаживая по комнате.

— Мне повстречался еще один гурт, — сказал он, — его вел кто-то из твоих земляков; гурт был поменьше твоего, быки всё больше комолые; вел их здоровый детина, на нем была не юбчонка, в каких вы все щеголяете, а, как полагается, штаны. Не знаешь, кто это такой?

— Что за чорт! Кто ж это мог быть, верно Хьюг Моррисон, и впрямь, видно, он. Не думал я, что он так скоро управится, — вышел на день позже, да и догнал нас. Только у его быков — они ведь аргайлские — наверно, ноги совсем уж заплетаются. А что он, далече отселе?

— Да, должно быть, милях в шести-семи, — ответил сквайр. — Я поравнялся с ними у скал Кристенбери, а ты мне повстречался у Холланской роши. Если его быки едва идут, с ним, пожалуй, можно будет сторговаться.

— Ну нет, не того Хьюг Моррисон десятка, чтобы в убыток себе торговать. На то есть такие простофили, как горец Робин Ойг. Позвольте пожелать вам доброй ночи, и пусть их будет не одна, а двадцать подряд, а мне пора в деревню, поглядеть, кончил ли Гарри Уэйкфилд чудить.

В трактире все еще продолжались оживленные разговоры, вертевшиеся вокруг предательства Робина

Ойга, когда тот, кого все наперебой поносили, вошел туда. Как обычно бывает в таких случаях, с его появлением разговор тотчас оборвался, и компания встретила его тем ледяным молчанием, которое красноречивее бесчисленных возгласов сообщает пришельцу, что его присутствие нежелательно. Изумленный, раздосадованный, но нисколько не уstraшенный тем приемом, который ему был оказан, Робин Ойг шагнул вперед со смелым и даже надменным видом, ни с кем не поздоровался, раз его самого никто не приветствовал, и уселся у пылающего очага, неподалеку от стола, за которым сидели Гарри Уэйкфилд, управитель и еще двое-трое людей. Как во всех домах в Камберленде, кухня была просторная, и если б только Робин захотел, он вполне мог бы выбрать место подалее.

Усевшись поудобнее, он раскурил трубку и потребовал кружку пива за два пенса.

— На два пенса мы пива не отпускаем, — ответил хозяин, Ралф Хескет. — Табак-то ведь у тебя свой, стало быть, и выпивку сам раздобудешь — так уж, говорят, у вас водится.

— Стыдись, муженек, — перебила его хозяйка, бойкая, расторопная женщина, и сама мигом принесла гостю пиво. — Ты отлично знаешь, что этому чужестранцу нужно, тебе ведь положено быть вежливым! Пора тебе запомнить, что шотландец хоть много не выпьет, но зато исправно заплатит.

Не обращая никакого внимания на этот семейный спор, горец взял кружку и, обращаясь ко всем присутствующим, провозгласил обычную, всем приятную здравицу: «За то, чтобы торговля шла хорошо!»

— Она шла бы куда лучше, — отозвался один из фермеров, — коли ветром к нам заносило бы поменьше прасолов с севера да поменьше тощих быков, что наши английские луга объедают.

— Ей богу же, приятель, ты неправ, — спокойно ответил Робин. — Это ваши толстопузые англичане жрут наших шотландских быков. Бедная скотинка!

— Хотел бы я, чтобы нечистый сожрал ихних гуртовщиков, — вставил другой, — простачку-англича-

нину себе и на хлеб не заработать, коли поблизости шотландец заведется.

— А честный работник — тот и у хозяина из чести выйдет: бесприменно шотландец ему напакостит, — добавил управитель.

— Коли вы шутите, — все так же спокойно сказал Робин Ойг, — то больно уж много шуток на одного человека приходится!

— Никакие это не шутки, мы всерьез говорим, — заявил управитель. — Слушайте, мистер Робин Ойг или как вас там, — вернее всего будет сказать, что все мы, сколько нас тут есть, одного мнения держимся: все считаем, что вы, мистер Ойг, поступили с нашим другом, здесь присутствующим, мистером Гарри Уэйкфилдом, как самый отъявленный негодяй.

— Разумеется, разумеется, — ответил Робин, не теряя спокойствия. — Нечего сказать, нашлись судьи! Да за ваши мозги я бы и понюшки табаку не дал. Если мистер Гарри Уэйкфилд знает, чем его обидели, он знает, и чем эту обиду можно загладить.

— Он дело говорит, — сказал Уэйкфилд, слушавший всю эту перепалку с противоречивыми чувствами: возмущение действиями Робина в тот день боролось в нем с памятью о прежней дружбе.

Он встал, подошел к Робину, поднявшемуся со скамьи, когда англичанин приблизился, и протянул ему руку.

— Вот это славно, Гарри! Смелее! Взгрей его как следует! — послышалось со всех сторон. — Тузи что есть сил! Поучи уму-разуму!

— Замолчите вы, чтоб вас всех нелегкая унесла! — огрызнулся Уэйкфилд. Он взял Робина за руку и, глядя на него дружелюбно и вместе с тем гордо, сказал: — Робин, и подвел же ты меня сегодня. Но коли ты согласен, пусть все будет по-хорошему: дай мне руку, да и поборемся на лужайке, я тебя прощу, и дружба у нас с тобой еще крепче станет, чем была.

— А разве нам не лучше опять стать друзьями, не поминая про это дело? — спросил Робин. — Куда как сподручнее нам будет дружить, коли кости-то у нас будут целы, а не перебиты.

Гарри Уэйкфилд выпустил, вернее — отбросил, руку своего друга и сказал:

— Вот уж не думал, что целых три года с трусом дружил!

— Трусом я никогда не был, и нет трусов в моем роду, — возразил Робин. Теперь глаза его сверкали, но он все еще владел собой. — Гарри Уэйкфилд, не был трусом тот, кто, не жалея ни рук, ни ног, вытащил тебя из воды, когда через Фрю переправлялись, когда тебя течением несло на Черный утес и каждый угорь в реке только и ждал, что вот-вот поживится!

— Что правда, то правда, — согласился англичанин, взволнованный этим напоминанием.

— Черт побери! — вскричал управитель. — Быть того не может, чтобы Гарри Уэйкфилд, самый удалой из всех, что боролись на ярмарках в Вулере, в Карлайле, в Уитсоне, в Стегшоу Бэнке, вдруг струсил! Вот что получается, когда долго водишься с парнями в куцах юбчонках и чепцах вместо шапок: мужчина отвыкает кулаки в ход пускать!

— Я мог бы доказать вам, мистер Флисбампкин, что нисколько не разучился на кулаках биться, — отрезал Уэйкфилд и, снова обратясь к шотландцу, сказал: — Так не годится, Робин. Надо нам схватиться, иначе вся округа нас на смех поднимет. Будь я проклят, если я тебя покалечу, я и перчатки надену, коли захочешь. Нечего упираться, выходи вперед как мужчина!

— Чтобы меня избили как пса? — подхватил Робин. — Коли ты считаешь, что я перед тобой виноват, я согласен к вашему судье пойти, хоть я ни законов его не знаю, ни языка.

— Нет, нет, нет, законы тут ни при чем, судья ни при чем! Надавайте друг другу тумачков, потом помиритесь! — хором закричали все вокруг.

— Но уж если до драки дело дойдет, то я не мартышка какая, чтобы по-обезьяньи царапаться! — заявил Робин.

— А как думаешь драться? — спросил его противник. — Да что говорить, тяжело мне будет тебя на кулаки вызывать.

— Я хочу драться на палашах и опущу острее, только когда кровь прольется, как и подобает джентльмену.

Это предложение вызвало оглушительный взрыв хохота: и в самом деле, оно скорее было подсказано страданием, теснившим сердце Робина, чем здравым смыслом.

— Ишь ты, какой нашелся! — кричали все вокруг, вновь и вновь заливаясь хохотом. — Такого другого днем с огнем не сыщешь, ей-ей! Послушай, Ралф Хескет, можешь ты два палаша раздобыть для джентльменов?

— Нет, но я могу послать в Карлайлский арсенал, а покамест одолжу им две вилки, чтобы было на чем поупражняться.

— Молчи уж лучше, — вставил другой. — Все ведь знают, что храбрые шотландцы рождаются с синей шапочкой на голове да с кинжалом и пистолетом за поясом.

— Лучше всего будет, — заявил Флисбампкин, — послать нарочного к владельцу замка Корби, пригласить его джентльмену в секунданты.

Слыша весь этот поток насмешек, горец невольно стал шарить в складках своего тартана.

— Нет, так негоже, — пробормотал он минуту спустя на своем родном языке. — Будь они тысячу раз прокляты, эти откормленные свининой вояки, понятия у них нет, что такое приличия и учтивость! Эй вы, шушера, расступитесь! — сказал он, шагнув к двери.

Но его бывший друг загородил ему путь своей мощной фигурой, а когда Робин Ойг попытался пройти силой, повалил его на пол с такой же легкостью, с какой мальчуган валит кеглю.

— В круг! В круг! — вопили все присутствующие так неистово, что потемневшие от времени балки и привешенные к ним окорока заколебались, а блюда на поставце задрезжали.

— Молодец, Гарри! Наддай ему, Гарри! Отлупи его, как он заслужил! Теперь берегись, Гарри, ты его раскровенил!

Еще не стихли эти возгласы, как горец вскочил на ноги и, начисто лишившись хладнокровия и самообладания, обезумев от бешенства, набросился на своего противника с неистовством и жаждой мести, точно обезумевший от ярости тигр. Но что может ярость против ловкости и спокойствия? В этой неравной борьбе шотландец снова был опрокинут: сваливший его удар, разумеется, был увесист, и Робин как рухнул, так и остался лежать на полу. Сердобольная хозяйка хотела было оказать ему помощь, но мистер Флисампкин не дал ей приблизиться.

— Не трогайте его, — сказал он, — сам сейчас очухается и опять драться будет. Он еще не получил и половины того, что ему причитается.

— Он получил от меня все то, что ему положено, — возразил противник, чье сердце уже начало смягчаться, — а сдачу я охотнее отпустил бы вам, мистер Флисампкин, вы-то ведь прикидываетесь, будто в этом деле толк знаете, а Робин — тот новичок, он даже тартан скинуть не додумался, а он ему гляди как мешал. Встань, Робин, друг! Хватит нам вздорить, и пусть только кто-нибудь скажет при мне хоть одно худое слово о тебе или о твоей земле!

Робин Ойг все еще был во власти своего гнева, ему не терпелось возобновить схватку; но его крепко держала миссис Хескет, старавшаяся водворить мир, а к тому же он видел, что Уэйкфилд не намерен дольше биться, и ярость его сменилась угрюмым, грозным молчанием.

— Ну, ну, незачем так злобиться, парень, — сказал прямодушный англичанин со свойственной его соотечественникам отходчивостью, — дай руку, и будем опять друзьями.

— Друзьями! — негодуя вскричал Робин Ойг. — Друзьями! Никогда! Берегись, Гарри Уэйкфилд!

— Ах, вот как! Что ж, пусть Кромвелево проклятье поразит твое спесивое шотландское пузо, как в одной комедии говорится. Делай как знаешь и ступай ко всем чертям! Уж ежели после драки человек говорит, что жалеет, что так вышло, чего же тебе еще надо?

Так расстались бывшие друзья. Робин Ойг молча вынул из кармана монету, бросил ее на стол и ушел из трактира; но на пороге он обернулся, глядя в упор на Уэйкфилда, не то грозя, не то предостерегая, поднял кверху указательный палец и, озаренный лунным светом, ринулся прочь.

После его ухода началась перебранка между хвастуном управителем и Гарри Уэйкфилдом, который с благородной непоследовательностью не прочь был снова вступить в бой — на этот раз в защиту доброго имени Робина Ойга: «Хоть и не такой он мастак на кулаках драться, как англичанин, ну что же, раз к этому не приучен». Но миссис Хескет своим решительным вмешательством не дала этой второй ссоре разгореться. «Хватит с меня ваших потасовок, — заявила она, — и без того уж от них покоя нет. А вы, мистер Уэйкфилд, — прибавила она, — может быть, еще узнаете, что значит доброго друга сделать смертельным врагом».

— Что за вздор, хозяйюшка! Робин Ойг — славный малый и не затаит против меня злобы.

— Не надейтесь на это! Вы не знаете, какие шотландцы злопамятные, хоть и долго с ним дела вели, а уж я-то могу сказать, что знаю: мать у меня — шотландка!

— Оно и по дочке видно, — прибавил Ралф Хескет.

Эта ехидная супружеская острота придала разговору другой оборот, к тому же прежние посетители ушли, на смену им явились другие. Стали говорить о предстоящих ярмарках, о ценах на скот в различных областях как Шотландии, так и Англии. Гарри Уэйкфилду повезло: нашелся покупатель, который по высокой цене приобрел часть его гурта, — этого было достаточно, чтобы заставить его начисто позабыть недавнюю ссору. Но был человек, из памяти которого она не изгладилась бы, заполучи он даже поголовье скота между Эско и Иденом.

То был Робин Ойг Мак-Комбих. «И надо же было так случиться, — твердил он себе, — что первый раз в жизни при мне оружия не оказалось. Отсох бы тот

язык, что горцу приказал кинжал свой оставить! С кинжалом — как бишь это было... Кровь англичанина! Теткины слова, а разве она когда-нибудь их на ветер бросала?»

Воспоминание о роковом пророчестве укрепило Робина в гибельном решении, мгновенно возникшем в его уме.

— Э! Да Моррисон далеко, видно, уйти не мог. Но будь он и в ста милях отсюда, что из того!

Теперь весь его пыл сосредоточился на определенной цели, на определенных действиях, и он быстрым, легким шагом, отличающим шотландцев, направился к обширной равнине, по которой, как ему сообщил мистер Айрби, Моррисон вел свои стада. Робин не думал ни о чем, кроме тяжкого оскорбления, которое ему нанес близкий друг, и хотел только одного — отомстить тому, кого теперь считал самым лютым своим врагом. Привычные ему сызмальства представления о высоком личном достоинстве и редкостных качествах, о воображаемой знатности его рода и происхождения были тем более дороги ему, что, как скупой своими сокровищами, он мог наслаждаться ими только втайне. Но эти сокровища теперь были расхищены, кумиры, которым он втайне поклонялся, повержены и осквернены. Изруганный, оскорбленный, избитый, он в собственных своих глазах уже не был достоин ни имени, которое носил, ни семьи, отпрыском которой являлся, — ничего ему не осталось, ничего, кроме мести; с каждым шагом его размышления становились горше, мучительнее, и он решил, что месть будет столь же нежданна и жестока, как оскорбление.

Когда Робин Ойг вышел из трактира, не меньше семи-восьми английских миль отделяли его от Хьюга Моррисона. Тот двигался медленно — усталый скот едва плелся, тогда как Робин, за час проходивший около шести миль, быстро оставлял за собой сжатые поля, живые изгороди, усеянные камнями или поросшие вереском пустоши, и все это, покрытое инеем, в ярком свете ноябрьской луны искрилось белизной. Но вот до него доносится мерный топот Моррисоно-

вых быков, еще немного — и он видит, как они, издали представляясь не больше кротов и передвигаясь не быстрее их, проходят по обширному болоту. Наконец он вплотную подходит к стаду, минует его и окликает гуртовщика.

— С нами крестная сила! — вскричал Моррисон. — Кто передо мной, Робин Мак-Комбих или его дух?

— Перед тобой Робин Ойг Мак-Комбих, — ответил горец, — но и не он. Впрочем, не в этом сейчас дело. Верни мне кинжал!

— Как? Ты уж идешь домой, в горы? Гурт сбыл еще до ярмарки? Быстро же ты справился — всем утер нос!

— Ничего я не продал, домой в горы я не иду, может, никогда уже не пойду туда. Отдай мне кинжал, Хьюг Моррисон, не то у нас с тобой худой разговор будет.

— Э, нет, Робин, я хочу знать, в чем дело, прежде чем тебе кинжал отдам. В руке горца кинжал — оружие опасное, а ты, сдается мне, задумал недоброе.

— Что за вздор! Отдай кинжал, он ведь мой! — раздраженно твердил Робин Ойг.

— Потихе, не горячись, — уговаривал его благодушный Хьюг. — Я тебя научу, что сделать, это будет куда лучше, чем поножовщина. Ты ведь знаешь, все мы — и горцы, и жители равнин, и те, что у самой границы живут, — все мы одного отца дети, как только на ту сторону перевалим через границы. Так вот — эскдейлские молодцы, и задира Чарли из Лиддсдейла, и парни из Локерби, и четверо щеголей из Ластрузера, и еще куча ребят в серых тартанах идут за нами следом, и если тебя обидели — Хьюг Моррисон из рода Моррисонов Смелых тебе порукой, что мы заставим обидчика загладить свою вину, пусть даже всем жителям Карлайла и Стенвикса придется вступить!

— Так и быть, я тебе признаюсь, — сказал Робин Ойг, желая рассеять подозрения своего друга, — я в отряд Черной Стражи завербовался и должен завтра уйти слозаранку.

— Ты что, спятил или напился вдребезги? Тебе надо откупиться! Хочешь, я одолжу тебе двадцать гиней сейчас и еще двадцать, когда гурт продам?

— Спасибо тебе, Хьюги, спасибо! Но туда, куда я иду, я иду по доброй воле. Отдай мне кинжал! Кинжал отдай!

— На, бери, раз уж ты так на своем уперся. Только поразмысли о том, что я тебе сказал. Верь мне, худая то будет весть для холмов Болкуидера, что Робин Ойг Мак-Комбих пошел по дурному пути и одуматься не хочет.

— Да, верно, худая придет в Болкуидер весть, — повторил бедняга Робин, — да поможет тебе бог, Хьюги, да пошлет удачу в делах! Больше ты уж не увидишь Робина Ойга — ни на пирушке, ни на ярмарке!

С этими словами он торопливо пожал руку своего друга и все тем же быстрым шагом повернул обратно.

— Неладное с парнем творится, — пробормотал Моррисон, — ну, да, может, к утру лучше во всем разберемся!

Но трагическая развязка нашей повести наступила гораздо раньше, чем забрезжил рассвет. Два часа прошло со времени драки, и почти все уже совершенно забыли о ней, когда Робин Ойг вернулся в трактир Хескета. Кухня была переполнена, люди там собрались самые разные, и каждый говорил и шумел на свой лад. Негромкая, степенная речь людей, беседовавших о торговых делах, заглушалась смехом, пением, громкими шутками тех, кто хотел только одного — повеселиться. В их числе был и Гарри Уэйкфилд. Он сидел среди англичан в холщовых блузах, в подбитых гвоздями башмаках, а они, радостно ухмыляясь, слушали Гарри, только что затянувшего старинную песенку:

Я Роджером зовусь,
За плугом я хожу...

как вдруг хорошо знакомый ему голос повелительно, каждое слово выговаривая с отличающей горцев чет-

костью, произнес: «Гарри Уэйкфилд, коли ты мужчина — встань!»

— Что случилось? Чего ему надо? — недоуменно вопрошали вокруг.

— Да это все тот же треклятый шотландец, — заявил Флисбампкин, уже бывший сильно навеселе, — Гарри Уэйкфилд сегодня уже отпустил ему изрядную порцию, а он еще захотел: знать, по вкусу пришлась «ко-буст-на-я бо-хлеп-ка», разогреть ее просит!

— Гарри Уэйкфилд! — вновь раздался грозный оклик. — Коли ты мужчина, встань!

В самом звучании слов, подсказанных сильнейшим, всевластным гневом, есть нечто привлекающее к ним внимание и вселяющее ужас. Люди пугливо расступились и тревожно глядели на горца, стоявшего посреди них насупясь, с выражением твердой решимости на окаменевшем лице.

— Что же, я встану, чего бы мне не встать, милый Робин, я тебе руку пожму да выпью с тобой, чтобы нам больше не вздорить. Ты же не виноват, парень, что на кулаках драться не научился, трусом тебя никто не обзовет.

Он говорил, стоя напротив Робина Ойга; его ясный, доверчивый взгляд являл странный контраст суровой, мстительной непреклонности, зловещим огнем сверкавшей в глазах горца.

— Ты же не виноват, парень, — продолжал Гарри, — ежели, себе на беду, ты не англичанин и как девчонка дерешься.

— Драться я умею, — сурово, но спокойно возразил Робин Ойг, — сейчас ты в этом убедишься. Ты, Гарри Уэйкфилд, сегодня показал мне, как пентюхи саксы дерутся, а сейчас я покажу тебе, как дерутся благородные горцы.

За словом мгновенно последовало дело: выхватив кинжал, горец всадил его в широкую грудь йомена так метко, с такой ужасающей силой, что рукоятка глухо стукнула о грудную кость, а двуострое лезвие поразило жертву в самое сердце. Гарри Уэйкфилд упал, вскрикнул — и в ту же минуту испустил дух. Убийца тотчас схватил за шиворот управителя и, при-

ставив окровавленный кинжал к горлу обессиленного от страха и неожиданности Флисампкина, сказал:

— По совести, так тебя рядом с ним уложить бы надо, да не хочу я, чтобы кровь подлого лизоблюда смешалась на кинжале моего отца с кровью честного человека.

С этими словами он отшвырнул управителя так стремительно, что тот грохнулся на пол, а другой рукой в то же время бросил роковое оружие в пылавший на очаге торф, восклицая:

— Вот я, держите меня, кто хочет, а огонь, колп может, пусть кровь вытравит.

Но люди все еще находились в оцепенении; никто не шелохнулся. Робин Ойг потребовал полицейского. Из толпы вышел констебль, и Робин добровольно предался в его руки.

— Кровавое дело вы совершили, — сказал ему констебль.

— Сами виноваты, — ответил горец, — помешай вы ему два часа назад поднять на меня руку, он сейчас был бы в добром здравии и так же бы веселился, как две минуты назад.

— Крепко вас теперь накажут, — продолжал констебль.

— Об этом не тревожьтесь; смерть без остатка любой долг покроем — и этот тоже.

Постепенно скрывавший очевидцев этих событий ужас сменился негодованием. Страшное зрелище — бездыханное тело всеми любимого товарища, умершвленного среди них, причем, по общему мнению, повод нимало не соответствовал жестокости мести, — могло побудить их немедленно расправиться с виновником злодеяния. Но тут уж констебль исполнил свой долг: при содействии нескольких наиболее благоразумных людей он быстро сформировал конную стражу, чтобы доставить убийцу в Карлайл, где ближайшей сессии суда присяжных предстояло решить его судьбу.

Пока шли сборы, арестованный оставался безучастным ко всему вокруг и не отвечал ни на какие вопросы. Но прежде чем его увели из рокового места,

он изъявил желание взглянуть на труп, который в ожидании вызванных для осмотра смертельной раны лекарей уже положили на большой стол — тот самый, за которым всего несколько минут назад, жизнерадостный, сильный, веселый, председательствовал Гарри Уэйкфилд. Лицо жертвы было пристойности ради закрыто чистой салфеткой. К изумлению и ужасу присутствующих, нашедшим выход в сдавленном возгласе, который прорвался сквозь стиснутые зубы и сжатые уста, Робин Ойг снял покров и устремил печальный взгляд на лицо Гарри; лицо это так недавно еще было полно жизни, что и теперь на губах мертвеца играла улыбка, выражавшая радостную уверенность в своей силе, миролюбие и беззлобное презрение к противнику. И в то время как очевидцы этой сцены с трепетом ждали, что только что кровоточившая рана откроется снова от прикосновения к ней, убийца Робин Ойг бережно положил покров на прежнее место, сказав только: «Красавец был!»

Мой рассказ подходит к концу. Злосчастный горец предстал перед судом присяжных в Карлайле. Я сам присутствовал на этом процессе, а так как в ту пору я уже закончил курс юридических наук, числился адвокатом и занимал известное положение в обществе, то камберлендский шериф любезно предложил мне место на скамье магистратуры. Судебное разбирательство показало, что все произошло именно так, как я это изложил здесь; и как ни было сильно вначале предубеждение, вызванное и у судей и у публики столь чуждым английскому духу преступлением, как убийство из мести, все же, когда было объяснено, сколь глубоко в обвиняемом укоренились национальные предрассудки, заставившие его считать себя навсегда обесчещенным, раз он подвергся оскорблению действием, когда было установлено, как терпеливо, разумно, стойко он вел себя до того, как ему нанесли эту обиду, то и судьи-англичане и состоявшая из англичан публика склонны были великодушно видеть в том, что он содеял, отнюдь не проявление природной жестокости или привычки к порочной жизни, а скорее пагубное следствие превратно понятой идеи

чести. Мне никогда не забыть напутствия почтенного председателя суда присяжным, хотя в те годы я не слишком легко поддавался воздействию красноречия или пафоса.

— При выполнении наших обязанностей, — так он начал, — нам пришлось (очевидно, он имел в виду какие-то ранее разбиравшиеся дела) обсуждать преступления, не только требующие заслуженной, законом определенной кары, но, кроме того, вызывающие отвращение и ужас. Сейчас перед нами еще более тягостная задача: применить суровые, но спасительные установления закона к случаю чрезвычайно своеобразному, где преступление (ибо речь идет о преступлении, и весьма тяжком) было вызвано не столько злобностью сердца, сколько заблуждением ума, не столько намерением сделать то, что дурно, сколько злосчастно извращенным представлением о том, что хорошо. Перед вами два человека, в своем кругу, как показали здесь свидетели, пользовавшиеся большим уважением, казалось, связанные узами дружбы, — и вот один из них уже пал жертвой ложного толкования вопроса чести, а другому вскоре придется испытать на себе всю тяжесть карающего закона; и все же оба они вправе по меньшей мере требовать от нас сострадания, так как каждый из них действовал, ничего не зная о национальных предрассудках другого, и оба они сошли с пути праведного скорее вследствие рокового заблуждения, нежели по своей воле.

Расследуя первопричину столкновения, мы неминуемо должны признать правым подсудимого. Он законным путем, договорившись с владельцем, мистером Айрби, получил во временное пользование огороженное пастбище и все же, когда на него посыпались упреки, сами по себе незаслуженные и особенно чувствительные для человека, весьма склонного поддаваться гневу, он, стремясь сохранить добрые отношения и жить в мире, предложил уступить полпастбища; но это дружеское предложение было презрительно отвергнуто. Засим последовала сцена в трактире мистера Хескета. Отметьте не только то,

как в течение этой сцены вел себя с иноплемеником сам умерший, но и — к прискорбию своему, я должен об этом упомянуть — как вели себя с ним окружающие, всеми средствами старавшиеся вывести его из себя. Подсудимый пытался восстановить мир, уладить дело по-хорошему, готов был подчиниться решению коронного судьи или признанного обеими сторонами арбитра, а находившиеся в трактире люди наперебой оскорбляли его, очевидно забыв в данном случае наш национальный принцип — играть по правилам. И, наконец, когда он хотел было мирно уйти из трактира, его остановили, повалили наземь, избили в кровь.

Господа присяжные, когда мой ученый собрат, королевский прокурор, дал неблагоприятную оценку поведению подсудимого, в этот момент я ощутил некоторую досаду. Он говорил, что подсудимый боялся сразиться со своим противником в честном бою, подчиниться правилам игры — и что поэтому он, подобно трусливому итальянцу, прибег к смертоносному стилету, чтобы убить того, с кем не дерзал помериться силами как мужчина с мужчиной. Я заметил, как подсудимый при этом обвинении содрогнулся в ужасе, что вполне естественно для человека храброго; а так как я хотел бы, чтобы мои слова имели вес, когда я буду говорить о подлинном его преступлении, то я должен убедить его в своем беспристрастии, отвергнув все те обвинения, которые кажутся мне необоснованными. Не может быть сомнений в том, что подсудимый — человек смелый, слишком даже смелый, — я хотел бы, чтобы волею всевышнего смелости этой у него было меньше, или, вернее, чтобы он был лучше воспитан и умел более разумно ее направлять.

Господа присяжные! Относительно законов, о которых говорил мой ученый собрат, я скажу следующее: они, возможно, действуют там, где происходят бои быков, или медведей, или петушинные бои, но здесь мы их не признаем. Если же ссылаться на них как на своего рода доказательство того, что в подобного рода бою, иногда кончающемся смертью одного

из противников, не может иметь место злой умысел, то эти ссылки допустимы лишь в том случае, когда обе стороны находятся *in pari casu*,¹ в равной степени об этих правилах осведомлены и обе согласны прибегнуть к этому способу разрешения спора. Но можно ли требовать, чтобы человек образованный, воспитанный, занимающий известное положение, согласился или приневолен был согласиться вступить в эту грубую, свирепую борьбу — да еще, пожалуй, с противником моложе, сильнее и искуснее его самого? Бесспорно, даже в кодексе законов кулачного боя, если только он, как это утверждает мой ученый собрат, основан на принятой в старой веселой Англии игре по правилам, не может быть такой нелепости. И, господа присяжные заседатели, так же как закон защитил бы английского джентльмена, если бы тот, имея при себе саблю, силою оружия отразил такого рода свирепое нападение, какому подвергся подсудимый, так же он защитил бы и пришельца, иноплеменника, оказавшегося в подобных же тягостных условиях. Вот почему, господа присяжные, если бы подсудимый, будучи тесним *vis major*,² став предметом злостных насмешек всех присутствующих и подлинно насильственных действий одного из них, имея к тому же все основания опасаться, что так же поступят и другие, — если бы он тогда выхватил оружие, которое, как нас уверяют, его соотечественники всегда имеют при себе, и отсюда последовало бы то страшное событие, подробное изложение которого вы здесь слышали, — я, по совести, не мог бы требовать, чтобы вы вынесли ему приговор за преднамеренное убийство. Правда, обороняясь, подсудимый, возможно, даже в этом случае в какой-то мере вышел за пределы того, что юристы подразумевают, говоря о *moderamen inculpatæ tutelæ*.³ Но он был бы обвинен не в преднамеренном убийстве, а в

¹ В одинаковом положении (лат.)

² Превосходящей силой (лат.)

³ Порядке защиты (лат.).

убийстве, совершенном в состоянии запальчивости и раздражения. И — прошу разрешения прибавить — я даже полагал бы, что это менее тяжкое обвинение следовало бы предъявить и в данном случае, невзирая на параграф восьмой статута Иакова Первого, согласно которому «привилегия духовенства» не распространяется на случаи умерщвления «коротким оружием», даже при отсутствии *malice prouepense*.¹ Ибо этот «статус о заклании», как его называют, был вызван временными причинами; и поскольку независимо от того, было бы преступление совершено посредством кинжала, сабли или пистолета, вина, по существу, одинакова, современный закон все эти виды убийства великодушно ставит на одну — или почти что на одну — доску.

Но, господа присяжные, в данном случае вся суть дела — в двухчасовом промежутке времени от нанесения тяжкой обиды до кровавой расплаты. Снисходя к слабостям человеческим, закон, когда речь идет о действиях, совершенных в разгаре борьбы, в *chaude mêlée*,² до известной степени принимает во внимание те страсти, которые бушуют в такие минуты — чувство жгучей боли, опасение обид в дальнейшем, — и то обстоятельство, что чрезвычайно трудно точным образом соразмерять свои силы, чтоб защитить себя, не досаждая и не вредя при этом обидчику более, чем это безусловно необходимо. Но промежуток времени, потребный даже при самой быстрой ходьбе для прохождения двенадцати миль, был вполне достаточен для того, чтобы подсудимый мог прийти в себя; однако ярость, с которой он превратил свое решение в действие, равно как и многие обстоятельства, свидетельствуют о том, что его решение было принято заранее, — ярость эта не могла быть вызвана ни гневом, ни страхом. То был замысел и акт преднамеренной мести, и здесь закон не может, не хочет, не вправе проявлять сострадание или оказывать снисхождение.

¹ Злого умысла (*лат.*).

² В пылу схватки (*франц.*).

Правда, чтобы смягчить вину несчастного, мы можем говорить себе, что это случай совершенно особый. Горный край, откуда он родом, еще на памяти людей ныне здравствующих был неприступен не только для английских законов, не проникших туда и по сию пору, но и для законов, которым подчиняются наши соседи — жители равнин и которые, надо полагать, — да, несомненно, так оно и есть — основаны на общих принципах права и справедливости, господствующих во всех цивилизованных странах. В горах Шотландии, как и среди индейцев Северной Америки, отдельные племена испокон веков враждовали между собой, и мужчины поэтому всегда ходили вооруженными. Представления этих людей о знатности своего происхождения и о собственной значимости побуждали их считать себя не столько крестьянами мирной страны, сколько рыцарями и вооруженными вассалами. То, что мой ученый собрат именует законами кулачного боя, было неизвестно этим воинственным горцам; разрешение споров тем оружием, которым природа наделила всех людей, должно было казаться им столь же неблагородным и нелепым, каким оно казалось французским дворянам, — а с другой стороны, месть, по всей вероятности, соответствовала их общественному укладу в той же мере, в какой она соответствует нравам ирокезов и мускогов. Действительно, месть, по определению Бэкона, в сущности — не что иное, как своего рода первобытное, стихийное правосудие, ибо когда нет твердо установленного закона, призванного сдерживать насилие, только страх возмездия может останавливать руку тех, кто скор на гнев. Но хотя все это не требует доказательств и хотя мы можем считать более чем вероятным, что раз таково было положение в Горной Шотландии во времена предков подсудимого, то многие из этих взглядов и чувств оказывают там немалое воздействие в наши дни, это соображение, однако, не может и не должно даже в данном чрезвычайно прискорбном случае что-либо изменить в применении закона как вами, джентльмены присяжные, так и мною. Первая, основная задача цивили-

лизации — водворить господство общего, равного для всех закона взамен того жестокого правосудия, которое каждый (кто считал себя оскорбленным) устанавливал самочинно, в соответствии с длиной своего меча и силой своей руки. Гласом, мощностью своей уступающим лишь гласу всевышнего, закон вещает людям: «Мне отмщение». Но коль скоро у гнева было время утихнуть, а у разума — время вмешаться, оскорбленный должен был понять, что определение того, какая из сторон права, какая неправа, принадлежит единственно закону, воздвигающему неодолимую преграду перед каждым, кто попытается самовольно творить суд в своем деле. Повторяю, этот несчастный как таковой должен был бы являться для нас скорее предметом сострадания, нежели ужаса, ибо он стал преступником по причине своего невежества и ложного представления о чести. И все же, господа присяжные, его преступление — не что иное, как предумышленное убийство, и ваш долг по высокой, важной миссии, вами выполняемой, — так его определить. Англичане отнюдь не менее шотландцев способны распаляться гневом, и если только действия этого человека останутся безнаказанными, вы можете быть уверены, что тысячи кинжалов под самыми различными предложениями будут выхвачены из ножен — от Лендс-Энда до Оркнейских островов.

Так закончил почтенный председатель свое напутствие; ему это удалось не легко — на лице его было волнение, а глаза заволоклись слезами. Вняв его доводам, суд признал подсудимого виновным в предумышленном убийстве; Робин Ойг Мак-Комбих, он же Мак-Грегор, был приговорен к смертной казни и взошел на эшафот. Он вел себя очень стойко и признал приговор справедливым, но до самого конца с негодованием возражал тем, кто упрекал его в нападении на безоружного. «Я отдаю свою жизнь за ту, которую отнял, — говорил он, — что же еще я могу сделать?»

ЗЕРКАЛО ТЕТУШКИ МАРГАРЕТ

Есть дня пора,
Когда, все чувства в сторону угнав,
Воображенье ткёт свои узоры.
Тускнеет явь и тени оживают;
Смещаются незыблемого грани;
И, будто на порог небытия
Ступив, дрожишь и видишь в тишине
Сквозь пестроту земную —
мир нездешний.
Такие вот неясные часы
Дороже мне действительности грубой.

Неизвестный автор

Тетушка Маргарет была одной из тех досточтимых женщин, на чьи плечи ложатся все тревоги и заботы о жизни детей, за исключением разве тех, которые связаны с их появлением на свет. Нас, детей, было много, и у каждого был свой нрав и свои повадки. Одни были вялы и раздражительны — их посылали к тетушке Маргарет поразвлечься, другие были грубы, беспокойны и крикливы — их посылали к тетушке Маргарет, чтобы она уgomонила их, а может быть, просто, чтобы дома их не было слышно; заболевших посылали к ней, чтобы она за ними ухаживала, упрямых — в надежде на то, что под влиянием тетушки Маргарет они образумятся; словом, ей приходилось нести все материнские обязанности без того,

чтобы ее называли матерью и выказывали ей приличествующее родительнице повиновение. Вся эта хлопотливая жизнь ушла теперь в прошлое, из всех детей, больных и здоровых, ласковых и грубых, довольных и недовольных, которые с утра до вечера толпились в ее маленькой гостиной, в живых остался один я. В детстве я много болел, и она относилась ко мне с особенной нежностью. И, однако, случилось так, что именно я пережил всех своих братьев и сестер.

И сейчас еще я навещаю мою престарелую тетюшку не реже трех раз в неделю и буду верен этой привычке и впредь, доколе мне не откажут ноги. Домик ее находится в расстоянии полумили от предместья, где я живу, и стоит несколько на отлете. Пройти туда можно не только по большой дороге, но также и по еле заметной, тянущейся сквозь зеленые луга тропинке. Мало что в жизни может теперь меня по-настоящему взволновать, но я глубоко огорчился, узнав, что эти тихие луга кое-где уже разбиты на участки для постройки новых домов. На том, который ближе всего к городу, за последние несколько недель забегали тачки, и их такое множество, что они, пожалуй, могут за один раз погрузить и перевезти на новое место слой земли по меньшей мере дюймов восемнадцать. На отведенных под постройку площадках в разных местах сложены огромные треугольные штабеля досок; небольшая рощица в восточной части усадьбы, которая пока еще радует глаз, уже обречена на уничтожение, о чем свидетельствуют белые метки на стволах, и должна будет уступить место несуразному скопищу печных труб.

Другой на моем месте стал бы, может быть, огорчаться, что эти небольшие выпасы, принадлежавшие некогда моему отцу (род наш в свое время занимал известное положение в свете), продавались теперь по частям, именно для того, чтобы покрыть потери, которые отцу пришлось понести, когда с помощью одной коммерческой сделки он пытался поднять свое уже пошатнувшееся благополучие. Об этом обстоятельстве, в то время как плотники уже работали во всю, напомнили мне те из друзей, которые обычно

обеспокоены, как бы вы не оставили без внимания какую-то сторону постигшего вас несчастья.

«Такая великолепная земля, — говорили они, — и почти у самого города: если засадить ее репой и картофелем, она даст не меньше двадцати фунтов дохода с акра, а если сдать ее в аренду под постройки, — о, тогда это просто золотая жила! И подумать только, что все это ее бывший владелец ухитрился продать не за понюх табаку!»

Такого рода доброжелателям никак не удастся повергнуть меня в уныние. Если бы мне было позволено беспрепятственно заглянуть в прошлое, я бы с радостью отказался как от удовольствия получать с этой земли доходы, так и от надежды получить их в будущем — в пользу тех, кому мой отец эти земли продал. Я сожалею о происшедших переменах лишь потому, что уничтожаются дорогие мне места, и мне приятнее было бы видеть (так мне кажется) наше родовое поместье в руках людей незнакомых, лишь бы оно оставалось таким же запущенным, как было, чем знать, что оно принадлежит мне, но превращено в огороды или застроено. Я вполне разделяю чувства бедного Логана:

Свидетель детства, милый луг
Изрыт теперь сохою,
И вырублено все вокруг
Безжалостной рукою.

Я, однако, надеюсь, что нависшая над этими местами угроза не так уж скоро осуществится. Хотя причиной всех этих перемен явился предприимчивый дух недавнего времени, меня ободряет мысль, что все последующее настолько эту предприимчивость охладило, что оставшая часть заросшей зеленью тропинки, ведущей к дому тетушки Маргарет, может быть, сохранится нетронутой до конца ее дней и до конца моих. Я очень в этом заинтересован, ибо когда я прохожу по этому лугу, во мне с каждым шагом оживают воспоминания детства. Вот перелаз — и тут мне вспоминается, как сердитая нянька пеняет мне за мою беспомощность, пренебрежительно и грубо по-

могая взобраться на каменные ступени, через которые другие дети перепрыгивают с веселыми криками. Я вспоминаю, как горько становилось мне в эти минуты и как, сознавая свою немощь, я сгорал от зависти, когда видел легкие движения и прыжки моих более ловких братьев.

Увы! Все эти большие корабли погибли в необъятном океане жизни, и лишь утлое суденышко, которое, выражаясь языком моряков, отличалось столь низкими мореходными качествами, выдержало все штормы и спокойно достигло гавани. Вот заводь, куда, пуская кораблик из листьев больших желтых лилий, упал мой старший брат, которого едва успели вытащить и которому тогда суждено было спастись от водной стихии, чтобы потом погибнуть под флагом Нельсона. А вот и рощица — та самая, куда мой брат Генри ходил за орехами, — ему и в голову не приходило, что он найдет смерть в индийских джунглях, куда он отправится в погоне за рупиями.

Эта коротенькая прогулка навевает еще столько разных воспоминаний, что когда я останавливаюсь, опираясь на палку, и, оглядываясь вокруг, начинаю сравнивать того, каким я был тогда, с тем, каким я стал сейчас, меня начинают обуревать сомнения, что это один и тот же человек. Но вот я наконец перед домом тетушки Маргарет с его неправильной формы фасадом и несимметрично расположенными переплетами окон, которые до такой степени непохожи одно на другое, что кажется, будто строившие их мастера нарочно старались придать каждому свою особую форму, свой размер и отделать на особый лад украшающий его подоконник. Флигель этот, некогда составлявший часть старинного поместья, все еще продолжает быть достоянием нашего рода, ибо по давнему семейному договору он был пожизненно закреплен за тетушкой Маргарет. На этой весьма ненадежной нити и держится пребывание здесь последней представительницы рода Босуэлов и последняя едва осязаемая связь этого рода с фамильными землями. Ибо после того, как тетушка уйдет от нас, единственным отпрыском рода останется больной

старик, без содрогания приближающийся к могиле, которая поглотила все, что у него было дорогого на свете.

Предавшись на несколько минут этим мыслям, я вслед за тем вхожу в домик, который, как утверждают, был всего-навсего пристройкой к стоявшему на этом месте помещицкому дому, и нахожу там человеческое существо, которое сумело прожить свой век так, что время совсем почти его не коснулось. Ибо тетушка Маргарет сейчас должна была стать настолько же старше тетушки Маргарет моего детства, насколько пятидесятишестилетний мужчина старше десятилетнего мальчика той поры. А неизменное одеяние тетушки Маргарет, само собой разумеется, еще больше способствует утверждению взгляда, что время для нее застыло навеки.

Коричневое или шоколадного цвета шелковое платье с доходящими до локтей гофрированными манжетами из той же материи, под которыми есть еще другие — из мехлинских кружев, черные шелковые перчатки или митенки, седые волосы, начесанные на валик. Чепчик из белоснежного батиста, который обрамляет ее благородное лицо, — на всем этом нет отпечатка 1780 года, но еще меньше это походит на моду 1826 года, — это свой особенный, неповторимый стиль тетушки Маргарет. Она и сейчас еще сидит там, как сидела тридцать лет тому назад, с прялкой или с чулком, который она вяжет зимой у камина, летом — у окна, а если выдастся особенно теплый вечер, то даже и на свежем воздухе, у крыльца. Руки ее, точно некий искусно устроенный механизм, все еще выполняют работу, для которой они словно предназначены: они свершают свой каждодневный урок, может быть, год от года медленнее, но ничем, однако, не давая почувствовать, что скоро они остановятся совсем.

Вся нежность, вся любовь, некогда повергнувшие тетушку Маргарет в добровольное рабство к целому выводку детей, перенесены теперь целиком на заботы о здоровье и благополучии одного старого и больного человека — последнего из оставшихся в живых членов

ее семьи и единственного, кто теперь еще интересуется всем кладезем семейных преданий, который старушка бережно хранит в своей памяти: так, должно быть, скупой бережет свое золото, не желая, чтобы оно после его смерти кому-то досталось.

Мои разговоры с тетушкой Маргарет обычно имеют мало отношения к настоящему и будущему: каждый новый день приносит нам обоим ровно столько, сколько мы от него ждем, и ни она, ни я не рассчитываем на большее; что же касается дня, который должен настать, то по эту сторону гроба у нас обоих нет уже ни надежд, ни тревог, ни страха. Поэтому нам естественно оглядываться на прошлое: забывая, что в настоящем семья наша разорилась и утратила свое положение в свете, мы вспоминаем времена былого богатства и благополучия.

Из этого небольшого вступления читатель узнает о тетушке Маргарет и об ее племяннике столько, сколько нужно, чтобы понять следующий за тем разговор и ее рассказ.

Когда на прошлой неделе — а было это летним вечером — я зашел навестить старушку, с которой мой читатель уже немного знаком, она приняла меня, как всегда, с присущими ей радушием и добротой: однако от меня не укрылось, что в этот вечер она была задумчива и подолгу молчала. Я спросил ее, что было тому причиной.

— Сегодня расчищали старую часовню, — сказала она. — Джон Клейхадженз, как говорят, обнаружил там отличное удобрение для полей. А что это, как не останки наших с тобою предков!

Я привскочил со стула в тревоге — давно уж я так не волновался, как в эту минуту. Но потом я тут же успокоился и снова сел, ибо, взяв меня за рукав, тетушка добавила:

— Часовня эта давно уже перешла во всеобщее владение, дружок мой, из нее сделали овчарню: так можем ли мы противиться, чтобы человек распорядился по своему усмотрению тем, что ему принадлежит? И притом я уже говорила с ним, он был очень со мной обходителен, обещал, что, найди он там кости

или надгробия, все будет сохранено и водворено на свои места. Чего же еще от него требовать? Так вот, слушай. На первой плите, которую он там обнаружил, было начертано имя Маргарет Босуэл и год — тысяча пятьсот восемьдесят пятый, и я распорядилась, чтобы ее приберегли и убрали, ибо я думаю, что находка эта предвещает мне близкую смерть; плита эта прослужила моей тезке две сотни лет, и нашли ее как раз вовремя — теперь она окажет ту же услугу и мне. Дома у себя я давно уже навела порядок во всем, что касается дел земных, но можно ли быть уверенным, что душа моя совершенно готова к тому, чтобы отойти в иной мир.

— После ваших слов, тетушка, — ответил я, — мне, может быть, следовало бы взять шляпу и уйти. Я бы так и поступил, но дело в том, что на этот раз в ваше истинное благочестие вкралась какая-то инородная примесь. Думать о смерти во всякую пору жизни — это наш долг; считать, что она стала ближе оттого, что нашли какую-то старую плиту, — это уже суеверие, а вы, с вашим никогда не изменяющим вам здравым смыслом, вы, которая так долго были столпом и опорой распадавшейся семьи, вы последняя, кого бы я мог заподозрить в подобной слабости.

— У тебя бы и не было повода заподозрить меня, дорогой мой, если бы речь шла о каком-нибудь обыкновенном случае в нашей повседневной жизни. Но на этот счет я действительно суеверна, и с этим суеверием я не хочу расставаться. Именно это суеверие и отличает меня от нынешнего времени и сближает с тем, к которому я тороплюсь возвратиться. И даже тогда, когда предчувствие мое, как это случилось сейчас, подводит меня к самому краю могилы и велит мне заглянуть туда, я все равно не хотела бы его лишиться. Оно успокаивает мое воображение, насколько не влияя на мои мысли или поступки.

— Милая тетушка, — ответил я, — должен признаться, что если бы такие слова я услышал не от вас, а от кого-то другого, я подумал бы, что это не более чем каприз и похоже на то, как священник, не пытаясь оправдать свою ошибку, по старой привычке

продолжает произносить Mumpsimus вместо Sumpsimus.

— Хорошо, — ответила тетушка, — я объясню тебе, почему я непоследовательна. Ты знаешь, что я принадлежу к людям старозаветным, к тем, кого называют якобитами. Но на их стороне только мои чувства, потому что не найти человека столь верноподданного, как я, и который вознес бы столько молитв за здоровье и благополучие Георга Четвертого — да хранит его господа! Должна только сказать, что сей добросердечный государь не сочтет себя оскорбленным, если в такие вот сумеречные часы старуха усядется в кресло и будет думать о человеке высокого мужества, которого чувство долга заставило с оружием в руках пойти на собственного деда, и как, уверенные в том, что служат своему государю и своей стране, они,

Схватившись, разили друг друга, пока
Навеки к мечу не приникла рука

В такие минуты, когда перед глазами у меня проплывают тартаны, волынки и палаши, не проси меня, чтобы рассудок мой согласился с доводами, которые, боюсь, он не может опровергнуть, и не доказывай мне, что интересы общества решительно требуют, чтобы все это перестало существовать. В самом деле, я нисколько не сомневаюсь в том, что правда на твоей стороне. И все-таки, вопреки моему желанию, ты вряд ли многого добьешься. Это все равно что заставить влюбленного до безумия человека выслушивать перечень недостатков его любимой; будучи вынужден дослушать его до конца, он потом непременно скажет, что любит ее теперь еще больше.

Я не жалел о том, что перебил поток мрачных мыслей тетушки Маргарет, и отвечал в том же тоне:

— Ну, разумеется, я совершенно уверен, что наш добрый король тем более убежден в верноподданических чувствах миссис Босуэл, что королевская власть законно перешла к нему по наследству от рода Стюартов, к которому он принадлежит, и что закон о престолонаследии всецело на его стороне.

— Быть может, — сказала тетушка Маргарет, — моя приверженность к монарху, соединившему в своем лице все эти права, имей она хоть какое-нибудь значение, оказалась бы от этого еще сердечнее, но, честное слово, я столь же искренне была бы привязана к нашему королю, если бы право его основывалось только на воле всего народа, как то было провозглашено революцией. Я не из числа ваших людей, верящих *jugo divino*.¹

— И тем не менее вы якобитка!

— И тем не менее я якобитка; или, лучше, считай меня сторонницей тех, кто во времена королевы Анны назывались «Непостоянными», поскольку в поступках своих они руководились попеременно то чувством, то принципами. Вообще-то говоря, очень худо, что ты не позволяешь старухе быть непоследовательной в части политических взглядов в той мере, в коей непоследовательно вообще все человечество в самых разнообразных областях жизни: ты ведь не можешь назвать ни одной такой области, где бы страсти и убеждения постепенно не уносили устремляющегося к цели человека в сторону от стези, каковую указывает нам разум.

— Это верно, тетушка: но вы просто заблудились, и вас надо вернуть на путь истинный.

— Пощади меня, ради бога, — взмолилась тетушка Маргарет. — Помнишь гэльскую песенку, только, должно быть, я неверно все произношу:

*Natil mohatil, na dowski mi.*²

Уверяю тебя, дорогой мой, такие сны наяву, навеянные воображением в том состоянии, которое твой любимый Вордсворт называет «души моей причуды», дороже мне всей остальной жизни. Вместо того чтобы заглядывать вперед, как в дни молодости, и строить воздушные замки, теперь, на краю могилы, я оглядываюсь назад, на далекие годы, на лучшее, что у меня было в жизни. И грустные, но вместе с тем

¹ По божескому закону (*лат*).

² Я сплю, и ты меня не буди.

успокоительные воспоминания, которые со всех сторон обступают меня, так меня захватывают, что мне начинает казаться, что, став более мудрой или более трезвой и освободившись от всех предрассудков, я совершила бы святотатство по отношению к тем, кого я чтит в дни моей молодости.

— Мне кажется, я уловил вашу мысль, — ответил я, — я как будто начинаю понимать, почему вам порою хочется предпочесть сумерки с их миром иллюзий ровному свету разума.

— Когда мы ничем не заняты, — сказала она, — мы можем спокойно сидеть в темноте, но когда хочешь взяться за дело, приходится звонить, чтобы принесли свечи.

— И в этой неверной полутьме, — продолжал я, — фантазия создает зачарованные и чарующие нас видения, которые нередко воспринимаются нами как нечто реальное.

— Да, — согласилась тетушка Маргарет, которая в жизни много читала, — такое действительно случается с теми, кто подобен переводчику Тассо,

Поэту, что, увлекшись, всей душой
В создания фантазии поверил

Для этого вовсе не нужны те ужасы, с которыми сейчас связана вера в подобные чудеса; в наше время эти страхи — удел глупцов и детей. Вовсе не нужно, чтобы в ушах у вас звенело и вы менялись в лице, как Теодор, когда ему явился призрак охотника. Для того чтобы вы знали, что такое чувство сверхъестественного, вы должны ощутить тот едва уловимый трепет, который охватывает вас, когда вы слушаете какую-нибудь страшную историю о действительном происшествии и когда рассказчик, предупредивший, что сам он, вообще-то говоря, не верит разным бредням, тем не менее предлагает вашему вниманию именно эту историю, а не какую-нибудь другую, потому что она необыкновенна и в ней есть нечто такое, что заставляет задуматься. И вот еще один признак — когда рассказ доходит до высшего напряжения, вам

бывает трудно заставить себя оглянуться и осмотреть все вокруг. И третий — когда потом остаешься одна у себя в комнате, стараешься не заглядывать в зеркало. Словом, вот те признаки, по которым можно сказать, что определенная ступень достигнута и женское воображение разгорелось настолько, что готово принять на веру любой рассказ о привидении. Я не берусь описывать, в чем выражается подобное же состояние у мужчин.

— Последний из этих симптомов, милая тетушка, — страх поглядеть на себя в зеркало — не слишком-то часто наблюдается у лиц прекрасного пола.

— Ну, в том, что касается женщин, ты очень мало смыслишь, дорогой мой. Перед тем как поехать на бал, женщины с беспокойством разглядывают себя в зеркале; но когда они возвращаются домой, желание это совсем пропадает. Жребий уже брошен, дама либо произвела в обществе то впечатление, на которое рассчитывала, либо нет. Но я не стану углубляться дальше во все тайны туалетного стола; скажу только, что у меня самой, как и у многих других женщин моего круга, как-то душа не лежит к зияющей черноте большого зеркала в тускло освещенной комнате, когда начинает казаться, что отражение свечи, вместо того чтобы появиться в зеркале, теряется где-то в его темных глубинах. В этой густой, как чернила, мгле есть где разыгаться фантазии. Вместо вашего собственного отражения она может вызвать оттуда иные образы, или, как в детстве, в таинственный вечер кануна дня всех святых, из-за спины у вас может выглянуть чье-то лицо; словом, когда я бываю настроена суеверно, я говорю моей горничной, чтобы вечером, перед тем как мне войти в спальню, она заведывала зеркало зеленой занавесью, так, чтобы, если вдруг появится привидение, она увидела бы его первая. Но, правду говоря, эта боязнь заглядывать в зеркало в определенных местах и в определенные часы появилась у меня, должно быть, под впечатлением одной истории, которую я слышала от бабушки, имевшей отношение к тому, что произошло и о чем я сейчас тебе расскажу.

— Ты любишь слушать рассказы о людях того времени, которое уже ушло в прошлое, — сказала тетушка. — Мне очень хотелось бы дать тебе хоть некоторое представление о сэре Филипе Форестере — «привилегированном распутнике» светского общества Шотландии конца прошлого века. Я-то никогда его в глаза не видала, но в памяти моей матери сохранилось множество эпизодов из жизни этого остроумного, галантного и беспутного человека. Этот лихой кавалер наслаждался жизнью в конце семнадцатого и начале восемнадцатого века. Он был сэром Чарлзом Изи и Ловеласом своего времени и своей страны, прославился множеством дуэлей, на которых дрался, и ловкими интригами. Его верховенство в избранном обществе было всеми признано, и, сопоставив огромную популярность этого человека с двумя-тремя происшествиями из его жизни, за которые, «когда б равно законам все подвластны были», его, безусловно, следовало повесить, мы неизбежно заключаем: либо в наше время люди если и не более добродетельны, то гораздо более соблюдают приличия, чем прежде, либо подлинно светский тон был несравненно более изощренным, нежели то, что сейчас именуют этим словом, и, следовательно, те, кто, владея им в совершенстве, успешно наставляли других, приобретали полную безнаказанность и огромные привилегии. Ни одному повесе в наши дни не сошла бы с рук такая безобразная проделка, как та, что была учинена с красоткой Пегги Грайндстон, дочерью силлермилского мельника, — этой историей чуть было не занялся генеральный прокурор, но сэру Филипу Форестеру удалось выйти сухим из воды. В обществе он продолжал быть, как прежде, желанным гостем, а в день похорон несчастной девушки обедал с герцогом А. Она умерла от горя, но к моему рассказу это не имеет отношения.

Сейчас тебе придется выслушать несколько слов о родстве и свойстве — обещаю тебе быть краткой. Но, чтобы лучше понять мой рассказ, ты должен знать, что сэр Филип Форестер, красавец с изысканными манерами, изощренный во всем, что ценится в свете, женился на младшей мисс Фолконер из древнего рода Кингс-Копленд. Ее старшая сестра незадолго до того вышла замуж за моего деда, сэра Джеффри Босуэла, и принесла в нашу семью изрядное состояние. Мисс Джемайма, или мисс Джемми Фолконер, как ее обычно называли, тоже получила в приданое около десяти тысяч фунтов — по тому времени большие деньги.

У каждой из сестер в девичестве было много поклонников, однако сестры совсем не походили друг на друга. Леди Босуэл всем своим складом несколько напоминала Кингс-Коплендов. Она отличалась смелостью, не переходившей, однако, в безрассудную отвагу, была честолюбива, стремилась возвеличить свой род и свою семью; рассказывали, что она сильно прищипривала моего деда и, если только это не злостная выдумка, тот, человек от природы слабовольный, под влиянием своей супруги принял участие в кое-каких политических делах, в которые ему лучше было не соваться. Но вместе с тем это была женщина высоких правил, обладавшая к тому же чисто мужским здравым смыслом, о чем свидетельствуют многие из ее писем, по сию пору хранящиеся у меня в кабинете.

Джемми Фолконер во всех отношениях была полной противоположностью своей сестре. Ее разумение не превышало среднего уровня, пожалуй даже не достигало его. Красота ее в молодости более всего заключалась в нежности кожи и правильности черт, впрочем маловыразительных. Но и эти прелести быстро поблекли под воздействием страданий, неизбежных, когда супруги совершенно не подходят друг к другу. Леди Форестер страстно любила своего мужа, выказывавшего ей учтивое, но жестокое равнодушие, которое для женщины, чье сердце было столь же нежно, сколь разумение скудно, может быть, было более мучительно, чем неприкрыто дурное обращение.

Сэр Филип был сластолюбец — иначе говоря, законченный эголист; всем своим складом и характером он был подобен рапире, которою так искусно владел: как она, изящный, отточенный, блистающий, и вместе с тем — негнувшийся и беспощадный. В своих отношениях с женой он так искусно и неукоснительно соблюдал все общепринятые условности, что она даже не вызывала сочувствия в свете, а ведь — как это сочувствие ни бесполезно и ни бесплодно для страждущих, — для женщин такого склада, как леди Форестер, сознание, что она его лишена, было весьма горестным.

Светские кумушки делали все от них зависевшее, чтобы представить в выгодном свете не страдальцу жену, а беспутного мужа. Некоторые называли ее жалкой дурочкой и заявляли, что, имея она хоть малую толику ума своей сестры, она образумила бы любого сэра Филипа, будь он строптив, как сам Фолконбридж. Но в большинстве своем знакомые этой супружеской четы, прикидываясь беспристрастными, винили обе стороны, хотя, в сущности, перед ними были всего-навсего поработитель и поработенная. А говорили о нем примерно так: «Конечно, никто не станет оправдывать сэра Филипа Форестера, но ведь всем известно, что он за человек, и Джемми Фолконер могла с самого начала знать, что именно ее ожидает. Чего ради она так старалась женить на себе сэра Филипа? Он никогда бы не обратил на нее внимания, не вешайся она ему на шею со своими жалкими десятью тысячами. Я более чем уверена, что если ему нужно было приданое, он сильно продешевил. Он мог сделать куда лучшую партию — уж это я доподлинно знаю. И наконец, коли он ей достался, разве не могла она постараться сделать домашний очаг более привлекательным для него, почаще приглашать его друзей, вместо того чтобы донимать его детским визгом. Да и вообще ей следовало заботиться о том, чтобы все в доме и в быту было красиво, выдержано в хорошем вкусе. Я не сомневаюсь, будь у него жена, которая умела бы с ним обращаться, сэр Филип был бы прекрасным семьянином».

Но, воздвигая это идеальное здание семейного счастья, беспристрастные критики забывали, что во всем этом недоставало краеугольного камня, — ведь расходы по радушному приему достойных гостей должен был нести сэр Филип, а у нашего кавалера, при совершенном расстройстве его финансов, не хватало средств на то, чтобы оказывать широкое гостеприимство и одновременно тратиться на свои тепус *plaisirs*.¹ Поэтому, несмотря на все мудрые советы, которые благожелательные приятельницы расточали его жене, сэр Филип веселился и увеселял других везде и всюду, только не у себя, а дома оставлял унылый очаг и тоскующую супругу.

В конце концов, когда сэр Филип безнадежно запутался в своих денежных делах, а семейный круг, как ни мало он там бывал, ему совершенно опостылел, он решил поехать на континент в качестве добровольца. В те времена люди фешенебельные часто поступали так, и, возможно, наш кавалер рассудил, что оттенок воинственности, как раз достаточный, чтобы усилить, но не огрубить те достоинства, которыми он обладал как *beau garçon*,² необходим, чтобы сохранить то высокое положение, которое он занимал в ряду любимцев большого света.

Принятое сэром Филипом решение повергло его жену в такой смертельный ужас, что почтенный баронет смутился. Вопреки всем своим привычкам, он попытался, как мог, рассеять ее опасения, и снова довел ее до слез — правда, в этих слезах была уже не только печаль, но и радость. Леди Босуэл как о большой милости просила сэра Филипа разрешить ее сестре на время его отсутствия поселиться со всем своим семейством у нее. Сэр Филип охотно принял это предложение, сильно сокращавшее его расходы и вынуждавшее молчать всех тех глупцов, которые в ином случае стали бы толковать о преступно покинутой супруге и осиротелых детях; вдобавок он доставил этим удовольствие леди Босуэл, которая как-никак внушала

¹ Удовольствия (*франц.*).

² Красавец мужчина (*франц.*).

ему уважение, ибо она нередко беседовала с ним, всегда выражая свое мнение без обиняков, иногда даже весьма резко, не смущаясь ни его насмешками, ни его «светским престижем».

За день или два до отъезда сэра Филипа леди Босуэл имела смелость задать ему в присутствии сестры тот вопрос, который робкая жена часто хотела, но никогда не дерзала предложить своему супругу:

— Прошу вас, скажите, сэр Филип, каким путем вы намерены отправиться на континент?

— Я отплыву из Лита на посыльном судне, которое идет в Хелвет.

— Я все это отлично понимаю, — очень сухо ответила леди Босуэл, — но я полагаю, что вы не намерены засиживаться в Хелвете, и хотела бы знать, каковы ваши дальнейшие планы.

— Вы, дражайшая леди, — ответил сэр Филип, — задаете мне вопрос, который я самому себе еще не решился поставить. Ответ зависит от того, какой оборот примут военные действия. Разумеется, прежде всего я отправлюсь в штаб-квартиру, где бы она в то время ни находилась, вручу кому следует свои рекомендательные письма, усвою в той мере, в какой это доступно жалкому профану, благородное искусство войны, а затем постараюсь воочию увидеть все то, о чем мы столько читаем в официальных сообщениях.

— Но я надеюсь, сэр Филип, — продолжала леди Босуэл, — вы будете свято помнить, что вы супруг и отец семейства, и хоть вы и считаете нужным удовлетворить свою воинственную блажь, однако вы не дадите ей вовлечь вас в опасности, подвергаться которым, кроме людей военных, вряд ли кто должен.

— Леди Босуэл, — ответил галантный любитель приключений, — оказывает мне слишком много чести, проявляя пусть даже небольшой интерес к этому обстоятельству. Но дабы успокоить столь лестную для меня тревогу, я попрошу любезнейшую леди припомнить, что вздумай я отдать на волю случая высокое семейное звание, которое она так настоятельно советует мне блюсти, я тем самым подверг бы немалой опасности и славного малого, нашего Филипа

Форестера, с которым крепко дружу без малого тридцать лет и не имею ни малейшего желания расстаться, хотя кое-кто и считает его вертопрахом.

— Что же, сэр Филип, кому и судить о ваших делах, как не вам! У меня нет достаточных прав в них вмешиваться — вы ведь мне не муж.

— Упаси меня бог! — выжалил было сэр Филип, но тотчас поправился: — Упаси меня бог отнять у дражайшего сэра Джеффри такое бесценное сокровище!

— Но вы муж моей сестры, — продолжала леди, — и мне думается, вы заметили, что ее рассудок сейчас в сильнейшем смятении.

— Еще бы не заметить! Бубнит над ухом с раннего утра до позднего вечера! — воскликнул сэр Филип. — Кто-кто, а уж я это хорошо знаю!

— Я не намерена состязаться с вами в остроумии, сэр Филип, — заявила леди Босуэл, — но должны же вы понять, что это смятение вызвано не чем иным, как страхом за личную вашу безопасность.

— В таком случае меня удивляет, что леди Босуэл так сильно тревожится по столь незначительному поводу.

— Если я и пытаюсь что-либо узнать о предстоящих странствиях сэра Филипа Форестера, то лишь потому, что я озабочена благополучием моей сестры; не будь этой причины, сэр Филип, несомненно, счел бы мои вопросы неуместными. Кроме того, меня тревожит вопрос о безопасности моего брата.

— Вы имеете в виду майора Фолконера, вашего сводного брата? Какое это может иметь отношение к той приятной беседе, которую мы ведем сейчас?

— У вас с ним недавно был серьезный разговор, сэр Филип, — сказала леди Босуэл.

— Ну и что же? Мы с ним в свойстве, вот и толкуем, когда встретимся, о всякой всячине.

— Вы уклоняетесь от ответа, — сказала леди Босуэл, — я разумею крупный разговор о том, как вы обходитесь с вашей женой.

— Поскольку вы, леди Босуэл, — возразил сэр Филип Форестер, — считаете майора Фолконера достаточно наивным, чтобы давать мне непрощенные со-

веты касательно моих семейных дел, вы нимало не ошибаетесь, решив, что я нашел это вмешательство чрезвычайно нескромным и предложил вашему брату держать свои советы при себе, покуда я сам не пожелаю их услышать.

— И при таких отношениях вы хотите направиться именно в ту армию, где служит мой брат?

— Нет человека, который знал бы стезю чести лучше майора Фолконера, — ответил сэр Филип, — и самое лучшее, что может сделать тот, кто, подобно мне, стремится к славе, — это пойти по его стопам.

Леди Босуэл встала и подошла к окну; из глаз ее хлынули слезы.

— И эта бездушная насмешка, — молвила она, — все, что вы находите сказать нам, когда нас терзает страх перед ссорой, которая может иметь самые гибельные последствия. Боже правый! Сколь жестоки сердца людей, способных так глумиться над страданиями других!

Сэр Филип Форестер был тронут: он отказался от насмешливого тона, которым говорил раньше.

— Дорогая леди Босуэл, — так начал он, взяв ее за руку, которую она тщетно пыталась высвободить, — и вы и я неправы: вы на все это смотрите чересчур серьезно, я — возможно, чересчур легкомысленно. Спор между мною и майором Фолконером не имел сколько-нибудь существенного значения. Произойди между нами нечто такое, что принято решать *par voie du fait*,¹ как выражаются во Франции, оба мы отнюдь не из трусливых и не стали бы откладывать нашу встречу. Разрешите мне сказать вам следующее: если только люди узнают, что вы или моя жена боитесь подобной катастрофы, огласка эта скорее всего может привести к тому столкновению, которого в противном случае можно избежать. Я знаю, леди Босуэл, что вы женщина рассудительная и поймете меня, если я скажу вам, что мои дела требуют, чтобы я отлучился на несколько месяцев, а вот Джемайма не может этого понять; она забрасывает меня вопро-

¹ Действием (франц.).

сами — почему, мол, ты не можешь поступить так, или вот так, или еще вот этак; и только, казалось бы, докажешь ей, что ее предложения совершенно нелепы, как она опять принимается за свое — и приходится все начинать сызнова. Так вот, прошу вас, скажите ей, дорогая леди Босуэл, что вы удовлетворены моими объяснениями. Вы сами должны признать — она из тех, для кого властный тон убедительнее всяких доказательств. Прошу вас, окажите мне хоть немного доверия, и вы увидите, сколь щедро я вас за него вознагражу.

Леди Босуэл покачала головой — видно было, что все эти объяснения удовлетворили ее лишь наполовину.

— Как трудно оказать доверие, когда устои, на которых оно должно зиждиться, неимоверно расшатаны! Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы успокоить Джемайму, а относительно дальнейшего я могу сказать только одно — на мой взгляд, вы сейчас перед богом и людьми обязались не отступаться от тех намерений, которые мне изложили.

— Не бойтесь, я вас не обману, — заверил ее сэр Филип. — Самый надежный способ сноситься со мной в будущем — это адресовать письма на главный почтамт армии в Хелвет-Слойс, а я там всенепременно оставлю распоряжения, куда их переправлять дальше. Что до Фолконера — разговор у нас может быть только дружелюбный, за бутылкой бургундского; так что, прошу вас, будьте совершенно спокойны на его счет.

Совершенно спокойной леди Босуэл быть не могла, но она понимала, что ее сестрица своей манерой непрестанно «рюмить», как выражаются горничные, вредит собственным интересам. К тому же она всеми своими повадками, а иногда и речами, так неприкрыто выражала посторонним людям недовольство предстоящим путешествием своего супруга, что это неминуемо должно было дойти до его слуха и столь же неминуемо его раздражить. Но не было никакой возможности уладить эти семейные раздоры, и они улеглись только с отъездом сэра Филипа.

К великому своему сожалению, я не могу точно указать, в каком году сэр Форестер отправился во Фландрию; но то был один из тех периодов, когда война велась с необычайным ожесточением, и между французами, с одной стороны, и союзниками — с другой, произошло немало кровопролитных, хотя и не решивших исхода кампаний сражений. Среди множества усовершенствований, созданных современной цивилизацией, пожалуй, всех изумительнее были исправность и быстрота передачи известий с любого театра военных действий тем, кто с тревогой ожидает их на родине. Во время похода Марлборо страдания многих и многих, чьи близкие состояли в действующей армии или находились при ней, усугублялись еще томительным ожиданием, изматывавшим людей за долгие недели между первыми слухами о кровавых боях, в которых должны были участвовать те, о ком они тревожились, и получением достоверных сведений. Среди тех, кто особенно мучительно переживал эту страшную неизвестность, находилась — чуть было не сказала «покинутая» — жена веселого сэра Филипа Форестера. Одно-единственное письмо уведомило ее о прибытии супруга на континент — больше писем не было. В газетах промелькнула заметка, гласившая, что добровольцу сэру Филипу Форестеру была поручена опасная рекогносцировка, что в этом деле он выказал необычайное мужество, проворство и находчивость — и получил благодарность от начальства. Сознание, что муж ее отличился на поле брани, вызвало легкий румянец на увядших щеках леди Форестер, но при мысли о том, какой он подвергся опасности, они снова покрылись сероватой бледностью. После этого обе дамы уже не получали никаких вестей — ни от сэра Филипа, ни даже от своего брата, майора Фолконера. В таком же положении, как леди Форестер, находились, разумеется, многие сотни других женщин; но чем ограниченнее ум, тем легче он, естественно, поддается тревоге, и долгое ожидание, которое одни переносят с прирожденным спокойствием или философской покорностью судьбе, а кое-кто — с неиссякаемой надеждой и даже уверенностью

в том, что все будет хорошо, — это ожидание было невыносимо для леди Форестер — женщины одинокой и чувствительной, весьма склонной впадать в уныние, не обладавшей природной твердостью духа и так и не сумевшей ее приобрести.

Глава II

Не получая от сэра Филипа никаких известий, ни прямо, ни косвенно, его несчастная супруга стала находить некоторое утешение, вспоминая те легкомысленные привычки, которые в прежнее время безмерно ее огорчали. «Он так беспечен, — по сто раз в день твердила она сестре, — он никогда не пишет, если все идет гладко, такой уж у него нрав; если б с ним что-нибудь случилось, он дал бы нам знать».

Леди Босуэл слушала речи сестры, не пытаясь ее успокоить. По всей вероятности, она в глубине души полагала, что даже самая худшая весть из Фландрии могла быть в какой-то мере утешительной и что вдовствующая леди Форестер, если так ее сестре суждено будет именоваться, возможно познает счастье, неведомое жене самого веселого и красивого джентльмена во всей Шотландии. Еще более она укрепилась в этой мысли, наведя справки в штаб-квартире и узнав, что сэр Филип уже выбыл из армии, но был ли он взят в плен, или убит в одной из тех то и дело происходивших стычек, в которых он искал случая отличиться, или же по каким-то ему одному ведомым причинам, если не из прихоти, добровольно оставил службу, — об этом никто из его соотечественников, находившихся в союзных войсках, не мог высказать даже отдаленных предположений. Тем временем многочисленные кредиторы у него на родине зашевелились, завладели его поместьями и грозили добиться его ареста, если у него хватит дерзости вернуться в Шотландию.

Приблизительно в это время в Эдинбурге появился человек странного вида и нрава. Его обычно звали

«доктором из Падуи», так как образование он получил в этом знаменитом университете. Про него шла молва, что он располагает какими-то необыкновенными лекарствами, при помощи которых во многих случаях исцеляет самые тяжелые недуги. Но если эдинбургские врачи пренебрежительно называли его шарлатаном, то весьма многие, в том числе и некоторые духовные лица, признавая действенность его лечения и целительные свойства его лекарств, в то же время утверждали, что доктор Баттиста Дамьотти с целью обеспечить успех своего врачевания прибегает к колдовству и чернокнижию. Более того — проповедники с амвона возбраняли обращаться к нему, ибо — говорили они — это то же, что вымаливать здоровье у языческих идолов или уповать на помощь князя тьмы. Однако покровительство, которое доктору из Падуи оказывали некоторые знатные влиятельные друзья, давало ему возможность не считаться с такими обвинениями и даже в благочестивом Эдинбурге, известном своей ненавистью к волшебству и черной магии, заниматься опасным делом предсказания будущего. Распространился слух, что за известное — разумеется, немалое — вознаграждение доктор Баттиста Дамьотти открывает людям, что происходит с отсутствующими, более того — может показать своим клиентам далеких друзей в их подлинном обличье и за тем самым делом, которым они в данный момент заняты. Об этом кто-то рассказал леди Форестер, дошедшей до того предела душевных терзаний, когда страдалец готов все сделать, все вытерпеть, только бы узнать правду, какова бы она ни была.

Обычно нерешительная и кроткая, леди Форестер к тому времени, под влиянием своих горестей, стала упрямой и готова была идти напролом: леди Босуэл не на шутку удивилась и всполошилась, когда сестра сообщила ей о своем твердом решении посетить таинственного ученого и узнать от него, что случилось с ее супругом. Леди Босуэл стала было доказывать сестре, что то ясновидение, которым похвально иностранец, скорее всего основано не на чем ином, как на бесстыдном обмане.

— Мне все равно, — возразила покинутая жена, — стану ли я посмешищем в глазах других или нет; если здесь мне представляется один шанс из ста узнать что-нибудь достоверное о судьбе моего супруга, я ни за что на свете не откажусь от этого шанса.

Тогда леди Босуэл высказала мысль, что прибегать к запрещенным источникам знания — дело противозаконное, на что несчастная страдальца ответила:

— Сестра, когда умираешь от жажды, нельзя заставить себя не припасть к воде, будь она даже отравлена. Когда терзаешься неизвестностью, нужно любыми способами доискиваться правды, даже если те силы, от которых это зависит, чужды святости и причастны аду. Я одна пойду узнать, какая судьба меня ждет, и узнаю я это не позже, чем сегодня вечером. Когда завтра взойдет солнце, оно узрит меня если не более счастливой, то более спокойной.

— Сестра, — сказала леди Босуэл, — если уж ты твердо решилась на такой безумный поступок, одну я тебя туда не пущу. Если этот человек — шарлатан, ты, пожалуй, так разволнуешься, что и не сможешь распознать, что он нагло тебя обманывает. Если же, чему я не верю, он похвастается не зря и в его власти открыть тебе хоть малую долю правды, тебя нельзя оставить одну в момент, когда тебе сообщат весть, полученную столь необычным способом. Если ты, в самом деле, решила пойти туда, я пойду с тобой. Но все же — обдумай еще раз свой замысел и откажись от намерения что-либо разузнать способами, которые не только преступны в глазах закона, но и могут сказаться опасными.

Леди Форестер заключила сестру в свои объятия, бесчисленное множество раз прижимала ее к груди, благодарила за предложение пойти вместе с ней, но в то же время печальным мановением руки отклонила данный ей дружеский совет.

Когда начало смеркаться — в этот час доктор из Падуи, по тайному соглашению, принимал тех, кто желал с ним посоветоваться, — обе дамы покинули

апартаменты, которые занимали в эдинбургском Кэ-нонгейте, предварительно одевшись так, как одеваются женщины из простонародья, и расположив складки тартана вокруг головы на особый лад, ибо в те времена безраздельного господства аристократии по расположению складок тартана и по тонкости ткани, из которой он был сделан, можно было безошибочно определить положение его носительницы в обществе. Это своеобразное переодевание придумала леди Босуэл, отчасти с целью не быть замеченными, когда они отправятся в дом чародея, отчасти же, чтобы, представ ему в несвойственном им обличье, испытать этим удар провидения, который ему приписывала молва. О своем посещении леди Форестер предупредила доктора через посредство старого надежного слуги, умиловитившего падуанца изрядной мздой и рассказом о том, что некая жена военного жаждет узнать, что случилось с ее мужем, — предмет, по которому с мудрецом, вероятно, очень часто советовались.

До самой последней минуты, когда на башенных часах пробило восемь, леди Босуэл неусыпно наблюдала за сестрой, все еще надеясь, что она откажется от своего дерзкого замысла; но поскольку люди кроткие и даже робкие способны иной раз принимать смелые и твердые решения, она к назначенному для ухода часу убедилась, что леди Форестер не передумала и упорно стоит на своем. С тревогой думая о предстоящей встрече, но не считая возможным оставить сестру одну в таком состоянии, леди Босуэл шла рядом с нею по темным улицам и переулкам; впереди шел слуга и указывал им дорогу. Наконец он свернул в тесный двор и постучал в сводчатую дверь, которая, судя по всему, вела в старинное здание; дверь бесшумно отворилась, хотя привратника не было видно, и слуга, отступив в сторону, знаком предложил дамам войти.

Как только они это сделали, дверь захлопнулась, и провожатый остался снаружи. Сестры очутились в небольшой прихожей, тускло освещенной одной-единственной лампой и с внешним миром сообщавшейся только этой, теперь плотно закрытой дверью. На

противоположной стороне прихожей они увидели полуоткрытую дверь во внутренние покои.

— Теперь уже не время колебаться, Джемайма, — сказала леди Босуэл и тотчас твердым шагом вступила в комнату, где, окруженный книгами, картами, алхимическими приборами и другой утварью весьма своеобразного вида и формы, им предстал сам черно-книжник.

Наружность итальянца отнюдь не поражала своеобразием. На вид ему было лет пятьдесят, смуглый цвет лица и резкость черт свидетельствовали о южном происхождении; одет он был просто, но изящно, во все черное, — в те времена врачи повсеместно так одевались. Комната, прилично обставленная, была освещена большими восковыми свечами, стоявшими в высоких шандалах. Когда сестры вошли, он встал и, хотя они были одеты весьма невзрачно, приветствовал их со всем тем почтением, на которое они имели право по своему высокому званию, и которое иностранцы особенно щепетильно подчеркивают при встречах с теми, кому надлежит оказывать такого рода почет.

Леди Босуэл попыталась было сохранить свое воображаемое инкогнито и, когда доктор пригласил ее перейти на другой, более парадный конец комнаты, жестом отклонила это изъявление учтивости, как неподобающее их званию.

— Мы люди бедные, сэр, — начала она свою речь, — и только горе моей сестры побудило нас... просить лицо столь знаменитое поведать нам...

Падуанец с улыбкой прервал ее:

— Сударыня, я знаю, что ваша сестра в горе, я знаю и причину ее страданий; мне известно также, что меня соизволили посетить две дамы самого высокого ранга — леди Босуэл и леди Форестер. Не сумей я отличить их от особ того звания, на принадлежность к которому призвана указать их одежда, вряд ли я мог бы удовлетворить их желание и дать им те сведения, за которыми они изволили прийти.

— Мне нетрудно догадаться... — возразила было леди Босуэл.

— Прошу простить мою дерзость, если я перебыю вас, миледи! — воскликнул итальянец. — Ваша милость хотели сказать — нетрудно догадаться, что я узнал, кто вы такие, расспросив вашего лакея. Но если вы так полагаете, вы несправедливы к вашему верному слуге и, смею прибавить, к искусству того, кто готов столь же верно вам служить — Баттисты Дамьотти.

— У меня и в мыслях нет быть несправедливой к нему или к вам, сэр, — ответила леди Босуэл, стараясь говорить спокойно, хотя она была немало удивлена, — но положение, в котором я сейчас нахожусь, несколько непривычно для меня. Если вам, сэр, известно, кто мы такие, — стало быть, вам также известно, что именно привело нас сюда.

— Необоримое желание узнать судьбу шотландского аристократа, в настоящем пребывающего — или не так давно еще пребывавшего — на континенте, — ответил провидец. — Зовется он кавалере Филиппо Форестер; на его долю выпала честь быть мужем вот этой леди, и, если ваша милость разрешит мне говорить не таясь, он, к сожалению, недостаточно высоко ценит это великое счастье.

Леди Форестер тяжело вздохнула, а леди Босуэл ответила:

— Уж если вы, без того чтобы мы вам ее сообщили, знаете цель нашего посещения, нам остается спросить вас только об одном: во власти ли вашей избавить сестру от ее терзаний?

— Да, сударыня, это в моей власти, — ответил падуанский ученый, — но предварительно нужно решить еще один вопрос. Хватит ли у вас мужества увидеть своими глазами, что именно кавалере Филиппо Форестер делает в настоящее время? Или же вы предпочтете положиться на мои слова?

— На этот вопрос сестра должна ответить сама, — сказала леди Босуэл.

— Я хочу своими глазами, как бы тягостно это ни было, увидеть от начала и до конца все, что в вашей власти показать мне, — заявила леди Форестер,

с твердостью, которой исполнилась с той минуты, как приняла свое решение.

— Это будет сопряжено с опасностью.

— Если золото может вознаградить вас за риск... — начала было леди Форестер, вынимая свой кошелек.

— Я занимаюсь такими вещами не ради наживы, — заявил чужестранец. — Я не смею применять свое искусство в таких целях. Если я соглашаюсь брать золото у богатых, то лишь для того, чтобы оделять им неимущих, и никогда не беру больше той суммы, которую я уже получил от вашего слуги. Спрячьте ваш кошелек, сударыня: посвященному ваше золото не нужно.

Усматривая в отказе от предложенного сестрой лишь уловку шарлатана, замыслившего выжать из посетительницы побольше денег, и желая, чтобы все началось и окончилось как можно скорее, леди Босуэл, в свою очередь, посулила золото, пояснив, что этим только хочет расширить круг его добрых дел.

— Пусть леди Босуэл сама расширит круг своих добрых дел, — ответил падуанец, — и не только по части раздачи милостыни — я знаю, на этот счет она не скупится, но и по части оценки нравственных качеств других людей; и пусть, чем премного его обяжет, она считает Баттисту Дамьотти честным человеком, покуда у нее не будет доказательства, что он мошенник. Не удивляйтесь, сударыня, если я отвечаю не столько на ваши слова, сколько на ваши мысли, и скажите мне еще раз, хватит ли у вас мужества увидеть своими глазами то, что я имею возможность вам показать.

— Признаюсь, сэр, — молвила леди Босуэл, — ваши слова несколько пугают меня, но что бы моя сестра ни пожелала увидеть, я не побоюсь лицезреть это вместе с ней.

— Нет, нет, опасность заключается лишь в том, что вам может изменить присутствие духа. Сеанс будет длиться семь минут, ни секунды больше; и стоит вам только нарушить тишину одним-единственным словом, как видение исчезнет, более того — зрители

могут подвергнуться опасности. Если же вы способны в продолжение этих семи минут хранить полное молчание — ваше любопытство будет полностью удовлетворено без малейшего риска, в этом я готов ручаться своей честью.

Леди Босуэл подумала, что это ручательство не слишком надежно, но она тотчас отогнала от себя это подозрение, словно боясь, что алхимик, на смуглом лице которого играла едва заметная улыбка, способен читать ее наискровеннейшие мысли. Последовала многозначительная пауза, длившаяся, пока леди Форестер не собрала с духом и не сказала доктору, как он сам себя именовал, что то зрелище, которое он обещал им показать, она будет созерцать спокойно, в полном безмолвии. После этого он отвесил дамам низкий поклон и, сказав, что идет сделать необходимые для выполнения их воли приготовления, вышел из комнаты.

Сестры уселись рядом, тесно прижавшись друг к дружке, словно эта близость могла предотвратить любую подстерегавшую их опасность; Джемайма искала поддержки в мужественном, стойком характере леди Босуэл, а та, со своей стороны, взволнованная сверх всякого ожидания, старалась проникнуться той отчаянной решимостью, которой под влиянием всей окружающей обстановки преисполнилась ее сестра. Первая, возможно, говорила себе, что сестра ее ничего не боится, а вторая, пожалуй, успокаивала себя мыслью, что то, чего не боится существо столь малодушное, как Джемайма, никак не может внушать страх ей — женщине права смелого и решительного.

Не прошло и нескольких минут, как думы обеих сестер были отвлечены от их тягостного положения звуками музыки, столь необычайно торжественной и сладостной, что она, хоть и была, казалось, рассчитана на то, чтобы изгнать или рассеять любую мысль, не связанную с этой небесной гармонией, наряду с этим усугубляла трепетное волнение, которое неминуемо должен был вызвать предшествовавший разговор. То было звучание инструмента, им незнакомо;

лишь много лет спустя, услышав стеклянную гармонику, моя бабушка поняла, что за инструмент звучал в тот час.

Когда эти небесами порожденные звуки умолкли, на противоположном конце комнаты открылась дверь, и они увидели Дамьотти, стоявшего на небольшом возвышении, куда вели две-три ступеньки, и знаком предлагавшего им приблизиться. Его одежда была настолько непохожа на ту, которая была на нем несколько минут назад, что они с трудом узнали его, а в мертвенно-бледном лице с его суровой неподвижностью мышц, говорившей о том, что человек этот бесповоротно решил на некий дерзновенный, опасный шаг, теперь не осталось и следа того несколько саркастического выражения, с которым он так недавно взирал на них обеих и, в частности, на леди Босуэл. На нем были сандалии наподобие античных, ноги ниже колен были оголены; одежда состояла из коротких штанов и плотно облегавшего стан темно-красного шелкового камзола, поверх которого было наброшено несколько напоминавшее стихарь одеяние из белоснежного полотна; шея была обнажена; длинные, прямые черные волосы, тщательно расчесанные, ниспадали на спину и плечи.

Когда сестры, повинувшись его жесту, приблизились, чародей ни в чем не проявил той церемонной учтивости, которую он еще так недавно расточал им. Напротив, знак, которым он велел им подойти к нему вплотную, был еще более властен, и когда, рука об руку, неверным шагом они поднялись по ступенькам, он, предостерегающе насупясь, приложил палец к губам, словно напоминая об условии полного безмолвия, и, бесшумно крадучись впереди, повел их дальше.

Они вошли в обширный покой, где стены снизу доверху были затянуты черным, словно для похорон. На возвышении стоял стол — или, вернее, подобие алтаря, — покрытый материей того же мрачного цвета, на которой были разложены какие-то предметы, напоминавшие обычные принадлежности колдовства. Различить эти предметы им не удалось, даже когда они подошли поближе, так как комната была скудно

освещена только двумя тускло мерцавшими светильниками. Доктор — я употребляю это слово в том смысле, который ему придали итальянцы, обозначая им людей подобного сорта, — прошел на этот конец комнаты, преклонил колена перед распятием, как то делают католики, и одновременно осенил себя крестом. По-прежнему рука об руку и безмолвно сестры поднялись вслед за ним по широким ступенькам на площадку перед алтарем или подобием алтаря. Здесь итальянец остановился и снова, еще более властно повторив знаками приказ молчать, поставил сестер направо и налево от себя. Затем, выпростав правую руку из-под белого одеяния, он простер указательный палец по направлению к большим светильникам, стоявшим по пяти в ряд по обе стороны алтаря. Стоило только его руке, вернее — пальцу, приблизиться к ним, как они мгновенно зажглись и залили всю комнату светом. Тогда посетительницы смогли разглядеть на этом странном алтаре два обнаженных, положенных крест-накрест меча, огромную раскрытую книгу — им показалось, что это было священное писание, но на языке, им незнакомом, — а рядом с этим фолиантом — череп. Но более всего сестер поразило очень большое, очень широкое зеркало, которое занимало все пространство за алтарем и, ярко освещенное пылающими светильниками, отражало разложенные на нем таинственные предметы.

Затем доктор стал между обеими сестрами, все так же не произнося ни звука, указал им на зеркало и каждую из них взял за руку. Сестры, не отрываясь, смотрели на полиррованную, блестящую поверхность, к которой он привлек их внимание. Но вдруг эта поверхность приняла иной, причудливый вид. Она уже не отражала попросту все то, что находилось перед ней, — нет, теперь в зеркале, словно у него было свое собственное, ему одному доступное поле зрения, стали видны какие-то иные предметы; вначале они возникали беспорядочно, смутно, их трудно было различить; очертания их, казалось, вырастали из хаоса; затем все это мало-помалу обрело четкие, вполне определенные формы и пропорции. И вот, после того

как на поверхности волшебного стекла свет не раз сменялся мглой, по обоим краям его начали постепенно выступать длинные перспективы колонн и арок, а над ними в верхней его части появились едва заметные высокие своды; наконец, после того как по поверхности стекла несколько раз пробежала зыбь, все стало устойчивым, неподвижным, как бы застыло, и глазам сестер предстала внутренность какой-то незнакомой им церкви. Мощные колонны были увешаны гербами, арки — стройны и великолепны, на каменных плитах пола вырезаны надгробные надписи. Но не было там ни богато изукрашенных приделов, ни изображений святых, и алтарь не украшали ни чаши, ни распятия. Следовательно, то была протестантская церковь на континенте. Священник в облачении и брыжах пастыря-кальвиниста стоял у престола. Раскрытая перед ним библия и присутствие стоявшего несколько поодаль причетника указывали на то, что он готовится совершить один из обрядов религии, которую исповедует.

Немного погодя в средний неф церкви вошло многочисленное общество; по-видимому, то был свадебный кортеж, так как впереди всех рука об руку шли женщина и мужчина, а за ними — толпа людей, одетых в яркие, роскошные одежды. Невесте, черты которой сестры видели вполне отчетливо, было самое большее шестнадцать лет, она поражала своей красотой. Жених первые несколько секунд шел к ним спиной, обратив лицо к невесте, но изящество его фигуры и осанки тотчас вызвало у обеих сестер одно и то же смутное опасение. Как только он обернулся, это опасение ужасающе оправдалось: в красавце женихе, представшем их взору, они узнали сэра Филипа Форестера. Жена его не удержалась и вскрикнула, и в то же мгновение все, что они видели в зеркале, искривилось и словно подернулось туманом.

— То, что произошло тогда, — говорила впоследствии леди Босуэл, рассказывая эту удивительную историю, — можно сравнить с исчезновением отражения, которым любишься в глубоком тихом пруде, —

когда туда с размаху кидают камень, все очертания тотчас изламываются и расплываются.

Итальянец до боли стиснул руки сестер, словно напоминая им об их обещании и о той опасности, которую они могли на себя навлечь. Возглас замер на губах леди Форестер, и все, что сестры видели до внезапного помутнения, снова приняло в их глазах прежний свой вид и характер вполне реального события, отраженного в зеркале так, словно оно было запечатлено на картине, с тою лишь разницей, что персонажи не были неподвижны.

Представший им в зеркале сэр Филип Форестер, чьи черты и обличье были теперь отчетливо видны, подвел к священнику юную красавицу, в лице которой выражалась робость и в то же время гордость своим избранником. Как раз тогда, когда священник, должным образом разместив лиц, сопровождавших жениха и невесту, хотел начать службу, в церковь вошла другая компания, где было несколько офицеров. Сперва вновь пришедшие приблизились к алтарю, словно хотели поглядеть на венчание, как вдруг один из офицеров, стоявший спиной к сестрам, отделился от своих спутников и подбежал к брачащимся, а все участники свадебной церемонии мгновенно обернулись к нему, — казалось, он закричал что-то и слова его всех поразили. Пришелец молниеносно выхватил саблю, жених поступил так же и ринулся на него; многие другие как из числа участников свадебной церемонии, так и среди пришедших тоже обнажили сабли. Сделалась суматоха: священник и несколько лиц постарше и постепеннее, видимо, пытались восстановить мир, тогда как горячие головы с обеих сторон потрясали оружием. Но уже истекал краткий промежуток времени, в течение которого прорицатель был властен над своими чарами. Все очертания снова подернулись дымкой и постепенно стали неразличимы; своды и колонны церкви раздвинулись и исчезли; зеркало уже не отражало ничего, кроме пылавших светильников да расставленной на алтаре странной утвари.

Доктор довел сестер, весьма нуждавшихся в его поддержке, до той комнаты, где они находились вна-

чале; там уже были приготовлены ароматные эссенции, вино и всякие снадобья, которые должны были помочь им прийти в себя. Он зна́ком пригласил сестер сесть, они молча последовали приглашению; обе были взволнованы, леди Форестер в отчаянии ломала руки, то и дело обращая взор к небесам, но не говорила ни слова, как если бы наваждение все еще было у нее перед глазами.

— Неужели все то, что мы видели, происходит сейчас на самом деле? — спросила леди Босуэл, с трудом овладев собой.

— Этого, — ответил ей Баттиста Дамьотти, — я не могу вам с уверенностью сказать. Оно либо происходит сейчас, либо произошло совсем недавно. Это — последняя опасная схватка, в которой участвовал кавалер Форестер.

Затем леди Босуэл выразила беспокойство относительно сестры, сильно изменившейся в лице и, казалось, не сознававшей, что происходит вокруг; леди Босуэл не представляла себе, как она доставит ее домой.

— Об этом я уже позаботился, — ответил чародей, — я приказал вашему слуге подъехать с экипажем так близко к моему дому, как только возможно в этом узком переулке. Не беспокойтесь за вашу сестру: дайте ей, как только вернетесь домой, вот это успокоительное питье, и завтра она будет чувствовать себя хорошо. Немногие, — с грустью продолжал он, — покидают этот дом в столь же добром здравье, в каком переступили его порог. Если таковы следствия стремления узнать истину таинственными путями, то я предоставляю вам самой судить о состоянии тех, в чьей власти удовлетворять столь незаконное любопытство. Прощайте, и не забудьте дать лекарство.

— Я не дам ей ничего такого, что исходит от вас, — ответила леди Босуэл. — Достаточно я насмотрелась на ваше чародейство. Вы, чего доброго, задумали отравить нас обеих, чтобы скрыть ваши колдовские штуки. Но мы занимаем такое положение, что имеем возможность предать гласности причинен-

ное нам зло, и у нас есть друзья, чтобы за него покарать.

— Я не причинил вам никакого зла, миледи, — возразил итальянец. — Вы сами домогались встречи с человеком, мало признательным за такую честь; он-то никого не домогается и только дает ответы тем, кто его приглашает к себе или является к нему. В сущности, вы лишь несколько раньше времени узнали о том горе, которое вам все равно суждено перенести. Я слышу за дверью шаги вашего слуги и не буду больше задерживать ни вас, ни леди Форестер. Следующей почтой с континента вы получите объяснение всего того, что вы уже частично видели. Осмелюсь дать вам совет — постарайтесь, чтобы это письмо не сразу попало в руки вашей сестры.

Затем чародей пожелал леди Босуэл доброй ночи и, освещая путь, проводил сестер до прихожей; войдя туда, он поспешно накинул поверх своего странного одеяния черный плащ, открыл дверь и препоручил знатных посетительниц заботам их слуги. С большим трудом довела леди Босуэл сестру до кареты, стоявшей в каких-нибудь двадцати шагах от дома черно-книжника. Как только они вернулись домой, леди Форестер понадобилась врачебная помощь. Домашний врач явился и, пощупав ей пульс, озабоченно покачал головой.

— Судя по всему, — сказал он, — вы пережили тяжкое нервное потрясение. Я должен знать, что случилось.

Волей-неволей леди Босуэл должна была рассказать, что обе они побывали у чародея и сестра узнала от него дурные вести о своем супруге, сэре Филипе.

— Буде этому преступному знахарю суждено остаться в Эдинбурге, — сказал ученый медик, — я составил бы себе состояние. Это седьмой случай такого тяжкого потрясения, который я врачую по его милости, и все они — результат сильнейшего испуга. — Затем он рассмотрел успокоительное питье, которое леди Босуэл, сама того не сознавая, захватила с собой, отведал его и заявил, что оно весьма полезно для данного случая и вполне может заменить

снадобья, которые изготавливаются в аптеке. Помолчав, он многозначительно взглянул на леди Босуэл и прибавил: — Я полагаю, мне лучше не задавать вам, миледи, вопросов о том, как действует колдун-италец?

— Вы правы, доктор, — ответила леди Босуэл, — по моему мнению, то, что произошло, не подлежит огласке; пусть даже этот человек — мошенник, все же, раз мы были столь неразумны, что обратились за советом, мы, думается мне, должны быть столь же честны, чтобы выполнить его условия.

— Пусть даже он мошенник, — повторил за ней врач, — я рад слышать, что ваша милость допускает такую возможность в отношении чего бы то ни было, вывезенного из Италии.

— Вывезенное из Италии, доктор, может быть ничуть не хуже того, что вывозится из Ганновера. Но мы с вами останемся добрыми друзьями, а для этого давайте не будем спорить о виггах и тори.

— Хорошо, не буду, — сказал врач, получив свое вознаграждение и берясь за шляпу. — Гинея мне всегда одинаково приятна, будет ли на ней изображен Каролус или Вильгельмус. Но мне хотелось бы знать, почему старая леди Сент-Ринган и все эти дамы выбиваются из последних сил, расхваливая до небес этого иностранца.

— Ах, лучше всего было бы счесть его иезуитом, как сказал Скраб.

На этом они расстались.

Несчастливая пациентка, у которой необычайное напряжение нервной системы сменилось столь же необычайной расслабленностью, пребывала во власти суеверного страха, и страх этот, как она ни пыталась его побороть, становился все сильнее, когда из Голландии прибыли страшные сообщения, совпавшие с самыми мрачными ее предчувствиями.

Эти сообщения, присланные графом Стэйром, содержали печальный отчет о дуэли между сэром Филипом Форестером и сводным братом его жены Фолконером, капитаном шотландско-голландских, как их тогда называли, войск. Дуэль закончилась гибелью

капитана, а причина столкновения придала этой истории еще более скандальный характер. По-видимому, сэр Филип оставил армию внезапно, из-за того, что не мог заплатить весьма значительную сумму, которую проиграл в карты другому добровольцу. Под чужим именем он поселился в Роттердаме, где сумел приобрести расположение некоего богатого бургомистра, а своей приятной наружностью и изящными манерами — покорить сердце единственной дочери старика, совсем молоденькой девушки, в будущем — наследницы огромного состояния. Очарованный обманчивым обликом претендента на руку его дочери, старик купец, так высоко ставивший национальный характер британцев, что ему и в голову не пришло предосторожности ради собрать сведения об общественном положении и жизненном пути соискателя, дал свое согласие на брак. В тот день и час в кафедральном соборе города должно было состояться венчание, но этому помешало престранное обстоятельство.

Незадолго до того капитан Фолконер был послан в Роттердам с поручением привести оттуда часть расквартированной в этом городе бригады шотландских войск. И вот однажды некое значительное в городе лицо, с которым он и раньше был знаком, предложило ему, чтобы развлечься, сходить в собор поглядеть на свадьбу его соотечественника-англичанина с дочерью богача бургомистра. Капитан Фолконер согласился и в обществе голландца, его приятеля и еще двух-трех офицеров шотландской бригады отправился в собор. Можно представить себе его изумление, когда он увидел, что не кто иной, как его собственный шурин, женатый человек, ведет к алтарю невинную очаровательную девушку, намереваясь сделать ее жертвой низкого, подлого обмана. Фолконер тут же во всеуслышание заявил о его злодействе, и, разумеется, венчание не состоялось. Но, вопреки мнению советчиков более рассудительных, считавших, что сэр Филип Форестер сам себя исключил из числа людей чести, капитан Фолконер, признав за ним право, этим людям присвоенное, принял сделанный

им вызов и в ходе поединка был смертельно ранен. Таковы неисповедимые для нас пути господни. Леди Форестер никогда уже не оправилась от вызванного этой страшной вестью жестокого потрясения.

— И неужели, — спросил я, — трагедия разыгралась именно в то время, когда в зеркале была показана сцена венчания?

— Жаль портить историю, которую сама рассказываешь, — ответила тетушка, — но, правду сказать, событие это произошло на несколько дней раньше, чем сестры его увидели.

— Стало быть, — продолжал я, — не исключена возможность, что путем каких-либо тайных, быстро осуществляемых сношений хитрец мог сразу об этом проведать?

— Люди скептически настроенные так и говорят, — ответила тетушка.

— А что случилось с чернокнижником? — спросил я.

— Ну что ж, вскоре после этой истории был отдан приказ арестовать его по обвинению в государственной измене, как тайного агента шевалье Сен-Жоржа; и леди Босуэл, вспоминая намеки, которые вырвались у ее врача, ярого сторонника наследования престола протестантской династией, припомнила также, что колдуна наиболее восторженно восхваляли престарелые матроны, придерживавшиеся тех же политических убеждений, что и она сама. Поэтому представлялось вероятным, что новости с континента, без особого труда переданные агентом деятельным и располагавшим влиятельными связями, могли дать ему возможность подготовить ту фантазмагорию, очевидицей которой она стала. И все же попытки дать всему этому разумное объяснение наталкивались на такие трудности, что до самой своей смерти леди Босуэл пребывала в большом сомнении и была весьма склонна разрубить этот гордиев узел, допустив существование сверхъестественных сил.

— Но все-таки, дорогая тетушка, — упорствовал я, — что случилось с этим мастером на все руки?

— Ах, он был слишком искусным прорицателем, чтобы не предусмотреть, что его собственная судьба

примет трагический оборот, если он будет дожидаться прихода человека с серебряной борзой на рукаве. Он с той поры, что называется, в воду канул. Ходили слухи, будто в его доме были найдены какие-то бумаги или письма, но эти слухи постепенно затихли, и вскоре доктора Баттисту Дамьотти стали поминать не чаще, чем Галена или Гиппократы.

— А что, сэр Филип Форестер тоже навсегда сошел со сцены?

— Нет, — ответила моя долготерпеливая собеседница, — он напомнил о себе однажды весьма примечательным образом. Говорят, будто мы, шотландцы, еще с тех времен, когда были независимой нацией, храним в большом, туго набитом мешке наших добродетелей одно или два крохотных зернышка порока. В частности, утверждают, что мы редко прощаем обиды и никогда их не забываем; что мы творим себе кумир из своего злопамятства так же, как бедная леди Констанция — из своего горя, и склонны, как сказано у Бернса, «свой гнев распалять, чтоб больнее он жег». Это чувство отнюдь не было чуждо почтеннейшей леди Босуэл, и думается мне, ничто на свете, за исключением разве восстановления на престоле династии Стюартов, не было бы для нее сладостнее возможности отомстить сэру Филипу Форестеру — отомстить ему за тяжкую, двойную обиду, отнявшую у нее и сестру и брата. Но в течение долгого времени о нем не было ни слуху ни духу.

Через много лет, в последний день масленицы и канун начала поста, на большом балу, где в полном блеске было представлено все высшее общество Эдинбурга, один из лакеев шепнул сидевшей среди дам-патронесс леди Босуэл, что некий джентльмен хотел бы поговорить с ней наедине.

— Наедине? Во время бала? Это какой-то умалишенный! Скажите ему, чтобы он завтра утром пришел ко мне домой.

— Я так ему и сказал, миледи, — ответил лакей, — но он настоял на том, чтобы я передал вам вот эту записку.

Леди Босуэл взяла записку, как-то странно сложенную и запечатанную. В ней было всего несколько слов: «Дело идет о жизни и смерти», написанных почерком, совершенно ей незнакомым. Ей вдруг пришло в голову, что эти слова могут иметь касательство к безопасности кое-кого из ее друзей-единомышленников; поэтому она последовала за лакеем в небольшую комнату, где были приготовлены прохладительные напитки и куда широкая публика не имела доступа. Там находился старик, который, как только она приблизилась, встал и низко ей поклонился. Его вид свидетельствовал о расстроенном здоровье, а одежда, покроем, правда, вполне соответствовавшая этикету балов избранного общества, была поношена, вся в пятнах и мешком висела на его изможденном теле. Предположив, что небольшая милостыня избавит ее от докучного просителя, леди Босуэл хотела было вынуть кошелек, но смутное опасение совершить этим ошибку удержало ее, и она решила дать неизвестному возможность изложить свое дело.

— Я имею честь говорить с леди Босуэл?

— Я леди Босуэл. Позвольте мне сказать вам, что здесь не время и не место для долгих объяснений. Что вам угодно от меня?

— У вашей милости, — сказал старик, — некогда была сестра.

— Верно: сестра, которую я нежно любила.

— И был брат.

— Самый храбрый, самый добрый, самый любящий из братьев, — ответила леди Босуэл.

— Обоих этих горячо вами любимых родственников вы потеряли по вине некоего несчастного, — продолжал неизвестный.

— Да, по вине изверга, проклятого убийцы! — воскликнула леди.

— Ваш ответ вполне ясен, — сказал старик и поклонился, видимо намереваясь уйти.

— Стойте, сэр, я вам приказываю! — воскликнула леди Босуэл. — Кто вы, что в таком месте, при таких обстоятельствах воскрешаете эти страшные воспоминания? Я должна это знать.

— Я не желаю сделать леди Босуэл зло; напротив, я хотел дать ей возможность выказать истинно-христианское милосердие, которое изумило бы свет и было бы вознаграждено на небесах; но я вижу, что она не склонна принести ту жертву, о которой я намеревался ее просить.

— Скажите все до конца, сэр; что именно вы имеете в виду? — спросила леди Босуэл.

— Несчастный, причинивший вам такое великое горе, — начал неизвестный, — сейчас лежит на смертном одре. Его дни проходили в терзаниях, бессонные ночи — в угрызениях совести, но он не может умереть, не получив от вас прощения. Вся его жизнь была непрерывным искуплением — и все же ему страшно расстаться с этой тяжелой ношей, покуда ваши проклятия тяготят над его душой.

— Посоветуйте ему, — сурово ответила леди Босуэл, — просить прощения у того, кого он так тяжело оскорбил, а не у смертного существа, заблуждающегося, как и он сам. Какая ему польза от моего прощения?

— Очень большая, — ответил старик. — Оно будет залогом того, что мольбы, с которыми он затем дерзнет обратиться к творцу, давшему жизнь и мне и вам, досточтимая леди, будут услышаны. Помните, леди Босуэл, вам ведь тоже придется лежать в мучениях на смертном одре; вы тоже, подобно всем нам, будете трепетать при мысли, что предстанете перед вышним судьей с совестью запятнанной, изглоданной, неумолчно вас упрекающей, — каково вам будет тогда при мысли: «Я не была милосердна, как же я могу уповать на милосердие господне?»

— Кто бы ты ни был, старик, — воскликнула леди Босуэл, — не пытайся убедить меня столь жестокими доводами! Кошунственным лицемерием было бы, если б уста мои произнесли слова, против которых сердце мое восстает каждым биением своим! От этих слов земля разверзлась бы, и люди узрели бы изможденный облик моей сестры, окровавленные черты злодейски убитого брата. Простить его? Никогда, никогда!

— Великий боже! — простонал старик, воздев руки к небу. — Вот как черви, вызванные тобою из небытия, исполняют веления того, кто их сотворил! Прощай, надменная, неумолимая женщина! Можешь торжествовать: ужас умирания в нищете и горе ты еще усугубила отчаянием, обуревающим тех, кто утратил надежду утешиться религией. Но никогда уже не дерзни оскорбить небеса мольбами о прощении, в котором ты отказала другому человеку.

С этими словами он повернулся, чтобы уйти.

— Стойте! — воскликнула она. — Я попытаюсь, да, да, я попытаюсь простить его.

— Милостивая леди, — сказал старик, — вы освободите душу, изнывающую под тяжким гнетом; душу, которая не решается расстаться со своей грешной земной оболочкой, покуда не пребудет в мире с вами. Кто знает, не продлит ли ваше милосердие жалкие остатки несчастной жизни, которые пройдут в молитве и покаянии!

— Ах! — вскричала леди Босуэл. Ей внезапно открылось все. — Да это же он сам, злодей! — И, схватив за шиворот сэра Филипа Форестера, ибо то был он, и никто другой, она завопила: — Убийца! Убийца! Держите убийцу!

Услышав столь странные в таком месте возгласы, участники празднества поспешили туда, откуда они доносились, но сэра Филипа Форестера там уже не было. Он вырвался из рук леди Босуэл и выбежал из комнаты, выходявшей на площадку лестницы. Казалось, ему никак не спастись: несколько человек подымались по лестнице, другие спускались с нее. Но злосчастный старик был готов на все. Он перелез через перила и, прыгнув с высоты пятнадцати футов, очутился в прихожей, где, целый и невредимый, встал на ноги, и, выбежав на улицу, мгновенно исчез во мраке ночи. Несколько мужчин из рода Босуэлов пустились за ним в погоню и, возможно, убили бы, попади он в их руки — ведь в те времена в жилах людей струилась горячая кровь. Но правосудие в это дело не вмешалось, преступление было совершено много лет назад, к тому же за границей.

Да и вообще, весьма многие были убеждены в том, что столь необычайное происшествие, в сущности, было не чем иным, как ловко разыгранной лицемерной мистификацией, посредством которой сэр Филип хотел узнать, может ли он вернуться на родину, не опасаясь мщения семьи, которой причинил столь тяжкое горе. Поскольку результат нимало не соответствовал его надеждам, он, по слухам, возвратился на континент, где и умер в изгнании.

Так закончилась повесть о таинственном зеркале.

КОМНАТА С ГОБЕЛЕНАМИ,

или

ДАМА В СТАРИННОМ ПЛАТЬЕ

Нижеследующую историю автор собирается рассказать доподлинно так, как он ее слышал, насколько память ему это позволит; он ждет, что его станут хвалить или порицать лишь в меру того, хорошо или плохо сумел он отобрать те или иные подробности, и не забудут, что задачей его было избежать каких бы то ни было украшений, могущих нарушить первоначальную простоту.

Вместе с тем несомненно, что особая категория рассказов, повествующих о чудесных явлениях, больше действует на вас, когда вы слышите такой рассказ из чьих-то уст, чем когда вы его читаете.

Книга, раскрытая вами среди бела дня, производит чаще всего впечатление менее сильное, нежели сообщающий о тех же самых событиях голос рассказчика, окруженного слушателями, которые с напряженным вниманием следят за мельчайшими подробностями ее истории,—ибо на них зиждется вся ее достоверность — голос, который становится вдруг тихим и таинственным, когда повествование доходит до ужасов и чудес. Автору посчастливилось более двадцати лет назад воспользоваться этими преимуществами и слышать историю, которую он намерен сейчас сообщить читателю, из уст мисс Сьюард из Литчфилда, среди многочисленных талантов которой не-

маловажное место занимает и искусство рассказчика. В настоящем виде история эта неминуемо потеряет тот интерес, который придавали ей мелодичный голос и умное лицо высокоодаренной девушки. И все же если вы прочтете ее вслух людям, не зараженным скептицизмом, при последних ярких лучах солнца или в освещенной огарком свечи безмолвной комнате, она может вновь обрести ту силу, которой отмечены рассказы о привидениях. Хотя мисс Сьюард неизменно уверяла, что почерпнула этот рассказ из источника весьма достоверного, она предпочла, однако, не называть имен двух его главных героев. Я не стану оглашать некоторые подробности, дошедшие до меня позднее и уточняющие место действия; в описаниях я ограничу себя общими чертами, представив все так, как это было мне самому когда-то рассказано. Из тех же соображений я не стану ни добавлять к моему рассказу какие-либо новые обстоятельства, ни исключать из него другие, буде то важные или нет; я просто перескажу вам эту историю об охваченном безграничным ужасом человеке так, как мне довелось ее услышать.

В конце американской войны офицеры армии лорда Корнуэлса, сдавшейся в Йорке, равно как и те, кто был взят в плен во время этого очень неуместного и злосчастного столкновения, возвращались к себе на родину, чтобы рассказать о своих приключениях и отдохнуть после всех передрыг. В числе их находился некий генерал; мисс Сьюард назвала его Брауном, но, как я понял, лишь для того, чтобы избежать неудобства, которое повлекло бы за собою введение в рассказ безыменного героя. Это был достойный офицер, дворянин, высокообразованный и весьма знатный.

Какие-то дела заставили генерала Брауна предпринять поездку по западным графствам. И вот однажды утром, завершая очередной этап своего пути, он оказался неподалеку от небольшого провинциаль-

ного городка, на редкость красивого и поистине английского.

Этот городок с его величественной старинной церковью, колокольня которой хранила память о благочестии далекого прошлого, был расположен среди не очень обширных пажитей и пашен, которые окаймляли и разделяли ряды столетних деревьев. Мало в чем можно было усмотреть следы каких-либо нововведений. Вид окрестностей не говорил о заброшенности или упадке, но вместе с тем нигде не было признаков новизны с сопутствующей ей всегда суетой; дома были старые, однако в хорошем состоянии; слева от города красивая речка, мерно журча, катила свои воды, и никакие плотины не сдерживали ее течение, никакой бечевник не тянулся вдоль ее берегов.

На небольшой отлогой возвышенности, в расстоянии около мили к югу от города, из-за вековых дубов и густо разросшегося кустарника видны были башни замка, ровесника Йоркских и Ланкастерских войн, который, однако, впоследствии, в царствование Елизаветы и ее преемников, подвергся значительным переделкам.

Замок был не очень велик, но все жилые помещения его были по-прежнему обитаемы; об этом убедительно свидетельствовал дымок, вившийся из нескольких украшенных старинной резьбой труб. Окружавшая парк стена тянулась вдоль дороги на протяжении двухсот или трехсот ярдов. И судя по тому, что можно было увидеть сквозь просветы листвы, она была хорошо укреплена. По мере приближения генералу Брауну открывались все новые картины: то это был фасад старого замка, то боковые стены его башен. Архитектура фасада воплотила в себе все причуды елизаветинской эпохи, в то время как строгость и монументальность остальных частей здания говорили о том, что они были воздвигнуты в целях защиты, а отнюдь не для одной только красоты.

Очарованный видом замка, стены которого то тут, то там проглядывали из-за листвы деревьев и от-

крывались из лесных прогалин, окружавших эту старинную феодальную твердыню, путешественник решил разведать, не заслуживает ли и весь замок более внимательного рассмотрения и не сохранились ли в нем фамильные портреты и какие-либо старинные вещи, на которые ему стоило бы обратить внимание. Но в это время дорога повернула в сторону от парка, и, проехав немного по чистой и гладкой мостовой, карета остановилась у шумного постоялого двора.

Прежде чем заказывать лошадей для продолжения своего пути, генерал Браун постарался кое-что разузнать о владельце замка. Он был крайне удивлен и вместе с тем обрадован, услышав, что замок этот принадлежит одному дворянину, которого мы назовем лордом Вудвиллом. Какая счастливая случайность! С именем молодого Вудвила у Брауна было связано множество детских воспоминаний: один из Вудвиллов учился вместе с ним в школе, а потом в колледже, и теперь, после нескольких вопросов, генерал убедился, что не кто иной, как тот самый Вудвил, и является владельцем этой великолепной усадьбы. Через несколько месяцев после смерти отца он получил звание пэра и, как это явствовало из слов хозяина постоялого двора, в связи с окончанием срока траура только что вступил во владение отцовским поместьем, куда прибыл с компанией друзей, чтобы провести в нем благодатные осенние месяцы и поразвлечься охотой, которой славились эти края.

Путешественник наш очень обрадовался — Фрэнк Вудвилл был его фэгом в Итоне и закадычным другом в Крайстчерче. У них были общие занятия, общие развлечения, и сердце доблестного воина радостно забилося при мысли о том, что его друг детства сделался владельцем такого великолепного замка и поместья, которое, как, многозначительно кивая головой и подмигивая, уверял генерала хозяин постоялого двора, не только вполне достойно его нового звания, но даже придает этому званию еще больше веса.

Не было ничего удивительного в том, что путешественник прервал свой путь, ибо спешить ему

было некуда, и, воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, решил провести старого друга.

Таким образом, вновь нанятым почтовым лошадям пришлось довести карету генерала всего лишь до замка Вудвил. Привратник провел нашего путника в новое здание, построенное в готическом стиле под стать самому замку, и тут же позвонил, чтобы известить о приезде гостя. Звук колокольчика привлек внимание общества, предававшегося в это время обычным утренним развлечениям: когда карета въехала во двор замка, несколько молодых людей в охотничьих костюмах бродили взад и вперед, разглядывая собак, которых псары держали наготове.

Едва только генерал Браун вышел из кареты, как молодой лорд появился в дверях; с минуту он рассматривал незнакомца, не сразу признав в нем своего старого товарища, которого тяготы войны и ранения немало изменили. Однако стоило только приезжему заговорить, как все сомнения хозяина мгновенно рассеялись, и они бросились друг другу в объятия, как друзья, проводшие вместе годы беззаботного детства и ранней юности.

— Если бы меня спросили, какое мое самое большое желание, милый Браун, — сказал лорд Вудвил, — то я ответил бы, что из всех людей на свете я хотел бы видеть именно вас здесь, в эти дни, которые мои друзья сделали для меня настоящим праздником. Не думайте, что я мог позабыть вас, когда вас не было между нами. Я внимательно следил за вами, за опасностями, которым вы подвергались, за вашими удачами и неудачами и всегда с радостью узнавал, что, будь то победа или поражение, имя моего старого друга неизменно встречается всеобщим восторгом.

Генерал в подобающих выражениях ответил ему и поздравил своего приятеля с новым званием и вступлением во владение столь великолепным поместьем.

— Но вы же его еще не видели! — воскликнул лорд Вудвил. — Надеюсь, вы не собираетесь поки-

нуть нас, не ознакомившись с ним как следует. Правда, должен вам сказать, что сейчас у меня гостит компания друзей, а в парадных комнатах всегда оказывается гораздо меньше места, чем можно того ожидать, судя по внешности замка. Но я могу предоставить вам удобную старинную комнату и позволю себе думать, что в походах жизнь научила вас довольствоваться жилищем еще более скромным.

Пожав плечами, генерал рассмеялся.

— Я полагаю, — сказал он, — что самое захудалое помещение вашего замка намного лучше старой бочки из-под табака, в которой я вынужден был ночевать, когда находился в Виргинии в лесу со своей частью. Я лежал в этой бочке, как Диоген, и так был рад, что она укрывает меня от непогоды, что даже пытался перекатить ее на место нашей новой стоянки. Но командир не позволил мне заниматься подобными пустяками, и я со слезами на глазах должен был проститься с моим драгоценным убежищем.

— Ну, если это скромное жилище подходит вам, — сказал лорд Вудвил, — вы погостите у меня по меньшей мере неделю. Ружей, собак, удочек и разных приманок — словом, всего, что нужно для охоты и рыбной ловли, у нас сколько угодно. Стоит вам только отыскать себе развлечение по душе, и мы отыщем способ вам его предоставить. А если вы предпочтете всему остальному ружье и пойнтеров, то я составлю вам компанию, и мы увидим, стали ли вы лучше стрелять, с тех пор как пожили среди индейцев в дебрях Америки.

Генерал был рад дружескому приглашению хозяина и согласился на все, что ему предложили. Проведя утренние часы за охотой и верховой ездой, вся компания собралась за обеденным столом, и лорд Вудвил был счастлив, что ему выпала честь отметить высокие заслуги своего вновь обретенного товарища и представить его гостям, большинство которых были людьми знатными. Он попросил своего гостя рассказать о событиях, очевидцем которых ему довелось быть, и, поскольку каждое слово генерала обличало в нем доблестного воина, отлично владеющего собой

и умеющего при самых опасных обстоятельствах сохранить присутствие духа, вся компания стала смотреть на генерала как на человека, который доказал свою храбрость на деле, что не могло не льстить ему, как и всякому другому мужчине.

День в замке Вудвил окончился так, как это обычно бывало в старинных поместьях. Гостеприимство хозяев не переходило границ, принятых в светском обществе. За вином последовала музыка — искусство, которым молодой лорд владел мастерски; желающих ждали бильярд и карточные столы. Однако на следующий день все собирались ехать на охоту, и вставать надо было рано; поэтому в начале двенадцатого гости стали расходиться.

Молодой лорд сам проводил своего друга, генерала Брауна, в отведенную ему комнату, которая соответствовала описанию, данному ей хозяином: при том, что в ней наличествовал известный комфорт, обстановка ее была старомодна. Много места занимала громоздкая кровать, из таких, какие были в ходу в семнадцатом веке; поблекший шелковый полог был отделан тяжелым, потускневшим от времени золотым позументом. Но вид белых простынь, подушек и одеяла показался до чрезвычайности заманчивым неприхотливому воину, как только он снова вспомнил, какую роскошью стала для него во время войны обыкновенная бочка. Было что-то мрачное в этих gobelenaх с выцветшими изображениями, покрывавших стены маленькой комнаты и колыхавшихся каждый раз, когда осенний ветер забирался внутрь сквозь переплеты оконной рамы, которая стучала и свистела от его вторжения. Туалет с зеркалом, украшенным наверху, как то было принято в начале века, помпоном из темно-красного шелка, со множеством ящичков самой причудливой формы, рассчитанный на образ жизни, который устарел уже лет пятьдесят назад или даже больше, выглядел очень странно и, придавал комнате еще более мрачный вид. Но зато как ярко и весело горели там две восковые свечи. Если что и могло соперничать с ними, так это хвост, который, потрескивая, пылал в камине, согре-

вая и озаряя светом эту довольно уютную комнату, которая, несмотря на всю свою кажущуюся старомодность, была снабжена всем тем, что привычно и приятно для человека нашего времени.

— Здесь все дышит стариной, генерал, — сказал молодой лорд, — но я надеюсь, что ничто не заставит вас теперь сожалеть о покинутой вами бочке.

— Я человек очень неприхотливый в том, что касается жилья, — ответил генерал Браун, — но доведись мне выбирать, я, верно, предпочел бы эту комнату другим, более веселым и современным апартаментам вашего родового замка. Поверьте, что, видя перед собою современный комфорт и седую старину и вспоминая к тому же, что это — владение вашей светлости, я буду чувствовать себя здесь лучше, чем в самой фешенебельной лондонской гостинице.

— Я нисколько не сомневаюсь, мой дорогой генерал, что вы будете чувствовать себя здесь отлично, — сказал молодой лорд и, еще раз пожелав своему другу спокойной ночи и пожав ему руку, удалился.

Оставшись один, генерал огляделся вокруг и, мысленно поздравив себя с возвращением в лоно мирной жизни, все преимущества которой становились еще дороже от воспоминаний об опасностях и лишениях, так недавно им пережитых, разделся и приготовился вкушать блаженный отдых.

Сейчас, вопреки принятому в такого рода рассказах порядку, мы расстанемся с нашим героем до следующего утра.

Все общество собралось к завтраку очень рано, но среди присутствующих не было генерала Брауна, которого лорд Вудвил хотел почтить превыше всех остальных друзей, пользовавшихся в то время его гостеприимством. Хозяин дома несколько раз выражал свое удивление по поводу отсутствия генерала и в конце концов послал слугу узнать, почему тот до сих пор не выходит к столу. Вернувшись, слуга сообщил, что генерал Браун ушел из дому рано утром и до сих пор еще продолжает гулять, невзирая на дурную погоду и туман.

— Привычка солдата, — сказал молодой лорд, обращаясь к друзьям. — Многие военные до такой степени привыкли рано вставать и приниматься за дела, что и во время отдыха не могут спать дольше положенного часа.

Однако объяснение, которое лорд Вудвил представил гостям, самого его не очень-то удовлетворило, и он стал ожидать прихода своего друга, безучастный ко всему и погруженный в раздумье.

Генерал пришел только спустя час после звонка к завтраку. Вид у него был усталый и возбужденный. Волосы, которые тогда принято было тщательно причесывать и пудрить, — обычай, почитавшийся едва ли не самым важным в туалете мужчин тех времен и по соблюдению которого можно было судить, принадлежит ли человек к светскому обществу или нет, как в настоящее время об этом судят по наличию галстука или отсутствию такового, — были взлохмачены, не причесаны, не напудрены и влажны от росы. Мундир его был надет кое-как, и небрежение это не могло не броситься в глаза в человеке военном, которому, для того чтобы быть в любую минуту готовым к исполнению служебного долга, волей-неволей приходится всегда следить за собою.

— Итак, вы сегодня поднялись раньше нас всех, мой дорогой генерал! — воскликнул лорд Вудвил. — Может быть, кровать ваша оказалась не такой удобной, как я думал и как сами вы ожидали. Как же вам в ней спалось?

— Отлично! Превосходно! Я никогда в жизни так хорошо не спал, — поспешил заверить его Браун, но в голосе его звучала какая-то нерешительность, не ускользнувшая от внимания его друга. Генерал быстро выпил чай и, наотрез отказавшись от всякой еды, погрузился в задумчивость.

— Вы поедете с нами на охоту, генерал? — спросил его друг и хозяин, но ему пришлось два раза повторить свой вопрос, прежде чем он услышал сухой ответ:

— Нет, милорд, я очень сожалею, что не могу позволить себе остаться хотя бы до завтра; почто-

вые лошади для меня уже заказаны и скоро должны прибыть.

Все присутствующие были поражены.

— Почтовые лошади? — вскричал лорд Вудвил. — Да о каких же лошадях может идти речь, если вы обещали погостить у меня не меньше недели!

— Не скрою, — сказал генерал в большом смущении, — что, обрадованный встречей с вашей милостью, я действительно мог сказать, что собираюсь провести здесь несколько дней; но сейчас я увидел, что это совершенно невозможно.

— Мне это просто непонятно, — ответил молодой лорд. — Вчера вы как будто говорили, что у вас нет никаких дел, вызвать вас никто не мог: утренней почты из города еще не было, и никаких писем вы получить не могли.

Уклонившись от каких-либо дальнейших объяснений, генерал Браун пробормотал что-то о неотложных делах и так решительно начал настаивать на немедленном своем отъезде, что его хозяин был вынужден замолчать: он увидел, что решение гостя непреклонно и ему не следует быть навязчивым.

— Ну, если уж вы непременно хотите или должны уехать, по крайней мере позвольте мне показать вам вид вот с этой террасы, а то скоро все застелет туман.

С этими словами лорд Вудвил распахнул стеклянную дверь и вышел на террасу. Генерал машинально последовал за ним, почти не слушая слов своего хозяина, когда тот, устремив взгляд на расстилавшийся перед ним великолепный пейзаж, старался привлечь внимание гостя на его красоты. Так они шли довольно долго, пока наконец не очутились в уединенном месте, вдали от всех.

Тогда лорд Вудвил, повернувшись к генералу, сказал:

— Ричард Браун, мой старый и дорогой друг, теперь мы с вами вдвоем. Заклинаю вас словом друга и честию солдата, скажите мне правду — как вы спали сегодня ночью?

— По правде говоря, отвратительно, милорд, — ответил генерал с тем же спокойствием. — Настолько скверно, что я не согласился бы провести вторую такую ночь, если бы мне предложили за это не только земли вокруг замка, но и весь край, который сейчас растилается перед нами.

— Это просто удивительно, — сказал молодой лорд, как бы обращаясь к самому себе, — значит, в том, что мне говорили об этой комнате, есть правда. — И, снова повернувшись к генералу, он попросил:

— Бога ради, мой дорогой друг, будьте откровенны со мной и расскажите мне подробно, какие неприятности произошли с вами под крышей этого замка, — владелец его был уверен, что вы обретете здесь покой и телесный и душевный.

Генерала просьба эта, должно быть, смутила. Он какое-то время молчал.

— Мой дорогой лорд, — ответил он наконец, — то, что произошло со мной сегодня ночью, настолько необыкновенно и тягостно, что мне трудно было бы рассказать об этом даже вашей милости, если бы, независимо от моего желания исполнить вашу просьбу, я не считал, что искренность с моей стороны поможет раскрыть тайну, мучительную и необыкновенную. Расскажи я все это кому-то другому, меня сочли бы человеком малодушным, суеверным и глупым, который позволил игре воображения обмануть себя и напугать. Но мы знали друг друга и в детстве и в юности, и вам не придет в голову заподозрить меня в том, что в зрелые годы я стал подвержен чувствам и слабостям, которым не поддавался, будучи ребенком. — Тут он умолк.

— Можете не сомневаться: я поверю тому, что вы мне расскажете, как бы странно все это ни было, — ответил лорд Вудвил. — Я слишком хорошо знаю, какой у вас твердый характер, чтобы подозревать, что вы можете стать жертвой обмана. К тому же я убежден, что честь ваша и дружба ко мне не позволят преувеличить то, что вам довелось увидеть.

— В таком случае, — сказал генерал, — я постараюсь рассказать вам все, как было, полагаясь на ваше беспристрастие. И вместе с тем я отчетливо сознаю, что мне легче было бы встретиться с огнем вражеской артиллерии, чем оживить в памяти всю мерзость этой ночи.

Генерал некоторое время молчал, а потом, увидев, что лорд Вудвил, в свою очередь, погрузился в молчание и приготовился его слушать, он постарался справиться с собой и, преодолев неохоту, приступил к рассказу о своих ночных приключениях в комнате с гобеленами.

— Вчера вечером, как только ваша милость ушли, я разделся и тут же улегся в постель; но в камине почти напротив моей кровати огонь пылал так ярко и весело, а неожиданная радость встречи с вашей милостью пробудила во мне такие нежные воспоминания детства и юности, что мне трудно было сразу уснуть. Следует, однако, сказать, что все эти воспоминания были мне приятны. Я видел, что на какое-то время на смену тяготам, опасностям и тревогам военных лет пришли радости мирной жизни, и я вновь обрел ту дорогую мне дружбу, узы которой были столь жестоко разорваны войной.

В то время как все эти приятные воспоминания осаждали меня и мало-помалу нагоняли сон, я вдруг очнулся от какого-то звука. Это было похоже на шуршанье шелкового платья и стук высоких каблуков — казалось, что по комнате ходит женщина. Не успел я отдернуть полог, чтобы посмотреть, что же происходит, как невысокая женская фигура промелькнула между кроватью и камином. Она была обращена ко мне спиной, и, хорошо разглядев ее шею и плечи, я убедился, что это старуха, одетая в старинное платье, которое, если не ошибаюсь, дамы называют свободным и которое свисает вниз без пояса, но возле шеи и плеч собрано в широкие складки, доходящие до подола и завершающиеся подобием шлейфа.

Я был до крайности удивлен этим неожиданным вторжением, но ни на минуту не допускал, что это

может быть нечто иное, а не какая-то жившая в замке старуха, которой взбрело в голову одеться так, как одевались ее прабабки, и которую, весьма вероятно, — поскольку ваша милость упомянули о том, что помещений в замке не так-то много, — переселили из ее комнаты, чтобы устроить в ней меня; позабыв об этом, она в двенадцать часов преспокойно могла вернуться на прежнее место. Успокоившись на этой мысли, я пошевелился в кровати и закашлялся, дабы пришелица почувствовала, что в комнате кто-то есть. Она неслышно обернулась, и — милосердный боже! Милорд, какой это был ужас! Теперь не приходилось сомневаться в том, что это такое, — признать ее живым существом не было ни малейшей возможности. На лице, все черты которого застыли, как у трупа, запечатлелись самые низменные и отвратительные страсти, которыми она была одержима в жизни. Казалось, что из могилы вырыли тело мерзкой преступницы, исторгли из пламени ада ее душу и на какое-то время слили воедино этих двух сообщников подлости и греха. Я привскочил в кровати, сел и, подперев голову ладонями, стал смотреть на это чудовище. Вдруг ведьма шагнула к кровати, вспрыгнула на нее, уселась в той же самой позе, в какую я был повергнут овладевшим мной ужасом, и ее отвратительное рыло уставилось на меня со зловещей ухмылкой, в которой, казалось, нашли себе выражение сатанинский цинизм и злоба.

Тут генерал Браун остановился и вытер лоб, который при одном воспоминании об ужасном видении покрылся холодным потом.

— Милорд, — продолжал он, — я не трус. Как человеку военному, мне пришлось пройти через все опасности, какие могут встретиться на земле, и я по праву могу сказать, что никто не видел, чтобы Ричард Браун хоть раз опозорил честь своей шпаги. Но в эту страшную минуту, когда я почувствовал на себе взгляд дьявола, принявшего образ человеческого существа, когда старуха потянулась ко мне, чтобы заключить меня в свои объятия, я потерял присутствие духа, все мужество мое растаяло, как

воск. Волосы у меня встали дыбом; кровь в жилах похолодела, и я потерял сознание, словно какая-нибудь деревенская девчонка или малый ребенок. Сколько времени я находился в таком состоянии, сказать не могу.

Меня привел в чувство бой башенных часов, прозвучавший так громко, что, казалось, часы били в этой же комнате. Я не сразу решился открыть глаза, боясь еще раз увидеть страшное привидение. Когда же я набрался храбрости и посмотрел вокруг, в комнате никого не было. Первой мыслью моей было позвонить, разбудить слуг и перебраться куда-нибудь на чердак или сеновал, чтобы все это не повторилось снова. Правду говоря, я передумал, и отнюдь не из стыда, что все узнают о моем малодушии, а из страха: я боялся, что, сделав несколько шагов к звонку, находящемуся возле камина, я могу снова натолкнуться на это чудовище, на эту ведьму, которая, как мне казалось, притаилась где-то в углу.

Не стану описывать, как в продолжение всей этой ночи меня бросало то в жар, то в холод, как, едва задремав, я пробуждался снова и как все время пребывал в мучительной тревоге между сном и бдением. Мне чудилось, что за мной гонятся целые сонмы страшилищ. Но все последующие видения резко отличались от первого — я знал, что это всего лишь создания моего собственного воображения и возбужденных нервов.

Наконец стало светать, и я встал с постели; я чувствовал себя разбитым телесно и униженным духовно. Мне было стыдно за себя как за мужчину и солдата, и еще больше — за свое желание как можно скорее убраться из этой комнаты с привидениями. Желание это, однако, взяло верх над всеми доводами рассудка: наскоро одевшись, я выбрался из замка, чтобы свежий воздух хоть сколько-нибудь успокоил мои нервы, потрясенные встречей со странной пришлицей с того света, ибо таковой она скорее всего и была. Теперь ваша милость знает, почему мне сегодня так худо и почему я решил вдруг покинуть ваш гостеприимный дом. Я надеюсь, что где-нибудь

в другом месте мы с вами не раз еще увидимся, но боже сохрани, чтобы я решился провести еще хоть одну ночь под этой крышей!

Как ни странен был рассказ генерала, убежденность, с которой он говорил, исключала какие бы то ни было иронические замечания, которые принято делать по поводу такого рода историй. Лорд Вудвил даже не спросил его, уверен ли он, что не видел все это во сне, и не выдвинул ни одного из ходячих объяснений явлений сверхъестественных, которые обычно приписывают расстроенному воображению или галлюцинациям. Напротив, на молодого лорда, должно быть, произвела сильное впечатление неопровержимость того, что он только что услышал, и после продолжительного молчания он выразил сожаление, по-видимому совершенно искреннее, что его старинному другу пришлось перенести у него в доме такие мучения.

— Я тем более сожалею обо всем, что случилось, мой дорогой Браун, — продолжал владелец замка, — что все это является печальным, хоть и весьма неожиданным для меня, результатом опыта, который я решил проделать. Знайте же, что в течение долгого времени, во всяком случае — при жизни моих отца и деда, отведенная вам комната оставалась закрытой из-за ходившей о ней нехорошей молвы: говорили, что по ночам там слышатся какие-то странные шорохи и вздохи. Когда несколько недель тому назад я вступил во владение усадьбой, я решил, что в замке не так уж много помещений для моих друзей, чтобы я мог оставить такую удобную комнату в распоряжении существ иного мира. Поэтому я велел открыть *комнату с гобеленами*, как мы ее здесь называем, и, ничем не нарушая ее убранства, поставить туда кое-какую новую мебель. Но поскольку все слуги пребывали в убеждении, что в этой комнате водятся привидения, и об этом известно было соседям и многим из моих друзей, я боялся, что первый, кому придется переночевать в комнате с гобеленами, может поддаться этой иллюзии и тем самым снова утвердить за ней ее дурную славу, лишив меня возможности

использовать ее в качестве места для ночлега. Должен признаться, мой дорогой Браун, что вчерашний ваш приезд, по многим причинам для меня приятный, показался мне самым удобным случаем опровергнуть все связанные с этой комнатой дурные слухи, ибо храбрость ваша не внушала никаких сомнений и, к тому же, вы были свободны от всех ходивших здесь предрассудков. Вот почему для этого опыта мне трудно было найти человека более подходящего, чем вы.

— Клянусь жизнью, — воскликнул генерал Браун с горечью, — я бесконечно обязан вашей милости, я, право, не знаю, как вас благодарить! Мне, верно, надолго запомнятся результаты этого опыта, как вашей милости было угодно его назвать.

— Нет, как хотите, вы неправы, дорогой друг, — сказал лорд Вудвил, — стоит вам только на минуту задуматься, и станет ясно, что я никак не мог предвидеть возможность тех страданий, которые вам пришлось из-за этого испытать. Еще вчера утром я был совершеннейшим скептиком во всем, что касается сверхъестественных явлений. Впрочем, я уверен, что расскажи я вам вчера о связанной с этой комнатой дурной молве, сам этот разговор непременно побудил бы вас выбрать для ночлега именно ее, а не какую-нибудь другую. Все, что случилось, — мое несчастье, может быть — моя ошибка, но, право же, я не повинен в том, что вам так удивительно не повезло.

— Поистине удивительно! — сказал генерал, приходя в хорошее настроение. — И я чувствую, что не вправе обижаться, что ваша милость считает меня тем, чем сам я себя считал — человеком в известной степени мужественным и храбрым. Но я вижу, что лошади уже поданы, и я не должен более мешать вашей милости веселиться.

— Ну нет, друг мой, — сказал лорд Вудвил, — раз вы не можете больше ни одного дня пробыть с нами и я теперь уже не вправе на этом настаивать, уделите мне по крайней мере еще полчаса. Вы, помнится, были любителем картин, а у меня есть галерея портретов; иные даже принадлежат кисти Ван-

Дейка: на них изображены мои предки, владевшие этим поместьем и замком. Думаю, что среди этих портретов найдутся такие, которые привлекут ваше внимание, и вы сумеете оценить их по достоинству.

Генерал Браун не очень охотно, но все же принял это приглашение. Он понимал, что сможет вздохнуть свободно лишь тогда, когда уедет отсюда и замок Вудвил останется далеко позади. Однако ему неудобно было отказаться от приглашения друга, тем более что ему стало немного стыдно того неудовольствия, которое он выказал в отношении столь расположенного к нему человека.

Поэтому генерал последовал за лордом Вудвиллом сквозь целый ряд комнат на длинную галерею, увешанную картинами, которые владелец стал показывать своему гостю, называя имена и сообщая краткие сведения о лицах, изображенных на портретах. Все эти подробности не очень-то интересовали генерала Брауна. В самом деле, находившиеся там портреты ничем особенно не отличались от тех, что мы обычно видим в старинных фамильных собраниях. Тут был роялист, который, борясь за дело короля, растерял свои земли, там — красавица леди, которая снова собрала их в одно своим браком с богатым пуританином; тут — галантный кавалер, попавший в опасное положение из-за своей переписки с изгнанником, находившимся в Сен-Жермене; там — другой, вставший на защиту Вильгельма во время революции, а там — еще и третий, симпатии которого поочередно переходили то к вигам, то к тори.

Пока лорд Вудвилл оглушал всеми этими именами слух своего гостя, который «не склонен был внимать им», они достигли середины галереи. Вдруг генерал Браун остановился. На лице его изобразилось изумление, смешанное со страхом; глаза его впились в портрет, от которого он уже не мог оторваться: это был портрет дамы в старинном платье, таком, какие носили в конце семнадцатого века.

— Это она! — воскликнул генерал. — Она самая! Хотя в лице этом нет той демонической злобы, которая была у ведьмы, явившейся ко мне сегодня ночью!

— Если вы узнали ее, — сказал молодой лорд, — не может быть ни малейшего сомнения в том, что вам явилось страшное привидение. На портрете этом изображена одна из моих прабабок; перечень ее черных дел и страшных преступлений уцелел в семейных анналах, хранящихся у меня в ларце. Слишком страшно было бы перечислять их: достаточно сказать, что в этой зловещей комнате свершились кровосмешение и убийство. Теперь она снова будет пустовать, как пустовала при моих предках, которые рассудили более здраво, чем я. И отныне, насколько это будет в моих силах, я не допущу, чтобы еще кто-нибудь испытал ужасы, которые поколебали храбрость даже такого человека, как вы.

На этом друзья, чья встреча была столь радостной, расстались уже в совсем ином расположении духа. Лорд Вудвил отдал приказ снять со стен комнаты все гобелены, вынести оттуда мебель и забить двери, а генерал Браун отправился в местность менее живописную, где в обществе менее достойных друзей постарался поскорее забыть мучительную ночь, проведенную им в замке Вудвил.

КОММЕНТАРИИ

«ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА»

«Пертская красавица» относится к «шотландскому» циклу исторических романов, которым начинается творчество Вальтера Скотта-прозаика («Уэверли», «Пуритане», «Легенда о Монтерозе»). Написанная за четыре года до смерти (1828), «Пертская красавица», пожалуй, наиболее полно характеризует своеобразие созданной им формы исторического романа.

Романтический пейзаж вводит нас в пеструю жизнь средневекового города Перта, его улиц и площадей, в общественный и домашний быт (сходки горожан, ночные стычки, «божий суд» и т. п.) — «национально-исторический колорит», пленивший современников Скотта. За сценами народной жизни раскрывается более значительное содержание истории. «Пертская красавица» рисует шотландскую жизнь конца XIV века, но ее черты — остатки родового быта, междоусобицы, соперничество феодалов, слабость королевской власти, начало возвышения городов, — в общем, достаточно характерны и для других европейских стран, составляя социально-политический «колорит» позднего средневековья.

В описании действующих лиц последовательно выдержан социальный метод характеристики. Высокомерный граф Дуглас, честолюбивый герцог Олбени, распутный Ротсей, двуличный Рэморни — как бы вариации единого образа придворно-феодалного мира, характер и поведение каждого из них вытекает из своеобразия его положения. От феодалов резко отличаются горожане, причем особый характер каждого из ремесленников во многом объясняется профессией — например, мирный перча-

точник Саймон Гловер и воинственный кузнец-оружейник Гарри Гоу. Демоническая фигура Двайнинга, его холодный ум, избрательность, презрение к окружающим связаны с профессией аптекаря, а значит, по тому времени, естествоиспытателя (он учился медицине в Кордове у арабов), одного из пионеров «свободомыслящих», в условиях своего века одиночки, ставшего на путь преступления; социально-исторический колорит, реализм этого образа резко отличают его от «злодеев» в романах XVIII века.

Юмор и комизм характеров и положений также имеют источником социальную жизнь определенной эпохи: эпизод, где перчаточник отстаивает перед сыном сапожника честь своего цеха, доказывая, что ремесло, которое «обслуживает» руку, выше того, которое «работает» на ноги; или комический образ Праудфьута («хвастливого воина» города Перта), шапочника по профессии, который во всем подражает смелому кузнецу Гарри Гоу и за это платится жизнью. Но и трагические ситуации непосредственно коренятся в социально-историческом. Такова сцена, где Конахар, юный вождь племени, накануне роковой для его клана битвы признается своему воспитателю в том, что он трус, — коллизия, которую Белинский сравнивал с гамлетовской. Автор уже с первых страниц романа подготавливает читателя к пониманию оснований этой коллизии. Душа Конахара принадлежит двум разным мирам; родившись в лесу и взращенный горцем, он затем воспитывается в семье горожанина, любит его дочь и под их влиянием теряет первобытную, «дикую» цельность; семена будущего, культуры, одерживают верх в его душе над варварским прошлым — недаром последнего своего наставника он под конец находит в отце Клименте, провозвестнике новых, более гуманных взглядов на жизнь.

Тем самым мы подходим к концепции исторического романа у Скотта. В «Пертской красавице» не только дана картина определенного общества, его настоящее, но и намечено историческое движение народной жизни — от глубокого прошлого, через изобращаемый исторический момент к еще далекому будущему. В этой динамике — жизненность художественной картины и существо высокого историзма Скотта.

Три четко очерченные в романе группы действующих лиц — горцы, феодальная знать и горожане — три социальных уклада, три ступени, «формации» в развитии шотландского (и всего европейского) общества. С глубокой симпатией изображен в

романе шотландский клан — горцы, потомки вольнолюбивых гэлов, кельтского племени, отстоявшего свою независимость еще в первые века нашей эры в борьбе с римлянами, которым после завоевания Англии так и не удалось проникнуть в Шотландию. Вплоть до XVIII века горцы сохраняли патриархально-родовые отношения, изображенные в романе во всей их поэтичности. Кровными узами горцы спаяны не на жизнь, а на смерть (см., например, сцену, где отец и восемь его сыновей гибнут в бою один за другим, защищая жизнь вождя клана). Глубокое чувство справедливости, гостеприимство, человечность и теплота этого мира контрастируют с «цивилизованной» жизнью Перта, где царит вражда не только между различными сословиями, но и среди рыцарей и даже в королевской семье. Но Скотт показывает и всю ограниченность этого мира, объясняющую его судьбу. Кругозор горца не выходит за пределы клана. Там он охотится, как зверь в лесу, для него нет различия между зверем и «чужим», не членом клана, разве только «чужой» постучится в его ворота, прося убежища. Беззастенчивый грабеж — обычное занятие для мужчин клана, а кровавые схватки между племенами — нормальное состояние этого мира, в природе которого заложены семена его гибели. Бой на Северном Лугу между кланами Кухил и Хаттан, заканчивающийся гибелью первого, символичен для судьбы всех шотландских кланов.

Историческое «настоящее» для XIV века составляет в «Пертской красавице» более высокий в культурном отношении феодальный мир, где рамки жизни уже не племенные, а государственные. Государственный закон в какой-то мере ограничивает произвол и столкновения, но на протяжении повествования видна и вся слабость органов феодального закона как органов общественного порядка («слабость» шотландского короля Роберта III в этом смысле не столько личная, сколько историческая черта, характерная для средневековой монархии не только в Шотландии). Средневековый закон часто основан на «привилегии», то есть на изъятии из всеобщего закона, и сам гарантирует пресловутые «вольности». Произвол феодала (например, в гл. XI, где Дуглас велит высечь безвинную девушку-менестреля, или поведение графа Марча, который, не добившись справедливости при дворе, объявляет своему сопернику войну), основан на феодальных привилегиях и приводит к непрерывным междоусобицам, возвещающим неизбежный упадок феодального строя.

Насильственная смерть герцога Ротсея исторически знаменательна не менее, чем гибель клана Кухил, — оба эти события, кстати, являются реальным зерном сюжета «Пертской красавицы» и заимствованы у летописца XIV века Фордуна.

Третий круг действующих лиц (перчаточник Гловер, оружейник Гоу и другие) еще связан с феодальным строем. Скотт изображает средневековый город как пока еще слабое (наиболее крупные города Шотландии — Глазго и Перт — насчитывали в XIV веке около 2000 жителей), но все более самостоятельное звено феодального общества. Горожанам приходится держаться сообща, сплоченность отличает их от враждующих рыцарей. Мы видим, как крепнет у горожан вера в себя и чувство собственного достоинства. Действие в «Пертской красавице» не выходит за пределы стычек горожан с дворянами, но эти схватки уже вызывают тревогу у членов королевского совета в связи с недавними событиями в Англии (народное восстание Уота Тайлера 1381 г.). И когда в конце романа Дуглас выражает удивление, что «мужик отклоняет рыцарское звание, а горожанин — награду из рук графа», становится ясно, что в этом обществе складывается новая сила.

Духовная жизнь средневековья — и прежде всего религиозная — также показана в движении. Еще живучи в Шотландии остатки верований дохристианского прошлого (празднование Валентинова дня у горожан и особенно верования горцев, связанные с магическими представлениями древнего рода). Основную силу в религиозной жизни теперь, однако, составляет средневековое католичество, изображенное во всем могуществе как в верхах общества (сцена исповеди короля), так и в низах (богатого горожанина принуждают дать согласие на пострижение единственной дочери, дабы его состояние перешло к монастырю). Но рядом с недавно возникшим для борьбы с ересями орденом доминиканцев мы уже слышим голоса проповедников начинающейся Реформации (отца Климента, подозреваемого в связях с лоллардами и с Джоном Боллом, вдохновителем восстания Уота Тайлера). Ученицей отца Климента является главная героиня романа. Впрочем, именно этот «безупречный» положительный образ, как часто у Вальтера Скотта, наиболее бледен и как бы перенесен из другой эпохи. Но бесцветность главного героя — своеобразный художественный прием: на фоне этой «безупречности» резче выделяется исторический «колорит» в характерах остальных образов,

В любовной фабуле романа столкновение трех миров подчеркнуто тем, что любви героини добиваются три претендента: вождь клана, наследник феодального престола и простой кузнец. С самого начала завязывается узел всей интриги, которая, начиная с домашней ссоры между Конахаром и Гоу и попытки Ротсея проникнуть ночью в дом героини, постепенно разрастаясь, вливаясь в борьбу кланов и междоусобицы феодалов, выходит на политическую арену в двух событиях шотландской истории, заимствованных из летописи. При этом обнажаются обреченность патриархального рода и слабость королевской власти, и символически выглядит победа горожанина Гоу над его могущественным соперником. Скотт обнаруживает замечательное искусство в подобном «разрастании» вымышленного сюжета частной жизни, в его перерастании в историческое событие. Политическая история при этом лишь венчает сюжет романа, а не составляет его основу. «Роман отказывается от изложения исторических фактов и берет их только в связи с частным событием, но через это он разоблачает... изнанку исторических фактов» (Белинский).

В основе исторического романа, созданного Скоттом, лежит картина жизни эпохи, сведенная к одному моменту в истории нации, освещающему и ее прошлое и ее будущее. Отсюда и «драматизм» действия, в отличие от биографической формы романа XVIII века, обычно — повествования о всей жизни героя, начиная с его рождения и детства. Как и в драме, действие в романе сжато во времени и охватывает события не десятилетий, а нескольких недель. В «Пертской красавице» большая часть фабулы связана с Валентиновым днем, а заключительная часть — после нескольких недель перерыва — с вербным воскресеньем, когда происходит бой на Северном Лугу. Почти непрерывное действие с последовательным нарастанием — завязкой, кульминацией и развязкой — приближается к драматургическому построению. В основе романа лежит не ряд более или менее самостоятельных событий — приключений героев, но один социальный конфликт, в котором обнаруживаются основные борющиеся в обществе силы. Герои исторического романа вступают друг с другом в борьбу, участвуют в сражении, вызванном ходом истории, как «действующие лица» исторической «драмы».

Л. ПИНСКИЙ

Стр. 7. *Кристел Крофтэнгри* — вымышленный издатель произведений, образующих «Хронику Кэнонгейта», куда входит и «Пертская красавица». Кэнонгейт — улица в Эдинбурге.

...разных работ о шотландских гэлах... — Гэлы — кельтский народ, населявший в древности горную часть Шотландии. Гэльский язык и до сих пор сохраняется в некоторых районах страны.

...высокомерный дом Дугласов .. — Дугласы — один из могущественных и древних шотландских родов. В феодальные времена Дугласы были почти независимы от королевской власти.

...чтобы в битве разрешить свой давний спор пред лицом короля Роберта III, его брата герцога Олбени... — Роберт III — Джон Стюарт (1340? — 1406), король Шотландии, принявший имя Роберта при вступлении на престол (1390). Обладая слабым здоровьем, почти устранился от государственных дел, передав управление своему брату Роберту (1340? — 1420), носившему титул герцога Олбени и оставшемуся регентом государства также и после смерти короля. Описанная в романе битва между двумя шотландскими кланами действительно произошла в 1396 г. на Северном Лугу города Перта (Перт был окаймлен двумя лугами, с севера и с юга).

Стр. 8 *Мисс Бейли* — шотландская поэтесса и драматург Джоанна Бейли (1762—1851), друг Скотта. Скотт говорит об Эдуарде, персонаже ее трагедии «Эсуолд».

Казалось возможным представить себе и такой случай... — Как признавал сам Скотт, в Конахаре он хотел представить некоторые черты характера своего брата Дэниела, также проявившего малодушие в критический момент своей жизни. Дэниел был весьма легкомыслен и, когда оказалась серьезно затронутая его честь, бежал в Америку, испугавшись возможной дуэли.

Стр. 9. *...привел от своего клана четыре тысячи человек в помощь королю против Властителя Островов.* — Так назывались владельцы Гебридских островов (архипелага у северозападных берегов Шотландии), населенных гэлами. В XIV—XV вв. этот титул принадлежал Макдоналдам, часто оказывавшим неповиновение королевской власти. В данном случае Скотт, видимо, имеет в виду события, фактически происшедшие после пертской битвы кланов. Доналд Макдоналд (ум. в 1420 г.?) решил овладеть графством Росс и высадился в Шотландии. Его пробовал задержать отряд Ангюса Маккея, но островитяне прорвались

в глубь страны. Решающая битва произошла 24 июля 1411 г. при Харло, где Доналд потерпел поражение.

...Уинтоун называет Камеронов... — Эндрю Уинтоун (1350? — 1420?) — настоятель монастыря в Лохлиvene, историк Шотландии, автор стихотворной хроники, излагающей события шотландской истории от «начала мира» и до 1407 г. Камероны — старинный шотландский род.

...Дуглас в своей «Книге баронов»... — Речь идет о книге шотландского историка Роберта Дугласа (1694—1770) «Бароны Шотландии» (издана посмертно в 1798 г.).

...по сю сторону Инвернесса... — то есть в низинной части страны, с англосаксонским, а не кельтским населением. Инвернесс — обширное графство в северной горной части страны.

«Скоти-Хроникон» («Хроника скоттов») — историческое сочинение, составленное шотландским хронистом, аббатом Уолтером Бауером (ок. 1385—1449) в последние годы его жизни.

Гектор Бозций (1465?—1536) — шотландский историк, автор «Истории Шотландии», доведенной до воцарения Иакова III (1527) и написанной на латинском языке.

Лесли Джон (1527—1596) — епископ, автор «Истории Шотландии», изданной на латинском языке в Риме в 1578 г.

Бьюкенен Джордж (1506—1582) — историк, приверженец Реформации, автор памфлетов, направленных против Марии Стюарт и ее сторонников, а также «Истории Шотландского королевства», вышедшей в 1582 г. на латинском языке.

...по ту сторону Грэмпианских гор... — Грэмпианские горы — горная цепь в центральной Шотландии. Районы к северу от Грэмпианских гор населены были преимущественно кельтами.

...может ли какой-то сассенах надеяться... — Сассенахами кельты называли пришедших сюда англосаксов.

Иаков VI (1566—1625) — сын Марии Стюарт, король Шотландии (с 1567 г.), позднее, под именем Иакова I, король Англии (1603—1625).

Стр. 10. Под монастырскою стеной Санкт-Джонстона... — Санкт-Джонстон, или Сент-Джонстон (то есть «Город святого Иоанна»), — старинное название Перта в честь святого, по преданию обратившего в христианство древнее шотландское племя пиктов.

...настоятель Лохливена... — Эндрю Уинтоун (см. прим. к стр. 9).

...продолжателем Фордуна... — Джон Фордун (ум. ок. 1384) — капеллан собора в Эбердине, автор исторического сочинения «Хроника шотландских родов», написанного на латинском языке и оставшегося незавершенным. Продолжателем Фордуна стал Уолтер Бауер (см. прим. к стр. 9), чье сочинение называют «Скоти-Хроникон». Иногда под этим названием объединяют хроники Фордуна и Бауера.

...двумя очумелыми катеранами... — Катеран — гэльское слово, обозначающее разбойничью шайку. В Шотландии катеранами называли разбойников-горцев и, как презрительное обозначение, горцев вообще.

Стр. 11. *Давид Линдсейский и Крофордский вместе с лордом Томасом, графом Морей...* — Речь идет о Давиде Линдсее, первом графе Крофорде (1365?—1407), который в 1384 г. женился на дочери шотландского короля Роберта II. Титул графов Морей принадлежал роду Рэндолфов, однако трудно сказать, о каком из них идет речь.

...празднику святого Михаила... — День святого Михаила — 29 сентября.

Стр. 12. *...по самым признанным образцам из Ливия.* — Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

...в битве под Инверкийтингом между роялистами и войсками Оливера Кромвеля... — Роялисты — сторонники низложенного в результате английской буржуазной революции короля Карла I, казненного в 1649 г. Оливер Кромвель (1599—1658) — деятель английской буржуазной революции, установивший впоследствии режим личной власти. Битва под Инверкийтингом в Шотландии (1651) — один из эпизодов революционной борьбы. В этом сражении шотландские роялисты потерпели поражение от войск Кромвеля.

...генерал Стюарт из Гарта... — Дэвид Стюарт из Гарта (1772—1829), генерал-майор, автор книги «Очерки о характере, нравах и нынешнем состоянии шотландских горцев с добавлениями касательно военной службы в горских частях» (1822).

Сражение при Килликрэнки (1689) — эпизод восстания шотландских горцев, сторонников свергнутого в 1688 году короля Иакова II Стюарта, выступивших против войск нового короля Вильгельма III. В этом сражении горцы под командованием Джона Грэма Клеверхауза (1649?—1689) нанесли поражение войскам Вильгельма, но сам Клеверхауз был смертельно ранен,

Лохиель — сэр Ивен Камерон из Лохиеля (1629—1719), сражавшийся в армии Грэма Клеверхауза.

Стр. 13. *...из армии генерала Маккея..* — Хью Маккей (1640—1692) — шотландский генерал, состоявший на службе у Вильгельма Оранского и потерпевший поражение при Килли-крэнки.

Стр. 14. *Тщеславный римлянин, увидев Тэй..* — Эпиграф Скотта.

...всякого другого округа Каледонии... — Каледонией римляне называли Шотландию.

...леди Мэри Уортли Монтегю... — Мэри Уортли Монтегю (1689—1762) — английская писательница.

Стр. 15. *...Грей или кто-то другой из поэтов...* — Томас Грей (1716—1771) — английский поэт.

...кровавые побоища между саксами Нижней Шотландии и гэльскими кланами... — Англосаксонские завоеватели (V—VI вв.) оттеснили древних обитателей Шотландии в горы, но постоянная борьба между саксами и кельтами длилась несколько столетий. Отряды горцев нередко совершали массовые набеги на города и селения Нижней Шотландии, и шотландским баронам приходилось организовывать настоящие походы для усмирения горских кланов. Лишь в середине XVIII в., после подавления крупных восстаний горцев, последние были окончательно усмирены.

...старинное предание гласит, что он основан римлянами. — Речь идет о городе Виктории, основанном в 320 г. римлянами на месте нынешнего Перта.

...цистерцианский монастырь.. — Цистерциане — ответвление монашеского ордена бенедиктинцев, одного из наиболее распространенных в Западной Европе. Однако в данном случае речь идет о доминиканском монастыре, основанном в Перте в 1231 г. Во время действия романа в Перте существовал еще кармелитский монастырь, основанный в 1260 г. Позднее возникли еще два монастыря: картезианский в 1425 г. и францисканский в 1460 г. Таким образом, упоминание в конце романа четырех монастырей — анахронизм.

Стр. 15—16. *Иаков I... пал жертвой зависти озлобленной аристократии.* — Иаков I (1394—1437) — шотландский король (с 1424 г.), был убит заговорщиками-феодалами, убийство это было совершено в доминиканском монастыре в Перте. Иаков

был также и поэтом, автором лирических и сатирических стихов.

Стр. 16. *...загадочный заговор Гаури...* — Так Скотт называет события, связанные с убийством Джона Рутвена, графа Гаури (1578?—1600), и его брата Александра в их собственном замке во время пребывания там короля Иакова VI. По официальной версии, существовал заговор, возглавленный Джоном Рутвеном, и Рутвены, пользуясь приездом короля, пытались напасть на него, но были убиты сами. Возможно, что заговор действительно имел место, а может быть, дело это было спровоцировано самим Иаковом VI, решившим таким способом расправиться с опасными для него лицами.

...покинув Кинросс... — Кинросс — графство в Шотландии, граничащее с Пертширом.

Стр. 18. *Пастушки губы — бархата нежней...* — Цитата из стихотворения Джона Драйдена (1631—1700) «Эпиграмма, произнесенная при открытии нового здания 26 марта 1674 года». Речь идет о новом здании королевского театра, впоследствии известного под именем «Друри-Лейн».

Стр. 19. *...проезжая по Кэрфью-стрит...* — Кэрфью-стрит — «улица церковного звона». Кэрфью — испорченное французское выражение «*couvre feu*» («туши огонь»), которое связано с установлением Вильгельма I Завоевателя (1066—1087), обязавшего жителей покоренной им Англии из опасения ночных сходок гасить огни в определенный час, по звону церковного колокола. Улица в Перте получила такое название по расположенной на ней колокольне. На этой улице и до сего времени сохраняется дом, в котором якобы жила Кэтрин Гловер.

Стр. 20. *Завтра день святого Валентина...* — С этим днем (14 февраля) связан обычай, идущий еще от язычества и заключающийся в том, что юноша и девушка выбирали себе по жребию подругу (или друга) на следующий год. Их и называли Валентинами.

...по заказу леди Драммонд... — Драммонды — один из наиболее знатных шотландских родов.

Стр. 21. *...в одежде йомена...* — В средневековой Англии йомен — свободный крестьянин, владевший небольшим земельным наделом.

Стр. 30. *...веселый пляс вокруг майского дерева?* — Игры и пляски вокруг майского дерева (или шеста) — пережиток ста-

ринных обрядов, связанных с культом растительности. Они были весьма распространены в средневековой Европе.

Стр. 31. *Поблагодарим святого Дунстана — он и сам занимался нашим ремеслом.* — Святой Дунстан (925—988) — архиепископ Кентерберийский. Хроники рассказывают, что Дунстан любил заниматься кузнечным делом, и, когда однажды к нему явился дьявол, Дунстан зажал ему нос раскаленными кузнечными щипцами.

Стр. 32. *...на утесах святого Ленарда...* — Так называлась окраина Эдинбурга.

Жги-ветер грянул, словно гром... — Цитата из стихотворения Роберта Бернса (1759—1796) «Шотландский напиток».

Стр. 37. *...был родичем светлой памяти короля Роберта.* — Роберт Брюс (1274—1329) — национальный герой Шотландии, провозгласивший себя королем под именем Роберта I.

Джон Барбор (1316?—1395) — шотландский поэт, автор исторической хроники в стихах «Брюс».

Стр. 42. *Верстиган* — Ричард Роулэнс (1565?—1620), историк Шотландии и поэт, принявший имя своего деда, Верстигана. За опубликование в Париже сочинения, направленного против Елизаветы и Реформации, был посажен в тюрьму.

Стр. 46. *...накинулся на отару лэрда...* — Лэрд — в Шотландии землевладелец.

Стр. 49. *...Старого Ника...* — то есть дьявола.

Стр. 52. *...господина Шантеклера...* — Шантеклер — название петуха из средневекового сатирического эпоса «Роман о Лисе».

А что нам в этой буре?.. — Эпиграф взят из написанного Джоном Драйденом эпилога к пьесе Чарлза Соундерса «Тамерлан Великий», поставленной на сцене Королевского театра в 1681 г.

Стр. 58. *...мой старый двуручный Троян...* — Здесь Троян — имя меча. В английском языке слово «Тројап» (дословно «троянец») употребляется также в смысле удальца и, в переносном смысле, верного друга.

Стр. 59. *Броги* — грубая обувь шотландских горцев.

Стр. 60. *Скорее Тэй погечет вспять к Данкилду...* — Данкилд — небольшой городок вблизи Перта, вверх по Тэю.

Бэйли — в Шотландии выборный бургомистр.

Стр. 62. *Встань, дева! Косы расчеши...* — Эпиграф взят из драмы Джоанны Бейли «Маяк» (акт I, сц. 1).

Стр. 68. *...худородному оруженосцу, которого... дарила улыбками некая венгерская королева.* — Имеется в виду английская народная баллада о незнатном оруженосце, полюбившем дочь венгерского короля и добившемся в конце концов ее руки. Баллада эта, упоминаемая также в романе Скотта «Квентин Дорвард», была опубликована в вышедшем в 1802 г. сборнике Джозефа Ритсона «Стихотворные рыцарские романы».

Стр. 70. *...кольца Гига...* — По античному мифу, пастух Гиг нашел волшебное кольцо, обладавшее свойством делать его владельца невидимым. С помощью этого кольца Гиг стал царем малоазиатского государства Лидии.

Стр. 74. *Во веки Катарина мужчине руку не отдаст.* — В комедии Шекспира «Укрощение строптивой» этих слов нет.

Не думаю, чтобы чтение Сенеки... вернуть ей присутствие духа. — Луций Анней Сенека (4 до н. э. — 65 н. э.) — древнеримский философ-моралист и автор трагедий. В его учении, близком к стоицизму, важное место отводилось воспитанию абсолютной невозмутимости.

Стр. 75. *...король Артур со всем своим Круглым Столом...* — Король Артур — герой обширного цикла средневековых сказаний и возникших на их почве рыцарских романов. Рыцари короля Артура, возвращаясь из походов, сходились за круглым столом.

Стр. 79. *...ремесло святого Криспина...* — сапожное ремесло, которым проповедник христианства в Галлии Криспин добывал себе пропитание. Его стали почитать как покровителя цеха сапожников.

...сын великого Мака или О'... — Мак — частая приставка при шотландских фамилиях, О' — при ирландских.

Стр. 80. *Дуньевассал* — в Горной Шотландии землевладелец, несший службу при вожде клана и получавший от него земельный надел.

Стр. 84. *...Гарри Слепец, наш славный менестрель...* — Упоминание Гарри Слепца — анахронизм. Гарри Слепец было прозвище менестреля по имени Гарри (ок. 1470—1492), шотландского поэта, автора поэмы «Уоллес», посвященной подвигам национального героя Шотландии Уильяма Уоллеса (ок. 1270—1305). Уоллес поднял шотландцев на борьбу против завоевателей-англичан, но, потерпев поражение, был взят в плен и казнен.

...упаси меня святой Иоанн... — Святой Иоанн — покровитель Перта.

Стр. 87 *...под Лонкарти...* — Лонкарти — местность неподалеку от Перта, на западном берегу Тэя. Здесь в X в. шотландцы нанесли тяжелое поражение датчанам. По преданию, в этой битве особенно отличился некий смуглый воин, который потом был щедро награжден королем. От него якобы и пошел род Дугласов, названных так за темный цвет лица (Dhuglas — кельтское выражение, означающее человека с темным лицом).

Стр. 88. *Не кончился бы спор кровопролитием....* — В эпиграфе не вполне точная цитата из исторической хроники Шекспира «Генрих IV» (ч. I, акт II, сц. 4).

Стр. 91. *...об одноглазых кузнецах бывлых времен...* — то есть одноглазых циклопах в кузнице древнеримского бога огня, а также и кузнечного ремесла Вулкана.

Стр. 92. *...герцогу Ротсею...* — Титул герцога Ротсея носил сын и наследник шотландского короля Роберта III Давид Стюарт (1378—1402).

...не предпочтете ли вы Черного Дугласа? — Существовали две ветви рода Дугласов: так называемые Черные Дугласы — потомки сподвижника Брюса графа Джеймса Дугласа (1285?—1330), и Рыжие Дугласы — потомки младшего брата Джеймса, Арчибалда Дугласа (ум. в 1333 г.). Черные Дугласы носили титул графов Дугласов, Рыжие — графов Ангюсов. Обычно Черным Дугласом называют самого Джеймса Дугласа, у которого было и другое прозвище — Добрый. В романе действует его сын Арчибалд Дуглас (1328?—1400), прозванный Лютым. Скотт его также называет Черным Дугласом.

Стр. 93. *...со знаком кровавого сердца на плече.* — Происхождение этого отличительного знака принадлежности к дому и войску Дугласов связано со следующим событием. король Роберт Брюс на смертном одре, сожалея, что не успел совершить паломничества в Палестину во искупление своего греха (убийство в церкви своего соперника, так называемого Рыжего Комина), просил Джеймса Дугласа отвезти туда его сердце. После смерти короля сердце его было вынуто, набальзамировано, и Дуглас отправился с ним в Палестину. Дорогой он принял участие в борьбе испанских рыцарей с арабами и в одном из сражений был убит. Его спутники вернулись на родину и привезли с собой сердце Брюса. С тех пор Черные Дугласы взяли изображение сердца в свой герб.

Стр. 95 *..против тартана...* — Тартан — в Шотландии клетчатая шерстяная ткань, а также одежда из нее.

Стр. 97. *Кинфонс* — старинный замок вблизи Перта.

Стр. 99. *...как они излагаются в древнем и устойчивом предании...* — Легенду о Красном Разбойнике Скотт заимствовал из поэмы «Уоллес» (песнь IX) Гарри Слепца (см. прим. к стр. 84).

Стр. 103. *Вот Джонстоны из Эннендейла...* — Эпиграф Скотта.

...вороной жеребец старой гэллоуэйской породы... — Гэллоуэйская порода — низкорослые лошади темной масти, хорошо приспособленные к горным дорогам.

Стр. 105. *Я ее назвал Джезабелью в честь кастильской принцессы...* — Джезабель — английская форма библейского имени Иезавель. Иезавелью звали порочную жену израильского царя Ахава. Отсюда переносный смысл слова «джезабель» — «ведьма», «карга». Кроме того, кличка включает и намек на масть: «изабелла» — темно-бурый цвет (а также и масть); название это связывается с легендой об испанской принцессе Изабелле, дочери короля Филиппа II (1556—1598), которая объявила, что не сменит рубашки, пока ее муж не овладеет нидерландским городом Остенде. Осада длилась три года. Упоминание о кастильской принцессе — анахронизм.

Стр. 109. *Но филистимлянин поравнялся с шапочником...* — Филистимляне — народ, живший в древности на восточном побережье Средиземного моря и постоянно воевавший со своими соседями евреями. Отсюда словоупотребление в переносном смысле (враг, неприятель).

Стр. 112. *...как тот король э романе, игравший на виоле, когда горел его город.* — Речь идет о римском императоре Нероне (54—68), который, по преданию, сам поджег Рим и, любуясь пожаром, играл на лире.

Стр. 114. *...шел... громадина дромонд... отрубить нос Драммонду?* — Игра слов: дромонд — род баржи, Драммонды — могущественный дворянский род.

Стр. 119. *Это тот, о ком сочиняют стихи и повести?* — Речь идет о герцоге Нормандии Роберте (1028—1035), отце завоевателя Англии Вильгельма. За дерзкое бесстрашие и жестокость его прозвали «Робертом Дьяволом». С именем его связано много легенд.

Стр. 123. *Как быть? В мои слабеющие руки...* — В эпиграфе цитата из исторической хроники Шекспира «Ричард II» (акт II, сц. 2),

Стр. 124. *...конь сэра Джеймса Дугласа Далкита...* — Джеймс Дуглас из Далкита (ум. в 1420) — придворный, потомки которого получили титул графов Мортонов.

Стр. 126. *...предпочтение... было отдано Джорджу, графу Данбара и Марча...* — Джордж Марч, граф Данбар (1368 — ок. 1420) — шотландский феодал. После расстройтва помолвки его дочери Элизабет с наследником престола герцогом Ротсеем бежал в Англию, где был хорошо принят Генрихом IV, который пожаловал ему земли и поместья. В 1402 г. граф Марч участвовал на стороне англичан в военных действиях против Шотландии.

...своей дочери Марджори... — Марджори, дочь графа Дугласа, прозванного Лютым, была обвенчана с герцогом Ротсеем только в 1400 г., то есть через четыре года после описываемых событий.

Стр. 127. *...своей жене, королеве Аннабелле...* — Аннабелла Драммонд (1350?—1402) — королева Шотландии, была обвенчана с Джоном Стюартом (будущим Робертом III) в 1367 г., коронована в 1390 г. Во время описываемых событий она была еще жива.

Стр. 130. *...почему... на епископский престол святого Андрея ты не принял Генри Уордло...* — Генри из Уордло (ум. в 1440) — епископ монастыря святого Андрея, возведенный на этот пост около 1404 года.

Прием примаса... — Примас — у католиков высшее духовное лицо в стране. Примасом Шотландии являлся епископ — настоятель монастыря святого Андрея.

Стр. 131. *Давид Святой* — король Шотландии Давид I (1124—1153), покровительствовавший церкви.

...поднял мзг против знамен святого Петра, и святого Павла, и святого Иоанна Беверлея... — Петр и Павел — апостолы христианской церкви. Иоанн Беверлей (640—721) — епископ Йоркский. Здесь речь идет о битве при Катон-Муре, иначе называемой битвой за Знамя (1138), в которой английские войска короля Стефана выступали под знаменами с изображением святых. Шотландцы в этой битве потерпели поражение.

...подобно тезке своему, сыну Иессии, претерпел кару на земле... — Сын Иессии — Давид, царь древнеизраильского царства (X в. до н. э.). Грех, в котором его обвиняли, — незаконная связь с Вирсавией, женой Урии, посланного Давидом на верную гибель. Кара, постигшая его, — гибель сына его и Вирсавии.

Стр. 135. *Друг милый, не брани...* — Эпиграф из трагедии Джозанны Бейли (см. прим. к стр. 8) «Орра» (акт 1, сц. 3).

...с бедами жизни и царствования королей *Иоанна Английского, Иоанна Французского, Иоанна Бэлиола Шотландского*. — Иоанн Английский — Иоанн, прозванный Безземельным, английский король (1199—1216), в результате неудачной войны с Францией потерявший большую часть английских владений во Франции. Иоанн Французский — Иоанн II Добрый, французский король (1350—1364), потерпел поражение от английских войск в битве при Пуатье (1356), был взят в плен и там умер. Иоанн Бэлиол Шотландский (1249—1315) — главный соперник Роберта Брюса в борьбе за шотландскую корону. В 1292 г. при содействии короля Англии Эдуарда I Бэлиол стал королем Шотландии. Когда же он вступил в тайный сговор с Францией, англичане оккупировали Шотландию, Бэлиол был взят в плен (1296), впоследствии — отпущен и остаток жизни провел во Франции.

Стр. 140. *...прав доктор Лейден, когда производит его от святого Брандина...* — Джон Лейден (1775—1811) — поэт и ученый-востоковед, друг Скотта, собиратель шотландского фольклора. Брандин (или Брендан, ок. 484—578) — ирландский святой, почитаемый и в Шотландии. С его именем связаны многочисленные легенды, известные у многих народов Западной Европы, о путешествии Брендана по Атлантике.

...она служит так называемой Веселой Науке. — Под Веселой Наукой в те времена понимали как поэзию труверов и трубадуров, так и представления, разыгрываемые странствующими артистами. В 1324 г. во французском городе Тулузе была создана Академия Веселой Науки.

Стр. 142. *Неужели потомок Томаса Рэндолфа покинет в час нужды правнука Роберта Брюса?* — Томас Рэндолф, граф Морей (ум. в 1332 г.) — ближайший сподвижник Брюса и после его смерти регент Шотландии.

...монахи Абербротока... — Речь идет о монастыре в небольшом городке Абербротоке (или Арброте) на севере Шотландии.

...могущественного Генри Хотспера. — Хотспер — прозвище сэра Генри Перси (1364—1403), командовавшего английскими войсками при Оттерберне (1388) и взятого шотландцами в плен. Английское выражение *hot spig* означает «горячая шпора».

Стр. 144. *...была проще обычной провансальской сирванты...* — Сирвента — в ранней провансальской литературе лириче-

ская песня; с течением времени (к XII в.) сирвента в литературах ряда европейских народов приняла политический и сатирический характер. «Баллада о бедной Луизе» принадлежит Скотту.

Стр. 149. *Взгляни, красавица идет!..* — Эпиграф Скотта.

Стр. 151. *Экс* — главный город французской провинции Прованс. В раннем средневековье был одним из центров провансальской культуры.

Стр. 152. *...клянусь святым Эгидием...* — Святой Эгидий считался покровителем калек.

Стр. 153—154. *...Арчибалда, графа Дугласа, прозванного Лютым...* — см. прим. к стр. 92.

Стр. 155. *Клянусь святой Брайдой Дугласской...* — Брайдой (или Бригиттой) Дугласской в Шотландии называли ирландскую святую Бригитту (453—523), с которой связано много легенд. В Шотландии она пользовалась почетом, особенно во владениях Дугласов.

Стр. 160. *...разыграть из себя сэра Пандара из Трои...* — Пандар — персонаж средневековых романов о Трое — циник и сводник.

Стр. 162. *...на произвол жестоких гальвегианцев...* — Так называли жителей Гэллоуэя, подвластного Дугласам графства на юго-западе Шотландии.

Стр. 163. *Встает старуха, хмурит бровь...* — Эпиграф Скотта.

Стр. 169. *...клянусь святым Ринганом...* — Финган (360?—432) — проповедник христианства среди пиктов, весьма почитаемый в средневековой Шотландии.

Стр. 174. *Ребек* — старинная примитивная, трехструнная скрипка.

...от Валентинова дня и до сретения... — Иными словами — почти целый год: Валентинов день приходился на 14 февраля, а сретение — на 2 февраля.

Стр. 176. *...твоя Далила споет нам песенку.* — Далила — в библии коварная филистимлянка, соблазнившая богатыря Самсона с целью погубить его.

Стр. 182. *Как в сердце ночи резок и криклив...* — В эпиграфе цитата из поэмы Байрона «Странствования Чайлд-Гарольда» (песнь III, XXVI).

Стр. 184. *Настоятель Лохливенского монастыря* — Эндрю Уинтоун (см. прим. к стр. 9).

Стр. 187. *Мы слышали о мятежниках Жакерии...* — Жакерия — восстание французских крестьян (1358); *Джек Соломинка* и *Хоб Миллер* — сподвижники Уота Тайлера (казнен в 1381 г.), вождя крестьянского восстания в Англии (1381); *пастор Болл Джон* (казнен в 1381 г.) — английский священник, проповедовавший равенство между людьми и выступавший против феодальных и церковных привилегий; один из вождей восстания Тайлера.

Стр. 189. *...между сынами Велиала...* — Велиал — в библии олицетворение зла. Сынами Велиала часто называли тех, кто нарушал установления церкви.

Стр. 190. *Огненный крест пронесся, как метеор...* — Огненный крест — предмет древнего кельтского ритуала, служил сигналом сбора кланов. Это был деревянный крест, концы которого, омоченные в крови жертвенного животного, зажигали, и зажженный крест передавали от клана к клану.

Мерри-Фрит — залив у северо-восточного побережья Шотландии.

Амалекитяне — древний народ, постоянно враждовавший с евреями. Отсюда: амалекитянин — опасный сосед, враг.

...поклоняются Магаунду и Термаганту... — Магаунд — искаженное имя Мухаммеда (Магомета), Термагант — в средневековом фольклоре мусульманское божество.

Стр. 194. *...мудрость Ахитофеля...* — В библии Ахитофель — советник царя Давида. Вместе с царским сыном Авессаломом возглавил заговор против царя. Когда заговор этот был раскрыт, Ахитофель повесился.

Стр. 197. *...откроет нашу границу мятежным Перси...* — Перси — старинный английский дворянский род, владения которого, расположенные в северной Англии, примыкали к шотландской границе. Из-за постоянных столкновений между людьми Перси и Дугласов мир на границе никогда не бывал прочным.

Стр. 206. *Пойдешь ли ты в горы, Лиззи Линдсей...* — Эпиграф Скотта.

Стр. 208. *...причисляют вас к лоллардам и уиклифитам...* — Лоллардами называли участников антикатолического, преимущественно крестьянского, движения (XIV в.), одним из идеологов которого был Джон Болл (см. прим. к стр. 187). К лоллардам были близки последователи церковного реформатора Джона Уиклифа (ок. 1320—1384), которые требовали секуляризации

церковных земель, упрощения обрядов, ликвидации монашества и папства.

Стр. 214. *...удел королевы Маргариты...* — Речь идет о причисленной к лику святых англосаксонской принцессе и шотландской королеве Маргарите (ок. 1070—1093), супруге короля Шотландии Малкольма III, благодаря которой в Шотландию были принесены многие обычаи, связанные с латинской культурой.

Стр. 216. *...секиру, чаще называемую лохаберской.* — Лохабер — округ в Горной Шотландии. Лохаберская секира — особой формы двуострая секира с колющим наконечником.

Стр. 233. *...и трижды зловещего имени...* — Хенбейн (henbane) — по-английски — «белена», Двайнинг (dwining) — «чахнуший».

Стр. 238. *...исполнителей танца «моррис»* — то есть старинного танца, проникшего в Англию из мавританской Испании (отсюда и название) и носящего несколько театрализованный характер (иногда исполнялся в костюмах персонажей баллад о Робине Гуде).

Стр. 240. *У нас двоих такая статья...* — стихи принадлежат Скотту.

Стр. 249. *...один из дюжины пэров.* — Оливье — герой старофранцузских народных песен, друг Роланда, один из двенадцати пэров, сподвижников императора Карла Великого.

Стр. 257. *Ну чем же я не принц?* — В эпиграфе неточная цитата из исторической хроники Шекспира «Генрих IV» (ч. I, акт II, сц. 4).

Стр. 258. *...английскому Малютке-епископу и французскому Abbé de Liesse...* — Речь идет о персонажах шуточных карнавальных представлений, весьма популярных в средневековой Европе. Abbé de Liesse — глава специально созданного с этой целью в Лилле братства.

Стр. 267. *...не выигрывал сражений, как Роберт Первый... не возвысился из графов в короли, подобно Роберту Второму; не возводил церквей, как Роберт Третий...* — Роберт I — Роберт Брюс (см. прим. к стр. 37); Роберт II — основатель династии Стюартов; Роберт III — король, действующий в романе.

Король Коул — персонаж английских народных баллад.

Стр. 268. *...как призрак Гескхолла швырнул свою голову в сэра Уильяма Уоллеса.* — В поэме «Уоллес» Гарри Слепца (см. прим. к стр. 84) рассказывается, как, заподозрив рыцаря Фодюна в измене, Уоллес убивает его в замке Гескхолл. Впослед-

ствии пред ним предстал призрак убитого Фодиона с собственной головой в руках, которую он бросил в лицо Уоллесу.

Стр. 273. *«Не уповай на князей»* — цитата из библии (Книга Псалмов, 146).

Стр. 276. *...тень королевы Аннабеллы...* — см. прим. к стр. 127.

Багряная страна, где жизнь законы Не охраняют. — В эпитафе цитата из поэмы Байрона «Странствования Чайлд-Гарольда» (песнь I, XXI). Речь идет о Португалии.

Утро Пепельной среды... — Пепельной средой у католиков называлась среда первой недели великого поста.

Стр. 281. *Эй, кто там бьет в набат?* — В эпитафе слова Яго из трагедии Шекспира «Отелло».

Стр. 283. *Фортинггал* — местность на северном берегу озера Лох-Тэй в горной части Пертшира.

Стр. 301. *«На старых шеях знак войны»...* — слова королевы в трагедии «Ричард II» Шекспира, которые она произносит при виде герцога Йорка (акт II, сц. 2).

Стр. 308. *...Григорием Великим и могучим Ахайюсом...* — Речь идет об одном из ранних шотландских королей Григории Великом, иначе Гарики (ум. в 889 г.), правившем вместе со своим приемным сыном Эхейдом (в романе назван Ахайюсом). Григорий покровительствовал церкви.

Стр. 314. *Ристалище готовь согласно правил...* — В эпитафе слова Генриха VI из исторической хроники Шекспира «Генрих VI» (ч. II акт II, сц. 3). У Скотта ошибочно указана другая хроника («Генрих IV»).

Стр. 320. *...юного Линдсея..* — Речь идет об Александре Линдсее, графе Крофорде (ум. в 1454 г.), прозванном графом Тигром. У Скотта неточность: в родственных отношениях со Стюартами находился Давид Линдсей, приходившийся зятем королю Роберту II.

Стр. 321. *...близ Колдингема... Хотспер и сэр Ралф Перси...* — Колдингем — поселение на западном побережье Шотландии, неподалеку от английской границы. Хотспер — прозвище Генри Перси (см. прим. к стр. 142). Ралф Перси — брат Генри Перси, был взят в плен в битве при Оттерберне.

Стр. 329 *Он с толком зелья составлял...* — В эпитафе цитата из Уильяма Данбара (1456—1520), шотландского поэта и дипломата на службе у шотландского короля Иакова IV («Поэмы», XXXIII).

Стр. 333. *...Угеро Датчанин и сэр Юон Бордоский...* — Угеро Датчанин, иначе Ожье Датчанин, — герой средневекового эпоса, один из рыцарей Карла Великого, уведенный феей Морганой в волшебное царство фей, на остров Авалон. Юон Бордоский — также герой средневекового эпоса.

...волшебным перстнем Кедди — см. прим. Скотта на стр. 70.

Стр. 335. *...череп Уоллеса... сердце сэра Саймона Фрезера... милый череп прекрасной Мэгги Лоджи...* — Уоллес — см. прим. к стр. 84. Саймон Фрезер — один из сподвижников Роберта Брюса. После поражения под Метвеном (1306) был захвачен англичанами, отправлен в Лондон и казнен. Потомки его получили титул баронов Ловатов. Мэгги Лоджи — вторая жена короля Давида II (1342—1371).

Стр. 338—339. *Я стану инкубом для вашего города.* — Инкуб — по средневековым поверьям, демон, посещавший женщин под видом мужчины.

Стр. 339. *...как сказал Брюс Доналду...* — Как передают хроники, с такими словами Роберт Брюс обратился во время сражения при Бэннокберне (1314) к своему сподвижнику Ангюсу Ог Макдоналду из Айлы (ум. ок. 1329), одному из владетелей Гебридских островов, отцу Доналда Макдоналда (см. прим. к стр. 9).

Стр. 340. *Дух незримый, дух парящий...* — стихотворение Скотта.

Стр. 343. *...Чосер... говорит о вас, лекарях, что вы хоть и ученые, да не по святому писанию.* — Джеффри Чосер (ок. 1340—1400) — великий английский писатель, основоположник новой английской литературы. Здесь речь идет о Прологе к циклу стихотворных новелл Чосера «Кентерберийские рассказы», где говорится о некоем лекаре, который «в писании не очень был смышлен».

Стр. 344. *То кровь его, а не бальзам...* — Стихи Скотта.

Стр. 357. *...длинный рассказ в стихах о битве у Черного Лога...* — Имеется в виду поэма Гарри Слепца «Уоллес» (см. прим. к стр. 84).

Стр. 361. *Псам — виселицы...* — слова Пистоля из исторической хроники Шекспира «Генрих V» (акт III, сц. 6).

Стр. 366. *Обратись к своим эфемеридам...* — Эфемериды — таблицы, по которым определяют положение светил по дням, месяцам и годам.

Мы три молодца... — стихи по мотивам народных баллад.

Стр. 371. *Путь истинной любви всегда негладок.* — Цитата из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (акт I, сц. 1).

Стр. 381. *Твоя невинность, друг Саймон, мало поможет тебе там, где судьи предубеждены.* — Опасения эти имели вполне реальные основания в пору религиозной нетерпимости. В том же самом городе Перте в 1407 г. был осужден и сожжен уиклифит Джон Ресби, обвиненный по сорока пунктам в еретических взглядах.

Стр. 382. *...согласился утвердить папского ставленника Генри Уордло...* — анахронизм (см. прим. к стр. 120).

...со времен Малькольма Кэнмора.. — Малькольм III Кэнмор — шотландский король (1057—1093), сражался на стороне англосаксов против войск норманского герцога Вильгельма Завоевателя, захватившего Англию.

Стр. 383. *Не зваться мне таном..* — Тан — шотландский титул, соответствующий барону.

Стр. 384. *Привет тебе, край лучников...* — В эпиграфе цитата из поэмы неизвестного автора «Албания, Гений Шотландии», изданной анонимно в Лондоне в 1737 г. и переизданной другом Скотта и собирателем фольклора Джоном Лейденом в его сборнике «Шотландские описательные поэмы» (1803).

Стр. 392. *Поп Александр* (1688—1744) — английский поэт-просветитель.

Стр. 393. *«Не нам решать...»* — не полностью приведенное изречение из «Буколик» (эклога III) древнеримского поэта Вергилия («Не нам решать столь важные дела»)

Баденох — округ в центре Горной Шотландии.

Стр. 396. *...кельтского Эвмея..* — у Гомера свинопас Эвмей — верный слуга Одиссея («Одиссея»).

Стр. 397, 402. *Бен-Лозрс* и *Бен-Мор* — вершины грэмпианского хребта в Шотландии.

Стр. 402. *...останки Сибиллы, дочери Генриха I Английского и супруги Александра I Шотландского* — Сибилла (ум. в 1121 г.) — шотландская королева Генрих I, ее отец, — английский король (1101—1135), сын Вильгельма Завоевателя. Александр I — шотландский король (1107—1124), сын Малькольма Кэнмора.

Стр. 406. *...что отец Губерт больше успевает в охоте за зайцами...* — Намек на святого Губерта, считавшегося покровителем охотников.

...викарию Вайнсофу.. — Вайнсоф — буквально означает «винохлеб» (англ. vinesauf).

Стр. 411. *Чем рок завоевателей пленил?* — В эпитафии цитата из поэмы Байрона «Странствования Чайлд-Гарольда» (песнь III, XLVIII).

Стр. 415. *...своего рода палладиум...* — Палладиум — в переносном смысле «святыня». Так называли в древних Афинах статую Афины Паллады, покровительницы города.

Стр. 418. *...К роду Далриадов...* — Далриада — старинное название местности на северо-востоке Шотландии, заселенной выходцами из Ирландской Далриады — кельтским племенем скоттов (давшим имя всей стране).

Асквибо — шотландская водка, настоящая на разных травах и шафране.

Стр. 421. *Опять завел про дочь мою...* — Слова Полония из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт II, сц. 2).

Стр. 422. *...двинулись бы сообща на Стратмор...* — Стратмор — долина в графстве Форфаршир, к юго-западу от Перта.

Стр. 424. *..на Мартынов день...* — 11 ноября.

Стр. 426. *...разве с левой руки...* — Брак «с левой руки», иначе — морганатический, — неравный брак высоко титулованного лица с менее знатной женщиной. В таких случаях обычай требовал, чтобы жених при совершении брачного обряда, обращаясь к невесте со словами: «Я беру тебя своей законной женой», подавал ей вместо правой руки левую.

...перед черными скалами Айоны... — Айона — один из Гебридских островов.

Стр. 430. *...никто не ранен, кроме Джона Скволлита...* — Фамилия эта произведена от английского глагола to squall — вопить.

Стр. 439. *Святой Колумб* (ум. в 547 г.) — проповедник христианства в Ирландии и Шотландии.

Стр. 446. *...готовился к новому Оттерберну...* — Битва при Оттерберне (1388) принесла победу Шотландии и жестокое поражение англичанам.

Стр. 457. *Вздыхай, вздыхай!..* — Стихотворение принадлежит Скотту.

Стр. 459. *Он был, сознаюсь вам, бесстыжий малый...* — цитата из поэмы Байрона «Странствования Чайлд-Гарольда» (песнь I, II).

Стр. 461. *...недостойный брат ордена святого Франциска...* — Речь идет об ордене нищенствующих монахов, основанном в 1221 г. Франциском Ассизским.

Стр. 462. *...брат Тикскал и брат Дандермор...* — Имена эти по-английски означают: thickscull — болван, dundermore — пу-стомеля.

Стр. 469. *Целомудренный Малькольм Дева...* — Дева — одно из прозвищ шотландского короля Малькольма Кэнмора (см. прим. к стр. 382).

...с воздержанностью Сципиона... — Имеется в виду Публий Корнелий Сципион (ок. 185—129 до н. э.), прозванный Африканским и Младшим (в отличие от Сципиона Африканского Старшего), выдающийся полководец, оратор и государственный деятель. Был известен своей борьбой против роскоши.

Стр. 473. *О верный мой, о храбрый мой!..* — Стихотворение принадлежит Скотту.

Стр. 476. *...на сэра Александра Рэмзи из Дэлхоузи...* — Александр Рэмзи (ум. в 1342 г.) — шотландский рыцарь, храбро сражавшийся в войнах с англичанами. При обстоятельствах, изложенных в примечании Скотта, его захватил Уильям Дуглас Лиддсдейлский (1300?—1353) и уморил голодом.

Стр. 482. *Я умертвил... моего бывшего господина, герцога Ротсея.* — На самом деле герцог Ротсей умер при весьма загадочных обстоятельствах, но позже описываемых событий — в 1402 г., вскоре после смерти своей матери королевы Аннабеллы.

Стр. 489. *...по джедвудскому обычаю...* — Джедвудский (точнее: джеддартский) — выражение, обязанное происхождением случаю в городе Джедвуде, когда суд сначала осудил обвиняемого, а потом занялся разбором его дела.

Стр. 493. *Наш час настал...* — Эпиграф принадлежит Скотту.

Стр. 507. *У стен обители...* — В эпиграфе несколько измененные строки из уже приведенного Скоттом (в предисловии к роману) отрывка из стихотворной хроники Уинтоуна.

Стр. 537. *...Генрих IV Английский не постеснялся удержать принца в плену.* — Генрих IV — английский король (1399—1413) из Ланкастерской династии. Принц Джеймс — будущий король Иаков I (см. прим. к стр. 15), он провел в английском плену целых девятнадцать лет (1406—1424), как при Генрихе IV, так и при его преемниках.

...герцог Мардок Олбени... — Мардок Стюарт, второй герцог Олбени, сын Роберта (действующего в романе), казнен в 1425 г. после возвращения Иакова I в Шотландию.

Стр. 538. *Тому, кто честен искони...* — В эпиграфе строфа из стихотворения Бернса «Послание к Дэви, собрату-поэту». Дэви — шотландский поэт Дэвид Силлар.

Стр. 544. *...не отплясывали танец меча так весело...* — Танец меча — старинный шотландский народный танец. Его исполняли в национальных костюмах вокруг двух мечей, положенных на землю крест-накрест,

РАССКАЗЫ

Рассказы Скотта были написаны им и опубликованы в последние годы жизни. В 1827 г. в Эдинбурге, у издателя Кэделла, вышло два небольших томика, озаглавленных «Кэнонгейтская хроника». Этот двухтомник, так называемая первая серия «Кэнонгейтской хроники» (в качестве второй серии годом позже был издан роман «Пертская красавица»), заключал рассказы «Вдова горца», «Два гуртовщика» и небольшой роман «Дочь врача». Рассказы «Зеркало тетушки Маргарет» и «Комната с гобеленами» были опубликованы в следующем году в «Кипсеке» (так назывались в Англии непериодически выходившие иллюстрированные альманахи).

Первой серии «Хроники» Скотт предпослал предисловие, впервые подписанное его именем, в отличие от прежних изданий его романов, выходивших анонимно. Объясняя причины, побудившие его отказаться от этого давнего правила, Скотт шутливо заметил, что, раскрывая свое авторство, он рискует уподобиться некоему арлекину из анекдота. Арлекин этот, выступавший в традиционной маске, был любимцем публики. Однажды, уступив уговорам друзей, считавших, что игра его произведет более яркое впечатление, если зрители смогут наблюдать его мимику, арлекин выступил без маски и потерпел неудачу.

Обычная для романов Скотта форма обрамленного повествования была сохранена в «Хронике» и, более того, разрослась здесь до целого самостоятельного рассказа о молодом разорившемся дворянине Кристеле Крофтэнгри, вынужденном укрываться от кредиторов в Холирудском монастыре, предоставлявшем, в силу старинного обычая, убежище безнадежным должникам. Освободившись спустя некоторое время от притязаний кредиторов, Крофтэнгри начинает жить скромно, но незави-

симо. Вскоре он встречается давнюю знакомую своей семьи, знатную даму, госпожу Бэлиол. После ее смерти Крофтэнгри получает пакет, содержащий записанные ею истории.

Естественно противопоставить рассказы, помещенные в «Кипсеке», рассказам «Кэнонгейтской хроники». Первые написаны Скоттом в несвойственном ему жанре фантастического рассказа, который, однако, в те годы был очень популярен, продолжая традиции «готического» романа. Рассказы «Кэнонгейтской хроники» полны национального шотландского духа, драматически напряжены и в высшей степени точно отражают исторический процесс. Старые нравы могли еще держаться, пока сохранялись остатки былой независимости. С утратой этой независимости старинные обычаи, вступая в конфликт с новым укладом, ведут к катастрофе.

Бурное развитие новых общественных отношений в Великобритании требовало устранения последних феодальных преград, подавления любых автономистских стремлений. Ранний план Уильяма Питта Старшего, окончательно осуществленный в 1778 г., направлял воинственную энергию горцев в новое русло. Отныне они могли служить, но только в колониальных частях, далеко от родины и под командованием английских офицеров. И, как последняя иллюзия самобытности, горцам оставлено было право носить национальную форму. Все то, что вступало в противоречие с английской государственной машиной, безжалостно устранялось. Трагические коллизии «Вдовы горца» и «Двух гуртовщиков» проистекают из случайностей, но при столкновении исторически противоборствующих начал любая случайность могла оказаться роковой. По неопровержимой художественной логике, по законченности и убедительности персонажей «Вдова горца» принадлежит к числу лучших страниц Скотта, а фигура Элспет, своей беспредельной материнской любовью доводящей сына до гибели, является одним из наиболее ярких образов в творчестве писателя.

ВДОВА ГОРЦА

Стр. 547. *Казалось, кто-то был очень близко...* — В эпиграфе цитата из поэмы Сэмюэла Колриджа (1772—1834) «Кристалл».

...владений короля Георга... — то есть короля Георга III (1760—1820).

...восстания 1745 года.. — Восстание 1745 г. было поднято якобитами (сторонниками короля Иакова II Стюарта и его потомков), стремившимися восстановить династию Стюартов, свергнутую в результате так называемой Славной революции. Во главе восстания стоял внук Иакова II, принц Карл Эдуард (1720—1788), который высадился в Шотландии при поддержке Франции и объявил себя королем Шотландии под именем Иакова VIII. После переменного успеха войска якобитов, состоявшие в основном из горцев, были разбиты в решающем сражении при Каллодене 27 апреля 1746 г.

...со Стерлингских башен... — Речь идет о старинном замке в городе Стерлинге, центре графства Стерлингшир (Центральная Шотландия). С этим замком, известным уже с начала XII века, связаны многие важные события в истории страны.

...Великодушие в «Пути паломника»... — Великодушие в аллегорическом романе Джона Беньяна (1628—1688) «Путь паломника» — слуга одного из персонажей, Толкователя, в доме которого герой повествования Христианин познает истины евангелия.

Стр. 549. *..со «страной овсяных лепешек».* — Так называли Шотландию. Овсяные лепешки — излюбленное кушанье у жителей Шотландского предгорья.

Стр. 550 *...не читал... Жиль Бласа...* — Речь идет о романе «Похождения Жиль Бласа из Сантьяны» французского писателя Алена-Рене Лесажа (1668—1747).

...разил врага под Фолкерком или Престоном.. — В сражениях под Фолкерком (17 января 1746 г.) и Престоном (иначе — Престон-Пансом, 21 сентября 1745 г.) шотландские горцы под командованием принца Карла Эдуарда одержали победу над англичанами.

Стр. 551. *...когда дело доходило до «горной росы»...* — Так называли шотландские горцы водку, приготовленную домашним способом.

...похож на руно Гедсона... — намек на библейское чудо, сотворенное богом в знак избранничества будущего израильского военачальника Гедсона. Однажды ночью руно, лежавшее на его гунне, увлажнилось росой, хотя кругом была засуха.

Стр. 552. *Лох-Оу* — узкое и глубокое озеро в Бредалбейне (северной горной части Пертшира), к которому ведет опасный путь через тесное ущелье Брандир. На берегу озера в старину стоял замок Килчерн.

...клан Мак-Дугалов из Лорна был почти целиком истреблен хитроумным Робертом Брюсом. — Когда Роберт Брюс после вынужденного изгнания высадился на западном побережье Шотландии и поднял население на борьбу против англичан, его давний противник и родственник убитого Брюсом Рыжего Комина (см. прим. к стр. 93) Джон Мак-Дугал, граф Лорн, выступил против него. В битве при Лох-Оу (1309) все войско Мак-Дугала было разбито, и, по преданию, удалось спастись и бежать только ему самому.

...который был Веллингтоном своего времени... — Артур Уолсли, герцог Веллингтон (1769—1852) — знаменитый английский полководец, победитель Наполеона при Ватерлоо (1815).

...даже отпрыск Бэлиолов... — Бэлиолы — знатный шотландский род, претендовавший на шотландскую корону. В XIII в. Джон и Эдуард Бэлиолы были королями Шотландии.

Стр. 553. ...по военной дороге, генералом Уэйдом проложенной... — Джордж Уэйд (1673—1748) — английский генерал и военный инженер, воевал в Испании, подавлял восстания в Ирландии и Горной Шотландии. Для успешных боевых действий в Шотландии под его руководством и по его проектам в 1726 г. были сооружены горные военные дороги.

Когда б ты мог сей край увидеть до того... — Стихи эти были выбиты на обелиске, воздвигнутом в честь генерала Уэйда на дороге между Инвернессом и Инверери. Их приводит Скотт и в романе «Легенда о Монтрозе» (гл. XVIII), где идет речь о военных дорогах Уэйда.

Стр. 554. ...но его дорога через Симплон... — Симплон — горный проход в Альпах. В 1800—1806 гг. здесь по приказу Наполеона была проложена дорога.

Руд — мера площади, равная $\frac{1}{4}$ акра.

Стр. 557. Уподобляя этих несчастных Оресту и Эдипу... — Орест и Эдип — герои древнегреческих мифов.

Стр. 559. ...у старого моего друга Джона Хоума. — Джон Хоум (1722—1808) — шотландский драматург, автор трагедии «Дуглас». Леди Рэндолф — персонаж этой трагедии, сестра Брюса и мать его сподвижника Томаса Рэндолфа.

Стр. 560. Нет горя горше моего... — Эпиграф Скотта.

Стр. 561. Копьем, палашиом над целой страной... — Стихи Скотта.

...принца Карла Эдуарда... — см. прим. к стр. 547.

Стр. 567. ...покои замка Теймаус. — Замок в городе Кэнмор

(Пертшир) у озера Лох-Тэй, в прошлом резиденция маркизов Бредалейнов. Впоследствии был превращен в гостиницу.

Стр. 572. *...в канун того дня, который называют праздником кущей.* — Имеется в виду праздник в память сорокалетнего странствования древних евреев в пустыне после исхода из Египта, один из трех главных еврейских праздников.

Стр. 574. *...сказал царь-мудрец.* — Приведено изречение из библейской Книги Притч (XIII, 12), которая приписывалась полулегендарному царю-мудрецу Соломону.

Стр. 575. *...у самых ворот форта Огастеса...* — Город в Инвернессшире (северная Горная Шотландия), ранее называвшийся Килчемин, переименованный после разгрома якобитов в 1746 г. в форт Огастес в честь английского полководца Уильяма Огастеса, герцога Камберленда. Впоследствии крепостные сооружения были переделаны под монастырь.

Стр. 578. *Каберфай* Уильям Маккензи, граф Сифорт (ум. в 1740 г.) — поддерживал движение якобитов в 1715 г., бежал во Францию; впоследствии, получив прощение, вернулся на родину.

...Гленгари, Лохиель, Перт, лорд Льюис... умерли или в изгнании. — Гленгари — Александр Макдонелл (ум. в 1724 г.), Лохиель — сэр Ивен Камерон из Лохиеля (1629—1719), Перт — Джеймс Драммонд, граф Перт (1675—1720) — видные якобиты, активные участники движения 1715 г.

...все погибло на Драммоси-Мур — то есть при Каллодене (см. прим. к стр. 547). Драммоси-Мур — название местности неподалеку от залива Мори-Ферт, где расположен город Каллоден.

Стр. 579. *...под ярмо Ганноверца...* — Речь идет о короле Георге III (см. прим. к стр. 547), принадлежавшем к Ганноверской династии.

Стр. 580. *...убили предков твоей матери в их мирных жилищах в Гленко!* — Речь идет о кровавом событии в царствование короля Вильгельма III (1688—1702), пришедшего к власти после низложения Стюартов. В 1691 г. им была издана прокламация, обещавшая помилование тем горцам, участникам восстания 1689 г., которые явятся с повинной не позже 31 декабря. Один из вождей кланов, Макдональд из Гленко, среди ряда других согласился прийти с повинной. Ему было предложено прибыть в Инверери. Зима была суровой, в горах лежал глубокий снег, и Макдональду не удалось прийти в срок. Опоздание было истолковано его врагами как акт неповиновения, а о самом Макдональде было сообщено королю как об основном

препятствии к умиротворению страны. Король отдал распоряжение о военных мерах против непокорного клана, и в Гленко были посланы солдаты, которых горцы приняли гостеприимно. В ночь на 13 февраля 1692 г. внезапно солдаты устроили бойню, в которой погиб почти весь клан, не исключая и детей. Лишь немногим удалось спастись. Одним из правительственных офицеров, посланных в Гленко, был Кэмбелл Гленлайон, родственник жены Макдональда.

Стр. 586. *Но знай, что сына своего опасности безмерной ты подвергла...* — цитата из трагедии Шекспира «Кориолан» (акт V, сц. 3).

Стр. 591. *...мудрый лорд Чэтем...* — Речь идет о выдающемся государственном деятеле Англии Уильяме Питте Старшем (1708—1778), получившем в 1766 г. титул графа Чэтема.

Стр. 609. *...или прибавить хоть один камень к твоему могильному холму!* — По обычаю шотландских горцев, каждый прохожий считал своим долгом добавить хоть один камень к свежему могильному холму.

Стр. 622. *Сивилла* — в древнем Риме женщина-прорицательница.

ДВА ГУРТОВЩИКА

Стр. 627. *...после ярмарки в Дауне...* — Даун — город в южной части графства Пертшир, на реке Тэй.

Стр. 628. *...от Лохабера до Линкольншира...* — Лохабер — местность на севере Шотландии; Линкольншир — графство в средней части восточного побережья Англии.

Стр. 630. *...назван так прославленным Роб Роем...* — Роб Рой — вождь шотландских горцев, история которого рассказана Скоттом в одноименном романе.

...чем его тезка Робин Гуд в окрестностях зеселого Шервуда. — Робин Гуд — вождь народного восстания (конец XII в.) в Англии, отряды которого располагались в лесах под городом Шервудом. Память о нем сохранена в многочисленных народных балладах. У Скотта он является действующим лицом в романе «Айвенго».

...Джеймс Босуэл (1740—1795) — английский писатель и критик, автор знаменитой книги «Жизнь Джонсона» (1791), представляющей подробное жизнеописание английского филолога и литературного критика Сэмюэла Джонсона (1709—1784).

Стр. 634. *Хэггис* — блюдо, приготовляемое из потрохов.

Стр. 635. *...гэльский шиболет* — слово «лху»... — У древних евреев произношение слова «шиболет» (означавшего «колос») служило признаком, по которому можно было определить, к какому племени принадлежит говорящий.

...нескончаемые... пиброхи... — Пиброх — мелодия, исполняемая на волынке.

Стр. 636. *Друзья такие с давних пор!*.. — Эпиграф Скотта.

Стр. 638. *Да уж как-нибудь поладим, Соуни...* — Шотландское Соуни соответствует английскому Сэнди — сокращенная форма имени Александр. Соуни служит насмешливым прозвищем шотландцев.

Стр. 653. *...я уже закончил курс юридических наук, числился адвокатом...* — Эти сведения автобиографичны: после окончания университета в 1786 г. Скотт в течение нескольких лет занимался юридической практикой, работая сначала в адвокатской конторе отца, затем адвокатом эдинбургского суда и, наконец, шерифом Сэлкиркского округа.

Стр. 657. *...статута Иакова Первого...* — См. прим. к стр. 15.

Стр. 658. *Ирокезы и мускоги* — индейские племена Северной Америки.

...месть по определению Бэкона... — Имеются в виду «Опыты» выдающегося английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561—1626), где в разделе IV («О мести») Бэкон называет месть первобытным, стихийным правосудием.

Стр. 659. *...от Лендс-Энда до Оркнейских островов.* — Лендс-Энд (дословно — «конец земли») — крайняя юго-западная оконечность Англии. Оркнейские острова — архипелаг у северных берегов Шотландии.

ЗЕРКАЛО ТЕТУШКИ МАРГАРЕТ

Стр. 660. *Есть дня пора...* — Эпиграф Скотта.

Стр. 662. *Свидетель детства, милый луг...* — Стихи Скотта.

Стр. 663. *...погибнуть под флагом Нельсона.* — Горацио Нельсон (1758—1805) — выдающийся английский адмирал, выигравший много морских сражений и погибший в морской битве при Трафальгаре, где англичане разгромили соединенный франко-испанский флот.

Стр. 664. ...из мехлинских кружев.. — Мехлин (иначе Малин) — город в Бельгии, знаменитый кружевным производством.

Стр. 667. ...продолжает произносить *Mumpsimus* вместо *Sumpsimus*. — Имеется в виду анекдот о невежественном священнике, не понимавшем смысла латинского слова *Sumpsimus* (*Quod sumpsimus in ore* — «то, что принимаем в уста») и произносившем при богослужении вместо этого слова бессмысленное *Mumpsimus*. Когда же ему указали на ошибку, он ответил, что не намерен менять свой старый *Mumpsimus* на новый *Sumpsimus*. Слова эти сделались пословичными в смысле нежелания признать свою ошибку

...за здоровье и благополучие Георга Четвертого — Георг IV — английский король (1820—1830) из Ганноверской династии

...закон о престолонаследии всецело на его стороне. — Акт о престолонаследии, принятый английским парламентом в 1701 г., устанавливал, что английский король должен принадлежать к потомкам Карла I и обязательно быть англиканского вероисповедания, в связи с чем оговаривалось, что по смерти королевы Анны, не имевшей прямых наследников, корона Англии могла перейти только к потомству внучки Иакова I, принцессы Софии, вдовы ганноверского курфюрста, поскольку другая линия потомков Карла I была связана с католическим Савойским домом. Этот же акт устанавливал ряд конституционных ограничений королевской власти. В результате на английский престол пришла Ганноверская династия.

Стр. 668. ...во времена королевы Анны назывались «Нечетстоянными»... — Речь идет о прозвище той группировки в партии тори, которая сначала поддерживала якобитов, но в царствование Анны (1702—1714) отказалась от своей прежней ориентации. О них см. также в романе Скотта «Ламмермурская невеста» — начало гл. XXVII (т. 7, наст. изд., стр. 301).

«Души моей причуды» — неточная цитата из поэмы английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770—1850) «Прелюдия». У Вордсворта сказано: «стремленья наших душ».

Стр. 669. ...подобен переводчику Тассо... — Речь идет об Эдуарде Ферфаксе (ум. в 1635 г.), переведшем на английский язык поэму итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим». Приведенное в тексте двустичие — цитата из «Оды горским суевериям» английского поэта Уильяма Коллинза (1721—1759), где упомянут Ферфакс,

...Теодор, когда ему явился призрак охотника. — Теодор — персонаж из стихотворного повествования Джона Драйдена «Теодор и Гонория», являющегося, в свою очередь, переложением VIII новеллы 5-го дня «Декамерона» Боккаччо.

Стр. 670. ...вечер кануна дня всех святых... — Вечер 31 октября, канун дня всех святых. С незапамятных времен этот вечер является своеобразным детским праздником с маскарадами и веселыми играми, связанными с народными поверьями.

Стр. 671. Он был сэром Чарлзом Изи и Ловеласом своего времени... — Чарлз Изи — персонаж из комедии «Беззаботный муж» английского актера и драматурга Колли Сиббера (1671—1757). Ловелас — герой романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу». Имя его стало нарицательным обозначением волокиты.

Стр. 673. ...будь он строптив, как сам Фолконбридж. — Фолконбридж, прозванный Бастардом (то есть незаконнорожденным), — один из персонажей исторической хроники Шекспира «Король Иоанн», сын покойного короля Ричарда Львиное Сердце и леди Фолконбридж. Историческим прообразом его является Фальк де Бреоте (ум. в 1226 г.), сподвижник короля Иоанна.

Стр. 674. ..он решил поехать на континент в качестве добровольца. — Как выясняется дальше, Форестер отправился во Фландрию как участник похода герцога Марлборо (1650—1722), который был главнокомандующим английскими войсками во время войны за испанское наследство (1701—1714).

Стр. 694. ...не хуже того, что ввозится из Ганновера. — Намек на возможность возвращения Джеймса Фрэнсиса Эдуарда Стюарта (1688—1766), сына низложенного короля Иакова II, так называемого Старшего претендента (в отличие от Младшего — принца Карла Эдуарда, о нем см. прим. к стр. 547). Разбитый английскими войсками в 1715 г., он бежал во Францию и спустя несколько лет переселился в Италию, где и умер. В исторической литературе его иногда называют Иаковом III.

..будет ли на ней изображен Каролус или Вильгельмус. — Каролус — золотая монета, выпущенная при короле Карле I (1625—1649), Вильгельмусом здесь названа монета, выпущенная при короле Вильгельме III (1688—1702). Имена Карла I, свергнутого и казненного во время Английской буржуазной революции, и Вильгельма, призванного к власти английской буржуа-

зией после Славной революции, служат здесь выражением двух противоположных политических позиций того времени.

...как сказал Скраб. — Скраб — имя слуги в комедии английского писателя Джорджа Фаркера (1678—1707) «Хитроумный план щеголя».

...присланные графом Стэйром... — Граф Стэйр, Джон Дэлримпл (1673—1747) — генерал и дипломат, адъютант герцога Марлборо во время фландрского похода. Бойня в Гленко (см. прим. к стр. 580) произошла с его одобрения, так как в то время он был министром по делам Шотландии.

Стр. 696. ...как тайного агента шевалье Сен-Жоржа... — Под этим именем высадился в Шотландии в 1715 г. Джеймс Стюарт (см. прим. к стр. 694).

Стр. 697. ...человека с серебряной борзой на рукаве. — Серебряная борзая на рукаве — эмблема полицейских сыщиков.

...чем Галена или Гиппократ. — Клавдий Гален (ок. 130—ок. 200) — древнеримский врач и естествоиспытатель. Гиппократ (ок. 460—377 до н. э.) — древнегреческий врач. Оба они в течение столетий считались крупнейшими авторитетами в медицине.

...бедная леди Констанция... — Леди Констанция — персонаж из исторической хроники Шекспира «Король Иоанн». Констанция была дочерью герцога бретонского Конана IV Малого и женой принца Джеффри, старшего брата короля Иоанна. Их сын принц Артур, считавшийся претендентом на английский престол, убит по наущению короля Иоанна.

«Свой гнев распалить»... — цитата из баллады Бернса «Том О'Шентер».

КОМНАТА С ГОВЕЛЕНАМИ

Стр. 703. ...армии лорда Корнуэлса, сдавшейся в Йорке... — Чарлз Корнуэлс (1738—1805) — английский генерал, командовавший в 1776—1781 гг. английской армией в Америке во время войны американских колоний за независимость. В 1781 г. вынужден был капитулировать под Йорктауном.

Стр. 704. ...розенника Йоркских и Ланкастерских войн... — то есть войны Алой и Белой розы (1455—1485).

Стр. 705. Фэг. — В английских школах фэгом называли ученика младших классов, оказывавшего услуги старшекласнику, который, со своей стороны, покровительствовал ему.

...и его закадычным другом в Крайстчерче... — Крайстчерч — привилегированный колледж в Оксфордском университете, основанный в 1532 г.

Стр. 707. *...когда находился в Виргинии в лесу...* — Основной район действий армии Корнуэлса — территория нынешнего штата Виргиния.

Я лежал в этой бочке, как Диоген... — По преданию, древнегреческий философ Диоген, проповедовавший равнодушие к жизненным благам, жил в бочке.

Стр. 718. *...с изгнанником, находившимся в Сен-Жермене...* — то есть со Старшим претендентом (см. прим. к стр. 694). Сен-Жерменское предместье — аристократический район Парижа.

...на защиту Вильгельма во время революции... — Речь идет о неоднократно упоминавшемся английском короле Вильгельме III, ставленнике буржуазной революции.

...«не склонен был внимать им»... — неточная цитата из комедии Шекспира «Буря» (акт. II, сц. I).

К. АФАНАСЬЕВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА, ИЛИ ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ

Предисловие	7
Глава I	14
Глава II	18
Глава III	42
Глава IV	52
Глава V	62
Глава VI	74
Глава VII	88
Глава VIII	103
Глава IX	123
Глава X	135
Глава XI	149
Глава XII	163
Глава XIII	182
Глава XIV	206
Глава XV	223
Глава XVI	237
Глава XVII	257
Глава XVIII	276
Глава XIX	281
Глава XX	301
Глава XXI	314
Глава XXII	329
Глава XXIII	344

Глава XXIV	361
Глава XXV	371
Глава XXVI	384
Глава XXVII	392
Глава XXVIII	411
Глава XXIX	421
Глава XXX	443
Глава XXXI	459
Глава XXXII	470
Глава XXXIII	493
Глава XXXIV	507
Глава XXXV	533
Глава XXXVI	538

РАССКАЗЫ

Вдова горца	547
Два гуртовщика	627
Зеркало тетюшки Маргарет	660
Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье ¹	702
Комментарии	721

¹ Рассказ «Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье», а также вступление к рассказу «Зеркало тетюшки Маргарет» (стр. 660—670) переведены А. М. Шадриным.

ВАЛЬТЕР СКОТТ
Собрание сочинений, т 18

*Редакторы Н Толстая
и Б Томашевский*

*Художник Б Воронецкий
Художественный редактор
Л. Чалова*

*Технический редактор
Э Марковская*

Корректор В Урес

Сдано в набор 17/XII 1964 г
Подписано к печати 15/II 1965 г
Бумага 84×108¹/₃₂ — 23 75 печ
л = 38,95 усл печ л Уч изд л
36 176 Тираж 300 000 экз Заказ
№ 1402 Цена 1 р 15 к

Издательство
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр, 28

Ленинградская типография № 1
«Печатный Двор» имени
А М Горького Главполиграф-
прома Государственного коми-
тета Совета Министров СССР
по печати, Гатчинская, 26